



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

WIDENER LIBRARY



HX 3KQP



3 2044 014 106 736

Slav 777.80

Harvard College Library



**BOUGHT WITH MONEY
RECEIVED FROM THE
SALE OF DUPLICATES**

Визит 210

Съборъ.

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ

ПО ЛИТЕРАТУРЪ И ИСТОРИИ

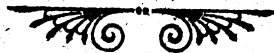
ВЪ ЧЕСТЬ

заслуженнаго профессора

ИМПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА Св. ВЛАДИМИРА

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

ДАШКЕВИЧА.



ИЗДАТЕЛЬ.

Типографія Императорскаго Университета Св. Владимира Анціон. О-ва
печ. и изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Мерниговская улица.

1906.

Eranos.

Erano.

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ

ПО ЛИТЕРАТУРЪ И ИСТОРИИ

ВЪ ЧЕСТЬ

заслуженнаго профессора

ИМПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА Св. ВЛАДИМИРА

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

ДАШКЕВИЧА.



К И Е Н Ъ.

Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра Акціон. О-ва
печ. и изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Мещинговская улица.

1906

Slav 777.80
✓

V A R
HARVARD COLLEGE LIBRARY
BOUGHT FROM
DUPLICATE MONEY
Apr 29 1958

Всчатаво по опредѣленію Совѣта Императорскаго Университета Св. Владиміра.
Оттискъ изъ Университетскихъ Извѣстій за 1906 годъ.

E

7644
41-194
/

XXX.

(1874—1904)

Николаю Павловичу Дашкевичу

ПОСВЯЩАЮТЪ

ЕГО ДРУЗЬЯ И УЧЕНИКИ.

20-го мая 1904 года товарищи и ученики Николая Павловича Дашкевича въ тѣсномъ кружкѣ съ сердечнымъ единодушiемъ отпраздновали тридцатилѣтiе профессорской дѣятельности своего товарища, друга и учителя.

Питомецъ Кiевскаго Университета, стяжавшій себѣ еще на студенческой скамьѣ ученое имя, Николай Павловичъ черезъ четыре года по окончанiи курса вступилъ въ среду университетскихъ преподавателей и принесъ всецѣло на службу родному Университету свои дарованiя, свой ораторскiй талантъ, свою энергiю и пламенную любовь къ наукѣ. Много поколѣнiй студентовъ, разбредшихся по широкому лицу Русской Земли, хранятъ благодарное воспоминанiе о живомъ словѣ, которымъ онъ знакомилъ ихъ съ широкой областью знанiя, избраннаго имъ своею спеціальностью, и много было такихъ, кого онъ умѣлъ направить на ученое или литературное поприще.

Въ кружкѣ его ближайшихъ учениковъ возникла мысль отмѣтить его юбилей изданiемъ ученаго сборника; друзья и знакомые Николая Павловича поддержали эту мысль, и въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1904 года начатъ былъ печатанiемъ Сборникъ статей по литературѣ и исторiи, украшенный его именемъ. Къ сожалѣнiю, обстоятельства, ничего общаго съ наукой не имѣющiя, сократили число участниковъ, а также и замедлили самое изданiе въ свѣтъ книги. Теперь наше предпрiятiе пришло къ концу, и мы просимъ почтеннаго юбиляра принять нашъ скромный даръ, какъ дань искренней признательности и глубокаго уваженiя къ его ученымъ заслугамъ.

Октябрь, 1906 г.
Кiевъ.



H. Dambekuri

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	СТР.
Списокъ ученыхъ трудовъ Н. П. Дашкевича	I—V
И. В. Шаровольскій , Древне-скандинавское сказаніе о битвѣ готовъ съ гуннами и его историческая основа	1—37
А. И. Соболевскій , Изъ исторіи заимствованныхъ словъ и пе- реводныхъ повѣстей.	38—43
В. Н. Перетцъ , Челобитныя благословенія на Кіевскую и всея Руси митрополю архіеп. полоцкаго Іоны Глезны	44—49
Н. Ѳ. Сумцовъ , „Джинны“ В. Гюго	50—57
В. П. Клигеръ , Амброзія и живая вода.	58—81
Г. Э. Зенгеръ , Къ латинскимъ стихотвореніямъ Яна Кохановскаго	82—134
Г. И. Якубанисъ , Отзвуки платонизма въ лирикѣ Шиллера.	135—165
А. М. Лукьяненко , Шиллеръ, Пушкинъ и Островскій въ изо- браженіи эпохи смутнаго времени на Руси	166—212
М. Н. Сперанскій , Н. В. Гоголь-переводчикъ	213—228
К. Ѳ. Радченко , Этюды о богомилствѣ	229—234
В. А. Розовъ , Повѣсть о Саввѣ Грудцынѣ	234—241
А. В. Стороженко , О существованіи въ Кіевѣ римско-католи- ческихъ храмовъ	242—253
И. М. Каманинъ , Къ подробностямъ о началѣ войнъ Богдана Хмельницкаго.	254—266
Г. И. Чудановъ , Западныя параллели къ повѣсти Гоголя „Портретъ“	266—276
М. Н. Ясинскій , „Село“ и „вервь“ Русской Правды	277—299
Ю. А. Кулаковскій , Новые домыслы о происхожденіи имени Русь	300—309
М. В. Довнаръ-Запольскій , Баркулабовская лѣтопись.	310—311
А. М. Лобода , „Горькая судьбина“ Писемскаго и ея литера- турный прототипъ	322—333
Т. Д. Флоринскій , Славянофильство Т. Г. Шевченка	334—361
А. И. Сонни , Горе и Доля въ народной сказкѣ	362—425
Н. К. Бонадоровъ , Новѣйшія сужденія о Шопенгауэрѣ.	426—435
Дополненіе къ статьѣ „Славянофильство Т. Г. Шевченка“	436

Списокъ ученыхъ трудовъ Н. П. Дашкевича.

1873.

1. Княженіе Данила Галицкаго по русскимъ и иностраннымъ извѣстіямъ (К. Ун. Изв. №№ 6, 9, 10).

2. Путешествіе патріарха Антиохійскаго Макарія, избранныя главы (Матеріалы для топографіи и исторіи Кіева и его окрестностей).

1874.

3. Болоховская земля и ея значеніе въ русской исторіи (Труды 3-го Археологическаго съѣзда и отдѣльный оттискъ, Кіевъ. 1876).

1875.

4. Сказанія, легшія въ основу бретонскихъ романовъ, и новѣйшія относительно ихъ гипотезы (К. Ун. Изв. № 1).

1876.

5. Изъ исторіи средневѣковаго романтизма. Сказаніе о св. Гралѣ (К. Ун. Изв. №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и отдѣльный оттискъ).

1877.

6. Постепенное развитіе науки исторіи литературы и современныя ея задачи (Вступительная лекція. К. Ун. Изв. № 10).

7. Общественный строй Южной Руси во второй половинѣ XIII-го и первой XIV-го вѣка (Чтенія въ Ист. Общ. Нестора-лѣтописца, кн. III).

1881.

8. Обзоръ учено-литературной дѣятельности А. А. Котляревскаго (К. Ун. Изв. № 10 и въ отдѣльной брошюрѣ: Помянка по А. А. Котляревскомъ).

1882.

9. Новости иностранной литературы по русской истории и истории русской словесности (К. Ун. Изв. №№ 4 и 5).

1882—1885.

10. Литовско-русское государство, условия его возникновения и причины упадка (К. Ун. Изв. 1882—85 и въ отдельной книгѣ).

1883.

11. Романтика на западѣ и въ поэзии В. А. Жуковского (Киевлянинъ №№ 31, 32).

12. Былины объ Алешѣ Поповичѣ и о томъ, какъ перевелись богатыри на Русь (К. Ун. Изв. и Чт. О. Н.-л. III).

13. Происхождение и развитие эпоса о животныхъ (Кн. Ун. Изв. № 5).

14. Политическіе замыслы Витовта (ib. № 10).

15. На могилу Н. С. Тургенева, лекція 27 сентября (Киевлянинъ №№ 210 и 212).

1884.

16. Провансальское знатное общество и трабадулки въ періодъ разцвѣта провансальской поэзии по новымъ даннымъ (К. Ун. Изв. № 3).

17. Новѣйшіе домыслы о Болоховѣ и Болоховцахъ (ib. № 6).

18. Первая унія Юго-западной Руси съ католичествомъ (ib. № 8).

19. Красовъ В. И. Характеристика литературной дѣятельности его въ Словарѣ профессоръ Университета Св. Владиміра.

20. А. А. Метлинскій—тамъ-же.

21. Историческое Общество Нестора-лѣтописца (Истор.-статист. записки объ ученыхъ и учебно-вспомогат. учрежденіяхъ И. Универ. св. Владиміра 1834—1884 г.г.).

1885.

22. Подвигъ славянскихъ первоучителей и библия на народныхъ языкахъ Запада (Отчетъ о дѣятельности Киевскаго Славянскаго благотворительнаго Общества за 1885 г.)

23. Разборъ книги Abel'я: Gross-und klein-russisch (Киевская Старина № 11).

24. Данныя для древне-русской истории въ Monumenta Poloniae historica, t. IV. (К. Ун. Изв. № 5).

1886.

25. Приднѣпровье и Киевъ по нѣкоторымъ памятникамъ древне-сѣверной литературы (К. Ун. Изв. № 11).

III

1887.

26. Пушкинъ поэтъ общеевропейскій. Рѣчь въ день чествованія 50-лѣтней годовщины смерти Пушкина въ Унiversитетѣ Св. Владиміра (Кіевлянинъ №№ 25, 26, 27).

27. Средневѣковая греко-славянская литература (преимущественно поэтическая) и ея отношеніе къ западно-европейской поэзіи по поводу книги Gaster'a, *Greeko-Slavonic* (К. Ун. Изв. № 12).

1888.

28. Новѣйшая научная литература о Мольерѣ (К. Ун. Изв. № 5).

29. Литература св. Грааля за послѣдніе годы (1876--1888) (ib. №№ 9 и 11).

30. Матеріалы для русской исторіи въ *Monumenta Poloniae historica*, т. V (ib. № 12).

1889.

31. Отзывъ о сочиненіи Н. И. Петрова: „Очерки исторіи украинской литературы XIX столѣтія“ (Отчетъ о XXIX присужденіи награды гр. Уварова).

1890.

32. Романтика круглаго стола въ литературахъ и жизни Запада. I. (К. Ун. Изв. 1886—1890).

33. Описаніе Черноморья, составленное Эмидіемъ d'Асколи въ 1634 г. (Чт. И. О. Н.-л. V).

1891.

34. Мотивы міровой поэзіи въ творествѣ Лермонтова. Общая характеристика послѣдняго (Чт. И. О. Н.-л. VI).

1892.

35. Мотивы міровой поэзіи въ творествѣ Лермонтова: Демонъ (Чт. И. О. Н.-л. VII).

36. Обзоръ разскапіи о такъ называемыхъ „дворахъ любви“ (*cours d'amour*) (К. Ун. Изв. № 7).

1893.

37. Вопросъ о литературномъ источникѣ украинской оперы Н. П. Котляревскаго „Москаль-Чаривныкъ“ (Кіевская Старина № 12).

1894.

38. Экскурсы въ область русскаго народнаго эпоса I—VIII. Всев. Миллера (Отчетъ о XXXVI присужденіи награды гр. Уварова).

1895.

39. Міровая скорбь, мрачное міросозерцаніе и пессимизмъ въ западно-европейской поэзіи новаго времени, преимущественно во-вѣйшей французской. Актовая рѣчь 17 января (Кіевлянинъ и К. Ун. Изв. № 5).

1897.

40. Везенгеймская идиллія. Эпизодъ изъ исторіи юношескихъ стремленій, увлеченій и творчества Гёте (К. Ун. Изв. № 12).

1898.

41. Аполлонъ Николаевичъ Майковъ (Кіевлянинъ № 18).

42. Литературныя изображенія императрицы Екатерины II и ея царствованія (Чт. И. О. Н.-л. XII).

43. Малорусская и другія бурлескныя (шутливыя) Энеиды (Кіевская Старица № 1).

1899.

44. 25-лѣтіе Историческаго Общества Нестора-лѣтописца (Чт. И. О. Н.-л. XIII).

45. Еще разысканія и вопросы о Болоховѣ и болоховцахъ (К. Ун. Изв. № 1).

46. Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ новаго времени (Сборникъ „Памяти Пушкина“ (ib. № 5).

1900.

47. Вопросъ о происхожденіи западно-европейскаго эпоса о Лисѣ по изслѣдованіямъ послѣдняго тридцатилѣтія (Кп. Изв. 1904, № 12).

1901.

48. Старѣйшій списокъ „Малороссійской Енеиды“ Н. П. Котляревскаго (Чт. И. О. Н.-л. XV).

49. Начальныя строфы старѣйшаго списка Енеиды Н. П. Котляревскаго (ib.).

50. Одинъ изъ памятниковъ религіозной полемики XVI вѣка: посланіе Януша короля Угорскаго къ проту Аѳонской горы (1534 г.) и отвѣтъ послѣдняго (ib.).

51. Рыцарство на Руси въ жизни и поэзіи (Чт. И. О. Н.-л. XV—XVI).

52. Мѣщанская трагедія „Коварство и любовь“ (Собраніе сочиненій Шиллера въ переводѣ русскихъ писателей подъ ред. Венгерова, т. II).

1902.

53. Значеніє мысли и творчества Гоголя (Чт. И. О. Н.-л. XVI).

54. Разборъ сочиненія Ив. И. Иванова: Политическая роль французскаго театра въ связи съ философіей XVIII вѣка (Отчетъ о VII присужденіи премій митр. Макарія въ 1897 г.).

55. Ромео и Джульетта (Библиотека великихъ писателей, изд. подъ ред. С. А. Венгерова. Шекспиръ I).

1903.

56. Памяти Ѳ. Я. Фортинскаго (Чт. И. О. Н.-л. XVII).

57. Разборъ труда В. И. Шенрока: „Письма Н. В. Гоголя“. Т. I—IV. Спб., изд. Маркса (Отчетъ о присужденіи премій имени графа Д. А. Толстого).

1904.

58. Грамота князя Ивана Ростиславовича Берладника 1134 г. (Сборникъ статей въ честь проф. М. Ф. Владимірскаго-Буданова).

59. Нѣсколько слѣдовъ общенія южной Руси съ юго-славянами въ литовско-польскій періодъ ея исторіи, между прочимъ — въ думмахъ (Сборникъ статей въ честь проф. Т. Д. Флоринскаго).

1905.

60. Олексій Поповичъ думы „про бурю на Чорному морі“ (Сборникъ статей въ честь проф. В. А. Антоновича).

1906.

61. Романтическій міръ Гоголя („Чт. И. О. Н.-л., XIX, вып. 1).

62. Поэма Байрона о Донъ Жуанъ (Библиотека великихъ писателей, изд. подъ ред. Венгерова. Байронъ, т. III).

Древне-скандинавское сказаніе о битвѣ готовъ съ гуннами и его историческая основа.

1. Введеніе.

Среди произведеній старосѣверной литературы однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ является *Hervararsaga* ¹⁾ въ своей послѣдней части, гдѣ помѣщено сказаніе о боѣ готовъ съ гуннами. Въ этомъ памятникѣ подѣ покровомъ вымысла сохранились отзвуки далекихъ событій изъ эпохи пребыванія готовъ въ Южной Россіи—той эпохи, о которой исторія сообщаетъ намъ очень и очень скудныя свѣдѣнія. Но особенный интересъ представляетъ онъ для русскихъ: въ немъ упоминаются мѣстныя названія, а также, можетъ быть, и факты, тѣсно связанныя съ прошедшими судьбами нашего народа.

Въ виду этихъ обстоятельствъ можно было ожидать, что данный памятникъ пользуется особеннымъ вниманіемъ какъ въ германской, такъ и въ русской наукѣ. Но въ дѣйствительности встрѣчаешься съ совершенно противоположнымъ явленіемъ: у насъ нѣтъ ни одной спе-

¹⁾ Ниже обозначается сокращенно, H-saga; кромѣ того, въ настоящей статьѣ допущены еще слѣд. сокращенія: AfnF=Arkiv för nordisk Filologi; AfsPh=Archiv für slavische Philologie; PBB=Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur; Grundriss=Grundriss der germanischen Philologie. 2 Aufl.; Heinzel=Heinzel, Ueber die Hervararsaga (Sitzungsberichte d. Wiener Akademie, B. 114, S. 417 ff.); Сборникъ=Сборникъ отд. русск. яз. и слов. Имп. Академіи Наукъ; ZfdA=Zeitschrift für deutsches Alterthum; ZfdPh=Zeitschrift für deutsche Philologie; Ж. М. Н. П.=Журналъ Минист. Народн. Просвѣщенія.

ціальною работы о Н-sag'ѣ; на Западѣ же ей были посвящены двѣ небольшихъ статьи: *Rafn*, *Hervararsaga* (*Antiquités russes*, t. I, p. 109 ss.); *Much*, 'Ασχιζούργιον ὄρος (*ZfdA XXXIII*, S. 1 ff.) и лишь одно солидное изслѣдованіе: *Heinzel*, *Ueber die Hervararsaga* (см. выше, стр. 1, прим. 1)¹⁾. Если первыя осуждены наукой на забвеніе— и, нужно сказать, по справедливости²⁾, то второе списало себѣ всеобщее признаніе³⁾ благодаря обширной эрудиціи и таланту его автора.

И, однако, приходится сказать, что выводы, къ которымъ пришелъ почтенный ученый, ошибочны; предлагаемая вниманію читателя работа является результатомъ глубокаго убѣжденія, что проф. Гейнцель не рѣшилъ вопроса о происхожденіи упомянутаго выше сказанія.

Выступая противъ общепринятаго въ наукѣ мнѣнія, необходимо, конечно, указать мотивы несогласія съ нимъ. Это обстоятельство опредѣляетъ планъ данной статьи: изложенію результатовъ своего изученія Н-sag'и я долженъ предпослать критику основныхъ положеній уважаемаго нѣмецкаго ученаго.

2. Изложеніе и разборъ мнѣнія проф. Гейнцаля.

Разсказъ Н-saga'и о грозной сѣчѣ на *Dunheidhr'*ѣ представляетъ, по мнѣнію проф. Гейнцаля, рядъ параллелей свидѣтельствамъ историковъ о Каталаунской битвѣ—параллелей, которыхъ нельзя считать случайными. Въ сагѣ, какъ и въ исторіи, идетъ рѣчь о побѣдѣ, одержанной готами въ необыкновенно кровавой битвѣ надъ гуннами, весьма превосходящими ихъ своей численностью. Кромѣ этого общаго сходства въ сѣверномъ сказаніи можно указать еще отдѣльныя подробности, находяція свое объясненіе въ сообщеніяхъ различныхъ хронистовъ о событіи 451 года. Таковы: многочисленность гуннскаго вой-

¹⁾ Другія работы о Н-saga'ѣ (*Hauksbók*, udgiven af det k. nordiske Oldskrift-Selskab, Kobenhavn 1892—1896, Jndledning af F. Jónsson, s. XCIII—XCVII; *Schlück*, *AfnF XII*, s. 217 ff.; *J. Jónsson*, *AfnF XVIII*, s. 172 ff. и др.) не касаются вопроса о происхожденіи сказанія, изложеннаго въ послѣднихъ ея главахъ.

²⁾ Ср. замѣчаніе *Веселовскаго* о работѣ *Much'a*, *Ж. М. Н. П.* 1889, июль, стр. 3, прим. 1.

³⁾ *Jagič*, *AfsPh XI*, S. 305—308 (ср. замѣчаніе: *Prof. Heinzel's feine Zusammenstellungen haben viel bestechliches an sich*); *Jónsson*, *Den oldnorske og oldislandske litteraturhistorie*, B. II, D. 2, Kobenhavn 1901, s. 839; *Mogk*, *Grundriss*, B. II, S. 838; *Symons*, тамъ же, B. III, S. 619 и др.; только одинъ *Веселовскій* высказался противъ мнѣнія *Heinzel'я*, *Ж. М. Н. П.* 1888, май, стр. 87 сл.

ска—о ней упоминаеть Иорданъ, *Get.* с. 35 и *Historia Miscella*, 1. 5, с. 3; вторженіе гунновъ въ землю готовъ черезъ лѣсъ *Myrkvidhr*, что соотвѣтствуетъ прохожденію Атиллы при походѣ въ Галлію черезъ Герцинскій лѣсъ (ср. *Sidonius Apollinaris, Panegyricus ad Avitum* 7, 321); счастливое начало гунпскаго предпріятія, необыкновенная величина поля битвы, чрезвычайная ея продолжительность (8 дней)—по Иордану, с. 36 одинъ день, по Фредегару (*Canisius antiquae lectiones* 2, 645) три дня; кровавая рѣка¹⁾, ср. Иорданъ, с. 40; патриотическій характеръ борьбы—въ *сagъ* прямо указано, что готы должны были защищать свою свободу и отечество; важное значеніе битвы, которая и въ дѣйствительности рано была уже оцѣнена, ср. Иорданъ, с. 36, 40, 41 и др.; участіе спорящихъ изъ-за отцовскаго наслѣдства двухъ братьевъ-соперниковъ, изъ которыхъ одинъ призываетъ на помощь гунновъ, чему въ исторіи отвѣчаетъ слѣдующій фактъ, рассказанный Прискомъ (*Corpus script. hist. byz.* 1, 152): изъ двухъ сыновей умершаго франкскаго короля младшій просилъ помощи у Аэція и былъ усыновленъ имъ, а старшій обратился къ Атиллѣ, который благодаря этому получилъ поводъ для вторженія въ Галлію. «Поэтому взаимно соотвѣтствуютъ другъ другу Аэцій и *Angantyr*, одинъ изъ франкскихъ принцевъ и опять *Angantyr*, Атилла и *Humli*, Литорій²⁾, а также другой франкскій принцъ и *Hlödhr*».

Возможно, что въ *Gizur'ъ H-sag'и* слились вандалскій король Гизерихъ (*Gizericus, Gyzericus* у Иордана) союзникъ Атиллы, носто-янно подстрекающій его (Иорданъ, с. 36); епископъ Орлеанскій *Аніанъ*, предсказавшій день нападенія Атиллы и пытавшійся проникнуть въ непріятельскій лагерь, но получившій грубый отказъ (*Vita Aniani, Duchesne, Scriptores* 1, 521); пустынный, предрекшій поражение Атиллѣ передъ битвой и отпущенный послѣ этого на свободу гуннами (*Schwandtner, Scriptores rerum hung.* 1, 65).

¹⁾ Это выраженіе не точно: въ *H-sag'ъ* сказано, что рѣки были запружены множествомъ труповъ и вышли изъ береговъ (s. 288¹⁵⁻¹⁶; ссылки сдѣланы по изд. Bugge: *Norröne Skrifter af sagnhistorisk Indhold. utgivne af S. Bugge, III. Hervarar saga ok Heidhreks*, Christiania 1873); Иорданъ же сообщаетъ (111¹⁶⁻¹⁸; цитируется по изд. Mommsen'a), что ручей разлился отъ крови убитыхъ.

²⁾ Римскій полководецъ Литорій, соперникъ Аэція, въ 439 г. пытался съ помощью гунновъ напасть на вестготовъ, но былъ разбитъ, взятъ въ плѣнъ или умерщвленъ; ср. *Prosper Aquitanus ad a. 439. Iordanes*, с. 34, и др.

Родственникъ Аттилы *Laudaricus*—очевидно, важная личность, потому что только о смерти его и Теодориха упоминають источники—быль, быть можетъ, отождествленъ въ народномъ сказаніи съ франкскимъ принцемъ, призвавшимъ гунновъ.

Наконецъ. *Heruðr* соотвѣтствуетъ готскимъ амазонкамъ, о которыхъ рассказываетъ Флавій Вопискъ, хотя и не по случаю Каталаунской битвы (s. 465—468).

Таковы черты сходства между великимъ событіемъ 451 года, какъ о немъ сообщаютъ историки, и битвой готовъ съ гуннами, изображенной въ *H-sag*'ѣ. Въ указаніи этого сходства лежитъ центръ тяжести всей работы проф. Гейнца. Почтенный авторъ считалъ его настолько убѣдительнымъ, что болѣе и не касается вопроса о фактической основѣ саги, какъ вполнѣ уже рѣшеннаго приведенными имъ параллелями, и старается лишь выяснитъ происхожденіе различныхъ отступленийъ сказанія отъ исторіи. Въ виду такой важности изложенной части его изслѣдованія мы остановимся здѣсь и постараемся дать себѣ отчетъ, какъ велико, дѣйствительно, отмѣченное выше сходство, и обусловлено ли оно въ самомъ дѣлѣ генетической зависимостью сѣвернаго произведенія отъ преданій о столкновеніи Аттилы съ Аэціемъ.

Начнемъ съ описанія битвы.

Изображеніе ея, какъ было уже указано, напоминаетъ по мнѣнію проф. Гейнца и огромной численностью войска гунновъ, значительно превосходящаго силы готовъ, и величиной поля сраженія, и необыкновенной продолжительностью послѣдняго, и, наконецъ, образованіемъ кровавыхъ рѣкъ рассказы о событіи 451 года.

Но, взвѣсивая внимательно значеніе этихъ совпаденій, приходится признатъ, что они далеко еще не доказываютъ основного положенія разбираемой работы: картина битвы, обрисованная перечисленными выше или подобными чертами, обычна въ эпическихъ произведеніяхъ различныхъ народовъ, и, слѣдовательно, нѣтъ никакого основанія видѣть въ ней непремѣнно отзвуки страшнаго боя на Каталаунской равнинѣ. Народная фантазія вообще склонна преувеличивать въ тѣхъ или иныхъ отношеніяхъ размѣры и ужасы сраженій, благодаря чему, между прочимъ, ярко отмѣняются необыкновенныя качества принимавшихъ въ нихъ участіе любимыхъ героевъ. Поэтому такія сраженія изображаются очень кровопролитными, часто чрезвычайно продолжительными, съ огромнымъ перевѣсомъ силъ на непріятельской сторонѣ, съ большимъ количествомъ жертвъ и пр.

Характерный примѣръ въ данномъ случаѣ представляетъ «Пѣснь о Роландѣ»: уничтоженіе небольшого отряда арміи Карла В. басками, уступающими ему при этомъ въ численности¹⁾, разрослось въ воображеніи жонглеровъ въ громадную битву, гдѣ 20 тысячъ французовъ бьются съ 400 тысячнымъ войскомъ врага (826—827, 848—851)²⁾; а послѣ ея окончанія изображается лугъ, окрашенный кровью, и (совсѣмъ, какъ въ Н-sag'ѣ, 288 16) груды труповъ, покрывающихъ землю на большомъ пространствѣ (2399—2401).

Русскій эпосъ представляетъ не мало примѣровъ того же явленія, при чемъ преувеличенія доведены въ немъ часто до крайней степени: въ былипахъ постоянно попадаются рассказы о томъ, какъ нѣсколько или даже одинъ богатырь избиваютъ безчисленное множество непріятелей, сражаясь по колѣни въ крови иногда въ теченіе долгаго времени. Такъ, въ пѣснѣ о гибели богатырей нѣсколько русскихъ витязей изрубили несмѣтную басурманскую рать (Кирѣевскій, IV, стр. 108 сл.); по былипѣ, записанной у Рыбникова I, № 19 Ермакъ бьется съ силой татарской 3 дня и 3 ночи; по «Гистории о киевскомъ богатыре Михаиле, сыне Даниловиче двенадцати летъ» Михайль избиваетъ огромное количество татаръ и при этомъ «по колени въ крови бродить»; на полѣ сраженія было мѣстами «по щеку копы крови»³⁾.

То же явленіе было свойственно и эпическимъ сказаніямъ готовъ. Вотъ что, напр., сообщаетъ Иорданъ объ одной битвѣ: *Conser-toque proelio superior pars invenitur Gothorum, adeo ut campus inimicorum corruentium cruore madefactus ut rubrum pelagus appareret armaque et cadavera in modum collium tumultata campum plus per decem milibus oppleverunt* (1306—9).

Всѣ эти примѣры—число ихъ безъ труда можно значительно увеличить—свидѣтельствуютъ съ достаточной степенью ясности, что приведенныя выше параллели не доказываютъ непременно связи рассказа Н-sag'и съ преданіями о столкновеніи Аэція и Аттилы,—грандіозность битвы, обрисованной въ скандинавскомъ памятникѣ упомянутыми раньше чертами, можетъ быть просто продуктомъ народной фантазіи, преувеличившей, по своему обыкновенію, размѣры какого-либо менѣе значительнаго событія.

¹⁾ Gautier, Les épopées françaises, III, Paris 1880, p. 451.

²⁾ Нумера стиховъ указаны по изд. E. Stengel'я: das altfranzösische Rolandlied, B. I, Leipzig 1900.

³⁾ Веселовскій, Сборникъ, т. 22, стр. 20 сл.

Но она не только можетъ быть, а, дѣйствительно, есть такой продуктъ; въ этомъ убѣждаетъ насъ ближайшее знакомство съ V кн. Саксона Грамматика¹⁾. Здѣсь мы находимъ слѣдующій рассказъ (не вошедшій въ Н-sag'у): Олимаръ, король Orientalium (=Ruthenorum русскихъ), союзникъ Hun'a (=Humli Н-sag'и) съ громаднымъ флотомъ двигается противъ Фротона (=Angantyr); Эрикъ (=Gizurr), бывшій на развѣдкахъ, сообщаетъ королю о непріятельскихъ силахъ—и при этомъ въ тѣхъ же выраженіяхъ, которыми пользуется Gizurr въ Н-sag'ѣ, рассказывая Angantyr'у о несмѣтныхъ количествахъ наступающихъ гунновъ (Saxo, 155 17—24; ср. Н-saga 275 13—276 6, 285 7—287 4). Но несмотря на огромную численность своего флота, русскіе потерпѣли страшное пораженіе отъ дановъ, уступающихъ имъ въ силахъ. Количество убитыхъ было такъ велико, что корабли Фротона не могли двигаться среди массы плавающихъ труповъ (154 9—156 15)²⁾.

Въ изображенномъ здѣсь событіи, котораго никакъ ужъ нельзя возвести къ Каталаунской битвѣ, мы находимъ многія черты боя Н-sag'и, переданныя порой прямо стилемъ этого памятника. Отсюда мы смѣло можемъ вывести заключеніе, что въ подчеркнутыхъ нѣмецкимъ ученымъ параллеляхъ мы встрѣчаемся не съ отзвуками историческаго событія, а съ приемами народнаго творчества.

Предъидущій разборъ ясно показалъ, что черты изображеннаго въ Н-sag'ѣ боя, на которыя обратилъ вниманіе проф. Гейнцель, слишкомъ общи для того, чтобы на основаніи ихъ можно было сдѣлать заключеніе о фактической основѣ сѣвернаго сказанія. Гораздо болѣе значенія имѣютъ другія сближенія; къ разсмотрѣнію ихъ мы теперь и переходимъ.

Авторъ изслѣдованія говоритъ, что Myrkvidhr соответствуетъ Герцинскому лѣсу, черезъ который прошелъ Атила, направляясь въ Галлію. Съ этимъ отождествленіемъ согласиться чрезвычайно трудно, гораздо проще и естественнѣе допустить, что въ упоминаніи Н-sag'ой Myrkvidhr'a, отдѣляющаго Hunaland отъ Gotaland'a, отразилось старое скандинавское представленіе, засвидѣтельствованное Эддой (Atlakv. 3, 14

¹⁾ Ссылки—по изданію: Saxonis Grammatici Gesta Danorum herausgeg. v. A. Holder, Strassburg 1886.

²⁾ Ср. многочисленность войскъ Фротона при походѣ на славянъ (151 6—11), а также въ Норвегію и число убитыхъ здѣсь въ двухдневной битвѣ (163 30—164 7).

и Oddrunargatr 25), согласно которому на границѣ владѣній Atli и готовъ ¹⁾ лежитъ названный лѣсъ.

Что касается счастливаго начала гуннскаго предпріятія, то подь нимъ, очевидно, авторъ разумѣлъ пораженіе, нанесенное гуннами Hervör'ѣ (276 8—280 9). Историческія соотвѣтствія этому эпизоду можно видѣть во взятіи Аттилой Метца и Реймса ²⁾ (не знаю, угадалъ ли я мысль почтеннаго ученаго, оставившаго насъ въ невѣдѣніи относительно своего истиннаго мнѣнія). Но если бы Н-saga, дѣйствительно, сохранила въ себѣ воспоминанія о вторженіи Аттилы въ Галлію, то мы ожидали бы скорѣе еще встрѣтить въ ней отзвуки широко распространеннаго сказанія о чудесномъ спасеніи Орлеана ³⁾, тѣмъ болѣе, что въ Gizurr'ѣ отразился, по словамъ самого же проф. Гейнца, епископъ Аніанъ, съ именемъ котораго преданіе тѣсно связало спасеніе его метрополи, —однако ничего подобнаго мы не находимъ въ сѣверномъ памятникѣ.

Обращаясь къ разбору слѣдующей параллели—къ значенію битвы, приходится отмѣтить, что о немъ въ сагѣ ничего не говорится; лишь въ послѣдней главѣ ея, являющейся позднѣйшей прибавкой ⁴⁾, Бравалльское сраженіе и бой готовъ съ гуннами названы самыми знаменитыми (292 6—8); но это мнѣніе высказано на основаніи сагъ и, конечно, не можетъ служить параллелью сужденіямъ историковъ о значеніи Каталаунской битвы.

Равнымъ образомъ не упоминаетъ Н-saga и о патриотизмѣ готовъ, какъ извѣстномъ настроеніи; сказано лишь только, что они защищали отечество и свободу (288 6—7). Но развѣ готамъ единственный разъ, и именно на Каталаунской равнинѣ, приходилось отстаивать свою независимость передъ гуннами?

Что касается отождествленія Gizurr'a съ Гисерихомъ, то оно мало вѣроятно: хотя имя и, до нѣкоторой степени, роль совѣтника совпадаютъ, но не должно забывать, что вандалскій король былъ союзникъ Аттилы, а Gizurr—Angantyr'a; такъ какъ проф. Гейнцель не

¹⁾ Точнѣе—Гьокунговъ; но послѣдніе, какъ извѣстно, всюду въ Эддѣ (за исключеніемъ Atlakv. 20, гдѣ они названы бургундами) выступаютъ подь именемъ готовъ. Строфы указаны по изд. Dettler'a и Heinzel'я, B. I, Leipzig 1903.

²⁾ Wietersheim, Geschichte d. Völkerwanderung, B. II, Leipzig 1881, S. 248

³⁾ Тамъ же, S. 249 ff.

⁴⁾ Schück, AfnF XII, S. 217.

объяснили причину перепесения Гисериха на сторону его враговъ, то мы позволимъ себѣ сомнѣваться въ дѣйствительности отмѣченнаго тожества. Замѣтимъ также, что прозвище *Grytingalidhi* (=служилый человекъ Гревтунговъ), сопровождающее имя *Gizurr'a*, связываетъ его съ совершенно иной эпохой: названіе Гревтунги исчезло очень рано, послѣ выхода готовъ изъ земель близъ Понта ¹⁾.

Неудачно также сближеніе совѣтника *Angantyr'a* съ пустыннымъ и епископомъ *Аніаномъ*. Сопоставляя эти совершенно различныя личности, проф. Гейнцель имѣлъ въ виду, какъ *tertium comparationis*, предсказаніе пораженія гузновъ, которое произнесли первый и послѣдніе. Но, видя въ словахъ *Gizurr'a*: *Felmt er ydhr fylki, feigr erydharr visir, gnæfar ydhr gunnfani, gramr er ydhr Ódhinn* (283 6—9) предсказаніе, почтенный ученый ошибается: здѣсь мы встрѣчаемся съ заговоромъ, какъ это ясно видно изъ дальнѣйшей рѣчи посла: указавъ мѣсто будущаго боя, *Gizurr* прибавляетъ: *hræsi ydhr at há hverri, ok láti svá Ódhinn flein fljúga, sem ek fyrir mæli* (283 15—284 2), т. е., вызываю васъ на бой, и да направитъ Одинъ полетъ конья такъ, какъ я заговариваю ²⁾. Полетъ конья Одина надъ войскомъ обрекалъ его на гибель ³⁾; поэтому смыслъ предыдущихъ словъ можетъ быть выраженъ такъ: вызываю васъ на бой, и да обречетъ Одинъ ваше войско на гибель, какъ я заговариваю. Въ данной фразѣ высказано лишь пожеланіе, чтобы все совершилось согласно заклинанію, обреченіе же на гибель выражено въ предшествующихъ указанію поля битвы словахъ; слѣдовательно въ послѣднихъ и заключается заговоръ. Что это такъ, видно и изъ аналогичнаго примѣра: въ *Styrbiarnar thattr* (*Fornmanna sögur*, V, s. 250) рассказывается, что Одинъ далъ Эрику, шведскому королю, тростниковый стебель и приказалъ бросить его въ сторону враговъ, произнеся: *Ódhinn á ydhr alla*; сдѣлавъ это, Эрикъ увидѣлъ, какъ копье пронеслось надъ войскомъ *Styrbiðrn'a*, которое было поражено слѣпотой и перебито. Слова, сказанныя Эрикомъ, соответствуютъ фразѣ *Gizurr'a*: *gramr er ydhr Ódhinn* ⁴⁾.

¹⁾ Zeuss, *Die Deutschen und die Nachbarstämme*, S. 409; встрѣчающееся у Иордана (въ изд. Mommsen'a, p. 163) названіе *Greetingis* основано на конъектурѣ.

²⁾ *Fyrimæla* именно и значитъ *tilfoie en eller noget Skade ved sine Ord*; см. Словарь *Fritzner'a*, B. I, Kristiania 1886, s. 521.

³⁾ Bugge, *Studien über die Entstehung der nordischer Götter- und Heldensagen*, München 1889, S. 345 ff.

⁴⁾ Ср. Bugge, тамъ же, S. 346.

Равенство: *Laudaricus*—одинъ изъ франкскихъ принцевъ, представляетъ собой не доказательство мнѣнія Гейнца, а лишь дополнительное объясненіе, имѣющее вѣсь въ этомъ случаѣ, еслибъ было окончательно установлено, что бой на *Dunheidhr'*ъ есть отраженіе Каталаунской битвы.

Равнымъ образомъ не говорить въ пользу теоріи нѣмецкаго ученаго сближеніе *Hervör*'ы съ готскими амазонками,—онѣ упомянуты въ связи съ столкновеніемъ Атиллы и Аэція; слѣдовательно, представительница ихъ *Hervör* не можетъ быть связующей нитью между этимъ событіемъ и *H-sag'*ой ¹⁾).

Предыдущій разборъ выяснилъ въ достаточной степени, что подмѣченныя уважаемымъ авторомъ параллели между *H-sag'*ой и сообщеніями историковъ о громкомъ фактѣ 451 года вовсе не подтверждаютъ генетической связи между ними. Исключеніе въ этомъ случаѣ представляютъ какъ-будто двѣ параллели: пораженіе гунновъ готами и участіе двухъ братьевъ. Но одна изъ нихъ—пораженіе гунновъ—слишкомъ обща. чтобы, опираясь на нее, можно было вывести какія-либо заключенія. Что же касается до другой, то, пытаясь на основаніи ея доказать зависимость сѣвернаго сказанія отъ рассказовъ о событіи 451 года, сталкиваешься съ рядомъ непреодолимыхъ трудностей, которыя прямо свидѣлствуютъ въ пользу полного отсутствія подобной зависимости. Высказанная здѣсь мысль найдетъ подтвержденіе при разборѣ слѣдующей части изслѣдованія, гдѣ авторъ выясняетъ причины уклоненія сказанія отъ исторіи. Передадимъ вкратцѣ содержаніе этой части.

Земля готовъ—*Reidhgotaland*, подвергшаяся нападению гунновъ по *H-sag'*ѣ, расположена въ Южной Россіи (S. 471). Подобная локализация, свойственная не одной только *H-sag'*ѣ—ее мы встрѣчаемъ у *Hauk'a Erlendson'a* (*Antiquités russes*,^h t. II, p. 438) и въ Скалагольтской книгѣ (тамъ же, p. 447)—обязана своимъ возникновеніемъ

¹⁾ Вообще мнѣ совершенно непонятно, на какомъ основаніи проф. Гейнцъ видитъ въ *Hervör*'ѣ отраженіе именно готскихъ амазонокъ: женщины-воительницы встрѣчались у различныхъ германскихъ народовъ (*Golther, Studien zur germanischen Sagen-geschichte, Abhandl. d. bayer. Akad., V. XVIII, Abth. 2, S. 405 ff.*), а вполнѣдствіи стали излюбленнымъ типомъ старой скандинавской поэзіи (тамъ же, S. 415; *Saxonis Gramm. Historia Danica, ed. P. E. Müller, pars II, p. 197*).

воспоминаніямъ о царствѣ Эрманарика, соединившимся съ преданіями о германскомъ происхожденіи русскаго государства (S. 486).

Бой же готовъ съ гуннами происходитъ на Дунаѣ: *Dunheidhr*—долина Дуная. Перенесеніе битвы на берега названной рѣки не должно насъ удивлять: его мы встрѣчаемъ также въ *Chronicon Paschale* 1, 587 и въ венгерской сагѣ, сохраненной Симономъ de Kéza и др. (S. 518 f.). Въ этомъ же родѣ отступленіе отъ исторіи имѣетъ мѣсто въ *Gesta Francorum* и др., гдѣ упомянуто только сраженіе у Орлеана (S. 485—488).

Но не только локализациа битвы—дѣйствующія лица въ *H-sag*'ѣ претерпѣли также значительныя измѣненія сравнительно съ исторіей. Теодорихъ вестготскій былъ заслоненъ въ сагѣ Аэціемъ, въ свою очередь отождествленнымъ съ франкскимъ принцемъ, его приемнымъ сыномъ. Забвеніе Теодориха не представляетъ ничего невѣроятнаго: съ подобнымъ явленіемъ мы встрѣчаемся въ *Gesta Francorum* и другихъ источникахъ, гдѣ въ роли его выступаетъ Торисмундъ, а также въ *Chronicon Paschale*, гдѣ на мѣсто обоихъ является Аларихъ. Само собой разумѣется, что замѣну вестготскаго героя чужимъ, т. е. франкскимъ принцемъ, нельзя приписать самимъ вестготамъ. «Но та форма саги, которую мы знаемъ по англо-саксонскому и сѣвернымъ источникамъ, сложилась, конечно, у франковъ. Здѣсь Теодорихъ былъ забытъ, а представленіе о превосходствѣ гуннскихъ силъ было хорошо иллюстрировано черезъ представленіе двухъ полководцевъ на гуннской сторонѣ противъ одного на германской, и побѣдившій братъ долженъ былъ остаться въ живыхъ, между тѣмъ какъ Теодорихъ палъ. Братъ былъ, конечно, изъ склонности къ упрощенію мотивовъ сочтенъ за готовъ, такъ какъ представленіе о побѣдѣ готовъ стояло слишкомъ прочно, чтобы даже у франковъ можно было сдѣлать изъ него побѣдоносное франкское сраженіе съ франкскимъ героемъ во главѣ» (S. 492 f.).

Замѣну Атилы въ *H-sag*'ѣ королемъ *Hunli* проф. Гейнцель объясняетъ такимъ образомъ: побѣжденный въ грандіозной битвѣ гуннскій король не долженъ былъ остаться въ живыхъ по народному представленію—смерть его была поэтическимъ требованіемъ; но такъ какъ хорошо было извѣстно, что Атила нашелъ свой конецъ не въ сраженіи при Шалонѣ, то его мѣсто въ сказаніи заступилъ другой правитель гунновъ (S. 493).

Въ предыдущемъ пересказѣ исчерпаны всѣ основныя положенія проф. Гейнцеля; дальнѣйшая часть работы не приноситъ новыхъ су-

щественныхъ подтвержденій его взглядовъ: она посвящена дополнительнымъ объясненіямъ и выводамъ, которые коренятся въ добытыхъ раньше результатахъ. Поэтому мы не станемъ передавать ея содержанія, а обратимся къ разбору изложеннаго.

Насколько вѣроятно мѣстопребываніе готовъ Н-sag'и въ Ю. Россіи, настолько же невозможна локалізація ея битвы на Дунаѣ. Попытка научно подтвердить подобное предположеніе встрѣчается съ непреодолимыми затрудненіями и, такимъ образомъ, обнаруживаетъ всю свою несостоятельность.

Прежде всего возникаетъ вопросъ: кто перенесъ Каталаунскую битву саги на берега Дуная? Проф. Гейнцель оставилъ невыясненнымъ столь важное обстоятельство въ исторіи развитія изслѣдованнаго имъ сказанія; онъ ограничился лишь ссылкой на венгерскую сагу и родственный ей рассказъ въ *Chronicon Paschale*, гдѣ знаменитая битва 451 г. также локализована на Дунаѣ. Но должно замѣтить, что приведенныя параллели ничего не доказываютъ. Если венгры (или, раньше еще, гунны) допустили въ своей сагѣ такое перемѣщеніе, то это вполне понятно: не мало воспоминаній было у нихъ связано съ величайшей рѣвкой Европы, на берегахъ которой протекла почти вся ихъ историческая жизнь. Но почему вдругъ франки (съ сказаніемъ которыхъ, по словамъ проф. Гейнцеля, мы встрѣчаемся въ Н-sag'ѣ и другихъ источникахъ) измѣнили мѣсто столь хорошо знакомой имъ по непосредственному участію ¹⁾ битвы, остается по прежнему необъяснимой загадкой ²⁾. Да и вообще крайне невѣроятно, чтобы франки, которымъ должно было быть извѣстно взаимное положеніе Дуная и королевства вестготовъ, могли рассказывать, что Аттила вторгся въ предѣлы послѣднихъ ³⁾, а потомъ принялъ предложеніе *Angantyr'a* биться на Дунаѣ, т. е., другими словами, возвратиться обратно туда, откуда пришелъ.

Подобная несообразность могла возникнуть только лишь тамъ, гдѣ географія южной и средней Европы была мало извѣстна, т. е.,

¹⁾ Wietersheim, *Geschichte d. Völkerwanderung*. B. II, S. 252.

²⁾ Если въ сагѣ о Нибелунгахъ битва перенесена на востокъ къ Дунаю, то въ этомъ сохранился отзвукъ дѣйствительныхъ событій; Müllenhoff, *ZfdA* X, S. 150 f.

³⁾ Перенесеніе царства готовъ Н-sag'и въ Ю. Россію совершилось, по мнѣнію Гейнцеля, въ Скандинавіи (S. 486); слѣд., въ франкской сагѣ рассказывалось еще о королевствѣ вестготовъ Южной Франціи.

въ данномъ случаѣ, въ Скандинавіи. Но приписать сѣвернымъ германцамъ перенесеніе Каталаунскаго боя на Дунай опять нѣтъ основанія. Названная рѣка не пользовалась у нихъ вообще большой извѣстностію: сколько я знаю, она упоминается только въ научныхъ трактатахъ (*Antiquités russes*, t. II, p. 430, 438, 447; ср. *Snorra Edda*, I, s. 576) и въ литературныхъ памятникахъ, основанныхъ на иностранныхъ источникахъ (*Тидрекъ-сага*, s. 311; *Heilagra manna sögur*, I, s. 36, 53, 303); въ туземныхъ же произведеніяхъ имя ея не встрѣчается. Въ виду сообщенныхъ здѣсь данныхъ невозможно допустить, чтобы скандинавы могли перенести знаменитый бой на рѣку, которая была имъ почти совершенно неизвѣстна. Высказанная здѣсь мысль приобрести въ нашихъ глазахъ еще больше значенія при слѣдующей справкѣ изъ исторіи саги о Нибелунгахъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ (въ томъ числѣ и проф. Гейнцеля), рассказъ о коварномъ приглашеніи Аттилой бургундовъ является позднѣйшей прибавкой, составленной по образцу сказанія объ отцѣ Зигфрида (*Völsungasaga*, гл. IV сл.)¹⁾, и присоединенной къ первоначальной сагѣ въ Скандинавіи²⁾. Оказывается, что, присочиняя этотъ эпизодъ, сѣверные германцы помѣстили гунновъ, вопреки нашему ожиданію, не на Дунаѣ, а въ Южной Россіи: Аттилѣ по *Atlakvidh'z* (строфа 5) принадлежитъ, между прочимъ, Днѣпровскій городъ³⁾. Очевидно, слишкомъ чуждъ былъ Дунай обычному кругу представленийъ древнихъ скандинавовъ.

Остается еще одна возможность объясненія локализациі боя *H-sag'*и на Дунаѣ—именно, допустить, что она заимствована изъ венгерской саги. Но ближайшее знакомство съ послѣдней обнаруживаетъ несостоятельность и этого предположенія. Мадыарскія сказанія о событіи 451 года слишкомъ ужъ отличны отъ скандинавскихъ: участвующія лица и народности, мѣсто дѣйствія и общія ситуаціи въ тѣхъ и

¹⁾ Rieger, *Germania* III, S. 196 f.; Steiger, *Die verschiedenen Gestalten der Siegfriedsage*, Hersfeld, 1873, S. 49 ff.

²⁾ Мнѣніе это высказалъ Heinzel, *Ueber die Nibelungensage* (*Sitzungsberichte d. Wiener Akademie*, B. CIX, S. 710 f.); къ нему присоединился Detter, *PBB* XVIII, S. 194 ff.

³⁾ Первоначально ли *Atlakv. 5* или заимствована изъ *H-sag'*и, какъ думаетъ Heinzel вслѣдъ за Bugge, *AfnF* I, s. 12 f. и Lüning'омъ, высказанное здѣсь соображеніе не теряетъ силы: такъ или иначе, все равно выходитъ, что великая рѣка не была извѣстна хранителямъ эпическихъ сказаній въ Скандинавіи, разъ они не затруднились даже Аттилу локализовать на Днѣпрѣ.

другихъ совершенно различны ¹⁾: конечно, при такихъ условіяхъ приходится оставить всякую мысль о взаимодѣйствиі между ними.

Предыдущій разборъ показалъ, что нѣтъ возможности объяснить перенесенія Каталаунской битвы на Дунай. Отсюда выходитъ, что или Dunheidhr не есть долина Дуная, или бой готовъ съ гуннами H-sag'и не имѣеть ничего общаго съ кровавымъ столкновеніемъ при Шалонгѣ. Первая возможность оказывается столь же роковой для теоріи Гейнцеля, какъ и вторая: Dunheidhr можетъ еще обозначать долину З. Двины (Гейнцель) или Дона (Веселовскій); конечно, ни на одной изъ этихъ рѣкъ знаменитая битва 451 г. не была никогда локализована.

Разсмотримъ теперь попытку проф. Гейнцеля выяснитъ тѣ измѣненія, которымъ подверглись въ сагѣ историческія личности, принимавшія участіе въ событіи 451 года. Ходъ мыслей у него таковъ: франкскій принцъ, съ которымъ былъ отождествленъ Аэцій, вытѣснилъ совершенно изъ народной памяти Теодориха; потомъ оба брата были представлены ради упрощенія мотивовъ готами, ибо воспоминаніе о побѣдѣ послѣднихъ было слишкомъ прочно. Что же выходитъ? Сначала франки забываютъ вестготскаго короля и Аэція изъ-за своихъ принцевъ—очевидно, послѣдніе были знаменитыми, общеизвѣстными героями своего народа, если могли въ его воспоминаніяхъ заслонить собой главнѣйшихъ дѣйствующихъ лицъ 451 года: а потомъ, вдругъ оказывается, что тѣмъ же знаменитымъ героямъ ихъ соплеменники приписываютъ чужую національность и почему-то именно готскую, хотя одинъ изъ нихъ, по словамъ автора, былъ отождествленъ съ Аэціемъ, а побѣда съ такимъ же правомъ могла считаться франкской, какъ и готской, ибо оба народа одинаково были союзниками Аэція. Невѣроятность подобнаго предположенія слишкомъ очевидна, чтобы на ней стоило болѣе останавливаться.

Гипотеза о замѣнѣ Аттилы королемъ Hunli тоже не заслуживаетъ довѣрія. Ссылка на поэтическія требованія настолько неопредѣленна, что ей не приходится придавать какого-либо значенія; а между тѣмъ очень трудно фактически доказать, что герой гунновъ, заступающій ихъ мѣсто въ сагахъ, порой, вопреки исторіи (какъ въ сказаніи о Нибелунгахъ ²⁾), былъ замѣненъ какимъ-то мало извѣстнымъ

¹⁾ Ср. Heinzel, S. 518 f.; Schwicker, Geschichte der ungarischen Litteratur. Leipzig. 1889, S. 45 ff.

²⁾ Grundriss, B. III. S. 658.

лицомъ. Скорѣе возможно противоположное явленіе, съ которымъ мы, вѣроятно, и имѣемъ дѣло въ Widsidh'ѣ¹⁾).

Я не стану утомлять читателя разборомъ дополнительныхъ объясненій и выводовъ почтеннаго ученаго: всѣ они коренятся, какъ уже было отмѣчено, въ разсмотрѣнныхъ положеніяхъ и, стало быть, въ отношеніи состоятельности раздѣляютъ участь послѣднихъ. Я только вкратцѣ резюмирую результаты предыдущаго разбора.

Изъ всѣхъ параллелей между событіемъ 451 года и рассказомъ Н-sag'и только участіе двухъ братьевъ, какъ казалось на первыхъ порахъ, говорить въ пользу зависимости послѣдняго отъ перваго. Но потомъ выяснилось, что и эта параллель чисто случайна: попытка отождествленія Hlōdhr'a и Angantyr'a съ франкскими принцами, а также Dunheidhr'a—съ долиной Дуная и объясненіе замѣны Аттилы королемъ Humli оказались совершенно невозможными. Отсюда выходитъ, что въ основу сохраненнаго Н-sag'ой и другими памятниками сказанія о боѣ готовъ съ гуннами легло воспоминаніе не о Катаунской битвѣ, а о какомъ-то другомъ событіи.

Указавъ соображенія, въ силу которыхъ я позволилъ себѣ не согласиться съ теоріей почтеннаго ученаго, я постараюсь выяснитъ, въ чемъ же заключается ея главная ошибка.

Познакомивъ читателя съ источниками саги о боѣ на Dunheidhr'ѣ, проф. Гейпель непосредственно послѣ этого заявляетъ, что «только рассказы о Катаунаскомъ сраженіи и предшествовавшихъ событіяхъ представляютъ рядъ соответствій нашему сказанію, которыя нельзя считать случайными». Затѣмъ, пересказавъ главнѣйшіе факты, связанные съ событіемъ 451 г., авторъ прилагаетъ всѣ старанія найти каждому изъ нихъ параллель сначала въ Н-sag'ѣ, а потомъ въ «Датской Исторіи» Саксона и въ Widsidh'ѣ: при этомъ, что въ послѣднихъ двухъ памятникахъ не согласуется съ указанными въ Н-sag'ѣ отзвуками исторіи, объявлено позднѣйшимъ искаженіемъ (S. 512 ff.). Подобный методъ и составляетъ самый важный промахъ въ изслѣдованіи проф. Гейпеля, имѣвшій неблагоприятное вліяніе на всю работу.

Эпическія произведенія, какъ и вообще продукты народнаго творчества, не представляютъ изъ себя чего-либо постояннаго, устойчи-

¹⁾ Ср. Веселовскій, Ж. М. Н. II. 1888, май. стр. 89.

ваго; напротивъ. они подвержены непрерывнымъ измѣненіямъ: съ одной стороны въ нихъ сглаживаются и исчезаютъ многія подробности, съ другой—проникаютъ новые элементы, совершенно чуждые имъ по своему происхожденію ¹⁾. Отсюда становится понятнымъ, что, отыскивая историческую основу подобаго произведенія, нужно по возможности выдѣлать изъ него позднѣйшія наслоенія и возстановить древнія черты, а затѣмъ ужъ подыскивать событіе, отъ котораго оно ведетъ свое начало. Въ противномъ случаѣ постоянно грозитъ опасность принять черты позднѣйшаго происхожденія за первоначальныя и возвести такимъ образомъ сказаніе къ факту, не имѣющему съ нимъ ничего общаго ²⁾.

Этой опасности не избѣжалъ проф. Гейнцель, потому что шелъ дорогой, совершенно противоположной намѣченной здѣсь: указавъ сначала событіе, онъ всячески старался притянуть къ нему интересующее его сказаніе; естественно, что онъ считалъ при этомъ исконнымъ, то часто представляетъ изъ себя, какъ мы видѣли и какъ увидимъ еще, позднѣйшія наслоенія, и, наоборотъ, что онъ отбрасывалъ, какъ прибавки, можетъ оказаться первоначальнымъ.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что намъ во избѣжаніе подобной же ошибки необходимо попытаться возстановить сказаніе о боѣ готовъ съ гуннами по возможности въ древнѣйшей редакціи, а затѣмъ уже, исходя отъ послѣдней, искать его историческую основу.

3. Древнѣйшая редакція сказанія о боѣ готовъ съ гуннами.

Сказаніе о битвѣ готовъ съ гуннами сохранилось въ *H-sag'* и въ *V* книгѣ Саксона Грамматика, а также въ *Widsidh'* и въ *Chronicon Erici regis* (*Langbeck, Scriptorum I, 153*). Но сообщеніе послѣднихъ двухъ источниковъ очень кратко и не вполне ясно; поэтому попытку возстановить интересующую насъ сагу въ древнѣйшемъ доступномъ намъ видѣ приходится основать на разборѣ старосѣвернаго произведенія и разсказа датскаго историка, изрѣдка лишь привлекая

¹⁾ Н. Дашкевичъ, *Былины объ Алешѣ Поповичѣ*, Кіевъ. 1883, стр. 7 сл. его же, *Разборъ соч. В.Ф. Миллера: Эскурсы въ область русскаго народнаго эпоса*, С.-Петербургъ. 1895, стр. 4 сл.

²⁾ Веселовскій, *Сборникъ*, т. 36, стр. 373; Лобода, *Русскія былины о сватовствѣ*, Кіевъ. 1904, стр. 27 сл.

англо-саксонскій памятникъ, именно, въ тѣхъ случаяхъ, когда въ немъ отмѣчена какая-либо важная подробность.

И въ *H-sag*'ѣ, и въ *V* книгѣ Саксона изслѣдуемое сказаніе сохранилось не въ первоначальномъ видѣ: какъ тамъ, такъ и здѣсь оно представляетъ изъ себя часть болѣе обширнаго цѣлаго. Вполнѣ понятно, что, примыкая къ чуждому ему произведенію, оно было согласовано съ нимъ и такимъ образомъ претерпѣло рядъ измѣненій. Кромѣ того, въ основу эпизодовъ о боѣ готовъ и гунновъ, помѣщенныхъ въ «Датской исторіи» и скандинавскомъ памятникѣ могли лечь различныя редакціи нашего сказанія; другими словами, автору, присоединившему впервые къ исторіи потомковъ *Argungimr*'а рассказъ о битвѣ на *Dunheidhr*'ѣ, послѣдній могъ быть извѣстенъ въ совершенно иномъ видѣ, чѣмъ составителю саги о Фротонѣ. Принимая всѣ эти обстоятельства во вниманіе, можно признать наиболѣе подходящимъ для выполненія нашей работы слѣдующій методъ: 1) надо освободить изслѣдуемое сказаніе отъ тѣхъ видоизмѣненій и наслоеній, которыя вкрались въ него, благодаря присоединенію къ чуждымъ произведеніямъ; 2) полученныя такимъ способомъ двѣ редакціи его сравнить между собою и, указавъ причины подмѣченныхъ различій, выяснить черты первоначальнаго сказанія, составившаго основу обѣихъ редакцій.

Перейдемъ къ выполненію первой задачи.—Интересующій насъ эпизодъ *H-sag*'и находится въ тѣсной связи съ прочимъ ея содержаниемъ: дѣйствующія въ немъ лица: *Angantyr*, *Hlödhr*, *Hervör*—дѣти *Heidrekr*'а, о жизни и подвигахъ котораго раньше подробно говорится въ памятникѣ; кромѣ того, *Angantyr*'у принадлежитъ губительный мечъ *Tugfingr*, играющій видную роль въ исторіи его предковъ. И несмотря на все это, данный эпизодъ представлялъ первоначально самостоятельное сказаніе, не имѣющее ничего общаго съ тѣми, которыя предшествуютъ ему: только въ немъ мы находимъ названія готской резиденціи и области (*Danparstadir* и *Arheimar*)¹⁾, хотя въ предыдущемъ не разъ встрѣчается *Reidhgotaland*, и *Heidrekr* выступаетъ въ роли короля этой страны; дѣйствующія въ немъ лица лишь упоминаются, но не принимаютъ активнаго участія въ событіяхъ, о которыхъ сообщается раньше. Равнымъ образомъ, трудно допустить,

¹⁾ Heinzel. S. 455.

чтобы въ первоначальномъ этическомъ преданіи, которое всегда носить эпизодическій характеръ, рассказывалась, какъ въ *H-sag'*ъ, исторія ряда поколѣній. Скорѣе можно думать, что она была составлена изъ первоначально независимыхъ звеньевъ. Такое предположеніе тѣмъ болѣе вѣроятно, что скандинавы любили вообще связывать генеалогически чуждые другъ другу саги ¹⁾.

Разъ это такъ, то отсюда выходитъ, что въ сказаніи о боѣ готовъ съ гуннами, до соединенія его съ другими рассказами *H-sag'*я, *Tyrfingr* не упоминался, а *Angantyr* и *Hlödhr* не были сыновьями *Heidhrekr'a*.

Перейдемъ теперь къ эпизоду посѣщенія *Angantyr'a* *Hlödhr'омъ*. Прибывъ въ *Reidhgotaland*, послѣдній требуетъ у брата половину всего того, чѣмъ владѣлъ *Heidhrekr*, а также *Hris that it maera er Myrkvidhr heitir, gröf thá ina helgu er stendr á Godhthiódhu, stein thann ein fagra er stendr á stóðhum Danpar*, т. е., знаменитый гробъ, который зовется *Myrkvidhr*; святую могилу, которая стоитъ въ готской странѣ; прекрасный камень, который стоитъ въ городѣ Днѣпра ²⁾. Въ своемъ отвѣтѣ *Angantyr* заявляетъ, что у нихъ скорѣе дойдетъ дѣло до битвы, чѣмъ онъ согласится раздѣлить на двѣ части *Tyrfingr* или уступить брату половину наслѣдства, и предлагаетъ ему треть готскаго государства.

Въ этомъ рассказѣ бросается въ глаза слѣдующая несообразность. Судя по словамъ *Hlödhr'a* и *Angantyr'a*, первый хочетъ получить половину владѣній отца. Но съ этимъ ясно выраженнымъ требованіемъ стоитъ въ противорѣчій притязаніе на гробъ, могилу и камень: изъ текста прямо видно, что они не входятъ въ желаемую половину; но въ сво-

¹⁾ Ср., напр., *Mogk. Grundriss*, В. II, S. 623 f.

²⁾ Я перевожу такъ согласно *Bugge* (*H-saga*, S. 362 f.), разумъющему подъ *gröf* усыпальницу готскихъ королей, а подъ *steinn*—камень, на который входилъ новоизбранный король. Заманчивое же толкованіе Вигфуссона и Гейнца по которому *Danparstadhir*—Кіевъ, *gröf*—Аскольдова могила, *steinn*—Печерскій монастырь, къ сожалѣнію, оказывается несостоятельнымъ. Оно предполагаетъ, что данная строфа возникла лишь во второй половинѣ XI в., когда была основана названная обитель, а между тѣмъ противъ этого говорятъ слѣд. обстоятельства: 1) названіе *Danparstadhir* для Кіева въ ту пору нигдѣ не засвидѣтельствовано; 2) *Atlakvidha*, заимствовавшая 5 строфу изъ *H-sag'*и, возникла въ первой половинѣ XI в. (*Bugge, ZfdPh* VII, S. 390; *Mogk. Grundriss*, В. II, S. 646); значитъ, приведенный отрывокъ изъ нашего памятника еще старше; а слѣд. въ немъ не могъ быть упомянутъ Печерскій монастырь.

онъ отвѣтъ Angantyr не говорить о нихъ ни слова, а между тѣмъ онъ долженъ былъ это сдѣлать въ виду ихъ важности, тѣмъ болѣе, что онъ упомянулъ о подобномъ же цѣнномъ предметѣ—мечѣ Tugfingr'ѣ. Поэтому, казалось бы самымъ подходящимъ отбросить данную строфу, какъ позднѣйшее добавленіе, внесшее только путаницу въ текстъ. Но этого никакъ нельзя сдѣлать; содержаніе ея доказываетъ, что она искони принадлежала нашему сказанію: ни изъ какого другаго произведенія она не могла быть заимствована, потому что Damparstadhir¹⁾, а также могила и камень засвидѣтельствованы только H-sag'ой; на основаніи прочаго содержанія нашего памятника она тоже не могла быть присочинена,—въ немъ нигдѣ болѣе не сообщается о двухъ послѣднихъ предметахъ. Если, значитъ, цитированная строфа первоначальна, то, слѣдовательно, въ словахъ Angantyr'а съ теченіемъ времени произошли измѣненія. Такъ какъ въ древнѣйшей редакціи Tugfingr не могъ играть роли (см. выше), и такъ какъ Angantyr'омъ онъ названъ совершенно не кстати — на него притязаній Hlodhr не выражалъ, то есть основаніе полагать, что на мѣсто меча упоминались нѣкогда дѣсь, могила и камень.

Изъ восстановленной такимъ образомъ первоначальной редакціи даннаго эпизода видно, что требованія Hlodhr'а были очень обширны: онъ желалъ получить сверхъ половины государства еще самые цѣнные предметы, т. е. онъ хотѣлъ имѣть болѣе, чѣмъ самъ король; вѣроятно, въ его словахъ скрывается даже притязаніе на готскій престолъ, ибо какъ иначе можно объяснить требованіе камня, на который становились нововзбранные короли? взятый самъ по себѣ врядли онъ представлялъ какую-либо цѣнность.

Что касается разсказа о смерти сестры враждующихъ братьевъ, то о немъ необходимо замѣтить слѣдующее. По Flateyjarbok (B. I, S. 26) она—жена Гаральда Стараго, что противорѣчитъ H-sag'ѣ, по которой она наля въ бою дѣвой. Какая же версія болѣе ранняя? Такъ какъ всѣ источники (Flateyjarbok и обѣ редакціи H-sag'и) согласно называютъ ее дочерью Heidhregi'а, то сомнѣваться въ подлинности свидѣтельства о происхожденіи ея отъ этого короля, а, слѣдовательно, и въ принадлежности къ его сагѣ нѣтъ никакихъ данныхъ. Отсюда выте-

¹⁾ Встрѣчающееся въ другихъ памятникахъ названіе Damparstadhir заимствовано изъ H-sag'и; Bugge, AfnF I, S. 12; Heinzel, S. 478 ff.

каеть, что рассказ о смерти ея въ сраженіи съ гуннами — позднѣйшаго происхожденія: онъ былъ присочиненъ уже послѣ того, какъ сага о *Heidhrek'ъ* была соединена съ сказаніемъ о битвѣ на *Dunheidhr'ъ*. Высказанное здѣсь положеніе подтверждается еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что эпизодъ боя *Hervör'ы* съ врагами *Angantyr'a* стѣбитъ внѣ всякой связи съ кровавымъ столкновеніемъ братьевъ. Въ согласіи съ этимъ находится также сообщеніе II редакціи *H-sag'i* (332 1—2), согласно которому она воспитывается у *Frothmar'a* въ *Eingland'ѣ* (= Англіи) и, слѣдовательно, не можетъ имѣть никакого отношенія къ вторженію гунновъ въ *Reidhgotaland*¹⁾.

Но доказавъ, что эпизодъ о *Hervör'ѣ* возникъ позднѣе, мы тѣмъ самымъ еще не выяснили причины его происхожденія: вѣдь было же, въ самомъ дѣлѣ, какое-то обстоятельство, въ силу котораго у составителя саги явилась мысль передъ изображеніемъ главнаго боя помѣстить еще описаніе предварительнаго сраженія, гдѣ пала сестра готскаго короля. Невольно поэтому рождается предположеніе, что въ первоначальномъ сказаніи на томъ же мѣстѣ находился рассказъ о какой-то битвѣ, замѣненный даннымъ эпизодомъ съ цѣлью тѣснѣе сплестить разнородныя саги, вошедшія въ составъ сѣвернаго памятника.

Что касается *Gizurr'a*, то онъ изначала принадлежалъ сказанію о боѣ готовъ съ гуннами: хотя въ предыдущемъ онъ и называется воспитателемъ *Heidhrek'a* (223₁₈), но полное отсутствіе слѣдовъ саги объ отношеніи его къ послѣднему и прозвище *Grytingalidhi* (см. выше, стр. 8) прямо свидѣлствуютъ въ пользу высказаннаго мнѣнія.

Итакъ, если мы, исходя изъ изложенныхъ выше соображеній, перестанемъ называть *Hlödhr'a* и *Angantyr'a* сыновьями *Heidhrek'a*, а *Gizurr'a*—его воспитателемъ, внесемъ поправку въ требованія *Hlödhr'a* и удалимъ совершенно рассказъ о *Hervör'ѣ* и *Ormagr'ѣ* (276₈—280₈) и упоминаніе о *Turfingr'ѣ*, то сказаніе о битвѣ на *Dunheidhr'ѣ* предстанетъ передъ нами въ томъ видѣ, какой оно имѣло до соединенія съ сагой о потомкахъ *Arngimr'a*. Схематически его можно передать такъ:

I. По соглаженію со своимъ дѣдомъ внукъ *Humli*, короля *Hunaland'a*, *Hlödhr* является въ столицу *Reidhgotaland'a* *Danparstadhr*

¹⁾ Значить рассказъ о томъ, что она живетъ у *Ormagr'a* и сражается съ нимъ противъ гунновъ, возникъ позднѣе; слѣд., *Widsidh*, знающій *Wurthhere=Ormagr* (*Antiquités russes*, I, p. 162), черпалъ изъ традиціи, пережившей соединеніе сказанія о боѣ съ сагой *Heidhrek'a*.

въ области *Agheimar* и выражаетъ передъ своимъ братомъ *Angantyr'омъ*, королемъ готовъ, притязаніе на половину владѣній, на драгоценные предметы и, вѣроятно, на готскій престолъ: но получивъ отказъ и оскорбленный прозвищемъ «сынъ рабыни», даннымъ ему *Gizurg'омъ Grytingalidhi*, возвращается къ своему дѣду (266 1—274 8; 346 5—349 14).

II. Узнавъ о такомъ оскорбленіи внука, *Humli* былъ страшно разгнѣванъ; намѣреваясь подчинить готское царство, испровергнуть *Angantyr'a* и такимъ образомъ возвести на престолъ внука¹⁾, онъ вмѣстѣ съ послѣднимъ собираетъ огромное войско и вторгается черезъ дѣсь *Murkvidhr* въ землю готовъ (274 6—276 8).

III. Происходитъ какая-то битва (?).

IV. По вызову *Angantyr'a* *Gizurg* отправляется навстрѣчу гуннамъ и назначаетъ имъ мѣсто боя на *Dunheidhr'ѣ* и на всѣхъ *Jösur-fjöll*, предварительно произнеся заговоръ о ихъ пораженіи. *Hlödhr* приказываетъ его схватить, но *Humli* останавливаетъ внука. Возвратившись *Gizurg* рассказываетъ *Angantyr'u* о многочисленности неприятельскаго войска (280 9—287 4).

V. Собравъ большое войско, *Angantyr* встрѣчается съ гуннами въ условномъ мѣстѣ. Битва длится 8 дней. *Humli* и *Hlödhr* убиты. Гунны бѣгутъ. Рѣки и долины завалены трупами. *Angantyr* жалуется на судьбу, сдѣлавшую его убійцей брата (287 5—289 13).

Перейдемъ теперь къ Саксону.

Пятая книга его «Исторія», гдѣ сообщается о знаменитой битвѣ, чрезвычайно пестра по своему содержанію; здѣсь перемѣшаны самыя разнообразныя, вполнѣ независимыя другъ отъ друга по своему происхожденію саги. Соединены онѣ между собою крайне слабо: главнымъ связывающимъ звеномъ является личность короля Фротона и отчасти его мудраго совѣтника Эрика.

¹⁾ О намѣреніяхъ *Humli* въ *H-sag'ѣ* прямо ничего не говорится; но что они были именно таковы, какъ указано, вытекаетъ непосредственно изъ ея содержанія. Король готовъ и его внукъ рѣшили добиться удовлетворенія требованій *furst med godum ordum*—сначала добрыми словами (266 18—19; 246 21—22); но это не удалось: *Hlödhr* не только не получилъ желаемого, но даже былъ оскорбленъ. Естественно, теперь оставалось только осуществить свои желанія съ оружіемъ въ рукахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отомстить за обиду. Какъ то, такъ и другое можно было сдѣлать, покоривъ готовъ и удаливъ *Angantyr'a*. Съ такимъ намѣреніемъ вполнѣ согласуются обширныя военныя приготовленія.

Отсюда становится яснымъ способъ, къ которому надо прибѣгнуть, чтобы представить эпизодъ о боѣ въ томъ видѣ, какой онъ имѣлъ до соединенія его съ сагами двухъ названныхъ героевъ. Такъ какъ, съ одной стороны, центральнымъ пунктомъ нашего сказанія является, несомнѣнно, битва, и такъ какъ съ другой—различныя саги въ V кн. Саксона связаны между собой поверхностно, то можно считать принадлежащими къ нашему сказанію только тѣ эпизоды, которые стоятъ во внутренней связи съ рассказомъ о боѣ; сверхъ того, изъ нихъ должно выдѣлить еще черты саги Фротона и Эрика, проникающія все содержаніе V кн.: таковы сообщенія о людяхъ, окружавшихъ Фротона въ юности, а также о великихъ завоеваніяхъ и законодательствахъ столь характерныхъ для этого короля¹⁾; таковы и всѣ тѣ мелкіе рассказы, гдѣ проявляется мудрость и краснорѣчіе Эрика, составляющія его типичныя черты²⁾.

Если выполнить всю эту работу, то редакція сказанія о боѣ на *Dunheidhr'ъ*, послужившая источникомъ для составителя саги о Фротонѣ, предстанетъ въ слѣдующемъ видѣ:

I. Фротонъ женится на дочери *Hun'a*, правителя гунновъ, но потомъ отвергаетъ ее за нарушеніе супружеской вѣрности (122 зс—125 зс; 137 з—зс).

Этотъ эпизодъ объясняетъ намъ причину войны, возникшей между названными королями: поэтому, безъ сомнѣнія, онъ принадлежитъ къ сказанію о битвѣ.

Подробности о причинѣ женитьбы, свадебныхъ посольствахъ, участвующихъ въ нихъ лицахъ, а также о раскрытіи измѣны Эрикомъ приходится отбросить, первыя—какъ заимствованныя изъ саги Фротона, вторыя—Эрика.

II. Узнавъ о судьбѣ дочери, *Hun* заключаетъ союзъ съ *Олимаромъ*, королемъ *Orientalium* (= *Ruthenorum*, русскихъ), и выступаетъ противъ Фротона. Эрикъ, отправленный на развѣдки, встрѣчаетъ недалеко отъ Россіи *Олимара*, командующаго флотомъ, а затѣмъ сухопутное войско подъ начальствомъ *Hun'a*. Послѣдній хочетъ схватить Эрика, но остановленъ его остроумнымъ изреченіемъ. Возвратившись, Эрикъ сооб-

¹⁾ *Saxonis Grammatici Historia Danica, recensuit P. E. Müller, pars I, p. 225 ss.*; *A. Olrik, Kilderne til Saksens Oldhistorie, B. II, S. 51 ff.*

²⁾ *Müller, ibidem, pars II, p. 161 s.*

щаетъ объ огромныхъ силахъ неприятельской флота. Въ происшедшей битвѣ русскіе терпятъ страшное пораженіе (154 9—157 9).

Сюда не вошли остроумный разговоръ Эрика съ Олимаромъ и Нип'омъ и его мудрые совѣты Фротону (154 16—29; 154 34—155 11; 155 24—39), а равно и законодательства послѣдняго (156 16—157 9), какъ несомнѣнныя черты сагъ этихъ героевъ.

III. Эрикъ рассказываетъ Фротону о необыкновенной многочисленности гуннскаго войска. Происходитъ сраженіе, въ которомъ перебита масса людей. Рѣки и поле битвы завалены трупами. На седьмой день Нип былъ убитъ, а его братъ, тоже Нип, сдѣлся Фротону (157 10—159 27).

Здѣсь удаленъ рассказъ о завоеваніяхъ, сдѣланныхъ полководцами Фротона (158 22—159 18). Онъ состоитъ изъ перечня земель, покоренныхъ ими; поэтому его вполне справедливо заподозрѣваютъ въ книжномъ происхожденіи¹⁾. Вставленъ онъ былъ съ цѣлью сообщить, что двадцать королей подчиненныхъ государствъ сражались въ рядахъ датчанъ, и такимъ образомъ объяснить, какъ Фротонъ могъ одолѣть огромныя полчища враговъ (ср. 159 18—19). Предшествующее ему сообщеніе о томъ, что гунны вымерли отъ голода, и что король ихъ долженъ былъ набирать новыя войска (157 28—158 10; 158 40—159 1), имѣетъ въ виду дать время Фротону для упомянутыхъ завоеваній; слѣдовательно, и его можно считать позднѣйшей прибавкой и отбросить, равно какъ и эпизодъ, заимствованный изъ саги о Hithin'ѣ и Hilda'ѣ (158 11—22).

Въ предыдущемъ схематическомъ пересказѣ рѣзко бросаются въ глаза слѣдующія отличія отъ H-sag'и. На мѣсто Angantyr'a, Gizurr'a и готовъ въ немъ выступаютъ Фротонъ, Эрикъ и датчане; дѣйствіе перенесено изъ Reidhgotaland'a въ Данію; битва происходитъ не на Dunheidhr'ѣ, а гдѣ-то въ Россіи (ср. 159 20—21). Спрашивается, гдѣ же сохранились исконныя имена и названія мѣсть. Такъ какъ невозможно допустить, чтобы скандинавы громкое событіе, связанное съ именемъ знаменитаго короля Фротона и Даніей, перенесли въ совершенно незнакомое имъ мѣсто Dunheidhr (оно не встрѣчается ни въ одномъ старо-сѣверномъ памятникѣ кромѣ H-sag'и) и приписали мало извѣстнымъ братьямъ, изъ которыхъ старшій управляетъ Reidhgotaland'омъ, живя въ Danparstadir, въ области Arheimar—о послѣд-

¹⁾ Olrik, Kilderne, B. II, S. 52 f.

нихъ двухъ мѣстностяхъ тоже врядли они что-либо знали—то можетъ быть данъ вполне опредѣленный отвѣтъ на поставленный вопросъ: въ V кн. Саксона мы встрѣчаемся съ приуроченіями повднѣйшаго происхожденія. Значить, до включенія изслѣдуемой редакціи нашего сказанія въ сагу Фротова, въ ней были названы соответствующія лица и мѣстности Н-sag'и (за исключеніемъ Angantyr'a: см. ниже, стр. 24 сл.).

Сравнивая полученную путемъ разбора V кн. датскаго автора редакцію съ той, которая была выяснена на основаніи изслѣдованія скандинавскаго памятника, легко замѣтить рядъ различій; сообразно нашему плану необходимо, указавъ ихъ причину, возстановить черты древнѣйшаго вида сказанія, легшаго въ основу обѣихъ редакцій.

Прежде всего, причины битвы въ нихъ различны: въ одной—споръ братьевъ изъ-за власти, въ другой—месть за дочь.

Въ разсказѣ Саксона Грамматика объ отвергнутой женѣ Фротоша отразилась, какъ уже доказано¹⁾, сага о Heidhrek'ѣ и его возлюбленной Sifk'ѣ, дочери гуннскаго короля (ср. Н-saga, 229 19—233 1): но при этомъ она была развита дальше: отецъ отвергнутой жены мститъ за нее—черта, отсутствующая въ Н-sag'ѣ²⁾. Есть полное основаніе думать, что первоначально въ послѣднемъ памятникѣ фигурировала Sifka финнской національности; потомъ, когда сага о Heidhrek'ѣ вошла въ соприкосновеніе съ сказаніемъ о боѣ, присочинена была другая наложница этого короля Sifka³⁾, дочь Hun'a и мать Hlödhr'a, чтобы сдѣлать послѣдняго сыномъ Heidhrek'a. Но въ послѣдствіи Sifka финнскаго происхожденія уступила мѣсто своей одноименной соперницѣ, и все, что о ней сообщалось—между прочимъ, и отверженіе Heidhrek'омъ—было перенесено на послѣднюю. Такимъ образомъ возникла одна Sifka гуннской національности, каковую только и знаетъ II редакція Н-sag'и. Изъ предыдущаго ясно, что причина битвы на Dunheidhr'ѣ, указанная въ «Датской Исторіи», не можетъ считаться истинной.

Въ первой изъ возстановленныхъ редакцій совершенно не упоминается бой съ русскими; намъ поэтому предстоитъ рѣшить вопросъ, встрѣчаемся ли мы здѣсь съ первоначальной чертой нашего сказанія

¹⁾ Rieger ZfdA XI, S. 205; Heinzel, S. 513, 494.

²⁾ Heinzel, тамъ же.

³⁾ Обѣ Sifk'и, дѣйствительно, выступаютъ въ I редакціи Н-sag'и (229 14—21).

или же съ позднѣйшимъ добавленіемъ. Раньше, при разборѣ Н-sag'и было указано, что помѣщенный въ ней эпизодъ о смерти Негвѳг'и, весьма вѣроятно, заступилъ мѣсто какого-то болѣе древняго разсказа о битвѣ, предшествующей главному сраженію. Если же Саксонъ сообщаетъ, что, прежде чѣмъ нанести страшное пораженіе гуннамъ, его герой вступилъ въ бой съ русскими и разбилъ ихъ, то у него, очевидно, и сохранился тотъ исконный разсказъ, о существованіи котораго выше было высказано предположеніе. Съ одной стороны, онъ занимаетъ какъ разъ соответствующее мѣсто, съ другой—видѣть въ немъ позднѣйшую прибавку нѣтъ основаній: невозможно указать причины, въ силу которой сага, послужившая источникомъ датскому историку, могла бы сдѣлать русскихъ союзниками гунновъ, особенно, въ виду того, что о дружественныхъ связяхъ этихъ народовъ не упоминается въ старо-сѣверныхъ произведеніяхъ—наоборотъ, въ Скандинавіи были въ XIII в. извѣстны сказанія о враждебныхъ столкновеніяхъ между ними (ср. Тидрекъ-сага, гл. 291—315 ¹⁾).

Сопоставляя, далѣе, разсказы обѣихъ редакцій о битвѣ, не трудно замѣтить отличія въ именахъ и отношеніяхъ предводителей гунновъ: въ Н-sag'ѣ названы Humli и его внукъ Hlödhr, у датскаго историка—Hun и его братъ, тоже Hun. Какъ объяснить эту разницу? Въ I кн. Саксона (10 30—11 5) сохранилась слѣдующая сага: Lotherus, внукъ Humblus'a I, взявъ въ плѣнъ въ бою своего брата Humblus'a II, короля даловъ, заставляеть его отказаться отъ престола, на который вступаетъ самъ. Въ этомъ разсказѣ фигурируютъ личности мионческаго происхожденія; поэтому сомнѣваться въ его древности и оригинальности не приходится ²⁾. Сравнивъ его съ эпизодомъ боя готовъ съ гуннами Н-sag'и, легко видѣть полное сходство въ именахъ. Humblus I и Lotherus—Humli и Hlödhr; только лишь вмѣсто Humblus'a II является Angantyr; но это позднѣйшая замѣна, какъ можно судить на основаніи V кн. Саксона (159 25—27), гдѣ выступаютъ совершенно не кстати, а, значить, лишь въ силу традиціи въ роли предводителей гун-

¹⁾ Въ Даніи, какъ непосредственно примыкающей къ сѣверной Германіи, откуда ведутъ свое начало источники Тидрекъ-саги, разсказы о враждѣ Аттилы и Вальдимара могли быть извѣстны гораздо раньше XIII вѣка.

²⁾ Saxonis Gramm. Hist. Danica, ed. P. E. Müller, pars II, p. 41, 43 s.; Heinzl, S. 492 f.; ср. также замѣчаніе Müllenhoff'a въ изд. Йордана (Monum. Germ. Hist., t. V, pars I, p. 143); Koegel, Geschichte der deut. Literatur, B. I, Th. I, S. 16.

новъ два Hun'a, при чемъ здѣсь вообще спутаны отношенія дѣйствующихъ лицъ: Hun (=Humbus II), занялъ мѣсто Lotherus'a и сталъ братомъ Hun'a-короля (=Humbus I). Указанная замѣна Humbus'a II Angantyr'омъ объясняется обычаемъ скандинавовъ удерживать въ роду одно и то же имя¹⁾: среди потомковъ Angrim'a, исторію которыхъ малагаетъ Н-saga, было два Angantyr'a; когда же вмѣстѣ съ присоединеніемъ сказанія о знаменитой битвѣ появился въ лицѣ Humbus'a II еще одинъ членъ рода, то на него перенесли съ теченіемъ времени, въ силу указанной привычки, имя, которое носили двое изъ его предковъ.

Изъ предыдущаго выходитъ, что дѣйствующія лица нашего сказанія имѣли совершенно тѣ же имена, что и короли дановъ, о которыхъ сообщается въ I кн. Саксона. Такъ какъ подобное совпаденіе невозможно объяснить простой случайностью—противъ нея говоритъ также необычность имени Hlödhr (=Lotherus), которое встрѣчается изъ старосѣверныхъ произведеній только въ Н-sag'ѣ²⁾—и такъ какъ переданная въ I кн. «Датской исторіи» saga исконна и оригинальна, то, значитъ, битва на Dunheidhr'ѣ была впоследствии приурочена къ именамъ упомянутыхъ королей³⁾. Причина этого явленія—сходство въ мотивахъ (борьба братьевъ изъ-за власти), а также, вѣроятно, въ имени короля гунновъ, которое въ древнѣйшей редакціи саги имѣло форму Hun, какъ можно думать на томъ основаніи, что послѣдняя представляетъ собой названіе указанного народа (Hun изъ Húnn=гунны): а подъ этимъ именемъ, конечно, могъ издавна слѣть его правитель (ср. Dan, Angul и т. п.). Изъ предыдущаго видно, что въ нашихъ источникахъ сохранились лишь заимствованныя изъ датской генеалогіи имена враждующихъ братьевъ; какъ они назывались въ первоначальномъ сказаніи, остается для насъ неизвѣстнымъ⁴⁾.

¹⁾ Weinhold, Altnordisches Leben. Berlin 1856. S. 264, 266 ff.

²⁾ Heinzel, S. 491.

³⁾ Если А. Olrik утверждаетъ (Kilderne til Saksens Oldhistorie, B. II, S. 140f.), ссылаясь на Гейнца, что сообщенная изъ I кн. Саксона saga er en ringe levning af den store Kamp mellem Hunner og Goter, о которой разсказывается Н-saga, то это доказываетъ лишь только слабое его знакомство съ работой вѣнскаго профессора; ср. Heinzel, S. 492 f., гдѣ уважаемый ученый съ обычной обстоятельностью приводитъ мнѣніе о самостоятельности данной саги.

⁴⁾ Встрѣчающіяся въ Widsidh'ѣ имена: Hlödhe и Incgenthéow (=Hlödhr и Angantyr) не могутъ служить возраженіемъ противъ подобнаго заключе-

На основаніи всѣхъ соображеній, изложенныхъ въ настоящей главѣ, древнѣйшая редакція нашего сказанія представляется въ такомъ видѣ:

I. По соглашенію со своимъ дѣдомъ внукъ Нун'а, короля *Hunaland'a* является въ столицу *Reidhgotaland'a Danparstadhir* въ области *Arheimar* и выражаетъ передъ своимъ братомъ, королемъ готовъ, притязаніе на половину владѣній, на драгоценныя предметы и, вѣроятно, на готскій престолъ; но, получивъ отказъ и оскорбленный прозвищемъ «сынъ рабыни», даннымъ ему *Gizurr'омъ Grytingalidhi*, возвращается къ своему дѣду.

II. Узнавъ объ оскорбленіи внука, Нунъ страшно разгнѣванъ; намѣреваясь подчинить готское царство, ниспровергнуть короля и возвести на престолъ внука, онъ вмѣстѣ съ послѣднимъ собираетъ огромное войско и, заключивъ союзъ съ королемъ¹⁾ русскихъ, черезъ лѣсъ *Murkvidhr* вторгается въ землю готовъ.

III. *Gizurr* отправляется на развѣдки, и, возвратившись, сообщаетъ о многочисленности непріятельскаго войска. Въ происшедшей битвѣ русскіе терпятъ страшное пораженіе²⁾.

IV. По вызову своего короля *Gizurr* отправляется навстрѣчу гуннамъ и назначаетъ имъ мѣсто боя на *Dunheidhr'ѣ* и на всѣхъ *Jösur-fjöll*, произнесся заговоръ о ихъ пораженіи: его хотять схватить, но онъ удачно избѣгаетъ опасности.

V. Собравъ большое войско, король готовъ встрѣчается съ гуннами въ условномъ мѣстѣ. Битва длится 7 дней³⁾. Наконецъ, палъ Нунъ и его внукъ⁴⁾; гунны бѣжали; рѣки и долины завалены трупами. Король готовъ жалуется на судьбу, сдѣлавшую его убійцей брата.

Теперь остается указать историческое событіе, послужившее основой восстановленному сказанію.

.....
нія, такъ какъ англо-саксонскій памятникъ знаетъ наше сказаніе въ позднѣйшей редакціи (см. выше, стр. 19 прим.).

¹⁾ Врядъ ли имя *Olimagus* исконно; скорѣе оно представляетъ искаженіе позднѣйшаго *Waldimarus*, какъ справедливо полагаетъ *Heinzel*.

²⁾ Сомнительно, чтобы въ первоначальномъ сказаніи битва съ русскими происходила на морѣ; королю готовъ, правящему въ области Днѣпра, не было возможности сражаться на морѣ; поэтому, здѣсь можно видѣть позднѣйшую поправку, явившуюся слѣдствіемъ перенесенія дѣйствія въ Данію.

³⁾ Предпочитаю семь дней (по Саксону) восьми (по *H-sag'ѣ*): семь—эпическое число.

⁴⁾ Впрочемъ, судя по Саксону, одинъ изъ предводителей гунновъ могъ остаться въ живыхъ.

4. Историческая основа сказанія о боѣ готовъ съ гуннами.

Въ XLVIII г. Иордана помѣщенъ слѣдующій разсказъ:

Et quia, dum utrique gentes, tam Ostrogothae quam etiam Vesegothae, in uno essent, ut valui, maiorum sequens dicta revolvi divisosque Vesegothas ab Ostrogothis ad liquidum sum prosecutus, necesse nobis est iterum ad antiquas eorum Scythicas sedes redire et Ostrogotharum genealogia actusque pari tenore exponere. quos constat morte Hermanarici regis sui, decessione a Vesegothis divisos, Hunnorum subditos dicióni, in eadem patria remorasse, Vinitario tamen Amalo principatus sui insignia retinente. qui avi Vultulfi virtute imitatus, quamvis Hermanarici felicitate inferior, tamen aegre ferens Hunnorum imperio subiacerere, paululum se subtrahens ab illis suaque dum nititur ostendere virtute, in Antorum fines movit procinctum, eosque dum adgreditur, prima congressione superatus deinde fortiter egit, regemque eorum Boz nomine cum filiis suis et LXX primatibus in exemplum terroris adfixit, ut dediticiis metum cadavera pendentium geminarent. sed dum tali libertate vix anni spatio imperasset, non est passus Balamber, rex Hunnorum, sed ascito ad se Gesimundo, Hunnimundi magni filio, qui iuramenti sui et fidei memor cum ampla parte Gothorum Hunnorum imperio subiacebat, renovatoque cum eo foedere super Vinitharium duxit exercitum: diuque certati primo et secundo certamine Vinitharius vincit. nec valet aliquis commemorare, quanta strage de Hunnorum Venetharius fecit exercitu. tertio vero proelio subreptionis auxilio ad fluvium nomine Erac, dum utrique ad se venissent, Balamber sagitta missa caput Venetharii saucians interemit... (121 11—122 6).

Этотъ разсказъ, взятый самъ по себѣ, не вполне ясенъ; талантливый авторъ изслѣдованія: «Короли германцевъ» толкуеть его такимъ образомъ: Es ist nicht leicht den politischen Sinn, den geistigen Zusammenhang dieser Vorhänge zu erkennen aus der ungenügenden Darstellung des Jordanis. Wahrscheinlich war die innere Verkettung der Dinge diese. Nach Ermanarichs Tod wurde König der Ostgothen dessen Grossneffe Winithar... Mit Ermanarichs Tod war noch nicht Alles verloren: es scheint, dass die Herrschaft der Hunnen entweder nur erst von einem Theil des Gothenvolkes oder, wenn schon von dem ganzen Volk, doch nur in der glimpflichen Gestalt eines ungleichen

Bündnisses anerkannt war. Der neue König war den Feinden noch nicht ganz unterworfen, und er suchte nun offenbar den Rest von Unabhängigkeit zu wahren, zu vermehren. Er bereitete durch Kriegsthaten eine Erhebung vor, das hunnische Joch völlig wieder abzuwerfen. Gegen diese Bestrebungen des Gothenkönigs bedienen sich nun die Hunnen einer anderen Linie der Amaler. Hunimund, der Sohn des Greises Ermanarich, hatte sich, mit seinem Sohn Sigismund, euger als König Winithar an die Hunnen geschlossen: er musste als Sohn seines gefeierten Vaters grossen Anhang und Einfluss im Volke haben, er musste als das Haupt derjenigen erscheinen, welche, freiwillig oder gezwungen, sich den Siegern völlig unterworfen. Mit ihm schloss jetzt der Hunnenfürst eine noch engere Verbindung; sie war gegen den König und die nationale Parthei der Gothen gerichtet: vielleicht ward ihm unter Benützung der Unbestimmtheit der germanischen Kronfolge zugesagt, er solle das Reich seines grossen Vaters erhalten, wenn der Nebenbuhler beseitigt wäre. Wenigstens war diess, nach der Vollendung des Plans, der Lohn des Gehülfen¹⁾. Необходимо еще добавить, что, по мнѣнію автора, Sigismund (=Gesimund) могъ пасть въ битвѣ противъ Винитара²⁾.

Вполнѣ присоединяясь къ этому толкованію, я долженъ только исправить нѣкоторую неточность, вкрашуюся въ него. Отнеся, вѣроятно, по недосмотру въ выраженіи: *renovatoque cum eo foedere* слова: *cum eo* къ Гунимунду (ср. S. 58, Anm.)—въ дѣйствительности они относятся къ Гесимунду—Данъ приписалъ ему важнѣйшую роль въ сношеніяхъ съ гуннами; между тѣмъ изъ словъ Юрдана непосредственно видно, что главнымъ дѣйствующимъ лицомъ былъ въ данномъ случаѣ Гесимундъ; Гунимундъ же, можно думать, тоже стоялъ на сторонѣ гунновъ, но не прибѣгалъ къ рѣшительному образу дѣйствій, предоставивъ это сыну; а югда послѣдній палъ въ битвѣ, и гунны, наконецъ, одолѣли готовъ, онъ, воспользовавшись благоприятными обстоятельствами, какъ отецъ чловѣка, оказавшаго значительныя услуги Баламберу и какъ самый знатный сторонникъ гунновъ, занялъ готскій престоль, обѣщанный Гесимунду³⁾.

¹⁾ Dahn, Die Könige der Germanen, Abth. II, München 1861, S. 58 f.

²⁾ Тамъ же, S. 60, Anm. 2.

³⁾ Какъ извѣстно, въ своемъ изданіи Юрдана Mommsen предложилъ исправить текстъ готскаго историка, благодаря чему Гесимундъ становится сыномъ Эрманарика и отцомъ Гунимунда, на слѣдующихъ основаніяхъ: Huni-

Сопоставляя восстановленное въ древнѣйшемъ видѣ сказаніе о гото-гуннской битвѣ съ свидѣтельствомъ Иордана въ освѣщеніи Дана, наталкиваешься на цѣлый рядъ параллелей, доказывающихъ генетическую зависимость названнаго сказанія отъ событій, описанныхъ готскимъ историкомъ.

Мѣсто пребыванія готовъ въ сагѣ и въ разсказѣ Иордана одно и то же: они живутъ въ бассейнѣ рѣки Днѣпра (Иорданъ, 65 5—66 8); если же страна ихъ именуется въ сказаніи *Agrheimar* (= рѣчная область), то, весьма вѣроятно, подобное названіе въ виду созвучія и сходства значеній возникло изъ **Varheimar*, гдѣ *Var*—гунское названіе Днѣпра (*ibid.* 127 20; собств. = рѣка, *ibid.*, p. 159)¹⁾.

Имена: *Hun* и *Hunimund*—тождественны: первое представляетъ сокращенную форму второго²⁾, которая потомъ, благодаря совпаденію съ названіемъ народа (*Húnn*=гуннъ³⁾), позволила увидѣть въ *Hun* героя-эпонима гунновъ (по аналогіи съ другими эпонимными легендами, извѣстными въ Скандинавіи).

Событія точно также весьма сходны. И въ исторіи, и въ сагѣ родственникъ короля готовъ—Гесимундъ былъ троюродный братъ Винитара—по соглашенію съ королемъ гунновъ, намѣревается занять готскій престолъ; и тамъ и здѣсь планы короля гунновъ одни и тѣ же: Баламберъ, подобно *Hun*'у, хотѣлъ покорить готовъ, удалить ихъ повелителя и возвести на его мѣсто его родственника; въ сказаніи, какъ и въ сообщеніи Иордана, для осуществленія этихъ плановъ король гунновъ и его союзникъ должны были вступить въ борьбу съ гот-

dum cum propter formam celebrent et Iordanes (et ipse Cassiodorius, iuvenis regnare coeperit necesse est; at Ermanaricus, cum diem obierit annos natus (X, filium adolescentem vix post se reliquit, deinde, quod narrat Iordanes p. 121: Hunnos, ut Vinitharium regno pellerent, Gesimundum adscivisse, Hunimundi magni filium, devicto Vinithario et defuncto Gothis praefuisse Hunimundum, ratione caret (p. 143—144).—Что касается перваго соображенія, то оно звучитъ чрезвычайно странно, особенно, въ устахъ знаменитаго историка: кто не знаетъ, что такія прозвища, какъ красивый, лысый, святой и пр., отличаются чрезвычайной устойчивостью,—потомство прилагаетъ ихъ ко всемъ возрастамъ ихъ носителей, не заботясь, подходятъ ли они или нѣтъ. Это общезвѣстное обстоятельство въ корнѣ подрываетъ соображеніе Mommsen'a, такъ что я не считаю нужнымъ приводить многія другія возраженія. Второе же основаніе не приходится опровергать, такъ какъ издатель не выяснилъ, почему сообщеніе Иордана ratione caret.

¹⁾ Иное объясненіе въ *Antiquités russes*, t. I, p. 112.

²⁾ Ср. Stark, *Die Kosenamen der Germanen*, Wien 1868, S. 15 ff.

³⁾ Förstemann, *Altdeutsches namenbuch*, B. I, 1856, S. 757.

скимъ королемъ, но потерпѣли жестокое пораженіе въ продолжительной и очень кровавой битвѣ (ср. *diuque certati primo et secundo certamine Vinitharius vincit. nec valet aliquis commemorare, quanta strage de Hunnorum Venetharius fecit exercitu*), при чемъ родственникъ короля готовъ палъ въ бою¹⁾.

Что касается различій между исторіей и сагой, то они находятъ вполне удовлетворительныя объясненія.

По исторіи Гесимундъ, сынъ Гунимунда, былъ троюродный братъ Винитара: въ сказаніи же внукъ Нип'а (соотвѣтствующаго Гунимунду)—родной братъ короля готовъ. Такое измѣненіе въ родственныхъ отношеніяхъ дѣйствующихъ лицъ произошло, вѣроятно, тогда, когда наше сказаніе примкнуло къ сагѣ о датскихъ короляхъ, гдѣ враждующіе *Lothegis* и *Humbles II*—родные братья и внуки *Humbles'a I*.

Если Гунимундъ, Амаль по происхожденію, сталъ въ народной фантазіи королемъ гунновъ, то такой пережвѣтъ національности могла способствовать связь его съ Баламберомъ, на сторонѣ котораго онъ стоялъ, а также его имя, сходное въ сокращенной формѣ съ названіемъ упомянутаго народа. Когда отецъ (впослѣдствіи дѣдъ) Гесимунда сталъ гуннскимъ королемъ, то, само собою разумѣется, исчезло воспоминаніе о политическомъ союзѣ между ними: близкое родство вполне объясняло помощь, оказанную однимъ изъ нихъ другому.

Сообщалось ли о смерти Нип'а въ первоначальной сагѣ или нѣтъ, сказать трудно (см. выше, стр. 26, прим. 4); во всякомъ случаѣ, если и сообщалось, то такое уклоненіе отъ исторіи вполне объясняется обычнымъ приѣмомъ эпоса, въ силу котораго врагъ-побѣдитель часто

¹⁾ Если даже отрѣшиться отъ толкованія Дана и строго придерживаться текста Иордана, то все-таки сходство между рассказомъ готскаго автора и сагой настолько значительно, что вполне подтверждаетъ наше мнѣніе о происхожденіи интересующаго насъ сказанія. Въ сагѣ и въ исторіи мы находимъ слѣдующія общія черты: мѣсто пребыванія готовъ, имя Нип (= Нунимунд), связь гунновъ съ родственникомъ готскаго короля въ борьбѣ противъ послѣдняго, намѣреніе короля гунновъ окончательно подчинить готовъ и, какъ результатъ этого намѣренія, кровавое и продолжительное сраженіе, побѣда готовъ, наконецъ, пораженіе славянъ росомоновъ королемъ готовъ, предшествующее битвѣ съ гуннами (ср. ниже). Положивъ же въ основу своего изложенія толкованіе Дана, я руководился такимъ соображеніемъ: само по себѣ объясненіе этого ученаго весьма вѣроятно; совпаденія же его съ сказаніемъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ настолько поразительны, что видѣть въ нихъ, особенно въ виду отмѣченнаго сейчасъ сходства саги съ свидѣтельствомъ Иордана, одну лишь случайность невозможно.

оказывается побѣжденнымъ и убитымъ (ср., напр., Батыгу, Тугарина, татаръ вообще и пр. въ русскихъ былинахъ).

Двѣ битвы, въ которыхъ по исторіи гунны потерпѣли поражение, въ народной фантазіи легко могли слиться въ одну очень продолжительную.

У Иордана нѣтъ личности, соответствующей *Gizurg'u*; но подобное обстоятельство не можетъ служить препятствіемъ къ принятію нашего мнѣнія: въ крайне сжатомъ разсказѣ готскаго историка не могли быть упомянуты даже всѣ важнѣйшія лица и эпизоды изображеннаго имъ событія. Между тѣмъ, присутствіе при германскомъ королѣ такого вѣрнаго человѣка, какъ *Gizurg*, явленіе обычное, нашедшее себя не разъ даже отраженіе въ эпосѣ (ср. Гесимунда, Гильдебранда, Берхтера и др.). Кромѣ того, прозвище *Grytingalidhi* тѣсно связываетъ *Gizurg'a* съ эпохой пребыванія готовъ въ Ю. Россіи (ср. выше, стр. 8).

Если братъ готскаго короля названъ сыномъ рабыни, то въ этомъ нельзя еще видѣть отступленія отъ исторіи: при развитомъ тогда конкубинатѣ Гесимундъ, дѣйствительно, могъ быть сыномъ какой-нибудь несвободной женщины.

Въ нашемъ сказаніи ничего не говорится о смерти готскаго короля, но этого нельзя считать позднѣйшимъ видоизмѣненіемъ преданій объ упомянутыхъ выше событіяхъ: эпическія пѣсни о кончинѣ Винитара, которую онъ нашелъ уже послѣ пораженія гунновъ, могли и не войти въ интересующую насъ сагу; а, можетъ быть, таковыхъ и совсѣмъ не было.

Что касается детальныхъ разсказовъ о посѣщеніи готскаго короля братомъ и требованіяхъ послѣдняго, о гнѣвѣ Нун'а во поводу оскорбленія внука, собраніи гуннскаго войска, развѣдкахъ *Gizurg'a*, указаніяхъ имъ поля битвы, его заговорѣ, грозившей ему опасности и жалобѣ короля готовъ на судьбу—то въ нихъ не приходится искать непрямо отголосковъ историческихъ событій. Конечно, нѣчто подобное тому, о чемъ они сообщаютъ, могло имѣть мѣсто въ дѣйствительности, хотя и не сохранено исторіей, какъ мелочи; но съ такимъ же успѣхомъ могло быть и создано народной фантазіей, которая, не любя отвлеченныхъ сообщеній, стремится все изображать конкретно. Поэтому притязаніе Гесимунда на престолъ она представила въ видѣ посѣщенія готскаго короля братомъ, предъявляющимъ широкія требованія, а причину столкновенія двухъ народовъ—въ полученномъ имъ

отказъ и оскорбленіи; прежде чѣмъ говорить о вторженіи гунновъ, она описала снаряженіе войска; встрѣчу враговъ на *Dunheidihr'* она объяснила вызовомъ *Gizurg'a* и пр.:

Въ предыдущемъ были указаны черты сходства саги съ свидѣтельствомъ Иордана о Винитарѣ и выяснены причины различія между ними. Одинъ лишь эпизодъ боя съ русскими остался въ сторонѣ, и ему не была подыскана соответствующая параллель въ исторіи; но это было сдѣлано съ умысломъ: онъ представляетъ такой крупный интересъ, что его необходимо рассмотреть особо.

Разсказъ Иордана о нападеніи Винитара на Антовъ, взятый самъ имъ себѣ, представляетъ много неяснаго. Прежде всего, крайне сомнительно, чтобы сообщенная въ немъ причина (*suaque dum nititur ostendere virtute*) могла имѣть мѣсто въ дѣйствительности: неужели серьезный правитель, мечтавшій уничтожить совершенно зависимость отъ гунновъ, могъ затѣвать войну съ единственной цѣлью обнаружить свою храбрость? Да и какимъ образомъ можно было доказать свою воинскую доблесть, сражаясь противъ славянъ, которые по словамъ Иордана (88 19—20) были *armis despecti et inbelles*? Скорѣе всего, указанная причина похода была придумана самимъ Иорданомъ (или, еще раньше, Кассіодоріемъ), который не былъ въ состояніи возстановить связи между событіями. Попробуемъ сдѣлать это сами.

Вотъ факты, въ дѣйствительности которыхъ нельзя сомнѣваться: Винитаръ хочетъ освободиться отъ власти гунновъ, нападаетъ на антовъ и, побѣдивъ ихъ, поступаетъ съ ними очень жестоко; Баламберъ не сноситъ этого и начинаетъ войну противъ Винитара. Подобная послѣдовательность событій позволяетъ думать, что они находились и въ причинной зависимости между собой: очевидно, анты, покоренные еще при Эрманарикѣ (88 21—89 3), перешли на сторону гунновъ—другую причину нападенія на подданныхъ и тяжкаго ихъ наказанія въ данномъ случаѣ трудно указать: Винитаръ же, дѣйствуя, какъ самостоятельный правитель (что вполне согласовалось съ его намѣреніями), нападаетъ на славянъ и подвергаетъ ихъ, какъ измѣнниковъ, достойному наказанію; король гунновъ въ свою очередь выступаетъ на защиту своихъ союзниковъ, имѣя въ виду вмѣстѣ съ тѣмъ окончательно покорить готовъ (ср. выше).

Въ одной изъ предыдущихъ главъ сочиненія готскаго историка (91 10—92 4) сохранилось упоминаніе о происшествіи, которое, весьма вѣроятно, находится въ связи съ разсказанными только-что событіями.

Во время вторженія гунновъ Эрманарикъ приказалъ казнить женщину, принадлежащую къ *Rosomonorum genti infidae, pro mariti fraudulento discessu*, т. е. за измѣнническое отпаденіе (политическое) ея мужа ¹⁾. Вскорѣ послѣ этого знаменитый король умеръ ²⁾, и росомоны остались, конечно, безнаказанными. Если же изъ дальнѣйшаго разсказа о судьбахъ готовъ мы узнаемъ, что непосредственный пріемникъ Эрманарика, вступивъ на престолъ, прежде всего нападаетъ на антовъ, и, побѣдивъ, жестоко расправляется съ ними, то съ большой долей вѣроятности можно видѣть въ росомонахъ народъ славянскаго племени ³⁾ антовъ, который, перейдя на сторону гунновъ при ихъ вторженіи, не получилъ возмездія за это вслѣдствіе смерти великаго монарха, но который тѣмъ болѣе заплатился при новомъ королѣ, видѣвшемъ первую задачу своего правленія въ достойномъ наказаніи измѣнниковъ.

Итакъ, на основаніи предыдущихъ соображеній можно считать установленнымъ, что Вияитаръ, прежде чѣмъ нанести пораженіе гуннамъ, побѣдилъ славянъ росомоновъ, перешедшихъ на ихъ сторону. Значительное сходство съ этимъ историческимъ событіемъ обнаруживаетъ эпизодъ битвы съ русскими, сохранившійся въ нашемъ сказаніи. Здѣсь тоже готскій король, прежде чѣмъ разбить гунновъ, вступаетъ въ битву съ русскими, ихъ союзниками, и одолеваетъ ихъ. Русскіе заступили мѣсто росомоновъ, вѣроятно, уже въ Скандинавіи, куда сага занесла еще первое имя, какъ можно судить на основаніи названія *Rosmofjöll*, сохраненнаго въ *Atlakv.* 19 ⁴⁾. Но обусловлена ли эта замѣна только лишь созвучіемъ или и тожествомъ самихъ народовъ, къ сожалѣнію, рѣшить этотъ вопросъ на основаніи имѣющихся

¹⁾ Вопросъ о смыслѣ этого выраженія породилъ споръ между учеными; теперь, однако, предложенный переводъ можно считать вполне доказаннымъ, см. Jiriczek, *Deutsche Heldensagen*, B. I, S. 58 f.; ср. Symons, *Grundriss*, B. III, S. 683.

²⁾ Я оставляю въ сторонѣ вопросъ о причинѣ его смерти, которую изображаютъ различно Иорданъ и Амміанъ Марцеллинъ. Замѣчу только, что въ основѣ саги, переданной Иорданомъ, можетъ лежать (Symons, *Grundriss*, B. III, S. 684) истинное происшествіе.

³⁾ Heinzel (S. 566) считаетъ росомоновъ тоже народомъ славянскаго племени, хоть и на другомъ основаніи. Среди многочисленныхъ попытокъ объяснить названіе и національность росомоновъ укажу извѣстныя мнѣ: Bugge, *AfnF* I, S. 2 ff.; Grienberger, *ZfdA* XXXIX, S. 159 Anm.; Koegel, *Geschichte der deutschen Litteratur*, B. I, Th. I, S. 148; Веселовскій, Ж. М. Н. П. 1889, июль, стр. 2 сл.; Grimm, *Geschichte der deutsch. Sprache*, Leipzig 1880, S. 519 f.

⁴⁾ Bugge, *AfnF* I, S. 11 ff.; Веселовскій, Ж. М. Н. П., 1889, июль, стр. 2 сл.

данных невозможно. Въ пользу послѣдняго мнѣнія говорить до нѣкоторой степени принадлежность росомоновъ къ славянскому племени.

Отсутствіе въ сагѣ нѣкоторыхъ подробностей, сохранныхъ исторіей (измѣна росомоновъ и жестокое ихъ наказаніе) объясняется просто забвеніемъ.

Итакъ, на основаніи предыдущаго изслѣдованія можно считать доказанной генетическую зависимость скандинавскаго сказанія о боѣ готовъ съ гуннами отъ историческихъ преданій о Винитарѣ: замѣчаемая между ними совпаденія въ названіяхъ и ходѣ событій нельзя считать случайными, а различія получаютъ вполне естественныя объясненія.

5. Заключение.

На основаніи предыдущаго изслѣдованія исторія сказанія о боѣ готовъ съ гуннами можетъ быть представлена въ такомъ видѣ.

Событія, о которыхъ рассказываетъ Иорданъ въ приведенномъ отрывкѣ, послужили основой пѣсенъ и рассказовъ: смѣлая борьба Винитара противъ ненавистнаго для большинства готовъ ига гунновъ не могла не встрѣтить отклика въ устахъ пѣвца, особенно—у народа, среди котораго процвѣтало эпическое творчество. Но, конечно, въ этихъ пѣсняхъ и рассказахъ историческіе факты не могли найти вполне точнаго отраженія: своеобразное ихъ освѣщеніе и дальнѣйшія видоизмѣненія, которымъ вообще подвержены поэтическія созданія народнаго духа, рано уже должны были породить различія между дѣйствительными происшествіями и возникшимъ на почвѣ ихъ сказаніемъ. Сюда относятся тѣ эпизоды, которые, какъ было уже упомянуто раньше (стр. 31), явились результатомъ стремленія излагать все конкретно¹⁾, а также рассказъ о семидневной кровавой битвѣ: такое гиперболическое изображеніе (оно сквозитъ уже у Иордана), свойственное эпосу различныхъ народовъ (см. выше, стр. 4), могло служить большему прославленію Винитара, любимаго героя-борца за свободу. Во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ готское сказаніе осталось вѣрно исторіи. Схематически его можно представить такъ.

¹⁾ Исключеніе составляютъ лишь рассказы о заговорѣ Gizurr'a и грозившемъ ему плѣненіи, которые, какъ показываютъ параллели изъ другихъ сагъ, чисто скандинавскаго происхожденія, а также о гнѣвѣ Hun'a по поводу оскорбленія внука (см. ниже).

I. Винитаръ, король готовъ, вторгается въ землю росомоновъ, народа славянскаго племени, перешедшихъ на сторону гунновъ при Эрманарикѣ, и, несмотря на превосходство ихъ силъ, о которомъ сообщаетъ ему бывший на развѣдкахъ Gizurr, побѣждаетъ ихъ, а затѣмъ подвергаетъ тяжкому наказанію, какъ измѣнниковъ.

II. Заключивъ союзъ съ королемъ гунновъ Баламберомъ, Гесимундъ, сынъ Гуннмунда, является въ столицу готовъ, Днѣпровскій городъ въ области рѣки Var'a, и выражаетъ передъ своимъ родственникомъ Винитаромъ притязанія на самые цѣнные предметы и на готскій престолъ; но получивъ отказъ и оскорбленный прозвищемъ „сынъ рабыни“, даннымъ ему (Gizurr'омъ Grytingalidhi¹⁾), возвращается къ повелителю гунновъ.

III. Узнавъ объ отказѣ, Баламберъ рѣшаетъ силой привести въ исполненіе намѣренія покорить готовъ, удалить самовластнаго Винитара и возвести на престолъ своего союзника Гесимунда; съ этой цѣлью онъ вмѣстѣ съ послѣднимъ собираетъ огромное войско и черезъ пограничный темный лѣсъ вторгается въ землю готовъ.

IV. По вызову своего короля Gizurr отправляется навстрѣчу гуннамъ и назначаетъ имъ мѣсто боя на Dunheidhr'ѣ и на всѣхъ Jösurfjöll.

V. Собравъ большое войско, Винитаръ встрѣчаетъ гунновъ въ условномъ мѣстѣ. Битва длится 7 дней. Наконецъ, палъ Гесимундъ. Гунны бѣжали. Рѣки и долины завалены трупами. Винитаръ жалуется на судьбу, сдѣлавшую его убійцей родственника.

Въ такомъ видѣ наше сказаніе было занесено въ Скандинавію вмѣстѣ съ другими эпическими произведеніями готовъ въ VI в. ²⁾, какъ можно судить на основаніи близкаго сходства сѣверной саги съ исторіей и упоминанія въ ней гревтуновъ.

Такъ какъ сѣверные германцы не могли имѣть яснаго представленія объ историческихъ событіяхъ, легшихъ въ основу данной саги и о предшествовавшихъ, тѣсно связанныхъ съ послѣдними, то у нихъ произошли дальнѣйшія ея видоизмѣненія, благодаря которымъ фактическія данныя подверглись значительнымъ искаженіямъ.

¹⁾ Конечно, въ готскомъ сказаніи имя Gizurr'a и названія мѣсть звучали иначе; но какъ именно, мы этого не знаемъ; поэтому я сохраняю формы, засвидѣтельствованныя старосѣвернымъ памятникомъ.

²⁾ Mogk въ Forschungen zur deutschen Philologie, Leipzig, 1894, S. 1 f.; ср. его же, Grundriss, B. II, S. 558, 624.

Hun заступилъ мѣсто Баламбера, вслѣдствіе чего отпало представленіе о политическомъ союзѣ между нимъ и Гесимундомъ; въ связи съ этой замѣной возникъ также рассказъ о гнѣвѣ гуннскаго короля по поводу оскорбленія сына (впослѣдствіи внука). Кромѣ того, явилось представленіе о смерти гуннскаго короля въ битвѣ.

Истинныя отношенія росомоновъ къ готамъ и гуннамъ были значительно упрощены: они стали союзниками послѣднихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ угасло воспоминаніе о ихъ жестокомъ наказаніи.

Названіе *Varheimar* было замѣнено созвучнымъ и болѣе понятнымъ *Arheimar*, а имя росомоны—сходнымъ и болѣе извѣстнымъ русскіе.

Былъ присочиненъ рассказъ о заговорѣ *Gizurt'a* и о грозившемъ ему плѣнѣ.

Наконецъ, въ сагу проникли имена датскихъ королей (*Humblus I* и *II* и *Lotherus*), вытѣснившія старья, историческія (*Винитаръ*, *Гесимундъ* и *Hun*); при этомъ произошло также измѣненіе въ родственныхъ отношеніяхъ дѣйствующихъ лицъ: враждующіе родственники стали братьями, а гуннскій король—дѣдомъ одного изъ нихъ. Въ связи съ этимъ возникъ рассказъ о требованіи братомъ готскаго короля законной половины наслѣдства, благодаря чему и произошла отмѣченная выше (стр. 17 сл.) несообразность: съ ясно выраженнымъ требованіемъ половины стоятъ въ противорѣчій другія его притязанія.

Возникшую такимъ образомъ редакцію можно вполнѣ представить, если въ схему, сообщенную въ концѣ 3-й главы, вставить соотвѣтствующія имена датскихъ королей.

Эта редакція и послужила источникомъ для *H-sag'*и. При соединеніи ея съ другими сказаніями, вошедшими въ названный памятникъ, братья стали сыновьями *Heidhrekr'a*; имя *Humblus II* было замѣнено *Angantyr'омъ*; королю готовъ было приписано обладаніе мечемъ *Tyrfingr'омъ*; наконецъ, былъ присочиненъ эпизодъ о смерти *Hervör'y* въ бою съ гуннами, вытѣспившій рассказъ о битвѣ съ русскими.

Въ такомъ видѣ наше сказаніе стало извѣстнымъ автору *Widsidh'a*, позаимствовавшему изъ него имена: *Hlithe*, *Incgentheow*, *Heathoric*, *Wyrmhere*.

Что касается редакціи, которая вошла въ составъ саги о Фротонѣ, то она отличалась нѣсколько отъ легкой въ основу *H-sag'*и: хотя и она примкнула къ сагѣ о датскихъ короляхъ, но въ ней удержалась первоначальная форма имени *Hun* (см. *Humblus*). Кромѣ того,

въ ней отсутствовало упоминаніе о смерти гуннскаго короля въ битвѣ. Соединившись съ сагой Фротона, она подверглась искаженіямъ: была введена новая причина столкновенія двухъ народовъ—месть за отвергнутую дочь; въ родственныхъ отношеніяхъ произошла путаница: внукъ Нун'а сталъ его братомъ, которому дано было имя Нун (вм. Lothegrus); гуннскій король былъ представленъ сраженнымъ въ битвѣ вмѣсто своего брата (прежде—внука); Humblus II и Gizugg были замѣнены Фротономъ и Эрикомъ; дѣйствіе перенесено въ Данію и Россію¹⁾.

Въ такомъ видѣ наше сказаніе послужило источникомъ для датскихъ хроникъ.

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ выразить глубокую благодарность многоуважаемымъ профессорамъ Лейпцигскаго университета: А. Лескину—за содѣйствіе въ полученіи книгъ изъ университетской библіотеки, Е. Могку и Э. Сиверсу—за разрѣшеніе пользоваться библіотекой германскаго института.

И. Шаревольскій.

Лейпцигъ.
1/14 мая 1904 г.

¹⁾ Изложилъ исторію сказанія о боѣ готовъ съ гуннами, слѣдовало бы рѣшить вопросъ о происхожденіи мѣстныхъ названій, сохраненныхъ Н-sag'ой (Dunheidhr, Danparstadihr и др.); но вопросъ этотъ настолько труденъ и вмѣстѣ съ тѣмъ интересенъ, что авторъ предполагаетъ посвятить ему особую статью. Замѣтимъ только, что добытые въ данной работѣ результаты заставляютъ искать соотвѣтствующія мѣста въ Южной Россіи.

Изъ исторіи заимствованныхъ словъ и переводныхъ повѣстей.

I.

Договоръ Игоря съ греками 945 года, представляющій, какъ извѣстно, переводъ съ греческаго, — имѣеть рядъ варяжскихъ личныхъ собственныхъ, повидимому, именъ въ обычномъ ихъ славяно-русскомъ произношеніи. Между ними бросаются въ глаза немногія имена съ звукомъ *ш*, чуждымъ древне-сѣверному языку: *Шихъберигъ* (Лаврентьевскій списокъ лѣтописи) или *Шигоберигъ* (Ипатскій списокъ), *Шибридь*, *Каршевь*, находящіяся рядомъ съ многочисленными именами съ звукомъ *с*: *Сфандръ*, *Стегги*, *Прастѣнъ*, *Фуретѣнъ* и др. Ихъ древне-сѣверные прототипы имѣють звукъ *с*: шведск. *Sighjorn*, руннич. *Sihbiarn*, *Sikbiarn*; шведск. *Sigfridhr*; шведск. *Karlsefni*. Кіевская и галицко-волинская лѣтописи даютъ намъ личное имя (первая воеводы, вторая князя) *Шварпъ*, *Шварно*, объясняемое изъ шведскаго имени *Svagn*¹⁾. Печерскій Патерикъ рассказываетъ о дружинникѣ Ярослава I варягѣ *Шимонѣ*. Его имя по древне-сѣверному должно было звучать *Simon* (христіанское имя). Договоръ Смоленска съ Рюгою 1229 года имѣеть два нѣмецкихъ названія городовъ съ *ш* и *ж*: *Кашель* *Kassel*, *Жюжатъ* *Söst*, средневѣковое латинск. *Susatium*²⁾. Грамота смоленскаго князя Теодора Ростиславича 1284 года называетъ два германскіе города *Брюпъжвикъ* и *Мпистеръ* (въ договорѣ 1229 года: *Мюньстеръ*,

¹⁾ *Браунъ*, *Фриандъ* и *Шимонъ*, сыновья варяжскаго князя Африкана (*Извѣстія отд. р. яз. и словесн. Ак. Н.* 1902 г. 1), стр. 362.

²⁾ *Голубовекій*, *Исторія Смоленской земли*, стр. 124.

Мунъстеръ). 1-ая Новгородская лѣтопись подь 1348 годомъ приводитъ имя свейскаго короля Магнуша. Житіе Александра Невскаго (по изданію архим. Леонида, стр. 5) говорить о прибытіи къ Александру «отъ западныхъ страпы», «отъ слугъ Божіихъ» витязя, по имени Андрѣяшъ.

Нарицательныя слова несомнѣнно западно-европейскаго происхожденія въ древне-русскомъ языкѣ также перѣдко имѣютъ *ш*: *шпека* (пазваніе судна; 1-я Новгородская лѣтопись; житіе Александра Невскаго) = шведск. *snaeka*; *шылкъ* (Козма Индикопловъ, Пандекты Николая Черногорца и друг.) = др.-сѣв. *silke*; *шида* (шелкъ; Повѣсть о вѣпчаніи на царство греческаго царя Мануила въ 1391 году; Хожденіе Аоапасія Никитина) = др.-в.-пѣм. *šīda*; *шыгла* (мачта; 1-я Новгородская лѣтопись; Посланіе архіеп. Василя Новгородскаго и др.) = др.-сѣв. *seg1*. др.-в.-пѣм. *sēgal* (Kluge). Рядомъ перѣдко встрѣчается и *с*: *сумс* (сумошьвьць въ Студійск. Уставѣ XII—XIII в.), *буса* (пазваніе корабля; 1-я Новгородская лѣтопись), *карась* (какъ собственное имя въ Новгородскихъ писцовыхъ книгахъ 1498 года) и друг.

То же, что въ древне-русскомъ языкѣ, мы видимъ, также въ церковно-славянскомъ, чешскомъ, польскомъ, хорватскомъ.

Переведенныя съ латинскаго (вѣроятно, въ IX—X вѣкѣ въ Моравіи) Бесѣды папы Григорія Великаго имѣютъ *Процеший* *Processius*, *Ежювее* (вѣроятно, ошибка вмѣсто *Ежюе*) *Josue*; *адвокатушъ* *advocatus*, *кошелаторъ* *consolator*, *кришолитъ* *chrysolithus*; переведенное съ латинскаго Никодимово Евангеліе имѣетъ собственные имена *Дижманъ* и *Лицеошъ* (*Leucius*); въ Житіи первоучителя Меодія мы читаемъ *мыша* *mīssa*, *панежь* др.-в.-пѣм. *pāres*, *bābes*; въ Пражскихъ елаголическихъ отрывкахъ и др. — *крижь* *сгих*¹⁾.

Чешскій и польскій языки имѣютъ массу словъ западно-европейскаго происхожденія съ *ш* и *ж*: чешск. *Ježíš* *Jesus* *Mojžíš* *Wořsila* *Ursula*, *Alžběta*, *Ambroš* *Ambrosius*, *Anšelm*, *Žofie*, *šafrán*, *šalvěj*, *košile* *casula*, *karneš* пѣм. *kirchmesse*, *šák* ср.-вѣк. лат. *zacus* (изъ *diacus*), *šalm* *psalmus*, *šáltār* *psalterium*, *šehnati* пѣм. *segnen*, *šold* пѣм. *sold*, *šur* пѣм. *sauer*, *rūše* пѣм. *rose* и т. п.; польск. *Mateusz*, *Tadeusz*, *Tomasz*, *Szymon*, *Klębieta*, *szabla* пѣм. *säbel*²⁾, *szukać* пѣм. *su-*

¹⁾ См. нашу статью—„Церковно-славянскіе тексты моравскаго происхожденія“, въ *Р. Филол. Вѣстн.* 1904 г., № 3.

²⁾ Нѣмецкая *säbel* восходитъ къ обще-слав. *сабля* (ц.-сл. *сабля*, др.-русск. *сабля*, ново-болг. *сабя*), съ *л* образовавшимся на обще-славянскои почвѣ.

chen и др.: хорв. Крѣвашь *Gervasius* (въ грамотѣ боснійскаго бана Кулина 1189 года) и многія друг.

Изслѣдуя подобныя слова съ *ш* и *ж*, мы должны принять во вниманіе:

1) что слова, заимствованныя обще-славянскимъ языкомъ изъ западно-европейскихъ языковъ и находящіяся во всѣхъ или большей части славянскихъ языковъ, не имѣютъ этихъ *ш* и *ж*: *сась*, *сасинь* (названіе нѣмца, саксонца; литовск. *saksas*), *срачица*, русск. *сорока*, *сорочка*, *спядь*, *стыкло*, *осель*, *усеразь* и т. п.

2) что слова, заимствованныя изъ греческаго языка, въ церковно-славянскомъ, въ средне-болгарскомъ, въ древне-русскомъ, въ древне-сербскомъ языкахъ передаютъ съ полнѣйшею послѣдовательностью греческія *σ* и *ζ* черезъ *с* и *з*: др.-русск. *парусь* *φᾶρος*, *пардусь* *πάρδος*, *ксусть* *ῥῥος* и т. п.:

3) что слова, заимствованныя изъ восточныхъ языковъ, въ церковно-славянскомъ и древне-русскомъ языкахъ свободны отъ *ш* и *ж* вмѣсто *с* и *з*: ц.-сл. *сань*, др.-русск. *сайгать* (подарокъ) и т. п.

Итакъ, мы должны сказать, что передача западно-европейскихъ *с* и *з* черезъ славянскія *ш* и *ж* свойственна всѣмъ славянскимъ языкамъ и относится уже къ періоду историческаго существованія этихъ языковъ. Нѣтъ никакихъ указаній на то, что въ основаніи передачи западно-европейскихъ свистящихъ черезъ славянскія шипящія лежитъ какая-нибудь особенность славянской фонетики¹⁾. Въ виду того, что разные славянскіе языки, самостоятельно заимствуя западно-европейскія слова, одинаково имѣютъ эту передачу,—необходимо предположить, что причина ея лежитъ въ романскихъ и германскихъ языкахъ²⁾.

Вслѣдствіе этого мы имѣемъ право, въ случаѣ, если происхожденіе слова неясно, считать его заимствованнымъ съ запада, при нахожденіи въ немъ *ш* или *ж* вмѣсто ожидаемыхъ *с* или *з*. Такъ, ц.-сл. *крижьма* (Толковый Апокалипсисъ) должно быть связано съ лат. *chrysuma*, а не съ греч. *χρῖσμα*; др.-русск. *фарижь* породистый конь (рядомъ съ *фарь*) должно быть признаваемо за происходящее отъ ср.-

¹⁾ Слѣдуетъ указать, что въ нѣсколькихъ литовскихъ словахъ, заимствованныхъ изъ славянскихъ языковъ, мы встрѣчаемъ *š* вмѣсто славянскаго *с*: *szaka* = соха (въ значеніи: вѣтвь, кривая палка), *szėnas* = сѣно.

²⁾ Срв. *Schuchardt. Slawo-deutsches und slawo-italienisches*. Graz. 1885, стр. 47—54.

вѣк. лат. *fagius, fagis*, а не отъ греческаго *φάρης, φάριον*. Точно также мы можемъ смѣлѣе сопоставлять другъ съ другомъ славянскія слова неяснаго происхожденія съ *ш* или *ж* и слова романскія и германскія съ *с* или *з*: ц.-слав. *шестарь* названіе сосуда (Дѣянія Іоанна Бого-слова, апокр.), хорв. *šestar* деревянный или желѣзный сосудъ для измѣренія (*Rad XX*, 131) и лат. *sextarius*; ст.-русск. *штанъ* («панъ Мичко *Штанъ*», подсудокъ Судомирскій, въ грамотѣ 1408 года, короля Ягелла; *Ак. Ю. и З. Р. I*, 6), соврем. русск. *штаны* и ср.-вѣк. лат. *sutana* (Дюканжъ: *togae seu tunicae species*), *sotaneum*, итал. *sotana*, франц. *soutane*; русск. областн. *шобонъ* старая одежда (Даль), блины особаго рода (Куликовскій) и ср.-вѣк. лат. *sabanum* (Дюканжъ: *mapra, linteum*); ц.-сл. *жюнель* сѣбра и лат. *sulfur*¹⁾; др.-русск. *жиковина* (Срезневскій) перстень съ печатью и лат. *sig-illum*, готск. *sigljō*.

II.

Изъ предыдущихъ словъ видно, что заимствованныя слова съ *ш* и *ж* вмѣсто ожидаемыхъ *с* и *з* находятся во всѣхъ славянскихъ языкахъ и происходятъ отъ западно-европейскихъ словъ. Значить, тѣ переводные тексты, въ которыхъ находятся эти слова, могутъ быть по происхожденію и церковно-славянскими, и русскими, и сербскими, и т. д. и должны быть связываемы непосредственно съ западно-европейскими оригиналами.

Древне-русская повѣсть объ Индійскомъ царствѣ въ своей старшей редакціи, вошедшей въ составъ древне-русской Александрии,—имѣетъ *бовеши* = лат. *boves* (мн. ч.), *гигантешъ* = *gigantes*, *урши* = *ursi* (рядомъ съ *грпфонешъ*, *леонисъ*, *тигрисъ*). Въ переводѣ ея съ латинскаго нѣтъ сомнѣній. Изслѣдовавшій ее В. М. Истринъ полагаетъ, что переводчикомъ былъ сербъ боснійскій или далматинскій²⁾; но обиліе русскихъ словъ (*шелковица* шелковый червь, *шуда* шелкъ, *спрада* работа и друг.), при отсутствіи какихъ-

¹⁾ Uhlenbeck (*Arch. für slav. Ph.* XV, 492) связываетъ это слово съ готск. *swibls*. По нашему мнѣнію, его легче связать съ какимъ-нибудь романскимъ потомкомъ латинскаго *sulfur*.

²⁾ *Истринъ*, Сказаніе объ индійскомъ царствѣ, М. 1893, стр. 61 (изъ „Труды Славянской Комиссіи при Моск. Археол. Общ.“, т. I).

нибудь типичныхъ южно славянизмовъ, заставляетъ насъ рѣшительно говорить о переводчикѣ русскомъ.

Троянская притча, съ ея *Парижь*, *Фарижь*, *Paris*, *Аякъ*, *Діах*, *Венуша Venus*, *Прѣямушь Priamus*, *Ежеона Hesione* и др. въ древне-болгарскомъ спискѣ XIV вѣка, признается за восходящую къ греческому оригиналу. Миклошинъ считаетъ возможнымъ допустить, что она переведена прямо съ греческаго. А. Н. Веселовскій полагаетъ, что переводъ ея сдѣланъ въ Босніи или сѣверной Далмаціи, тамъ же, гдѣ сдѣланъ переводъ сербской Александріи¹⁾, и что предположеніе греческаго оригинала возможно подь условіемъ другого предположенія: «что этотъ греческій оригиналъ былъ въ свою очередь переводомъ или обработкой какого-нибудь западнаго, латинскаго или романскаго»²⁾. По нашему мнѣнію, нѣтъ никакихъ данныхъ говорить о греческомъ оригиналѣ; необходимо признать для Троянской притчи непосредственный латинскій или романскій оригиналъ³⁾.

Сербская Александрія, съ ея *Парижь Paris*, *Менелаушь*, *Поликратушь*, *Вриенушь*. *Ацилешъ Achilles* и т. п., также признается за восходящую къ греческому оригиналу. И. В. Ягичъ, опираясь на грецизмы, говоритъ рѣшительно о переводѣ ея съ греческаго. А. Н. Веселовскій слѣдуетъ за нимъ; по его словамъ, что подлинникъ Александріи былъ греческій, «въ этомъ не оставляетъ сомнѣнія сближеніе съ греческими, дошедшими до насъ пересказами Александріи того же типа»⁴⁾. Итакъ, мнѣніе о переводѣ съ греческаго основывается 1) на грецизмахъ и 2) на существованіи близкихъ греческихъ текстовъ.

Дѣйствительно, грецизмы есть; но всѣ греческія слова, указанные И. В. Ягичемъ и А. И. Веселовскимъ, имѣющія *с*, передаются въ славянскомъ текстѣ съ тѣмъ же *с* или съ *з*: *χαλκισμός*—халкизмъ, *σκέπαζμα*—кепазмъ, *ἔξοδος*—ексодъ, *ἐγκάρδιος ἐνωσις*—енкардиось еносись⁵⁾; иначе говоря, грецизмы могутъ быть позднами (относительно) вставками въ Александріи, показывающими, что она находилась въ

¹⁾ *Веселовскій*, Изъ исторіи романа и повѣсти, II, Спб. 1888, стр. 99.

²⁾ *Тамъ-же*, стр. 98.

³⁾ Нѣсколько разъ употребленное *θ* вмѣсто *ж*: Анцидешъ *Anchises*, Рендешъ *Rhesus*, придежъскъ *phrygius* объясняются едва ли не сходствомъ буквъ *θ* и *ж* въ глаголическомъ оригиналѣ Притчи.

⁴⁾ *Веселовскій*, Изъ исторіи романа и повѣсти, I, Спб. 1886, стр. 437.

⁵⁾ *Тамъ-же*, стр. 437—438.

рукахъ тѣхъ славянъ Балканскаго полуострова, которые владѣли греческимъ языкомъ и говорили по-славянски съ грецизмами.

И греческіе тексты Александріи, очень близкіе къ славянскимъ также есть. Но самъ А. В. Веселовскій, ихъ изслѣдовавшій указалъ въ изданномъ имъ греческомъ текстѣ нѣсколько славянизмовъ, *тѣ самыя* славянскія слова, которыя находятся въ славянскихъ текстахъ: *ζακόνια* на мѣстѣ славянскаго *законы*, *βοηθόντας* на мѣстѣ слав. *воеводу*, *ἐπρόβδισε* на мѣстѣ слав. *проводитъ* (3 л. аор.); онъ же привелъ любопытнѣйшую странность греческаго текста: *ὁ Σολομών... διὰ γοναῖχα τὸν Ἀδάνην ἠκολούθησε τὸν βασιλέα καὶ ἐξέπεσε*, тамъ, гдѣ славянскій текстъ, вмѣсто неизвѣстнаго «царя Адана», представляетъ нѣчто вполне обычное: Соломонъ жены ради *ада* наслѣди¹⁾. Если мы будемъ говорить о переводѣ греческаго текста на славянскій языкъ, эта странность такъ и останется у насъ странностью; но она получить полное объясненіе, если мы предположимъ славянскій оригиналъ и греческій переводъ.

Мы не имѣемъ права придавать значеніе грецизмамъ и говорить о наличности греческаго оригинала Александріи. Мы можемъ считать вѣроятнымъ происхожденіе греческаго текста отъ славянскаго. Слѣдовательно, нѣтъ препятствій видѣть въ послѣднемъ переводѣ съ латинскаго или романскаго.

А. Соболевскій.

¹⁾ Тамъ-же, стр. 438, 444; срв. на стр. 44 примѣченіе.

Челобитная о благословеніи на Кіевскую и всяя Руси митрополию архіеп. полоцкаго Іоны Глезны.

Въ одной изъ интереснѣйшихъ рукописей, которыми обладаетъ Виленская Публичная библіотека, именно въ значащейся по описанію Ф. Н. Добрянскаго подъ № 262 (10) и отнесенной этимъ ученымъ къ XVII вѣку, на об. 134 л. мы имѣемъ челобитную русскихъ князей Великаго Княжества Литовскаго къ какому то («имя рекъ») константинопольскому патріарху объ избраніи и поставленіи преемника митрополиту Симеону¹⁾. Эта челобитная была напечатана²⁾ и передана въ подробномъ изложеніи³⁾: митр. Макарій не призналъ дошедшаго до насъ въ названной рукописи списка ея—древнимъ⁴⁾. Изученіе состава рукописи, кажется, можетъ разсвѣять это предубѣжденіе: сборникъ заключаетъ въ себѣ переводъ книгъ Ветхаго Завѣта съ еврейскаго языка, и по нашему мнѣнію—можетъ быть отнесенъ къ числу трудовъ, исполненныхъ «жидовствующими»: ср. характерную терминологию «всячство», «шнуръ» и т. п.—общую съ несомнѣнными трудами этихъ сектантовъ⁵⁾. Въ XVII вѣкѣ, уже послѣ появленія въ большомъ количествѣ экземпляровъ печатной Острожской бібліи—едва ли кого либо могъ интересовать переводъ нѣсколькихъ біблейскихъ книгъ, да и о жидовствующихъ съ начала XVI в. мы ничего не знаемъ. Почеркъ руко-

¹⁾ Ф. Н. Добрянскій. Описаніе рукоп. виленск. публ. библ. 1882 г., стр. 443 и слѣд.

²⁾ Виленскій Археограф. Сборникъ, т. I, 1867 г., № 2.

³⁾ Митр. Макарій. Исторія русской церкви, IX, стр. 73—74.

⁴⁾ Ibid., стр. 74.

⁵⁾ См. подробнѣе въ нашей статьѣ „Книга Руѣвъ въ бѣлор. переводѣ XV в.“, Сборникъ статей въ честь акад. и проф. А. И. Соболевскаго.

писи, водяные знаки бумаги, плотной и лощеной (до 1514 г.)—также дают право относить написаніе сборника къ концу XV вѣка. т. е. къ тому времени, къ какому относится и интересующій насъ документъ.

Согласно мнѣнію митр. Макарія, онъ дошелъ до насъ въ «позднемъ спискѣ». Но посмотримъ, пѣтъ ли данныхъ для иного заключенія, и прежде всего обратимся къ тексту, который воспроизводимъ по возможности точно, тогда какъ старое изданіе—въ филологическомъ отношеніи было крайне неудовлетворительно: издатели раскрывали титла, при чемъ не всегда удачно: «**Иисуса**» вмѣсто **ісѣ**; опускали з тамъ, гдѣ онъ есть въ рукописи, и вставляли его тамъ, гдѣ его нѣтъ; выправляли языкъ, напр.: святѣйшому, о Господѣ. наислѣйшого, Богу, время, взысканію (вм. рукоп. възысканіе), затыцателя, рѣчахъ, соимъ, твоея, святыня, утвержденію, благоутробіемъ, Исусѣ. Изъ нашего изданія читатель увидитъ, насколько соотвѣтствуютъ эти чтенія изданія 1867 г.—чтенію текста рукописи. Обратимся къ нему.

(л. 134 об. α) **Иже по уннѣ архієрѣа великаго гѣ кѣ спснителя наше ісѣ хѣ прѣвостокѣтѣному и єго в(с)ѣмъ оуѣннкѣ и лѣлѣ равно влѣсть нѣмъшомъ въ іже ѡбщати грѣхн истинномъ поддѣлю вѣстоунымъ христїанскна цркви ѡбръунтѣлю и тоа и снѣтъ єа по вселенѣи правтѣлю и в тако-
вѣ светломъ святннкѣ правослѣвномъ и ѡ настоѣцѣаго ннѣ влн-
нїа ¹⁾ когодѣхновеннѣ црквѣ и соборѣ єа оуѣшлюшомъ и кротко и
правтѣлно к тихомъ пристанннѣу приходяшомъ и рѣцѣ живодателныхъ
кодѣ истоуникн несказно кодѣ по вселенѣи вѣсѣмъ нѣзлнклѣшомоу,
стѣншомъ и ѣтнѣншомъ и блгословеннѣншомъ великомъ жнтїемъ равно-
ангелномъ гнѣ гѡспѡ^демъ и ѡцѣмъ ѡцѣомъ Кирѣ імѣрк стѣшомъ патрїархв
великомъ архієрѣею константногрѣскомъ: ѡ гнѣ рѣдоватнса:**

**снѣе послѣшлнѣа ти кнѣзн рѣскнн живѣцнн по держакѣю великого
гѣра наислѣнншаго пнлн клзнннрѣа корола поского и великого кнѣза
антовскаго и рѣскаго и ннѣ некн (з) мовнѣ земель влѣднтеля иже дер-
жацнн вѣрѣ правослазннзю греуескѣю богж помогающомъ неѡбстѣпно
и до смрѣтн. уелѡбнтїе глакѣ нашнѣ сѣ всѣмн уѣвѣствы тѣлѣ нашнѣ вели-
комъ стнтелствѣ твоѣмъ урезѣ посла посланн єсмо:**

**Вѣдомо да єсть сватнтелствѣ твоѣмъ іко прѣ снѣ къ мало мнмо-
шѣсноє время, бѣж тако нѣзкѡннѣ ѡцѣ нашнѣ и оуѣнтѣль нашнѣ сѣсѣл-**

¹⁾ **ВЛНЕНІА**—вставлено на полѣ, тою же рукою.

жѣни стни ти добре поманьтын гнъ снмѣ ѿ мнѣрополнѣ кѣевскнѣ архн-
 ѣппѣ вселѣ рѣсн жнѣм ѿнде* н прѣлѣ мнѣрополнѣ, кнєвскѣа немало вѣдов-
 ства бѣ* 1) нѣ же непрестѣнно прилѣжнѣи молєніємѣ гѣра нашєго оупро-
 снвшнѣи да повелѣнѣт єго держава нѣзбратн гоѣнаго настѣиѣтєла прѣлѣ кнєв-
 скому н вселѣ рѣсн. єго же* велнуетѣхъ намнѣ змолєнѣ тако* 2) повелѣвшѣ.
 н тако вѣзысканнє многѣ бывшѣ вѣ вснхѣ странѣа державѣ гѣра нашєго
 н по многнѣ временнѣи днєхѣ: ѿбрѣтохѣ мѣжа стѣа достѣиѣна вѣры змѣю-
 щѣа в разумнѣи правнѣтєла хрнстѣанствѣ вѣ писаннѣхѣ свѣзѣо наказан-
 наго мѣгѣщаго ннѣхѣ ползѣватн 3) н прѣтнвѣщнѣса законѣ нашєму сна-
 нѣ (л. 135 а) вѣзбраннѣтєла н оустѣ такоуѣмѣ зѣтыкатєла гѣна іѣонѣ
 архнѣппѣа полоуцкого ѿномѣ же вышєрєуєннѣомѣ архнѣппѣу велнко не
 хотѣщѣ* н недѣстѣнна себѣ глѣщѣ* 4) но повелѣннємѣ гѣра нашѣи н мо-
 лєннємѣ н прѣшеннємѣ нашнѣи напєрєдѣ всєго дѣхѣнствѣа н посполствѣа
 є двѣ оумолєнѣ волю приложн к томѣ: Ннѣ же прѣ'рєуєннѣи гнѣ нашѣ
 іѣѣна архнѣппѣу призѣолєннє гѣра нашѣ корола єго держѣвствѣа нѣз лнсты
 єго держѣвѣ велнуетѣва послѣа кѣ стнѣтєлствѣу твоєму ꙗко кѣ ѿцѣу ѿцѣмѣ
 н подѣтєлю повсюдѣу блѣвнѣи. послѣа своѣ мѣжа выбранѣаго уѣнаго гѣна
 іѣоснѣфа архнмѣанѣрнѣтѣа н настѣиѣтєла монастѣра стѣа трѣца нѣже вѣ сѣлѣцѣу:
 блѣвнѣи трєбѣуєнѣ ѿ стнѣтѣлствѣа твоєгѣ ꙗко да кѣразумѣєт стнѣтѣство твоє
 вѣ лнстѣ гѣра нашєго н в рѣуѣ послѣа ѿного. Мы же всн* нм же ѿбра-
 зѣ кѣ напнсаннѣа н глѣннѣа* 5) ѿ мѣла н до кєлнѣа всѣ сѣнмѣ* снѣкє
 рѣскнѣи ꙗко прѣ'рєкохѣ снѣкє послѣшаннѣа пѣствѣу твоєѣ* 6) прѣвослѣвнѣи н
 оурѣдѣу цѣркѣн грєуєскѣа мѣтѣхѣ н прѣшеннє нашѣ вѣзсылѣємѣ стнѣтєлствѣу
 твоєму ꙗко да зунннѣт стнѣи твоѣа к нашєму оутѣрѣженнѣю радн тѣсна-
 щнѣи нѣа вѣ вѣрѣ мѣрднѣо да не змєданѣт ѿ рѣкнѣ твоєѣи мєуѣ дѣхѣннѣи ѿцѣу
 ншѣхѣ (β) нм же ѿборонннѣи нѣа добрѣо творѣщнѣи а зѣлымѣ нѣзнауѣмѣа ꙗвлєно ѿ
 тѣѣо самѣомѣу велнуетѣхѣ стнѣи твоєѣи разумнѣо* ꙗко да вндѣвшѣе дарѣваннє
 н блѣвнѣи стнѣтєлствѣа твоєгѣо всн по всєлєнєнѣ держѣвѣ гѣра нашєго кє-
 лнѣкѣ кнѣзствѣа лнѣтовскѣаго н рѣсѣкѣаго зсєрднѣо вѣзрадѣємѣса хѣвалѣ вѣзда-

1) „Н..... бѣ“, заключенныя въ звѣздочки—приписаны на полѣ.

2) „велнуетѣхѣ..... тако“—припис. на полѣ.

3) Въ рукоп. описѣа: ПОЗДѢВАТИ.

4) „Н..... глѣщѣ“—припис. на полѣ.

5) „Всн..... глѣннѣа“—припис. на полѣ; скорѣе эта вѣставка долѣжна
 бѣтѣ поставлєна вышє, послѣ „в рѣуѣ“?

6) Слова: „снѣкє..... твоєѣа“—приписаны на полѣ.

ваюции црѣрота и мѣрдномъ бѣгоуѣробію стѣтелства вашого* 1) уѣ
 рѣ самовидноблвнунъ съславѣбннкъ твоємъ ѡцѣн нашомъ невмѣстно
 прентн тѣмо но бѣгоуѣробіемъ ѣ смиренномъдріемъ на краткое наше ѣ
 неразумное написаніе вѣнми стѣтелею ѣ прошеніа ѣ моленіа нашѣ ꙗко
 мѣтнвнн ѣ црѣрын ѡцѣ не презрн но прѣнми наѣе всѣхъ ѡ хъ ісхъ
 ѡ гн нашѣ емъ же слава съ ѡцѣмъ ѣ съ стѣ дхѣ ѡмннъ. —

Языкъ этого посланія или челобитной—церковно-славянскій, по съ замѣтными слѣдамп западно-русскаго литературнаго и дѣловаго языка XV вѣка, а кое гдѣ—и живой южно-русской рѣчи. Писецъ только дважды употребилъ ж въ словѣ богж, и притомъ совершенно неумѣстно. Въ орѣографіи вообще замѣтно пристрастіе къ юго-славянскимъ формамъ написанія: прзвостоятельному, вѣсточннѣ, всеа, твоеа и т. п. Писецъ употребляетъ наряду съ церк.-славянскими формами: литовскаго, русскаго, честнаго, великаго—также и русскія формы: великаго, полскаго, силнаго и т. п. Рядомъ находимъ формы полногласныя и неполногласныя: напередъ, оборонити и—непрестанно; таже непослѣдовательность и въ употребленіи прич. н. вр.: въздаваюци и—требуючи. Какъ особенность стараго бѣлорусскаго нарѣчія, отмѣтимъ м. под. мн. ч. на—оѣзъ въ рѣчохъ. Наиболѣе замѣтные слѣды вліянія на писца его роднаго говора видимъ въ формахъ: имущому, оутѣшающому, приводящому, святѣйшому, нашомъ и т. п. (встрѣчающіяся, впрочемъ, въ южнорусскихъ памятникахъ съ XIII в.); отмѣтимъ еще форму 1 л. мн. ч. есмо, употребленіе предлога изъ вмѣсто съ: изъ листы; а также цѣлый рядъ написаній, указывающихъ на отождествленіе въ произношеніи писца ѣ съ і, и съ ѣ и отвердѣніе р: владителя, таковѣмъ (д. п. мн. ч.), инѣхъ (вин. п. мн. ч.), монастыра. Кромѣ того, обычная канцелярская терминологія, сложившаяся подъ вліяніемъ польской практики, дала и рядъ спеціальныхъ заимствованныхъ словъ: панѣ, король, невымовный, посполство и т. п. Отмѣтимъ, въ заключеніе форму съ появленіемъ неорганическаго і—та: благоуѣробіемъ. Но если мы сравнимъ языкъ данной челобитной съ языкомъ документовъ XVII в., то придемъ къ выводу, что нашъ документъ имѣетъ языкъ болѣе чистый, чѣмъ названные; самая орѣографія—также указываетъ не на XVII, а на XV вѣкъ, когда сильно было въ ходу подражательное болгарское употребленіе ж и з.

1) Слова: „ѡМО..... вашого“—припис. на полѣ.

Принимая во вниманіе все сказанное, остановимся на наиболѣ существенномъ. Если бы нашъ документъ былъ лишь *коніей* съ челобитной, то безъ сомнѣнія въ немъ, какъ въ важномъ историческомъ документѣ, было бы упомянуто: 1) имя патріарха, къ которому адресована челобитная, а не стояло бы неопредѣленное «имя рекъ» и—2) были бы подписи лицъ, участвовавшихъ въ отправленіи посла, архим. Іосифа. Ни того, ни другого въ челобитной не находимъ. Сверхъ того, взглядываясь въ дошедшій до насъ списокъ, видимъ, что въ немъ—семь приписокъ и поправокъ на поляхъ, приписокъ не только внѣшняго, такъ сказать, стилистическаго характера, а дополняющихъ нашъ документъ по существу.

Всѣ эти данныя приводятъ къ соображенію, не есть ли этотъ списокъ—*черновая* челобитной. Въ этой мысли укрьпляютъ насъ и такія ошибочныя написанія какъ: *воздѣ*, *бѣ*, *митрополи* и т. п.—вмѣсто: *вездѣ*, *бѣ*, *митрополіи*, немислимая въ чистой копіи, но возможная въ черновомъ наброскѣ.

Остаиваясь на содержаніи документа, мы должны прежде всего отмѣтить нѣкоторыя хронологическія даты. Годы послѣдовавшіе за смертью Григорія Цамблака, точнѣе за удаленіемъ его съ митрополіи, были для западно-русской іерархіи эпохой упорной борьбы за право существованія независимо отъ Москвы. Къ концу XV в. кievской митрополіи удастся пріобрѣсти эту независимость и получить непосредственное благословеніе отъ константинопольской патріархіи. Въ 1481 г. патр. Максимъ присылаетъ благословенный листъ избранному изъ полоцкихъ епископовъ на митрополію Симеону, скоро скончавшемуся, *въ 1488 г.*¹⁾ О немъ и идетъ рѣчь въ нашемъ документѣ. Король Казимиръ скончался *въ 1492 г.*, 25 іюня: такимъ образомъ, устанавливаются термины для датировки челобитной. Къ тому же Іосифъ, бывший посломъ къ патріарху, впоследствии вступившій на митрополію (1498 г. 30 мая), не могъ сдѣлаться настоятелемъ Слуцкаго Троицкаго мон. ранѣе первыхъ чиселъ іюня 1492 г.²⁾ У Строева въ списокѣ іерарховъ мы, правда, не находимъ Іоны въ числѣ полоцкихъ епископовъ, но имѣется указаніе, что Іона занималъ полоцкую кафедру въ ряду другихъ іерарховъ³⁾. Что до упоминанія о «тѣснящихъ въ вѣрѣ», то здѣсь надо разумѣть указъ Казимира, запрещающій православнымъ

¹⁾ *Митр. Макарій*, Исторія р. церкви, IX², 68—74.

²⁾ *Ibidem*, 75.

³⁾ А. З. Р. I, № 209.

постройку церквей. Согласно челобитной Іона, по фамиліи Глезна, получилъ благословеніе и былъ до своей смерти (въ 1494 г.) на митрополіи, такъ какъ уже въ началѣ 1495 г. мы находимъ упоминанія о «нареченномъ» митр. Макаріи, пострадавшемъ въ послѣдствіи и причтенномъ къ лику святыхъ. Возвращаясь къ нашему документу, отмѣтимъ, что издатели его въ 1867 г.—отнесли его къ 1488—89 гг. Но какъ тогда объяснить выраженіе «престоль митрополіи кіевскія *не мало вдовствуя бѣ*»? Нельзя ли здѣсь предположить, что вопросъ объ утвержденіи Іоны Глезны на кіевской митрополіи—былъ поднятъ не сразу по смерти м. Симеона, и именно, вслѣдствіе «утѣшенія» въ вѣрѣ. православные не могли непосредственно въ ближайшіе годы по смерти м. Симеона получить себѣ законнаго архипастыря? Въ связи съ этой догадкой позволяемъ себѣ отодвинуть дату нашего документа—конечно, лишь предположительно—къ 1490 году, по крайней мѣрѣ, а самый дошедшій до насъ списокъ считать черновымъ проектомъ челобитной, которая должна была быть отправлена съ архим. Іосифомъ, а не позднимъ ея спискомъ. Наше изданіе этого черновика—преслѣдуетъ прежде всего—чисто филологическія цѣли, почему мы заботимся о возможно точномъ воспроизведеніи рукописнаго чтенія.

В. Перетцъ.

„Джинны“ В. Гюго.

Литературное значеніе В. Гюго во Франціи пошло на убыль, а въ Россіи поэзія В. Гюго никогда не получала достаточной извѣстности и достаточнаго распространенія. И если французы неправы, слишкомъ быстро забывая своего гениальнаго поэта или недостаточно высоко оцѣнивая его огромныя заслуги, какъ поэта-художника и поэта-гуманиста, то тѣмъ болѣе неправы русскіе, для которыхъ въ художественной дѣятельности В. Гюго находится много цѣннаго: возвышенная денстическая философія, ярко выраженныя идеальныя и гуманистическія стремленія, любовь къ свободѣ. Правда, громкіе дифирамбы Гюго въ честь свободы и гуманности многими принимаются за „общее мѣсто“; но съ такимъ взглядомъ нельзя согласиться. Общимъ мѣстомъ можно считать только положеніе всѣми принятое и обычное; но свобода и гуманность не представляются такими повсемѣстно торжествующими силами, и В. Гюго къ тому же говоритъ о нихъ въ яркихъ, своеобразныхъ формахъ. Но и помимо внутренняго, идейнаго и гуманитарнаго содержанія, поэзія В. Гюго замѣчательна по внѣшнимъ формамъ выраженія, по стилю, языку, по необыкновенно сильной художественной образности и музыкальности. Въ этомъ отношеніи В. Гюго—первоклассный мастеръ. Одинъ изъ лучшихъ современныхъ французскихъ критиковъ Эмиль Фаге говоритъ, что Викторъ Гюго будетъ жить столь же долго, какъ и французскій языкъ. Онъ заслужилъ эту награду—награду величайшихъ между великими—своей любовью къ родному языку, которому онъ далъ новый блескъ и новую юность.

Поэзія В. Гюго по гуманистической своей основѣ близко стоитъ къ лучшимъ теченіямъ русской литературы. Не можетъ быть спора, что В. Гюго, при подлежащемъ выборѣ его произведеній, долженъ входить въ кругъ школьныхъ классиковъ не только во Франціи, гдѣ мѣсто имъ уже прочно занято, но и въ Россіи, гдѣ средняя школа его еще не знаетъ. Лучшія его стихотворенія представляютъ такія правдивныя сокровища и богатія художественныя описанія, которыя могутъ послужить прекрасной умственной пищей и содѣйствовать развитію изящнаго литературнаго вкуса.

Мы остановимся лишь на одномъ стихотвореніи—у насъ мало извѣстномъ, именно на „Les Djinnes“ въ „Les Orientales“, остановимся потому, что стихотвореніе это, лучше чѣмъ какое-либо другое, можетъ быть предметомъ классаго разбора. Средняя величина, прекрасный языкъ, необыкновенно оригинальный приѣмъ въ развитіи стиха, удивительная музыкальность и стройный рядъ послѣдовательно слѣдующихъ художественныхъ образовъ, все это въ совокупности создаетъ изъ „Джинновъ“ В. Гюго педагогическій перлъ рѣдкой величины и почти незамѣимаго достоинства. Почти единственный недостатокъ „Джинновъ“ въ педагогическомъ отношеніи состоитъ въ краткости выраженія образовъ и быстрой смѣнѣ ихъ; но, при условіи выдержаннаго вниманія, недостатокъ этотъ обращается въ достоинство, такъ какъ въ рукахъ искуснаго преподавателя будетъ служить орудіемъ для быстрой работы психологическаго аппарата. По сравнительно болѣеишей цѣльности и выдержанности художественныхъ образовъ въ „Les Orientales“ можетъ быть рекомендовано „Le Feu du ciel“.

„Восточныя стихотворенія“ В. Гюго написаны въ 20-хъ годахъ прошлаго столѣтія, въ частности „Джинны“ въ августѣ 1828 г. Въ это время изображеніе Востока—Египта, Аравіи, Сиріи и т. д.—вошло въ моду. Въ западныхъ странахъ въ этомъ отношеніи много сдѣлалъ Рюккертъ, В. Гюго и въ особенности Байронъ, а въ славянскихъ литературахъ—Пушкинъ, Лермонтовъ, Мицкевичъ.

„Le poète est libre“, говоритъ В. Гюго въ предисловіи къ „Восточнымъ стихотвореніямъ“, и пользуется онъ своею поэтической свободой очень широко; онъ беретъ сюжеты изъ самыхъ разнообразныхъ странъ, смѣло оперируетъ разными литературными формами, щедрою рукой разбрасываетъ художественные образы, „hors des limites de l'art“. Востокъ попятъ широко, отъ Персіи до Испа-

ни „car l'Espagne c'est encore l'Orient“. Въ „Джиннахъ“, однако, восточный колоритъ мало замѣтенъ. Встрѣчаются среди „Восточныхъ стихотвореній“ такія, какъ „L'extase“, въ которомъ нѣтъ ничего восточнаго. И въ „Джиннахъ“ восточнаго очень мало,—заглавіе и мимолетное упоминаніе о пророкѣ и объ арабскихъ пѣсняхъ; затѣмъ, остается одна картина перелета демоновъ въ ночное время надъ приморскимъ городомъ, который имѣетъ всѣ признаки тѣхъ приморскихъ городовъ Франціи, гдѣ проживалъ поэтъ. Яркими красками обрисовано море—излюбленная стихія В. Гюго, въ художественномъ отношеніи имъ тонко изученная. Въ поискахъ за восточнымъ колоритомъ русской школы незачѣмъ обращаться къ В. Гюго. Она имѣетъ высокіе образцы въ поэзіи Пушкина и Лермонтова.

Брандесъ въ изслѣдованіи „Литература XIX в. въ ея главныхъ теченіяхъ“ говоритъ, что „Les Djinnns—чудо въ мегрическомъ отношеніи: здѣсь приближеніе дикой охоты (т. е. демоновъ), громъ, производимый ею и оглушающій объятахъ ужасомъ жителей, проносясь надъ ихъ головами, постепенное стиханіе шума вслѣдствіе удаленія демоновъ, передаются съ помощью медленнаго перехода въ стихотвореніи отъ двухъ-стопной къ десяти стопной строфѣ и обратно“. Оцѣнка вѣрная, за исключеніемъ упоминанія о дикой охотѣ, что не вяжется съ представленіемъ о джиннахъ. Неточно еще упоминаніе о жителяхъ во множественномъ числѣ. Страхъ въ ночное время испытываетъ одинъ старикъ, и, благодаря тѣмъ индивидуализаціи впечатлѣнія, стихотвореніе гораздо болѣе сильно дѣйствуетъ на воображеніе; на палитрѣ художника оказывается много свѣжихъ красокъ для обрисовки ужаса и мольбы.

Въ видѣ эпиграфа къ „Джиннамъ“ стоитъ отрывокъ изъ Данта:

E com i gru van cantando lor lai,
 Facendo in aer di se lunga riga,
 Così vid'io venir traendo gvai
 Ombre portate della detta briga.

т. е. „какъ журавли поютъ пѣсни, когда летятъ въ воздушномъ пространствѣ длинными рядами, такъ стонали тѣни, носимыя этой бурей“. Эпиграфъ не имѣетъ тѣсной связи съ текстомъ и отчасти даже противорѣчитъ ему. Дантовскія души жалобно стонали; джинны В. Гюго несутся съ воемъ и трескомъ. Гюго любилъ эпи-

графы и не всегда придерживался близости и точности соотношения ихъ съ текстомъ.

Въ „Джиннахъ“ 15 куплетовъ. Построены они чрезвычайно своеобразно, сначала краткострочные, но затѣмъ, по мѣрѣ усиленія шума отъ приближающихся демоновъ, строки растутъ, удлиняются, на 8-мъ самомъ широкомъ куплетѣ—переломъ, и затѣмъ идетъ послѣдовательное сокращеніе стиха, въ зависимости отъ сокращенія демонскаго крика и шума. Заканчивается стихотвореніе полной тишиной и самыми короткими строчками, всего въ одно слово. Последній куплетъ, по строенію стиха, соотвѣтствуетъ первому, предпоследній второму и т. д.—по истинѣ „чудо въ метрическомъ отношеніи“, какъ мѣтко охарактеризовалъ это стихотвореніе Брандесъ.

„Джинны“ перевести трудно, почти невозможно. Въ собраніи стихотвореній В. Гюго подъ редакціей г. Тхоржевскаго (1896 г.) находится переложеніе, пожалуй, переводъ, но мѣстами очень далекій отъ подлинника.

Г. Тхоржевскій въ подстрочномъ примѣчаніи даетъ одностороннее объясненіе стихотворенія: „Джинны—злые духи у индусовъ (?). Въ этомъ стихотвореніи, по мнѣнію г. Тхоржевскаго, Гюго очевидно (?) желалъ изобразить ураганъ южныхъ странъ, какъ онъ начинается, постепенно свирѣпѣетъ и, наконецъ, утихаетъ. Поэтому необходимо было вполне точно передать не содержаніе стихотворенія, а его размѣръ и его тонъ, чего нельзя было бы достигнуть точнымъ переводомъ, а подражаніемъ достигнуто“. Тутъ все невѣрно. Нѣтъ никакого основанія усматривать предвзятую цѣль изобразить ураганъ. Это буря французская; портъ, надъ которымъ несутся ночью демоны, также французскій; трепещущій старикъ—не индусъ, не мавръ, а робкій старый французъ, хотя онъ и обращается съ мольбой къ пророку.

Г. Тхоржевскій, очевидно, пытался перевести, но такъ какъ переводъ ему не удался, то онъ и назвалъ его, для очистки совѣсти, подражаніемъ, оставаясь все-таки переводчикомъ, и по мѣстамъ, въ отдѣльныхъ стихахъ, удачно справился съ своей непомерно трудной задачей.

Не приводя всѣхъ 15 куплетовъ, рассмотримъ два-три въ цѣлости, и приведемъ нѣсколько замѣчаній о другихъ наиболѣе характерныхъ мѣстахъ оригинала и перевода.

Хуже всего въ подражаніи вышелъ первый куплетъ, какъ можно видѣть изъ слѣдующаго сопоставленія:

Murs, ville,	Портъ скромный
Et port,	И скитъ,
Asile	Скаль темный
De mort,	Гранить,
Mer grise	Храмъ, ивы,
Où brise	Заливы
La brise	И впы—
Tout dort.	Все спитъ.

У В. Гюго—стѣны городскія, и весь приморскій городъ, его портъ, его кладбище—все спитъ, какъ спитъ и омывающее его море, сѣрое въ ночной темнотѣ—превосходная, цѣльная картина, гдѣ всѣ части связаны въ одно стройное цѣлое.

Въ подражаніи же г. Тхоржевскаго наборъ предметовъ, ничѣмъ между собой несвязанныхъ, и большею частью выдуманыхъ, независимо отъ текста оригинала. Портъ названъ „скромнымъ“ безъ всякаго основанія и напрасно; эффектиѣе было представить спящимъ портъ не скромный, а большой, шумный—днемъ. Затѣмъ, слово „скитъ“ совсѣмъ на подходитъ къ „asile de mort“, гранить и храмъ—лишніе, особенно рядомъ съ совсѣмъ ужъ лишними ивами и нивами. Получается смѣсь французскаго порта съ нижегородскимъ раскольничьимъ скитомъ, и все это спитъ—Боги вѣсть—для чего и почему. Этотъ неудачный куплетъ до такой степени вредитъ стихотворенію, что почти лишаетъ его возможности педагогическаго примѣненія въ данномъ переводѣ.

Съ самымъ большимъ 8-мъ куплетомъ г. Тхоржевскій справился удачно и вмѣсто подражанія далъ близкій художественный переводъ.

У В. Гюго:

Cris d'enfer! voix qui hurle et qui pleure!
 L'horrible essaim, poussé par l'aiglon,
 Sans doute, ô ciel! s'abat sur ma demeure.
 Le mur fléchit sous le noir bataillon.
 La maison crie et chancelle penchée,
 Et l'on dirait que, du sol arrachée,

Ainsi qu'il chasse une feuille séchée,
Le vent la roule avec leur tourbillon!

Въ переводѣ г. Тхоржевскаго:

Адскіе крики! То воешь, то стонешь
Хоръ этихъ грозныхъ предвѣстниковъ бѣдъ.
Вѣтеръ, о небо! ихъ, кажется, гонить
Прямо на домъ мой... ужель то не бредъ?
Домъ весь затрясся подъ шумъ нестерпимый,
И, какъ листокъ, ураганомъ гонимый,
Съ почвы подхваченный силой незримой,
Кажется, мчится за джиннами вслѣдъ.

Тутъ лишь одна вставка о бредѣ сдѣлана произвольно и, внося сомнѣніе, ослабляетъ впечатлѣніе отъ художественнаго образа; въ остальномъ переводъ довольно близокъ и точенъ.

Но вотъ демоны умчались, и наступила тишина. Въ послѣднемъ 15-мъ куплетѣ у В. Гюго тишина эта выражена такъ тонко и мягко, что г. Тхоржевскій не могъ ее передать въ граціозной прелести оригинала.

On doute	Всѣ муки
La nuit...	Прошли....
J'écoute:—	И звуки
Tout fuit,	Съ земли
Tout passe;	Смирились,
L'espace	Забылись
Efface	И скрылись
Le bruit	Вдали.

Весьма неудачно переданъ второй куплетъ, гдѣ впервые проявляется отдаленный шумъ, послѣ полной тишины. У В. Гюго это выражено мягко, нѣжно, въ подражаніи рѣзко и грубо.

Dans la plaine
Nait un bruit.
C'est l'haleine
De la nuit.
Elle brame

Comme une âme
Qu' une flamme
Toujours suit.

Звукъ такъ слабъ, что кажется дыханіемъ ночного воздуха. Гюго поднимается на уровень анимизма, и даетъ міровой образъ души въ видѣ огня, образъ, пережитый всѣми народами, хорошо извѣстный по даннымъ миеологии и народной поэзіи.

Въ подражаніи:

Вдругъ раздался
Вѣтра вой,
Вздохъ промчался
Тьмы ночной,—
Стонъ изъ пасти
Вихря страсти
Полный власти
Неземной.

Вдругъ сразу, послѣ полной тишины и „вѣтра вой“ и „стонъ изъ пасти“. Такимъ образомъ, сразу нарушена послѣдовательность въ развитіи мысли поэта, и потому въ подражаніи получилась странность—въ 3-мъ куплетѣ получается меньшій шумъ, чѣмъ во второмъ, такъ какъ здѣсь только посвистываетъ карликъ, и нѣтъ ни воя, ни стога.

Мѣстами невѣрно переданъ общій смыслъ. Такъ,

D'etranges syllabes
Nous viennent encore....
Хоть звуки тѣ слабы—
Грусть слышится въ нихъ....

У В. Гюго о грусти ни слова, да и неудобно вводитъ элементъ грусти тамъ, гдѣ должна быть радость, по случаю удаленія злыхъ демоновъ.

On petiller la grêle
Sur le plomb d'un vieux toit....
Иль градинъ грохотанье
По кровлямъ рѣбарей.

Рыбарей въ оригиналѣ нѣтъ, и внесеніе новаго признака ослабляетъ впечатлѣніе отъ стука града по старой свинцовой крышѣ.

Но тутъ же рядомъ попадаются и весьма удачно переведенныя строфы, напримѣръ:

Prophète! si ta main me sauve
De ces impurs demons des soirs,
J'irai prosterner mon front chauve
Devant tes sacrés encensoirs!....
Пророкъ, когда своею рукою
Отгонишь джинновъ ты орду,
Я къ алтарямъ твоимъ съ мольбою
Склонить чело свое приду....

Въ подражаніи кадилаицы (encensoirs) замѣнены алтарями, и нѣтъ признака старости—лысой головы (chauve).

Какъ бы то ни было, если обратиться къ педагогической практикѣ, то можно сказать, что „Джинны“ В. Гюго съ большою пользою могли бы быть внесены въ хрестоматію французскаго языка и, въ рукахъ хорошаго преподавателя, могутъ быть отличнымъ пособіемъ для знакомства съ французскимъ языкомъ и литературой.

Немного найдется стихотвореній, въ которыхъ на небольшомъ пространствѣ было бы разсѣяно такъ много художественныхъ образовъ и чрезвычайно смѣлой и мастерской игры синонимами и созвучіями.

Mer grise,
Ou brise
La brise.....

—
Deja s'éteint ma lampe,
Et l'ombre de la rampe,
Qui le long du mur rampe....

Необыкновенная гибкость языка обнаруживается въ этихъ созвучныхъ окончаніяхъ глаголовъ и именъ существительныхъ. Поэтъ даетъ возможность чувствовать звукъ въ самомъ сочетаніи словъ. Нужны были столѣтія словесной работы, чтобы выковать изъ языка такое мѣткое и послушное орудіе для чувства и мысли, какое даетъ В. Гюго въ „Джиннахъ“.

Н. Ф. Сунцовъ.

АМБРОЗІЯ И ЖИВАЯ ВОДА.

Если, по замѣчанію Ренана, справедливую оцѣнку какой-нибудь религіи въ ея совокупности можетъ дать только тотъ, кто самъ въ нее вѣрилъ и лишь со временемъ отъ нея отсталъ, то приблизительно тоже самое приходится сказать относительно объясненія первоначальнаго смысла отдѣльныхъ религіозныхъ представленій и міеологическихъ образовъ.

Чрезвычайно трудно для современнаго человѣка съ его преобладаніемъ разсудка надъ остальными сторонами души—стать на точку зрѣнія первобытнаго народа и проникнуться его своеобразнымъ міросозерцаніемъ. Къ числу вопросовъ, рѣшеніе которыхъ, несмотря на массу потраченнаго труда, несмотря на остроуміе и широкія познанія изслѣдователей, не удавалось именно вслѣдствіе нежеланія или неумѣнія послѣднихъ стать въ уровень съ міропониманіемъ первобытнаго человѣка, принадлежитъ вопросъ о сущности того вещества, которымъ, по вѣрованію грековъ, обитатели лучезарнаго Олимпа возстановляли свои божественныя силы, употребляя его то въ видѣ пищи, какъ смертные люди хлѣбъ и вино, то въ видѣ мази, придающей членамъ свѣжесть и красоту, то въ видѣ цѣлебнаго средства, излѣчивающаго раны и болѣзни.

Что же представляютъ собою амброзія и параллельный ей нектаръ, то и дѣло поминаемые въ изображеніи блаженной жизни небожителей? Какой отвѣтъ намъ дастъ наука?

Еще въ началѣ прошлаго вѣка Бутманъ¹⁾ сдѣлалъ крупный шагъ къ разъясненію внутренняго смысла этого представленія. Ис-

¹⁾ Ph. Buttman, Lexilogus. 1837³, SS. 131--137.

ходя изъ правильной этимологіи слова *ἄμβροτος*, *ἄμβροσιος*, ¹⁾ онъ полагаетъ, что, въ виду весьма широкаго значенія термина *ἄμβροσιή* пища боговъ, напитокъ, мазь, очистительное и цѣлебное снадобье, нѣтъ необходимости восполнять его подразумѣваемымъ *ἄδωδή*, но что это слово „изначала было существительнымъ, которое такъ образовано отъ *ἄμβροτος* какъ *ἀθανασία* отъ *ἀθάνατος*. Такимъ образомъ, по Бутману, боги пьютъ безсмертіе, ѣдятъ безсмертіе и помазываются безсмертіемъ.

Хотя подобное толкованіе предъявляетъ слишкомъ большія требованія абстрагирующимъ способностямъ древнихъ, мышленію которыхъ еще долго суждено было вращаться въ чувственныхъ образахъ, тѣмъ не менѣ здѣсь замѣтно уже сквозить мысль, что амброзія есть нѣчто, обуславливающее безсмертіе боговъ; и ошибка Бутмана лишь въ томъ, что онъ отождествилъ источникъ, принципъ безсмертія съ самымъ безсмертіемъ. Итакъ, въ общемъ смыслъ амброзіи *въ ея отношеніи къ богамъ* былъ разгаданъ, и послѣдующіе ученые, не впадая въ ту же ошибку, все же всецѣло идутъ по слѣдамъ Бутмана: нектаръ и амброзія объясняются всѣми, какъ особаго рода и, такъ сказать, высшаго порядка питье и пища, на которыхъ основано безсмертіе боговъ²⁾. Бергкъ одинъ составляетъ исключеніе³⁾ и прямо отрицаетъ, что на пользованіи этой пищей основано было безсмертіе боговъ, такъ какъ подобное представленіе „нигдѣ не высказано“ и даже „чуждо Гомеру и вообще всей древности: безсмертіе—продолжаетъ онъ—связано такъ неразрывно съ понятіемъ божества, что безъ него высшее существо прямо немислимо“. Утвержденіе это безусловно вѣрно, поскольку оно касается насъ, людей многовѣковой культуры, и безусловно ложно, поскольку оно относится къ первобытному человѣку. Если намъ, выросшимъ въ атмосферѣ созрѣвшей философской мысли съ ея понятіемъ „*κτάρχεια*“ божества

¹⁾ Корнемъ здѣсь является мор; срн. *μόρ-ος*, лат. *mors*, *mor-tuus* слав. мор-ть, с-мер-ть — откуда совершенно правильно получается прилагательное *мор-тѣ*; (*Callimach. fr. 271* *ἔδειμασαν ἄστεα μορτοί*), или, по аналогіи *μολεῖν*: *βλώσσω*, *βροτός* смертный. Последнее въ соединеніи съ *α*—privativum даетъ *ἄβροτος* или-съ удержаніемъ коренного *μ* по аналогіи *μολεῖν*: *μειβλώσσω*—*ἄμβροτος* безсмертный.

²⁾ См. Teuffel, *Hom. Theol. u. Eschat.* S. 8; Nägelsbach, *Hom. Theol.* 3. 42 f.; Rohde, *Psyche* I 73, 2; Roscher, *Nektar u. Ambrosia* SS. 51—4).

³⁾ Th. Bergk, *Die Geburt der Athene*, Fl. Jb. 1860, 316 sqq. *Opuscula* II 669.

и поневолю въ большей или меньшей степени отъ нея зависящимъ, трудно примириться съ божествомъ, въ своей обусловленности столь мало удовлетворяющимъ нашимъ представленіямъ о совершенствѣ, то далеко не такъ требовательны были наши праотцы. Въ своемъ стремленіи къ созданію типа высшаго существа, человекъ поневолю творилъ Господа своего „по образу и подобию своему“, и не могъ не отпираться отъ самого себя, все равно надѣлялъ-ли онъ предметъ своего поклоненія чертами, которыми въ самомъ себѣ, наиболѣе дорожилъ, или, напротивъ, освобождалъ отъ чертъ, отъ которыхъ самъ наиболѣе страдалъ. Войдя въ жизнь путемъ рожденія въ опредѣленное время и опредѣленномъ мѣстѣ, онъ долженъ былъ и боговъ представлять себѣ родившимися, происшедшими во времени. Постоянно дрожа предъ ужасами болѣзней, старости, смерти, онъ долженъ былъ сдѣлать своихъ боговъ безболѣзненными, вѣчно юными, бессмертными. Само это безсмертіе могло ему рисоваться лишь какъ непрерывность тѣлеснаго существованія и, какъ таковое, не могло обойтись безъ питія и ѣды, которыя лишь настолько совершеннѣе питія и ѣды людей, насколько вообще жизнь боговъ выше и совершеннѣе людской. Эти соображенія лишаютъ основной аргументъ Бергга убѣдительной силы. Второй его аргументъ также оказывается мало убѣдительнымъ: у Гомера, правда, нигдѣ *не говорится прямо*, что именно питаніе нектаромъ и амброзіей дѣлаетъ боговъ бессмертными, но *въ косвенныхъ* указаніяхъ на эту мысль нѣтъ, какъ увидимъ, недостатка, такъ что молчаніе по этому поводу Гомера объясняется ея непосредственной ясностью¹⁾. Какъ и слѣдовало ожидать, взглядъ Бергга не удержался, такъ и оставшись совершенно одинокимъ.

До сихъ поръ все обстояло благополучно: по вопросу относительно роли нектара и амброзіи въ мифологіи грековъ наука сразу вступила на истинный путь, и несмотря на единичную попытку свернуть въ сторону, сумѣла удержаться на немъ. За то, коль скоро обратимся къ вопросу о значеніи амброзіи, о ея сокровенной сущности, положеніе сразу мѣняется, и напрасно мы стали бы требовать отъ науки удовлетворительнаго, всѣми признаннаго отвѣта. Въ общемъ можно сказать, что до сихъ поръ наука лишь свела воедино всѣ разрозненныя части относящагося сюда преданія, но окончательнаго синтеза, примиряющаго и истолковывающаго всѣ

¹⁾ Ср. W. H. Roscher, Nectar u. Ambrosia. Leipzig. 1883. S. 51.

противорѣчія этого преданія, до сихъ поръ достигнуть ей не удалось. Попытку В. Г. Рошера въ этомъ направленіи¹⁾ нельзя, какъ увидимъ, признать удачной, а ученый, который по глубинѣ кругозора и широтѣ познаній былъ какъ бы призванъ къ разрѣшенію вопроса—разумѣемъ Э. Роде—не считъ даже нужнымъ его касаться: въ *Psyche* (I² 73) по этому поводу находимъ лишь бѣглую фразу: „Безсмертіе боговъ обусловлено принятіемъ волшебной пищи (Zauberspeise)—амброзіи и нектара; также и человѣка продолжительное употребленіе божественной пищи превращаетъ въ безсмертнаго бога“. Признаніе нектара и амброзіи волшебной пищей нисколько, конечно, разрѣшенія загадки не облегчаетъ.

Ближе всего къ сущности вопроса подошелъ несомнѣнно Бергкъ въ названномъ уже трудѣ. Признавая на основаніи выраженій въ родѣ *ὄνομασθαι, κρητήρ, κέρατα*, примѣняемыхъ къ нектару и амброзіи, что въ позднѣйшее время воображеніе грековъ представляло себѣ ихъ въ видѣ какого-то особаго вина²⁾, какъ въ болѣе раннее, незнакомое съ винодѣліемъ, время оно, несомнѣнно, сближало ихъ съ медомъ³⁾, онъ тѣмъ не менѣе утверждаетъ, что „первоначально нектаръ и амброзія, даруемые священнымъ источникомъ, представляли ничто иное, какъ чистую *небесную* воду“⁴⁾. Съ этимъ мнѣніемъ, по моему, нельзя не согласиться. Несомнѣнно, для первобытнаго человѣка, который видѣлъ, какъ кругомъ него ночная роса освѣжаетъ завядшую отъ дневного зноя растительность, какъ теплый весенній дождь оживляетъ убитую зимней стужей природу, вода должна была казаться принципомъ жизни⁵⁾, и онъ не могъ не мечтать о чудесномъ, въ далекой странѣ боговъ утаенномъ, источникѣ, *надъленнымъ въ гораздо большей степени этими животельными свойствами*. Къ сожалѣнію, Бергкъ не обосновываетъ ближе своей многообъщающей мысли, не извлекаетъ изъ нея естественно надвигающихся выводовъ; неудачная же попытка сближе-

1) Nectar und Ambrosia. Тоже самое вкратцѣ—Roschers Mytholog. Lexikon въ статьѣ „Ambrosia“ I S. 280—283.

2) Bergk, l. l. p. 674.

3) Ibid., p. 676.

4) Ibid., p. 681 sq.

5) Вспомнимъ Эалесову попытку истолковать и вывести все мірозданіе изъ воды и слова Аристотеля (Met. I, 988 b): *πρώτος θεολογήσαντας... Ὠκεανόν τε... καὶ Τηθὺν ἐποίησαν τῆς γένεσως; πατέρας, намекающія на стихъ Илиады (XIV, 200): Ὠκεανόν τε, θεῶν γένεσιν, καὶ μητέρα Τηθὺν.*

нія чудеснаго „амброзійскаго“ источника съ Летою могла лишь дискредитировать самую идею. Остановившись ближе на мифѣ о чудесномъ садѣ Гесперидъ, гдѣ изъ чертоговъ Зевса бьютъ „*κρήναι ἀμβρόσιαι*“ (Eurip. Hippol. 748) и подъ охраной дракона наливаются чудесныя—по Гезіоду (Theog. 216) золотыя—яблоки (Apol. II 5, 11), Бергкъ, вслѣдъ за Преллеромъ¹⁾, въ змѣѣ видитъ лишь символъ рѣки²⁾, имя его *Λάδων*³⁾ приравниваетъ къ *Λήθων*, какъ древнюю, остановившуюся на болѣе ранней ступени развитія языка, параллельную форму, и отсюда уже прямо перейдя къ отождествленію *κρήναι ἀμβρόσιαι*, предполагаемаго начала этой рѣки, съ источникомъ Леты, считаетъ себя въ правѣ категорически заявить, что „источникъ этотъ (Леты) ничто другое, какъ источникъ боговъ (Götterquell): кто отъ него пьетъ, забываетъ всякое страданіе“. Не трудно видѣть, что основанія, на которыхъ зиждется такой выводъ, весьма шатки. Пусть этимологія названія дракона вполне правильна,—ничто не заставляетъ насъ въ немъ видѣть рѣчное существо. Напротивъ, имѣется гораздо болѣе основаній усматривать въ змѣѣ существо хтоническое, чѣмъ представителя водяной стихіи. Согласно голосу большинства мифологовъ, опирающихся на самыхъ неопровержимыхъ свидѣтельствахъ древности, змѣя является, по преимуществу, воплощеніемъ тайныхъ силъ земли, ея какъ бы исчадіемъ⁴⁾. Если порой рѣчныя божества и являются въ образѣ змѣя—вспомнимъ хотя бы Ахелоя въ борьбѣ его съ Геракломъ (Soph. Trach. 10 sqq.),—то это объясняется тѣмъ, что съ извѣстной точки зрѣнія и рѣки, почерпающія свои воды изъ нѣдръ земли, могутъ представляться существами хтоническими,—такое пониманіе, однако, является уже производнымъ, а не основнымъ. Въ данномъ мѣстѣ змѣѣ въ качествѣ сына земли (какъ *χθών*, а не *γαία*) оказывается просто стражемъ, хранителемъ заповѣдныхъ сокровищъ ея—чудеснаго источника и дерева, и къ такому пониманію его прекрасно идетъ эпитетъ *λήθων*, „сокровенный“. Мы ужъ не говоримъ о томъ, что въ Летѣ, которая, по удачному выраженію Роде⁵⁾, должна была

1) Preller, Griech. Mythologie, I³ 461.

2) Bergk l. l. p. 715 sqq.

3) Такъ называется онъ у Гезіода (Theog. 333) и у позднѣйшихъ писателей.

4) Herod. I, 78 *ὄφιν εἶναι γῆς παῖδα*; Artemid. Oneirocr. II, 18 (*δράκων*) *γῆς... ἔστι... παῖς*. Ср. Rohde, Psyche² S. 188; Dieterich, Abraxas S. 114; A. Marx, Griech. Märchen. S. 96.

5) Psyche, I² 316, 2.

„лишь дать чувственное выраженіе бессознательности „*ψυχῶν ἀμενηνὰ χάρηα*“ („безжизненно-вѣющихъ тѣней“, какъ называетъ Гомеръ души умершихъ) видѣть чудесный, живительный источникъ могъ лишь современный, усталый жизнью и пресыщенный культурой человѣкъ: древніе далеки были отъ подобнаго пессимизма, и въ древнихъ *ψυχαί*, литературныхъ изображеніяхъ загробнаго существованія, забвеніе и безпамятство, воплощенное въ образѣ Леты, вмѣсто того, чтобы казаться верхомъ блаженства, лишь усугубляло ужасъ мрачной обители Анда;—позднѣе же это забвеніе являлось увеличеніемъ страданій караемыхъ грѣшниковъ, совершенно такъ же, какъ сохраненіе полного сознанія и свѣтлой памяти, даруемое водой Мнемозины, по орфическимъ *ψυχαί* составляло лучшую награду праведниковъ ¹⁾.

Явные заблужденія въ частностяхъ заставили отбросить вѣрную въ общемъ идею Бергга, и въ научной разработкѣ вопроса возобладало другое направленіе. Въ названномъ уже выше трудѣ Рошера, обновляя старую догадку, высказанную еще Порфиріемъ ²⁾, выступилъ со смѣлымъ утвержденіемъ, что нектаръ и амброзія ничто иное, какъ медъ, причемъ различеніе между ѣдою боговъ, амброзіей и напиткомъ, нектаромъ (или наоборотъ) по его мнѣнію находитъ какъ разъ соотвѣтствіе въ двойной формѣ меда, жидкой (питья) и болѣе плотной (ѣды). Аргументы, которыми доказывается это положеніе, въ общемъ сводятся къ слѣдующему: 1° меду приписываются тѣже самые атрибуты, какъ нектару и амброзіи: сладость, пріятный вкусъ, благовоніе ³⁾; 2° меду, какъ и амброзіи, приписывались древними цѣлебныя, гигиеническія, антисептическія свойства ⁴⁾; 3° медъ, наравнѣ съ нектаромъ и амброзіей, съ самыхъ отдаленныхъ временъ понимается, какъ пища боговъ ⁵⁾.

Выводы Рошера, развиваемые весьма послѣдовательно и методично и подкрѣпляемые весьма солидной ученостью, имѣютъ въ добавокъ преимущество простоты и ясности, которыя сразу подкупаютъ читателя. Въ общемъ, однако, эта въ сущности раціоналистическая гипотеза, пытающаяся весь комплексъ данныхъ рели-

1) См. Rohde, Psyche, II², 210, Anm.

2) De antr. nymph. 16 ἡ ἰοὺν τὸ νέκταρ καὶ τὴν ἀμβροσίαν... τὸ μέλι ἐνδέχεσθαι, θεῶν τροφῆς ὄντος τοῦ μέλιτος.

3) Nektar u. Ambrosia, S. 42—46.

4) Ibid., pp. 51—60.

5) Ibid., pp. 60—69.

гіозныхъ представленій „свести къ одной общей *естественной* основѣ“ („auf eine gemeinsame Naturbasis zurückführen“, *ibid.*, p. 4), едва ли примѣнима къ образамъ, которые возникновеніемъ обязаны въ гораздо большей степени смутнымъ чаяніямъ сердца, чѣмъ внушеніямъ анализирующаго ума. Пора, наконецъ, признать, что религія имѣетъ не одинъ корень, и что обожествленіе природныхъ силъ, явленій, продуктовъ далеко не исчерпываетъ содержанія міаовъ, такъ что тотъ, кто въ этой области желаетъ свести все къ естественнымъ феноменамъ, не можетъ обойтись безъ искусственныхъ урѣзокъ или сознательныхъ умолчаній. Говоря это, я вовсе не думаю безусловно отрицать значенія Рошера метода;—напротивъ, удачное по моему истолкованію съ его помощью смысла фигуры Гермеса (=вѣтеръ), придавшее единство и цѣльность диспаратнымъ элементамъ преданія объ этомъ богѣ¹⁾, заставляетъ отнестись къ нему съ полнымъ уваженіемъ. Я лишь думаю, что методъ этотъ въ данномъ случаѣ—въ примѣненіи къ представленіямъ, въ которыхъ Младенчество человѣчества воплотило свою мечту о лучшемъ, высшемъ существованіи,—неминуемо долженъ былъ привести къ крушенію.

Въ самомъ дѣлѣ, присмотримся ближе къ аргументамъ Рошера, начиная съ послѣдняго, какъ наиболѣе вѣскаго. Щедрой рукой разсыпаетъ Рошеръ античныя свидѣтельства, долженствующія доказать тождество меда съ нектаромъ и амброзіей. Тутъ есть и прямое утвержденіе гомеровскаго гимна²⁾, что медъ есть *θεῶν ἡδαια ἰδωδίη*, и косвенное доказательство того же въ видѣ примѣровъ, гдѣ дѣйствительно боги представлены кушающими медъ³⁾, и данныя культа, изъ которыхъ видно, что богамъ особенно часто приносился въ жертву напитокъ изъ смѣси меда съ молокомъ и водой⁴⁾, и весьма интересные факты, свидѣтельствующіе о томъ, что древніе представляли себѣ медъ, какъ своего рода чудесную росу небеснаго происхожденія, собираемую затѣмъ пчелами, и что представленіе это не ограничивалось предѣлами греческаго міра⁵⁾. Чему учить насъ весь этотъ пестрый матеріалъ? Какой выводъ вынуж-

1) Nekt. u. Ambr., 1—5.

2) Hym. Hom. in Herm. 562.

3) Batrach. 39 sq.; Apoll. Rhod. Argon. IV, 1134; Anton. Lib. 19.

4) Roscher, l. l. pp. 62—67.

5) Id. pp. 13—22.

даетъ онъ насъ сдѣлать? По моему, выводъ тутъ возможенъ лишь одинъ: источники меда (и молока, о которомъ лишь нехотя говорить Рошеръ) принадлежать къ исконнымъ, неотъемлемымъ атрибутамъ чудесной страны боговъ и въ качествѣ таковыхъ являются представленіями параллельными къ источникамъ нектара и амброзіи. На ихъ первоначальное тождество ничто не указываетъ—если оставить въ сторонѣ, какъ поэтическую вольность ¹⁾, позднѣйшую комбинирующую догадку ²⁾, порой высказываемое мнѣніе, что амброзія есть своего рода quintaessencia меда. Если же изъ факта, что боги порой лакомятся амброзіей, порой медомъ, дѣлать заключеніе, что амброзія и есть медъ, то такимъ же образомъ не трудно было бы доказать, что амброзія есть—молоко: вѣдь по нѣкоторымъ сказаніямъ Зевсъ вскормленъ былъ молокомъ козы Амалтеи ³⁾, изъ подъ ногъ Вакха, кромѣ меда, било ключемъ молоко ⁴⁾, въ золотой вѣкъ текли рѣки не только меда, но и молока, а въ разныхъ древнихъ культахъ на ряду съ медомъ почти всегда стоитъ молоко ⁵⁾. Съ такимъ, однако, выводомъ едва ли согласился бы Рошеръ, какъ ни логически вытекаетъ онъ изъ его предположеній.

Второй аргументъ Рошера—тождество лѣчебныхъ, укрѣпляющихъ, антисептическихъ примѣненій меда съ одной стороны, и нектара и амброзіи съ другой, также оказывается не болѣе состоятельнымъ. Не говоря о томъ, что перенесеніе прозаической медицинской терминологіи на созданіе греческаго религіознаго сознанія едва ли многимъ придется по вкусу, самое тождество это не слѣдуетъ принимать слишкомъ буквально. Цѣлая пропасть лежитъ между тѣми благотворными послѣдствіями различныхъ примѣненій меда, о которыхъ учила древняя медицина и естествознаніе, и тѣмъ глубокимъ внутреннимъ пресущевленіемъ, которымъ амброзія простого смертнаго превращала въ бога и даже въ существъ высшаго порядка мгновенно удесятерила силы. Укажемъ въ видѣ примѣра на ту сцену изъ гомеровскаго гимна Аполлону Делосскому, гдѣ Фемида младенцу Аполлону впервые вливаетъ въ

¹⁾ Ibycus у Ath. I, 39 b τὴν ἀμβροσίαν τοῦ μέλιτος ἐναπλασίαν ἔχειν γλοχότητα.

²⁾ Schol. Pind. Pyth. IX 113 μέλι τῆς ἀθανασίας δέκατον μέρος, также Tzetz. VIII 984, по Эникуру.

³⁾ Callimach. hymn. in Jov. 48.

⁴⁾ Eurip. Bacch. 143 sq.

⁵⁾ Usener, Milch und Honig, N. Rhein. Mus. LVII 177—195.

уста нектаръ и амброзію ¹⁾: „Когда же ты, о Фебъ, вкусилъ пищу безсмертія (ἀθάροτον ἕδωρ), твоихъ быстрыхъ движеній (ἀταίρωτα) не удержали болѣе ни золотыя пеленки, ни привязи, но всѣ узы (καίματα) расторглись. Тутъ возговорилъ къ богинямъ лучезарный Аполлонъ: «Дайте мнѣ милую кивару и кривой лукъ, и я стану вѣщать людямъ непогрѣшимую волю Зевса»“. Желая во что бы ни стало спасти предположенное тождество, Рошеръ долженъ былъ однимъ терминомъ обнимать вещи весьма различныя, въ результатѣ чего роскошнѣйшіе цвѣтки древней мифологической поэзіи превратились въ жалкія аптекарскія снадобья.

Что и говорить объ убѣдительности перваго изъ аргументовъ Рошера, который съ такой силой подчеркиваетъ, что греки такъ меду, какъ и нектару и амброзіи, приписывали тѣже самыя свойства сладости, пріятнаго вкуса и запаха? Вѣдь идиллическія картины въ общемъ всегда однообразны, и въ обрисовкѣ ихъ поповоль приходится прибѣгать къ однѣмъ и тѣмъ же краскамъ. Божественный нектаръ и амброзія, эти идеализированныя отвлеченія нитя и пищи, должны были совмѣщать въ себѣ всевозможныя совершенства, ласкать въ равной мѣрѣ чувство вкуса и обонянія.

Итакъ, всѣ аргументы Рошера оказываются не выдерживающими критики. Въ цѣломъ гипотеза эта, какъ справедливо замѣчаетъ Вернике ²⁾, стоитъ въ рѣзкомъ противорѣчій съ тѣми свидѣтельствами древнихъ, которыя доказываютъ, что амброзія и нектаръ „представлялись имъ доступными однимъ богамъ, людямъ же—лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по особенной милости боговъ“³⁾. Такъ, въ гомеровскомъ гимнѣ Гермесу ³⁾ Аполлонъ въ Килленскомъ гротѣ „блестящимъ ключемъ“ отпираетъ три источника нектара и амброзіи, причемъ они носятъ выразительное названіе ἄβυσσος. Подобное находимъ мы и въ свидѣтельствѣ Еврипида ⁴⁾ и поэтессы Мойро, о которыхъ рѣчь впереди.

Прежде чѣмъ разстаться съ теоріей Рошера, остановимся еще немного на одномъ его положеніи, которое, впрочемъ, и съ его

¹⁾ Hymn. Hom. in Apoll. Del. 124 sqq.

²⁾ K. Wernicke, статья Ambrosia: Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie I 1808—11.

³⁾ In Mercur. 248 sqq.

⁴⁾ Eurip. Hippol. 740 sqq.

основнымъ тезисомъ органически вовсе не вяжется. Замѣтивъ, что водѣ подземной рѣки Стикса, каковая вода въ позднѣйшихъ версіяхъ саги объ Ахиллѣ является на ряду съ амброзіей, приписывается свойство дѣлать безсмертнымъ или неуязвимымъ, Рошеръ безъ колебанія этому представленію приписываетъ глубокую древность, „такъ какъ многое изъ представленій, сохранившихся въ сказаніи о Стиксѣ, позволяетъ думать, что эта рѣка первоначально была тождественна съ источниками нектара и амброзіи“¹⁾. Это „многое“ сводится, во-первыхъ, къ выраженію *Στύγος ἄφθιτον ἕδωρ*, во-вторыхъ, къ „своеобразному значенію, какое клятва Стиксомъ имѣла для боговъ, и, наконецъ, къ тому факту, что, въ-третьихъ, у Стикса оказываются дѣти, носящія выразительныя имена *Κράτος* и *Βία*. Такъ какъ внѣ гипотезы, отождествляющей медь съ амброзіей, медь по даннымъ древней письменности, не имѣетъ никакого отношенія къ Стиксу, то въ сущности предъ нами здѣсь новая теорія, приравнивающая источники нектара и амброзіи къ водѣ Стикса. Самую основу ея дѣлаетъ шаткой уже то обстоятельство, что по признанію самаго выставившаго ее ученаго, тѣ сказанія, на которыхъ опирается она,—„варианты, сохранившіеся лишь въ позднѣйшихъ источникахъ“. Само по себѣ это обстоятельство не является достаточнымъ противопозаказаніемъ, такъ какъ позднѣйшая по записи версія не всегда бываетъ позднѣйшей по происхожденію. Хуже то, что самая аргументація оказывается опять таки недостаточной, если не прямо сбивчивой. Фактъ, что поклявшіеся Стиксомъ боги въ случаѣ нарушенія клятвы „впадаютъ—говоря словами самого Рошера—въ смертный сонъ и отрѣшаются отъ принятія нектара и амброзіи“, лучше всего становится намъ понятнымъ, если вмѣстѣ съ Нэгельсбахомъ²⁾ допустить, что „Стиксъ—это рѣка царства мертвыхъ и представитель его; поклявшіеся имъ боги въ случаѣ клятвопреступленія подчиняются власти смерти, иными словами, слагаютъ съ себя божественность“. Исходя изъ того же представленія, легко понять, что мысль о всемогуществѣ смерти могла повести къ обособленію и олицетворенію его въ параллельныхъ образахъ *Κράτος* и *Βία*, исчадій Стикса. Эпитетъ же *ἄφθιτον*—непреходящій—вполнѣ примѣнимъ къ царству смерти, которому нѣтъ и не будетъ конца. Выходитъ, что Стиксъ, по Рошеру, потому лишь долженъ быть однопозначенъ съ

1) Nektar u. Ambr. S. 54 f.

2) Nägelsbach, Homer. Theologie³. S. 43.

нектаромъ и амброзіей, принципомъ жизни, что отдавшіеся во власть его боги отрѣшаются отъ этого принципа и должны умереть: настоящее „lucus a non lucendo“. И въ самомъ дѣлѣ, могъ ли Роперъ не впутаться въ это столь глубокое противорѣчіе, если въ древнѣйшихъ упоминаніяхъ Стикса онъ представляется чѣмъ-то въ той же мѣрѣ ненавистнымъ, противнымъ сонму боговъ¹⁾, въ какой нектаръ и амброзія являются милыми, вождѣнными²⁾. Этимологія слова Стиксъ указываетъ на исконность этого представленія.

Итакъ, нектаръ и амброзія не имѣютъ ничего общаго ни съ водой Леты или Стикса, ни съ медомъ, какъ требовали перебранная нами теоріи. Спрашивается, чѣмъ же въ сущности является этотъ загадочный образъ, такъ трудно, повидимому, поддающійся истолкованію? Отвѣтъ оказывается чрезвычайно простымъ: это, какъ уже догадывался Бергкъ, „чистая небесная вода“,—говоря яснѣе—„живая вода“, о которой такъ много говорятъ наши сказки. Чтобы это толкованіе не показалось слишкомъ неожиданнымъ, напомнимъ, что древнимъ хорошо извѣстно было это представленіе, подъ именемъ πηγὴ ἀθανάτου, ψοίζου, αἰζου являвшееся у грековъ, fons vivus, aqua viva у римлянъ³⁾. Какъ въ нашихъ сказкахъ, „живая вода“ древнихъ обладаетъ способностью лѣчить раны, уничтожать физическую боль⁴⁾, обновлять все дряхлое, старое⁵⁾, оживлять мертвое⁶⁾, давать безсмертіе⁷⁾. Какъ въ нашихъ сказкахъ, она обыкновенно связана съ чудеснымъ деревомъ, чаще всего яблоней⁸⁾.

¹⁾ См. Od. V 185 Στοιχὸς ὕδωρ, ὅτε μέγιστος Ὀρκος δεινότητός τε πάλα μακάρουσι θεοῖσι; Hesiod. Theog. 775 sq. στοιχὰρὴ θεὸς ἀθανάτοισι, δεινὴ Στόξ̄ и т. п.

²⁾ См. II. XIX 353, Hymn. in Ap. Del. 124, Hymn. in Merc. 249 и др.: ἀμβροσίη ἐρατεινή.

³⁾ См. выборку мѣстъ у Rohde (Psyche² II 390, 1) и въ моей брошюрѣ „Сказ. мотивы въ ист. Герод.“, стр. 147, 151—3, гдѣ приведены восточныя параллели и нѣсколько греческихъ и римскихъ, не отиѣченныхъ Rohde. Къ нимъ слѣдуетъ еще прибавить стихи Нонна (Dionys. XXX, 73—6):

Ἦθελον ἔγωγε ἔχειν ψοίζου ἐνθάδε πηγὴν,
Ὅφρα τοῖς μελέεσσι βλαῶν ὀδονήφατον ὕδωρ
Πρηῶνω τῶν ἔλκος ἐπήφατον, ὄφρα καὶ αὐτὴν
Ψυχὴν ὑμετέρην κάλινάφρατον εἰς σε κομίσω.

⁴⁾ См. приведенное мѣсто Нонна.

⁵⁾ Physiologus Ἄετός.

⁶⁾ Ps. Call. II 40; Nonnus, I. I.

⁷⁾ Ps. Call. I. I. Schol. in Plat Resp. X 611 C.

⁸⁾ Lact. Carm. de phoen. 25 sqq. Plato Politic. 270 C—E; Θεοπομπὴ у Aelian. V. H., III 18.

Какъ въ нашихъ сказкахъ, она обыкновенно добывается хищными птицами,—орломъ ¹⁾, ворономъ ²⁾ и охраняется соответствующими нашимъ змѣямъ драконами ³⁾. Всѣми этими чертами надѣлены также нектаръ и амброзія. Они, какъ извѣстно, усугубляютъ тѣлесную мощь ⁴⁾, лѣчатъ раны ⁵⁾, даютъ даже человѣку безсмертіе и вѣчную юность ⁶⁾. Хотя у Гомера и Гезіода нектаръ и амброзія представляются въ видѣ своеобразнаго питья и пищи, тѣмъ не менѣе есть почтенной древности свидѣтельства, доказывающія, что и амброзія, обыкновенно толкуемая какъ *ἐτρά τροφή*, была чудесной влагой, бьющей ключемъ въ странѣ боговъ. Такъ у Еврипида въ „Ипполитѣ“ (735 sq.) хоръ высказываетъ желаніе бѣжать отъ ужасовъ жизни и крылатой птичкой перенестись „въ край сладкозвучныхъ Гесперидъ, гдѣ растутъ чудесныя яблоки, куда владыка пурпурнаго моря не даетъ доступа пловцамъ,—тотъ священный рубежъ... гдѣ у почивальни Зевсовыхъ чертоговъ льются источники амброзіи (*κρήναι ἀμβροσίας χέουσαι*) и божественная подательница жизни—земля умножаетъ блаженство боговъ“. Мы не имѣемъ никакого права признавать сказаніе, легшее въ основу Еврипидова сообщенія, сравнительно позднимъ: что у трагиковъ, примыкавшихъ къ сокровищницѣ исконныхъ мѣстныхъ преданій, попадаются порою болѣе древнія формы мифовъ, чѣмъ въ сложившихся въ колоніяхъ гомеровскихъ поэмъ, это—давно признанная истина.

Тотъ же отрывокъ Еврипида доказываетъ, что какъ въ позднѣйшихъ греческихъ сказкахъ „живая вода“, такъ и амброзія первоначально находилась въ связи съ чудеснымъ деревомъ, яблоней. На животворящее дѣйствіе этихъ яблокъ и сообщеніе черезъ нихъ безсмертія, въ соотвѣтствіе нашимъ „молодильнымъ яблокамъ“, указываетъ то обстоятельство, что добываніе ихъ въ ряду подвиговъ Геракла помѣщено въ концѣ, рядомъ съ побѣдой надъ псомъ преисподней, Керберомъ (олицетвореніе смерти), являясь, такимъ образомъ, апофеозомъ героя, возведеніемъ смертнаго въ боги. Въ другой версіи

1) *Physiol.* l. 1.; *Apul. Met.* VI 14.

2) *Ovid. Fast.* II 43 sq.

3) *Apul.* l. 1.; *Ovid* l. 1.

4) *Hymn. in Ap. Del.* 125 sq.; *Hesiod. Theog.* 639 sq.

5) II. XVI 667; XIX 38. Такъ слѣдуетъ понимать Гомерово „антисептическое“ примѣненіе нектара и амброзіи, хотя это представленіе здѣсь ослаблено: раны, которыми покрыты трупы Патрокла и Сарпедона отъ смазанія амброзіей не заживаютъ, а лишь предохраняются отъ гніенія.

6) *Odys.* V 92 sq., 199 sq.; *Pind. Olym.* I 63—7; *Apoll. Rhod.* IV 869.

того же сказанія о садѣ Гесперидъ (Apollod. III 5, 10) чудесное дерево охраняется дракономъ, что опять таки стоитъ въ соотвѣтствіи съ древней сказкой о „живой водѣ“. Наконецъ, есть указанія и на то, что божественный напитокъ, подобно „живой водѣ“ сказки, представлялся добываемымъ хищными птицами. Такъ, поэтесса Мойро изъ Византіи (около 300 г. до Р. Х.) въ отрывкѣ, сохраненномъ у Атеней (XI 49, 16), описывая младенчество Зевса на Критѣ, говоритъ, что амброзіей, „приносимой отъ струй Океана“, питали его голуби,

Νέκταρ δ' ἐκ πέτρης μέγας ἀετὸς ἀιὲν ἀφόσσω
Γαρφηλῆς φορέεσκε ποτὸν Διὶ ρητιόεντι,

т. е. „нектаръ же то и дѣло приносилъ... огромный орелъ въ клювѣ своемъ, черпая его изъ скалы“. Не имѣемъ никакого основанія сомнѣваться въ древности этого сказанія: она подтверждается мифомъ о похищеніи орломъ Зевсова виночерпія Ганимеда, представляющаго собою мужской двойникъ подносящей богамъ нектаръ и амброзію Гебы (= олицетворенной юности)¹⁾. Свидѣтельство Мойро интересно для насъ еще въ одномъ отношеніи: оно показываетъ, что и нектаръ, подобно амброзіи, древніе представляли себѣ въ видѣ бьющей изъ земли влаги, позволяя, такимъ образомъ, отождествить эти два термина, какъ синонимическія обозначенія той же сущности. Не менѣе ясно тождество обоихъ веществъ вытекаетъ изъ эпиграммы александрийскаго поэта Діоскорида²⁾, который говоритъ о *προχοαὶ νεκταροῦ ἀμβροσίου* въ подземномъ царствѣ, т. е. о *ручьяхъ* „амброзіискаго нектара“, соединяя при томъ оба выраженія для обозначенія одного понятія. Мы считаемъ себя въ правѣ вслѣдствіе этого присоединиться къ мнѣнію Бергка³⁾, что „ничто не заставляеть насъ разъединять эти выраженія“ и что „самое подходящее объясненіе есть то, по которому общее названіе здѣсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ соединено съ болѣе специальнымъ, чтобъ вполне исчерпать понятіе, въ родѣ *πρὸς ἡῶ τ' ἡέλιόν τε, Οὐρανὸς Ὀβλομπόος τε* и т. п. Амброзія будетъ, такимъ образомъ, „живая вода“ во всѣхъ ея мно-

¹⁾ Мифъ о похищеніи Ганимеда является, по нашему мнѣнію, сліяніемъ сказанія объ орлѣ, приносящемъ Зевсу нектаръ, и версіи, по которой Ганимедъ былъ взятъ на небо *богами* за свою красоту и сдѣланъ виночерпіемъ Зевса, „дабы онъ былъ въ сонмѣ безсмертныхъ“ (II. XX 233 sq. *τὴν καὶ ἀνῆρσιψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοῦσθαι κάλλεος εἴνεκα οἷο, ἵν' ἀθανάτοισιν μετείη*).

²⁾ Anthol. Palat. VII 31.

³⁾ l. l. p. 671—72.

гообразныхъ примѣненіяхъ, нектаръ, по подкупающей этимологіи Г. Курціуса ¹⁾ означающій просто „лакомство“ (Leckerei),—„живая вода“ въ болѣе тѣсномъ смыслѣ напитка. Такимъ образомъ, цѣлый рядъ свидѣтельствъ, гдѣ амброзія представлена въ видѣ питья ²⁾, оказывается болѣе близкимъ къ первоначальному значенію.

Если мы спросимъ, какимъ образомъ, вопреки первоначальному смыслу, амброзія стала обозначать твердую пищу, то, по моему, такое измѣненіе значенія облегчено было народной этимологіей. Повидимому, слово ἀμβροσίη сближено было съ корнемъ βορ—сравн. βορᾶ (пища), βίβρωσκω; а получившееся послѣ выдѣленія мнимаго корня сочетаніе звуковъ ἀμ—истолковано было какъ синкопированный префиксъ ἀνα (сравн. ἀμβροῖαν вм. ἀναβοῖαν).

Итакъ, всѣ характерныя особенности нектара и амброзіи, какъ въ общей ихъ обстановкѣ, такъ и въ производимомъ ими дѣйстви, гораздо легче выводятся изъ того, что намъ извѣстно о „живой водѣ“ у древнихъ, чѣмъ изъ той роли, какую играли медъ въ древнихъ преданіяхъ и культѣ. Связующее звено между сказаніями объ источникѣ амброзіи и о πηγή ἀθανάτου, „живой водѣ“, представлено тѣми мѣстами, гдѣ амброзія названа прямо ἀθανασία ³⁾.

Если нектаръ и амброзія сводятся, какъ мы видѣли, къ одному общему субстрату, представляемому по Бергку „чистой небесной водой“, то изъ этого нельзя еще заключить вмѣстѣ съ нимъ, что грекамъ ископн извѣстенъ былъ одинъ лишь божественный напитокъ, что твердая пища боговъ „павѣрное не является первоначальнымъ представленіемъ ⁴⁾. По моему, наоборотъ, представленіе о твердой пищѣ, употребляемой богами, съ незапамятныхъ временъ было свойственно грекамъ, найдя выраженіе въ мифѣ о плодахъ чудеснаго дерева. Въ мифологіяхъ Востока представленіе это тѣснѣйшимъ образомъ связано съ водой жизни. Такъ, въ ассири-вавилонской поэмѣ о хожденіи Немврода-Гилгамеша въ страну боговъ на ряду съ чудеснымъ источникомъ, отъ воды котораго исчезаетъ проказа, упоминается дерево, носящее

¹⁾ Griech. Etymol.⁵ 184: νόγαλον: νέκταρ = κλώψ: κλέπτω; Suff. ταρ wie in ix-тар.

²⁾ Кромѣ указанныхъ выше см. еще Sapph. fr. 5; Anaxandr. frg. 7 (=Athen. II 39 A).

³⁾ См. Schol. Pind. Pyth. IX, 113; Lucian. Dial. Deor. 4 (κρήνη ἀθανασίας).

⁴⁾ aber ist dies (die Götterspeise) nicht die ursprüngliche Vorstellung, l. l. p. 670.

характерное названіе „старикъ станеть молодымъ“¹⁾. Въ ветхозавѣтной легендѣ о раѣ, представляющей переработку въ монотеистическомъ духѣ ассиро-вавилонскихъ представлений о странѣ божества, змѣи, изъ стража древа жизни превращенный въ искусителя рода человѣческаго, обращается къ праматери Евѣ съ полными соблазна словами: „въ онъже аще день свѣсте отъ него“ (т. е. „отъ плода древа еже есть посредѣ рая“) „...будете яко бози, вѣдяще доброе и лукавое“²⁾, которыя, впрочемъ, съ точки зрѣнія разсматриваемыхъ религіозныхъ представлений вовсе не являются низкимъ обманомъ. По египетской надписи на пирамидѣ Saqqarah великіе боги живутъ на большомъ островѣ „въ сердцѣ полей мира“ и питаются „отъ плодовъ древа жизни“³⁾. Въ послѣднихъ примѣрахъ „древо жизни“ стоитъ, правда, независимо отъ „источника жизни“—лишь далекій отголосокъ его представляютъ, пожалуй, ветхозавѣтныя райскія рѣки съ содержимымъ въ нихъ „златомъ добрымъ“,—но они весьма поучительны въ томъ смыслѣ, что въ нихъ пищей боговъ являются плоды чудеснаго дерева. Слитыми воедино источникъ и „древо жизни“ оказываются въ „Откровеніи“ св. Іоанна (XXII, 1—2): *Καὶ ἔδειξέ μοι καθαρὸν ποταμὸν ὕδατος ζῶης, λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. Ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν ῥόλον ζῶης, ποιοῦν καρποὺς ὁσδοκα* (также *ibid.*, 14)⁴⁾.

1) A. Jeremias, Die babylon. assyr. Vorstellungen vom Leben nach dem Tode, 1887, SS. 10—23.

2) Бытіе 3, 5.

3) Jeremias l. l. p. 98.

4) На сопоставленіе съ этимъ мѣстомъ сами собой напрашиваются еврипидово изображеніе сада Гесперидъ, гдѣ растеть чудесное дерево и „*κρηναὶ τ' ἀμβρόσιαι γέονται Ζητὸς μελαθρων παρὰ κοίταις*“, и Плавтово упоминаніе рѣки, „*qui de coelo exoritur sub solio Jovis*“ (Trin. 940). Какъ греческая, такъ и іудейская версія сказанія изображаютъ животворящую влагу изливающейся изъ чертоговъ (изъ подъ трона) Верховнаго существа, въ непосредственной близости чудеснаго дерева. Несмотря на столь поразительное совпаденіе въ деталяхъ мы всетаки даннаго образа въ видѣннй Іоанна не можемъ отнести на счетъ тѣхъ эллинскихъ наслоеній, которыя у него замѣчаются. Напротивъ, Іоаннъ здѣсь, какъ и въ упоминаніяхъ „живой воли“ въ своемъ Евангеліи (IV 10, 13—4; VII 37) стоитъ на почвѣ національной традиціи. Выше мы уже говорили о райскихъ рѣкахъ, какъ ослабленномъ образѣ „воды жизни“, и „древѣ жизни“. Прибавимъ, что для пророковъ это были излюбленные образы, съ которыми связывалось представленіе о пришествіи Мессіи, торжествѣ царя Сіона, будущемъ великолѣпнй Іерусалима. Такъ, пророкъ Іоиль (3, 18) восклицаетъ: „И будетъ Іерусалимъ святъ... и будетъ въ той день, исцап-

На почвѣ древней Эллады сказаніе о чудесномъ деревѣ, растущемъ у источника жизни, несомнѣнно, тоже существовало, какъ видно хотя бы изъ мѣта о хожденіи Геракла въ садъ Гесперидъ. Дерево это тѣсно было связано съ представленіемъ о благодатной странѣ боговъ, лучшее украшеніе которой оно составляло, и тѣмъ объясняется спорадическое появленіе этого образа въ сказкѣ о Макарин (см. выше), представляющей по Узенеру проекцію неба на землю¹⁾. У насъ, однако, нѣтъ непосредственныхъ свидѣтельствъ о томъ, что плоды его составляли пищу боговъ, и мы можемъ лишь догадываться объ этомъ, какъ по аналогіи выпеприведенныхъ восточныхъ легендъ, такъ и по косвеннымъ указаніямъ другихъ греческихъ мѣтовъ. Такъ, въ гомеровскомъ гимнѣ Деметрѣ²⁾ Зевсъ по просьбѣ этой богини посылаетъ Гермеса къ похитившему Персефону Андоною съ требованіемъ возвратитъ ее матери. Послѣдній насильно заставляеть плѣнницу вкуситъ отъ гранатоваго яблока, и она всегда уже должна третью часть года проводить „ὄλο κελύσιν γαίης“, въ глубинѣ земли. Такимъ образомъ, подземные боги представлены питающимися особенными плодами,—пищей смерти, которая всякаго, кто ни отвѣдаетъ отъ нея, на вѣкъ приобщаетъ къ царству тѣней³⁾. Естественно поэтому допустить аналогичную пищу жизни и безсмертія для небесныхъ владыкъ. Если образъ „древа жизни“, какъ мы говорили выше, рано поблекъ, то причину этого надо, по моему,

лють горы сладость, и холмы источать млеко, и вси источники Іудины источать воды, и источникъ отъ дому Господня изыдетъ“. Подобнымъ образомъ выражается пророкъ Захарія (14, 8): „И въ день онъ изыдетъ вода жива изъ Іерусалима“. Гораздо подробнѣе ту же мысль развиваетъ Іезекіиль, у котораго опять рядомъ съ „живой водой“ упоминается чудесное древо, и притомъ замѣтно, какія представленія соединились съ этой водой и деревомъ. Ангелъ указываетъ Іезекіилю будущее великолѣпіе храма (47, 1): „И се вода исхождаше изъ-подъ непокровеннаго храма на востокъ... 2. И се вода исхождаше отъ страны десныя... 7. И се на брезѣ рѣчнѣмъ дерева многа зѣло... 9. И живо будетъ всякое, на неже аще приидетъ рѣка, тамо живо будетъ... 12. И надъ рѣку выдетъ... всякое дерево ядомое не обветшаетъ у нея, не оскудѣетъ плодъ его... воды ихъ сія отъ святыхъ исходятъ, и будетъ плодъ ихъ въ снѣдь, и прозѣбеніе ихъ во здравіе“. Къ Іезекіилю-то и примыкаетъ въ своемъ видѣніи ап. Іоаннъ: онъ лишь блескъ и торжество Іерусалима переноситъ въ вѣчность, за прѣѣлы времени—эволюція, какъ увидимъ, до нѣкоторой степени параллельная той, которая пройдена тѣмъ же образомъ на греческой почвѣ.

1) Usener, Sintflutsagen S. 202.

2) Jn Cerer. 412—414.

3) То же самое у Овидія Fast. IV 605 sqq.; ср. Apul. Met. VI 19.

видѣть въ наличности двухъ терминовъ для обозначенія чудесной небесной воды. Разъ первоначальный ихъ смыслъ былъ забытъ и одинъ изъ нихъ сталъ обозначеніемъ твердой пищи, чудесное дерево въ экономіи миеа стало излишнимъ.

Переходимъ теперь къ изложенію дальнѣйшей судьбы источника и древа жизни въ древне-греческихъ преданіяхъ. Потерявъ органическую связь съ миеомъ о странѣ боговъ, выйдя изъ первоначального единства съ „живой водой“, чудесное дерево все же не было забыто. Оно лишь отодвинулось на второй планъ; и если порой оно попадаетъ ¹⁾ еще въ изображеніяхъ Макарія (т. е. той волшебной, блаженной страны, которая играла столь видную роль въ мечтаніяхъ греческаго народа), то въ общемъ оно измельчало, уже у Гомера превратилось въ живительное зелье, составляющее пищу божественныхъ коней ²⁾ и въ этой послѣдней формѣ (зелья) перешло въ сферу такъ называемой „нижней миеологии“, — народныхъ суевѣрій, сказокъ.

Такъ, у Аполлодора ³⁾ прорицатель Поліидъ, сынъ Кофрана, не будучи въ состояніи воскресить потонувшаго въ бочкѣ меда юнаго Главка, сына Миноя, заключенъ былъ вмѣстѣ съ трупомъ въ могильномъ склепѣ (in monumento, Hygin.). Здѣсь онъ убиваетъ дракона, бросившагося на тѣло; но вскорѣ является другой драконъ и приложеніемъ принесенной съ собой травы оживляетъ убитаго. Поліидъ прикасается той же травой къ тѣлу юноши, и тотъ оживаетъ. Равнымъ образомъ у Александра Этолійскаго ⁴⁾ рыбакъ Главкъ, замѣтивъ, что пойманныя имъ рыбы оживаютъ отъ какого-то зелья, самъ пробуетъ его: непреодолимая сила влечетъ его въ море, гдѣ онъ превращается въ морское божество ⁵⁾. Въ послѣднемъ случаѣ мотивъ воскрешенія мертваго замѣненъ дарованіемъ человѣку безсмертія. На связь этихъ сказаній съ нашимъ миеомъ указываетъ многое. Если у Аполлодора оживляющее зелье, какъ яблоня въ миеѣ о садѣ Гесперидъ, охраняется дракономъ, то въ другихъ версіяхъ того же сказанія оно стоитъ рядомъ съ „жи-

¹⁾ Platon. Polit. 270 C—E; Theopomp. у Aelian. V. H. III 18; Lactant. De phoen. 25 sqq.

²⁾ См. II. V 777 τοῖσι (конямъ Геры) δ' ἀμβροσίην Σίμωκε ἀνέτελε νέμεσθαι; также II. V 369, XIII 35 и т. д.

³⁾ III 3, 1—2, также Hygin. fab. 136.

⁴⁾ Athen. VII 296 E.

⁵⁾ Ср. Ps. Call. II 39—41.

вой водой“. Такъ, въ *Αἰτωλικὰ* Никандра ¹⁾ Главкъ, который здѣсь оказывается охотникомъ, преслѣдуетъ въ горахъ зайца и убиваетъ его. У одного источника онъ очищаетъ растущей тамъ травой добычу, и заяцъ оживаетъ. Отвѣдавъ самъ травы, Главкъ въ дикомъ одушевленіи бросается въ море, гдѣ становится морскимъ демономъ. Если здѣсь и не говорится прямо о чудесныхъ свойствахъ источника, то это не болѣе какъ искаженіе первоначальной формы, и возстановить ее мы можемъ съ помощью одной изъ схолий къ Платоновой „Республикѣ“ (X 611. C). Тамъ говорится, что οὖτος (Главкъ) περιτοχὼν τῇ ἀθανάτῳ πηγῇ καὶ κατελθὼν εἰς αὐτὴν ἀθανασίας ἔτοχεν, μὴ δυνήθεις δὲ ταύτην τρωὶν ἐπιδειξαι εἰς θάλασσαν ἐρρίφθη, т. е. Главкъ, „найдя источникъ безсмертія и окунувшись въ него, самъ сталъ безсмертнымъ, не будучи, однако, въ состояніи кому-то показать его, бросился (или былъ брошенъ?) въ море“. Повидимому, та форма сказанія, которая легла въ основу сообщенія Никандра и еще болѣе искаженнаго свидѣтельства Овидія ²⁾, представляетъ тотъ первообразъ, ту первичную основу, изъ которой затѣмъ путемъ дифференціаціи выдѣлились версія Александра (одно лишь зелье) и версія Платонова схолиаста (одна лишь вода); версія же Аполлодора и стоящая съ нею рядомъ лидійская сага объ оживленіи Тила испробованной на змѣѣ травой (*Xanthus* fr. 16) является самостоятельной струей преданія, восходящей все къ тому же мнѳу о странѣ боговъ. О распространенности сказки объ оживляющемъ зельѣ, легко объяснимой тѣмъ, что цѣлый рядъ первоклассныхъ талантовъ—Пиндаръ, Эсхиль, Софокль, Еврипидъ ³⁾—обработали ее поэтически, можно судить по факту, что даже древняя медицина вѣрила въ существованіе растенія *ἀειζωον*, которому приписывались чудесныя свойства ⁴⁾. Популярность же эта сама въ свою очередь объясняетъ намъ появленіе у новыхъ народовъ аналогичной сказки объ оживляющей травѣ, которую отыскиваютъ змѣи ⁵⁾.

1) Athen. VI 296 E.

2) Ovid. Met. XIII 935—953. У Овидія Главкъ, вкусивъ оживившаго пойманныхъ рыбъ зелья, бросается въ море, но безсмертіе даютъ ему лишь морскіе боги, приказавъ ему окунуться въ сто рѣкъ, произнося очистительныя заклинанія.

3) См. Rohde, Griech. Rom.² S. 134 Anm.

4) Roscher, Nekt. u. Ambr. S. 32 f.

5) Grimm. K. M. № 16; Anm. III, S. 56; ср. также русскую былинку объ оживленіи съ помощью змѣя молодой жены Михаила Потыка.

Такъ какъ исконная связь оживляющей травы съ „живой“ водой и вообще страной боговъ можетъ считаться установленной, то сама собою рушится догадка Бергга ¹⁾: „подобно тому, какъ медъ для питья обыкновенно приправляется горькими, терпкими травами, какъ еще позднѣе примѣшивали корни къ вину, такъ точно могло сложиться представленіе, что именно чудесное зелье придаетъ напитокку боговъ его сверхестественную (übernatürliche) силу“.

Изъ того, что уже сказано нами о „живой водѣ“ у древнихъ, ясно, что она является отображеніемъ источниковъ нектара и амброзіи на землѣ, гдѣ впрочемъ она вмѣстѣ съ „Макаріей“ помѣщается или на самомъ краю свѣта ²⁾, или въ недоступныхъ мѣстностяхъ, куда знаютъ путь лишь птицы небесныя. Этими, однако, дальнѣйшія судьбы нашего представленія не исчерпываются. Онѣ стоятъ въ тѣснѣйшей связи съ общимъ ходомъ развитія греческаго религіознаго сознанія. Въ послѣднемъ наступилъ моментъ, когда вѣра въ полусознательное, въ сущности призрачное существованіе разобщенной съ тѣломъ души, встрѣчающаяся у Гомера, перестала уже удовлетворять сердца. Тогда въ орфическомъ ученіи—впервые на почвѣ Эллады—поставленъ былъ догматъ загробнаго воздаянія въ формѣ сознательнаго безсмертія человѣческой души. Божественная по происхожденію душа, очищенная праведной жизнью, проведенной согласно съ орфическимъ аскетическимъ идеаломъ, по освобожденіи изъ узъ тѣла, въ которое она заключена точно въ гробницу, ведетъ блаженное существованіе вмѣстѣ съ богами. Такъ какъ особаго мѣста блаженства для отрѣшенныхъ отъ тѣла душъ греки не знали, то для примиренія орфическаго ученія съ традиціонной вѣрой необходимо было перенести въ царство Аида тѣ „острова блаженныхъ“, или „Элизейскія поля“, куда въ неразрывномъ единствѣ души и тѣла переносимы были по Гомеру тѣ многіе баловни счастья, которымъ капризъ боговъ далъ избѣжать смерти. „Мѣсто блаженства“.—говоритъ Роде—„принимая теперь только освободившіяся отъ тѣла души, лежитъ уже не на землѣ, какъ гомеровскій Элизій, но подъ землей, въ царствѣ тѣней“ ³⁾. Такъ какъ источники амброзіи—живой воды составляли, какъ мы видѣли,

¹⁾ I. I. p. 681.

²⁾ Ps. Callisth. I. I.; Lactant. I. I.

³⁾ E. Rohde, *Psyche*² II 129.

неотъемлемое достояніе страны боговъ. сколокъ которой представ ляетъ Элизій—Макарія, то естественно ожидать появленія того же образа въ орфическихъ „*υγκοίαι*“. Дѣйствительно, въ одной изъ южноиталійскихъ надписей, найденныхъ въ гробницахъ Θυρίевъ и Петелин и принадлежащихъ къ кругу орфико-пифагорейскихъ пред ставленій, читаемъ слѣдующій интересный отрывокъ ¹⁾:

„Ты найдешь въ чертогахъ Аида по лѣвой сторонѣ Леты, подлѣ нея стоитъ бѣлый кипарисъ. Къ этому источнику ты и не приближайся. Затѣмъ ты найдешь иной источникъ—холодную. воду, струящуюся изъ озера Мнемозины (*εὐρήσει δ' ἄτερον τῆς Μνημοσύνης ἀπο λήτης ψυχρὸν ὕδωρ πρὸρέον...*), подлѣ нея есть стража. Скажи: «я чадо земли и звѣзднаго неба, но происхождение мое—небесное, о чемъ вы и сами знаете. Меня изсушила жажда (*δίψη δ' ἐμὴ αἴη*), я гибну. Дайте поскорѣй холодной воды, струящейся изъ озера Мнемозины». И тебѣ дадутъ испить отъ божественнаго источника и ты станешь властвовать съ героями“ ²⁾.

Вода Мнемозины поставлена здѣсь въ рѣзкую противополож ность къ водѣ Леты, этому символу безпамятства и безсознатель ности безплотныхъ *ψυχαί*, и является поэтому символомъ просвѣт леннаго духовнаго существованія: испившія отъ нея души получа ютъ безсмертіе и, приравниваются богамъ. Если мотивъ двоепутія и могъ быть внесенъ въ изображеніе это пифагорейцами, отоже ствлявшими (какъ уже дѣлало впрочемъ, древнѣйшее искусство га данія, *οἰωνοτική τέχνη*) противоположности *κακόν-ἀγαθόν* и *ἀριστέρον-δεισιόν*, то самый источникъ несомнѣнно древнѣе. Мы едва-ли ошибемся, усматривая въ немъ такую же проекцію амброзіи въ области Аида, какой оказалась „живая вода“ на землѣ. Подтверженіемъ нашего предположенія можетъ служить упомянутая уже раньше эпиграмма Диоскорида. Обращаясь къ Анакреонту александрійскій эпиграмма тикъ выражаетъ пожеланіе, чтобы въ царствѣ тѣпей:

• αὐτίμα τοῖς τοῖς χρῆναι ἀναβλύζομεν ἀκρήτου
κῆκ μακάρων προχοαὶ νέκταρος ἀμβροσίου.

¹⁾ Kaibel I. Gr. Sicil. Ital. № 638.

²⁾ Въ противоположность Дитериху, который (*Nekyia* 86) пробѣлъ конца перваго стиха λ—τη, измѣнилъ начальное λ въ κ, восполняетъ сло вомъ κ(ρή)την, и вслѣлъ за Берггомъ (*Opusc.* II 717) и Роде (*Psyche*² II 390 Anm.) читаю λήθην, что находитъ обоснованіе въ дальнѣйшемъ про тивопоставленіи пострадавшему слову—Мнемозины.

αὐτόματοι δὲ φέρειεν ἴον, τὸ φιλέσπερον ἄνθος,
κῆποι, καὶ μαλακῆ μύρτα τρέφεται δρόσφ¹⁾.

Здѣсь, стало быть, ручьи амброзіискаго нектара являются перенесенными въ подземное царство. Это важное свидѣтельство получить свое надлежащее освѣщеніе, если мы вспомнимъ, что въ другихъ эпитафіяхъ²⁾ Зевсъ представленъ поящимъ души праведниковъ нектаромъ и амброзіей.

Разъ проникнувъ въ подземное царство, чудесный источникъ пустилъ тамъ глубокіе корни. Сообразно народнымъ представленіямъ о жаждѣ, которой мучаются отдѣленные отъ тѣла души³⁾, онъ чаще всего является подъ именемъ „холодной воды“, какъ уже въ приведенной надписи⁴⁾. И такъ, если съ тѣхъ поръ въ греческихъ надгробныхъ надпи-

¹⁾ Anthol. Palat. VII 31.

²⁾ Anthol. Palat. IX 577 и др.

³⁾ ὁ ψῆθ' εἰσιὶ σθῆν' уже въ приведенной надписи; также Epigr. lap. 719 II ψυχῆ διψώσῃ ψυχρὸν ὕδωρ μετ' αἴος; Arist. Ran. 194; Propert. IV 5,2. Ср. съ этимъ фактъ, что современные греки мертвыхъ называютъ просто ἄβραχοι и ἐψυχομένοι (Dieterich, Nekyia 94—9).

⁴⁾ Въ виду непосредственно очевидной связи между „холодной водой“ и просвѣтленной, блаженной жизнью освѣженныхъ ею праведниковъ Дитерихъ (Nek. S. 90) и Роде (Psyche II 390,1) вполне основательно узнаютъ въ ней „живую воду“ нашихъ сказокъ. Если однако, первый изъ названныхъ ученыхъ находитъ возможнымъ и Ленау поставить въ зависимость отъ представленій объ источникѣ жизни, а второй изъ выше указанной связи дѣлаетъ выводъ, что „собственнымъ мѣстонахожденіемъ, „живой воды“ вѣроятно всегда является подземный міръ,—міръ смерти, или вѣчности (Die eigentliche Stelle des Lebenswasser ist wohl immer die Unterwelt, die Welt des Todes oder der Unvergänglichkeit), то мы считаемъ необходимымъ самымъ рѣшительнымъ образомъ возстать противъ этихъ предположеній. На мнѣніи Дитериха я здѣсь долго останавливаться не буду;—я лишь укажу на трудность вывести два столь противорѣчивыхъ представленія изъ одного общаго субстрата, послѣ чего прямо сошлюсь на тѣ аргументы, которые я выше выставилъ противъ Бергга, тоже отождествившаго „живую воду“ съ Летою. Ближе займусь мнѣніемъ Роде. По моему, допускать вмѣстѣ съ нимъ изначальную принадлежность „живой воды“ къ подземному царству—царству мрака и смерти, значитъ допускать своего рода „contradictionem in adjecto“, противорѣчить всѣмъ тѣмъ нашимъ свидѣніямъ о загробной жизни въ представленіяхъ древнихъ грековъ, которыми мы на первомъ мѣстѣ обязаны монументальному труду самого Роде. И въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть общаго между „живой водой“ и мрачной обителью Аида, гдѣ по Гомеру (Odys. X 490—5) одинъ Тирезій сохраняетъ память и сознание, а остальнымъ (Odys. XI 140—9) лишь теплая жертвенная кровь возвращаетъ на мигъ подобіе жизни? Положеніе Rohde имѣетъ поэтому смыслъ развѣ при допущеніи, что орфико-пифагорейскіи сферы создали этотъ образъ, и Rohde, повидимому, склоняется къ этому

сяхъ то-и-дѣло попадаются упоминанія „холодной воды“,—обыкновенно въ формѣ „да подасть тебѣ Персефона, Аидоней, Озирисъ холодной воды“¹⁾, то очевидно, это таже вода Мнемозины, „живая“ вода, амброзія. Здѣсь же, повидимому, ключъ къ уразумѣнію загадочныхъ словъ *κίε ξήσας, ξήσας*—*pie zeszes*,—т. е. „испей—живи“, которыя тоже попадаютъ въ эпитафіяхъ²⁾. Кажется, не безъ связи съ терминомъ *σοχρὸν ὕδωρ*, который, какъ мы видѣли, сдѣлался техническимъ, блаженное существованіе праведниковъ стали характеризовать словомъ *εὐψόχειν*.—„прохлаждаться“, и мѣсто этого прохлажденія называлъ *ψυχτήρια*, представляя его въ видѣ тѣнистой, лѣсной страны. Такъ Атеней, вслѣдъ за грамматикомъ Никандромъ изъ Θіатітры (III в. до Р. X.) опредѣляетъ *ψυχτήριον*, какъ *ἀλοιδαί: καὶ σοκίους τόπους τοῖς τοῖς θεοῖς ἀνειμένους, ἐν οἷς ἔστιν ἀναψόξει*. Термины *ἐπι ἀναψόχειν* и *ψυχτήριον* и соотвѣтствующіе имъ латинскіе *refrigerare, refrigerium* вошли затѣмъ въ языческія и христіанскія надписи поздняго императорскаго времени. Послѣднимъ, наконецъ, отзвукомъ этихъ представлений являются христіанскія молитвы о пріобщеніи души усопшаго къ „мѣсту прохлады“ въ литургическихъ книгахъ какъ восточной, какъ и западной Церкви: *Κόριε, ἀνάπαυσον τὴν ψυχὴν τοῦ κεκοιμημένου δοδλω σοῦ τοῦδε ἐν τόπῳ χλοερῶ, ἐν τόπῳ ἀναψόξεως, ἐνθα ἀπέδρα ὀδόνη, λύπη καὶ στεναγμός*.—*Domine, animae servi tui defuncti in loco lucido, in loco amoeno, in loco refrigerii, unde dolor, aerumnae et suspirium omne exulat, da requiem*³⁾.

Когда, такимъ образомъ, загробный міръ сталъ рисоваться въ прежнемъ безотрадномъ свѣтѣ, и вѣра въ находящійся въ немъ чудесный животворящій источникъ достигла значительнаго распространенія, тогда только стало возможнымъ сближеніе его съ водою Стикса и возникновеніе такихъ сказаній, гдѣ водѣ этой приписывается способность даровать человѣку безсмертіе или неуязвимость. Дѣйствительно, сказанія эти являются поздно. Такъ писатели

предположенію („Pythagoreisch mögen auch die Mythen von der Quelle der Mnemosyne im Hades sein“, *Psyche*² II 186 Anm.); но предположеніе это несостоятельно, такъ какъ въ данномъ пунктѣ орфическое ученіе примкнуло, какъ видѣли мы выше, къ традиціоннымъ мифологическимъ образамъ.

¹⁾ См. выборку мѣстъ у Dieterich, *Nekyia* 95 Anm., Rohde, *Psyche*² II 186 Anm.

²⁾ Dieterich, S. 98.

³⁾ См. Dieterich. I. I. 94—7.

императорскаго времени³⁾ говорятъ, что Фетида, желая сдѣлать Ахилла безсмертнымъ, послѣ рожденія купала его въ водѣ Стикса. Я обращаю вниманіе на то, что подобную процедуру продѣлываетъ въ гомеровскомъ гимнѣ Церерѣ (247 sq.) Деметра надъ больнымъ ребенкомъ Метаниры, Демофонтомъ, пользуясь для этого вмѣсто Стиксовой воды амброзіей. Такимъ образомъ, позднѣйшее сказаніе объ Ахиллѣ является лишь сколкомъ сказанія о Демофонтѣ, а якобы исконныя свойства Стикса—отвлеченіемъ свойствъ амброзіи.

Остается теперь подвести итоги нашему изслѣдованію. Древніе греки, какъ и другіе народы древности, знали не только напитокъ, но и твердую пищу боговъ. Первый представленъ нектаромъ и амброзіей, которые являются почти синонимами, вторая плодами чудеснаго дерева. Нектаръ и амброзія не имѣютъ ничего общаго съ медомъ, а представляютъ такую же *идеализацію обыкновенной воды*, какъ вся страна боговъ—идеализацію земного существованія. Этой божественной пищѣ и этому напитку, какъ каждому порознь, такъ и взятымъ вмѣстѣ, приписывались чудесныя свойства; они даютъ богамъ безсмертіе, человѣка превращаютъ въ бога. Каждое изъ этихъ представленій, сначала составлявшихъ одно цѣлое, имѣло затѣмъ особую, полную прерватностей исторію. Вслѣдствіе наличности двухъ параллельныхъ обозначеній божественнаго напитка, одно изъ нихъ, ложно истолкованное, стало обозначать и твердую пищу боговъ, отчего чудесное дерево стало ненужнымъ. Оно, однако, не затерялось, и поблекшій его образъ, выдѣлившись изъ области высокаго міа, въ средѣ „низшей міеологіи“ породилъ нѣкоторыя суевѣрія народной медицины, давъ начало сказкѣ объ оживляющемъ зельѣ, оказавшей, въ свою очередь, воздѣйствіе на современное народное творчество. Чудесный источникъ также не удержался въ кругу однихъ священныхъ сказаній. Вмѣстѣ со страной боговъ, которая была локализована подъ разными именами въ разныхъ мѣстахъ, онъ „сведенъ былъ съ неба на землю“, гдѣ вызвалъ сказку о „живой водѣ“, также перешедшую въ наше народное творчество. Затѣмъ, когда съ измѣненіемъ представленій грековъ о загробной жизни, „страна

³⁾ Stat. Achil. I 269; Quint. Smyrn. III 60 s.; Hygini fab. 107; Fulgent. Mythol. III 7; Serv. Verg. Aen. IV 57; Schol. Hor. Epod. 18.

блаженства“ перенесена была въ подземный міръ, чудесный источникъ очутился тамъ же, и въ противоположность Летѣ, одной изъ традиціонныхъ рѣкъ страны тѣней,—водѣ забвенія, получилъ краснорѣчивое названіе Мнемозины, т. е. воспоминаія, а въ связи съ представленіемъ о жадѣ покинувшихъ тѣло душъ,—названіе „холодной“ воды, отчего самое мѣсто загробнаго блаженства было названо мѣстомъ пролады“ (τόπος ἀναψύξεως, locus refrigerii). Въ послѣдней формѣ наше представленіе также оказалось весьма живучимъ. Оно удержалось до самаго конца древности и, наконецъ, оставило замѣтные слѣды въ христіанской эпиграфикѣ и даже въ литургическихъ текстахъ.

В. Клинггеръ.

Къ латинскимъ стихотвореніямъ Яна Кохановскаго.

Въ предпоследнемъ примѣчаніи къ статьѣ, помѣщенной въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія ¹⁾, нами по совершенно случайному поводу предложены нѣкоторыя догадки къ тексту латинскихъ элегій Яна Кохановскаго ²⁾ и одной изъ его латинскихъ эпиграммъ. Предполагая въ нижеслѣдующемъ дать обзоръ-ніе всего, что, по нашему мнѣнію, подлежало бы эмендаціи въ традиціонной редакціи латинскихъ произведеній поэта ³⁾, мы и конь-

¹⁾ Июль 1904 г.

²⁾ Возстановленное нами тамъ *Eleg. IV* 1. 148 different стоитъ въ изданіяхъ 1584 и 1612 гг., какъ узнаемъ изъ работы г. M. Sas'a: „O miarach poematów łacińskich Jana Kochanowskiego i o ich wzorach“, напечатанной въ т. XVIII-омъ *Rozpraw Wydziału filologicznego Akad. Umiejętności w Krakowie* (стр. 334—385). Этотъ весьма прилежно составленный перечень характеризующихъ текстъ преданія особенностей латинской верификаціи Кохановскаго заслуживаетъ полной признательности. Если что въ немъ и пропущено, то все же матеріала авторъ сопоставить не мало и сгруппировать его съ большою систематичностью. При оцѣнкѣ изданія 1884 года г. Sas'у слѣдовало, впрочемъ, справедливости ради принять во вниманіе указанная въ концѣ тома „errata“, а также и то обстоятельство, что въ разныхъ мѣстахъ книги покойный Пришиборовскій далъ критическія замѣчанія (*Foric.* 85, 4. *Lyric.* : *dedic.*, с. 1, 9 и 11. 9, 27. 12, 1—2. *Dr. Z.* 10. 18. 23. 53. 60. 65. *Pan Z.* 8, *Arat.* *passim*—относительно внесеннаго Кохановскимъ въ текстъ Цицерона), а кое-что даже исправить (*El.* III 5, 79. *Foric.* 57, 5. 63, 25). Мѣстами примѣчанія самого Пришиборовскаго своеобразно пострадали въ печати. См. р. 224 (къ *Foric.* 65, 11): „*Les tuas tibi habe et abi erat apud Romanos formula divortii, qua repudiatam uxorem heri sui domo revomere solebat libertus*“. Очевидно, издатель написалъ: „*removere*“.

³⁾ Не касаемся текстовъ, исправленныхъ г. Sas'омъ, а также всего, опубликованнаго въ IV-омъ т. Варшавскаго изданія Кохановскаго по петербургскимъ рукописямъ: сличеніе послѣднихъ нами теперь производится.

ицированное въ вышеупомянутомъ примѣчаніи включаемъ въ настоящее изложеніе ⁴⁾, приче́мъ отмѣчаемъ звѣздочкой параграфы, воспроизводящіе высказанное нами раньше.

I.

Что путемъ перестановки словъ можно съ очевидностью возстановить иной разъ подлиннаго Кохановскаго, избавивъ его текстъ отъ причиненныхъ ему въ печати тяжкихъ недуговъ, тому одинъ изъ наиболѣе яркихъ примѣровъ представляетъ *Epitaph. Doralices* 27—30:

Os illud vocale, os stillans dulcia mella
Defecit subito et vocem non amplius edit.
29 Vocem cygneam, vocem tibi *Sappho Pieri*
Non concessuram concessuramve Corinnae.

Въ этой формѣ 29-ый стихъ читается въ изданіи 1884 года: предыдущія изданія не знаютъ варианта (это вытекаетъ изъ M. Sas, l. l. p. 346). Еслибъ стихъ былъ дѣйствительно написанъ въ приведенной редакціи, то въ его двухъ послѣднихъ словахъ были бы три просодическія ошибки: „Sapphō Pīēgi“. Между тѣмъ, упоминаю о піеридяхъ, авторъ скандуетъ вѣрно соответственное обозначеніе, напр., *Eleg.* III 5, 16; 7, 56; 10, 8; *Foric.* 46, 6; 47, 4 и т. д. ⁵⁾ Что же касается Сапфо, то Кохановскій переводилъ ее, подражалъ и псевдо-овидіеву „Посланію“, написанному отъ ея лица и называющему ее по имени внутри гексаметра, наконецъ, зная греческую орфографію слова ⁶⁾. Аналогичныя реченія онъ примѣняетъ въ стихѣ правильно (ср. v. 82: „Clothō“). Какое же остается сомнѣніе, что К. сказать:

Vocem cygneam, vocem tibi, *Pieri Sappho*,
Non concessuram.

⁴⁾ Присовокупляемъ, гдѣ нужно, мотивировку: кое-что замѣнено иными соображеніями.

⁵⁾ Исправить должно *Eleg.* III 13, 29: „Pieridesque meas“ на: „Pieridasque meas“. Кохановскому были хорошо извѣстны стихи Тибулла I 4, 61 sq.: „Pieridas, pueri, doctos et amate poetas, Aurea nec superent munera Pieridas“. Ср. у самого Кохановскаго *Eleg.* I 1, 19: „heroidas“, III 7, 65: „Pyramidas“, *Arati praef.* 16: „Pleiadas“.

⁶⁾ Знакомство съ греческимъ языкомъ видно у Кохановскаго изъ его дополненій къ фрагментамъ Цицероновскаго перевода Арата, не говоря уже о греческой эпиграммѣ, читаемой вѣдѣть за „Epinicion“ (въ ней, между проч., опущена въ изданіи 1884 г. послѣдняя буква гексаметра: уже г. Sas l. l. p. 362 указалъ на то, что тутъ „pierwsze wydanie ma tekst poprawny“).

На возникновение порчи повлияла польская акцентуация. Ср. Kochanowsk. *Dzieta* II, 240: „Śliczna Piéris“ (въ стихахъ, написанныхъ племянникомъ поэта).

II.

Eleg. III 9, 37 sq.: Te, Radivile, manet victori debita laurus, Quam molli intexent Pierides *hedera*.

Греческое окончание *nominat. plur.*—ε; Кохановскій правильно употребляетъ безъ удлиненія, напр., *El.* I 2, 57 („Maenades“), II 10, 48 („Belides“), III 5, 70 (см. § XIII), III 7, 49 („heroes“), *Foric.* 5, 1 („Nereides“), *Dr. Z.* 60 („dorcades“). Даже „Teutones“ (*El.* I 15, 60) онъ склоняетъ на греческій ладъ. Невѣроятно поэтому, чтобы послѣдній стихъ 9-ой элегии III-й книги заключалъ въ себѣ такую ошибку, какъ „Pierides *hedera*“. Мы бы читали:

Quam molli intexent Pierides *philyra* ¹⁾.

При сколько нибудь неясномъ написаніи конъюгированнаго слова въ подлинникѣ Кохановскаго, соблазнъ интерполяціи для типографской дорѣзки былъ великъ: вставка „плюща“ казалась создающею безукоризненную редакцію въ виду *Eleg.* III 10, 30: „Musa *hedera molles cincta virente comas*“, а также *Horat. c.* I 1, 29: „*doctorum hederæ præmia frontium*“ и множества другихъ мѣстъ, особенно же Вергиліева стиха *Ecl.* 8, 12 sq.: „*hanc sine tempore circum Inter victrices hederam tibi serpere laurus*“. Тутъ, однако, забывали не только о погрѣшности противъ размѣра, которая причинялась такимъ образомъ, но еще и о той разницѣ по существу, какою разумѣемые тексты отличались отъ стиха о Николаѣ Радзивилѣ. Плющъ украшаетъ Вакха въ качествѣ бога поэзии, далѣе—музы. наконецъ—самихъ поэтовъ. На этомъ основаніи Вергилій въ цитованномъ изъ 8-ой экл. отрывкѣ могъ, по всей справедливости, сказать: „прими это стихотвореніе, какъ плющевую вѣтку, которая бы своей ползучей зеленью прилепалась къ побѣдному лавру на Твоемъ челѣ“. Онъ могъ это сказать потому вразумительно для всякаго читателя, что двумя стихами выше написалъ (v. 9 sq.): „*En erit, ut liceat totum mihi ferre per orbem Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno*“. Но Кохановскій нигдѣ не утверждаетъ, что Радзивиль Черный былъ поэтомъ, и не имѣлъ фактическихъ поводовъ утвер-

¹⁾ Ср. *Horat. c.* I 38, 2: „*nexæ philyra coronæ*“, *Ov. Fast.* V 337: „*incinctis philyra—capillis*“.

ждать что либо подобное. Посему для Кохановскаго, желавшаго толково, а не безмысленно-рабски использовать здѣсь свою реминисценцію изъ Вергилія, являлась уже предметная необходимость отступитъ отъ своего образца. Такъ какъ этотъ мотивъ комбинировался съ не менѣе принудительнымъ метрическимъ соображеніемъ, то, вмѣсто „hedera“, авторъ и поставилъ „philuga“, что затѣмъ „ученый кабинетъ“ издателя передѣлалъ все таки на свой ладъ, когда слово въ наборѣ исказилось (напр., въ *hūlira*), а въ рукописи оказалось неудобочитаемымъ. Даже эпитетъ „molli“ доказываетъ, что рѣчь шла о „philuga“: музы собираются собственными руками сплести Радзивилу лавровый вѣнокъ, скрѣпивъ послѣдній мягкою philuga, которою вѣдь, какъ лентой, обматывали остовъ вѣнка ⁸⁾.

III.

Нѣкоторый историческій интересъ, а по оригинальности замысла ⁹⁾, искренности чувства и энергіи тона живої историко-литературный интересъ представляетъ стихотвореніе *Orpheus Sarmaticus*. Съ текста этой талантливой вещи давно пора смыть одно безобразящее ее пятно. Изданія печатаютъ v. 37 sq. въ такомъ видѣ:

In manibus ferrique acie spes omnis, inertes
Servitus infelix manet atque obnoxia vita.

Вынужденно, конечно, г. М. Sas высказываетъ предположеніе, что образцомъ для „servitūs“ могло служить пресловутое „sterilisve diu palūs aptaque remis“ вульгаты Горация *a. p.* 65. Напомнимъ, что въ другихъ соответственныхъ случаяхъ долгота и соблюдается послѣдовательно Кохановскимъ. Достаточно привести *Pan Zamch.* 36: „Nempe etiam haec *virtus*, exacta ex urbibus altis, Exulat in silvis“. Въ данномъ мѣстѣ сама собою напрашивается эмендація:

Servitiu(m) infelix manet atque obnoxia vita.

⁸⁾ Plin. XVI 25, 1: „Inter corticem et lignum [липы] tenues tunicae multiplici membrana, e quibus *vincula* tiliae vocantur: *tenuissimae earum philugrae* coronarum lemniscis celebres antiquorum honore“. Cf. Оу. М. X 92: „tiliae molles“. Вставившій у Кохановскаго „hedera“ понималъ, должно быть, „molli“ переносно, т. е. въ смыслѣ „мирнаго плюща“ (въ противоположность *vietrici laurcae*). Съ приведеннымъ изъ *Eleg.* III 10 стихомъ (30-ымъ) „molles—comas“ сл. Оу. *ex Ponto* III 3, 17: „molles—capilli“, Нор. *a. p.* 33.

⁹⁾ Вмѣсто обычнаго эпиталямъ подносится присутствующимъ на свадебномъ торжествѣ патристическое воззваніе на тему: „Non citharae Bacchove locus levibusque choreis. Non odiis certare simultatesve fovere... Amplius est tutum“.

Объясняется порча тѣмъ, что поэтъ, примѣнявшій часто брѣвѣатуру въ словахъ, оканчивающихся на *m*, написаль: „servitiū“¹⁰⁾. Достаточно было остаться незамѣченной точкѣ надъ вторымъ *i* и слиться *ictus*'у со второй *hasta* буквы „u“, чтобы въ наборѣ получилось „servitus“. Напоминаемъ, засимъ, что „Orpheus Sarm.“ напечатанъ впервые въ 1588 г., т. е. уже по смерти Кохановскаго.

IV.

Сильно пострадала въ шести стихахъ остроумная отвѣдь Кохановскаго бѣжавшему изъ Польши съ Генрихомъ Анжуйскимъ французу Philippe Des Portes, автору стихотворенія *Adieu à la Polongne*. Мириться съ разумѣемыми изъясненіями нѣтъ и тѣни основанія.

1.

Начнемъ съ *Gallo crocitanti ἀροισθης* vv. 98—103: Quodsi voluisses Durare et paucos regioni impendere menses Lustrandae: ut forsā non omnia, quae tibi, Galle, Deliciis *innutrite* luxuque fluenti Sufficerent, invenisses, ita perspicuum esset Absque ope Gallorum sat felicem esse Polonum.

По этому чтенію выходитъ, что К. употребилъ форму звательнаго падежа „*innutrite*“ съ долгимъ *e*. Большею клеветы на версификацію поэта и самый злой врагъ его не сумѣлъ бы придумать. Читать пужно:

ut forsā non omnia, quae tibi, Galle,
101 Deliciis *innutrito* luxuque fluenti
Sufficerent, invenisses eqs.

Порождена была порча тѣмъ, что типографскій ученый корректоръ (таковой имѣлся въ ту пору при всѣхъ издательскихъ фирмахъ, публиковавшихъ латинскіе тексты) понялъ „*fluenti*“ въ смыслѣ аблятива и счелъ это причастіе эпитетомъ къ „*luxu*“ (онъ держался конструкціи: „*innutrite deliciis luxuque*“). Въ дѣйствительности, однако, *fluenti* дательный падежъ слова, отъ котораго зависить аблятивъ „*luxu*“, подобно тому, какъ отъ дательнаго „*innutrito*“ зависить аблятивъ „*deliciis*“. Мы бы ничего не имѣли противъ редакціи: „*quae tibi Gallo Deliciis innutrito*“ eqs., но, быть можетъ, прямой необходимости въ ней нѣтъ.

¹⁰⁾ Ср. fac-simile рукописи „Dryad. Zamchanae“.

2.

Переходимъ къ *Gallo croc.* ѡм. 105—117: Galli cum Henricum videre ad sceptrata vocari Sarmatiae, sic omnino persuasum habuere: ¹¹⁾ „Ut quisque Arctoum cum rege sub astrum (108:) *Venisset*, etiamsi gallinaceus esset, Sic eum oportebat ditari auriq̄ue potentem Fortunam mutare colique a rege secundum, (111:) *Sauromatis heroas admirantibus* illos Certatimq̄ue auro donantibus“. Hanc ubi frustra Spem se aluisse vident, natibusq̄ue incedere nudis (114:) *Magnanimos heroas et*, velut ante, necesse, *Paupertatis nos damnent Irosque salutent*, Vulpes ut trabe dependens farcimen ab alta Restim appellabat, quod contractare nequibat.

Прежде всего ясно, что просодическую ошибку въ стихѣ 108-омъ и синтактическую въ 109-омъ исправить слѣдуетъ такъ:

Ut quisque Arctoum cum rege sub astrum
Venissent, etiamsi gallinaceus esset,
Sic eum oportebit ditari.

Ср. Catull. 64, 277: „Ad se quisque vago passim pede discedebant“ и т. п.

Во вторыхъ, ошибочное удлиненіе послѣдняго слога въ „heroas“ (въ тезисѣ!) устраняется въ v. 111, естественно, такъ:

Sauromatis, heroas uti, mirantibus illos ¹²⁾.

¹¹⁾ Въ изданіи 1884 г. тутъ запятая: но при такой интерпункціи oratio obliqua въ дальнѣйшемъ совершенно необходима, т. е. „oportebat“ должно бы быть замѣнено неопредѣленнымъ склоненіемъ.

¹²⁾ *Epitaph. Doral.* 37 въ изд. 1884 г. напечатано: „Quo fato fit, ut pulcherrima et optima quaeque Ante diem pereant“. Просодическая ошибка отпадаетъ, если вернуться къ сообщенному г. М. Sas'омъ чтенію прежнихъ изданій: „fit, uti“. Ср. также *Eleg.* II 4, 19 и ниже § VI. Напоминаемъ, что „fit uti“ („fit uti“) — формула, охотно употребляемая Лукреціемъ (I 982. III 108. 119. IV 242. 251. 354. 401. 797. 877. 944. VI 465. 727. 729. 801. 876. 1033 и др.), въ произведеніи котораго К. былъ прекрасно начитанъ.—Что К. скандировалъ „heroās“, видно изъ *El.* I 5, 11. Греческія окончанія употребляются у него вообще съ соблюденіемъ ихъ греческаго количества. Въ § II-омъ мы указали примѣры для формъ ном. pl. на—с. Здѣсь отмѣтимъ genet.: „Gnosiddōs“ (*El.* I 2, 3) и „Palladōs“ (*El.* III 4, 18), dativ.: „Naidi“ (*El.* I 15, 102), accus.: „Latmōn“ (*El.* I 10, 39), „Endymionā“ (*El.* I 10, 45), „Hectorā“ (*El.* I 1, 18. 12, 58), „Nestorā“ (*El.* III 9, 13), „Phaethontā“ (*Lyr.* 12, 20), vocativ.: „Cypassi“ (*For.* 25, 2), „Tyndari“ (*El.* I 1, 14), „Maenali“ (*El.* I 10, 18 и 32), „Atridā“ (*El.* III 7, 30—парадоксально, однако по примѣру Горация), accusativ. pl.: „Laestrygonās“ (*El.* IV 1, 79), а также цитованные выше (§ I, примѣч. 5) случаи: „heroidās“ (*El.* I 1, 19) и

Не лишне, затѣмъ, констатировать, что въ 114-омъ стихѣ порча, однородно отразившаяся на второмъ „heroas“, осязательно удосто- вѣряется словомъ *et*, которое здѣсь невозможно во всѣхъ отноше- нияхъ и должно быть признано явнымъ слѣдомъ иной редакціи. Къ этому присоединяется, что теперь въ дальнѣйшемъ нарушена *cop- pinnitas* невѣрною комбинаціей слова *necesse* съ глаголами въ v. 115: результатомъ служить и то, что порвана существовавшая явно въ первоначальномъ текстѣ связь *necesse* съ *incedere*. Полагаемъ, что Кохановскій написалъ:

Hanc ubi frustra

Spem se aluisse vident, natibusque incedere nudis

114 Magnanimos heroas (*id est*, velut ante) necesse,
Nos paupertatis damnant Irosque salutant.
Vulpes ut trabe dependens farcimen ab alta
Restim appellabat.

При сокращенномъ написаніи „iē“, сходство съ „et“ очень ве- лико: *e* отъ *i* въ почеркѣ Кохановскаго съ трудомъ лишь отли- чается.

Въ традиціонной редакціи шокировало уже: „ubi *vident* ince- dere *heroas*“ (они вѣдь сами мнятъ себя полубогами сравнительно съ мѣстнымъ населеніемъ); не менѣе смущало: „*necesse*, *damnant*-*salutant*, *ut vulpes appellabat*“, тѣмъ болѣе, что это вовсе не „не-

„Pleiadās“ (*Arati praef.* 16). Въ близко знакомыхъ Кохановскому эклогахъ Вергилія имѣется не только „Arcadēs“ (4, 6), „Proetidēs“ (6, 48) и „Libeth- ridēs“ (7, 21), но еще „delphinās“ (8, 56), „Aonās“ (6, 65) и въ четвертой дважды (vv. 16, 35) какъ разъ „heroās“. Между тѣмъ именно изъ IV-ой эклоги Вер- гилія встрѣчаются у К. реминисценціи (къ Verg. *E.* 4, 55 sqq.: „Non me car- minibus vincet nec Thracius Orpheus Nec Linus, huic mater quamvis atque huic pater adsit, Orphei Calliopea, Lino formosus Apollo“ восходитъ у Коха- новскаго *Lyr.* I 37 sqq.: „Tum me nec Orpheus, nec fidicen Linus Vincat ca- nendo“ и *El.* III 8, 24: „Orpheave—Phoebigenamve Linum“; зналъ, впрочемъ, К. и Phaedr. III prol. 57). *El.* III 7, 65 Кохановскій написалъ не: „Pyramidas alii statuunt“, а: „Pyramidas statuunt alii“, *El.* IV 1, 36 не: „Dardanidas est populatus“, а: „Ignis Dardanius est populatus opes“. Нельзя въ защиту преда- нія сослаться на Verg. *G.* I 138: „Pleiadas, Hyadas, clarumque Lycæonis Arcton“. Какъ оно хорошо понималось Кохановскимъ, удлиненіе окончанія у Вергилія находится въ связи съ частичнымъ нарушеніемъ гомеровскаго polysyndeton enumerativum и съ тѣмъ, что слѣдуетъ греческое имя собственное: К. удер- жать, какъ мы видѣли, краткость конечнаго слога въ „Pleiadas“ *Arati praef.* 16. Онь, вѣроятно, зналъ и Ov. *M.* XIII 293, ноба текста Стация съ „Pleiadas hau- rit“ (*Theb.* IV 120 и IX 460). Въ заключеніе замѣтимъ, что *El.* III 7, 40 воспита- новить у К. должно „Phrygas“ (въ изданіяхъ: „Phryges“), а I 7, 19 „Gigantas“ (изд.: „Gigantes“). Объ I 7, 47 см. § XXXVI, 9.

обходимо“. Теперь protasis будетъ: „ubi vident. se aluisse..., et (ubi) necesse (est), heroas incedere“, а къ ней apodosis: „nos damnant“ eqs. 13).

3.

Остается сказать о *Gallo crocit.* 78—80: Tu vero ingratus, fugitivus, barbarus, hospes Officium in vitium trahis et temeto conspergis Non tantum me, sed proprios etiam, ebrie, versus.

Такъ какъ въ „temetum“ первые два слога долгие, и мало вѣроятія, чтобы желающій употребить такое, сравнительно, рѣдкое слово не справился о его просодіи, то нельзя не конъюгировать:

Officium in vitium trahis et temeto [ita] spargis
Non tantum me, sed proprios etiam, ebrie, versus.

Послѣ „temeto“ легко могло выпасть „ita“ въ наборѣ; когда же оно выпало, то лицу, скандовавшему „temeto“ какъ анапестъ, должно было казаться, что для восстановленія стиха достаточно измѣнить „spargis“ на болѣе для него привычное въ данной конструкціи „conspergis“. Эмендаторъ создалъ, однако, при этомъ текстъ, который, независимо отъ просодическихъ невѣрностей въ „temeto“, характеризуется явно чуждою Кохановскому фактурой. Изъ приблизительно 3000 гексаметровъ печатнаго К-аго одиннадцать (если не считать настоящаго спорнаго мѣста) имѣютъ спондеи въ пятой стопѣ: изъ нихъ, въ свою очередь, 8 имѣютъ на концѣ четырех-сложное слово 14), а три—трехсложное. Во всѣхъ трехъ случаяхъ этой второй категоріи послѣднимъ словомъ стиха является имя собственное (*El.* I 6, 5: „semiferis Centauris“, *Arat.* 761: „semifero Centauro“ и *Dr. Z.* 17: „Percelebres illos pace ac bello Boleslavs“, гдѣ произносить нужно: „Bolslavs“). Традиціонное „temeto conspergis“ составило бы рѣзкое исключеніе изъ правила. Оттого не годилась бы и редакція: „et temeto inspergis“. Не рекомендовали бы мы и: „temeto spargis“ (*Lucr.* II 309).

¹³⁾ Въ *Eleg.* IV 2, 13, гдѣ преданіе гласитъ: „Tu nunc heroas inter, quos prisca tulerunt Saecula“, читать (въ виду отсутствія діерезы) слѣдуетъ: „Heroas tu nunc inter“. Многократное искаженіе текстовъ Кохановскаго, въ коихъ встрѣчается „heroas“, объясняется тѣмъ, что ученый консультантъ издателя считалъ тутъ краткое *as* ошибочнымъ.

¹⁴⁾ *Eleg.* III 7, 9: *invasisset.* IV 2, 133: *Mausoleum.* *For.* 21, 1: *Pithyia.* *Gall. croc.* 87: *expergisci.* *Dr. Z.* 16: *aequaturum.* *Arat.* 23: *intervallis.* 695: *Oriona.* 1187: *observandum est.* Сл. М. Sas I. 1., pp. 355 sq. 360.

Относительно предположеннаго чтенія: „temeto ita spargis“ замѣтимъ слѣдующее. Передъ начальнымъ *sp (spl), sc (sch. scr), et (str)* Кохановскій вполне свободно ставитъ краткій слогъ. Приведемъ лишь *El. IV 2, 16*: „Aureaque aetherio sidera sparsa polo“; *I 6, 47 sq.*: „Omnia perpetiar: modo spes, o Lydia, nobis Omnis placandae ne sit adempta tui“; *IV 1, 131 sq.*: „Hic et Tiresias, solus regionibus illis Qui sapit: umbrae alii vanaque spectra volant“; *I 7, 38.* „Vinculave obscuro perpetienda specu“; *I 6, 35 sq.*: „Haec ego placata vel maxima spernere possum Imperia“; *III 4, 69*: „regum de sanguine sponsam“; *III 17, 55 sq.*: „neque praemia spectans Ulla, sed orbis amas commoda sponte tua“; *Foric. 1, 5*: „dum pocula spumant“; а въ *Gallo croc. 36*: „Et Boreas nullus glaciem ructansque spuensque“. Есть множество другихъ примѣровъ: ср. *M. Sas, l. l. p. 349 sq.* Что касается элизии долгаго передъ краткимъ („temeto ita“), то и она у К. не можетъ считаться ненормальностью: въ этой самой *Gallo croc.* сл. хотя бы ст. 39: „saevo Aquilone“, 70: „summo hominumque—Applausu“, 76: „non fucati animi“, 84: „Gallico in orbe“, 87: „Vitā emitur“, 96: „Nec spatium explorandi habuistis“, 113: „Spem se aluisse“. Но даже въ элегіяхъ Кохановскій не стѣсняется (мы немного выше цитовали: „umbrae alii“; ср. *El. I 3, 44*: „fors si ita dira ferat“; *6, 18*: „lēvi imitetur acu“ *II 8, 1*: „progenies naturae inimica“ и т. д., и т. д.). Нужно ли, наконецъ, по поводу „spargis“, напоминать изъ Вергилія: „corpus fluviali spargere lympha“, изъ Горация: „penetralia Sparsisse nocturno cruore“ и т. п.?

V.

Dryad. Zamchan. 39 sqq.:

Haec cuncta immutare tibi, rex maxime, promptū est,
 40 Si modo declarare palam velis, ut quidē amicus
 Ipse es honestati, sic te viciis alienis
 Offendi.

Такъ собственной рукой Кохановскаго написано въ чистовомъ экземпляръ, посланномъ въ 1578 году Яну Замойскому: подлинникъ хранится въ библіотекѣ графовъ Замойскихъ, а fac simile этой рукописи стихотворенія приложено къ Варшавскому изданію 1884 года.

Казалось бы, спорить невозможно. Мы, однако, считаемъ себя обязанными высказать мнѣніе, что когда К. слагалъ свой стихъ, то послѣдній слуху его представлялся въ такомъ видѣ:

promptum est,
Si modo declarare velis palam, uti quidem amicus
Ipse es honestati, sic eqs.

Въ черновой такъ, вѣроятно, и было начертано: тамъ запечатлѣвалась *духовная* работа. Затѣмъ, однако, поэту пришлось съ поспѣшностью переписать только что набросанные имъ 84 стиха „Дриады“ и 47 стиховъ „Пана“. Копіи эти ¹⁵⁾ посылались Яну Замойскому по его просьбѣ съ такимъ расчетомъ времени, чтобы тексты обоихъ стихотвореній могли быть разучены ко дню ожидавшагося приѣзда Стефана Баторія къ Замехскому старостѣ. И вотъ, Кохановскій берется снова за перо, но тутъ уже изъ поэта превращается въ такого переписчика, какимъ неизбежно будетъ человѣкъ, утомленный предыдущей творческой работой и разсѣянный тревожной мыслью о будущемъ (въ данномъ случаѣ—о томъ, кѣмъ и какъ будутъ исполнены оба стихотворенія, какъ къ нимъ отнесется король и т. д.). Что К. писалъ „на бѣло“, торопясь, думая о другомъ и воспроизводя машинально то, по чему въ томъ или другомъ порядкѣ скользятъ случайно его взоръ, это неотразимо поражаетъ читателя при разсмотрѣннн *fac simile* съ автографа: въ послѣднемъ нѣтъ *ни одной помарки* (только въ 62-омъ стихѣ первая буква слова „*quippe*“ подправлена повидимому), а вмѣстѣ съ тѣмъ *почеркъ* имѣетъ характеръ *былости*, доведенной мѣстами *до неясности*. Это что же значить? Съ одной стороны, очевидно, ни разу при переписываннн не заговорилъ въ Кохановскомъ *авторъ*, иначе сказать,—не дрогнуло то нервное до болѣзненности существо, которое при встрѣчѣ съ собственными произведеніями все горитъ отъ неудовлетворенности и не можетъ удержаться отъ передѣлокъ. Съ другой стороны, бросается въ глаза, что К., дошедши до конца, даже *не перечиталъ* написаннаго: еслибъ онъ сталъ перечитывать, то непременно придалъ бы ради удобочитаемости бѣльшую правильность очертаніямъ нѣкоторыхъ буквъ. Удивительно ли, при указанныхъ условіяхъ, что нашлось мѣсто въ авторской копнн съ „Дриады“,

¹⁵⁾ Списокъ съ нихъ, изготовленный по распоряженію Замойскаго, легъ въ основаніе львовскаго изданія 1578 года. Точностью и ясностью копій, отправленныхъ Замойскимъ въ типографію, и объясняется, что названная editio princeps даетъ текстъ „Дриады“, вполне соответствующій сохранившемуся автографу Кохановскаго. Что касается „*Rap Z*“, то и это стихотвореніе, поврежденное в. 30 (см. § XXXI), пострадало, если не ошибаемся, вслѣдствіе описки самого поэта, пропустившаго слогъ, когда снималъ копію со своей черновой.

по отношенію къ которому *духовнаго авторства* поэта признать нельзя? За нашу поправку говоритъ в. 42 написаннаго поэтомъ польскаго перевода Дриады (*Dziela* II, 235): „*tylko chciéy iáwnie pokazować, Że, iako sam przystoyność u cnotę miluiesz, Tak niewstydu y fałszu w drugich nie lubuiesz*“.

То обстоятельство, что при жизни Кохановскаго и по его рукописи былъ напечатанъ стихъ съ ошибочнымъ „*velis*“, отразилось пагубно на двухъ текстахъ (см. §§ VI и VII) изданнаго въ годъ смерти автора сборника элегій и эпиграммъ:

VI.

Сюда, во первыхъ, относится *Eleg.* III 2, 39 sq.: *Hic et Pan facilis, seu ponere retia cervis, Seu calamo ignaram figere malis avem.*

Что во *второй* половинѣ пентаметра слѣдуетъ читать „*figere avem calamo*“, вытекаетъ изъ слѣдующаго соображенія: конецъ гексаметра взять изъ Вергилія (*E.* 5, 60: „*retia cervis*“; ср. *Georg.* I 307: „*retia ponere cervis*“), слова же „*figere avem calamo*“ стоятъ у Проперція II 19, 24. Не сталъ бы К. мѣнять словорасположеніе этого послѣдняго съ цѣлью внести въ часть дистиха, требующую наиболѣе опасливаго обращенія, такую просодическую ошибку, какъ „*malis*“ съ краткимъ „*i*“. Порчу задолго до напечатанія стихотворенія причинила вульгата рукописная, т. е. редакція ходившихъ по рукамъ копій (о кодексѣ Осмольскаго мы скажемъ въ особой работѣ); облегчило типографскую пропагацию ошибки обстоятельство, указанное въ предыдущемъ параграфѣ. Чтò именно написалъ К. въ *первой* половинѣ пентаметра, сказать съ достовѣрностью нельзя. Мыслимо: „*Seu vis ignaram f. a. c.*“, но допустимо и: „*Seu vis aligeram f. a. c.*“ или даже: „*Seu mavis querulam f. a. c.*“. Дѣло въ томъ, что *сбѣра*: „*Seu (vis) ponere retia cervis, seu mavis figere avem*“ возможно (ср., напр., *Stat. S.* I 2, 56), хоть и ненужно (ср. у Кохановскаго *Eleg.* II 11, 11—13: „*Vin' tu... liber abire..., An carpi mavis aeternis pectora curis*“ eqs.).

VII. *

Во *вторыхъ*, ошибочно напечатано *velis* съ краткимъ *i* въ пентаметрѣ *Foric.* 14, 2, гдѣ мы предложили читать болѣе корректное и въ синтактическомъ отношеніи: „*Illud nomen amo, quod seu legisse Latino, Seu vis Hebraeo more, perinde sonat*“.

VIII.

Въ § I-омъ мы отмѣтили вопіющее искаженіе „количества“ греческихъ именъ собственныхъ, читаемое въ стихѣ 29-омъ печатныхъ текстовъ стихотворенія „Eritaphium Doralices“. Въ стихѣ 42-омъ той-же пьески послѣдній слогъ еще одного слова этой категоріи скандуется невѣрно изданіями:

Doralice prima decessit rapta iuventa,
Doralice forma praestans donisque Diones:
42 Sima autem *Phyllis inflatoque* horrida labro
Vivit et ingratos iuvenum venatur amores.

Хотя бы только изъ „героидъ“ Овидія, но К. безусловно зналъ просодію даннаго имени. Да и правильно же онъ написалъ *Eleg.* III 7, 56: „Pieris alma“, *Foric.* 75, 2: „Floribus ornatur Chloris et ipsa suis“. Читатъ нужно:

Sima autem Phyllis *sufflatoque* horrida labro.

IX.

Тамъ-же, v. 1 гласитъ въ изданіяхъ: „Doralicem tecum silvae lugete peremptam“. Ср. v. 110: „Doralicemve tuam“. Исправить, понятно, должно въ обоихъ мѣстахъ: „Doralicen“. Греческія падежныя окончанія мы имѣемъ тутъ же неоднократно для имен. падежа „Doralice“, а v. 41 для родительнаго: „Diones“.

Равнымъ образомъ *For.* 31, 1 читатъ нужно не „Chionem“, а: „Chionen“ (*Iuven.* 3, 136), *El.* I 1, 16 sq. (bis) не: „Aeacidem“, а: „Aeacidem“, IV 1, 77 не: „Hippotadem“ а: „Hippotaden“ (правильное сохранилось, напр., IV 1, 66: „Laertiaden“).

X. *

Eleg. II 9, 12: Hoc mihi, si cuiquam, iure *Cythera* daret.

Такъ въ изданіи 1884 г. съ примѣчаніемъ, что „Cythera“ сказано вм. „Cythereia“ (*El.* III 1, 6 и 3, 89 о Венерѣ употреблено правильно: „Cytherea“). Въ „Журналѣ М. Н. Пр.“ I. с. мы исправили „darent“, ибо „Cythera“ форма множественнаго числа и обозначается ею соотвѣтственный островъ, названіе котораго, конечно, могло быть примѣнено метонимически. Что касается „Cythera“ въ смыслѣ имени женскаго рода, то такой формы совсѣмъ не существуетъ, и нѣтъ поводовъ думать, чтобы К. рѣшился сочинить таковую.

XI.

Зналъ же онъ прекрасно корректную форму „Cythere“, дательный падежъ отъ которой („Cytherae“) встрѣчается у него *Foric.* 15, 6, винительный падежъ отъ которой „Cytheren“ стоялъ *Foric.* 77, 1 и вытѣсненъ въ изданіяхъ ошибочнымъ „Cytheram“¹⁶⁾. Имени- тельный падежъ нужно возстановить *Andr. Patr.* 20, какъ доказы- ваетъ размѣръ (ср. ниже, § XXXVII). Въ изданіи 1884 года здѣсь читается:

Et haec quidem *Citerea*
Cum serio moneret eqs.

Невѣжественная интерполяція тутъ сама себя выдала. Поэтъ сказалъ, очевидно же, такъ, какъ долженъ былъ сказать: „Et haec quidem *Cythere* Cum serio moneret“.

XII.

Не по винѣ Кохановскаго искажено въ текстѣ его стихотво- реній еще одно греческое имя, притомъ трижды. Изданіе 1884 г. читаетъ *Foric.* 3, 17: „Crocali“; возстановить нужно; „Crocale“¹⁷⁾. Оно же *Foric.* 21, 4 даетъ: „Praesens nitenti¹⁸⁾ tu dea sis Crocali“; читай: „Crocalaе“¹⁹⁾. Оно же, *Foric.* 105, 9, воспроизводитъ съ та- кимъ поврежденіемъ стихъ поэта:

Quam tua dulcia sunt, *Crocali*, rosea ista labella.

Такъ какъ К. вообще соблюдаетъ надлежащую просодію въ соотвѣтственныхъ формахъ (ср. *El.* I 10, 32: „Maenali“, *Foric.* 3, 18: Phylli), то невѣрная долгота служить въ разбираемомъ мѣстѣ порукой тому, что мы и въ двухъ предыдущихъ случаяхъ имѣли право конъцировать формы отъ „Crocale“ (тѣмъ болѣе, что имя вѣдь заимствовано у Овидія *Metam.* III 169); здѣсь мы, вмѣстѣ съ

¹⁶⁾ Тутъ же, v. 3, необходимо, вмѣсто: „Aspice, ne horrescas“, читать: „Aspice: ne horrescas!“

¹⁷⁾ Въ почеркѣ Кохановскаго *e* отъ *i* трудно отличить подчасъ (онъ образуетъ верхнюю часть буквы *e* посредствомъ черточки, которая нерѣдко отдѣлена отъ нижняго штриха и бываетъ близка къ т. н. „точкѣ“).

¹⁸⁾ Рѣчь идетъ о роженицѣ. Мольба обращена къ *Lucina*.

¹⁹⁾ Авторъ написалъ дифтонгъ, вѣроятно, въ принятой тогда брѣвѣатурѣ: „e“.

просодической ошибкой, обязаны устранить лексическую, читая также:

Quam tua dulcia sunt, Crocale, rosea ista labella ²⁰⁾.

XIII.

Не усматривается, наконецъ, достаточнаго основанія терпѣть дольше *Eleg.* III 5, 70 чтеніе: „*Najades Istuleae dona ferunt calathis*“. Изъ *Doral.* 33 видно, что К. зналъ и употреблялъ правильную форму: „*Naiades*“. Изъ *Eleg.* I 15, 102: „*Errorque ille novae Naidi gratus erat*“ вытекаетъ, что онъ пользовался и другою корректною формою. Примѣненіе послѣдней въ данномъ случаѣ приводитъ къ неоспоримо подлинной редакціи:

Naiades Istuleae dona ferunt calathis.

XIV.

Непонятно, какъ могъ удержаться *Foric.* 15, 18 архаизмъ:

Quid, quaeso, enim in dolore
In lacrimisve *fructi* est?

Могло ли съѣхать „*est*“ съ v. 17 въ слѣдующій стихъ и вызвать тогда порчу, такъ что читать бы слѣдовало: „*Quid, quaeso, enim in dolore est In lacrimisve fructus?*“, или же возстановить должно:

Quid, quaeso, enim in dolore
In lacrimisve *lucris* est?

²⁰⁾ Еще исправь *Foric.* 46, 4 „*Demophila*“ на: „*Demophile*“. Что касается *Doral.* 14: „*Persephonaque comes—absinthia carpit*“, то ничто не вынуждаетъ производить это отъ ошибочнаго „*Persephona*“ (какъ предположилъ г. М. Sas l. l. p. 342): слѣдуетъ считать это дательнымъ падежомъ отъ нормальнаго „*Persephone*“. Наконецъ, ясно, что въ одномъ и томъ-же стихотвореніи не сталъ бы К. называть одно и то-же лицо сначала (*Eleg.* I 4, 8): „*Menophile*“, а затѣмъ (*ibid.* v. 18): „*Menophila*“. Въ этомъ послѣднемъ мѣстѣ должно возстановить греческое окончаніе, какъ доказываетъ и *Foric.* 8, 4 [напрасно г. М. Sas l. l. p. 341 говоритъ: „*Początkowa zgłoska tego wyrazu powinna być właś ciwie krótka—, jak na to wskazuje masc. Menophilus*“. Какъ разъ мужескій родъ имени сохранился у Марціала VII 82, 1 съ долгой въ первомъ слогѣ, какъ у Кохановскаго].

XV.

Эпиграмма *Foric.* 19 (на спящего Эрота) начинается такъ:

Dormis, mortales curis insomnibus angens,
Dormis, heu durae proles *Acidaliae*.

Изъ другихъ мѣстъ видно, что К. зналъ „количество“ послѣд-
няго слога въ словахъ той категоріи, къ которой принадлежитъ
„proles“ (ср. *For.* 57, 4: „famēs“, *Gall. croc.* 116: „vulpēs“). Поэтому
намъ рѣшительно не вѣрится, чтобы здѣсь было допущено ошибоч-
ное сокращеніе. Мы бы читали:

Dormis, mortales curis insomnibus angens,
Heu durae proles [*matris*] *Acidaliae*.

Вспомнимъ Verg. *A.* I 720: „At memor ille (Эротъ) *Matris* *Acidaliae*“ eqs. Кохановскій взялъ эпитетъ именно отсюда: вѣроятно
ли, чтобы онъ эту какъ бы приуготовленную для него вторую поло-
вину пентаметра добровольно испортилъ тѣмъ, что, во первыхъ,
зря субстантивировалъ эпитетъ (адъективно употребленный по
примѣру Вергилія, напр., въ *Laus Pison.* 79 и дважды Мар-
ціаломъ: VI 13, 5 и IX 14), а во вторыхъ, внесъ въ полустішіе
просодическій промахъ? Не проще ли предположить, что „matris“
было въ наборѣ нечаянно пропущено, а что въ корректурахъ интер-
полировали тогда въ началѣ пентаметра „dormis“, повторивъ пре-
спокойно это слово изъ гексамetra? При симпатіяхъ Кохановскаго
къ Лукрецію, было даже весьма естественно автору эпиграммы со-
поставить слова „proles matris“. См. *Lucr.* II 349 sq.: „Nec ratione
alio proles cognoscere matrem Nec mater posset prolem“.

XVI.

Что К. зналъ истинное количество слова „cor“, доказываетъ
гексаметръ *El.* III 9, 1, начало котораго гласитъ: „An tu me cor
habere putas“. Филологическая критика обязана, слѣдовательно,
попытаться устранить конъектурно случаи невѣрной просодіи этого
слова, встрѣчающіеся въ изданіяхъ Кохановскаго. Такихъ случаевъ
насчитывается четыре:

1.

Eleg. I 8, 17 sq.:

Carminibus victae quercus et frigida quondam
Saxa; tibi saxis cor erit asperius?

Достаточно переставить: „asperius cor erit?“

2.

Eleg. II 9, 7: *Dissimula vultu, quamvis cor aestuet intus.*
Достаточно и тутъ переставить: „*cor quamvis*“.

3.

Eleg. II 11, 15 sq.:

*Si bene pertaesum est dominae crudelis, et arto
Exsolvi nodo cor aliquando cupis.*

Въ этой элегии Кохановскій черпалъ неоднократно изъ [Ovid.] *Epist. Sapphus* (см. ниже, § XLIX *, 1). Между тѣмъ въ названномъ посланіи встрѣчается стихъ (v. 79): „*Molle meum levibusque cor est violabile telis*“. Правдоподобно ли, чтобы, вопреки тому, польскій поэтъ допустилъ данную просодическую ошибку?

Нельзя не конъцировать: „*cor(de) aliquando cupis*“. Ср. Вергилиево „*si fert ita corde voluntas*“ и у Кохановскаго тутъ-же v. 17 sq.: „*Annua dictis Et praecedentem corde volente sequor*“.

Мыслимо, конечно, только мы бы не рекомендовали этого: „*Exsolvi nodo corda aliquando cupis*“, гдѣ поэтическій *pluralis* (ср. I 6, 42 и IV 3, 139 *auctoris—corda*) былъ бы употребленъ въ вни- тельномъ падежѣ (т. н. *accusativus graecus* см. также *Foric.* 49, 9: *Perculsus corda dolore*) подобно тому, какъ въ предыдущемъ дву- стишіи сказано: „*An carpi mavis aeternis pectora curis Et miser in duro vivere servitio?*“ Въ обоихъ дистихахъ *accusativus subiecti* под- разумѣвался бы („*te*“), такъ какъ его легко дополнить изъ соотвѣт- ственныхъ глагольныхъ формъ 2-ого лица („*mavis*“ и „*cupis*“). Однако, повторяемъ, со своей стороны мы бы предпочли „*corde— cupis*“.

4.

Epithal. 16: *Cor edit ipse suum.*

Совершенно обязательно переставить: „*Iipse suum cor edit*“. Мѣсто вѣдь дословно заимствовано изъ *Cic. Tuscul.* III 26, 63: „*Iipse suum cor edens, hominum vestigia vitans*“. Того-же словорасположе- ния Кохановскій придерживается *Foric.* 69, 2: *ipse tuum cor taciturnus edes*. Оборотъ, какъ извѣстно, употребленъ Цицерономъ въ пе- реводѣ Гомеровскаго текста (*Il.* VI 202): *ὄν θυρόν κατέδων*.

XVII.

Эпиграмма *Foric.* 51 печатается въ такомъ видѣ:

*Non pergraecari est, inquis, cum, Postume, potas:
Pertodescari est notius et patrium.*

Издатель 1884 г. дѣлаетъ замѣчаніе: „*Pertodescari formatum ad instar verbi pergraecari a nomine Tedesco* ²¹⁾, nisi forte mavis cum polonico *pierdolic* componere, id enim et potius et patrium“. Первое объясненіе не удовлетворяетъ справедливо самого комментатора. Къ несостоятельности этого толкованія по существу („нѣмецкій“ обычай не можетъ считаться „національно-польскимъ“) присоединяется крайняя неясность въ лексическомъ отношеніи. Послѣднее возраженіе примѣнимо въ полной мѣрѣ и ко второй интерпретаціи. При такихъ условіяхъ, мы бы предложили читать (съ сохраненіемъ орфографіи того времени):

Percomessari est notius et patrium.

То лицо, которое здѣсь именуется Постумомъ, маскировало свое участіе въ попойкахъ, обозначая таковое мало извѣстнымъ ²²⁾ названіемъ „*pergraecari*“. Поэтъ обращаетъ вниманіе Постума на слѣдующее: болѣе извѣстно и неизмѣнено у грековъ то, что полатыни можно бы, по аналогіи съ „*pergraecari*“, назвать: „*percomissari*“. Какъ первое образовано изъ „*graecari*“, такъ Кохановскій совѣтуетъ образовать для Постума изъ „*comissari*“ глаголь: „*percomissari*“.

XVIII.

Eleg. П 10, 27: *Ergo ego praecoci moriar, saevissima, fato.*

Путь къ исправленію фигурирующей тутъ въ изданіяхъ про-
содической ошибки указываетъ стихъ 22-ой той-же элегии: „*Pensavit iugulo fata aliena suo*“.

Читай:

Ergo ego praecoci(bus) moriar, saevissima, fatis.

XIX.

Arat. 1113 sq.: *Nec vero ilicibus turgenti glande granatis Signave lentiscis sua desunt.*

Количество перваго слога въ „*granum*“ К. знаетъ несомнѣнно. Съ другой стороны, тезисъ, что дубовый желузь „*turget granatis*“.

²¹⁾ Соотвѣтственно сему, г. Теофиль Красносельскій перевелъ: „*mówisz, że to grecki obyczaj; stosowniej wszakże nazwać to niemieckim obyczajem, bo ten i lepiej znany i własny*“.

²²⁾ Слово „*pergraecari*“ встрѣчается у Плавта и приводится Фестомъ изъ Титинія.

лишенъ всякаго смысла. Читай (coll. v. 1121, т. е. Cic. *de Div.* I 9, 15, и Lucr. I 253):

Nec vero ilicibus turgenti glande gravatis
Signave lentiscis sua desunt.

Въ греческомъ текстѣ стихи 1044 (312) sq. гласятъ (ed. Maass):

Πρῶτοι δ' αὖ καρποῖο καταχθῆες εὐδὲ μέλαιναι
οὐχῖνοι ἀπειρήτοι.

У Авіена *Progn.* 456: „cum brachia glande gravantur“.

XX. *

Орднородную ошибку, вкравшуюся *Eleg.* II 2, 15 въ изданія Кохановскаго, мы исправили въ упомянутой статьѣ „Журнала Мин. Нар. Пр.“. Вотъ контекстъ (vv. 13—16):

Non ego, cum moriar, sertis volo cingier ullis,
Tum mihi nec flores, tum neque vina date.
Vina mihi et flores *vino* date: cum semel Orcum
Attigero, pulvis munera vestra bibet.

Поэтъ сказалъ: „Vina mihi et flores *vivo* date“. Cf. *Cap.* 35 sqq.

XXI.

Эпиграмма *Foric.* 30 искажена въ печатномъ текстѣ частью въ первомъ стихѣ (гдѣ слово испорчено), частью въ послѣднихъ (гдѣ интерпункція невѣрная):

O hедера, obliqua vitem complexa *choraea*
Pessumdas teneri dona nocens Bromii.
Nec nos, sed perdis tete, improba; tempora curet
Quisquam cingi hедера, deficiente mero.

Послѣ „improba“ нужно двоеточіе; послѣ „меро“ нуженъ вопросительный знакъ; что же касается начальнаго стиха, то на первый взглядъ весьма заманчиво, конечно:

O hедера, obliquis vitem complexa *corymbis*,
Pessumdas teneri dona nocens Bromii.

Ср. Verg. *Ecl.* 3, 38 sq.: „vitis Diffusos hедера vertit pallente *corymbos*“. Tib. I 7, 45. Prop. III 17, 29. Ov. *Met.* III 664 sq.: „Impe-

diunt hederac remos nexuque recurvo Serpunt et gravidis distinguunt
vela corymbis“. Stat. S. I 5, 12—16. *Th.* VII 568—571 и т. д.

Мы бы, однако, не рѣшились рекомендовать это чтеніе, а предпочли бы, какъ гораздо болѣе близкое къ преданію, слѣдующее:

O hederā, obliqua vitem complexa corolla,
Pessumdas teneri dona nocens Bromii.

Слѣва „corolla“ К. не избѣгалъ; оно встрѣчается у него, напр., *Eleg.* II 2, 11: „Vina mihi et fragranti flore corollas...“

XXII.

Совершенно утраченъ въ изданіяхъ настоящій смыслъ эпиграммы *Foric.* 29 вслѣдствіе неправильной интерпункціи (есть въ печатномъ текстѣ и другіе изъяны):

Quod potis in nostro, quod sit mage carmine, Toma,
Praedurum censes illepidumque vocas.
Et quid agas mecum? nobis quoque displicet ipsis,
Sed mage molliculum condere tu potis es.

Въ переводѣ г. Красносельскаго читается: „Co w mojim wiérsku jest dosadnym i jedrny“ и т. д. Очевидно, поэта критиковали за употребленіе свойственныхъ ему подъ влияніемъ Лукреція выраженій „potis“ и „mage“. Въ отвѣтѣ своемъ онъ остроумно вставляетъ ихъ оба, наперекоръ порицателямъ, въ послѣдній стихъ. Читай:

Quod „potis“ in nostro, quod sit „mage“ carmine, Thoma,
Praedurum censes illepidumque vocas.
At quid agas mecum? nobis quoque displicet ipsis.
Sed mage molliculum condere tu potis es.

XXIII.

Въ неоднократно упоминавшемся разсужденіи г. М. Sas на стр. 364 говоритъ: „W wydaniu pomnikowem czytamy błędnie Lyr. 5, 9: Hic, qua platanus bracchia porrigit—zamiast Hic, o qua platanus bracchia porrigit, jak ma dobrze pierwsze wydanie“.

Что стиху въ изданіи 1884 года недостаетъ слога, это, конечно, неоспоримо. Но Краковскую редакцію 1580 года мы считаемъ неудачной интерполяціей: междометіе тутъ прямо немыслимо и вставлено корректоромъ „officinae Lazari“ за неимѣніемъ у него чего либо лучшаго. Кохановскій же написалъ, безъ сомнѣнія:

- 9 Hic, [*hic*], qua platanus braccia porrigit, ...
 14 Deponamus humi corpora eqs.

За эту догадку говорить, во первыхъ, Ног. с. III 26,6 sq.: „Hic, hic ronite lucida Funalia“ eqs. (cf. с. I 19, 13), во вторыхъ же, то соображеніе, что ея объясняется выпаденіе слова при наборѣ, въ третьихъ, наконецъ, что К. и въ 13-омъ стихѣ повторяетъ то-же нарѣчіе. Ср. также El. II, 2,9: Huc calices crebros infer puer, huc age lymphas.

XXIV.

Eleg. II 1,7 sq.: *Nec tu omnino meum aversari visa es amorem: Quin dederas animi pignora multa tui.*

Кохановскій всюду правильно употребляетъ „omnino“ съ долгимъ *o* на концѣ ²³⁾. Здѣсь просодическая ошибка скомбинирована съ ритмической: нѣтъ вовсе цезуры въ стихѣ. Такое сочетаніе отрицательныхъ признаковъ указываетъ настойчиво на порчу текста. Мы бы читали:

Nostrum omnino aversari [nec] visa es amorem.

Когда при наборѣ „nostrum“ [Кохановскій написалъ: „nri“: cf. *Dr. Zamch.* 1 въ снимкѣ] неказилось въ „nec tu“, подлинное „nec“ было устранено въ типографской дѣлѣ, причемъ неудачно интерполировали „meum“. Предположенная нами редакция оправдывается, напр., двуступнемъ 27 sq.: „Quin poenas etiam, quae te, peritura, manebant, Optavi in nostrum saepe redire caput“ (cf. v. 33: „Nec si tu fueras in nos ingrata futura“). Въ настоящей элегии слово „omnino“ повторено v. 31, и послѣдній слогъ снова элидированъ (ср. *Arat.* 138).

На приведенія выше интерполяціи мы, конечно, глядимъ не какъ на злостныя, а какъ на болѣе или менѣе вынужденныя: авторская рукопись въ соответственныхъ случаяхъ почему либо не находилась подъ руками корректора при послѣднемъ чтеніи черновыхъ оттисковъ, пользовались же распространенными списками недоброкачественнаго свойства.

²³⁾ Ср. напр., *Eleg.* III 16, 88 и *Gall. croc.* 106. Хорошо помнилъ онъ количество, благодаря близкому знакомству съ Лукреціемъ, у котораго слово это часто встрѣчается.

XXV.

На томъ, какой вредъ причиняетъ неправильная интерпункція чистотѣ текста Кохановскаго, мы подробно останавливаться не станемъ. Позволимъ себѣ, однако, привести два—три образчика.

1.

Foric. 26:

Quis te, Duditi, novus hic expressit Apelles?
 Quae te tam sollers est imitata manus?
 Cui probitas non est, aut cui tua cognita virtus,
 Ex facie mores aestimet ille tuos.

Во второй половинѣ третьяго стиха смыслъ, задуманный авторомъ, прямо опрокинуть. Читать должно:

Cui probitas, non est aut cui tua cognita virtus.

2.

Элегія III 17 полна жалобъ на алчность той, чьей ласки добивается поэтъ. Дистихъ 13 sq. напечатанъ такъ въ изданіи 1884 года:

.Dandum est, si cupias, inquit, mea vita, potiri.
 Si nihil est, quod des, limine cede meo*.

Невѣроятно, чтобы К. выставялъ говорящую называющей его „mea vita“, когда она его и къ порогу своему не подпускаетъ. Читать нужно:

Dandum est, si cupias, inquit mea vita, potiri.

Точно такъ слѣдуетъ исправить v. 41. Подтверждается предположеніе тѣмъ, что v. 98 онъ ее называетъ: „o mea lux“.

3.

Foric. 108, 1, sq.:

Non quod sis meritus, frustra, vanissime, turges,
 Fortuna excelso te locat in solio:

Въ такомъ видѣ текстъ непонятенъ: слѣдуетъ уничтожить запятую послѣ „meritus“, а „frustra, vanissime, turges!“ поставить въ скобки или между тире, ибо это несомнѣнная *parenthesis*.

XXVI.

Иногда интерполяція XVI вѣка соединяется съ абсурдною интерпункціей изданія 1884 года, и тогда получаются тексты, въ родѣ *Foric.* 53: „Quae haec est invidia. o Phoebō dilecte Royzi“ eqs. Читая, если не ошибаемся, слѣдовало бы въ первомъ стихѣ: „Quae-
[nam] haec invidia est, Phoebō dilecte Royzi“²⁴⁾, а затѣмъ, во второмъ, послѣ *ut*, и въ третьемъ, послѣ *primum*, поставить запятую. въ четвертомъ же, послѣ *pateris*, и въ 5-омъ, послѣ *dicta*, уничтожить запятую. Независимо отъ сего, если въ концѣ 4-аго стиха не будетъ вопросительнаго знака, то онъ нуженъ въ концѣ стихотворенія.

XXVII.

Foric. 109:

Atra prius coelum exstinguet, prius ordine rerum
Inverso, noctem sol illustrabit opacam,...
. quam nomen Homeri
Partaque divinis moriatur gloria scriptis.

Въ переводѣ г. Красносельскаго: „Prędzėj noc zagasi słońce“ и т. д., иными словами „atra“ признано равнымъ сочетанію „atra nox“, причѣмъ существительное дополнено изъ „noctem“ во 2-омъ стихѣ. Это едва-ли допустимо, какъ и толкованіе „caelum“ въ смыслѣ „солнца“ (ср. *Lucr.* V 120: *caeli restinguere solem*). Вообще: „черная потушить небо“ и по-латыни безсмысленно²⁵⁾. Возстановить должно:

²⁴⁾ Однородна порча *El.* III 7, 28: „Quem hic idem erepta coniuge torsit amor“ (нужно переставить: „Quem erepta hic idem“ eqs.) и *El.* I 3, 13: „Hi, inquam, censeri gaudent quoque nomine amantum“ (читай: „Hi cens. inq.“).

²⁵⁾ Кое-что въ переводѣ бросается въ глаза своею ошибочностью. Напр., *Foric.* 50 поэтъ говоритъ дѣвушкѣ: Ты обѣщала мнѣ свиданіе послѣ захода солнца. „Nec postras, Pholoe, fallas, oculissima, speres“, т. е.: „и не обмани, драгоценная. моихъ надеждъ“, а г. Красносельскій переводитъ: „Nie obaiciaj się też, najmilsza Foloe, zdrady z méj strony“, т. е. принялъ „speres“ [*Enn.* ар. *Fest.* p. 333: два отрывка—*Ann.* 128 и 429 ed. Vahl.³⁾] за солагательное наклоненіе, а „fallas“ за существительное. *Foric.* 71 не понято: „Dum—tibia personat aures Tuque videre oculis, Galla, venusta meis“, т. е. „и пока ты кажешься мнѣ хорошенькою“. Переведено: „i doróki siebie, nadobna Gallo, oszy moje oglądaja“. Нѣчто неслыханное допущено г. Красносельскимъ при переводѣ *Foric.* 88, гдѣ у Кохановскаго сказано: „Я говорю одну правду, Лаберій, Калхантъ же все лжетъ. И, однако, мнѣ никто не вѣритъ, а Калханту вѣрятъ.

Astra prius caelum exstinguet, prius, ordine rerum
Inverso, noctem sol illustrabit opacam eqs.

XXVIII.

Foric. 90: Quid me *fluctivago* sepelitis litore nautam...? Horresco
fremittum ponti, mea fata, eqs.

Эпитетъ для *берега* читается тутъ очень странный въ изда-
ніяхъ ²⁶).

Поэтъ написалъ, понятно:

Quid me *fluctifrago* sepelitis litore nautam,
A pelago longe qui removendus eram?

Ср. *Lucr.* I 305 sq.: Denique *fluctifrago* suspensae in litore vestes
Uvescunt.

XXIX.

Результатомъ искаженія „*vagus*“ является, если не ошибаемся,
и въ другомъ мѣстѣ у Кохановскаго, а именно *Eleg.* II 2,19: *Quam*
cito prona vagum descendunt flumina in aequor.

Имѣется у поэта *El.* IV 1, 175 „*vagam* pelago immisere *carina-*
nam“, *Dedic. Arati* 13: „*vago* sol-axe“ (т. е. „*curru*“), *Ar.* 683: „*amni*
vago“, но о морь преобладаетъ „*vastum*“ ²⁷) и „*altum*“ ²⁸), а затѣмъ
встрѣчается „*inmensum*“ ²⁹), „*indomitum*“ ³⁰), „*rapidum*“ ³¹) и др., но

Заблужденіе ли это или гнѣвъ боговъ, сказать не легко. Впрочемъ, нѣтъ
это именно гнѣвъ боговъ. Такъ, дочь Пріама оскорбила Аполлона и (въ на-
казаніе), когда она говорила правду, то ей не вѣрили: *Et mihi, quod Musas*
asininis auribus amens Exposui, iratos suspicor esse deos“. Въ переводѣ г. Кр.
vv. 7—8 гласятъ: „і на mnie, zem nierozważnie przypisał Muzom długie uszy,
jak się domyślam, są bogowie zagniewani“. Переводчикъ не понялъ, что „*auri-*
bus“ дательный падежь, и принялъ это за *ablativus qualitatis*, вслѣдствіе
чего и наградилъ музъ ослиными ушами, которыхъ Кохановскимъ приписы-
ваются известной категоріи читающихъ вдохновленные музами стихи. *Eleg.*
III 15, 15 sq. Кохановскій пишетъ: „*Nec me dedecet fecundi cultus agelli: Ser-*
vum censerі turpius esse reor“, а г. Кр. переводить: „*nie wstyd mi też plod-*
nych hodować owieczek, większy wstyd, sądzę, czyjims mienić się sługą“, т. е.
принять „*agelli*“ за „*agnelli*“—и т. д.

²⁶) Ср. *Stat. Theb.* I 271 sq.: „*fluctivaga* qua praeterlabitur unda Sicanios
longe relegens Alpheos amores“. Онь-же, *Silv.* III 1, 84: „*Fluctivagos* nautas
scrutatoresque profundi“ (ср. II 1, 95. *Theb.* IX 305) и *Theb.* IX 360 sq.: „*Flucti-*
vagam—domum—Alycone—gemit“.

²⁷) *Eleg.* II 5, 16. III 4, 6. IV 1, 22. 37. 59. *Foric.* 5, 4. *Lyric.* 2. 4.

²⁸) *Eleg.* III 4, 70. 6, 30. 13, 43. IV 1, 42.

²⁹) *Eleg.* IV 1. 116.

³⁰) *Eleg.* III 2, 14. IV 1, 202.

³¹) *Eleg.* III 5, 10. 12, 8.

„vagus“ крайне сомнительно (совѣмъ иное дѣло Stat. S. III 2, 78: „fugit ecce vagas ratis acta per undas“ и т. п.) и мы бы позволили себѣ конъюнктировать:

Quam cito prona *ingens* descendunt flumina in aequor.

XXX *.

Предположенное слово, и помимо того, подвергалось, кажется, искаженію въ изданіяхъ Кохановскаго. Такъ, напр., *Eleg.* IV 1, 127 sqq. печатается такъ: *Hic illi heroes prisci potuere videri, Quique modo in campis occubuerunt Phrygum. Hic Anticlia infelix, quam Ditis ad umbras Absentis nati per Styga misit amor. Hic et Tiresias, solus regionibus illis qui sapit: umbrae alii vanaeque spectra volant.* Между тѣмъ въ 129-омъ стихѣ цезура недостаточная, первая половина гексаметра вообще нѣсколько неуклюжа. Эпитетъ же матери Одиссея излишенъ и просто мѣшаетъ, когда въ слѣдующихъ словахъ объясняется, что тоска по сынѣ свела Антиклию въ могилу. Мы предлагали поправку:

*Hic [etiam] Anticlia, ingens quam Ditis ad umbras
Absentis nati per Styga misit amor*²²⁾.

Сюда же относится *El.* III 4, 71. Контекстъ (69—73) гласитъ: „*Nam cum promissam regum de sanguine sponsam Per maria alta petis, captus ab hoste fero es*²³⁾. *Hinc dolor, hinc furiae accensae infelicis amoris, Hinc mors praecipiti dira secuta pede est. Non talem infelix mater te, nate, manebat*“ eqs.

Въ 71-омъ стихѣ цезура, въ сущности, отсутствуетъ (ибо недостаточно одного сѣченія послѣ односложнаго во второмъ арисѣ, а едва ли можно тутъ статуировать цезуры въ коммиссурахъ составныхъ частей обоихъ подчеркнутыхъ сложныхъ словъ). Съ другой стороны, нельзя назвать „несчастною“ любовь жениха къ невѣстѣ. Наконецъ, „*infelix*“ повторяется черезъ два стиха. Въ комбинаціи своей признаки эти характеризуютъ порчу текста. Мы раньше предлагали: „*Hinc dolor, accensae furiae hinc ingentis amoris*“, но теперь предпочли бы (coll. Verg. *A.* II 343):

Hinc dolor, hinc furiae succensae ingentis amoris.

²²⁾ *Odyss.* XI 202 sq. (говоритъ Антиклея): ἀλλά με οὐκ τε πόθος οὐδὲ τὴ μῆδεα. φαίδιμ' Ὀδυσσεῦ, σὴ τ'ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπήυρα.

²³⁾ Рѣчь идетъ о Тенчинскомъ, сосватанномъ съ Цециліей шведскою и взятомъ въ плѣнъ датчанами.

XXXI.

Panos Zamchan. 29 sq.: Illa quidem [плоды] Hesperidum non sunt felicibus hortis Edita, sed si ori admoveas, vel *saccharum aequant*.

Должно быть: „*saccharum* [ad]aequant“. Мыслимо и: „*saccharu* [ea] aequant“. Мы склонны думать, что тутъ допущенный при переписываніи lapsus calami автора. Ср. § V, примѣч. 15.

XXXII.

Foric. 61, 5 sq.: hoc quoque fare, Musa tibi *sapiat*, an mea cena magis.

Вѣроятно: „*sapiat[ne]*, an m. c. m.“³⁴). Съ эмендаціей этого мѣста связано два вопроса: во первыхъ, допускать ли удлиненіе окончанія въ *подобныхъ* случаяхъ Кохановскій; во вторыхъ, въ правѣ ли мы приписать ему элизію въ діэрезѣ пентаметра. На второй вопросъ мы отвѣчаемъ положительно, а на первый—отрицательно. Переходимъ къ разсмотрѣнію соотвѣтственныхъ случаевъ обѣихъ категорій.

XXXIII. *

Eleg. I 2, 9 sq.: Saepe nemus petiit (*Федра*), non tam studiosa Dianae, Quam Veneris *formosique* adeo Hippolyti.

Пентаметръ безъ діэрезы совершенно невозможенъ по-латыни. Въ всякаго сомнѣнія поэтому поправка:

Quam Veneris formosi (at)que adeo Hippolyti:

Ср. IV 2, 102: „Sed vita morumqu(e), integritate refert“. Безусловно сюда же относится *El.* III 9, 26:

Cum barbarus hostis,
Deiectus magna sp(e), haud aliter fureret.
Quam Telamoniades eqs³⁵).

³⁴) Cf. *Lyric.* 6, 1—4: Musarum et Clarii cultor Apollinis, *Caesarne* imperitet Sarmatiae potens. An fortem maneant scepra Batorcum, Non sum sollicitus nimis.

³⁵) Какъ показываетъ запятая послѣ „*sp(e)*“, слово это нужно считать стоящимъ передъ діэрезой. Но напрасно мы прежде сличали I 15, 80 и III 9, 34, гдѣ односложное принадлежитъ уже ко второму полустіхию.

XXXIV. *

Возражать намъ, естественно, ссылкой на *Eleg.* IV 1, 8:

Mille feret caeli in-commoda, mille viae.

Присмотримся ближе къ контексту (vv. 1—10):

Paulus nubiferas transmittere cogitat Alpes
 Et procul antiquam visere Parthenopen.
 Quid faciet viduata novo Telesilla marito
 Et desolata sola relicta domo?
 5 *Flevit*, ut amisso viduus flet compare turtur
 Orbave pignoribus flet Philomela suis.
 Ille *voluntarius peregrinus* exul in oris
 Mille feret caeli *incommoda*, mille viae.
 Utque nihil cesset, properet quoque, sol prius annum
 10 Conficiet, longas quam redit ille vias.

Мы въ „Журналѣ Мин. Н. Пр.“ исправили v. 5: „Flebit“ и v. 7: „peregrinis“, но не коснулись вовсе такихъ чудовищныхъ искаженій, какъ „voluntarius“ (или: „voluntarius“?) и пентаметръ съ дѣрезой: „in-commoda“. Теперь мы предложили бы слѣдующую попытку эмендаціи двестишя 7—8:

Mille *vagaturus* peregrinis exul in oris,
 Mille *incommoda* caeli *et* feret ille viae.

XXXV. *

Обращаемся къ вопросу, матеріаль по которому сопоставилъ почти полностью г. М. Sas l. l. p. 350 sq. подъ рубрикой „o prze-
 dłużeniu krótkiej zgłoski“. Не упомянуто у него „peregrinus“ *El.* IV 1, 7, что мы ликвидировали въ предыдущемъ параграфѣ. Кроме того, мы уже покончили выше съ мнимыми „Pieridēs“ (*El.* III 9, 38), „Pyramidās“ (*El.* III 7, 65) „venissēt“ (*Gall. cr.* 108), „Phyllīs“ (*Dor.* 42), „innutritē“ (*Gall. cr.* 101), „Crocālī“ (*Foric.* 105, 9)⁵⁶. Остается 15 случаевъ, изъ конхъ разсмотрѣнные нами въ „Журналѣ М. Н. Пр.“ мы сгруппируемъ въ настоящемъ параграфѣ, а прочіе отнесемъ къ слѣдующему.

⁵⁶) См. также сказанное выше по поводу „cor“, „heroas“, „praecosci“ (у г. М. Sas p. 345 sqq.).

1.

Eleg. II. 8, 25—28 (объ Эротъ):

Qua puer est igitur, florentes exigit annos
 Nec sequitur spinas, cum periere rosae;
 Qua nudus, odio fucata habet omnia, corque
 Inprimis: nam plus pectora ficta nocent.

Мы предложили догадку:

27. Qua nudus, fucata odio[sa] habet omnia, corque
 Inprimis eqs.

2.

Eleg. III 3, 19 sqq.:

Annum non cursu metimur solis amantes
 Aut picti obliquo tramite signiferi;
 Hora anni instar habet, ut mirum non sit, amantes
 Pallere eqs.

Нами было предложено l. с. читать съ перестановкой одного слова („ut“):

21 Hora anni instar habet, mirum non *ut* sit, amantes
 Pallere.

Передъ „sit“ выпало „ut“, а затѣмъ оно было въ корректурѣ поставлено не на свое мѣсто.

3.

Eleg. III 12, 27 sq. (о Пенелопѣ):

Illa astu pactos *eludebat* hymenaeos,
 Inceptum revocans callida semper opus.

Мы рекомендовали l. с. переставить глаголь назадъ и читать съ устраненіемъ плеоназма:

Illa *eludebat caste* pactos hymenaeos.

Понятіе обмана уже выражено въ „eludebat“, такъ что „astu“ особенно при „callida“ въ пентаметрѣ, излишне. Между тѣмъ субъективная подкладка образа дѣйствіи Пенелопы не отмѣчена, т. е. не

указано, что тутъ была „*casta fraus*“. Наконецъ, Кохановскій, когда писать данный стихъ, помнилъ, повидному, Verg. *Aen.* IV 99 sq.: „*Quin potius расет aeternam pactosque hymenaeos Exercemus*“ (по той же схемѣ *Aen.* II 651 *inconcessosque h.*, III 328, VI 623; cf. VII 358, XI 355 ⁸⁷).

Мы отнюдь не теряемъ изъ виду, что по примѣру не столько Катулла (62,4 iam *dicetur* *Hymenaeus*, 66,11 novo *auctus* *Hymenaeo*), сколько именно Вергилія. Кохановскій могъ и тутъ (ср. ниже, § XXXVI 1) намѣренно прибѣгнуть къ слоговому удлинению передъ завершающимъ гексаметръ „*Hymenaeos*“ (см. *Aen.* VII 398 *Turnique canit* *Hymenaeos*, X 720 *linquens profugus* *Hymenaeos*; cf. XI 68 sq. *florem* *Seu mollis violae seu languentis* *hyacinthi*). Поэтому констатируемъ, что наши возраженія были направлены здѣсь не противъ фактуры стиха.

4.

Eleg. IV 1. 45 sq. (при пересказѣ Одиссея):

*Armantur Cicones, concurritur aequore aperto,
Thrax vincit, Ithacus non sine clade fugit.*

Такъ какъ Кохановскій не избѣгаетъ наполнять *однимъ* слогомъ спондей первой стопы, то мы предложили перестановку: „*Vincit* *Thrax*“. Но если авторъ держался теоріи, что передъ греческими словами удлинение допустимо, то измѣнять преданіе мы здѣсь не въ правѣ, т. к. оно другихъ сомнѣній, кромѣ метрическаго, не вызываетъ.

5.

Eleg. IV. 2. 37:

*Tu fidus legum interpres atque arbiter aequus,
Tu circumventis ancora sacra reis.*

Въ устраненіе просодической ошибки, но и въ видахъ установленія нарушенной *анафоры*, а также принявъ во вниманіе, что „*atque*“ имѣется уже въ предыдущемъ стихѣ, мы l. c. исправили:

⁸⁷) Другіе случаи у Вергилія, помимо указанныхъ далѣе въ текстѣ. *A.* VII 555 *celebrent* *h-aeos*, 344 *Turnique* *h-aeis* (XI 217 *Turnique* *h-aeos*), *G.* IV 315 *flexere* *h-aei* (XII 805 *miscere* *h-aeos*), *G.* III, 60 *pati* *h-aeos*.

Tu fidus legum interpres tuque arbiter aequus,
Tu circumventis ancora sacra reis.

XXXVI.

Прочіе десять случаевъ мы рассмотримъ въ такомъ порядкѣ: сперва пять, касающіеся глагольныхъ формъ, потомъ четыре, относящіяся къ именнымъ формамъ, наконецъ, одинъ, въ которомъ фигурируетъ нарѣчіе.

1.

Eleg. III 3, 37: Hoc nocuit: pater externos sprevit hymenaeos.

Вотъ это совершенно законный случай: поэтъ сознательно приклонился къ Verg. *A.* VII 398 (см. § XXXV 3).

2.

Eleg. III 5, 53—56: Quam vero humanum, quam te mitem atque benignum Fortunae summa celsus in arce geras. Expertos audire *iuvat*, ut cetera tantum Admirari homines, hoc et amare scias.

Въ 55-омъ стихѣ читать должно:

Expertos audire iuvat: tu(m) cetera tantum
Admirari homines, hoc et amare scias.

3.

Eleg. III 17. 37 sq. (о золотѣ): Hoc fratres ad bella vocat, hoc sustulit urbes Et magna evertit funditus imperia.

И снова достаточно переставить одно слово:

Hoc ad bella vocat fratres, hoc sustulit urbes
Et magna evertit funditus imperia.

4.

Epinic. 783-787: _____ supplicatum Pontifici in Latium Summo usque misit³⁸⁾, pacis ut Suasor is esse tibi³⁹⁾ *Vellet animumque* remolliret tuum:

³⁸⁾ Рѣчь идетъ о посольствѣ Шевригина, отправленнаго въ 1580 г. Иоанномъ Грознымъ къ папѣ Григорію XIII-ому.

³⁹⁾ Королю Стефану Баторію.

Мы изъ 66-ого „duodenarius“ выписали конецъ 3-яго стиха и цѣликомъ стихи 4—7. Напоминаемъ, что „Epinicion“ написано размѣромъ оды Пиндара *Nem. IX*, какъ этотъ размѣръ понимался въ эпоху Кохановскаго. Въ 7-омъ стихѣ строфы схема польскаго поэта была: $\text{— } \underline{\text{—}} \text{— } \underline{\text{—}} \text{— } \underline{\text{—}} \text{— } \underline{\text{—}} \text{— } \underline{\text{—}} \text{— } \underline{\text{—}} \text{— } \underline{\text{—}} \text{—}$. Такимъ образомъ в. 787 представляетъ въ первой стопѣ отступленіе отъ нормы, соблюдаемой въ 72 строфахъ авторомъ. Нѣтъ такихъ поводовъ, которые могли вынудить его прибѣгнуть къ удлинению конечнаго краткаго, и напротивъ, есть для насъ прямой поводъ думать о порчѣ, такъ какъ и слѣдующій стихъ искаженъ ⁴⁰).

Мы бы читали:

. . . pacis ut
Suasor is esse tibi
Vellet stomachumque remolliret tuum.

Образцомъ Кохановскому послужилъ тутъ Горацій (*c. I 6, 5 sq.*: „gravem Pelidae stomachum cedere nescii“; *16, 13 sqq.*: „Fertur Prometheus—leonis Vim stomacho apposuisse nostro“). Тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе непониманія настоящаго смысла слова, которое, по видимому, было признано неумѣстнымъ, произвели для двора ин-терполяцію (на этотъ разъ, стало быть, злостную).

5.

Arat. 7—9: Hic vero (*Зевесъ*), indulgens mortalibus, omina fausta Portendit operisque manus adhibere suadet, Victum animo inculcans.

Діэреза въ „suadet“ сама по себѣ, пожалуй, допустима (*Lucret. IV 1157*), но въ связи съ удлинениемъ послѣдняго слога въ „portendit“ (вѣрно, напр., *Arat. 890*: „hiemem portendit atrocem“) наводить мысль на перестановку:

Hic vero, indulgens mortalibus, omina fausta
Portendit; suadetque operi [ille] manus adhibere,
Victum animo inculcans.

⁴⁰) Въ изд. 1884 г. в. 788—790 гласятъ: „Haec, ubi amsanctae dedit oscula plantae, Nomine schismaticus Heri precabatur sui“. У г. М. Sas, аккуратно сличавшаго прежнія изданія, оговорокъ нѣтъ. Отсюда выводимъ, что тутъ не опечатка XIX вѣка. Возстановить надлежитъ: „Tanique ubi sanctae d. o. p., N. s. Heri haec prec. s.“. Типографскій интерполяторъ пойманъ in flagranti: онъ конъектурно переставилъ „haec“ на казавшееся ему подходящимъ мѣсто, а также придумалъ „Amsanctae“, какъ genet-loci, по своимъ временищеніямъ изъ Вергилія (*A. VII 565*), когда наборъ оказался нѣсколько разбросаннымъ.

На концѣ стиха у Лукреція стоитъ I 779 „*adhibere*“, а V 229—*„adhibenda est“*.

6.

Arat. 250 sq.: *Ille quidem, plene quasi semper sidere lunae Obscuretur, hebes oculorum lumina fallit.*

Должно быть, надстрочный знакъ не былъ замѣченъ. Читатъ слѣдуетъ: „*hebe(n)s*“. Ср. (въ снимкѣ съ рукописи) *Dr. Z.* 12: „*spergāda*“, 78: „*suaviloquēs*“. Ошибиться К. не могъ, имѣя при переводѣ Арата постоянно Авіена передъ глазами (см. у послѣдняго, напр. *Ar. Progn.* 423): „*cum stellis hebes est lux omnibus ultro*“).

7.

Foric. 69, 11 sq. (о любовныхъ связяхъ):

*Optandum: aut numquam incipere, aut desistere numquam.
Est mel, cum incipimus, fel, ubi desinimus.*

Если-бъ К. дѣйствительно думалъ, что „*fel*“ имѣетъ долгій гласный, то держался бы того же мнѣнія и относительно слова „*mel*“, т. е. не остановился бы передъ редакціей: „*Mel est, cum incipimus*“. Думаемъ, что подлинникъ гласилъ:

Est mel, cum incipimus, fel(que), ubi desinimus

При отсутствіи союза, ощущается потребность большей симметріи въ построеніи обонхъ полустипій, ибо *asyndeton adversativum* имѣетъ очень опредѣленный риторическій характеръ. Поэтому, опустивъ *que*, авторъ написалъ бы нѣчто, въ родѣ: „*Est mel, cum incipimus; [fit] fel, ubi fugimus*“⁴¹⁾.

8.

Arat. 1082 sqq.: *Cum vero nitidum stellarum lumen hebescet Nec fulgorem illum nubes alicundeve oborta Caligo eripiet neque candens luna, sed ultro Clara repente suum deperdent astra nitorem, Iam tum mitte dies animo versare serenos, Sed tempestates potius praesume futuras. (1088 sqq.) Nubibus omen idem est, cum pars persistet earum Fixa loco, pars tendet iter aliaequae sequentur.*

⁴¹⁾ Или: „*ubi abstitimus*“. Впрочемъ, темпоральное „*ubi*“ съ долгимъ встрѣчается у Кохановскаго, напр., *Lyr.* 8, 14 и 11, 39 (тоже подъ влияніемъ Лукреція, у котораго ср. VI, 517).

Въ цѣломъ рядѣ случаевъ К. употребляетъ правильно *iter*, какъ пиррихій. Не далѣе, какъ девятью стихами выше (v. 1089) читается: „*carpunt iter agmine longo*“; двѣнадцатю стихами ниже мы находимъ: „*sed miscent iter ancipites*“ eqs. (v. 1101). Въ *Erinisc.* ср. vv. 289. 685 и т. д. Съ какой бы стати авторъ отступилъ вдругъ отъ хорошо ему извѣстной и даже привычной просодіи? Исправить бы можно: „*si(m)ilesque sequentur*“ или, напр., „*nebulaeque s*“; „*(cr)ebraeque s.*“ или, наконецъ:

Nubibus omen idem est, cum pars persistet earum
Fixa loco, pars tendet iter sociaeque sequentur.

Греческій оригиналъ справедливо читается теперь такъ (v. 1018 sqq. ed. Maas):

καὶ ὁπότε ται μένωνοιν
αὐτῆ ἐνὶ χώρῃ νεφέλαι ται δ' ἄλλαι ὑπ' αὐταῖς
1020 (ται μὲν ἀμειβόμεναι, ται δ' ἐξόπιθεν) φορέωνται.

Но Кохановскій руководствовался еще, повидному, редакціей:

καὶ ὁπότε ται γε μένωσιν
αὐτῆ ἐν χώρῃ νεφέλαι, ται δ' ἄλλαι ἐπ' αὐταῖς
ται μὲν ἀμειβόμεναι, ται δ' ἐξόπιθεν φορέωνται.

9.

Eleg. I, 7, 43—54: emenso qui fixit in orbe columnas Caelumque amoto solus Atlante tulit, lam mactata hydra Nemcaeo iamque leone Et volucrum monstris Arcadiaque sue, Praebuit *Eurytidi* se non invitum amandum Duxitque a victa fas sibi iura dari: Deposuit tegmen villosi immane leonis Virgineo cultu sustinuitque tegi, Clavaque abiecta lanam fusosque poposcit Et torsit dura levia fila manu, Et speculum tenuit, cum pellem induta leonis Mentita est fortem torva virago virum.

Если судить объ этихъ стихахъ со стороны только просодической, приходится констатировать ошибочное удлинение окончанія въ „*Eurytidi*“ (въ примѣч. 12-омъ приведено правильное „*Naidi*“ изъ *El.* I 15, 102). Если обратить вниманіе на смыслъ контекста, то оказывается, что авторъ говоритъ вовсе не объ *Iole*, дочери царя *Эвротоса*, а объ *Омфалѣ*. При такихъ условіяхъ, типографская интерполляція, замѣнившая неразборчивое чтеніе подлинника, должна, въ

свою очередь, уступить мѣсто приноровленной къ ходу мыслей до-
ладкѣ. Допустимо, кажется:

Praebuit en Lydæ se non invitus amandum.

10.

Eleg. II, 3, 23 sqq.: Ergo amissa *semel* incautae errore iuventae Li-
bertas nobis irreditura perit Vitaque sub domino exantlanda est omnis
iniquo Nec dabitur fracto solvere colla iugo ⁴²⁾.

Правильно скандируется поэтомъ „*semel*“, какъ пиррихій, напр.,
Pan. Z. 46, *Gall. croc.* 87. Нарушать просодію не было и здѣсь мо-
тивовъ. Дабы возстановить подлинникъ, достаточно переставить:

Incautae semel ergo ⁴³⁾ amissa errore iuventae
Libertas nobis irreditura perit,
Vitaque sub domino exantlanda est omnis iniquo ⁴⁴⁾
Nec dabitur fracto solvere colla iugo.

XXXVII.

Andr. Patric. 7—21: (Афродита) Natum admonere coepit, Ne tam
velit videri Saevus feroque corde, (10:) Ul lacrimis *crebrisque* Suspi-
riis amantum Et tristibus querellis Mitescere aut moveri Non possit
umquam: et illum, (15:) Tamquam genus supremi Propaginemque cer-
tam Iovis, *sequi atque imitari* Debere ceterorum Clementiam deorum.
Et haec quidem *Citerea* Cum serio moneret, eqs.

1.

Относительно „*crebris*“ въ 10-омъ стихѣ у г. М. Sas'a I. I. p.
346 сказано: „*crēbro*“ (For .20, 1)=*klas. crēbro, lecz Patr. 10. czytamy*
dobrze crēbris“. Къ Foric. 20, мы вернемся въ слѣдующемъ пара-

⁴²⁾ Рѣчь идетъ объ игѣ Эроты.

⁴³⁾ *Ergo* на третьемъ мѣстѣ, какъ, напр., *Sen. Controv.* I 1, 9 (Corneli His-
pani): „Ista condicione ergo“, II 4, 6 (Cesti Pii): „In domum ergo meamveniet“,
Mart. II 18 (ter.): „iam sumus ergo pares“ и т. д.

⁴⁴⁾ Неосновательно было бы слѣдующее измѣненіе словорасположенія
ради усовершенствованія цезурь: „Sub dominoque exantlanda est vita omnis
iniquo“. Дѣло въ томъ, что теорія афезы начального гласнаго въ *verbum*
substantivum при предшествующемъ гласномъ или *m* (тутъ: „exantlandast“) не
была еще извѣстна Кохановскому, который въ подобныхъ случаяхъ эли-
дировалъ на обычный ладъ („exantland' est“): поэтому въ данномъ случаѣ онъ
признавалъ имѣющимися на лицо хорошую *semiseprenariam*, а при ней до-
полнительно *semitemnariam* послѣ односложнаго „sub“ и прекарную *semiqui-
nariam* послѣ „ex“.

графъ. Тутъ же замѣтимъ, что въ приведенныхъ словахъ польскаго ученаго кроется какое-то недоразумѣніе: Кохановскій примѣняетъ іамбическій *dimeter catal.* такимъ образомъ, что въ третьей стопѣ сплошь ⁴⁵⁾ употребляетъ чистый іамбъ: „киклическій анапестъ“ *Andr. Patr.* 20 („*Citerea*“), какъ мы видѣли въ § XI-омъ, есть плодъ незнакомства типографской діорѣосы съ формой: „*Cythere*“, дательный падежъ отъ которой въ стихѣ того-же размѣра. на томъ же мѣстѣ стиха поставленъ поэтотъ *Foric.* 15, 6. Объ в. 17 мы сейчасъ скажемъ. Совершенно особнякомъ стояло бы: „*Ut lacrimis cēbrisque*“. Но и думать о просодической ошибкѣ „*cēbris*“ нѣтъ нужды⁴⁶⁾. Поэтъ явно сказалъ:

Ne tam velit videri
Saevus feroque corde,
10 Ut lacrimis *amantum*
Suspiriisque crebris
Et tristibus querellis
Mitescere aut moveri
Non possit unquam eqs.

2.

Исправленіе стиха 17-аго мы себѣ представляемъ такимъ:

et illum,
Tamquam genus supremi
Propaginemque certam
Iovis, *sacram aemulari*
Debere ceterorum
Clementiam deorum.

XXXVIII.

Foric. 20: Si coenitare vis poetas *et crebro* Potare apud te, pol, *sapientis*. Ibyce, Homines palati, pocula haec *lymphatica* Merumque flumen amoveri fac procul, *Servis* bibendum sobriaeque virgini. (6:) Nobis Falernum *ardentiusque Caecubum* Capacioribus iube adponi scyphis. Nam si bibendum est, optimum quodque. Ibyce, Vinum bibendum est, caetera esto sobrius.

Ни спондей въ 6-ой стопѣ сенарія, ни анапестъ въ 4-ой не могутъ быть терпимы у Кохановскаго Сомнѣваемся, далѣе, чтобы

⁴⁵⁾ Двадцать восемь разъ *Foric.* 15 и шестьдесятъ пять разъ, согласно преданію, въ стихахъ „*Andr. Patricio*“, по нашему же мнѣнію,—68 разъ.

⁴⁶⁾ Вѣрно формы отъ „*creber*“ съ долгой въ первомъ слогѣ употреблены *Eleg.* II, 2, 9, *Epin.* 263 и т. д.

поэтъ употребилъ „*rosula-lymphatica*“ въ смыслѣ „водянистаго напитка“, когда это, собственно, значитъ: „отнимающій разумокъ напитокъ“. Въ 5-омъ стихѣ крайне шокируетъ сопоставленіе: „*servis-virgini*“. Наконецъ, въ 6-омъ, очевидно, слѣдуетъ возстановить цезуру. Мы бы читали:

Si cenitare vis poetas *crebraque*
Potare apud te. pol. *scientis*, Ibyce,
Homines palati, *rosula haec pygmaea abhinc*
Merumque flumen amoveri fac procul,
5 *Parvis bibendum sobriaeque virgini.*
Nobis Falernum *Caecubumque ardentius*
Capacioribus iube adponi *scyphis*.

Нарѣчіе „*crebra*“ не было извѣстно руководившему корректурой: онъ подумалъ, что написано „*crebroque*“ и во избѣжаніе спондея въ 6-ой стопѣ передѣлалъ „*crebraque*“ въ „*et crebro*“, не замѣчая, что этимъ и создалъ нежелательный спондей.

Каламбуръ „*sapiens-palatum*“ сводится къ простой тавтологіи, такъ какъ „*palatum*“ и есть органъ вкуса. Наоборотъ, „*sciens-palatum*“=doctum, subtile p. („небо знатока“, „небо понимающаго толкъ человѣка“).

Авторъ ставитъ въ упрекъ „Ибику“ микроскопическіе сосуды для вина и то, что подъ названіемъ послѣдняго подается водичка. Отсюда приглашеніе въ стихахъ 6—7: „вели намъ подать вина покрѣпче да въ кубахъ по-вмѣстительнѣе“⁴⁷⁾. Отсюда и сочетаніе въ 5-омъ стихѣ: „для дѣтей и дѣвицъ“. Рюмочки годились для младенцевъ⁴⁸⁾; по слабости же своей вино это было подходящимъ для барышень напиткомъ.

Переносно употреблено „*pygmaea*“, напр., у Ювенала VI 506. Относительно „*abhinc*“ ср. Lucret III 968: *Aufer abhinc lacrimas*.

XXXIX.

Erinice. 702 ошибочно краткость приписана первому слогу слова „*ruderum*“. Стихъ, при схемѣ: $\bar{\quad} \quad \bar{\quad} \quad \bar{\quad} \quad \bar{\quad} \quad \bar{\quad} \quad \bar{\quad}$, гласить: „*in ruderum*“

⁴⁷⁾ Мѣсто насыщено реминисценціями изъ Горация. Ср. *epod.* 9, 33: „*Capaciores affer huc, puer, scyphos*“; с. II 11, 19: „*ardentis Falerni*“.

⁴⁸⁾ Мы даже думали о редакціи: „*rosula haec infantium*“, но именно при „*parvis*“ въ 5-омъ стихѣ это было бы нежелательно, да и едва ли бы исказилось. Недопустимо было бы: „*rosula Astyanactica*“ (ср. Mart. XIV, 212, VIII 6: „*Miratus fueris cum prisca torcumata multum, In Priami cyathis Astyanacta bibes*“, что толкуютъ, впрочемъ, и о „молодомъ“ винѣ

simulis“. Мы, очевидно, имѣемъ дѣло съ неудачнымъ „поясненіемъ“ подлиннаго: „*in laterum simulis*“, что казалось двусмысленнымъ въ виду того, что данный родительный падежъ можетъ быть отнесенъ и къ „*lateres*“ и къ „*latera*“. Между тѣмъ изъ контекста ясно, что рѣчь идетъ о брешѣ въ городской стѣнѣ.

XL.

Eleg. I 10, 43: Purpureisque fragrans os impressisse labellis.

Съ соблюденіемъ долготы перваго слога К. правильно сказалъ: должно быть:

Fragrans purpureisque os impressisse labellis ⁴⁹⁾.

Что *Andr. Patr.* 59 имѣется: „*Fragrantia oscula illa*“, ничего не доказываетъ ни въ ту, ни въ другую сторону, ибо въ этомъ размѣрѣ первая стопа можетъ быть и спондеемъ, и іамбомъ. Но *Eleg.* II 2, 11: „*vina mihi et fragranti flore corollas*“ рѣшаетъ вопросъ въ пользу Кохановскаго.

XLI. *

Eleg. III 3, 53 sq.:

*Postquam prima fames et amor dape victus edendi,
Sponsa accersitur, femineusque chorus.*

Просодическая ошибка эта невозможна у К., который умѣлъ же различать формы 3-ьяго и 4-аго спряженій. Мы въ „Журналѣ Мин. Нар. Пр.“ конъюцировали: „*accersita est*“, но теперь предпочитаемъ:

*Postquam prima fames et amor dape victus edendi,
Sponsa accersitus femineusque chorus.*

Какъ въ гексаметрѣ сказано съ аттракціей грамматическаго рода „*fames et amor victus*“, такъ въ пентаметрѣ: „*sponsa et chorus accersitus*“. Въ обоихъ случаяхъ подразумѣвается *est*. Стоящее въ изданіи „*accersitur*“ осязательная интерполяція—„поправка“.

XLII.

Eleg. I 13, 1 sqq.: Urbs invisa vale, latos concessit in agros Lydia carpento vecta fugace mea. Tu tauros, Amor, agricolae iam pasce

⁴⁹⁾ Иначе г. М. Sas l. l. p. 348: „*Sądze, że należy fragrans poprawić na flagrans*“.

futuro... Spemque anni venientis arata semina terra Spargam, sed do-
mina me comitante mea.

Что приводитъ его въ восторгъ? не то, разумѣется, что она
куда-то въ деревню поѣхала, а то, что она *къ нему* поѣхала. Намъ
кажется, что поэтъ написалъ не „Lydia-mea“, а:

Urbs invisā, vale! latos concessit in agros
..Lydia, carpento vecta fugace meo.

XLIII.

Eleg. II 3, 50: Infelix *tacitis* ossibus haeret amor.

Сл. „tacitas in pectora mittere flammās“ (Sil. Ital. XI 389; cf.
Stat. *Th.* V 445)⁵⁰), „tacito sub pectore“ (Stat. *Th.* II 410, 481), „tactio
sub corde“ (*Theb.* IX 824). Но ближе Verg. *A.* IV 66 sq.: „Est mol-
lis flamma medullas Interea et tacitum vivit sub pectore vuluus“ (cf.
v. 2). Однако, и то не вполне аналогично. Поэтому не читать ли:

Infelix *tactis* ossibus haeret amor.

Prop. II 34, 60: „Quam *tetigit* iactu certus ad *ossa* deus“. I 9, 29:
„Donec manus (Амора) *attigit ossa*“ и т. д.

Вотъ, *El.* I 2, 42 у Кохановскаго неоспоримо: „Sparsaque per
tacitas lacrima rara genas“. Cf. Hor. *c.* IV 1, 34—36. I 13, 6—7: „umor
et in genas Furtim labitur“. Sil. XVII 214 sq.: „manantesque ora ri-
gabant Per tacitum lacrimae“.

XLIV. *

El. II 10, 61—68: Hic denso in populo, superata Leucade, Sappho
Mellifluo dulces fundit ab ore sonos. Assidet huic viridi praecinctus
tempora lauro Orpheus et citharae fila canora movet, (65:) Assidet et
Latii lumen Lucretius orbis Contra, *quem* chartis prodidit ipse suis.
Adstant mille alii, fugientes taedia vitae, Qui manibus debent ultima
fata suis.

Напечатанный въ такомъ искаженномъ видѣ текстъ побудилъ
переводчика, въ свою очередь, къ фантазированию. Онъ пишетъ:
„naprzeciw niego (Орфея) Lukrecyjuusz, chwala latyńskiéj ziemi, która
tak wstawil swojime utwory“, т. е. соединяетъ *assidet* съ *contra*, а

⁵⁰) Sil. XI 396: „Tyriam pubem tacitis exurite telis“. Stat. *Th.* IX 771: „ta-
cito ducunt suspiria voto“. *Silv.* I 2, 194 чтение спорно.

quet относитъ къ *orbis*. На дѣлѣ, какъ мы отмѣтили въ „Журналѣ Мин. Нар. Пр.“, поэтъ сказалъ:

Assidet et Latii lumen Lucretius orbis
(Contra, quam chartis prodidit ipse suis!).
Astant mille alii eqs.

Лукрецій отвергалъ загробную жизнь въ своей поэмѣ: тѣмъ не менѣе онъ находится въ преисподней и возсѣдаетъ тамъ рядомъ съ Сапфо и т. д.

XLV.

Eleg. I 3, 21—26: (если кто докторальнымъ тономъ поучаетъ меня, что любовь должна быть платонической,) *Huic ego non valde obsistam, ne cornua fronti (Quae magia in verbis dicitur esse viri) Iratus nostrae affingat, praesertim Italarum In coetu, quibus haec pessima prodigia. Sed blanda oppugnabo virum prece torva tuentem, Ne privare annum vere nitente velit eqs.*

Слово „*magia*“ съ краткимъ *i* не встрѣчается. Кохановскій прекрасно зналъ, что оно соотвѣтствуетъ греческому *μαγία*⁵¹). Съ другой стороны, коль скоро люди получали рога потому только, что разумѣемое лицо *развивало свое учение* (*in verbis—esse*), то примѣненіе волшебства къ практикѣ не было выраженіемъ *интѣ* противъ определенной жертвы. Скорѣе всего „*magia*“ возникло подъ вліяніемъ дальнѣйшаго „*prodigia*“ (v. 24): послѣднее же отнюдь въ такомъ предварительномъ поясненіи не нуждается. Мы бы читали:

Quae magis interna ars dicitur esse viri.

У проповѣдывавшаго открыто любовь безплотныхъ душъ была, рядомъ съ этимъ, эсotericическая доктрина, которая позволяла ему даже награждать ближняго рогами.

Одиночнаго односложнаго передъ діэрезой пентаметра К. не избѣгаетъ. Какъ разъ въ данномъ мѣстѣ имѣется v. 24: „*quibus haec | pessima*“. Ср. выше, v. 14: „*Exemplo illorum ut | non sit amare pudor*“. Другіе примѣры (въ числѣ шестнадцати) сопоставлены у г. М. Sas'a l. l. p. 362.

⁵¹) Относительно *Epinic. 769*: „*Odit Adrastia fastum*“ мы, не колеблясь, допускаемъ, что Кохановскій сознательно сократилъ *i*: иначе онъ не могъ бы помѣстить имени въ стихъ. Аналогіей, какъ справедливо отмѣтилъ г. Sas, могло послужить поэту *Academïa* у Клавдіана и Сидонія.

XLVI.

Въ двухъ мѣстахъ, *Eleg.* I 2, 20 и *Eleg.* I 12, 39, изданія Кохановскаго представляютъ чтеніе: „coelituum“. По мнѣнію гг. Пришиборовскаго и М. Sas'a, поэтъ въ обоихъ случаяхъ прислонился къ „alituum“⁵²⁾. Мы склонны (уже въ виду того, что *Lyr.* 4, 7 сказано правильно: „caelitum pignus“) предположить въ разумѣемыхъ текстахъ изъ элегій порчу подлинника и возстановили бы оба раза „caelicolum“. Ср. *Eleg.* III 16, 42: „caelicolas—deos“.

Типографская дюрвеза не сообразила, что синкопированная форма стоитъ вполнѣ законно, вмѣсто „caelicolarum“, и предпочла прибѣгнуть (въ элегіяхъ!) къ „эпическому полногласію“.

XLVII.

Въ двухъ мѣстахъ, *Epin.* 188 и 688, изданія Кохановскаго читаютъ „aenea“ (трехсложно). Такъ какъ изъ *Epin.* 361 и *Arat.* 1052 явствуетъ, что поэтъ правильно скандовалъ: „ahenea“ и „ahena“, то слѣдуетъ исправить *Epin.* 188 sq.: „Vuccina auditur procul aerea, belli Nuntia“⁵³⁾ и такимъ же образомъ *Epin.* 686 sqq.: „sub ipsis Collocas tormenta muris Aerea, terrifica“.

XLVIII.

Eleg. IV 3, 103 sq.: *Orbem autem nostra fabrefactum dicere causa*
Hoc vero evinci vix ratione potest.

Тутъ „fabrefactum“ употреблено съ краткостью во второмъ слогѣ. Можно съ достовѣрностью сказать, что и въ этой просодической ошибкѣ К. не повиненъ. Да и глагола такого онъ бы не сталъ образовывать. Изъ Лукреція, который и тутъ служилъ ему вождемъ, онъ зналъ *vasēfit, confervēfacit, liquēfit* и т. д.: все это не аналогіи. Мы бы читали:

Orbem autem nostra fabricatum denique causa,
Hoc vero evinci vix ratione potest.

Вмѣсто излишняго „dicere“ мы поставили „denique“, какъ подходящее къ разсудочному тону изложенія (ср. *Foric.* 41, 3), но мыслимо, конечно, и другое чтеніе⁵⁴⁾.

⁵²⁾ Lucr. II 928; V 801. 1039. 1078; VI 1216. Verg. *Aen.* VIII 27. Stat. *Silv.* I 2, 184.

⁵³⁾ Ср. у Вергилія, Овидія и т. д.: *aere canoro, aere ciere viros* и проч.

⁵⁴⁾ Приходитъ, напр., въ голову: „*Orbem autem nostra fabricatum a nomine causa, Hoc verum evinci vix ratione potest.*“ Cf. v. 131 sqq.: *Hoc propius vero, mundi artificem... se spectasse*

XLIX. *

Сопоставляемъ еще нѣкоторыя изъ догадокъ, высказанныхъ нами въ упомянутой статьѣ Журнала Мин. Нар. Пр.

1.

Eleg. II 11, 47--50: Cum mactanda esset castae Iphianassa Dianae, Virgo, volente dea, caede redempta ferae est. Virgo redempta fera est, me saltu somnia solvant, Victus et Actaea sit meus ignis aqua.

Подъ „ignis“ должно разумѣть огонь любви. Относительно „somnia“ и обозначенія мѣстности замѣтимъ слѣдующее. Поэтъ послѣ тяжелой ночи засыпаетъ (v. 9 sq.): „Nec mihi se in somnis humana maior imago Exhibuit: specie credo fuisse deum“⁵⁵). Явившійся страдальцу образъ спрашиваетъ: „хочешь свергнуть иго своей владычицы или предпочитаешь вѣчныя душевныя мученія и рабство?“ (vv. 15—22: Si bene pertaesum est dominae crudelis et arto Exsolvi nodo corde⁵⁶) aliquando cupis, Me sequere⁵⁷): assertor veni tuus“. Annuo dictis Et praecedentem corde volente sequor... in montem evasimus altum, Porrectus rapidis imminet ille fretis“. Вождь затѣмъ объясняетъ поэту (v. 25 sq.): „Leucates mons hic antiquo nomine fertur, Hosque vocat fluctus navita Leucadios. Legem disce loci: longi⁵⁸) quem taedet amoris, Hinc salit et victo sospes amore redit“. Они вдвоемъ бросаются со скалы (v. 37), поэтъ просыпается и предается размышленіямъ о своемъ сновидѣніи.

Въ стихѣ 50-омъ нормальнымъ образомъ ожидается:

Victus et Actiaca sit meus ignis aqua.

Sil. XV 301: „vada—Leucatae et Phoebi—Actia templa“. Claudian. *b. Get.* 185 sq.: „Nec nubifer Actia texit Litora Leucates“ и т. д. Что касается „Actaeus“, то это значить всегда: „аттический“ (*Ov. Her.* 2, 6. 17, 42 и т. д.). Въ „Журналѣ М. Н. Пр.“ мы и конъюнктировали: „Actiaca“. Возможно, однако, что Кохановскій написалъ

⁵⁵) Въ изд. 1884 г. напечатано: „Exhibuit specie, credo f. d.“. Такая интёрпункція уничтожаетъ смыслъ.

⁵⁶) См. выше, § XVI, 3.

⁵⁷) Изданіе 1884 г. опускаетъ двоеточіе.

⁵⁸) Не кроется ли подъ этимъ: „Iaquei quem taedet Amoris“? Ср. v. 15 sq.: „Si... arto Exsolvi nodo... cupis“.

„Астаеа“: рѣшился бы вопросъ выясненіемъ того, въ какомъ текстѣ онъ имѣлъ въ Парижѣ въ 1556 году Овидія передъ глазами. Дѣло въ томъ, что все стихотвореніе находится подъ вліяніемъ псевдо-овидіеваго „Посланія Сапфо“⁵⁹⁾, въ которомъ, в. 166, сказано объ Аполлонѣ: „Actiasum populi Leucadiumque vocant“ (ср. *Ep. S.* v. 185). Такъ мѣсто читается теперь (ср. изд. Ehwald'a) по редакціи Франкфуртскаго списка XIII в. Но есть варіантъ „Actaeum“: если Кохановскій руководствовался этимъ послѣднимъ чтеніемъ, то, конечно, мы не въ правѣ возстановлять у него конъектурно „Actiasa“.

2.

Eleg. I 15, 1 sq.: Nunc age, quo pacto bellatrix Vanda Polonis, Praefuerit, solito carmine, Musa, refer.

Занятую послѣ „Polonis“ необходимо, конечно, уничтожить. Кромѣ того, мы бы возстановили: „*Latia* carmine“ не столько въ виду Ног. с. I 32, 3 sq.: „age dic Latinum, Barbite, carmen“, сколько въ силу требованій смысла: поэтъ собирается разсказать польскую народную легенду по-латыни, а не на томъ языкѣ, который казалось бы естественнымъ избрать для того.

Ср. I 6, 25 sq.:

Huic⁶⁰⁾, siquid blandum spirant mea carmina, debent.
Huic *Latia* atque recens *Slavica* Musa canit.

III 15, 13 sq.:

Aut meditor *Latiis* non absona carmina Musis
Quaeque meus molli *Sarmata* voce canat⁶¹⁾.

⁵⁹⁾ У Кохановскаго в. 29 sq. явившійся ему демонъ говоритъ, напр.: „Deucalion testis, qui Pyrrhae incensus amore Hinc se iecit et his [ed. a. 1884: „iis“] est relevatus aquis“. Въ *Epist. Sapphus* наяда в. 167 sqq. говоритъ: „Hinc se Deucalion Pyrrhae succensus amore Misit et... igne levatus erat“. Ср. Кохановск. в. 27: „Legem disce loci“ съ *Ep. S.* 171: „Hanc legem locus ille tenet“.

⁶⁰⁾ Т. е. возлюбленной.

⁶¹⁾ Переводъ г. Красносельскаго гласитъ: „albo składam pieśni zgodne z tworami łacińskiej muzy, które mój Sarmata miękким głosem śpiewać będzie“. Кохановскій сопоставляетъ свои латинскіе и свои польскіе стихи: переводчикъ опускаетъ совершенно упоминаніе послѣднихъ и приписываетъ автору превратное ожиданіе, что польскій народъ будетъ распѣвать латинскіе стихи. Какое значеніе въ XVI в. придавалось проснувшемуся стихотворному творчеству на національныхъ языкахъ, видно изъ латинскихъ элегій самого Кохановскаго, который III 8, 21 sqq., описывая свое посѣщеніе Парижа, говоритъ:

Несообразность эпитета „solito“ въ разсматриваемомъ мѣстѣ бросается въ глаза: „привычно“ элегической музѣ Кохановскаго воспѣваніе на совсѣмъ инныя темы.

3.

Eleg. I 15, 15: Hinc odium *taedae*, hinc mentio nulla hymenaei.

Зіаніе ни намѣреннымъ, ни вынужденнымъ не было. А стало быть, предположивъ первоначальную брѣвіатуру окончанія, читать нужно:

Hinc odium *taeda[rum]*, hinc mentio nulla hymenaei.

Тутъ же замѣтимъ, что *Epin.* 344 hiatus устраняется вставкой: „linguae [te] opus“, а *Epin.* 847 --вставкой: „adeo [hoc] Aquiloparem“ eqs.

4.

Eleg. I 13, 11—16 (о переѣхавшей якобы съ шмъ въ деревню возлюбленной): Atque utinam luxus urbani oblita deinceps ⁶²⁾ Hic agros inter mecum habitare velit Aureaque ex animo deponat templa deorum Thermasque et Cilici sparsa theatra croco, Ac potius *nudis* oblectet *lumina* silvis Et quae per silvas plurima cantat *avis*.

Мы сомнѣваемся, чтобы пѣніе птицъ могло улаждать зрѣніе. Правда, у Лукреція I 254—256 читается: „Hinc alitur porro nostrum genus atque ferarum, Hinc laetas urbes pueris florere *videmus* Frondiferasque novis avibus *canere* undique silvas“. Но у древняго поэта „videre“ стоять съ accus. c. inf., причемъ имѣеть столь извѣстное обобщенное значеніе, къ которому нельзя приравнивать выраженіе у К.: „oblectet—lumina“. Полагаемъ также, что, подобно поставленному этимъ послѣднимъ въ концѣ гексаметра *silvis*, долженъ стоять зависящій отъ *oblectet* аблятивъ и въ концѣ пентаметра Наконецъ, съ „*nudis*“ въ данной связи мыслей и образовъ примириться нельзя. Значить ли это: „лѣсами, которые не наполнены

Hic illum *patrio* modulantem carmina plectro
Ronsardum vidi, nec minus obstupui.
Quam si Thebanos ponentem Amphiona muros
Orpheave audissem Phoebigenamve Linum.

Ср. также всю элегію III 13, начинающуюся стихами: „Musa, relinquamus ripas Anienis amoenas: In sua me pridem Carpatas antra vocat Sarmatiamque iubet *patriis* ornare Camenis“.

⁶²⁾ Та-же скандовка у Пруденція *Cath.* 7, 136.

термами и театрами“? значить ли: „лѣсами, въ которыхъ стоять оголенные деревья“? Если же ни то, ни другое не имѣлось въ виду сказать, то что же остается подразумевать?

Мы бы предложили взвѣсить пока слѣдующую попытку эмендаци:

Ac potius nostris⁶³⁾ [se] oblectet rustica silvis
Et, quae per silvas plurima cantat, avi⁶⁴⁾.

5.

Eleg. III 5, 49—52 (въ обращеніи къ Падневскому): Tu quoque candentes aquilas et signa secutus Assidue *fido* iunctus eras lateri. Ergo te meritis Augustus honoribus ornat Et nunc consiliis utitur ille tuis.

Такъ какъ смыслъ требуетъ: „Ты былъ неотлучно при королѣ“, то мы высказали въ „Журналѣ М. Н. Пр.“ догадку: „Assidue *augusto* iunctus eras lateri“. Отнюдь не мѣшаетъ, что затѣмъ въ 51-омъ стихѣ слѣдуетъ: „Ergo—Augustus“ eqs. Напротивъ, это сказано съ риторическимъ удареніемъ и усиливаетъ энергію изложенія.

Относительно перехода начертанія „А“ въ „fi“ см. Журн. Мин. Нар. Пр., июнь 1904, класс отд., стр. 284. Здѣсь имѣется родственныи случай перехода „А“ въ „fi“. Затѣмъ, ясно, что было написано сокращенно: „Ato“ съ надстрочнымъ титломъ.

6.

Eleg. II 1, 21 sq.: Felle carere ferunt, irarum sede, *columbas*: Hostem laesa tamen pungit et illa suum.

Читай: „*columbam*“.

7.

Eleg. II 8, 13 sq.: Et silicum venis erumpit amoenior unda, Quam per *defessos* quae venit acta tubos.

Читай: „*defossos*“.

8.

Eleg. II 8, 21 sq.: Nec Paris ipse adeo, cui magnae in vallibus Idae Tres se aiunt nudas exhibuisse deas.

⁶³⁾ Если это было написано компендиозно—„*pris*“, то „*pr*“ легко могло быть принято за „*pv*“, а надстрочное титло—за *d*. Элегія въ первоначальной редакціи разумѣетъ итальянскую обстановку, позднѣе же примѣнена къ польской („*nostris*“).

⁶⁴⁾ Въ Журналѣ М. Нар. Пр. сказано по поводу данного текста только объ „*avis*“.

При отсутствіи знаковъ преніянія невольно читаешь при первомъ взглядѣ на текстъ: „Tres se aiunt nudas exhibuisse deae“ (въ „Журналѣ М. Н. Пр.“, по недоразумѣнію, такое ошибочное чтеніе попало въ нашъ списокъ догадокъ). Ясно, что слѣдуетъ поставить безличное „aiunt“ между запятыхъ или же переставить „se“ послѣ „nudas“.

9.

Eleg. IV 1, 187 sq.: Vix decimo ⁶⁵⁾ infertur terrae, *quem* pulchra Calypso Eiectum pelago culta sub antra vocat.

Не читать ли: „quum“?

10.

Eleg. IV 2, 25: Totque adiisse pericla, *tot* exantlasse labores.

Цезура будетъ восстановлена, если читать:

Totque adiisse pericla (*a*)*tq(ue)* exantlasse labores.

11.

Eleg. IV 1, 53: Hinc digressus ad inmites classem adpulit oras.

Цезура получается хорошая, при словорасположеніи: „Adpulit inmites classem, hinc digressus, ad oras“.

12.

Eleg. I 8, 15 sq.: Te placata ipsi videor posse aemulus Orphei Pangere montanis percipienda feris.

Не необходимо ⁶⁶⁾, но приходитъ невольно на умъ:

Te placata, *ipsis* videar posse, aemulus Orphei,
Pangere montanis percipienda feris.

Намъ кажется, что „Orphei“ родительный падежъ. Ср. *Arat.* 774: „surgentis in aethera Persei“, *ibid.* 205: „(genus)—Iasidae Cephei“, *Eleg.* I 10, 36: „liquidus Nerei—domos“. *Lyr.* 12, 96: „Magnanimi

⁶⁵⁾ Sc. die (Одиссей).

⁶⁶⁾ Ибо, если „Orphei“ дательный падежъ, то къ нему и относится „ipsi“. Мы думали, впрочемъ, о томъ, не переставитъ ли запятую такимъ обр.: „Te placata ipsi, videor“ едс., причемъ „ipsi“ значило бы „mihi“. Но слово стало бы совершенно излишнимъ тогда.

auspiciis Bathorrhæi“. Съ родительнымъ падежомъ „aemulus“ употреблено *Lyr.* 12, 90: „Et tela saevi fulminis aemula“.

L.

Eleg. IV 1, 55 sqq.: Accipit hospitio nautas Polyphemus amaro
Et sena ex illis corpora viva vorat. *Uter* opem reliquis tulit, *uter* servat Ulixem: Victus es oblato, trux Polypheme, mero.

Мы не видимъ основаній отклонять невольно рождающееся предположеніе, что просодическая ошибка, дважды допущенная въ томъ же словѣ, является тутъ плодомъ искаженія подлинника. Если послѣдній гласиль, положимъ:

[*Fert*] opem *uter* reliquis, *uter* [*una*] servat Ulixem,

то процессъ порчи могъ быть слѣдующій. Выпало сперва „fert“ изъ набора. Ученый корректоръ типографіи, не будучи почему либо въ состояніи сличить рукопись, обратилъ тогда вниманіе на совершенную необходимость, взамѣнъ „opem“, оказывавшагося уже начальнымъ словомъ стиха, поставить нѣчто другое: онъ и счелъ себя въ правѣ передвинуть „uter“ на первое мѣсто, руководствуясь тѣмъ, что немного ниже въ косвенныхъ падежахъ находилъ то-же слово съ долготой перваго слога ⁶⁷⁾. Получилось: „Uter opem reliquis, *uter* una servat Ulixem“. Теперь недоставало сказуемаго въ первомъ полустіиши; вмѣстѣ съ тѣмъ, второе „uter“ казалось неправильно употребленнымъ съ краткимъ „u“. Являлась надобность во второй интерполяціи. Въ поискахъ за словомъ, которымъ можно бы было пожертвовать въ наличномъ текстѣ, редакторъ остановился на „una“: не понявъ, что это нарѣчіе, и принявъ „una“ за именит. падежъ женскаго рода числительнаго имени, онъ усмотрѣлъ въ примѣненіи слова ошибку въ грамматическомъ родѣ и ошибку въ количествѣ второго слога: „una“ было выкинуто, и предикатъ „tulit“ помѣстился. благодаря тому, послѣ „reliquis“.

LI.

Эпиграмма *Furic.* 49 привѣтствуетъ Якова Гурскаго по поводу литературной побѣды послѣдняго надъ противникомъ, покинувшимъ

⁶⁷⁾ V. 65: „conclusas utre procellas“; cf. v. 71.

даже Краковъ въ сознаниі своего пораженія ⁸⁸). Стихи 15 sqq. изданы въ такомъ видѣ:

Macte animo, Gorsci, coelum tua gloria scandit,
 Quantus enim Alcides domito Busiride, quantus
 Tergemino custode Orci *fumantis* abacto,
 18 Tantus tu Helvidio, *simul et vigilante* poeta
 Viribus ingenii *victis* linguaque disert.

Мы, быть можетъ, ошибаемся, не зная какихъ либо фактическихъ подробностей разумѣемой полемики, на которыя, пожалуй, намекаетъ этотъ текстъ, но не скроемъ, что вторая половина 18-аго стиха представляется намъ загадочной: былъ ли у „Гельвидія“ союзникомъ нѣкій „vigilans poeta“, тоже разбитый Гурскимъ? если нѣтъ, то не читать ли:

Macte animo, Gorsci, caelum tua gloria scandit:
 Quantus enim Alcides domito Busiride, quantus
 Tergemino custode Orci *spumante* subacto,
 Tantus tu Helvidio (*nil auxiliante* poeta!)
 Viribus ingenii *victo* es linguaque diserta.

Слава подвиговъ Геркулеса обусловлена тѣмъ, что о нихъ повѣдала поэзія потомству: онъ нашель союзниковъ въ поэтахъ, которые многое де присочинили. Побѣда Гурскаго подлинная, ему не помогъ прославиться стихотворецъ своимъ воображеніемъ, а Гурскій силой собственнаго таланта и собственнымъ краснорѣчіемъ восторжествовалъ надъ „Гельвидіемъ“.

III.

Въ элегии III 16 поэтъ, по поводу свадьбы Андрея Дудыча, рассказываетъ, по Платону, о первоначальномъ андрогинѣ, о происхожденіи половъ и проч., а затѣмъ кончаетъ (въ текстѣ 1884 г.) такимъ образомъ:

85 Atque hinc ortus amor, plagae medicator acerbae,
 Quique unum ex geminis efficere usque studet.
 Quippe, prout dictum est, homini pars altera defit,
 88 Quaerendam omnino, quam sibi quisque putat.

⁸⁸) Профессоръ краковскаго университета Benedictus Herbestus съ 1561 г. велъ нѣсколько лѣтъ полемику о (стилистическихъ) періодахъ съ Яковомъ Гурскимъ, занимавшимъ тоже кафедру въ Краковѣ. Ср. монографію проф. Казим. Моравскаго *Andrzej Patrycy Nidecki* (Краковъ. 1892), стр. 111 сл.

Huius. Duditi, quia compos factus et ipse es,
 Nec iam dimidium, sed mage totus homo es;
 Fortunam hanc faveo tibi, tum succedere recte.
 92 Pro nostra cupio semper amicitia.

Подобная разстановка знаковъ прерыванія способна вывести изъ терпѣнія самаго хладнокровнаго читателя: на каждомъ шагу его искусственно сбиваетъ изданіе. Въ концѣ ст. 86-аго нужна не точка, а запятая; въ стихѣ 88-омъ слѣдуетъ *уничтожить запятую передъ „quam“*; въ концѣ ст. 90-аго должно точку съ запятой замѣнить запятой; въ концѣ 91-аго стиха запятая излишня. Въ томъ же стихѣ „fortunam hanc *faveo* tibi“ употреблено авторомъ не въ смыслѣ: „fortunam hanc *grator* tibi“, а скорѣе съ отгѣнкомъ: „сочувствую этому твоему счастью“ (точнѣе: „сочувственно предоставляю его тебѣ“; это соотвѣтствуетъ нѣмецкому: „ich *gönne* dir das Glück“).

LIII.

Lyr. 12, 27—32: Primos ad armorum susurros Praesidiis trepidas per urbes Firmis relictis, ipse sibi loco Duxit cavendum et calcar equo aliti Subiecit extenditque cursus Ad Boreae usque rigentis ortus.

Подчеркнутое слово не поддается удовлетворительному объясненію: вмѣсто „fugā“ (= spatio interiecto) оно, во всякомъ случаѣ, не можетъ стоять. Не кроется ли подъ вульгатой: „ipse sibi (*il*)lico Duxit cavendum“?

Туть же, в. 26, постѣ „robisque“ нужно уничтожить запятую.

LIV.

Eleg. IV 3, 145 sqq.: Atque huc comportet veterem simul undique gazam, Aurum, marmor, equos, mancipia, arma, viros Caeteraque ex genere hoc, quae vel videantur ad usum Vel cultum illius *cedere* posse domus.

„Cedere“ въ смыслѣ „способствовать чему либо“, „относиться къ чему либо“ едва ли кому придетъ въ голову сказать. Скорѣе было бы допустимо:

Ceteraque ex genere hoc, quae vel videantur ad usum
 Vel cultum illius *cernere* posse domus.

Не безукоризненно, конечно, употребленіе слова „cernere“ въ значеніи: „spectare“, „pertinere“ (французское: „concerner“), но не-

вѣроятнаго въ такой некорректности ничего нѣтъ. Одинаково грѣшить семасіологически Кохановскій, когда онъ, напр., пишетъ *Eleg.* III 4, 73: „Non talem infelix mater te, nate, *manebat*“ (= „*exspectabat*“, „поджидала“). Если, впрочемъ, добиваться вполне правильной латыни, то пришлось бы, кажется, остановиться на догадкѣ: „*quae vel videatur ad usum Vel cultum illius cogere posse domus*“. Намъ она представляется менѣе правдоподобной.

Гексаметръ въ данномъ двустишіи поучителенъ для уразумѣнія взглядовъ Кохановскаго на требованія цезурнаго свойства: *semiseptenaria* корректная (два односложныхъ), поэтому *semiternaria* и *semiquinaria* допущены послѣ одиночныхъ односложныхъ ⁶⁹).

LV.

Eleg. I 14, 9 sqq.:—*ad praecclusum nocturnus obambulo limen
Aut iaceo dura semisopitus humo, Atque aliquis, pigri curru inclinante
Bootae, Cum face praeteriens: Nunc miser, inquit, amat.*

Кохановскій всюду правильно употребляетъ формы отъ „*sopire*“ съ долготой коренного слога ⁷⁰). Почему бы онъ тутъ отступилъ отъ требуемой скандовки? По мнѣнію г. М. Sas'a (I. I. p. 346), поэтъ считалъ себя въ правѣ такъ поступить въ виду того, что у Овидія въ нѣкоторыхъ изданіяхъ того времени читалось *Her.* 10, 10: „*Thesea prensuras semisopita manus*“ и *Amor.* I, 14, 20: „*Purpureo iacuit semisopita toro*“. Это соображеніе мы бы признали вполне основательнымъ, еслибъ контекстъ Кохановскаго не убѣждалъ насъ, что поэтъ отнюдь не имѣлъ здѣсь цѣлью представить себя находившимся въ состояніи полусна передъ дверью возлюбленной. Онъ вѣдь попеременно ходитъ и лежитъ на землѣ („*obambulo—Aut iaceo*“). Это доказываетъ, что онъ *не можетъ* заснуть. Дѣйствительно, лишь позднѣе онъ научился *спать* на порогѣ дома жестокосердой красавицы (*Eleg.* II 5, 23 sq.): „*Edidici hibernis pluviam fundentibus Austris Dormire ingratas frigidus ante fores*“. Но въ стихотвореніи 1-ой книги картина другая: устанеть лежать, начнетъ

⁶⁹) Путемъ перестановки словъ, сверхъ указанныхъ выше случаевъ, можно еще неразъ исправить гексаметры, приписываемые изданіями Кохановскому. Отмѣтимъ лишь, что *Gall. croc.* 55 слѣдуетъ, кажется, читать: „*Multorum annorum saecula immensamque fugacis*“. Намѣренно придана авторомъ своеобразная структура стиху *Epitaph. Doral.* 4: „*Liliaque exspirare: puellarum interiit flos*“.

⁷⁰) *Eleg.* I 10, 39 sq.: „*Latmon causam habeat sopitoque osculi amori Debita*“; v. 49; II 1, 6; III 16, 56; *For.* 19, 6, 45, 1. *Gall. croc.* 87.

ходить; устанеть ходить, снова приляжетъ, только не плашмя, распростертымъ (Нор. с. III 10, 2 sq.: „asperas Porrectum ante fores“), а въ полусидячемъ положеніи, опираясь на локоть. Это приводитъ къ тому самому чтенію, которое возстановлено по рукописямъ въ приведенныхъ мѣстахъ Овидія:

Aut iaceo dura semisupinus humo.

LVI.

г. 4, 5 sqq.: „Qua nihil terris melius tuendis Est datum, o concordia, dulce amoris Caelitum pignus, veniens remotis Aetheris oris.

Авторъ хорошо зналъ, что въ sapphic. minor полное отсутствіе цезуры недопустимо ⁷¹⁾. Вѣроятно, читать слѣдуетъ:

Qua nihil terris melius tuendis
Est datum, o concor(s) dea dulce amoris
Caelitum pignus, veniens remotis
Aetheris oris.

LVII.

Lyr. 2, 2 печатается: „Latoidem“. Читатъ нужно: „Latoiden“. *For.* 123, 2 напечатано: „Laertiadem“, читай: „Laertiaden“. *Lyr.* 6, 1 слѣдуетъ писать: „Clarii cultor Apollinis“ (съ большой буквы). *Lyr.* 10, 11 (въ alcaicus enneasyllabus) читай: „Molestiarum mater otii“ (печатаютъ: „otii“), *Lyr.* 11, 10 читай: „inoffensumue“ (печатаютъ: „не“); *ibid.* v. 20 читай: „Phaethonta“ (какъ 12, 20), а не: Phaethontem“, какъ напечатано; *Lyr.* 7, 12 читай: „reliquiis“ (а не, какъ напечатано: „reliquiis“) ⁷²⁾.

Другія замѣчанія подобнаго же рода въ больномъ количествѣ сдѣлалъ г. М. Sas ⁷³⁾.

LVIII.

Lyr. 8, 17—20: Spes *macras*, moneo, desere, Patrici, Pacatumque redi rursus ad otium, Fortunatus abunde, Parto si valeas frui.

⁷¹⁾ Въ алканческомъ hendecasyllabus Кохановскій одинъ разъ позволилъ себѣ опустить цезуру (*Lyr.* 12, 89), руководствуясь тѣмъ, что вульгата Горация знаетъ два подобныхъ случая (с. I 37, 14 и с. IV 14 17).

⁷²⁾ Изданіе 1884 г. печатаетъ *Dr. Z.* 32: „religionis“ (на концѣ гексаметра), хотя въ автографѣ Кохановскаго: „relligionis“.

⁷³⁾ По поводу *Eleg.* I 15, 19 sq.: „Qui tibi, nympharum pulcherrima *Sarmatidum*, Optabant sponsum laude oribusque parem“ г. Sas (I. I. p. 342) высказываетъ предположеніе, что К. образовалъ самостоятельно прилагательное: „Sarmatidus“, и прибавляетъ, что въ лат. языкѣ имѣлось „Sarmaticus“. Ужь, конечно, „Sarmatidus“ невозможно. Но и „Sarmaticarum“, мы бы не конъюнктировали, а, вспомнивъ *Norat. S.* I 1, 99 sq.: „at hunc liberta securi Divisit medium,

Поэтъ удивляется, что другъ его Нидецкій (Andreas Patricius) промѣнялъ занятія Платономъ на совсѣмъ иную карьеру: „*Tantine ulla fuit condicio, ut... Fortunae satius duxeris ad latus Inter purpureos ire satellites Aetatemque labores Omnem insumere iu aulicos, Tum forsан veterem demum opibus Midam Aequaturus, ubi non fuerit tibi Uno plus obolo usus Vecturae in pretium horridae*“.

Пришлось выписать почти всю оду, чтобы показать, что надежды, которыя, по мнѣнію Кохановскаго, питаль Нидецкій, отнюдь не могутъ быть названы „тощими“ съ точки зрѣнія послѣдняго. Еслибъ К. хотѣлъ сказать, что онѣ „пустыя“, то такъ бы и выразился („*vanas*“). Но контекстъ говорить за:

Spes magnas, moneo, desere. Patrici.

LIX.

Foric. 41: Multa potest etiam praeter spem vertere daemon: Evehit ille humiles, deprimit ille duces. Et tuus hic in nervum erumpet denique fastus, Aurea nunc quamvis flumina possideas. Non humiles malvas, non iuncos turbo, sed altas Sternit humi quercus, Sternit humi platanos.

Въ 3-емъ стихѣ: „*in nervum erumpet—fastus*“ совершенно непонятно. Переводъ г. Красносельскаго: „*tak i ta rucha twoja przeciez kiedys ręknie jak struna*“ чистѣйшая фантазія, разумѣется. Читатель слѣдуетъ либо:

Et tuus hic in ventum erumpet denique fastus,

если повліяло Tib. II 4, 40: „*Eripiant partas ventus et ignis opes*“ и Овидіево: „*fac, meus in ventos hic timor omnis eat*“; либо: „*in vanum erumpet denique fastus*“, если повліяло Prop. II 16, 43—45: „*Sed quascumque tibi vestes, quoscumque smaragdos. Quosve dedit flavo lumine chrysolithos, Haec videam rapidus in vanum ferre procellas.*“

„*fortissima Tyndaridarum*“, признали бы скорѣе всего, что К. употребилъ въ разумѣмомъ мѣстѣ род. множ. числа отъ лат. *sgl* муж. рода „*Sarmatides*“, каковая форма образована имъ по примѣру текстовъ, въ родѣ Propert II 7, 18: „*Gloria ad hibernos lata Borysthenidas*“. Онъ могъ, не прибѣгая къ неологизму, сказать „*Sauromatarum*“ (ср. *Dr. Z. 6. Epin. 79*), но такъ читать было бы столь же ненадежно, какъ искать догадокъ по схемѣ: „*tibi, nympha-rum pulcherrima Sarmati, clarum Optabant sponsum*“.

LX.

Кончая настоящую работу, мы считаемъ небезполезнымъ отмѣтить, что отнюдь не исходили въ предыдущемъ изъ превратнаго предположенія, будто Кохановскій никогда въ приѣмахъ своей латинской версификаціи не ошибался. Мы, напротивъ, признаемъ подлинными весьма многія неправильности, встрѣчающіяся въ его латинскихъ стихахъ. Сюда относятся „egō“ (*passim*)⁷⁴⁾, сокращеніе почти неограниченное конечнаго *o* въ глагольныхъ формахъ и въ номинативѣ именъ существительныхъ извѣстныхъ категорій (такъ оно уже въ серебр. латыни), столь же неумѣренное употребленіе краткихъ слоговъ (съ удлиненіемъ или безъ онаго) передъ словами, начинающимися на *sp*, *sc*, *st* и проч. (что представляется напраснымъ обобщеніемъ нѣкоторыхъ одиночныхъ случаевъ изъ классической эпохи), далѣе, примѣненіе формъ *gētulisse* (*Gall. croc.* 122), *gēperisse* и *gēperisset* (*Eleg.* III 16, 50 и *For.* 114, 2), *geppetere* и *geppetat* (*Eleg.* II 3, 51 и *Doral.* 22), послѣднее подъ вліяніемъ лукреціевыхъ формъ „*ressolvi*“, „*redducere*“, наконецъ, иногда произвольныя измѣненія обычной скандовки именъ собственныхъ, напр., *Sēnae* (*Eleg.* I 7, 18)⁷⁵⁾, *Adrastia* (см. выше, § XLV, примѣч. 51). Наибольшія трудности представляло для автора приуроченіе польскихъ именъ собственныхъ къ требованіямъ античнаго размѣра и словообразования: сюда относятся такіе случаи, какъ *Cochanōvius* (*For.* 119, 4), *Selislāvio* (*For.* 34, 1), *Bol(e)slavos* (*Dr. Z.* 17), параллельное употребленіе формъ „*Sthenelae*“ (*For.* 48, 3) и „*Stancesilae*“ (*El.* III 11, 2, 14, 38. *For.* 79, 2) при передачѣ названія „Станиславъ“, колебанія просодіи, въ родѣ: *Duditi*—*Dudītius*, *Myscōvi*—*Myscōvius* (см. *M. Sas*, I. I. p. 337 sq.). Отдѣльно стоитъ „*crōciere*“ (*Arat.* 1039), допущенное, какъ мы думаемъ, подъ вліяніемъ невѣрнаго чтенія: „*Et crōcitat corvus, graculus at frigulat*“ (*Philomelae* 28). Съ другой стороны, К., не стѣсняясь, прибѣгаетъ иногда къ весьма жесткимъ элизіямъ, даже во второй половинѣ пентаметра, гдѣ у Овидія *сочлаоуη* почти что вовсе не допускается, даже въ *v. Adonius сапфи-*

⁷⁴⁾ Слово это встрѣчается у К. то какъ пиррихій, то какъ іамбъ. Долгота въ послѣднемъ слогѣ допускалась тутъ прежде неолатинистами примѣнительно къ греческой формѣ соотвѣтственнаго мѣстоименія

⁷⁵⁾ „*Fortiaque Etruscae moenia capta Senae*“ (о городѣ Siena). Кохановскій зналъ тексты Силія Италика (о рѣкѣ) VIII: „*Sēnonum de nomine Sēna*“, XV 552 sq.: „*qua Sēna relictum Gallorum a populis servat per saecula nomen*“ и рѣшилъ, что если „*Sena*“ происходитъ отъ „*Sēnōnes*“, то правильнѣе считать первый слогъ краткимъ.

ческой строфы, въ которомъ Гораціи совершенно воздерживается отъ элизій. Само строеніе пентаметра у К. строгимъ требованіямъ не отвѣчаетъ ⁷⁶⁾. Бываетъ, что и каденца гексаметра подаетъ у него поводъ къ возраженіямъ, но это большею частью результатъ подражанія Кохановскаго Лукрецію ⁷⁷⁾. По части синицезъ (если не считать не античныхъ именъ собственныхъ, напр., „Bathorrei“, »Polotteim“) поэтъ никакихъ не опирающихся на классическіе прецеденты вольностей себѣ не позволилъ ⁷⁸⁾. Наоборотъ, неразъ стяженіе не произведено въ „deïncers“ (но см. выше, примѣч. 62).

Сужденіе о томъ, какія правила соблюдалъ К. относительно цеазуръ въ гексаметрѣ, значительно затруднено критическими сомнѣніями. Слѣдовало бы пересмотрѣть систематически вопросъ. Мы откровенно скажемъ, что кое-гдѣ готовы бы, помимо разсмотрѣнныхъ въ предыдущемъ случаѣ, прибѣгнуть для восстановленія видимо намѣченныхъ сѣченій къ перестановкѣ словъ. По отношенію къ неолатинисту этотъ приѣмъ, безспорно, умѣстенъ. Сенека-отецъ упоминаетъ о такихъ писателяхъ, которые по поводу каждаго слова, какое ни напишутъ, устраиваютъ про себя совѣщаніе и на всѣ лады крутятъ и вертятъ свой текстъ прежде, чѣмъ установитъ его окончательно ⁷⁹⁾. Къ этой именно категоріи могутъ, вообще говоря, быть отнесены неолатинисты-версификаторы, обязанные строить все на „параллельныхъ мѣстахъ“. За немногими исключеніями, такой литераторъ, когда онъ производитъ свою чисто филологическую работу, пробуетъ всевозможныя комбинаціи выраженій и оборотовъ: поэтому смѣлостью не будетъ предположеніе, что, встрѣтившись въ изданіяхъ его стихотвореній съ *disiecti membra poetae*, мы въ

⁷⁶⁾ Впрочемъ, надо констатировать, что процентъ трехсложныхъ словъ на концѣ (особенно въ „элегіяхъ“) очень невысокъ. Тѣмъ болѣе рѣзко впечатлѣніе отъ такихъ стиховъ, гдѣ съ конечнымъ *trissyllabum* скомбинированы жесткія элизіи. напр., *Eleg.* III 17, 84: „Et praestet turpem *culpaе alienae operam*“ или 9, 26: „Deiectus magna *spe, haud aliter fureret*“.

⁷⁷⁾ *Eleg.* III 17, 7: „*nominitetur*“ (*Lucr.* III 352. IV 51). IV 1, 189: „*asseguere*“ (стихотвореніе это вообще выдержано въ слогѣ Лукреція). *Arat.* 189 „*aedituentes*“ (*Lucr.* VI 1275), *Arat.* 754: „*equi vis*“ (*Lucr.* III 764: cf. III 790; VI 1081 и т. д.

⁷⁸⁾ Даже *Dr. Z.* 47: „*omnja*“ (въ шестой стопѣ гексаметра) восходитъ къ *Verg. Aen.* VI 33. Затѣмъ, „*balteo*“ (*Eleg.* I 6, 16) и „*balteus*“ (*Arat.* 255: внесенная Кохановскимъ въ текстъ Цицерона конъектура) опираются на *Verg. A. X* 496: „*baltei*“ (*genet.*) и *Epitom. Iliad.* 632: „*balteum*“.

⁷⁹⁾ *Controv.* I. I praef. 18: „*Illi, qui scripta sua torquent, qui de singulis verbisconsilium eunt*“ eqs.

правѣ привести эти члены разбросаннаго поэтическаго организма въ надлежащій порядокъ. Въ частности, относительно Кохановскаго, можно указать на слѣдующій фактъ: сборникъ элегій, изданный въ годъ смерти поэта, представляетъ переработку стихотвореній, написанныхъ имъ въ юности, и мы имѣемъ прямыя доказательства той тщательности, съ какой онъ при пересмотрѣ своего текста устранялъ его недостатки; невѣроятно, чтобы взыскательный даже въ мелочахъ авторъ оставилъ безъ вниманія болѣе крупное. Во всякомъ случаѣ, такъ какъ, по нашему убѣжденію, Кохановскій былъ бы въ правѣ сказать о себѣ: „digitis callemus et auge“, то да простятъ намъ и сдѣланную въ настоящей статьѣ попытку способствовать посильно тому, чтобы текстъ безспорно талантливаго и образованнаго поэта былъ очищенъ отъ множества безобразящихъ его погрѣшностей.

Г. Зенгеръ.

Отзвуки платонизма въ лирикѣ Шиллера.

Was schöne Seelen schön empfunden,
Muss trefflich und vollkommen sein.
Die Künstler.

Сходство между міровоззрѣніемъ Шиллера и міровоззрѣніемъ Платона бросается въ глаза всякому, кто знакомъ съ произведеніями ихъ обоихъ. Если своеобразность генія Шиллера состояла въ органическомъ сліяніи философіи и поэзіи, то этимъ даромъ никто до него не обладалъ въ такой мѣрѣ, какъ Платонъ. Философъ Платонъ—одинъ изъ величайшихъ поэтовъ, поэтъ Шиллеръ—крупная величина въ области философіи.

Уже этого общаго соображенія было бы достаточно для того, чтобы вызвать интересъ къ сравнительному изученію обоихъ. Болѣе подробный анализъ ихъ твореній обнаруживаетъ цѣлый рядъ случаевъ почти полнаго совпаденія воззрѣній даже въ частностяхъ и приводитъ къ признанію несомнѣннаго духовнаго сродства между великимъ эллинскимъ метафизикомъ и великимъ нѣмецкимъ поэтомъ.

И это признаніе тѣмъ болѣе неизбежно, что, какъ достовѣрно извѣстно, Шиллеръ не былъ знакомъ не только съ ученіемъ Платона, но и съ исторіей философіи вообще. Онъ самъ неоднократно свидѣтельствуетъ объ этомъ. „Я бѣдёнъ идеями“,—говоритъ онъ въ *Философскихъ письмахъ*¹⁾,—„совершенно чуждъ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ

¹⁾ *Теософія Юлія.*

знаній, которыя предполагаются необходимыми въ этого рода (*т. е. въ философскихъ*) изслѣдованіяхъ. Я не прошелъ философской школы и прочелъ мало печатныхъ сочиненій“. Приблизительно то же слышимъ мы отъ него и въ его позднѣйшихъ *Письмахъ объ эстетическомъ воспитаніи человека* ¹⁾.

Такимъ образомъ, возможность непосредственнаго заимствованія у Платона устраняется сама собою. Остается предположеніе косвеннаго вліянія. Однако и это предположеніе слѣдуетъ допустить съ нѣкоторыми оговорками. Правда, сблизившись съ горячими поклонниками античной культуры,—Виландомъ, В. Гумбольдтомъ и другими, не говоря уже о Гёте, этомъ живомъ воплощеніи древняго эллина,—Шиллеръ принялся за изученіе греческаго міра, которое и оказало сильное воздѣйствіе на его поэтическое творчество. Однако это изученіе не отличалось, повидному, ни особенной глубиной, ни тѣмъ болѣе широтой: оно выражалось, главнымъ образомъ, въ чтеніи Гомера въ нѣмецкомъ переводѣ Фосса, греческихъ трагиковъ на французскомъ языкѣ и отчасти въ самостоятельныхъ переложеніяхъ изъ Еврипида не съ греческаго текста, который оставался для поэта недоступнымъ, но съ помощью буквальныхъ латинскихъ переводовъ. Словомъ, въ предѣлахъ своего знакомства съ греческой литературой Шиллеръ нигдѣ не могъ столкнуться съ идейнымъ содержаніемъ платонизма: онъ не зналъ ни Аристотеля,—за исключеніемъ *Поэтики*, которую онъ прочелъ совмѣстно съ Гёте,—ни стоиковъ, ни скептиковъ, ни неоплатонизма.

Приблизительно то же приходится сказать и относительно среднихъ вѣковъ, съ тою лишь разницей, что препятствіемъ къ ознакомленію Шиллера съ проникнутой духомъ платонизма философіей отцовъ церкви и съ примыкающимъ къ Платону ученіемъ реалистовъ XI и слѣдующихъ столѣтій послужило, между прочимъ, общее предубѣжденіе поэта противъ средневѣковой культуры съ ея сухимъ догматизмомъ и суровыми аскетическими идеалами.

Напротивъ, эпоха Возрожденія полна для Шиллера глубокаго интереса, какъ это видно изъ соотвѣтствующихъ строфъ *Художниковъ* ²⁾. Сообразно съ этимъ и философская эрудиція его, начиная съ этой эпохи, повидному, возрастаетъ,—и потому въ знакомствѣ

¹⁾ Первое письмо.

²⁾ Строфы 25—26 (по счету Дюнцера).

съ мыслителями эпохи Возрожденія и затѣмъ новаго времени, вплоть до конца XVIII столѣтія, и слѣдуетъ искать источникъ знакомства Шиллера съ воззрѣніями Платона. Дж. Бруно, Декартъ, Мальбраншъ, Спиноза, Лейбницъ, Беркли, Вольфъ, наконецъ, Кантъ и Фихте—всѣ они въ своихъ ученіяхъ такъ или иначе находятся подъ вліяніемъ платоническихъ идей и всѣ они въ то же время могли быть извѣстны Шиллеру, хотя и далеко не въ одинаковой степени. Во всякомъ случаѣ, Канта Шиллеръ изучалъ долго и основательно, а съ Фихте онъ былъ хорошо знакомъ лично.

Итакъ, возможность косвеннаго вліянія философіи Платона на міровоззрѣніе Шиллера можно считать установленной. Если, однако, принять во вниманіе, что заключающіеся въ системахъ перечисленныхъ выше мыслителей элементы платонизма, въ зависимости отъ большей или меньшей силы и своеобразности воспринявшаго ихъ философскаго ума, подверглись болѣе или менѣе рѣшительной переработкѣ и утратили въ большинствѣ случаевъ свою первоначальную яркость и самобытность, затемнившись и потерявшись въ массѣ новыхъ понятій и представленій,—то идейная близость Шиллера къ Платону представляется все-же настолько удивительной, что, даже допуская косвенное воздѣйствіе платоническихъ идей, единственно возможнымъ объясненіемъ указанной близости приходится признать духовное сродство между обоими мыслителями. Подобное познается подобнымъ—утверждали древніе мудрецы. Чтобы изъ безконечнаго разнообразія идей, входящихъ въ складъ міровоззрѣнія новаго времени, выбрать именно тѣ, которыя составляли нѣкогда достояніе одного великаго ума,—очевидно, необходимо а priori обладать сознательнымъ или безсознательнымъ критеріемъ такого выбора. Мы видѣли, что сознательнымъ критеріемъ Шиллеръ обладать не могъ. Слѣдовательно, онъ руководился критеріемъ безсознательнымъ,—безотчетнымъ влеченіемъ къ идеалистическому міропониманію въ духѣ платонизма.

*
* *

Итакъ, въ чемъ и поскольку выражается это духовное сродство двухъ геніевъ, раздѣленныхъ далью слишкомъ двадцати столѣтій? Обстоятельный отвѣтъ на этотъ вопросъ потребовалъ бы подробной сравнительной оцѣнки личности и творчества обоихъ мыслителей и представлялъ бы, какъ мы въ этомъ глубоко убѣждены,

благодарную задачу одинаково какъ для историка литературы, такъ и для историка философіи. Исслѣдователь, взявшій на себя эту задачу, могъ бы шагъ за шагомъ прослѣдить ходъ внутренняго развитія Шиллера и отмѣтить при этомъ рядъ подчасъ поразительныхъ аналогій съ ростомъ художественно-философскаго самосознанія Платона. Безспорно, на ряду съ многочисленными аналогіями, встрѣчается немало и различій. Главнѣйшимъ изъ нихъ,—если не считать различій, обусловленныхъ особенностями мѣста и времени,—представляется то, что въ Платонѣ преобладалъ философъ, въ Шиллерѣ—поэтъ-художникъ. Однако мы увидимъ впоследствии, что это различіе въ данномъ случаѣ не существенное, а скорѣе внѣшнее, такъ какъ идеаль художника у Шиллера совершенно совпадаетъ съ идеаломъ философа у Платона ¹⁾).

Въ предѣлахъ краткой статьи вышепоставленный вопросъ, разумѣется, не можетъ быть исчерпанъ, и потому мы, преднамѣренно суживая проблему, ставимъ себѣ цѣлью прослѣдить, *въ видѣ опыта*, наиболѣе яркіе отзвуки платонизма въ лирическихъ произведеніяхъ Шиллера, оставляя въ сторонѣ всѣ прочія сочиненія его.

Причина, почему мы останавливаемся именно на лирикѣ, заключается въ слѣдующемъ. Мы вполне согласны съ тѣмъ, что, говоря о философскихъ воззрѣніяхъ Шиллера, естественнѣе всего было бы, повидимому, обратиться къ его чисто философскимъ прозаическимъ произведеніямъ, равно какъ, имѣя въ виду ознакомиться съ общимъ содержаніемъ его личности, слѣдовало бы, прежде всего, использовать его обширную переписку. Если однако, несмотря на всѣ эти соображенія, мы отдаемъ предпочтеніе лирикѣ, то нами руководило, главнымъ образомъ, желаніе представить Шиллера какъ платоника въ тѣхъ созданіяхъ его философско-поэтическаго гонія, которыя, наряду съ его драматическими произведеніями, располагаютъ наиболѣе широкимъ кругомъ читателей. Шиллеръ своимъ возвышеннымъ идеализмомъ, своимъ картиннымъ и въ то же время глубоко искреннимъ паэосомъ, своими благородными гуманными убѣжденіями, словомъ—всей титанической мощью и дѣвственной чистотой своей музы проложилъ себѣ путь въ умы и сердца нѣсколькихъ поколѣній и до сихъ поръ еще можетъ считаться властителемъ думъ молодежи и настольной книгой всякаго поэтически

¹⁾ См. ниже анализъ стихотворенія *Die Künstler*.

настроеннаго идеалиста. Въ виду этого мы не могли воздержаться отъ искушенія показать, какъ идеи вдохновеннаго афинскаго мыслителя воскресаютъ и живутъ въ современномъ сознаниі, передаваясь черезъ поэзію, какъ черезъ проводящую среду, въ самыя широкіе круги общества. Кромѣ того, на наше рѣшеніе повліяло также то обстоятельство, что лирическое творчество Шиллера тянется черезъ всѣ періоды его литературной дѣятельности, чего нельзя сказать объ его философскихъ трактатахъ. Наконецъ, мы можемъ сослаться въ свое оправданіе также и на то, что лирика Шиллера рисуетъ намъ картину философско-эстетическаго міросозерцанія поэта во всей ея полнотѣ: прозаическія сочиненія его, за рѣдкими исключеніями, не даютъ въ этомъ отношеніи ничего существенно новаго, а представляютъ только болѣе детальную разработку взглядовъ, послужившихъ идейной канвой для его стихотвореній.

*
* *

Назвавъ выше нашъ скромный этюдъ „опытомъ“, мы не хотѣли этимъ сказать, будто считаемъ мысль сопоставленія Шиллера съ Платономъ безусловно новой. Дюнцеръ въ своемъ комментарий (Schillers lyrische Gedichte erläut. v. *Heinrich Düntzer*. 3 B-de, zweite Aufl., Lpz. 1874) мѣстами упоминаетъ о Платонѣ. Куно Фишеръ (Schiller als Philosoph v. *Kuno Fischer*. Zweite Aufl., in zwei Büchern, Heidelberg 1892) также въ двухъ-трехъ случаяхъ отмѣчаетъ платоническій характеръ воззрѣній Шиллера. Укажемъ, кромѣ того, на книгу *А. Н. Гилярова* Платонизмъ какъ основаніе современнаго міровоззрѣнія и т. д. Москва 1887, гдѣ авторъ, говоря о роли философіи Платона въ процессѣ образованія современнаго идеализма, приводитъ въ подтвержденіе своей мысли нѣсколько цитатъ изъ Шиллера. Однако эти сближенія, сдѣланныя въ большинствѣ случаевъ мимоходомъ, въ видѣ простой ссылки, слишкомъ малочисленны и имѣютъ, такимъ образомъ, для насъ не столько матеріальное, сколько формальное значеніе, въ смыслѣ подтвержденія цѣлесообразности нашей попытки.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній приступимъ къ нашей задачѣ. Такъ какъ, согласно вышесказанному, мы далеки отъ мысли исчерпать вопросъ во всей широтѣ даже въ предѣлахъ шиллеровской лирики, то намъ казалось болѣе удобнымъ не придавать

нашему очерку характера сиптетической оцѣнки двухъ міровоззрѣній. Въ виду этого мы не будемъ систематически излагать учения Платона (что завело бы насъ, къ тому же, слишкомъ далеко), но перейдемъ непосредственно къ анализу тѣхъ стихотвореній Шиллера, которыя, по нашему мнѣнію, заключаютъ въ себѣ платоническіе элементы, при чемъ будемъ держаться того расположенія произведеній поэта, какое принято въ комментаріи Дюнцера.

*
* *

Уже въ наиболѣе раннихъ стихотвореніяхъ встрѣчаются время отъ времени представленія, несомнѣнно родственныя платонизму. Такъ, въ діалогической пѣсни *Hektors Abschied*, которая открываетъ собою отдѣлъ лирическихъ произведеній Шиллера, Гекторъ, отправляясь на битву, старается успокоить исполненную мрачныхъ предчувствій Андромаху увѣреніемъ, что сама смерть безсильна уничтожить ихъ любовь. Пусть всѣ его мысли и стремленія безвозвратно погрузятся въ тихій потокъ Леты; его любовь останется съ нимъ и не погибнетъ даже въ струяхъ рѣки забвенія.

All mein Sehnen will ich, all mein Denken
In des Lethe stillen Strom versenken,
Aber meine Liebe nicht.

Ту же концепцію находимъ мы и у Платона, хотя не въ столь опредѣленной формулировкѣ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно сопоставить рассказъ Эра о равнинѣ Леты въ *De Rep.* 621, А съ *Phaedr.* 256, D—E, гдѣ изображается любовь, продолжающаяся за предѣлами земного существованія, въ свѣтломъ загробномъ мірѣ.

Въ *Eine Leichenphantasie* поэтъ обращается къ усопшему юношѣ съ призывомъ „радостно итти стезею солнца дальше къ совершенству“. Правда, непосредственно послѣ того рѣчь идетъ о „покоѣ Валгаллы“, а затѣмъ о „встрѣчѣ у вратъ Эдема“. Тѣмъ не менѣе, несмотря на столь странное смѣшеніе поэтическихъ образовъ, мы въ правѣ считать отмѣченное выше представленіе чисто платоническимъ, какъ это видно хотя бы изъ *Phaed.* 67, А—С и *Phaedr.* 248, D—E: только послѣ смерти становится возможнымъ для человѣка быстрое приближеніе къ совершенству.

Phantasie an Laura отождествляетъ любовь съ космической силой притяженія, съ вселенской связью, поддерживающей гармо-

нію мірозданія. Если устранить любовь изъ механизма природы, космосъ распадется и превратится въ груды развалинъ.

...In das Chaos donnern eure Welten,
Weint, Newton, ihren Riesenfall!

Такой же животворящей силой оказывается любовь и въ области духовной: безъ любви духъ цѣпенѣеть, на подобіе мертваго тѣла, и бываетъ не въ силахъ вознестись къ Богу.

...Ohne Liebe preist kein Wesen Gott!

Ту же самую мысль высказываетъ и Платонъ частью устами врача Эриксимаха—*Sympos.* 186, A sqq., частью отъ лица пророчицы Діотимы—*Sympos.* 202, E. Любовь обитаетъ не только въ душѣ чловѣка, но и въ тѣлесной природѣ. Она всюду вноситъ здоровье, порядокъ и гармонію. Безъ ея благотворнаго вліянія неизбѣжно возникаетъ болѣзнь, разстройство и несогласіе.

Любовь, Эросъ—великій демонъ, служащій посредникомъ между богами и людьми: онъ возноситъ моленія и жертвы смертныхъ къ небожителямъ; черезъ него совершается всякое гаданіе, всякое заклинаніе и волхвованіе; въ немъ—связующее звено между небомъ и землею.

Здѣсь не лишнимъ будетъ замѣтить, что отождествленіе любви съ силой притяженія восходитъ еще къ V столѣтію до Р. Хр., именно къ Эмпедоклу. Возможно, что Шиллеръ встрѣчался съ воззрѣніями Эмпедокла, изучая естественныя науки въ Штутгартской академіи. Какъ бы то ни было, аналогія взглядовъ Шиллера и Платона въ данномъ случаѣ неоспорима.

Въ одѣ къ Лаурѣ *Die Entzückung* поэтъ, подѣ дѣйствіемъ взора возлюбленной, переносится мечтою въ иной міръ.

Laura, über diese Welt zu flüchten
Wähn'ich—mich in Himmelmainglanz zu lichten,
Wenn dein Blick in meine Blicke flimmt.

Этотъ образъ получилъ право гражданства въ современной поэзіи и потому легко можетъ быть принятъ какъ бы за общее, безличное достояніе поэтического воображенія. Однако, что это не такъ, и что онъ восходитъ, какъ къ своему первоисточнику, къ ученію Платона,—на это указываетъ *Phaedr.* 249, D sqq., гдѣ по-

этическая концепція иного міра, міра идеальной красоты. получаетъ конкретный философскій смыслъ. Философъ, душа котораго созерцала нѣкогда, до воплощенія, истинно сущее, вспоминаетъ при взглядѣ на земную красоту о красотѣ небесной, окрыляется и, окрылившись, пламенно желаетъ летѣть ввысь.

Гораздо опредѣленнѣе выступаетъ платоническая доктрина предсуществованія въ слѣдующей одѣ къ Лаурѣ *Das Geheimnis der Reminiscenz*. Здѣсь поэтъ смѣлостью полета своей фантазіи оставляетъ далеко за собою даже аэинскаго идеалиста.

Въ платоновомъ *Фэдрѣ*—249, А sqq.—души людей до своего воплощенія наслаждаются созерцаніемъ истинно сущаго совмѣстно, хотя и не въ одинаковой степени, съ богами. Согласно глубоко-мысленному мнѣю, влагаемому Платономъ въ уста Аристофана въ *Sympos.* 190, А sqq., раздѣленные въ настоящее время полы составляли когда-то одинъ общій полъ: человѣкъ представлялъ изъ себя двойное существо, одновременно мужское и женское, неразрывно связанное въ единомъ организмѣ. Впослѣдствіи эти парныя существа, въ наказаніе за свое высокомеріе, были разрѣзаны надвое, и вотъ съ тѣхъ поръ разлученныя половины страстно ищутъ другъ друга, чтобы слиться, какъ прежде, въ одинъ организмъ. Этимъ и объясняется непреодолимое любовное влеченіе половъ одного къ другому.

Таково ученіе Платона. Шиллеръ въ фантастическомъ истолкованіи любовнаго влеченія идетъ еще дальше. Онъ также когда-то, до сошествія на землю, окрыленнымъ духомъ возносился вмѣстѣ со своей возлюбленной въ свѣтлую обитель истины; онъ также составлялъ съ Лаурой одно цѣлое; но это цѣлое было не чѣмъ инымъ, какъ богомъ, жизнедательнымъ, творческимъ существомъ. Поэтому и ихъ теперешняя любовь есть не что иное, какъ стремленіе „прекрасныхъ осколковъ божества“—снова сочетаться въ единую божественную сущность.

Weine, Laura! dieser Gott ist nimmer,
Du und ich des Gottes schöne Trümmer,
Und in uns ein unersättlich Dringen
Das verlorne Wesen einzuschlingen,
Gottheit zu erschwingen.

Дюнцеръ, анализируя основную мысль этого стихотворенія, отмѣчаетъ платоническій характеръ ея. Но, ссылаясь на то, что

вышеприведенный миѣ изъ рѣчи Аристофана въ *Пиръ* былъ Шиллеру неизвѣстенъ, онъ сопоставляетъ ее со сходной мыслью одного изъ раннихъ стихотвореній Гёте, очевидно, съ цѣлью установить идейное преемство между ними:

Sag, was will das Schicksal uns bereiten?
Sag, wie band es uns so rein genau?
Ach, du warst in abgelebten Zeiten
Meine Schwester oder meine Frau.

Возможно, конечно, что Шиллеръ натолкнулся на эту мысль случайно, читая Гёте. Однако, при такомъ предположеніи не можетъ не казаться страннымъ тотъ фактъ, что Шиллеръ гораздо больше приближается къ Платону, чѣмъ самъ Гёте: этотъ послѣдній говоритъ о сестрѣ и супругѣ, тогда какъ у Шиллера, какъ и у Платона, имѣется въ виду единое, нераздѣльное существованіе; и только въ послѣдней строфѣ и Шиллеръ вводитъ понятіе родства.

Flohn wir nicht, als wären wir verwandter,
Freudig, wie zur Heimat ein Verbannter,
Glühend an einander?

Словомъ, на нашъ взглядъ, объясненіе посредствомъ однѣхъ вѣдшихъ причинъ и случайныхъ воздѣйствій здѣсь ничего не въ состояніи объяснить.

Если въ *Phantasie an Laura* космическая сила притяженія отождествлялась съ любовью, то *Die Freundschaft* присоединяетъ къ нимъ какъ третье тождественное понятіе—дружбу. Дружба, или, что то же, любовь, проходитъ связующей нитью черезъ всѣ созданія и ведетъ ихъ путемъ постепеннаго развитія къ Божеству. Отдавшись чувству ненависти, мы представляемъ изъ себя группу мертвыхъ тѣлъ. Согрѣтые взаимною любовью, мы уподобляемся богамъ, становимся живыми ступенями великой лѣстницы, объединяющей міръ тварей и теряющей своей вершиной въ „морѣ вѣчнаго сіянія“.

Arm in Arme, höher stets und höher,
Vom Mongolen bis zum griech'schen Seher,
Der sich an den letzten Seraph reiht,
Wallen wir, einmüt'gen Ringeltanzes,
Bis sich dort im Meer des ew'gen Glanzes
Sterbend untertauchen Mass und Zeit.

Платонизмъ этихъ представленій очевиденъ: вторая ступень любви, какъ изображаетъ ее Діотима въ *Sympos.* 210, В—С, совершенно совпадаетъ съ дружбой; а діалогъ *Лисіи* цѣликомъ посвященъ доказательству того, что дружба есть проявленіе стремленія къ благу, т. е. къ вѣчному совершенству, къ Божеству.

Отмѣтимъ одну крайне любопытную подробность въ разсматриваемомъ стихотвореніи. Дѣло въ томъ, что у Шиллера высшую ступень въ приближеніи къ Божеству занимаетъ „греческій провидецъ“. Дюнцеръ правъ, говоря, что подъ провидцемъ разумѣется не поэтъ, а мыслитель. Сократъ ли это, или Платонъ, или какой-либо другой мудрецъ древней Эллады,—мы не беремся рѣшать, хотя и считаемъ наиболѣе правдоподобнымъ второе предположеніе. Во всякомъ случаѣ, знаменательно то, что непосредственно передъ серафимомъ стоитъ философъ. Впослѣдствіи, какъ мы увидимъ, идеаломъ человѣка Шиллеръ объявитъ художника; теперь же онъ считаетъ таковымъ „провидца“, т. е. вдохновеннаго мыслителя, что именно признавалъ и Платонъ, напримѣръ, въ *Phaedr.* 248, D—E и въ другихъ діалогахъ.

Der Triumph der Liebe прославляетъ универсальное значеніе и благотворную силу любви въ поэтическихъ образахъ, подобно тому какъ платоновскій *Пиръ*—въ метафизическихъ понятіяхъ и миѳологическихъ картинахъ. Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ патетически-восторженный дионрамбъ, во второмъ—художественно-философскій панегирикъ: форма различна, мысль сходна до неотличимости. Мы не будемъ приводить всѣхъ параллельныхъ мѣстъ, а укажемъ, для примѣра, лишь на нѣкоторыя изъ нихъ.

И тамъ и здѣсь любовь объемлетъ всю пророду—какъ физическую, такъ и духовную: ея велѣніямъ покорны не только растенія, животныя и люди, но и боги—олимпійцы и даже боги—обитатели подземнаго царства.

Selig durch die Liebe
Götter—durch die Liebe
Menschen Göttern gleich!
Liebe macht den Himmel
Himmlischer—die Erde
Zu dem Himmelreich u. s. f.

И тамъ и здѣсь любовь служитъ важнѣйшимъ залогомъ бессмертія; и тамъ и здѣсь она—единственно вѣрный путь къ познанію истины.

Lockte sie uns nicht hinein,
 Möchten wir unsterblich sein?
 Suchten auch die Geister
 Ohne sie den Meister?
 Liebe, Liebe leitet nur
 Zu dem Vater der Natur,
 Liebe nur die Geister.

Параллели къ этимъ выдержкамъ разсѣяны по всему діалогу *Циръ*. Особенно въ большемъ количествѣ можно ихъ найти въ рѣчи Эрикспмаха и въ наставленіяхъ Діотимы.

An die Freude представляетъ такой же гимнъ радости, какъ *Phantasie an Laura* и *Triumph der Liebe*—любви, а *Die Freundschaft*—дружбѣ. Радость—универсальна и многообразна. Она можетъ проявляться во всевозможныхъ видахъ, начиная съ грубаго чувственнаго наслажденія, доступнаго червяку, и кончая высочайшимъ духовнымъ блаженствомъ, испытываемымъ при лицезрѣніи самого Бога.

Wollust ward dem Wurm gegeben,
 Und der Cherub steht vor Gott.

Радость—великій космическій двигатель, маховое колесо міро-зданія.

Freude heisst die starke Feder
 In der ewigen Natur.
 Freude, Freude treibt die Räder
 In der grossen Weltenuhr u. s. f.

Радость манитъ изслѣдователя къ истинѣ, страдальца—къ добродѣтели.

Aus der Wahrheit Feuerspiegel
 Lächelt sie den Forscher an.
 Zu der Tugend steilem Hügel
 Leitet sie des Dulders Bahn u. s. f.

Изъ всего этого видно, что радость въ разсматриваемомъ стихотвореніи есть лишь другое названіе для любви и дружбы. Это особенно ясно обнаруживается во второмъ хоровомъ refrain'ѣ, гдѣ вмѣсто *радость* стоитъ *симпатія*. Симпатія уноситъ насъ въ надзвѣздные края: тамъ возвышается престолъ Невѣдомаго; тамъ уготованъ для насъ лучшій міръ; тамъ ждетъ насъ великій Судія, нашъ общій Отець, который воздастъ намъ за наши земныя стра-

данія.—Если вмѣсто понятія радости подставить тождественное ему понятіе любви, то платонизмъ указанныхъ воззрѣній станетъ очевиденъ. Мы уже дѣлали такого рода сопоставленія выше. Теперь намъ придется дополнить ихъ только относительно послѣдней концепціи верховнаго судилища, ожидающаго насъ за гробомъ.

На первый взглядъ можетъ показаться, что подъ надзвѣзднымъ Судіей поэтъ разумѣетъ христіанскаго Бога. По крайней мѣрѣ, выраженія въ родѣ *ein lieber Vater* и т. п. легко могутъ подать поводъ къ такому предположенію. Однако, при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что мысль поэта колеблется между христіанскимъ теизмомъ и политеистическими представленіями древности. На это указываетъ, на примѣръ, форма *Götter* въ шестой строфѣ, а также конецъ седьмой строфы и слѣдующій за нею хоръ. И Дюнцеръ, кажется, правъ, полагая, что и подъ *Sternenrichter* слѣдуетъ разумѣть скорѣе языческаго Миноса, чѣмъ всеблагого Судію христіанскоѣ догматики. Обращаясь къ Платону, мы должны сказать, что и его ученіе въ вопросѣ о загробномъ воздаяніи колеблется между его собственнымъ пантеистическимъ идеализмомъ и вѣрованіемъ народной мифологіи. Какъ бы то ни было, концепція загробнаго судилища была сродна его мышленію, доказательство чему мы находимъ въ цѣломъ рядѣ діалоговъ: *Gorg.* 523, E sqq.; *Phaedr.* 249, A—B; *Apolog.* 41, A и т. д.

Теперь намъ предстоитъ разсмотрѣть одно изъ наиболѣе важныхъ философско-поэтическихъ твореній Шиллера, знаменитую поэму *Die Künstler*. Этимъ возвышеннымъ гимномъ искусству открывается литературное поприще Шиллера какъ поэта-философа въ строгомъ смыслѣ. Здѣсь находятся въ зародышѣ всѣ его позднѣйшія воззрѣнія. Здѣсь же наиболѣе полно обнаруживается его идейная близость къ Платону.

Основную мысль этого стихотворенія, по словамъ самого Шиллера ¹⁾, составляетъ „облеченіе истины и нравственности въ красоту“. Прекрасное есть символъ истиннаго и благого. Искусство, воплощая идеаль красоты въ прекрасныхъ художественныхъ созданіяхъ, ведетъ къ познанію истины, къ умственному и нравственному совершенству. Красота—сестра истины. Но истина недоступна непосредственному созерцанію человѣка: его слабыя очи не могутъ

¹⁾ K. Fischer o. l. I, 140.

вынести ея ослѣпительнаго сіянія. Поэтому человѣкъ постигаетъ истину лишь чрезъ посредство красоты: величавая, лучезарная Уранія нисходитъ со своей недосыгаемой высоты въ образъ ласковой, прелестной Киприды.

Этимъ значеніемъ красоты и искусства опредѣляется культурно-историческая роль художниковъ. Художники—жрецы прекраснаго, служители искусства. Ихъ назначеніе—пробуждать стремленіе къ истинѣ, способствовать нравственному прогрессу. Ихъ конечная миссія—создать идеальное человѣчество. Такимъ образомъ, на художниковъ возложена высокая обязанность—охранять достоинство человѣчества: они истинные воспитатели и верховные руководители людей.

Такова въ самыхъ общихъ чертахъ тема знаменитаго стихотворенія. Нужно ли говорить, что она отъ начала до конца проникнута чисто платоновскимъ идеализмомъ и какъ бы скопирована съ ученія афинскаго мыслителя? Извѣстно, что метафизическое единство блага, истины и красоты—одно изъ основныхъ предположеній идеологій Платона: ср., напримѣръ, *De Rep.* 508, E sq. Что изъ всѣхъ идей идея красоты наиболѣе ярко отражается въ мірѣ явленій и наиболѣе доступна человѣческому познанію,—эта мысль также принадлежитъ Платону: *Phaedr.* 250, D. Правда, въ дальнѣйшемъ, именно въ оцѣнкѣ воспитательной роли художниковъ и культурнаго значенія искусства, взгляды Шиллера и Платона, повидимому, расходятся. Платонъ не только ставитъ искусство ниже философіи, но даже считаетъ необходимымъ удалить поэтовъ и художниковъ изъ своего утопическаго государства, находя ихъ дѣятельность вредной въ нравственно-воспитательномъ отношеніи: *De Rep.* 377, A sqq.; 568, A sqq.; 595, A sqq. Однако, это несогласіе лишь кажущееся: на самомъ дѣлѣ, ихъ воззрѣнія и здѣсь представляютъ полную аналогію. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно обратить вниманіе на то, какое собственно содержаніе влагається въ понятіе искусства и художника у Шиллера, философіи и философа у Платона

Выше, при анализѣ стихотворенія *Die Freundschaft*, мы видѣли, что Шиллеръ высшую ступень въ приближеніи земныхъ созданій къ Божеству предоставлялъ мыслителю, „провидцу“, отодвигая тѣмъ самымъ художника на дальнѣйшій планъ. Столь же скромная роль была отведена художнику и въ первоначальной обработкѣ

разсматриваемаго нами стихотворенія: искусство служить, въ качествѣ простаго средства, цѣлямъ высшей культуры; художникъ, исполнивъ свою задачу, смиренно уступаетъ мѣсто ученому, философу. Впослѣдствіи, частью подъ вліяніемъ совѣтовъ Виланда, частью въ силу естественной эволюціи собственныхъ воззрѣній, Шиллеръ придалъ своему взгляду на значеніе искусства новую форму и выдвинулъ художника на первый планъ. Искусство ставится теперь выше науки: оно—альфа и омега въ культурно-историческомъ развитіи; съ него началась весна въ жизни человѣчества, оно же будетъ и днемъ жатвы; если ученый, мыслитель поставляетъ себя выше художника, то это не болѣе какъ наивное заблужденіе; сама наука лишь тогда становится истинной наукой, когда образцомъ для нея служитъ искусство и т. д. Всѣ эти выраженія, равно какъ самый фактъ перемѣщенія художника въ іерархіи человѣческихъ существъ съ второстепеннаго мѣста на первое свидѣтельствуютъ о томъ, что Шиллеръ съ теченіемъ времени расширилъ понятіе художника, перенесъ на него, между прочимъ, отличительныя черты „провидца“. Такимъ образомъ, представленіе о художникѣ мало-по-малу отождествилось у него съ идеаломъ всякаго вообще человѣческаго совершенства, не только эстетическаго, но и этического и интеллектуальнаго.

Если поэтъ Шиллеръ назвалъ свой идеальъ человѣка художникомъ, то мыслитель Платонъ, естественно, представилъ свой идеальъ человѣка въ образѣ философа.

Какъ дѣятельность идеальнаго художника у Шиллера не ограничивается однимъ эстетическимъ творчествомъ, такъ дѣятельность идеальнаго философа у Платона не исчерпывается одними теоретическими построеніями.

Шиллеръ, называя поэта „единственнымъ настоящимъ человекомъ и лучшаго философа въ сравненіи съ нимъ—каррикатурой“¹⁾, устанавливаетъ въ то же время тѣснѣйшую идейную связь между поэзіей и философіей. Платонъ, преграждая доступъ поэтамъ и художникамъ въ свое идеальное государство и отдавая искусство подъ строжайшій контроль философин, считаетъ въ то же время философію высшимъ родомъ искусства (μεγίστη τέχνη) въ

¹⁾ *Юганъ Шерръ*. Шиллеръ и его время. Перев. съ нѣм. Москва 1875. стр. 311.

противоположность *δημιουργία μουσική*)¹⁾, а преподаваніе музыки (въ широкомъ греческомъ смыслѣ слова, т. е. изученіе литературы и искусствъ) вводитъ какъ необходимый предметъ въ свою педагогическую программу.

По мысли Шиллера, только художникъ можетъ создать истинно научное или философское произведеніе: только онъ сумѣетъ представить всю совокупность человѣческаго знанія въ художественно-цѣльной картинѣ; только ему вѣдомъ путь отъ красоты отдѣльнаго явленія къ идеалу красоты и истины, отъ Киприды къ Ураніи. По убѣжденію Платона, только философъ можетъ быть истиннымъ художникомъ: только онъ способенъ воплотить въ художественномъ созданіи истинно сущее, идею, тогда какъ обыкновенный художникъ, подражая окружающей его чувственной природѣ, изображаетъ лишь тѣнь отъ тѣни истиннаго бытія.

Сообразно съ этимъ Шиллеръ вручаетъ художникамъ высшее и драгоцѣннѣйшее изъ сокровищъ—достоинство человѣчества, а искусству приписываетъ величайшую заслугу—воспитаніе и образованіе людей, перенесеніе ихъ изъ сферы чувственныхъ побужденій и низменныхъ эгонистическихъ интересовъ въ свѣтлую область идеала. Платонъ же ставитъ философовъ во главѣ своей интеллектуально-аристократической республики, отдаетъ въ ихъ руки общее руководство людьми во всѣхъ сферахъ общественной и даже частной жизни, а философію называетъ высшимъ благомъ, лучшимъ даромъ боговъ роду смертныхъ: *Tim.* 47, А—В.

Мы могли бы продолжить этотъ рядъ сопоставленій, но, думаемъ, и сказаннаго вполне достаточно, чтобы судить, насколько идеаль платоновскаго философа близокъ по существу къ идеалу шиллеровскаго художника. Явно, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ однимъ и тѣмъ же понятіемъ, лишь подъ различными названіями.

Итакъ, идейная основа стихотворенія *Die Künstler* всецѣло состоитъ изъ представленій, тождественныхъ или, по крайней мѣрѣ, совершенно аналогичныхъ представленіямъ платонизма. Въ дополненіе къ сказанному, намъ остается прослѣдить отзвуки ученія Платона въ отдѣльныхъ идеяхъ и картинахъ поэмы. При этомъ мы ограничимся лишь важнѣйшими указаніями, отмѣчая только тѣ мѣста, гдѣ совпаденіе воззрѣній выступаетъ особенно ярко.

¹⁾ *Phaed.* 61, А.

Въ семи начальныхъ строфахъ (по счету Дюнпера), образующихъ введеііе въ поэмѹ, мы снова встрѣчаемся съ знакомой уже намъ отчасти по стихотворенію *Das Geheimnis der Reminiscenz* концепціей предсуществованія души. Послѣ того какъ человѣкъ, принадлежавшій въ домірной жизни къ сонму высшихъ существъ и наслаждавшійся совместно съ ними лицеизрѣніемъ самого Создателя, былъ изгнанъ на землю, и его познавательныя способности были ограничены грубою чувственностью, — всѣ небожители отвернулись отъ сираго изгнанника, за исключеніемъ одной лишь богини красоты. Красота сжалилась надъ своимъ безпомощнымъ любимцемъ, великодушно послѣдовала за нимъ въ царство смерти и, принявъ образъ искусства, старается облегчить горькую участь страдальца.

Желая скрасить непріглядность его существованія въ этомъ печальномъ мірѣ, она услаждаетъ его взоръ очаровательными иллюзіями.

Hier schwebt sie, mit gesenktem Fluge,
Um ihren Liebling, nah am Sinnenland,
Und malt mit lieblichem Betrüge
Elysium auf seine Kerkerwand.

Стремясь снова возвратитъ человѣка на его небесную родину и привести къ познанію сверхчувственной истины, она очищаетъ его душу отъ похотей и страстей и надѣляетъ его мужествомъ, необходимымъ для борьбы съ судьбою. Такимъ образомъ служители искусства, или, что то же, — воплотившейся въ искусствѣ красоты, получаютъ возможность жить чисто духовной жизнью.

Die ihrem keuschen Dienste leben,
Versucht kein niedrer Trieb, bleicht kein Geschick;
Wie unter heilige Gewalt gegeben,
Empfangen sie das reine Geisterleben,
Der Freiheit süßes Recht, zurück.

Правда, истину во всемъ ея блескѣ созерцаютъ лишь безплотные духи, „болѣ чистые демоны“. Однако, человѣкъ при помощи красоты можетъ приблизиться къ истинѣ —

An höhern Glanz sich zu gewöhnen.
Üebt sich am Reize der Verstand—,

такъ какъ истина и красота въ сущности—одно и то же.

Was wir als Schönheit hier empfunden,
Wird einst als Wahrheit uns entgegen

По поводу идеи предсуществованія и отношенія красоты къ истинѣ мы уже ссылались на Платона выше. Здѣсь же мы отмѣтимъ, какъ явно платоническое, сравненіе чувственной природы человѣка съ темницей, въ которую заключенъ безсмертный божественный изгнанникъ—его духъ. Знаменитая притча Платона о подземной пещерѣ и томящихся въ ней „скованныхъ по ногамъ и по шеѣ“, узникахъ, —которою открывается седьмая книга *Государства*,—неволью возстаетъ въ нашемъ воспоминаніи при чтеніи вышеприведенныхъ стиховъ Шиллера. Сходство этихъ образовъ какъ въ общемъ, такъ и въ частностяхъ настолько очевидно, что всякіе комментаріи становятся здѣсь излишними.

Въ строфѣ десятой обращаетъ на себя вниманіе попытка—объяснить возникновеніе искусства изъ наблюденія надъ тѣнью и отраженіемъ предметовъ въ водѣ. Платонъ въ *De Rep.* 595, С *sqq.* высказываетъ аналогичную мысль, съ тою однако разницей, что у Платона самая сущность изобразительнаго искусства опредѣляется какъ подражаніе подражанію истиннаго бытія, тогда какъ Шиллеръ, приравнивая художественное произведеніе къ тѣни чувственной вещи, имѣетъ въ виду представить лишь процессъ зарожденія художественнаго творчества.

Начиная съ девятой строфы поэтъ даетъ исторію развитія искусства и его вліянія на жизнь и нравственное самосознаніе человѣка, при чемъ это вліяніе изображается такими чертами и въ такихъ выраженіяхъ, которыя всецѣло переносятъ насъ въ сферу платоническихъ представленій.

Подъ дѣйствіемъ красоты художественнаго произведенія человѣкъ сбрасываетъ съ себя оковы заботы и перестаетъ быть рабомъ чувственности.

Jetzt wand sich von dem Sinnenschlafe
Die freie, schöne Seele los;
Durch euch (=die Künstler) entfesselt, sprang der Sklave
Der Sorge in der Freude Schoss.

Въ немъ пробуждается мысль; человѣкъ-животное становится человекомъ въ настоящемъ смыслѣ.

Jetzt fiel der Tierheit dumpfe Schranke,
Und Menschheit trat auf die entwölkte Stirn,
Und der erhabne Fremdling, der Gedanke,
Sprang aus dem stauenden Gehirn.

Даже самая наружность его преобразается: черты лица одухотворяются, взоръ устремляется ввысь и проч.

Jetzt stand der Mensch und wies den Sternen
Das königliche Angesicht;
Schon dankte nach erhabnen Fernen
Sein sprechend Aug' dem Sonnenlicht u. s. f.

Если мы припомнимъ сказанное выше объ отношеніи понятія искусства у Шиллера къ понятію философіи у Платона, то окажется, что діалоги Платона полны подобныхъ изображеній. Какъ на примѣры особенно разительныхъ аналогій, укажемъ на причудливое толкованіе значенія слова ἀνθρώπος въ *Cratyl.* 398, E sqq. ¹⁾, а также на описаніе наружности двухъ коней—хорошаго и дурного—въ *Phaedr.* 253, D—E.

Въ строфахъ пятнадцатой и шестнадцатой поэтъ продолжаетъ развивать мысль о благотворномъ воздѣйствіи искусства. Поэзія открыла въ груди людей сѣмена духовной любви и превратила грубое половое влеченіе въ отрѣшенную отъ всего плотскаго приязанность.

Begraben in des Wurmes Triebe,
Umschlungen von des Sinnes Lust,
Erkanntet ihr in seiner Brust
Den edlen Keim der Geisterliebe.

.....
Das überlebende Verlangen
Verkündigte der Seelen Bund.

Поэзія привела человѣка къ познанію Невѣдомаго и подвигла къ героическимъ поступкамъ, совершаемымъ съ цѣлью уподобиться великому Существо. Въ поэзіи впервые прозвучала пѣснь о Божествѣ, какъ „образъ всего прекраснаго“.

Der Mensch erbebte vor dem Unbekannten,
Er liebte seinen Widerschein;
Und herrliche Heroen brannten,
Dem grossen Wesen gleich zu sein.
Den ersten Klang vom Urbild alles Schönen—
Ihr liesset ihn in der Natur ertönen.

¹⁾ ἀνθρώπος = ἀνθρώπων ἃ ὀππέ.

Тему восемнадцатой строфы составляетъ, употребляя выраженіе самого Шиллера ¹⁾ „поэзія безсмертія“. Служители искусства, примѣняя художественный критерій законченности и соразмѣрности къ чело-вѣческой жизни, пришли къ убѣжденію въ существованіи иного, загробнаго міра и положили, такимъ образомъ, основаніе вѣрѣ въ безсмертіе.

Als des Geschickes dunkle Hand,
Was sie vor eurem Auge schnürte,
Vor eurem Aug' nicht auseinander band,
Das Leben in die Tiefe schwand,
Eh' es den schönen Kreis vollführte—
Da führtet ihr aus kühner Eigenmacht
Den Bogen weiter durch der Zukunft Nacht u. s. f

Девятнадцатая строфа рисуеь постепенное одухотвореніе прекраснаго въ искусствѣ: отъ чувственной прелести нимфы художникъ восходитъ къ строго идеальной Аѳинѣ, отъ физической красоты мужчины—къ Зевсу Фидія.

Doch höher stets, zu immer höhern Höhen
Schwang sich das schaffende Genie.
Schon sieht man Schöpfungen aus Schöpfungen erstehen,
Aus Harmonieen Harmonie.

Строфа двадцать вторая изображаетъ облагораживающее и успокоительное дѣйствіе искусства на челоѣка въ самыхъ разнообразныхъ жизненныхъ условіяхъ и положеніяхъ.

Der Schönheit goldner Gürtel webet
Sich mild in seine Lebensbahn...

Истинный поклонникъ красоты проводитъ свѣтлую, безмятежную жизнь, постоянно витая своимъ духомъ въ „морѣ гармоніи“.

Sein Geist zerrinnt im Harmonienmeere,
Das seine Sinne wollustreich umfließt...

И когда пробьетъ для него часъ кончины, онъ спокойно покоряется неизбѣжному року.

Mit dem Geschick in hoher Einigkeit,
Gelassen hingestützt auf Grazien und Musen,

¹⁾ H. Düntzer o. l. I, 536.

Empfängt er das Geschoss, das ihn bedrängt,
Mit freundlich dargebotnem Busen
Vom sanften Bogen der Notwendigkeit.

Въ слѣдующей строфѣ поэтъ общается художникамъ глубокое внутреннее удовлетвореніе и вѣчное безсмертіе въ награду за то, что они снимаютъ съ человѣка ярмо страха предъ горестями и скорбями жизни и научаютъ его добродѣтели.

Das der entjochte Mensch jetzt seine Pflichten denkt,
Die Fessel liebet, die ihn lenkt,
Kein Zufall mehr mit ehernem Scepter ihm gebeut,
Dies dankt euch—eure Ewigkeit,
Und ein erhabner Lohn in eurem Herzen.

Строфы двадцать восьмая и слѣдующія въ великолѣпной картинѣ рисуютъ постепенное восхожденіе мыслителя-художника къ идеалу истины и красоты.

So führt ihn, in verborgnem Lauf.
Durch immer reinre Formen, reinre Töne,
Durch immer höhre Höhn und immer schönre Schöne
Der Dichtung Blumenleiter still hinauf—
Zuletzt, am reifen Ziel der Zeiten,
Noch eine glückliche Begeisterung,
Des jüngsten Menschenalters Dichterschwing,
Und—in der Wahrheit Arme wird er gleiten.

Доведя человѣка до этой высшей ступени художественно-философскаго развитія, нѣжная Киприда—красота сбрасываетъ съ себя скрывавшій дотолѣ ея черты покровъ, возлагаетъ на главу огненную корону и предстаетъ взорамъ своего „достигшаго зрѣлости сына“ во всемъ величїи свѣтозарной Уранїи—истины. А онъ стоитъ передъ нею въ изумленїи, пораженный внезапно озарившимъ его блескомъ.

So süß, so selig überraschet
Stand einst Ulyssens edler Sohn,
Da seiner Jugend himmlischer Gefährte
Zu Jovis Tochter sich verklärte.

Въ заключительной строфѣ поэтъ обращается къ художникамъ съ идеальнымъ призывомъ смѣло воспарить окрыленнымъ духомъ надъ всѣмъ временнымъ и преходящимъ, обѣщая имъ вѣчное блаженство въ будущемъ. Красота и истина—родныя сестры,

дочери единой матери-свободы, представляющей конечную дѣль всѣхъ стремленій, высшее благо. Художники, какъ бы ни были разнообразны способы и пути, какими они подходятъ къ красотѣ, со временемъ встрѣтятся и сольются въ любви взаимной „у престола высшаго Единства“, т. е. предъ лицомъ Божества, какъ тріединства блага, истины и красоты.

Erhebet euch mit kühnem Flügel
Hoch über euren Zeitenlauf!

Auf tausendfach verschlungenen Wegen
Der reichen Mannigfaltigkeit
Kommt dann umarmend euch entgegen
Am Thron der hohen Einigkeit!

Обращаемся теперь снова къ Платону. Все то, что Шиллеръ приписываетъ искусству, Платонъ усматриваетъ въ философін, понимаемой какъ любовь къ идеалу и служеніе красотѣ. Только Шиллеръ и здѣсь, какъ при объясненіи возникновенія художественнаго творчества, разсматриваетъ вліяніе искусства какъ исторически данный процессъ, тогда какъ Платонъ имѣетъ въ виду охарактеризовать самую сущность философін.

Итакъ, въ діалогъ *Пиръ*—210, A sqq.—мы находимъ подробно развитую градацію объектовъ философской любви, начиная съ прелести единичнаго человѣческаго тѣла и кончая безбрежнымъ моремъ идеальной, сверхчувственной красоты. Доидя до созерцанія прекраснаго самого въ себѣ, философъ тѣмъ самымъ доходитъ до уразумѣнія истины. Увѣковѣчивая свое имя великими подвигами, онъ становится угоднымъ Божеству и причастнымъ вѣчности, безсмертію.—Однако, какъ показываетъ начало седьмой книги *Государства*, лишь привычныя очи могутъ выносить сіяніе истины. Чтобы имѣть возможность созерцать ее, необходимо пройти долгій и трудный путь философскаго развитія.—Мысль о необходимости стремиться къ уподобленію Богу проводится въ *De Rep.* 613, A, а также въ *Theaet.* 176, A и другихъ діалогахъ.—Далѣе, строфы, въ которыхъ Шиллеръ говоритъ о философскомъ царевнѣ надъ міромъ явленій, о безтрепетной покорности судьбѣ и о вѣрѣ въ загробное существованіе, сами собою напрашиваются на сравненіе съ *Федономъ*. При этомъ та „позія безсмертія“, о которой идетъ рѣчь въ восемнадцатой строфѣ, чрезвычайно напоминаетъ первый, этиче-

скій аргументъ въ пользу безсмертія души, выводимый изъ стремленія человѣка къ конечному осуществленію своего жизненнаго идеала—*Phaed.* 63, В sqq.

Въ дополненіе къ сказанному, сопоставимъ характерное названіе искусства въ тридцать первой строфѣ „священной магіей“ и наименованіе Эроса въ *Sympos.* 203, D „магомъ и чародѣемъ“: и то и другое имѣетъ, очевидно, тотъ смыслъ, что искусство и философская любовь какъ бы волшебной силой увлекаютъ наши души ввысь.

Наконецъ, укажемъ на крайне любопытные начальныя стихи слѣдующей, тридцать второй строфы:

Von ihrer Zeit verstossen, flüchte
Die ernste Wahrheit zum Gedichte
Und finde Schutz in der Camönen Chor.

Въ этихъ немногихъ словахъ заключается вся характеристика литературнаго творчества обонхъ мыслителей-поэтовъ. Оба они поступали по этому завѣту: „строгая истина“ ихъ ученія искала убѣжища „въ хорѣ камень“, такъ какъ въ противномъ случаѣ ей угрожала бы участь „быть отвергнутой современниками“. Для Шиллера такимъ „хоромъ камень“ служила поэтическая, стихотворная форма его произведеній, для Платона—роскошныя миѣны, въ которыя облекала „строгую истину“ философскихъ положеній его неистощимая фантазія.

Этимъ мы и закончимъ анализъ стихотворенія *Die Künstler*, чтобы перейти затѣмъ къ остальнымъ лирическимъ произведеніямъ поэта.

Въ элегій *An Emma* высказывается знакомая уже намъ изъ *Hektors Abschied* мысль, что истинная любовь—небеснаго происхожденія, что она -вѣчна и непреходяща.

Kann der Liebe süß Verlangen,
Emma, kann's vergänglich sein?
Was dahin ist und vergangen,
Emma, kann's die Liebe sein?
Ihrer Flamme Himmelsglut—
Stirbt sie wie ein irdisch Gut?

Въ *Sehnsucht* поэтъ въ аллегорической формѣ проводитъ взглядъ, что только благочестивая вѣра можетъ дать намъ твердое упованіе на блаженство въ загробномъ мірѣ. Вѣра—утлая ладья,

но съ одушевленными парусами, и потому на ней смѣло можно переплыть бурный потокъ жизни.—Почти буквально то же самое говоритъ о вѣрѣ и Платонъ устами пифагорейца Симмiя въ *Phaed.* 85, С—D: есть вопросы, въ которыхъ человекъ, несмотря на всѣ усиля мысли, не въ состоянiи постигнуть истину; тогда для него не остается ничего иного, какъ „принять самое лучшее и неопровержимое человѣческое слово и на немъ, какъ на ладѣ, попытаться переплыть жизнь, если только нельзя переплыть ее безопасно и вѣрнѣ на твердѣйшемъ суднѣ, на какомъ-либо словѣ Божиѣмъ“.

Der Pilgrim также подъ видомъ аллегорiи сѣтуетъ на непостоянство и текучесть всего земного. *Das Dort ist niemals Hier!*—заключительныя слова этой элегiи: „тамъ“ никогда не бываетъ здѣсь, небо нигдѣ не соприкасается съ землею. А между тѣмъ постоянно и непреходяще только *das Dort*.—Такого рода сѣтованiями проникнута большая часть диалоговъ Платона.

Die Teilung der Erde въ формѣ забавной басни выражаетъ идеалистическое убѣжденiе, что поэты должны быть „не отъ мира сего“.—Зевсъ предложилъ людямъ братски подѣлить между собою землю. Поэтъ, духъ котораго виталъ на небѣ и наслаждался лицезрѣнiемъ бога, запоздалъ къ раздѣлу. Зевсъ, узнавъ причину опозданiя, рѣшилъ вознаградить поэта за лишенiе земныхъ благъ и предоставилъ ему жилище у себя на небѣ.

Mein Auge hing an deinem Angesichte,
An deines Himmels Harmonie mein Ohr;
Verzeih dem Geiste, der, von deinem Lichte
Berauscht, das Irdische verlor!

восклицаетъ поэтъ.

Was thun? spricht Zeus—die Welt ist weggegeben,
Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein.
Willst du in meinem Himmel mit mir leben,
So oft du kommst, er soll dir offen sein.

Вспомнимъ теперь, какъ изображаетъ Платонъ отношенiе философа къ земнымъ интересамъ. Философъ съ юныхъ лѣтъ не знаетъ дороги ни на площадь, ни въ судилище, ни въ совѣтъ, ни вообще въ какое-либо общественное собранiе. Онъ только тѣломъ живетъ въ государствѣ, духъ же его, презрѣвъ житейскую суету, свободно витаетъ по безпредѣльной вселенной. Стремясь постичь

то, что на небѣ, онъ не замѣчаетъ того, что лежитъ у него подъ ногами и т. д. и т. д.—*Theaet.* 173, C sqq.—Чуждый житейскихъ заботъ и всецѣло преданный воспоминаніямъ о своей небесной родинѣ, философъ, подобно птицѣ, устремляетъ взоръ свой въ горня, а о дольномъ не радить и проч.—*Phaedr.* 249, C—D. Ср. также *De Rep.* 516. C sq.; 517. D.

Въ прелестной аллегоріи *Das Mädchen aus der Fremde* дѣвушка-поэзія всѣхъ надѣляетъ своими дарами, но лучшіе изъ нихъ она предлагаетъ „любящей парочкѣ“.

Willkommen waren alle Gäste,
Doch nahte sich ein liebend Paar,
Dem reichte sie der Gaben beste,
Der Blumen allerschönste dar.

Мы уже имѣли случаи указывать на тѣсную идейную связь любви и поэзіи у Шиллера, любви и философіи у Платона.

Das Ideal und das Leben занимаетъ въ ряду философско-поэтическихъ произведеній Шиллера не менѣе важное мѣсто, чѣмъ рассмотрѣнные нами выше *Die Künstler*. Въ промежутокъ времени между написаніемъ этихъ двухъ стихотвореній Шиллеръ познакомился съ философіей Канта, которая не только обогатила его умъ новыми идеями, но и дала ему возможность критически разобратъ въ собственныхъ возрѣніяхъ, продумать ихъ до конца и придать имъ болѣе устойчивую и законченную форму. Въ этотъ „кантіанскій“ періодъ былъ написанъ имъ, кромѣ многихъ другихъ прозаическихъ и стихотворныхъ сочиненій, также и главный изъ его философскихъ трактатовъ *Письма объ эстетическомъ воспитаніи человека*. Такимъ образомъ, создавая *Das Ideal und das Leben*, Шиллеръ уже достигъ полной зрѣлости какъ мыслитель и высокаго совершенства какъ художникъ. Неудивительно поэтому, если критика единогласно признаетъ это стихотвореніе вѣнцомъ его философско-поэтического творчества¹⁾.

Поэтъ и самъ сознавалъ высокія достоинства своего творенія. Обыкновенно крайне строгій и взыскательный къ дѣтицамъ своей музы, на этотъ разъ онъ остался доволенъ собою. Посылая рукопись Гумбольдту, онъ писалъ ему: „Когда вы, милѣйшій другъ,

¹⁾ К. Fischer о. I. II, 210.—Н. Düntzer о. I. II, 375 f.—Ср. также оцѣнку современника Шиллера, Гумбольдта, у того же Дюнцера II, 373.

получите это письмо, то удалите отъ себя все мірское и читайте это стихотвореніе въ благоговѣйной тишинѣ¹⁾. И дѣйствительно, этотъ дивно прекрасный призывъ къ идеалу кажется какимъ-то божественнымъ откровеніемъ, голосомъ свыше нисходящимъ, и его невозможно читать безъ нѣкотораго чувства внутренняго просвѣтленія. И это впечатлѣніе тѣмъ сильнѣе, что въ каждой строфѣ, въ каждомъ стихѣ обнаруживается присутствіе благородной души поэта—идеалиста: несмотря на отвлеченный характеръ содержанія и высокій пафосъ отдѣльныхъ выраженій, вы невольно заражаетесь искреннимъ увлеченіемъ автора, вы согрѣты огнемъ его вдохновенія, вы обвѣяны его духомъ.

Въ виду всего изложеннаго, тотъ фактъ, что это цѣликомъ вылившееся изъ души поэта стихотвореніе пропитано идеями платонизма чуть ли не въ большей степени, чѣмъ всѣ прочія его произведенія, не исключая и поэмы *Die Künstler*,—получаетъ для насъ особое значеніе. Если гдѣ, то именно здѣсь находимъ мы лучшее подтвержденіе высказанному нами выше взгляду, что всѣ отмѣчаемые нами въ поэзіи Шиллера отзвуки платонизма слѣдуетъ разсматривать не какъ посредственныя или непосредственныя заимствованія и не какъ случайныя совпаденія или аналогіи воззрѣній, но какъ проявленіе общаго духовнаго сродства между греческимъ мыслителемъ и нѣмецкимъ поэтомъ.

Содержаніе стихотворенія составляетъ изображеніе разлада между идеаломъ и дѣйствительностью и призывъ къ примиренію ихъ на почвѣ эстетическаго міросозерцанія. Человѣкъ страдаетъ отъ враждебныхъ противорѣчій, создаваемыхъ противоположностью его чувственныхъ стремленій и духовныхъ запросовъ. Чтобы избавиться отъ этихъ страданій и жить блаженной жизнью олимпійцевъ, онъ долженъ презрѣть мірскую суету, отречься отъ всего земнаго и всецѣло перенестись въ царство идеала, въ свѣтлую область „чистыхъ формъ“.—Тамъ ждетъ его успокоеніе отъ скорбей, терзаній и тревоги дольняго существованія; тамъ будетъ онъ проводить свѣтлую жизнь въ безмятежномъ созерцаніи красоты.

Во всемъ этомъ изложеніи нѣтъ *ни одной черты*, которая не принадлежала бы въ такой же мѣрѣ Платону, какъ и самому Шиллеру. Здѣсь какъ бы переплетаются мотивы изъ различныхъ діа-

¹⁾ К. Fischer o. l. II, 211.

логовъ, — главнымъ образомъ, изъ *Фэдра, Пира и Фэдона*, — сливаясь въ одну величавую картину идеалистическаго міропониманія. Выяснимъ это ближе, на примѣрахъ.

Чтобы уже здѣсь, на землѣ, уподобиться, богамъ и среди „царства смерти“ пользоваться свободой, необходимо всецѣло отрѣшиться отъ чувственности съ ея мимолетными наслажденіями, вырваться изъ душевной атмосферы повседневной дѣйствительности на широкій просторъ идеала, смѣло воспарить туда, гдѣ среди вѣчнаго сіянія обитаетъ „божественная среди божествъ форма“.

Wollt ihr schon auf Erden Göttern gleichen.
 Frei sein in des Todes Reichen.
 Brechet nicht von seines Gartens Frucht!

 Nur der Körper eignet jenen Mächten.
 Die das dunkle Schicksal flechten;
 Aber frei von jeder Zeitgewalt.
 Die Gespielin seliger Naturen,
 Wandelt oben in des Lichtes Fluren,
 Göttlich unter Göttern, die Gestalt.
 Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben,
 Werft die Angst des Irdischen von euch!
 Fliehet aus dem engen, dumpfen Leben
 In des Ideales Reich!

Совершенно то же самое слышимъ мы и отъ Платона чуть ли не въ каждомъ изъ его діалоговъ: тѣ же сѣтованія на жизнь съ ея скоротечными, обманчивыми радостями; то же восторженное описаніе міра вѣчныхъ идей, въ его противоположности съ міромъ измѣнчивыхъ явленій: „божественная среди божествъ форма“, очевидно, есть не что иное, какъ платоновская идея, εἶδος, ἰδέα; наконецъ, тотъ же призывъ къ отрѣшенію отъ плоти во имя сверхчувственнаго идеала. Вышеприведенные стихи особенно близко напоминаютъ *Theaet.* 176. А, гдѣ говорится объ уподобленіи Богу и бѣгствѣ отъ міра, и *Phaed.* 61, С sqq., гдѣ Сократъ развиваетъ излюбленную Платономъ мысль о постепенномъ „умираніи“ истиннаго философа.

Въ строфѣ четвертой мы еще разъ (ср. выше *Das Geheimnis der Reminiscenz* и *Die Künstler*) встрѣчаемся съ платонической доктриной преушествованія. Юношески чистая, незапятнанная творнымъ прикосновеніемъ земли, витаетъ безсмертная душа „въ

лучахъ совершенства“, прежде чѣмъ спуститься въ „печальный саркофагъ“ тѣла и т. д. Этотъ орфико-пифагорейскій взглядъ на тѣло, какъ на саркофагъ безсмертной души, неоднократно проводится Платономъ: *Cratyl.* 400, В; *Gorg.* 493, А; ср. также *Phaed.* 62, В; 82, D sqq.

Строфы шестая и слѣдующія подробнѣе развиваютъ мысль, выраженную въ предыдущихъ строфахъ. Поэтъ переноситъ послѣдовательно въ область идеала конечную цѣль всѣхъ человѣческихъ стремленій.

Земная жизнь непрестанно раздирается братоубійственной борьбой изъ-за власти, славы и счастья. Тамъ, въ тихой обители красоты, разрѣшаясь во взаимную любовь, примиряются самые противоположные инстинкты и влеченія человѣка.

Aufgelöst in zarter Wechselliebe,
In der Anmut freiem Bund vereint,
Ruhен hier die ausgesöhnten Triebe,
Und verschwunden ist der Feind.

Искусство требуетъ отъ художника постояннаго труда и высокаго напряженія творческой мысли.

Nur dem Ernst, den keine Mühe bleichet,
Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born;
Nur des Meissels schwerem Schlag erweichet
Sich des Marmors sprödes Korn.

Тамъ, въ сферѣ идеала, красота сама предстаетъ его очарованному взору.

Aber dringt bis in der Schönheit Sphäre.
Und im Staube bleibt die Schwere
Mit dem Stoff, den sie beherrscht, zurück.
Nicht der Masse qualvoll abgerungen,
Schlank und leicht, wie aus dem Nichts gesprungen,
Steht das Bild vor dem entzückten Blick.

Здѣсь, на землѣ, человѣкъ не можетъ, не впадая въ вопіющія противорѣчія, опредѣлить своихъ отношеній къ верховному нравственному закону: непроходимая бездна отдѣляетъ его отъ Божества.

Über diesen grauenvollen Schlund
Trägt kein Nachen, keiner Brücke Bogen,
Und kein Anker findet Grund.

Тамъ, въ сверхчувственномъ мірѣ свободной мысли, Божество теряетъ свое грозное величіе и само нисходитъ съ недосыгаемой высоты своего надзвѣднаго престола.

Aber flüchtet aus der Sinne Schranken
 In die Freiheit der Gedanken,
 Und die Furchterscheinung ist entflohn,
 Und der ew'ge Abgrund wird sich füllen;
 Nehmt die Gottheit auf in euren Willen,
 Und sie steigt von ihrem Weltenthron.

Земля—юдоль плача и скорби; жизнь на землѣ —бесконечная
 цѣль душу раздирающихъ страданій.

Wenn der Menschheit Leiden euch umfangen,
 Wenn Laokoon der Schlangen
 Sich erwehrt mit namenlosem Schmerz,
 Da empöre sich der Mensch! Es schlage
 An des Himmels Wölbung seine Klage
 Und zerreisse euer fühlend Herz!

Тамъ, въ свѣтозарной области чистыхъ формъ, не раздается
 голосъ скорби, не льются горячія слезы, но сквозь тихую, возвы-
 шающую душу грусть сіяетъ безмятежная лазурь покоя.

Aber in den heitern Regionen,
 Wo die reinen Formen wohnen,
 Rauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr.
 Hier darf Schmerz die Seele nicht durchschneiden,
 Keine Thräne fließt hier mehr dem Leiden,
 Nur des Geistes tapfrer Gegenwehr.
 Lieblich, wie der Iris Farbenfeuer
 Auf der Donnerwolke duft'gem Tau,
 Schimmert durch der Wehmut düstern Schleier
 Hier der Ruhe heitres Blau.

Диалоги Платона полны подобнаго рода противопоставленій.
 Мы не будемъ перечислять ихъ всѣхъ, такъ какъ это заняло бы
 слишкомъ много времени и мѣста, а укажемъ лишь на наиболее
 яркія изъ нихъ.—Такъ, борьба чувственныхъ инстинктовъ и духов-
 ныхъ стремленій человѣка и ихъ примиреніе въ области идеала—
 художественно изображены во второй рѣчи Сократа въ *Фэдрѣ*, на
 которую мы уже неоднократно ссылались въ другой связи.—Уче-
 ніе Платона объ единомъ верховномъ Божествѣ, въ идеѣ котораго
 разрѣшаются всѣ противорѣчія нашего теоретическаго познанія и
 нашего нравственнаго міросозерцанія, особенно подробно разви-
 вается въ *Государствѣ* и *Тимѣѣ*.—Наконецъ, бѣдствія и мучитель-
 ную суету земного существованія живыми красками рисуешь *Фэдонъ*;
 а высокое, ни съ чѣмъ несравнимое блаженство, заключающееся

въ созерцаніи истиннаго бытія, какъ прекраснаго самого въ себѣ, въ восторженныхъ выраженіяхъ представляетъ Діотима въ *Sympos.* 212, А и Сократъ въ *Phaedr.* 250, В—С.

Заканчивается стихотвореніе прелестнымъ мнѣомъ о Гераклѣ, который, послѣ безконечныхъ трудовъ и страданій на землѣ, вознесся на Олимпъ и бытъ принять въ вѣчно юный сонмъ блаженныхъ небожителей.

Froh des neuen, ungewohnten Schwebens.
Fliesst er aufwärts, und des Erdenlebens
Schweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt.
Des Olympus Harmonien empfangen
Den Verklärten in Kronions Saal,
Und die Göttin mit den Rosenwangen
Reicht ihm lächelnd den Pokal.

„Тяжкое сновидѣніе земной жизни“, о которомъ говорить здѣсь поэтъ, есть также сродное платоновскому мышленію представленіе, какъ объ этомъ свидѣлствуютъ *Theaet.* 158, В—D и *Tim.* 52, В.—Ср. также *Phaed.* 118, гдѣ земная жизнь иносказательно приравняется къ болѣзненному бреду, къ ведугу, отъ котораго излѣчиваетъ человѣка великій цѣлитель—смерть.

Die Macht des Gesanges воспѣваетъ благотворное дѣйствіе поэзіи на душу человѣка. Поэзія отрываетъ человѣка отъ всего земнаго, даетъ ему убѣжище отъ ударовъ судьбы, возноситъ его къ богамъ и т. д.

Den hohen Göttern ist er eigen,
Ihm darf nichts Irdisches sich nahn,
Und jede andre Macht muss schweigen,
Und kein Verhängnis fällt ihn an;
Es schwinden jedes Kummers Falten.
So lang des Liedes Zauber walten.

Ср. выше *Das Ideal und das Leben, Die Künstler* и проч.

Въ фантазіи *Thekla* любящая дѣвушка соединяется со своимъ возлюбленнымъ въ загробномъ мірѣ вѣчнымъ союзомъ, которому уже не угрожаютъ горькія слезы разлуки.

Ob ich den Verlorenen gefunden?
Glaube mir, ich bin mit ihm vereint,
Wo sich nicht mehr trennt, was sich verbunden,
Dort, wo keine Thräne wird geweint.

Ср. выше *Hektors Abschied* и *An Emma*.

Въ эпиграммѣ *Macht des Weibes* красота покоряетъ однимъ своимъ царственнымъ появленіемъ, однимъ безмолвнымъ обаяніемъ своего присутствія.

Wo sie sich zeige, sie herrscht, herrschet bloss, weil sie sich zeigt.

Съ этимъ можно сопоставить *Phaedr.* 251, A sqq., гдѣ та же мысль развивается болѣе подробно: встрѣтивъ прекрасное существо, душа тотчасъ прозрѣваетъ въ немъ отображеніе потусторонней красоты; объятая священнымъ ужасомъ, повергается она въ неизъяснимый трепеть, благоговѣнно склоняется предъ дивнымъ видѣніемъ, чтить его, какъ святыню, и не можетъ даже на короткое время оторваться отъ него безъ мучительной тоски и боли.

Въ стихотвореніи *Die Worte des Wahns* поэтъ, обращаясь къ „благородной душѣ“, призываетъ ее къ вѣрѣ въ сверхчувственный идеалъ истины и красоты. Истинно и прекрасно то, чего не слышало ничье ухо, не созерцало ничье око: оно не внѣ, но внутри насъ.

Drum, edle Seele, entreiss dich dem Wahn,
Und den himmlischen Glauben bewahre!
Was kein Ohr vernahm, was die Augen nicht sahn,
Es ist dennoch das Schöne, das Wahre!
Es ist nicht draussen, da sucht es der Thor,
Es ist in dir, du bringst es ewig hervor.

Параллели къ приведеннымъ стихамъ можно встрѣтить почти въ каждомъ діалогѣ Платона: напримѣръ, въ *Sympos.* 211, A—E; *Phaed.* 66, A и проч.

* * *

Мы кончили нашъ обзоръ. На многочисленныхъ примѣрахъ мы наблюдали несомнѣнныя черты сходства между Шиллеромъ и Платономъ какъ въ отвлеченныхъ понятіяхъ и идеяхъ, такъ и въ характерѣ самыхъ выраженій, въ конкретныхъ образахъ мышленія. Однако, какъ ни поразительно подчасъ это сходство, имъ далеко еще не исчерпывается то духовное сродство, о которомъ мы говорили выше. Это сродство обнаруживается не только въ созданіяхъ поэтической и философской мысли обоихъ геніевъ, но и въ ихъ внѣшней дѣятельности, въ ихъ личной жизни.

Извѣстно, что Шиллеръ былъ живымъ воплощеніемъ созданнаго имъ идеала художника. Мы имѣемъ на этотъ счетъ положительныя свидѣтельства близко знавшихъ его лицъ. Такъ, сестры Ленгефельдь въ поэмѣ *Die Künstler* находили вѣрное отображеніе личности своего друга ¹⁾, а Гумбольдтъ, прочтя *Das Ideal und das Leben*,

¹⁾ Н. Düntzer о. l. I, 507.

писалъ поэту: „На этомъ стихотвореніи лежитъ печать вашего вполне развившагося гения, и оно служитъ вѣрнымъ изображеніемъ всего вашего существа“¹⁾. Съ другой стороны, и Платонъ воплощалъ въ себѣ типъ своего идеальнаго философа и, насколько это вообще возможно, фактически осуществилъ сліяніе ученія съ жизнью.

Оба они были идеалистами въ теоріи и на практикѣ; оба начали свою литературную дѣятельность съ протеста противъ современнаго имъ общества; оба задавались возвышенными цѣлями—перевоспитать человѣчество ради его собственнаго блага; оба, несмотря на неудачи и временныя разочарованія, до конца оставались вѣрны идеаламъ, которымъ служили. Правда, Платонъ на склопѣ своей долгой жизни сдѣлалъ уступку неумолимой дѣйствительности, понизивъ слишкомъ высокій уровень предъявленныхъ имъ человѣческому обществу требованій. Однако онъ до конца дней своихъ возвращался мыслию и сердцемъ къ вдохновлявшему его когда-то утопическому идеалу, и сама смерть застигла его въ тотъ моментъ, когда онъ перечитывалъ свое *Государство*. Словомъ, къ нимъ обонмъ одинаково примѣнимы прекрасныя слова Гёте, которыми онъ въ извѣстномъ *Эпиграммѣ къ Колоколу Шиллера* характеризуетъ своего великаго друга:

...Indessen schritt sein Geist gewaltig fort
 Ins Ewige des Wahren, Guten, Schönen,
 Und hinter ihm in wesenlosem Scheine
 Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine.

Генрихъ Якубаникъ.

¹⁾ К. Fischer о. l. II, 224.

Шиллеръ, Пушкинъ и Островскій въ изображеніи эпохи смутнаго времени на Руси.

Эпоха смутнаго времени на Руси, когда пришли въ броженіе всѣ элементы государственнаго строя и когда на фонѣ извѣстныхъ партій стали рельефнѣе проявляться отдѣльныя личности, послѣдовательно возвышавшіяся и затѣмъ падавшія—Б. Годуновъ, Лжедмитрій, Василій Шуйскій, является однимъ изъ самыхъ драматическихъ моментовъ во всей нашей исторіи. Особенно это слѣдуетъ сказать относительно самой личности самозванца: трудно найти болѣе благодарный и эффектный для драматизаціи историческій эпизодъ, дающій такой богатый матеріалъ для творческой фантазіи поэта, какъ исполненная всевозможныхъ превратностей судьба перваго самозванца; уже самая таинственность, окружающая личность того, кто правилъ русской землей въ 1605-мъ г., представляется особенно заманчивой для поэта, давая широкій просторъ для свободнаго полета фантазіи и поэтическаго объясненія этой до сихъ поръ еще вполне неразгаданной личности. Подтверженіемъ сказаннаго являются многочисленныя обработки этого именно періода русской исторіи не только въ русской литературѣ, но и въ западноевропейскихъ: испанской, нѣмецкой, французской и англійской, начавшіяся еще при жизни самого Лжедмитрія (Лопе-де-Вега). Подобнаго рода концепціи—проявленіе сильной и великой личности, стремящейся къ высокому и правому дѣлу вслѣдствіе вѣры въ истинность своего призванія, *вѣры въ самою себя* и затѣмъ дѣлающей одинъ роковой невѣрный шагъ на своемъ пути и гибнущей отъ этого одного шага (Валленштейнъ, Орлеанская Дѣва, Фіеско)—

постоянно привлекали къ себѣ вниманіе великаго драматурга, гений котораго отличался „всемирностью и всечеловѣчностью“ -- *Шиллера*. Великій психологъ-художникъ живо чувствовалъ, что „обманъ, какъ основаніе пьесы, отталкиваетъ“. Вполнѣ естественно поэтому, что данный сюжетъ привлекъ къ себѣ глубокое вниманіе Шиллера въ послѣдніе годы его жизни, въ пору полнаго расцвѣта и зрѣлости его творческой дѣятельности и мощно овладѣлъ его творческой фантазіей. Затѣмъ нашъ великій *Пушкинъ* задался цѣлью „воскресить“ весь этотъ вѣкъ „во всей его истинѣ“, также въ пору зрѣлаго развитія своего таланта, въ „Борисѣ Годуновѣ“, высокохудожественномъ памятникѣ перелома во внутреннемъ мірѣ поэта и начала новаго спокойнаго и опредѣленнаго міровоззрѣнія, навѣяннаго „въ строгомъ уединеніи, вдали охлаждающаго свѣта“ Шекспиромъ и развившагося на почвѣ русской дѣйствительности путемъ глубокаго изученія родного быта, исторіи и народной поэзіи. Этой же эпохой увекался и *А. Н. Островскій*, написавшій рядъ драматическихъ хроникъ.

На характеристикѣ и сопоставленіи этихъ трехъ произведеній, несомнѣнно болѣе оригинальныхъ изъ всѣхъ обработывавшихъ этотъ же сюжетъ, мы и сосредоточимъ свое вниманіе.

Исторія созданія *Demetrius'a* свидѣтельствуетъ о томъ, съ какимъ рвеніемъ и съ какою любовью Шиллеръ обрабатывалъ свои произведенія и съ какою тщательностью стремился онъ воспроизводить даже мелкія черты своихъ произведеній.... Неумолимая смерть уже сторожила поэта, ему на созданіе *Demetrius'a* оставался всего одинъ годъ съ небольшимъ, да и то значительную часть этого скуднаго времени приходилось поэту удѣлять на другія литературныя работы, а въ особенности на борьбу съ болѣзью, которая уже давно часто напоминала о роковой развязкѣ. Несмотря на все это, поэтъ проявилъ поразительную дѣятельность въ обработкѣ намѣченной темы. Но лебединая пѣснь поэта не была пропѣта до конца, его надежды закончить любимое произведеніе не сбылись: онъ умеръ въ самомъ разгарѣ своей работы и въ предсмертной агоніи бредилъ своимъ *Demetrius'омъ*, какъ бы желая удержать и на краю могилы тѣ образы, которыми онъ жилъ послѣдніе мѣсяцы. Замѣчательный мопологъ царицы Марѳы въ 2-мъ актѣ былъ послѣдней грезой поэта о томъ надвѣздномъ мірѣ поэзіи и прекраснаго, въ которомъ витала и къ которому постоянно стремилась, „immer himmelwärts strebte“ его возвышенная душа, все время своего земного существованія скорбѣвшая о томъ, что „das Dort ist

niemals Hier“; монологъ этотъ былъ найденъ въ день смерти поэта, 9 мая на его письменномъ столѣ.

Какъ добросовѣстно и усердно Шиллеръ работалъ надъ имѣвшимся въ его распоряженіи матеріаломъ, свидѣтельствуемъ богатый черновой матеріалъ поэта, его Collectanea, а затѣмъ его подготовительныя работы „Studienheft“. Цѣлый рядъ красивыхъ и эффектныхъ сценъ (Samboract) Шиллеръ выбросилъ совсѣмъ, хотя проработалъ надъ ними довольно долго. Несмотря на разстроенное здоровье поэта при созданиіи этого произведенія, заставлявшее его постоянно прерывать работу, Шиллеровскій Demetrius, создававшійся поэтомъ въ пору его полной зрѣлости, является даже и въ своемъ неоконченномъ видѣ весьма крупнымъ произведеніемъ: печать зрѣлаго гения лежитъ на немъ. Въ Германіи это произведеніе пользуется съ давнихъ поръ репутаціей одного изъ лучшихъ произведеній Шиллера. По выраженію Геттнера:—„Димитрій по своему драматизму есть одно изъ величайшихъ произведеній всѣхъ временъ и (даже) народовъ. Характеры, положенія дѣйствующихъ лицъ, говоритъ онъ, развитіе и судьба главнаго героя роднятъ эту трагедію съ „Фіеско“ и съ „Валленштейномъ“, а мастерство въ обработкѣ сложнаго матеріала и искусство въ развитіи дѣйствія во многомъ напоминаютъ „Орлеанскую Дѣву“. Въ другомъ мѣстѣ Геттнеръ называетъ эту пьесу „истинной поэзіей въ исторіи, законченнымъ образцомъ высокаго историческаго стиля“. Другой изслѣдователь Попекъ въ очеркѣ „Димитрій въ нѣмецкой литературѣ“ признаетъ Demetrius'a достойнымъ занять почетное мѣсто рядомъ съ „Вильгельмомъ Теллемъ“. Другіе изслѣдователи, какъ Готшалъ и Штейнъ, также обращали вниманіе на Demetrius'a и отдавали должную дань высокой художественности этого произведенія.

Demetrius былъ изданъ впервые въ 1815-мъ г. въ журналѣ „Morgenblatt“ другимъ Шиллера Кернеромъ, черновой матеріалъ здѣсь былъ затронутъ крайне слабо. Лишь въ 1876-мъ г. Карлъ Гедеке напечаталъ этотъ драматическій отрывокъ со всей подготовительной работой поэта (Schillers sämtliche Schriften). Къ сожалѣнію, Гедеке распредѣлялъ весь матеріалъ по своей собственной системѣ и распорядился имъ весьма произвольно. Этотъ недостатокъ былъ исправленъ изданіемъ Кеттнера 1895 г. На русскій языкъ Demetrius переведенъ, мѣстами не особенно гочно, Л. А. Меемъ, который руководствовался изданіемъ Кернера, гдѣ вообще много неточностей.

Этой лебединой пѣснѣ Шиллера посвящены слѣдующія работы русскихъ ученыхъ: обстоятельный очеркъ **А. А. Чебышева**: „Трагедія Шиллера изъ русской исторіи (Ж. М. Н. Пр. 1898 г.—іюль;

вступительный этюдъ къ „Demetrius'у“ въ „Библиотекѣ великихъ писателей“. „Собраніе сочин. Шиллера“ т. III, стр. 262—278 проф. *Е. Шмурло* и статья *А. О. Лотера*: „Лебединая пѣснь Шиллера“ въ юбилейномъ сборникѣ въ честь Н. И. Стороженка: „Подъ знаменемъ науки“ 1902 г. (стр. 335—366).

Въ ту пору, когда Шиллеръ создавалъ своего Demetrius'a, въ исторической литературѣ существовало два противоположныхъ взгляда на личность Дмитрія: по однимъ это былъ обманщикъ, самозванецъ, по другимъ — истинный царевичъ. Оба эти мнѣнія имѣли для Шиллера значеніе лишь фактическаго матеріала, чутье художника подсказало ему наилучшій выходъ, а творческій талантъ въ самыхъ этихъ противорѣчіяхъ нашель данныя для высокохудожественной концепціи и созданія величественнаго, истинно трагическаго образа. Шиллеровскій *Дмитрій* — не сынъ Іоанна Грознаго, но онъ глубоко вѣруеть въ это и твердо убѣжденъ въ своемъ царственномъ происхожденіи; онъ свято и непоколебимо вѣруеть въ себя, въ правоту своихъ стремленій, и готовъ скорѣе пролить по каплѣ кровь, чѣмъ уступить права на свой вѣнецъ. Насколько онъ вѣритъ въ себя, настолько же вѣритъ въ него и народъ. Это личность поистинѣ царственная, полная сознанія правоты своихъ притязаній, собственнаго достоинства и благородства. Поднятіе завѣса вводитъ насъ сразу въ самую средину событій: дѣйствіе открывается олестящей картиной Краковскаго сейма, Дмитрій въ центрѣ грандіознаго политическаго движенія. Уже въ самой рѣчи его и во всемъ поведеніи на Краковскомъ сеймѣ, когда онъ проситъ о поддержкѣ, слышится голосъ, умѣющій не только просить, но и повелѣвать; вся рѣчь проникнута глубокимъ сознаніемъ своего положенія, онъ держитъ себя вполне независимо: кланяется „mit bedecktem Haupt“ королю, сенаторамъ и выборнымъ, ни въ какихъ посредникахъ онъ не пугается. Рѣчь Дмитрія своимъ искреннимъ и глубокоубѣжденнымъ топомъ производитъ сильное впечатлѣніе на все собраніе. Дмитрій такъ увѣренъ въ себѣ, что не задумывается польстить низменнымъ инстинктамъ жадной шляхты, обѣщая щедрые дары всѣмъ сподвижникамъ. Слова обѣщанія, умѣло брошенныя жадной толпѣ, вызываютъ сильное волненіе. Вдохновленный своей собственной рѣчью Дмитрій вспоминаетъ смутные образы далекаго прошлаго: пожаръ, бѣгство темной ночью, называніе его царскимъ пріемышемъ. Эти внезапныя воспоминанія далекаго прошлаго еще болѣе убѣждаютъ его въ томъ, что онъ — царевичъ; онъ говоритъ:

Не по примѣтамъ можетъ быть обманымъ,
А по біенію собственного сердца
Я узнаю наслѣдственную кровь.

Съ непоколебимой рѣшимостью добавляетъ онъ:

И ужъ скорѣй пролью ее по капль,
Чѣмъ уступлю права на мой вѣнецъ.

Благодаря энергичному протесту Льва Сапѣги, срывающаго сеймъ своимъ единственнымъ veto, Дмитрію не удается добиться официальной помощи, онъ благодаритъ за „признанную истину“ и проситъ о поддержкѣ, указывая на то, что наступилъ „удобный мигъ спити два народа воедино“.

Картина сейма полна неподдѣльнаго драматизма, быть можетъ— это одна изъ самыхъ сильныхъ сценъ во всей трагедіи. Въ отношеніи къ исторической и бытовой дѣйствительности полная жизни картина сейма изображена мастерски, въ уста архіепископа влагается не мало польскихъ словъ и выраженій. Весьма любопытно отмѣтить тотъ фактъ, что архіеп. Гибзпенскій въ отвѣтной рѣчи Дмитрію высказываетъ предположеніе о томъ, что, б. можетъ, Дмитрій и самъ обманутъ. Здѣсь сказалось свойственное Шиллеру искусство указать на грозящую въ отдаленіи катастрофу еще въ самомъ началѣ дѣйствія; у Шиллера уже въ самомъ началѣ пьесы слышатся отдаленные раскаты собирающейся надъ головою героя грозы, это сказалось съ замѣчательнымъ мастерствомъ въ „Валлепштейнѣ“ и „Маріи Стюартѣ“.

Вспомнимъ далѣе мечты Дмитрія послѣ помолвки съ Маринной Мнишекъ перенести на Русь „свободу сладкую“, которую онъ вкусилъ въ Польшѣ, его желаніе „aus Sklaven frohe Menschen machen“. Симпатичнѣе всего Дмитрій при въѣздѣ на Русь, когда онъ дѣлаетъ первый шагъ на своей родной землѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ первый рѣшительный шагъ въ своемъ дѣлѣ. Какая горячая любовь, какая глубокая, щемящая скорбь слышится въ его трогательномъ испрашиваніи прощенія у земли родной за тотъ вредъ, какой оно несетъ ей при всей законности своего дѣла:

Vergib mir, theurer Boden, heim'sche Erde,
Das ich, dein Sohn, mit fremden Feindes Waffen
In deines Friedens ruhigen Tempel falle....

Предъ взоромъ Дмитрія широко развернулась въ своемъ величественномъ просторѣ его родная Русь: веселая открытая мѣстность, замѣчаетъ поэтъ, широкая рѣка (Десна), кругомъ зеленѣющая нивы, чудная веселая пора. Съ пригорка видитъ Дмитрій

Черниговъ, Новгородъ Сѣверскій (неточное представленіе Шиллера о картѣ Россіи). По словамъ спутника Дмитрія Разина, Русь идетъ необозримо къ востоку, а на сѣверѣ „keine Grenzen hat es“. Дмитрій очарованъ роскошнымъ видомъ широкихъ полей и необозримыхъ равнинъ своей родины, и вмѣстѣ съ тѣмъ ему больно и тяжело при мысли, что своимъ появленіемъ онъ несетъ этой разстилающейся предъ нимъ въ безмятежномъ величавомъ спокойствіи своей же родины войну со всеми ея ужасами и бѣдами. Его возмущаютъ слова Одовальскаго, что „такъ и слѣдуетъ“, и онъ гордо отвѣчаетъ: „Du fühlst als Pole, ich bin ein Moskau's Sohn“. Помимо того, въ словахъ его сказывается несомнѣнно чистая радость, охватившая все его существо при видѣ широко раскинувшейся предъ нимъ „его“ земли. Это благородная впечатлительная натура, чуткая къ воспріятію красоты природы. Первая неудача при столкновеніи съ Борисовымъ войскомъ обезкураживаетъ его; онъ падаетъ духомъ и готовъ покончить съ собой, но судьба ему благопріятствуетъ: Борисъ умираетъ. Съ искреннимъ сокрушеніемъ, безъ всякой затаенной злобы, тѣмъ болѣе злорадства, выслушиваетъ онъ вѣсть о смерти царя Бориса. Вотъ Дмитрій на вершинѣ славы и счастья, все ему улыбается, триумфально проходитъ онъ до Тулы, встрѣчая всюду подношенія городскихъ ключей и царскихъ регалій. Все обѣщаетъ въ немъ гуманнаго правителя; онъ отклоняетъ рабскія изліянія покорности русскихъ и мечтаетъ искоренить низкопоклонничество. Онъ изъявляетъ желаніе свидѣться съ матерью и шлетъ къ ней пословъ. И вотъ, когда Дмитрій является чуть не на верху своего блаженства, когда цѣль, къ которой онъ такъ страстно и убѣжденно стремился, почти достигнута, его постигаетъ ужасный ударъ судьбы: онъ узнаетъ свое истинное происхожденіе. Среди лицъ, собравшихся около него въ Тулѣ, появляется человекъ, котораго Дмитрій узнаетъ сразу и которому весьма радъ, онъ узнаетъ въ немъ своего воспитателя и остается съ нимъ наединѣ; сердечно благодаритъ онъ его какъ своего спасителя и наставника; тотъ заявляетъ, что Дмитрій дѣйствительно ему обязанъ, но болѣе, чѣмъ самъ можетъ думать о томъ. Онъ рассказываетъ Дмитрію всю правду: Борисъ не награждаетъ его за убіеніе истиннаго царевича и сталъ даже грозить ему смертью; въ пещерѣ гнѣва онъ увидаль случайно одного отрока, чрезвычайно похожаго на царевича, усыновилъ этого мальчика, бѣжалъ съ нимъ изъ Углича и поручилъ заботы его одному духовному лицу, принимавшему участіе въ этомъ предпріятіи; онъ же передалъ ему и драгоценный крестъ, снятый имъ же самимъ съ убитаго. Этотъ мальчикъ и есть онъ—Дмитрій: онъ его орудіе и царитъ теперь на Руси

вмѣсто Бориса... Отчаяніе Дмитрія велико, а тутъ убійца выводитъ его изъ себя кипчивымъ и дерзкимъ требованіемъ награды, и онъ мгновенно закалываетъ этого вѣстника своего несчастья. Здѣсь дѣйствуетъ не столько чувство самосохраненія, сколько безысходное отчаяніе, охватившее все существо Дмитрія, когда его цѣлостный и жизнерадостный міръ мгновенно былъ разрушенъ до основанія. Эта замѣчательная по своему трагизму сцена составляетъ переломъ всей трагедіи. Здѣсь долженъ былъ слѣдовать замѣчательный монологъ Дмитрія: „Ты пронзилъ мое сердце, говоритъ онъ надъ трупомъ Андрея, ты отнял у меня вѣру въ самого себя. Прости, мужество и надежда, прости радостная увѣренность въ себя!... Мой внутренній міръ разрушенъ. Мы съ правдой разлучены на вѣки“... Справедливо сравниваетъ Кеттнеръ этотъ монологъ съ прощаніемъ Отелло со всѣми радостями жизни послѣ разоблаченія Яго. Въ головѣ Дмитрія сейчасъ же мелькають подкрѣпленія внутренней рѣшимости идти впередъ во что бы то ни стало: отступленіемъ онъ ввергаетъ народъ и своихъ соучастниковъ въ пучину бѣдствій еще болѣе ужасныхъ, да развѣ нельзя оказать благодѣянія странѣ, не будучи истиннымъ царевичемъ, рѣшаетъ онъ еще убѣдительнѣе. Въ этомъ отношеніи Дмитрій является роднымъ братомъ Фіеско и Валленштейна. Изъ борца за великое, правое дѣло онъ превращается во властолюбиваго эгоиста; онъ рѣшается на преступленіе, протягиваетъ руку на не принадлежащій ему по праву престолъ, стараясь оправдать себя и выдвигая на первый планъ благо родины и народа. И Фіеско, рѣшающійся при видѣ красоты своего роднаго города, облитаго утrepней зарей, избавить этотъ родной городъ, предстающій предъ нимъ во всей своей красѣ, отъ деспотическаго правленія разпузданной кучки аристократовъ, въ началѣ не рѣшается домогаться короны и находитъ послѣ долгой и тяжелой душевной борьбы, что „завоевать вѣнецъ—великое дѣло, отбросить его—божественное“, но впослѣдствіи... онъ находитъ, что „одна мнута высшей власти поглощаетъ всю суть существованія“. И знаменитый Фридрихъ, сознавая то безвыходное положеніе, въ какое онъ попалъ, и видя, что для него нѣтъ уже возврата, дѣлаетъ роковой рѣшительный шагъ къ сближенію со Шведами для достиженія своей цѣли! Справедливо замѣчаніе Беллерманна, что въ К. Моорѣ, Фіеско, Жаннѣ и Дмитріи необычайная сила воли, всѣ они стремятся быстро и опредѣленно къ разѣ памѣченной ихъ волею цѣли и не нуждаются ни въ какомъ препятствіи извнѣ, а сами находятъ или въ силу неосмотрительнаго увлеченія своей воли, или вслѣдствіе рокового, ошибочнаго шага на этомъ пути свою трагическую

гибель (II--65). Отто Гарнакъ говоритъ, что Дмитрій долженъ отрицать одну сторону своей натуры—или силу, или правдивость. Для героической личности первое невозможно, второе влечетъ за собою трагическую гибель. Невозможно это „первое“ и для Валленштейна, и для Фіеско. Но благородная цѣль должна осуществляться только благородными средствами, а между тѣмъ, какъ отлично сознаетъ самъ Дмитрій, теперь его сила не въ глубокомъ внутреннемъ убѣжденіи, какъ прежде; нѣтъ—„убійство и кровь“ должны помочь ему устоять на этомъ новомъ пути. До этого времени Дмитрій былъ игрушкой судьбы, слѣпымъ орудіемъ въ чужихъ рукахъ интриги и коварства, теперь же онъ самъ лично силой своей воли является руководителемъ своей судьбы. Онъ не хочетъ уступить этой судьбѣ, такъ злобно насмѣявшейся надъ нимъ, вознесшей его изъ полнаго ничтожества на недосыгаемую высоту самодержавнаго монарха и затѣмъ у самой цѣли низвергающей его въ бездонную пропасть. Онъ дѣлаетъ гордый вызовъ судьбѣ и рѣшается уже самъ бороться съ нею. Вотъ это то превращеніе Дмитрія, героя пьесы, изъ лица, руководимаго сначала чужою волею, въ отвѣтственнаго, активнаго дѣятеля даетъ основаніе нѣкоторымъ изслѣдователямъ (Геттнеру, Кеттнеру и др.) видѣть въ этомъ произведеніи Шиллера весьма любопытное и удачное сліяніе двухъ типовъ трагедій, античной трагедіи рока (Schicksalstragödie) и новой трагедіи личной отвѣтственности героя, при чемъ новая трагедія здѣсь торжествуетъ всецѣло. Трагическій фатумъ поставилъ Дмитрія лицомъ къ лицу съ несчастьемъ; какъ ни трудно Дмитрію было отступить въ борьбѣ съ нимъ, у него все-таки былъ выборъ, но въ силу своего характера онъ самъ ввергаетъ себя въ это несчастье, онъ самъ ведетъ себя къ гибели! Злая сила пробуждается въ немъ во время этой борьбы, на которую онъ самъ рѣшается: онъ самъ даетъ имъ благоприятный моментъ для развитія! Справедливо поэтому приведенное выше выраженіе Беллерманна, что такія личности не пужаются въ препятствіи извнѣ, онъ преодолеваетъ его, какъ преодолевалъ его Дмитрій, рѣшившись идти впередъ, но онъ же далѣе въ силу увлеченія своей воли гибнуть на этомъ пути. Стоило, однако, Дмитрію потерять вдохновляющую его вѣру въ самого себя, и онъ становится тиранномъ, деспотомъ, забываетъ мудрые совѣты Сигизмунда чтить мѣстные обычаи и испрашивать благословеніе у матери на всякое дѣло, подпадаетъ вліянію поляковъ и казаковъ, не обуздывая ихъ произвола, забываетъ царицу Марю, преслѣдуетъ монаховъ. Какъ ни падаетъ Дмитрій, обнаруживая „die mächtigsten Kräfte der Menschheit“ и „die menschliche Verderbniss“, тѣмъ не

менше онъ все-таки вызываетъ нѣкоторое участіе и нѣкоторую долю симпатіи къ себѣ: какъ глубоко несчастенъ онъ въ своей любви къ Ксении, предъ истинно женственной красотой и нѣжной граціей которой Марина, которая была быть можетъ только увлеченіемъ, — ничто; какъ страдаетъ онъ, соединяя свою жизнь съ той, которая съ такой холодной расчетливостью погубила предметъ его любви и потомъ цинично заявила ему, что она никогда не вѣрила въ истинность его царскаго происхожденія и никогда не любила! Онъ такъ много пережилъ и перестрадалъ, что еще недавнее прошлое, не омраченное ничѣмъ подобнымъ, кажется ему далекимъ и какъ бы чуждымъ, у него тоска по этомъ миломъ прошломъ, неодолимое влеченіе къ нему. Какъ искренно откровененъ онъ въ сценѣ свиданія съ матерью, гдѣ онъ не притворяется вовсе! Какъ ни велико отчаяніе Дмитрія, какъ ни сильно это потрясшее весь его внутренний міръ горе, когда онъ узналъ роковую тайну своего происхожденія, въ глубинѣ его сердца до свиданія съ матерью все еще таятся слабый лучъ надежды на то, что, быть можетъ, этотъ человекъ и теперь обманулъ его; есть еще лицо, которое уже несомнѣнно откроетъ ему всю правду — это царица, мать, но въ первый же моментъ чувствуетъ онъ, что надѣяться уже больше — нельзя, „голосъ природы“ онъ не хочетъ насиловать, онъ искренно проситъ ее способствовать его дѣлу, и эта искренность, соединенная съ трогательной мольбой, въ данномъ случаѣ трогаетъ царицу до слезъ и она попускаетъ обманъ. Поэтъ до конца сохранилъ трагическое величіе въ своемъ героѣ. Съ какимъ величественнымъ видомъ и отвагой встрѣчаетъ онъ ворвавшихся заговорщиковъ, приходившихъ даже въ нѣкоторое замѣнательство отъ этого. Пр. Шмурло говоритъ, что Дмитрій могъ бы обезоружить противниковъ, или, по крайней мѣрѣ, сдѣлать попытку спасти себя обѣщаніемъ предать ненавистныхъ поляковъ, но это слишкомъ для него низко, и онъ безмолвно падаетъ, пронзенный мечами враговъ. Въ дѣйствительности по замыслу поэта, какъ это доказываетъ послѣдній отрывокъ плана Demetrius'a, Дмитрій это дѣлаетъ и это производитъ довольно сильное впечатлѣніе на шайку, и только прибытіе Шуйскаго со второй шайкой рѣшаетъ дѣло окончательно; „es gelingt ihm, замѣчаетъ поэтъ, beinahe sie zu entwaffnen da er ihnen die Polen preisgeben will“. Однако, этотъ поступокъ не можетъ всецѣло очернить Дмитрія, какъ предателя своихъ же помощниковъ: онъ и безъ того, быть можетъ, радъ былъ бы избавиться отъ необузданной шляхты, клеветовъ Марины, а также и отъ самой Марины.

Таковъ Шиллеровскій Дмитрій. Это благородная личность, несомнѣнно сильнаго характера и необычайной силы воли. Судьба вознесла его на недосыгаемую прежде высоту, чтобы затѣмъ сейчасъ же низвергнуть, но онъ пытается удержаться, стремится устоять на этой головокружительной высотѣ собственными силами своей воли.

Слѣдуетъ сказать еще нѣсколько словъ о сценѣ вѣзда Дмитрія въ Москву. Въ этой сценѣ самъ поэтъ отмѣтилъ сходство ея съ Kgnungszug въ „Орлеанской Дѣвѣ“. Вообще, надобно сказать, Дмитрій Шиллера имѣетъ нѣкоторое сходство съ Жанной Д'Аркъ: цѣль всѣхъ ихъ стремленій достигается уже послѣ того, какъ въ душѣ ихъ происходитъ страшный внутренній разладъ, обусловленный потерей вѣры въ себя, въ истинность своего призванія; Дмитрій узнаетъ отъ Андрея роковую тайну своего происхожденія, Орлеанская Дѣва теряетъ вѣру въ себя послѣ роковой встрѣчи съ Лионелемъ. Но въ то время, какъ далѣе Орл. Дѣва достигаетъ еще болѣе высокой нравственной высоты, чѣмъ прежде, Дмитрій продолжаетъ падать внизъ по наклонной плоскости.

Отступленій отъ исторической дѣйствительности не мало, напр., любовь Дмитрія къ Ксеніи, вступленіе его на Русь весной, а не осенью, уничтоженіе промежутка между свадьбой (8 мая 1606 г.) и катастрофой (17 мая) и т. д., тѣмъ не менѣе поэтъ художественнымъ чутьемъ своимъ поразительно приблизился къ исторической правдѣ въ созданіи личности перваго русскаго самозванца: именно это убѣжденный въ своемъ царскомъ происхожденіи человекъ! Шиллеръ художественнымъ чутьемъ и тактомъ правильно понялъ, что крупный успѣхъ Дмитрія не могъ опираться на одинъ только обманъ, необходимо, несомнѣнно, было историческому Дмитрію вѣровать въ самого себя и въ правоту своихъ стремленій. Шиллеръ пытался подойти и къ самому способу созданія убѣжденного самозванца, но здѣсь то и обнаруживается нѣкоторая неестественность въ самомъ ходѣ и характерѣ событій. Дмитрія усыновляетъ съ заранѣе обдуманной цѣлью и воспринимаетъ какъ орудіе мести противъ Бориса—убійца истиннаго царевича. Нельзя не замѣтить, что такая мотивировка является неестественной и крайне искусственной: трудно допустить, чтобы въ головѣ одного человека, даже не простаго дьяка, могла создаться подъ вліяніемъ мести такая сложная, даже грандіозная интрига противъ Бориса, да и могла ли бы она удовлетворять чувству мести: она вѣдь если и грозила Борису гибелью, то и то въ отдаленномъ будущемъ, когда Бориса могло уже не быть въ живыхъ; да и осуществилась ли бы она—это еще вопросъ. Такая сложная интрига, основанная на строго обдуман-

ныхъ расчетахъ, противорѣчить психологической природѣ мести, особенно такой мести, построенной на чисто личныхъ счетахъ. Лютеръ оправдываетъ въ данномъ случаѣ Шиллера указаніемъ на то, что экономія драмы требовала сосредоточенія всѣхъ нитей интриги въ рукахъ одного лица. Намъ кажется, что экономія врядъ ли бы была нарушена, если бы убійца явился однимъ изъ цѣлой партіи, тѣмъ болѣе, что убійцѣ пришлось и такъ привлечь къ дѣлу, по его словамъ, еще какое-то духовное лицо, укрывавшее Дмитрія и посвященное въ это предпріятіе. Современная историческая наука глубоко разработала вопросъ о личности первого самозванца и ушла далеко впередъ въ разрѣшеніи этого спорнаго вопроса благодаря новымъ даннымъ, находимымъ въ Ватиканскомъ, Вѣнскомъ и Данцигскомъ архивахъ, и трудамъ Нирлинга, Щенкина, гр. Шереметьева, Паницкаго, Платонова, Голубовскаго и др. ученыхъ. Личность эта—убѣжденный въ своей правотѣ самозванецъ, человекъ русскаго происхожденія, одинъ изъ товарищей царевича Дмитрія, вывезенный изъ Углича, быть можетъ, англійскимъ агентомъ Герсеемъ, воспитывавшійся въ одномъ изъ сѣверныхъ монастырей, даже принявшій первое постриженіе, затѣмъ яко бы умершій и записанный съ именемъ Леонида въ помянникъ, (Борисъ приказалъ произвести перепись монаховъ въ сѣверныхъ монастыряхъ), въ дѣйствительности же отправленный за границу, гдѣ онъ попалъ къ Вишневецкому. Созданіе такого убѣжденного самозванца—широко задуманная боярская интрига, бояре воспитали убѣжденного въ своей правотѣ самозванца, желая выставить его претендентомъ на престолъ для уничтоженія династіи Годунова, они и воспользовались этимъ дѣломъ рукъ своихъ, какъ нужнымъ для нихъ въ данномъ случаѣ орудіемъ. Для этого только онъ и былъ имъ нуженъ. Вотъ этого то и не достаетъ въ концепціи Шиллера: подобная интрига не можетъ быть дѣломъ одного или двухъ частныхъ лицъ, сводившихъ свои личные счеты съ Борисомъ, но—цѣлой касты, всячески стремившейся создать себѣ прочное и полновластное положеніе въ государствѣ въ то время, когда этому положенію угрожала серьезная опасность.

Еще до появленія самого *Бориса* о немъ предпосылается слѣдующее мнѣніе Сигизмунда: „силень и чтимъ престолъ царя Бориса“; далѣе Сигизмундъ указываетъ на то, что у Бориса въ замѣну предковъ есть „дѣянія и заслуги“. Въ одномъ мѣстѣ поэтъ самъ отмѣчаетъ, что Борисъ достигъ престола преступленіемъ, но всѣ обязанности самодержавнаго владыки выполнялъ добросовѣстно: онъ—безцѣнный повелитель страны и истинный отецъ народа. Онъ, правда, насиліемъ и преступленіемъ достигъ престола, но надѣялся,

какъ видно изъ одного мѣста 3-го акта (планъ), заглядитъ эту единую вину годами неустанной работы на благо народа и добросовѣстнымъ выполненіемъ долга. Мстительнъ и гнѣвнъ онъ только въ своихъ личныхъ дѣлахъ. Въ своей семьѣ это прекрасный семейнинъ, нѣжный и любящій отецъ, и поэтъ намѣревался посвятить отдѣльную сцену изображенію Бориса въ его домашней обстановкѣ, въ бесѣдѣ съ Ксеніей, гдѣ онъ открываетъ ей свою наболѣвшую душу. Кается въ своихъ грѣхахъ онъ и передъ Іовомъ. Въ дѣлахъ государственныхъ это тактичный политикъ и умный человекъ, стоящій выше окружающихъ не по сану только, но и по духовнымъ качествамъ своимъ. Какъ царь, онъ находитъ для себя низкимъ выступать самолично противъ „обманщика“; кромѣ того, онъ боится оставить Москву, гдѣ начинаютъ все упорнѣе циркулировать слухи объ истинности царевича, а между тѣмъ его гнѣвъ и отчаяніе усиливаются при видѣ того, какъ ужасно разрастается то событіе, которымъ онъ сначала пренебрегалъ. Онъ впадаетъ въ суевѣріе, вѣрить всякимъ примѣтамъ, всюду ему видится предсказаніе судьбы: онъ становится жестокимъ, прежнее самообладаніе покидаетъ его, но все же онъ собираетъ послѣдніе остатки силы воли и превозмогаетъ себя, выслушивая всѣ извѣстія о неудачахъ до мельчайшихъ подробностей. Въ отношеніи Бориса къ появленію Дмитрія и началу его дѣла личность эта напоминаетъ нѣсколько личность Тальбота въ „Орлеанской Дѣвѣ“. Подобно Борису, Тальботъ сначала скептически и презрительно относится къ Орлеанской Дѣвѣ, онъ не вѣритъ, чтобы этотъ призракъ, страшный для черни, могъ пугать полководцевъ; въ Орлеанской Дѣвѣ онъ видитъ только „eine Gauklerin“ (комедіантку), которой нечего бояться истиннымъ героямъ, и только, смертельно раненый, убѣждается онъ въ своемъ безсиліи. Таково же на первыхъ порахъ отношеніе Бориса къ Дмитрію. Борисъ выше всѣхъ окружающихъ, но у него безпредѣльная гордость, страстная привязанность и любовь къ неограниченной власти. Поэтъ говоритъ, что продолжительное пользованіе верховной властью, привычка господствовать и сама неограниченная форма правленія развили въ Борисѣ эту гордость. Эта то гордость и любовь къ власти поднимаютъ въ его глазахъ несчастье до невѣроятной высоты, онъ же являются источникомъ всѣхъ его неудачъ и несчастій: онъ страшится всякаго малѣйшаго униженія, онъ не въ силахъ пережить своего величія! По-царски умираетъ онъ, безстрашно глядя въ глаза смерти. Борисъ, правда, преувеличивалъ свое положеніе, однако, нельзя не замѣтить изъ хода самой драмы, что положеніе его, какъ царя, поколебалось: его болѣе боялся, чѣмъ любилъ, за-

мѣчаетъ поэтъ; онъ нарываеся на оскорбленія со стороны бояръ, его угнетаютъ вѣсти одна другой печальнѣе. По мнѣнію Кеттнера, въ этой трагической катастрофѣ Бориса Шиллеръ подчеркнулъ не столько мечь Немезиды за убійство царевича, какъ полагаетъ Трейеръ, сколько гибель человѣка въ борьбѣ съ необходимою судьбой: человѣкъ, обладающій всеми необходимыми для правителя способностями, исполняющій все обязанности добросовѣство, видитъ свое дѣло проиграннымъ, какъ только какой-то юноша предъявляетъ къ нему требованія на престоль. Онъ низвергается именемъ того, кого онъ убилъ, но и этотъ его побѣдитель торжествуетъ недолго: гибнетъ и онъ, „убійство и кровь“ не помогли ему устоять...

Въ обрисовкѣ личности Бориса, насколько она выясняется изъ схематическихъ набросковъ, Шиллеръ подошесть къ исторической дѣйствительности не настолько близко, какъ въ изображеніи личности Дмитрія. Его Борисъ—талантливый правитель, но истинный убійца царевича и при томъ, будучи всегда дальновиднымъ и умнымъ, въ этомъ именно дѣлѣ онъ поступаетъ довольно опрометчиво, вооружаетъ противъ себя исполнителя убійства и оставляетъ въ живыхъ этого свидѣтеля своего злодѣянія! Исторія не можетъ непосредственно обвинять Бориса въ убіеніи царевича, все обвиненіе основывается на предположеніи выгоды для Бориса этого факта.

Инокія *Марѳа* играетъ роковую роль и для Бориса, и для Дмитрія. Въ сценѣ на Бѣломъ озерѣ, въ бесѣдѣ съ Іовомъ по поводу появившихся слуховъ о самозванцѣ, когда тотъ проситъ ее отъ имени царя изобличить обманщика, она питаетъ непримиримую злобу къ Борису и вся проникнута мщеніемъ, она хорошо сознаетъ всю силу своего материнскаго авторитета въ успѣхъ Бориса и Дмитрія. Это энергичная, экзальтированная натура, еще не разставшаяся съ жаждой жизни и власти. Она сначала увѣровала въ истинность своего сына, а затѣмъ у нея является сомнѣніе, но ей хочется вѣрить въ эту пріятную для нея грезу. Ненавистный Борисъ теперь въ ея власти, ему нужно одно ея слово, отъ котораго зависитъ весь успѣхъ предпріятія его врага. Не въ силахъ сдержать она накипѣвшую за много лѣтъ злобу, и, вся охваченная энтузіазмомъ, она признаетъ его сыномъ:

Мнѣ сынъ онъ! Я по признакамъ всемъ знаю
И признаю.... хоть по боязни царской....
Онъ самый, онъ! Онъ живъ! Онъ недалеко!
(Er ist's! er lebt! er naht!)
Долой, тираннъ съ престола! Трепещи!

Оставшись одна, она даетъ волю накопившемуся чувству. Бесѣда съ Говомъ произвела въ ней рѣзкую перемену: изъ „окаменѣлой“, ко всему безучастной монахини она превращается въ глубоко чувствующую женщину и царицу. Жажда жизни, жажда власти, жажда мести со всей силой закипаетъ снова въ ея дуплѣ. У нея является слабый лучъ надежды на то, что это ея сынъ. Этотъ монологъ ея, послѣднее твореніе, вышедшее изъ-подъ пера Шиллера, найденный въ день его смерти на его письменномъ столѣ, является самымъ художественнымъ мѣстомъ во всей трагедіи. Онъ исполненъ удивительной силы и высокой художественной красоты:

Онъ сынъ мой—знаю, чувствую и вѣрю!
Хочу повѣрить (добавляетъ она) и берусь за якорь,
Ниспущенный мнѣ съ неба для спасенья,....

Энтузіазмъ ея достигаетъ крайнихъ предѣловъ, воображенію ея рисуется грандіозная картина: ея сынъ идетъ отомстить за свою мать:

Онъ! онъ! Идетъ сюда вооруженный
Спасти меня и отомстить врагу!
Я слышу звуки громкихъ трубъ и бубновъ!

(Въ оригиналѣ сильнѣе: Hört seine Trommeln! seine Kriegstrompeten!).

Сбирайтесь отъ сѣвера и юга.
Изъ всѣхъ степей, изъ вѣковыхъ лѣсовъ
Всѣ языки державному навстрѣчу....

Далѣе она трогательно проситъ „солнце вѣковѣчное“ снести ему ея желанія, умоляетъ „воздухъ необъятный и летучій“ вѣять на него ея благословеніемъ:

Du, ew'ge Sonne, die den Erdenball
Umkreist, sei du die Botin meiner Wünsche!
Du, allverbreitet ungehemmte Luft,
Die schnell die weitste Wanderung vollendet,
O trag' ihm meine glühnde Sehnsucht zu!

Это мѣсто, исполненное поразительной художественности и высокой граціи, невольно напоминаетъ нашъ знаменитый плачъ Ярославны и затѣмъ высокохудожественныя строфы Пушкинскихъ сказокъ „О царѣ Салтанѣ“ (обращеніе дитяти къ волнѣ) и „О мертвой царевнѣ“ (обращеніе царевича Елисея къ мѣсяцу и вѣтру).

Въ сценѣ свиданія съ Дмитріемъ Марѳа убѣждается, что вѣрить болѣе—нельзя, но на нее производятъ благопріятное впечатлѣніе искренность тона и благородная наружность Дмитрія, ее тро-

гаютъ его горячія просьбы. Ей самой больно разставаться съ грезами, о которыхъ она мечтала. Она безмолвно позволяетъ Дмитрію пока-зывать ея слезы народу, какъ доказательство того, что ихъ проливаетъ не чужая ему женщина. Когда же ей въ послѣднемъ дѣлствіи приходится быть болѣе активнымъ свидѣтелемъ истинности Дмитрія, она не въ силахъ совершить клятвопреступленія, не въ силахъ войти въ сдѣлку съ совѣстью, которую она какъ ни какъ сдѣлала при свиданіи съ нимъ, но тамъ, во-первыхъ, не требовалось ея активнаго участія, а во-вторыхъ, она была крайне потрясена этимъ самымъ свиданіемъ. Своимъ молчаніемъ она упрочила почву подъ ногами Дмитрія, этимъ же молчаніемъ она сыграла для него такую же роль, какъ и для Бориса: она погубила его.

Личность *Марины* производитъ у Шиллера самое неблагопріятное, отталкивающее впечатлѣніе. Это властолюбивая и честолюбивая натура. Она соглашается выйти замужъ за Дмитрія, такъ какъ это въ перспективѣ сулитъ ей царскую корону. Ея честолюбіе не имѣетъ границъ: будучи невѣстой Дмитрія, она уже помышляетъ и у Польши, своей же отчизны, отнять Кіевъ: „Да Кіевъ развѣ—Польша“?, восклицаетъ онъ: „тамъ Варяги споконъ вѣка паслѣдственно княжили.—Я лѣтѣмъ стариною читала и вникала: онъ отъ русскаго княженія оторванъ—надо и назадъ отдать“. Ей, по выраженію ея отца, „скромный жребій ея сестеръ не подѣлать“, она стремится всечасно къ высшей цѣли“. Она вертитъ какъ пѣшкой влюбленнымъ въ нее Одовальскимъ, увлекаетъ своего отца въ рискованное предпріятіе помочь Дмитрію и въ послѣдствіи подчиняетъ себя и Дмитрія. Это хитрая, ловкая и вмѣстѣ съ тѣмъ тонкая и изворотливая интригантка: она приказываетъ Одовальскому вести Дмитрія къ побѣдѣ такъ, чтобы онъ постоянно нуждался въ ея помощи, чтобы онъ никакъ не могъ сбросить ея „путь“. Она ни на минуту не вѣритъ въ истинность царскаго происхожденія Дмитрія. „За нимъ, говоритъ она, вдохновеніе, а за нами мысль, пускай онъ остается въ заблужденіи, что это все ему ниспало съ неба“. Недаромъ она говоритъ въ отвѣтъ на просьбу шляхты принять начальство, что она поведетъ ихъ „не плотью, а мысленно“. Ея дѣло подготовить, обдумать, подстроить интригу, а затѣмъ найти послушное орудіе для исполненія ея. Съ какой холодной и безсердечной расчетливостью Марина устраняетъ свою соперницу, несчастную Ксенію; съ какимъ цинизмомъ она, достигнувъ цѣли—выйдя за Дмитрія, объявляетъ ему, что въ истинность его она и не вѣрила никогда! Она сбрасываетъ теперь личину, которую, по замѣчанію поэта, умѣетъ носить лучше Дмитрія, но, разумѣется,

тогда, когда это представляется нужнымъ или выгоднымъ для нея. Какъ върнaseбѣ эта коварная личность, лишенная какихъ бы то ни было чертъ женственности, въ послѣднія минуты Дмитрія: она и здѣсь притворяется и разыгрываетъ изъ себя съ поразительной находчивостью жертву самозванца, чтобы возбудить тѣмъ сожалѣніе и состраданіе окружающихъ. Это черствая, бездушная и вмѣстѣ съ тѣмъ властная натура, не брезгающая никакими цѣлями для осуществленія своего дѣла. По ея мнѣнію одно: „любовь или величіе“, а все другое—равно ничего; равно ничего оказывается и „любовь“. По описанію эта личность можетъ быть сопоставлена отчасти съ холодной и бездушной Елисаветой въ „М. Стюартъ“, но въ характерѣ послѣдней есть хоть одна свѣтлая черточка—она любитъ Лейстера, хотя въ сценѣ съ Мортимеромъ она производитъ еще болѣе отталкивающее впечатлѣніе, чѣмъ Марина. Еще болѣе походить Марина на жестокую, чуждую всего женственнаго Маргариту, герцогиню Йорскую, въ „Варбекѣ“.

Прямую противоположность Маринѣ составляетъ нѣжный обликъ *Ксеніи* (Аксиніи), проявляющей трогательное величіе въ своемъ несчастіи. Она любитъ чистой любовью Романова и питаетъ отвращеніе къ Дмитрію. Трогательна кончина ея отъ руки Марины, которой она тѣмъ не менѣе рада; принимая ядъ, она восклицаетъ:

„Bringst du mir den Tod! O sei willkommen.
Ich fürchtete, es sei die Czarenkrone“.

Такую же противоположность Маринѣ составлять бы по своей пѣжной женственности и чистотѣ душевной не менѣе привлекательный образъ *Лодонски* въ опущенныхъ Шиллеромъ самборскихъ сценахъ. Ксенія и Лодонска—это какъ бы родныя сестры Аделаиды „Варбека“, искренно любящей и искренно вѣрящей Варбеку, а всѣ вмѣстѣ онѣ имѣютъ нѣкоторую долю сходства и родства съ Тэклой въ „Валленштейнѣ“.

Менѣе всего согласованнымъ съ исторіей и слабѣе другихъ пріуроченнымъ къ развитію дѣйствія въ трагедіи, а вслѣдствіе этого и блѣднѣе всѣхъ охарактеризованнымъ является *Романовъ*. Недаромъ поэтъ и называетъ его какъ-то неопредѣленно, одной фамиліей безъ имени. Эта личность является въ идеальномъ очертавіи: это чловѣкъ прямой, чистый, благородный. Онъ чуждъ мести и честолюбія, изъявляетъ самъ вѣрнопопданническія чувства оскорбленному его Борису, боящемуся даже его. Онъ собираетъ остатки Борисовой партіи и стремится упрочить положеніе дѣтей Бориса, но уже поздно, и всѣ его усилія остаются тщетными. Возвратившись въ

Москву, онъ попадаетъ въ темницу. Онъ чисто и нѣжно любитъ Ксенію и любимъ ею. Въ темницѣ, какъ извѣстно, ему является душа Ксеніи и подаетъ надежду на лучшее будущее. Это несомнѣнно единственная упротворяющая до нѣкоторой степени сцена; она, по словамъ поэта, „erhebt über das Stück hinaus und beruhigt das Gemüth“. По удачному выраженію Лютера, Шиллеру былъ нуженъ этотъ родоначальникъ новой династіи, какъ „носитель идеи законности и справедливости“. Эти личности—Ксенія и Романовъ, „die Liebenden, die teinen“—единственная благородная и свѣтлая пара среди этой сложной сѣти обмановъ и интригъ во 2-й половинѣ трагедіи. Въ силу такого исключительнаго положенія свѣтлаго пятнышка на общемъ мрачномъ фонѣ эта пара невольно вызываетъ воспоминаніе о другой, съ которой она имѣетъ нѣкоторыя сходныя черты: это Максъ и Тэкля, являющіеся среди ужасовъ ожесточенной войны, грохота барабановъ, стука оружія и сѣти ловкихъ интригъ глашатаями искренней идеальной и чистой любви. Сюда же, по только отчасти, можно причислить еще и третью пару—Бургоньшо и Берту въ „Фіеско“. Ни той, ни другой парѣ не суждено было закрѣпить брачными узами своей любви: тамъ погибаетъ героиня, хоть и по собственной волѣ, „онъ“, здѣсь же погибаетъ съ трогательнымъ величіемъ „она“.

Кромѣ упомянутыхъ чертъ сходства Demetrius'а съ другими произведеніями Шиллера, слѣдуетъ отмѣтить еще сходство его въ одномъ отношеніи съ „Орлеанской Дѣвой“ и „Вильгельмомъ Теллемъ“. Надо сказать, что въ произведеніяхъ Шиллера мѣсто дѣйствія измѣняется въ общемъ рѣдко, и дѣйствіе развивается съ необыкновенной быстротой въ самые непродолжительные промежутки времени. Въ Demetrius'ѣ же, мы изъ залы шумнаго и бурнаго Краковскаго сейма переносимся за тихую монастырскую ограду на берега Бѣлаго озера, оттуда на границу Россіи и Польши, а затѣмъ въ русскую деревню и т. д. Самое историческое содержаніе много-сложно и по времени, и по мѣсту дѣйствія и не можетъ укладываться въ опредѣленныя, болѣе или менѣе тѣсныя рамки.

Какъ и въ „Теллѣ“ поэтъ намѣревался здѣсь вывести на сцену толпу и дать нѣсколько яркихъ картинокъ массовой жизни; такую была бы несомнѣнно весьма жизненная картина чтенія манифеста въ русскомъ селѣ, вызвавшего смятеніе въ народной толпѣ. Интересныя самыя имена крестьянъ, это или историческія: Олегъ, Глѣбъ, Игорь, или же народныя—какъ: Тимошка, Петрушка, Ивашка. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что эта сцена, набросанная опытной рукой автора

„Телля“ и „Лагеря Валлепштейна“, будь она отдѣлана вполне, стала бы на ряду съ аналогичными сценами въ вышеназванныхъ произведеніяхъ Шиллера, давшего въ нихъ высокохудожественныя образчики массовой психологій. Какъ мы уже упоминали выше, Шиллеръ почти одновременно работалъ надъ аналогичнымъ, но болѣе блѣднымъ сюжетомъ—Варбекомъ, который такъ и остался въ однихъ наброскахъ плана. Дмитрій имѣеть довольно много общаго съ Варбекомъ, это самозванецъ, но сознательный обманщикъ; онъ напоминаетъ Дмитрія послѣ сцены съ Андреемъ: и его гнететъ то обстоятельство, что ему надо притворяться, и онъ воодушевленъ гуманными влеченіями приносить пользу ближнимъ.

Таковы дѣйствующія лица Demetrius'a, таково отношеніе этого послѣдняго произведенія поэта къ другимъ его произведеніямъ. Нельзя не пожалѣть о томъ, что поэту не суждено было докончить и отдѣлать это замѣчательное произведеніе, но и въ такомъ видѣ оно поражаетъ глубиною замысла, необыкновенной художественностью, необычайной жизненностью, широкимъ размахомъ поэтическаго творчества и, что важнѣе всего, поразительнымъ художественнымъ чутьемъ и тактомъ.

Другимъ замѣчательнымъ произведеніемъ, развертывающимъ предъ нами мастерски воспроизведенныя, полныя жизни картины той же эпохи въ исторіи нашей земли, является одно изъ самыхъ любимыхъ произведеній нашего великаго Пушкина—его „Борисъ Годуновъ“. И нашъ поэтъ создавалъ свое произведеніе въ зрѣлую пору развитія своего генія, и онъ съ особеннымъ вниманіемъ и любовью подготовлялся къ своему художественному труду: читалъ исторію Карамзина, знакомился самостоятельно съ лѣтописями и другими историческими источниками, съ особеннымъ же вниманіемъ изучалъ эпоху смутнаго времени на Руси; увлекался Шекспиромъ, читалъ Авг. Шлегеля „Чтенія о драматическомъ искусствѣ“. Вообще обширны были литературно-историческія занятія, которымъ предавался Пушкинъ въ глуши своего деревенскаго уединенія.

Самое созданіе „Бориса Годунова“, къ которому поэтъ относился весьма серьезно, доставило ему высокое наслажденіе. Процессъ созданія этой драмы не только выяснилъ поэту зрѣлость его богатыхъ творческихъ силъ, но и далъ ему вкусить высокихъ нравственныхъ наслажденій. „Писанная мною въ строгомъ уединеніи, вдали охлаждающаго свѣта, плодъ добросовѣстныхъ изученій, постояннаго труда, трагедія сія доставила мнѣ все, чѣмъ писателю наслаждаться дозволено“, говоритъ самъ поэтъ въ одномъ мѣстѣ. Въ письмѣ къ Раевскому поэтъ пишетъ, что онъ старался соеди-

нить два рода трагедіи въ своемъ „Борисѣ Годуновѣ“: трагедіи съ характерами и трагедіи съ историческою вѣрностью. Здѣсь Пушкинъ самъ указываетъ на двойное значеніе своей драмы, какъ картины исторической и психологической.

Въ своемъ полномъ объемѣ „Борисѣ Годуновѣ“ вышелъ въ 1831-мъ г., хотя былъ написанъ гораздо раньше, знаменитая сцена между Пименомъ и самозванцемъ была напечатана въ 1828-мъ г., а сцена между Курбскимъ и самозванцемъ еще въ 1827-мъ г. Писанъ „Борисѣ Годуновѣ“ въ концѣ 1824-го года приблизительно до половины 1825-го г.

Такимъ образомъ, оба поэта въ пору зрѣлаго творчества писали съ весьма серьезнымъ и добросовѣстнымъ углубленіемъ въ изученіе матеріаловъ и источниковъ, оба относились съ великой любовью къ своимъ произведеніямъ.

Хотя нашъ поэтъ при созданіи своей трагедіи „въ свѣтломъ развитіи происшествій“ слѣдовать, по его собственнымъ словамъ, Карамзину, однако онъ своимъ творческимъ гениемъ сумѣлъ самостоятельно воспользоваться тѣми данными, которыя нашелъ у Карамзина, восполняя ихъ, гдѣ нужно, собственными историческими изученіями, дѣйствительно стараясь въ лѣтописяхъ „угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени“. Въ своемъ „Борисѣ Годуновѣ“ поэтъ-художникъ представилъ намъ такую картину Борисова царствованія, которая по распредѣленію красокъ и по основному своему колориту существенно отличается отъ повѣствованія Карамзина. Недаромъ Пушкинъ при всемъ своемъ увлеченіи и уваженіи къ труду Карамзина говорилъ о „парадоксахъ Карамзина“, утверждалъ, что въ Исторіи Государства Россійскаго есть нѣсколько отдѣльныхъ размышленій, краснорѣчиво опровергнутыхъ вѣрнымъ рассказомъ событій“. Вспомнимъ слова поэта: „Карамзинъ подъ конецъ былъ мнѣ чуждъ“. Врядъ ли возможно согласиться поэтому съ мнѣніемъ Лютера, будто сильнѣйшее вліяніе Карамзина опредѣляло содержаніе трагедіи Пушкина (356-я), не говоря уже о сѣтованіяхъ Н. Полевого и Бѣлинскаго.

Причину рѣзкой переменѣ въ отношеніи народа къ Борису Карамзинъ ищетъ не въ ходѣ историческихъ событій того времени, а исключительно въ настроеніи самого Бориса, который подъ вліяніемъ подозрѣній самъ измѣнилъ свои первоначально добрыя отношенія къ народу: измѣнился царь, измѣнилось и отношеніе народа къ нему. Пушкинъ же художественнымъ чутьемъ своимъ понялъ, что причину событій смутнаго времени и превратностей въ судьбѣ Бориса Годунова нужно искать не только въ самыхъ характерахъ

историческихъ дѣятелей того времени, но и въ настроеніи тѣхъ общественныхъ элементовъ, среди которыхъ имъ приходилось дѣйствовать. Вотъ потому-то поэтъ въ своей драмѣ и отводитъ видное мѣсто характеристикѣ этого настроенія. Въ самомъ началѣ своего произведенія, въ 1-й же сценѣ поэтъ знакомитъ насъ, не выводя еще на сцену самого Бориса, съ той обстановкой, при которой вступаетъ онъ на престолъ, съ тѣмъ настроеніемъ умовъ, которое господствуетъ въ высшихъ сословіяхъ бояръ и немного далѣе—въ простомъ народѣ: бояре завидуютъ ему и негодуютъ въ глубинѣ души на „татарина, зятя Малюты“, „собираются „искусно волновать народъ“; народъ же относится къ избранію, по меньшей мѣрѣ, безучастно. Только въ слѣдующей 4-й сценѣ является самъ Борисъ.

Поэтъ и далѣе весьма живо и ярко рисуетъ предъ нами отдѣльные моменты и эпизоды изъ жизни народной массы; онъ какъ бы отдѣляетъ ея отношеніе, ея мнѣніе къ тому или иному событію. Мы видимъ народъ на красной площади, онъ не знаетъ, кто будетъ его царемъ, всеобщее недоумѣніе разрѣшаетъ дьякъ Щелкаловъ, объявляя, что соборомъ рѣшено просить Бориса еще въ 3-й разъ. Затѣмъ мы видимъ народъ на Дѣвичьемъ полѣ во время упрощиванія Бориса. Послѣ этого народъ фигурируетъ предъ нами на соборной площади, ожидая царскаго выхода изъ собора, часть вѣритъ уже въ то, что появившійся самозванецъ—истинный царевичъ. Далѣе народъ является предъ нами на лобномъ мѣстѣ, гдѣ подъ вліяніемъ умѣло брошенной искры хитрымъ Пушкинымъ въ этой горячей массѣ вспыхиваетъ „пламя ненависти къ Борису потомству, въ пылу этой ненависти онъ, какъ вихрь, несется „вязать, топить Борисова щенка“. Далѣе мы видимъ народъ въ качествѣ зрителя насильственной смерти Борисова потомства. *Начинается* драма изображеніемъ настроенія бояръ и народа къ новому царю Борису, и *кончается* она изображеніемъ состоянія народа и его отношенія къ новому царю, выступающему на смѣну Бориса. Въ отвѣтъ на крики Мосальскаго: „Да здравствуетъ царь Димитрій Ивановичь!“—народъ безмолвствуетъ. Это глубокопсихологическая и высокохудожественная сцена. Безмолвіе народа, потрясеннаго дикой расправой бояръ съ дѣтьми Бориса, которыхъ онъ самъ же такъ недавно собирался „вязать, топить“, поразительно глубоко и вѣрно рисуетъ намъ психическую жизнь толпы и какъ бы указываетъ, что это новое царствованіе, восходящее на такой кровавой зарѣ, будетъ такъ же печально, какъ и заходящее.

Недаромъ поэтъ стремился угадать „образъ мыслей тогдашняго времени“, ставилъ своей задачей „воскресить одинъ изъ ми-

нувшихъ вѣковъ во всей его истинѣ“. Поэтому то у него фигурируетъ не Борисъ только, но и *весь русскій народъ*; интересъ къ отдѣльнымъ лицамъ слабнеть, вниманіе сосредоточивается на общемъ настроеніи и жизни бояръ и народа. Борисъ—не герой трагедіи въ обычномъ смыслѣ этого слова, а только центральный факторъ общаго дѣйствія. Вотъ поэтому-то и самъ поэтъ далъ первоначально своему произведенію заглавіе, гласящее: „Комедія о настоящей бѣдѣ *Московскому Государству*, о царѣ Борисѣ и Гр. Отрепьевѣ“, а закончить рукопись словами: „конецъ комедіи, въ ней же первая персона царь Борисъ Годуновъ“.

Уже изъ первой сцены у Пушкина ясно видно, что Борисъ возведенъ на престолъ вовсе не народною любовью! Вступая на престолъ, онъ не имѣлъ внутренней опоры ни въ боярахъ, ни въ народѣ, и если онъ самъ изображаетъ себя въ своей рѣчи избранникомъ народнымъ, то это сознательный обманъ или самообольщеніе. „Великій обманъ—таково общее впечатлѣніе, оставляемое въ насъ и сценой, гдѣ выступаютъ бояре, и сценой, гдѣ дѣйствуетъ народъ, и рѣчью царя. Но вѣдь обманъ раскроется же когда-нибудь, онъ не можетъ не раскрыться: сѣмя лжи, посвяинное избраніемъ Бориса Годунова, рано или поздно взойдетъ“, говоритъ проф. Ждановъ въ своей прекрасной брошюрѣ (27-я стр.). И дѣйствительно это сѣмя всходитъ. Не полагаясь ни на бояръ, ни на народъ, терзаемый угрызениями совѣсти, Борисъ полагается лишь на силу своего ума и энергію воли, направляя ихъ къ упроченію своего положенія, но этимъ онъ вооружаетъ противъ себя бояръ (жалобы Пушкина въ домъ Шуйскаго) и въ то же время возстановляетъ народъ. Сѣмя лжи и взаимнаго недобѣрія постоянно растетъ. Вѣсть о самозванцѣ падаетъ уже на готовую почву: связь между царемъ и народомъ давно порвалась. Сила самозванца не въ немъ самомъ, а въ общемъ движеніи противъ Бориса. Борису приходится бороться не столько съ самозванцемъ, сколько со всей землей. Онъ не выдерживаетъ этой борьбы, тѣмъ болѣе, что не находитъ опоры въ своей собственной совѣсти (а не всецѣло отъ этого), и умираетъ. Гибнетъ Борисъ, гибнетъ и его сынъ, но уже непосредственно отъ рукъ бояръ. По ходу Пушкинской драмы видно, такимъ образомъ, что Борисъ погибъ бы и въ томъ случаѣ, если бы не былъ убійцей Дмитрія! Вотъ каково освѣщеніе эпохи смутнаго времени и Борисова царствованія у Пушкина: у Пушкинскаго Бориса не было духовнаго единенія съ народомъ.

Не связанные между собою на поверхностный взглядъ сцены заключаютъ въ себѣ глубокое единство, это единство и цѣльность

заключаются въ изображеніи отношенія народа во всѣхъ его слояхъ къ происходящимъ событіямъ, въ жизни и настроеніи этого народа; стоитъ вникнуть въ первую и послѣднюю сцены, и весь потрясетъ одна и та же мысль, одно впечатлѣніе!

Первая персона комедіи—*Борисъ*—человѣкъ простой и добрый по основнымъ чертамъ души, но въ эту спокойную душу закралась тревожная страсть властолюбія. Эта страсть взволновала весь его внутренній міръ, потрясла душу и внесла въ нее адскую муку. Мы встрѣчаемся съ Борисомъ впервые, когда онъ держитъ рѣчь къ боярамъ и патріарху; онъ вступаетъ на престоль, сознавая всю трудность царскаго правленія, „пріемлетъ власть со страхомъ и смиреніемъ“. Задачей своего правленія онъ ставитъ „править во славу свой народъ, быть благимъ и праведнымъ“.

Эта рѣчь, полная мира и любви, полная такихъ свѣтлыхъ надеждъ, производитъ тяжелое и тревожное впечатлѣніе: одновременно съ этими словами слышатся злобныя рѣчи коварнаго Шуйскаго, собирающагося „искусно волновать народъ“, доносятся смѣхъ и шутки безучастной народной толпы... Прошло пять лѣтъ, и передъ нами уже не прежній Борисъ, желавшій „свой народъ въ довольствѣ, во славу успокоить, щедротами любовь его снискать“,—это глубоко несчастный человѣкъ: народное настроеніе успѣло выжиться и опредѣлиться вполне: народъ отшатнулся отъ него. Вѣсть о самозванцѣ даетъ возможность средѣ бояръ, съ самаго начала враждебной Борису, но чувствовавшей себя недостаточно сильной для открытаго протеста, сознать теперь свою силу.

Не легче живется Борису и въ его личной, духовной жизни: онъ мучимъ совѣстью, наединѣ онъ сводитъ съ ней тяжелые счеты, заставляющіе его воскликнуть: „да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста!“ Тяжко карается Борисъ за свое преступленіе. Сознать въ страшныхъ мукахъ совѣсти, что „единое пятно“ является причиною всеобщаго недовѣрія ко всѣмъ благимъ и честнымъ намѣреніямъ, видѣть, что за все добро отплачиваютъ зломъ, что даже несчастье, поразившее его самого, какъ глубоко любящаго отца, приписываютъ его же злымъ кознямъ—это страданія, отчасти искушающія вину Бориса. Постоянная внутренняя тревога, постоянный душевный разладъ дѣлаютъ Бориса подозрительнымъ, и эта подозрительность, развивающаяся все болѣе и болѣе, заставляетъ его измѣнять своему первоначальному плану быть благимъ и праведнымъ; онъ одобряетъ шпионство и доносы; роняя достоинство своего сана,

„досужено порой доносчиковъ допрашиваетъ самъ“. Въ душѣ Бориса происходитъ цѣлый рядъ страшныхъ противорѣчій: умный, религіозный, добрый, онъ становится суевѣрнымъ, озлобленнымъ противъ народа и жестокимъ. Его постоянно и неотступно мучить совѣсть за совершенное убійство, тринадцать лѣтъ сряду спитя ему убитое дитя. Подъ гнетомъ душевныхъ мукъ, все усиливающихся съ момента появленія слуховъ о самозванцѣ, „тяжелой“ становится ему купленная столь дорогой цѣпой „шанка Мономаха“. Душевные муки Бориса еще болѣе усиливаются во время высокохудожественнаго разсказа патріарха о чудѣ отъ мощей убиеннаго отрока Дмитрія. Мысль о томъ, что онъ убійца святого еще глубже потрясаетъ все его существо, еще болѣе теряетъ онъ самообладаніе. А между тѣмъ въ это то время этому душевно разбитому и угнетаемому совѣстью человѣку нужно искусно выдерживать двойную борьбу: одна идетъ подъ стѣнами Путивля, Сѣвска, другая въ сердцѣ государства, въ Москвѣ, на ея широкихъ и шумныхъ площадяхъ. Неудивительно, что Борисъ въ этой борьбѣ, по замѣчанію пр. Жданова, попадаетъ въ какой-то волшебный кругъ, изъ котораго нѣтъ ему уже выхода.

Въ симпатичныхъ чертахъ предстаетъ предъ нами Борисъ въ своемъ тѣсномъ, семейномъ кругу. Есть что-то трогательное и привлекательное, вызывающее симпатію къ личности Бориса, въ пѣжныхъ ласкахъ глубоко любящаго и сострадающаго горю своей дочери отца и въ задушевной, искренней бесѣдѣ съ сыномъ, уснѣхами котораго онъ такъ глубоко интересуется. Вообще теплотою русскаго семейнаго чувства вѣетъ отъ сцены бесѣды его съ дѣтьми, но и эта мирная семейная бесѣда была отравлена приходомъ Шуискаго, принесшаго роковую вѣсть о самозванцѣ.

Располагающій всѣми средствами государственной силы, Борисъ чувствуетъ себя безпомощнымъ передъ самозванцемъ, окруженнымъ наскоро собравшейся толпой. Эту толпу не трудно было бы разогнать, но за нею, очевидно, стоитъ какая-то другая сила, говоритъ пр. Ждановъ. Въ сценѣ съ юродивымъ Борисъ сознавалъ уже, что юродивый говорилъ лишь то, о чемъ молча думали другіе... У Бориса остается еще надежда на Басманова, онъ ласкаетъ его, апеллируетъ къ чувству личнаго честолюбія, не опирающагося ни на родовую гордость, ни на земское довѣріе, но въ силу этого-то въ душѣ Басманова развивается властолюбивая мечта. Волшебный кругъ, обведенный вокругъ Бориса, замкнулся безысходно. Душевная борьба надломила крѣпкій организмъ Бориса, тѣло не выдерживаетъ душевныхъ страданій. Онъ умираетъ. Ясно сознаетъ онъ, что еще нѣсколько мгновеній, и онъ предстаетъ на судъ Бо-

жій; сынъ дороже ему душевнаго спасенія, и онъ, рискуя упустить время для принятія схи́мы, даетъ сыну совѣты относительно его дѣятельности. Но не одна любовь сказывается здѣсь, здѣсь обнаруживается характеръ Пушкинскаго Бориса, въ которомъ ему отказывали многіе критики: Борису важнѣе и дороже душевнаго спасенія не только сынъ, но и упорочіе за всѣмъ его родомъ всего того, чего онъ достигъ съ такимъ трудомъ и изъ-за чего самъ гибнетъ. Невыносимо тяжело и ему быть—только „царемъ“ но не—„царей родоначальникомъ“. При такомъ пониманіи Борисова состоянія длинный предсмертный монологъ, въ которомъ досужіе критики сосчитывали число строкъ, является вполне естественнымъ: Борисъ стремится перелить всю свою вотъ-вотъ готовую потухнуть энергію въ сына, вложить въ его голову все добытое горькимъ и тяжкимъ опытомъ пониманіе жизни и людей и своей власти. Вся энергія въ послѣдній разъ вспыхиваетъ съ особой силой, чтобы затѣмъ угаснуть навѣки.

Въ послѣднія минуты въ душѣ Бориса поднимаются всѣ добрыя стремленія, онъ является здѣсь мудрымъ, опытнымъ и милостивымъ правителемъ. Твердой искренней вѣрой звучатъ его слова: „Богъ великъ! Онъ умудряетъ юность“... Твердыя правдивыя убѣжденія, исполненныя возвышенной чистоты, преподаетъ онъ сыну:

Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость...

Глубокимъ опытомъ, знаніемъ жизни и людей проникнуты его наставленія сыну, какъ будущему царю. Во всей этой сценѣ, въ этомъ завѣщаніи и самомъ сознаніи, что онъ рожденъ быть подданнымъ и ему надлежало бы умереть такимъ во мракѣ, и вообще въ самой смерти Пушкинскаго Бориса есть что-то примиряющее, вызывающее состраданіе къ этому истерзанному душевными муками человѣку.

Карамзинское вліяніе если въ чемъ и сказалось, то въ томъ именно, что Борисъ является несомнѣннымъ убійцею Дмитрія, но и здѣсь вліяніе это не возоблададо надъ творческимъ гениемъ Пушкина: предъ нами развертываются какъ бы двѣ драмы: во *внѣшней*, такъ сказать—отношеніе царя, исполненнаго самыхъ благихъ намѣреній, къ народу и отношеніе народа, волнующаго и подстрекаемаго боярами, къ этому царю, отношенія эти неминуемо приведутъ къ гибели царя; во *внутренней* же—внутреннее раздвоеніе, разладъ, гнѣтъ совѣсти, стремленіе къ тишинѣ, жажда покоя, мира и страсть къ властолюбію.

Самозванецъ Пушкина—сознательный обманщикъ, это чернецъ Григорій Отрепьевъ, бѣжавшій на Литву. Впервые мы встрѣчаемся съ нимъ въ кельѣ Чудова монастыря. „Бѣсовское мечтаніе“ смущаетъ трижды его сонъ. Въ этомъ тревожномъ снѣ—весь будущій самозванецъ. Справедливо отмѣчаетъ Бѣлинскій, какъ по-русски обрисованъ онъ въ этой же первой сценѣ, какая вѣрность въ каждомъ словѣ, въ каждой чертѣ. Бесѣда Григорія съ Пименомъ—факты вѣрнаго глубоко-русскаго изображенія этихъ двухъ вполне русскихъ и столь противоположныхъ другъ другу характеровъ: предъ нами старецъ, вкусившій благъ жизни въ дни своей шумной молодости, чуждый теперь мірской суеты; въ его простодушномъ безхитростномъ разсужденіи—живое созерцаніе духа русской жизни. Энергичная, впечатлительная и жаждущая жизни натура Григорія завидууетъ бурной молодости Пимена, „въ немъ играетъ молодая кровь“, его влечетъ къ себѣ всѣми силами его молодой души міръ, войны и походы. Мысль Григорія, видно, давно уже занимала трагическая судьба царевича. Случайно оброненное Пименомъ слово, что царевичъ былъ бы ровесникомъ Григорія, возбуждаетъ въ его душѣ смутную еще пока борьбу, но онъ уже проникается злобой къ Борису и доволенъ тѣмъ, что отшельникъ въ темной кельѣ въ своемъ безхитростномъ повѣствованіи здѣсь на него „донось ужасный пишетъ“. Въ должествовавшей затѣмъ слѣдовать сценѣ, выброшенной поэтомъ, но напечатанной отдѣльно въ 1833-мъ г., мы слышимъ еще болѣе сильныя жалобы и сѣтованія Григорія на „бѣдное иноческое житіе“. Онъ рѣшаетъ бѣжать. Злой чернецъ, какой-то злобшій обликъ, чуждый какихъ-либо опредѣленныхъ очертаній, напоминающій чернаго рыцаря въ „Орлеанской Дѣвѣ“, какъ бы нашептываетъ иноку его же сокровенныя мечты. Въ уста этого злого чернеца поэтъ влагаетъ истинную причину паденія Бориса:

..... Глупый нашъ народъ
 Легковѣренъ, радъ дивиться чудесамъ и новизнѣ,
 А бояре въ Годуновѣ помнятъ равнаго себѣ.
 Племя древняго варяга и теперь любезно всѣмъ.....

Григорій окончательно рѣшаетъ объявить себя царевичемъ. Послѣ этого мы встрѣчаемся съ нимъ уже на литовской границѣ, гдѣ онъ оказывается весьма находчивымъ, смѣлымъ удалцомъ въ своей продѣлкѣ надъ бѣглымъ монахомъ Мисаиломъ и приставомъ, удирая черезъ окно. Нельзя не замѣтить, что впечатлѣніе этой прекрасной и живой сцены ослабляется излишнимъ эффектомъ—кипжалою, какимъ-то обаяніемъ личности самозванца на всѣхъ окру-

жающихъ и прыжкомъ въ окно, который такъ не правился Бѣлинскому. Затѣмъ изъ устъ бояръ въ домъ Шуфскаго мы узнаемъ, что появившійся Дмитрій былъ слугою у Вишневецкаго, открылся на одрѣ болѣзни духовнику, Вишневецкій принялъ въ немъ участіе и представилъ его Сигизмунду. Все это была тонкая и хитрая игра со стороны Григорія. Отъ бояръ же мы узнаемъ, что общее мнѣніе о немъ таково: „умень, привѣтливъ, ловокъ, по нраву всѣмъ“. Далѣе мы встрѣчаемся опять съ Григоріемъ, онъ признаетъ русскимъ царевичемъ Дмитріемъ и обѣщаетъ распространять католичество, чтобы снискать расположеніе Польши. Сейчасъ же послѣ этого ему представляются его будущіе сподвижники: пылкій и отважный, рыцарски благородный юноша—сынъ Курбскаго, русскіе и поляки, въ числѣ ихъ есть и Карела, представитель казачества съ Дона. Здѣсь же является и поэтъ съ латинскими стихами, устаивающійся за свое подношеніе перстня. Самозванецъ Пушкина—образованный человѣкъ, онъ говоритъ поэту:

Мнѣ знакомъ латинской музы голосъ.

И я люблю парнасскіе цвѣты....

Раньше мы изъ интимной бесѣды между патриархомъ и игуменомъ узнаемъ, что онъ „былъ весьма грамотенъ, читать наши лѣтописи“.

Но вотъ Пушкинскій самозванецъ предстаетъ предъ нами въ другомъ видѣ: это легкомысленный, увлекающійся человѣкъ, въ своемъ увлеченіи польской панной забывающій все свое дѣло и „вотъ ужъ мѣсяць“ шуряющій у Мнишка. Причиной является дочь воеводы Марина: „ужъ онъ въ ея сѣтяхъ“. Въ знаменитой сценѣ у фонтана его личность въ этомъ отношеніи обрисовывается еще болѣе: это мечтатель, питающій, однако, настоящее чувство къ Маринѣ. Онъ хочетъ, чтобы Марина, пришедшая съ тѣмъ, чтобы вывѣдать отъ него всю тайну, забыла въ немъ царевича, „зри во мнѣ любовника, избраннаго тобой“, говоритъ онъ ей. Равнодушно глядитъ онъ въ этотъ мигъ на тронъ, что безъ любви ея ему жизнь, и славы блескъ, и вся русская держава! „Въ глухой стѣнѣ, въ землянкѣ бѣдной—ты, ты замѣнишь мнѣ царскую корону“, говоритъ этотъ идеалистъ-мечтатель въ данный моментъ. Его настроеніе рѣзко противорѣчитъ настроенію Марины, готовой отдать руку только „наслѣднику московскаго престола“. Въ пылу страсти, въ порывѣ гнѣва онъ, видя ея уловки, открываетъ ей свою страшную тайну: „я бѣдный черноризецъ“. Онъ забываетъ въ этотъ мигъ обо всѣмъ другомъ, ему важно то, что этимъ признаніемъ онъ наноситъ ударъ „падменной“ Маринѣ. Она отвергаетъ его, она—

полная противоположность ему въ данный мигъ: по ея можно открыться изъ дружбы, радости или усердія, но „проболтаться изъ любви“—это ужъ ни на что не похоже, а между тѣмъ его принудила „все высказать“ „любовь ревнивая, слѣпая“. Чѣмъ язвительнѣе послѣ этого она задѣваетъ его самолюбіе, тѣмъ все болѣе крѣпнеть въ немъ сознаніе собственнаго достоинства. Онъ указываетъ на то, что въ немъ „доблести таятся, можетъ быть, достойныя Московскаго престола“. Должнью дань этимъ доблестямъ отдаетъ и Марипа, находящая, что онъ долженъ быть достойнымъ своего успѣха, разъ могъ чудесно ослѣпить два народа. Какъ отлично знаетъ самъ самозванецъ свое положеніе: въ отвѣтъ Маринѣ, грозящей обнаружить дерзостный обманъ, онъ отвѣчаетъ, что никто и не думаетъ о правдѣ его словъ, онъ—„предлогъ раздоровъ и войны!“ Недаромъ въ этихъ словахъ хитрая и расчетливая Марина слышитъ рѣчь „не мальчика, но мужа“, которому можетъ довѣриться опять. По ея настоянію онъ рѣшаетъ на слѣдующій же день двинуть рать на Москву.

Итакъ самозванецъ двинулъ свою рать на Москву. Вотъ онъ на границѣ русской земли, онъ ѣдетъ впереди съ Курбскимъ. Курбскій предается чистой радости, въ неудержимомъ порывѣ восторга „пѣть“ онъ „жадно воздухъ новый“. Самозванецъ ѣдетъ тихо съ поникшею головою, ему грустно, что „кровь русская, о Курбскій, потечетъ!“ Здѣсь сказывается въ Пушкинскомъ самозванцѣ истинно русскій человѣкъ, любящій эту русскую кровь, привязанный къ русской землѣ. У него является какъ бы укоръ совѣсти за совершаемое: „Вы за царя подняли мечъ, вы чисты“ (вы вѣрите въ меня и въ правоту моихъ притязаній), я же васъ веду на братьевъ, я Литву позвалъ на Русь, я въ красную Москву кажу врагамъ дорогу!“ Здѣсь самозванецъ проникается истиннымъ патриотизмомъ. личность его здѣсь болѣе привлекательна. Сцена эта раскрываетъ предъ нами внутреннее состояніе самозванца, когда онъ долженъ сейчасъ сдѣлать первый рѣшительный шагъ свой на родной землѣ; вполне естественно, что въ эту то минуту и сказала со всей силой любовь къ русской землѣ, явились укоры совѣсти, сказался истинно русскій человѣкъ, пылкій и впечатлительный.

Затѣмъ поэтъ переноситъ насъ на равнину близъ Новгорода Сѣверскаго, предъ нами сцена, интересная своей необычайной живостью, пестрой смѣсью языковъ и лицъ, тонкими оттѣнками національныхъ различій. Дмитрій побѣдилъ и сейчасъ же приказываетъ ударить отбой: онъ щадитъ „русскую кровь“. Въ сценѣ подъ Сѣвскомъ самозванецъ является личностью, отъ которой такъ и

вѣсть безпечной удалю и горячностью чувства. Въ боевомъ пылу онъ рѣшаетъ сразиться съ Борисовымъ войскомъ въ сто пятьдесятъ тысячъ, имѣя всего лишь самъ около пятнадцати тысячъ. Слѣдующая сцена въ лѣсу рисуесть предъ нами послѣдствія этого шага. Дмитрій разбитъ. Здѣсь онъ является еще болѣе безпечнымъ, легкомысленнымъ человѣкомъ: онъ всецѣло поглощенъ заботой о своемъ издыхающемъ конѣ, а между тѣмъ все войско его „побито въ прахъ“. Онъ восхищается стойкостью нѣмцевъ и мечтаетъ составить себѣ изъ нихъ почетную дружину. Лучшей характеристикой его въ данный моментъ являются слова боярина Пушкина.

„Разбитый въ прахъ, спасаясь побѣгомъ,
Безпеченъ онъ, какъ глупое дитя.“

Въ слѣдующей сценѣ мы узнаемъ изъ словъ Бориса, что самозванецъ вновь собрать разбѣянное войско и „со стѣнъ Путивля угрожаетъ“. Закапчивается все произведеніе провозглашеніемъ со стороны бояръ Дмитрія царемъ, при чемъ народъ въ ужасѣ отъ всего предыдущаго молчитъ, его молчаніе—пѣмой приговоръ самозванцу.

Такъ очерчена у Пушкина личность самозванца. Это бѣглый разстрига Гришка Отрепьевъ, сознательный обманщикъ отъ начала до конца, но вмѣстѣ съ тѣмъ это личность эгергичная, живая, впечатлительная, съ задатками добра, личность не чуждая благородныхъ порывовъ, отличающаяся безпечной удалю, пылкостью чувства, любовію къ родинѣ и въ то же время крайнимъ легкомысліемъ. Это человѣкъ русскаго происхожденія, но подвергшійся вліянію польской шляхты. Самозванство его, по взгляду Пушкина, ясно для всѣхъ; онъ самъ въ сценѣ съ Мариной сознаетъ это; сознаетъ это и Басмановъ, переходящій въ концѣ концовъ на его сторону. Хотя Пушкинъ не вполне понялъ историческую личность перваго самозванца, его убѣжденность въ своемъ происхожденіи, хотя онъ остался при убѣжденіи, что самозванецъ и Гришка Отрепьевъ—одно и тоже лицо и надѣлилъ этого Гришку поразительной хитростью (болѣзнь въ домѣ Вишневецкаго), тѣмъ не менѣе онъ воспроизвелъ въ немъ нѣсколько хорошихъ и благородныхъ чертъ и порывовъ, которыми обладалъ и историческій самозванецъ.

Въ данное время историческая наука не сомнѣвается въ томъ, что Лжедмитрій и Гришка два совершенно различныхъ лица, и русское правительство хорошо знало это и тогда, какъ это видно изъ документовъ Данцигскаго архива и отчета о приѣмѣ Сигизмундомъ Борисова гонца Постника Огарева. Въ официальномъ

письмѣ Бориса къ Сигизмунду говорилось, что бѣжалъ Гришка Отрепьевъ, а въ словесномъ показаніи Огарева говорится и о сынѣ приказнаго Дмитрія Реоровичѣ (Григорьевичѣ). Понятной потому становится и вся путаница въ современныхъ литературныхъ памятникахъ: они никакъ не могутъ передѣлать Гришку въ Дмитрія.

Врядъ ли быть знакомъ историческому самозванцу „латинской музы голосъ“. Драгоцѣнное письмо его къ папѣ, которому нуженъ былъ автографъ, хранящееся въ подлинникѣ въ Ватиканскомъ музеѣ и тщательно изслѣдованное пр. Бодуенъ-де-Куртенэ и Пташицкимъ, доказываетъ, что лицо, писавшее его, писать по польски не умѣло, не говоря о латинскомъ языкѣ; палеографическая сторона показываетъ, что оно всегда писало по-русски и употребило мѣстами и въ этомъ письмѣ русскія буквы того времени.

Основной чертой въ характерѣ Пушкинской *Маринь* является честолюбіе. Полевой находилъ, что Марина „отдѣчена сильно“; Бѣлинскій признавалъ, что характеръ ея выдержанъ „последовательно“. Въ характеристикѣ Маринь сказалась также самостоятельность Пушкинскаго творчества, здѣсь мы убѣждаемся еще лишній разъ въ отсутствіи рабскаго слѣдованія Карамзину. Карамзинская Марина—вѣтреная прелестница, Лжедмитрій вскружилъ ей голову именемъ царевича. Пушкинская Марина, наоборотъ, вскружила голову самозванцу: умѣла вырвать отъ него признаніе въ обманѣ и заставила его забыть этотъ обманъ. Это хитрая кокетка, въ сѣтяхъ которой вскорѣ запутывается самозванецъ. Она любитъ московскій тронъ, руку свою она отдаетъ не извѣстной личности, но „последнику Московскаго престола“. Она полная противоположность въ это время, какъ мы уже отмѣтили выше, самозванцу: онъ жаждетъ любви, а она не только не любитъ его, но и вообще не можетъ понять, какъ можно „проболтаться“ изъ любви. Она холодно перебиваетъ еще въ самомъ началѣ пламенный потокъ изліяній Дмитрія и требуетъ открытія ей тайныхъ его надеждъ и плановъ, заявляя, что она желаетъ:

„Пустится въ жизнь—не съ дѣтскою слѣпотой,
 Не какъ раба желаній легкихъ мужа...
 Но какъ
 Помощница московскаго царя“...

Последнее для нея въ сущности все. Маринѣ нужно узнать, истинный ли онъ царевичъ, или нѣтъ, и она своими уловками заставляеть его въ пылу страсти открыть свой обманъ. Но ей важно

не его истинное происхождение, а самый фактъ обнаруженія тайны. Съ холодной расчетливостью разсуждаетъ она: „Могу ль, скажи, предаться я тебѣ... Когда ты самъ съ такою простотою такъ вѣтрено позорь свой обличаешь?“ Когда въ самозванцѣ пробуждается подъ градомъ ея издѣвательствъ гордое сознаніе собственнаго достоинства, когда она убѣждается въ томъ, что онъ отлично сознаетъ, въ чемъ его сила, словомъ когда она слышитъ рѣчь „не мальчика, но мужа“, да еще при этомъ соображаетъ, что если онъ могъ ослѣпить чудесно два народа, то долженъ быть достоинъ успѣха, а слѣдовательно и ея, она готова „безумный порывъ“ его забыть, она можетъ теперь ввѣриться ему. Сейчасъ же она торопитъ его очистить кремль, сѣсть на престолъ Московскій и слать за нею брачнаго посла. Такова Пушкинская Марина. Самъ самозванецъ, испытавшій на себѣ всю силу ея гордости и надменности, весь ядъ ея злобы и хитрости, даетъ по уходѣ ея удачную и мѣткую ея характеристику:

И путается, и вьется, и ползетъ,
Скользитъ изъ рукъ, шипитъ, грозитъ и жалитъ.
Змѣя! Змѣя!.....

Недаромъ ее въ предыдущей небольшой сценѣ въ домѣ Мишика одинъ „кавалеръ“ назвалъ „мраморной нимфой“. Она чужда всего жепетвеннаго, она холодная, расчетливая, себялюбивая кокетка и при томъ далеко не легкомысленная, какъ то утверждали нѣкоторые критики. Старый Мишекъ во власти своей дочери, онъ хвалится своею Мариною, ея имя не сходитъ съ его устъ. Орудіемъ въ ея рукахъ для достиженія ея честолюбивыхъ замысловъ является и самозванецъ, только послѣ ея настояній онъ рѣшается „заутра двинуть рать“.

Яркою противоположностью Маринѣ по нѣжной женственной граціи и глубоко вѣрному національному колориту является симпатичный обликъ *Ксеніи*. Это образъ вѣрной навсегда своему суженому невѣсты. Она не можетъ никогда забыть своего милаго жениха, прекраснаго королевича: „никогда не утѣшусь, вѣчно по тебѣ плакать буду“, говоритъ она. Не умеръ въ ея сердцѣ ея суженый, которому повѣрила она первую дѣвическую любовь свою: „нѣтъ мамушка, я и мертвому буду вѣрна“, говоритъ она своей мамкѣ. Это народный обликъ красной дѣвицы, которой не судить Богъ жить со своимъ добрымъ молодцемъ. Справедливо сказать Гоголь: „будто пѣсню слышишь нашу русскую... когда вы читаете наивную рѣчь Ксеніи“. Мученическая кончина ея еще болѣе располагаетъ читателя къ себѣ. Это образъ народный, чисто

русскій по своему характеру, въ уста ей поэтъ влагаетъ чисто народныя поэтическія обороты: „не мнѣ ты достался, не своей невѣстѣ, а темной могилкѣ на чужой сторонкѣ“. Вспомнимъ поэтическую символику нашихъ народныхъ пѣсенъ: изображеніе смерти въ видѣ женитьбы на земляночкѣ, могилочкѣ, зеленой муравочкѣ.

Этой народностью, духомъ древней Руси, духомъ времени, вообще русскимъ духомъ вѣетъ отъ всего произведенія.

Вспомнимъ высокохудожественный образъ древняго русскаго лѣтописца въ лицѣ Пимена, идеаль безмятежнаго спокойствія въ простотѣ ума и сердца, въ рѣчи котораго чувствуется живое созерцаніе духа русской жизни, слышится живой голосъ древняго русскаго лѣтописца; вспомнимъ далѣе—рѣчь патріарха о чудесахъ, творимыхъ останками царевича и о исцѣленіи стараго пастуха отъ слѣпоты; небольшую сценку между патріархомъ и игуменомъ, написанную прозой; обликъ мамки Ксеніи, этотъ яркій образъ русско-народнаго простосердечія, искренняго и задушевнаго добродушія, она сказала всего нѣсколько словъ и высказалась во всемъ своемъ цѣломъ—одинъ штрихъ гениальнаго художника, и предъ нами возстаетъ яркій, цѣлостный и законченный образъ изъ русской народной жизни; вспомнимъ тонкое воспроизведеніе иногда однимъ словомъ, намекомъ національныхъ особенностей русскихъ и поляковъ; наконецъ—самый языкъ, простой и изящный, на которомъ такъ видно вліяніе лѣтописей и грамотъ—все это живьемъ взято изъ русской жизни и воссоздано высоко художественно и глубоко вѣрно!...

Таковы эти два произведенія со стороны содержанія, концепціи поэтовъ и отношенія къ исторической дѣйствительности.

Никакихъ положительныхъ данныхъ, подтверждающихъ знакомство нашего поэта съ Шиллеровскимъ „Demetrius'омъ“, не имѣется. Извѣстно, что Пушкинъ въ Михайловскомъ читалъ весьма много и вообще усилленно занимался, восполняя историческія и литературныя познанія; онъ обнаруживаетъ въ этотъ періодъ уже полную зрѣлость критической мысли. Онъ интересовался въ это время Шекспиромъ, Вальтеръ-Скоттомъ, Гетевскимъ Фаустомъ, книгой Авг. Шлегеля и Шиллеромъ, но былъ ли онъ знакомъ съ этимъ именно фрагментомъ—неизвѣстно. Мы знаемъ зато, что этимъ фрагментомъ интересовался Жуковскій. Нѣмецкій изслѣдователь Попекъ высказалъ скорѣе догадку, чѣмъ предположеніе о томъ, что возможно допустить знакомство Пушкина съ этимъ именно произведеніемъ Шиллера („Mann kann vermuthen, dass der Dichter dessen Fragment gelesen hat“, говоритъ онъ). Свое мнѣніе онъ подтверждаетъ указаніемъ на сходство сцены на русской границѣ у Шиллера со сценой на литовской границѣ у Пушкина.

Дѣйствительно, на первый взглядъ въ этихъ двухъ сценахъ есть нѣчто общее. И Шиллеровскій и Пушкинскій Дмитрій при совершеніи перваго рѣшительнаго шага на родной землѣ оба страдаютъ въ душѣ отъ сознанія, что они несутъ родной землѣ рядъ бѣдствій и ужасовъ войны. Но есть глубокая разница въ тѣхъ чувствахъ, какія они переживаютъ въ это время. Чувства Шиллеровскаго Дмитрія глубже, въ его испрашиваніи прощенія у родной земли чувствуется болѣе глубокая скорбь, здѣсь больше задушевности, въ его словахъ слышится болѣе горячая любовь къ родинѣ, затѣмъ у него проскальзываетъ чувство радости, охватившей его при видѣ родной земли, онъ любитъ ее; онъ вѣритъ въ себя, въ правоту своего дѣла и скорбитъ о томъ, что, отстаивая совершенно законное дѣло, онъ наноситъ вредъ своей въ полномъ смыслѣ этого слова землѣ. Въ Пушкинскомъ же самозвалцѣ вмѣстѣ съ любовью къ русской землѣ русскаго человѣка пробуждаются укоры совѣсти, сознаніе своей неправоты, какъ бы раскаяніе въ томъ, что вѣдь онъ ведетъ своихъ приверженцевъ на братьевъ, обманывая ихъ сознательно въ своемъ царскомъ происхожденіи; вотъ поэтому то онъ и завидуетъ „чистой“ радости Курбскаго, готовящагося „законнаго царя“ возвратити отечеству; недаромъ онъ говоритъ: „вы чисты, я жъ васъ веду на братьевъ“. У него именно нѣтъ радости при видѣ родной земли, напротивъ того, быть можетъ, эта родная земля, которую онъ любитъ несомнѣнно, и вызвала у него укоры совѣсти, заставила сознать всю неправоту своего дѣла! Но далѣе онъ овладѣваетъ собой и сваливаетъ всю вину за свой поступокъ на голову Бориса: „пусть мой грѣхъ падетъ на тебя, Борисъ цареубійца!“ Вотъ этой то враждебности и затаенной злобы къ Борису нѣтъ вовсе у Шиллеровскаго Дмитрія.

У Шиллера сцена происходитъ весной, мѣстность веселая, живописная, онъ какъ бы подчеркиваетъ красоту мѣстности, чтобы отгнать еще сильнѣе любовь и восхищеніе Дмитрія. Пушкинъ же придерживается исторической дѣйствительности, мы имѣемъ у него 16-го октября 1604-го года. Та же разница и въ чувствахъ Дмитріевъ: Пушкинскій—холоднѣе, жестче и бездушнѣе, Шиллеровскій—нѣжнѣе, добрѣе и жизнерадостнѣе! Сходство этихъ сценъ врядъ ли даетъ возможность предполагать знакомство нашего поэта съ Шиллеровскимъ произведеніемъ: совпаденіе этихъ сценъ весьма легко можетъ быть и случайнымъ. Поэтъ, обрабатывающій этотъ сюжетъ, вполне естественно и самостоятельно могъ удѣлить мѣсто столь эффектному для драматизаціи моменту въ жизни самозванца—сценѣ вступленія его съ законными, или незаконными правами въ свою родную землю. Этотъ эпизодъ

въ развитіи судьбы самозванца и вообще въ исторіи всей современной ему эпохи является весьма важнымъ и необходимымъ, и потому самый фактъ нахождения у обоихъ поэтовъ пограничной сцены, даже и при совпадении нѣкоторыхъ внѣшнихъ деталей — не можетъ доказывать еще ничего! Къ этому еще слѣдуетъ добавить то, что весьма последовательно выдержанъ общій колоритъ сцены: у обоихъ поэтовъ мы находимъ полнѣйшую гармонію внѣшней обстановки съ внутреннимъ состояніемъ самозванца, затѣмъ самая сцена является вполне естественной и поразительно гармонирующей съ общей обрисовкой самозванца у обоихъ поэтовъ и не противорѣчитъ ни всему произведенію въ его цѣломъ, ни личности и характеру самозванца въ частности, а врядъ ли бы это было такъ, если бы сцена эта была привнесена извнѣ, не задумана и создана самимъ нашимъ поэтомъ, а заимствована! Оба художника-психолога внесли весьма много оригинальнаго и своеобразнаго въ обрисовку внутренняго міра своихъ героевъ, и въ этомъ глубокая разница!

Что касается сходства въ обрисовкѣ *Марины* у обоихъ поэтовъ, то здѣсь мы имѣемъ вѣроятно совпаденіе въ силу общности источниковъ, которыми пользовались оба поэта. Пр. Ждановъ указалъ на сходство Пушкинской Марины съ ея изображеніемъ въ „Краткой повѣсти о бывшихъ въ Россіи самозванцахъ“ Щербатова, но мы знаемъ также, что Вольцогенъ рекомендовалъ между прочимъ Шиллеру познакомиться именно съ этимъ трудомъ; неизвѣстно, правда, получилъ ли Шиллеръ эту книгу, которую ему обѣщаль привезти изъ Петербурга Вольцогенъ, но, быть можетъ, Вольцогенъ передалъ ему устно содержаніе этого сочиненія. У Щербатова Марина — „дѣва гордая, хитрая, дерзновенная“, которая, „меня видѣть въ Отрепьевѣ законнаго наследника... желала его супругою быть, а и самъ Отрепьевъ... желалъ сего супружества“.

Основной чертой въ характерѣ и Пушкинской и Шиллеровской Марины является себялюбивое и разсчетливое честолюбіе. Но есть большая разница въ обрисовкѣ этой личности у обоихъ поэтовъ. Шиллеровская Марина еще болѣе честолюбива, ея честолюбіе не имѣетъ границъ, она одарена богатой и живой фантазіей и сильной экзальтаціей, она хитра и искусна ведетъ свои дѣла. Она производитъ несомнѣнно болѣе отталкивающее впечатлѣніе, чѣмъ Пушкинская Марина; она вызываетъ отвращеніе своимъ низкимъ и коварнымъ поведеніемъ послѣ убіенія Дмитрія, своею суровою расправою съ Ксеніей и своею циничной откровенностью по отношенію къ Дмитрію. Шиллеровская Марина дальновиднѣе, само-

увѣреннѣе и властолюбивѣе Пушкинской. Шиллеровская Марина стремится къ тому, чтобы Дмитрій все время нуждался въ ея помощи и не сбросилъ ея „путь“, она желаетъ слѣдить за малѣйшимъ шагомъ Дмитрія; Пушкинская Марина идетъ на свиданіе у фонтана, чтобы „узнать все“ и прежде всего требуетъ отъ самозванца открытія ей всѣхъ тайныхъ плановъ и надеждъ. И той и другой Маринѣ далеко не такъ важно убѣдиться въ истинности царскаго происхожденія Дмитрія. Шиллеровская Марина полагается на себя, на свою „мысль“, а за Дмитріемъ оставляетъ лишь „имя, вдохновеніе“, она „мысленно“ ведетъ дружины на войну; Пушкинской же — важно убѣдиться, можетъ ли она положиться вполне на самозванца въ томъ, что онъ сохранитъ въ тайнѣ обманъ? Она желаетъ быть только его „помощницей“, на себя она не полагается, но ей важно убѣдиться, можетъ ли она положиться въ данномъ случаѣ на другого, и она убѣждается въ этомъ. И та и другая его не любятъ. Шиллеровская Марина вертитъ какъ пѣщкой Одовальскимъ, отцомъ, да и Дмитріемъ; Пушкинская также подчиняетъ себя отцу, а затѣмъ и самозванца. Вообще Шиллеровская Марина очерчена болѣе темными штрихами, чѣмъ Пушкинская: въ обрисовкѣ ихъ характеровъ есть общія черты, но всѣ онѣ сильнѣе развиты у Шиллеровской Марины, это личность болѣе гордая и болѣе властная.

Контрастъ при сопоставленіи съ личностью Марины и у Пушкина и у Шиллера составляетъ *Ксенія*. У обоихъ поэтовъ это женственный, нѣжный обликъ, возбуждающій симпатію и состраданіе. Нельзя, однако, не признать, что у Шиллера личность ея слишкомъ идеализирована, немного искусственны ея предсмертныя слова передъ принятіемъ яда. Вся прелесть и привлекательность Пушкинской Ксеніи — въ истинной народности и національности этого образа!

Шиллеровскій *Борисъ* отличается, главнымъ образомъ, тѣмъ, что у него особенно ярко сказываются гордость, страстная привязанность къ безграничной власти и вообще повышенное представленіе о своемъ превосходствѣ надъ всѣми, хотя, несомнѣнно, онъ выше всѣхъ его окружающихъ. Эти черты его характера усиливаютъ въ его глазахъ несчастье и приводятъ его къ самоубійству. У Пушкинскаго Бориса есть эта черта, но она вовсе не сказывается съ такой силой. По своей основной природѣ Пушкинскій Борисъ — человекъ, любящій покой и тишину, но въ его душу запала страсть честолюбія. И Пушкинскій и Шиллеровскій Борисъ — искусный и мудрый правитель, заботящійся о благѣ своихъ подданныхъ. Пушкинскій Борисъ въ душѣ своей страдаетъ отъ „единого пятна“ на

совѣсти, которое онъ всячески старался загладить; Шиллеровскій—надѣялся, какъ видно изъ наброска бесѣды его съ Ювомъ, загладить эту „одну вину“ неустанной работой на благо народа. Пушкинскій Борисъ—пѣжрый и любящій отецъ, таковъ же и Шиллеровскій въ своемъ семейномъ кругу. Подъ вліяніемъ все возрастающаго успѣха самозванца Пушкинскій Борисъ „ворожить, что красная дѣвица“, Шиллеровскій—начинаетъ вѣрить во всякія примѣты. И Пушкинскій, и Шиллеровскій Борисъ метителенъ въ своихъ личныхъ дѣлахъ.

Болѣе сходства въ характерѣ Борисовъ нѣтъ, зато какая разница: Шиллеровскій Борисъ не придаетъ никакого значенія первымъ слухамъ о Дмитріи, самъ считаетъ для себя унизительнымъ выступить противъ него, да и мѣръ въ сущности не принимаетъ никакихъ; Пушкинскаго же Бориса глубоко поражаетъ первый же слухъ о царевичѣ, у него является сомнѣніе относительно того, не было ли подмѣна; онъ мучится при мысли, что онъ убійца святого, къ тому же еще онъ страдаетъ отъ всеобщаго недовѣрія народа и злокозней бояръ. Пушкинскій Борисъ страдаетъ глубже и мучительнѣе, чѣмъ Шиллеровскій. Пушкинскій Борисъ гибнетъ подъ гнетомъ несчастья, въ борьбѣ съ которымъ онъ безсиленъ, Шиллеровскій же Борисъ если и страдаетъ, то, главнымъ образомъ, въ силу того, что не можетъ пережить своего величія и кончаетъ съ собой, смѣло глядя въ глаза смерти, которая избавляетъ его отъ позора развѣнчиванія. Пушкинъ отгвѣнилъ угрызенія совѣсти, духовную жизнь Бориса, избравъ его центральнымъ лицомъ своей драмы. Шиллеръ же, у котораго Борисъ является второстепеннымъ лицомъ, почти не коснулся этихъ чертъ, хотя и его Борисъ — царевича. И въ Пушкинскомъ Борисѣ есть эта любовь къ власти, какъ мы указали немного выше, но она не сказывается такъ сильно, не является первенствующей чертой въ его характерѣ. Эта черта сказывается въ характерѣ Пушкинскаго Бориса въ его предсмертномъ завѣщаніи, какъ было отмѣчено нами при разборѣ личности Пушкинскаго Бориса; гордость же Пушкинскаго Бориса сказалась въ тотъ моментъ, когда онъ отвергъ помощь Свейскаго короля въ борьбѣ съ Дмитріемъ. Если, по мнѣнію Кеттнера, Шиллеръ въ трагической катастрофѣ подчеркнул не столько мысль Немезиды за убійство царевича, сколько гибель человѣка въ борьбѣ съ непобѣдимой судьбой, то и Пушкинъ не такъ ужъ всецѣло и исключительно подчеркнул эту месть (конечно, у Пушкина эта мысль ярче, чѣмъ у Шиллера): его Борисъ, терзаемый внутренними муками, гибнетъ въ борьбѣ съ историческими условіями, складываю-

щимися для него крайне неблагоприятно, именно въ борьбѣ съ той „буиной русской олигархіей“, о которой, по мнѣнію Полевого, Пушкинъ забылъ, которая у Пушкина, однако еще, до вступленія Бориса на престолъ собиралась „искусно волновать народъ“. Вспомнимъ, что и Шиллеровскій Борисъ нарывается на оскорбленія со стороны бояръ, что его подъ конецъ „болѣе боятся, чѣмъ любятъ“.

При сопоставленіи характеровъ Бориса въ томъ и другомъ произведеніи не слѣдуетъ оставлять безъ вниманія того соображенія, что личность Бориса у Шиллера является второстепеннымъ лицомъ, у Пушкина же онъ—центральное лицо на общемъ фонѣ русской жизни. Нашъ поэтъ задался цѣлью изобразить судьбу Бориса. Шиллеръ—судьбу Дмитрія. Если, по мнѣнію Полевого, Шиллеръ „глубоко и поэтически понялъ и хотѣлъ изобразить Бориса“, то и Пушкинъ глубоко задумалъ и психологически вѣрно изобразилъ характеръ своего Бориса, отгнѣнивъ въ немъ ярко внутреннюю его, духовную жизнь, отношеніе его къ народу и народа къ нему. Шиллеровскій Борисъ въ общемъ производитъ впечатлѣніе человѣка болѣе твердаго характера и болѣе сильной воли, но Пушкинскій Борисъ, лицо вполне русское, вызываетъ къ себѣ больше симпатіи и состраданія, онъ человѣкъ болѣе глубокаго и болѣе тонко развитого чувства.

Обратимся теперь къ личности *Дмитрія*. Несомнѣнно, Шиллеровскій Дмитрій производитъ болѣе благоприятное впечатлѣніе. Шиллеръ болѣе приблизился къ пониманію исторической личности Дмитрія, его Дмитрій—убѣжденный въ своемъ происхожденіи человѣкъ, безсознательный обманщикъ, и только у самой цѣли онъ узнаетъ роковую тайну своего происхожденія и въ силу своей воли становится сознательнымъ самозванцемъ. (Въ первоначальныхъ опущенныхъ Шиллеромъ сценахъ Дмитрій носитъ имя Гришки). Пушкинскій же Дмитрій—сознательный обманщикъ отъ начала до конца. Въ то время, какъ Шиллеровскій Дмитрій говоритъ о „слияній двухъ народовъ во-едино“, прося забыть прежніе раздоры, и вообще идеалистически смотритъ на „храбрый независимый народъ“, который долженъ преклонять ухо ко всему, что человѣчно, Пушкинскій самозванецъ отлично сознаетъ, что онъ является „предлогомъ раздоровъ“ и что въ этомъ до пѣкоторой степени его сила. Шиллеровскій Дмитрій вообще чуждъ той находчивости и удали, какую проявляетъ Пушкинскій самозванецъ въ корчмѣ на Литовской границѣ, тѣмъ болѣе—той безопасности, какой отличается Пушкинскій—послѣ пораженія. Шиллеровскій Дмитрій, наоборотъ, послѣ первой же неудачи чуть не кончаетъ съ собой. Нѣтъ у него и той хитрости, какой надѣлалъ съ такимъ избыткомъ Пушкинскій

Дмитрій, прибѣгающій къ цѣлому ряду хитрыхъ обмановъ, особенно въ домѣ Вишневецкаго. Нѣтъ у Шиллеровскаго Дмитрія и такого легкомыслія: не сталъ бы онъ, забывъ обо всемъ на свѣтѣ, пировать мѣсяць у Мнишка. Затѣмъ, что очень характерно, у Шиллеровскаго Дмитрія нѣтъ затаенной злобы противъ Бориса ни до узнанія своего происхожденія, ни послѣ, а вѣдь Шиллеровскій Дмитрій имѣлъ болѣе основательныя причины считать его своимъ врагомъ, похитителемъ его законнаго права и собственности: Пушкинскій же Дмитрій проникнутъ ненавистью и злобой противъ Бориса съ самаго начала. Выше нами уже было отмѣчено что чувства, переживаемыя Шиллеровскимъ Дмитріемъ на границѣ, несомнѣнно глубже и чище чувствъ Пушкинскаго. Шиллеровскій Дмитрій сильно и тяжело страдаетъ: ужасныя душевныя муки переживаетъ онъ при роковой встрѣчѣ съ Андреемъ, затѣмъ въ свиданіи съ матерью, гдѣ гаснетъ послѣдній лучъ надежды на истинность его происхожденія, наконецъ, глубоко страдаетъ онъ, вступая въ бракъ съ Мариной, погубившей любимую имъ Ксенію. Ничего подобнаго не испытываетъ Пушкинскій самозванецъ: на него находятъ облачко грусти при переходѣ черезъ границу, здѣсь онъ серьезнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было въ другихъ случаяхъ, когда онъ самоувѣренъ и безпеченъ. Насколько Пушкинскій Борисъ живетъ болѣе глубокой духовной жизнью, сильнѣе страдаетъ и глубже чувствуетъ свои страданія, настолько духовная жизнь Шиллеровскаго Дмитрія глубже, богаче и разнообразнѣе въ своихъ проявленіяхъ. Шиллеровскій Дмитрій вызываетъ несомнѣнно симпатію и состраданіе не только въ первой половинѣ пьесы, но и до конца.

Въ сценѣ у фонтана Пушкинскій самозванецъ любитъ Марину искреннимъ и сильнымъ чувствомъ въ родѣ того, какое питаетъ Шиллеровскій Дмитрій къ Ксеніи; подъ конецъ сцены онъ не любитъ ея уже прежней любовью, она ему только нравится. Шиллеровскій же Дмитрій, вѣроятно, и не любилъ никогда Марины такъ, какъ любитъ ее на первыхъ порахъ Пушкинскій самозванецъ, онъ только увлекся ею, полюбилъ же истинной любовью Ксенію. Шиллеровскій Дмитрій—натура болѣе впечатлительная, нѣжная и болѣе чуткая къ красотамъ природы, Пушкинскій же—самоувѣреннѣе, это человекъ легко увлекающійся, легкомысленный и безпечный. Шиллеровскій Дмитрій не говоритъ и не сказалъ бы, что въ немъ „таятся доблести, достойныя московскаго престола“.

Относительно Пушкинскаго самозванца можно сказать словами Шиллера, относящимися къ Варбеку: „обманъ, несмотря на всѣ качества, отталкиваетъ“... Несомнѣнно, Шиллеръ ближе и психоло-

гичнѣ подошелъ къ исторической личности перваго самозванца, характеръ его обрисованъ глубже и разностороннѣ, чѣмъ Пушкинскаго. Если и Шиллеръ неудачно подошелъ къ вопросу о способѣ созданія перваго самозванца, построивъ все дѣло на личныхъ счетахъ и мести отдѣльной личности, то и Пушкинъ не удачнѣ строить все дѣло на поразительно тонкой и коварной хитрости своего самозванца, бѣгущаго за границу, прикидывающагося умирающимъ и на смертномъ одрѣ открывающаго свое яко бы истинное происхожденіе.

Несмотря на все это, при сопоставленіи Шиллеровскаго Demetrius'a съ Пушкинскимъ „Борисомъ Годуновымъ“ со стороны цѣльной концепціи поэта, съ точки зрѣнія художественнаго произведенія взятаго въ его цѣломъ, мы никоимъ образомъ не можемъ отдать пальмы первенства Шиллеровскому Demetrius'у!

Громадная разница въ концепціяхъ обоихъ поэтовъ, намъ кажется, заключается въ слѣдующемъ. Пушкинъ выдвинулъ въ своей драмѣ на сцену *соціальную жизнь* Руси той эпохи, жизнь народа и бояръ, ихъ отношеніе къ Борису, словомъ остановился на историческихъ условіяхъ того времени, когда пришлось дѣйствовать Борису; поэтому то отъ его произведенія, не говоря о народности и національности, которыхъ нельзя исполнѣ и требовать отъ Шиллера, вѣетъ духомъ древней Руси, складомъ исторической жизни во всемъ ея цѣломъ. Если поэтъ и не понялъ исполнѣ исторической личности самозванца, то зато онъ съ глубокимъ мастерствомъ заглянулъ въ душу *цѣлой эпохи* въ русской исторіи, въ душу русскаго народа, бояръ, духовенства. Поэтому, быть можетъ, и проявился эпическій элементъ въ „Борисѣ Годуновѣ“. Шиллеръ же, какъ поэтъ драматическій по основному своему дарованію, сосредоточился на изображеніи *личности* нашего перваго самозванца, на ея *внутренней жизни* и, надо отдать справедливость, глубоко понялъ ее и мастерски воспроизвелъ. Трудно поэтому отдать безусловное предпочтеніе той или другой концепціи, тому или другому художественному воспроизведенію этой концепціи: оба поэта смотрятъ съ двухъ совершенно различныхъ и противоположныхъ точекъ зрѣнія на смутное время на Руси: одного всецѣло интересуетъ *самая загадочная личность* самозванца, окутанная таинственнымъ мракомъ неизвѣстности, его происхожденіе и трагическая судьба, при этомъ характеръ Бориса задѣвается, хотя и довольно вѣрно, постольку, поскольку его личность и судьба соприкасаются и обуславливаются личностью и судьбой Дмитрія; поэтому у Шиллера отведено народу очень мало мѣста: активное участіе

онъ принимаетъ въ сущности въ одной сценѣ, въ сценѣ чтенія манифеста. Другой же поэтъ, нашъ Пушкинъ, поставилъ своей задачей „воскресить *весь тотъ вѣкъ*“, онъ сосредоточился на взаимоотношеніяхъ *народной массы* и *Бориса*, который по преимуществу интересовалъ его, личность самозванца задѣвается при томъ только по отношенію къ Борису и къ этой массѣ; поэтому здѣсь важна не личная жизнь самозванца, а самое его *появленіе* и тѣ измѣненія, какія онъ вноситъ своимъ появленіемъ въ жизнь русскаго государства и въ жизнь Бориса; поэтому то у Пушкина народъ играетъ видную роль.

Чрезвычайно интересно то обстоятельство, что въ концѣ дѣйствія открывается въ сущности одна и та же перспектива на будущее: рядъ бѣдствій и тревоженій, но какъ остались вѣрны себѣ поэты и въ этихъ заключительныхъ сценахъ! У Пушкина *народъ* своимъ безмолвіемъ изрекаетъ вѣмой приговоръ Лжедмитрію, онъ погибаетъ такимъ же кровавымъ путемъ, какъ и взошелъ на престолъ; у Шиллера нарождается новый самозванецъ, уже сознательный обманщикъ, примѣръ сильной *личности* порождаетъ въ лицѣ этой новой личности рядъ новыхъ самозванцевъ. У обоихъ поэтовъ будущее предстаетъ въ воображеніи зрителя исполненнымъ бѣдъ и волненій! Шиллеровскій Demetrius—трагедія въ полномъ смыслѣ этого слова, у Пушкина же скорѣе всего это драматическая хроника, гдѣ дѣйствующимъ лицомъ является все государство московское, а въ немъ уже первая персона—Борисъ. Эти два произведенія представляютъ собою величины несоизмѣримныя, и безусловнаго превосходства одному изъ нихъ передъ другимъ, намъ кажется, отдавать нельзя.

На основаніи всего выше приведеннаго мы склонны думать, что если Пушкинъ во время созданія своего „Бориса Годунова“ или до того и былъ знакомъ съ Шиллеровскій Demetrius'омъ, то знакомство это во всякомъ случаѣ не повліяло на оригинальность и самостоятельность ни его высоко художественнаго и необычайно широкаго замысла, ни —его глубоко психологическаго творчества!

Третьимъ произведеніемъ, касающимся той же эпохи, является драматическая хроника А. Н. Островскаго „*Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій*“ произведеніе, на которомъ отразились и вліяніе Шиллера и вліяніе Пушкина. Знакомство съ Шиллеровскимъ Demetrius'омъ особенно ярко отразилось на пятой сценѣ, свиданіе Дмитрія съ матерью, имѣющей нѣкоторое сходство и по внѣшней обстановкѣ и по общему тону съ набросанной вчергѣ Шиллеромъ сценѣ свиданія его Дмитрія съ Марѳой. У Островскаго свиданіе

происходитъ такъ же, какъ и у Шиллера, въ раскинутомъ на сценѣ шатрѣ, въ обоихъ случаяхъ Марѳа прибываетъ раньше и ожидаетъ встрѣчи съ Дмитріемъ; Дмитрій и здѣсь искрененъ съ ней, въ концѣ сцены такъ же, какъ и у Шиллера, свидѣтелемъ этого свиданія является народъ, остающійся при томъ убѣжденіи, что Дмитрій истинный царевичъ. Но есть большая разница въ самыхъ характерахъ Дмитрія и, особенно, Марѳы, въ тѣхъ чувствахъ, какія они переживаютъ въ моментъ встрѣчи. Марѳа Островскаго является дѣйствительно какъ бы „окаменѣлой“, лѣта изгладили въ ея душѣ прежнюю скорбь и печаль. Хотя она и волнуется въ ожиданіи Дмитрія и у нея, по ея словамъ, „туманъ въ глазахъ и кружится голова“, тѣмъ не менѣе она можетъ бесѣдовать со Скопиннымъ-Шуйскимъ и осведомляется, женатъ ли онъ, или холостъ? Шиллеровская же Марѳа, хотя вѣра въ истиннаго Дмитрія у нея ко времени свиданія почти исчезаетъ, питаетъ все таки еще нѣкоторую слабую надежду, ей хочется вѣрить въ эту пріятную для нея грезу, волненія ея сильны, врядъ ли бы она могла бесѣдовать въ это время съ постороннимъ человѣкомъ. Это еще энергичная женщина съ жаждой жизни и власти, монастырь не смирилъ ея, не окаменилъ, хотя она и говоритъ это; не сказала бы она и того, что „только въ монастырѣ и жить мнѣ“, какъ Марѳа Островскаго. Марѳа Островскаго нисколько не вѣритъ въ истинность Дмитрія. Она спокойно и безстрастно вспоминаетъ о далекомъ прошломъ, объ убіеніи ея сына; она не питаетъ теперь мести къ Борису, „алоба“ у нея „затхла“, Борисъ въ могилѣ—„насъ Господь разсудитъ“, говоритъ она. Но далѣе въ ея словахъ на минуту слышится знакомая намъ Шиллеровская Марѳа: если бы все это, что совершается теперь, совершилось тогда, сейчасъ послѣ убіенія царевича, то она признала бы сыпомъ „подкидыша паршиваго“, „щенка слѣплого—дѣтищемъ роднымъ!“ Тутъ же сказывается въ ней на одинъ мигъ и „царица“: въ отвѣтъ на угрозу Басмапова она отвѣчаетъ съ гордымъ сознаніемъ своего достоинства: „Пугать меня! жену царя Ивана... я не боялась и царя Бориса, и не боюсь тебя, холопы!“ Но вотъ является Дмитрій. Марѳа посохомъ останавливаетъ его радостный порывъ и возгласъ: родимая! „Постой-ка“, говоритъ она, „ничего ты не похожъ“ и отварачивается. Шиллеровская Марѳа испытующимъ взглядомъ, однимъ взглядомъ убѣждается въ разрушеніи своихъ надеждъ. „Ахъ это не опъ!“ восклицаетъ она послѣ зловѣщаго молчанія, въ которомъ заключается глубокій трагизмъ, отсутствующій совсѣмъ въ этотъ моментъ у Островскаго. Ея чувства болѣе глубоки, она сильнѣе переживаетъ эти минуты, такъ какъ

до послѣдней минуты у нея еще сомнѣніе борется со слабой надеждой. Шиллеровскій Дмитрій самъ съ глубокимъ волненіемъ и сильной затаенной мукой ждетъ свиданія съ Марею, гдѣ окончательно выяснится его происхожденіе; онъ не бросается къ ней первый съ крикомъ: родимая! Сердце его не отвѣтило, ибо и ея сердце не забилося при взглядѣ на него.

Почти тоже говорить у Островскаго далѣе Марѣя: „Нѣтъ! сердца не обманешь! не такъ оно забьется, если сына роднаго прижмешь къ своей груди. Не сынъ ты мнѣ!“ Послѣ этого Дмитрій становится вполнѣ искреннимъ, онъ стремится подвѣствовать на ея чувство, и слова его сильно напоминаютъ слова Шиллеровскаго Дмитрія.

Искренняя задушевность и теплая ласка производятъ сильное впечатлѣніе на Марѣю; ей, какъ и Шиллеровской Марѣѣ, нравится этотъ юноша своимъ благородствомъ и искренностью. Она даже восклицаетъ: „о если бы ты былъ мой сынъ!“ Она выражаетъ словами то, что сказалось опять таки глубже и трагичнѣе въ слезахъ Шиллеровской Марѣи! Марѣя Островскаго сильно полюбила этого юношу, но она ласкъ его не отниметъ у той... другой, которая, быть можетъ, „въ своемъ углу убогомъ предъ иконой о миломъ сыпѣ молится украдкой или здѣсь, въ толпѣ народнои укрываетъ лицо свое, смоченное слезами, и издали дрожащею рукою благословляетъ сына“. Сильныя чувства сказались здѣсь въ несчастной жевщицѣ-матери: она сама мать безвременно погибшаго царевича, у нея отняли ея истиннаго сына, не хочетъ она отнимать „у той-другой“ ея дѣтища, но она и не повредитъ ему. Здѣсь сказалась жепственность Марѣи Островскаго, она вызываетъ къ себѣ наибольшую симпатію только въ эту именно минуту. Когда же Дмитрій успокаиваетъ ее на счетъ этого, она искренно заявляетъ, что полюбила его, „ты мой! ты мой!“ восклицаетъ она и выходитъ вмѣстѣ съ нимъ къ народу, который встрѣчаетъ ихъ восторженными кликами. Шиллеровская Марѣя еще живетъ прошлымъ, оно воскресло предъ ней со всей живостью, месть ея къ Борису не утихла. Хотя ей нравится благородный и искренній юноша, она не рѣшается такъ активно признать его своимъ сыномъ; ей жаль его, она сама много выстрадала и не можетъ погубить его, находящагося въ ея рукахъ, но она не можетъ сейчасъ же послѣ того, какъ все ея грезы погибли безвозвратно, признать его своимъ сыномъ. Самъ Дмитрій находитъ самый лучшій способъ выйти изъ этого затрудненія: ея слезы становятся для народа доказательствомъ ея признанія; Дмитрій спасенъ, она попускаетъ обманъ, но не уча

ствуешь въ немъ сама. Несомнѣнно и здѣсь глубина и сила трагизма всецѣло на сторонѣ Шиллера! Шиллеровская Марѳа — натура экзальтированная, полная жизни и энергіи, живо у ней воспоминаніе о постигшемъ ее горѣ, жива у ней и месть къ Борису, о которой она молилась Богу. Марѳа же Островскаго — типъ болѣе русскій: она помирилась со своимъ горемъ-горькимъ, примирилась и со своимъ обидчикомъ, „Господь“ ихъ „разсудить“, искренно полюбился ей Дмитрій, и она какъ бы усыновляетъ его, боясь обидѣть при этомъ его истинную мать и готовая всецѣло уступить ей его. Она поступаетъ всецѣло по душевному своему влеченію, здѣсь сказалось русское народное незлобіе, простодушіе и задушевная искренность. Въ общемъ, вся сцена у Островскаго блѣднѣе Шиллеровской, не производитъ такого сильнаго, потрясающаго впечатлѣнія и значительно слабѣе мотивирована!

Вліяніе Пушкинскаго „Бориса Годунова“, вообще сильно сказавшееся на произведеніи Островскаго, ярко отразилось на второй сценѣ второго акта: свиданіи Дмитрія и Марины въ Москвѣ до свадьбы. Какъ и Пушкинскій самозванецъ, Дмитрій Островскаго страстно и сильно любитъ Марину и желаетъ добиться отъ нея признанія въ любви тоже. Онъ, какъ и Пушкинскій Дмитрій, жаждетъ „любви, одной любви!“ „Не царь, а шляхтичъ вольный предъ тобой!“ восклицаетъ онъ, испытывая то же чувство, что и Пушкинскій самозванецъ, умолявшій Марину „забыть въ немъ царевича и зрѣть любовника“. Какъ Пушкинскій самозванецъ въ своемъ увлеченіи мечтаетъ о томъ, что Марина и ея любовь замѣнятъ ему царскую корону „въ глухой стени, въ землянкѣ бѣдной“, такъ и Дмитрій Островскаго умоляетъ Марину перенестись мечтой въ Польшу и видѣть въ немъ рыцаря.

Марина и здѣсь въ общемъ родная сестра Шиллеровской и даже болѣе, чѣмъ Пушкинская Марина. Она всячески домогается коронованія для себя дѣвицей, до вступленія въ бракъ съ Дмитріемъ и заставляетъ его согласиться на это, хотя такое дѣло, по его же словамъ, „не слыхано на Руси“. Мы знаемъ, что и Шиллеровская Марина въ интимной бесѣдѣ съ Одовальскимъ настаиваетъ на томъ, чтобы бояре и воинство цѣловали крестъ на подданство и ей. Марина Островскаго нисколько не вѣритъ въ истинность Дмитрія, она даже боится, что онъ недолго процарствуетъ, она думаетъ, что „z chana nie bendzie papa“, какъ заявляетъ она въ бесѣдѣ съ отцомъ. Здѣсь она походитъ скорѣе на Шиллеровскую Марину, чѣмъ на Пушкинскую, у которой нѣтъ такой само-

увѣренности и которая не полагается на себя, но на Дмитрія, предварительно только испытать его въ этомъ отношеніи.

Эти двѣ сцены обнаруживаютъ вліяніе Пушкинскаго и Шиллеровскаго произведеній, но обѣ онѣ уступаютъ соотвѣтствующимъ сценамъ у Шиллера и Пушкина: у Шиллера—больше трагизма, у Пушкина—больше чувства.

Драматическая хроника Островскаго даетъ намъ рядъ многолюдныхъ, чрезвычайно оживленныхъ и весьма яркихъ, мастерски воспроизведенныхъ картинъ народной, боярскаго и придворной жизни; особенно мастерски изображены низшія сословія народа, здѣсь авторъ развѣртываетъ предъ нами во всю ширь множество необычайно яркихъ бытовыхъ сценъ, выводитъ много замѣчательныхъ по своей типичности яркихъ, живыхъ фигуръ въ родѣ: калачника, юродиваго Аюни, Ивана-дурака, повара, кунцовъ, поповъ безъ мѣсть, атамановъ Корелы и Куцьки и т. д. Народная толпа поражаетъ вездѣ своей жизненностью: крестьяне, купцы, подъячіе, торговцы, разносчики, странники и т. н., въ произведеніи какъ бы слышится гулъ толпы.

Если же обратиться къ центральной личности *Дмитрія*, то тутъ и обнаружится главный недостатокъ въ произведеніи Островскаго, недостатокъ, въ силу котораго это произведеніе уступаетъ и Шиллеровскому, и Пушкинскому. У Пушкина Дмитрій—сознательный обманщикъ, у Шиллера онъ сначала безсознательный обманщикъ и вѣритъ въ себя, а послѣ узнаетъ свое происхожденіе, трагическое положеніе личности Дмитрія здѣсь вездѣ исполнѣ опредѣленное. Вотъ этого то и нѣтъ у Островскаго: положеніе личности его Дмитрія крайне неопредѣленное: не то онъ истинный царевичъ, не то онъ незаконнорожденный сынъ Іоанна, не то счастливый самозванецъ, подчасъ же онъ лишь орудіе партіи и жертва ея въ то же время. Поэтому самозванецъ Островскаго представляетъ странную смѣсь противорѣчій, въ силу которыхъ опредѣленность и законченность его характера исчезаютъ. Въ своемъ монологѣ передъ Іоанновымъ тронѣмъ онъ самъ не знаетъ, кто онъ; онъ задаетъ себѣ неразрѣшимый вопросъ: такъ кто же я? Въ сценѣ съ матерью онъ не скрываетъ вовсе того, что онъ самозванецъ.

Островскій знакомитъ насъ со временемъ воцаренія Дмитрія, онъ характеризуетъ Дмитрія съ того момента, когда тотъ уже достигъ престола. Еще до появленія самого Дмитрія мы узнаемъ отъ Василя Шуйскаго, что „не чернецомъ онъ смотритъ... монастырской повадки въ немъ не видно.... орудуетъ деспѣхомъ чище

ляховъ и на коня взлетаетъ. какъ татаринъ“, но у него, узнаемъ мы далѣе, „не царская осанка, вертлявъ и говорливъ и безбородъ, не сановитъ“... Такъ же мѣтко характеризуетъ его В. Шуйскій и въ другомъ мѣстѣ:

Душой полякъ: какъ дѣвка, малодушень,
 Какъ малолѣтокъ, надокъ на утѣхи,
 Какъ скорохъ, безъ разума проворень,
 Какъ пьяный дьякъ, болтаетъ безъ умолка...
 Не долго ждать, онъ прыть свою покажетъ...

И мы сейчасъ же видимъ всю мѣткость словъ Шуйскаго: въ первомъ же своемъ появленіи предъ нами Дмитрій обнаруживаетъ недостатокъ столь необходимой въ глазахъ народа сановитости, которая такъ ярко сказала въ завѣщаніи Пушкинскаго Бориса своему сыну: „Будь молчаливъ; не долженъ царскій голосъ на воздухѣ теряться по пустому, какъ звонъ святой, онъ долженъ лишь вѣщать велику скорбь или великій праздникъ“; онъ „болтаетъ безъ умолка“, суетится, обращается раньше къ нѣмцамъ и хвалитъ ихъ за то, что они бьются лучше русскихъ, все это вооружаетъ народъ, который, обративъ вниманіе на эти слова, пропускаетъ мимо ушей другія его слова къ тѣмъ же нѣмцамъ: „я здѣсь, въ Москвѣ—среди своихъ дѣтей, и мнѣ не нужно иноземной стражи“. Онъ чуждъ у Островскаго русскому народу, чуждъ по духу и по виду, „бритый, тонконогій“. Съ первой же сцены чувствуется, что этотъ народъ осудитъ безповоротно Дмитрія и безжалостно отнесется ко всѣмъ его даже и благимъ начинаніямъ и благороднымъ порывамъ, осудитъ его именно за нихъ же! Къмъ бы ни былъ Дмитрій Островскаго, во всякомъ случаѣ это благородная и великодушная личность съ большими задатками добра, но удивительно легкомысленная, слабохарактерная, довѣрчивая и увлекающаяся. Какъ правитель страны и народа—это благородный мечтатель, исполненный самыхъ добрыхъ и свѣтлыхъ начинаній, онъ ставитъ своей цѣлью „щедротами и милостью царить“. Въ своемъ увлеченіи онъ стремится провести и осуществить такіе планы, которые совершенно не соответствуютъ ни духу времени и государства, ни сложившимся вѣками традиціямъ. Его попытка „судить бояръ соборомъ черни буйной“ вызываетъ страшное негодованіе въ боярствѣ. Онъ мечтаетъ о коровѣ Крыма, о покореніи Византии и почему то убѣждаетъ, что все это крайне легко исполнимо. Въ отношеніи къ Шуйскому онъ обнаруживаетъ много великодушія и благородства, но своимъ неумѣлымъ и безтактнымъ поведеніемъ еще болѣе озлобляетъ гордаго

старика боярина, готового лучше пойти на казнь, чѣмъ терпѣть шутки. Бояре недовольны за маневры, на которыхъ царь лазитъ самъ на земляную стѣну и ихъ заставляетъ дѣлать то же, недовольны они и за то, что—„отдай робяты въ ученье езовитамъ“, недовольны они и за театръ, который изображаютъ такъ: „треглавыи адъ, бряцаніе велико отъ челюстей и пламя изъ ушей, отверсты зубы и готовы когти на ухапленіе. И зрѣти страшно! Потѣхи все!“...—Еще болѣе вооружаетъ противъ себя бояръ Дмитрій, заботясь о панахъ, которые, по его словамъ, не имъ чета. Народное неудовольствіе, подогреваемое В. Шуйскимъ и его клеветами, также все растетъ и растетъ, народъ негодуетъ на „латинцевъ“, которые „цѣлый день гнусятъ свои обѣды“ и вообще на приверженность царя къ латинской вѣрѣ, а мы знаемъ, насколько справедливы эти обвиненія; мы знаемъ, какъ холодно и безучастно слушалъ Дмитрій разсужденія іезуита и приказалъ сейчасъ же пѣть молебны, чтобы Господь вознесъ его „десницу надъ бесерменствомъ и латинствомъ“.

Народное неудовольствіе разрѣшается безумнымъ поступкомъ фанатика Осипова, кидающаго жестоко-правдивые упреки Дмитрію въ присутствіи всѣхъ; голосъ народной обвиняющей совѣсти слышится въ его словахъ впервые лицомъ къ лицу съ царемъ! Василій Шуйскій коварно измѣняетъ свою тактику и начинаетъ потакать во всемъ Дмитрію, который принимаетъ все за чистую монету и сейчасъ же предпочитаетъ его вѣрному Басманову. Своимъ легкомысленнымъ и нетактичнымъ поведеніемъ во время приготовленій къ пріѣзду Марини Дмитрій еще болѣе вооружаетъ народъ. Здѣсь Дмитрій проявляетъ какое то положительно неестественное легкомысліе, соря казной направо и налево: „берешь, берешь (жемчугъ), а все не убываетъ, куда дѣвать—придумать не могу“, восклицаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ. Почва для взрыва народнаго неудовольствія готова вполне; царь и народъ съ первыхъ же поръ совершенно чужды другъ другу, бояре не дремлютъ, ночная сходка у В. Шуйскаго рѣшаетъ дѣло: „ждать набать черезъ недѣлю“. А тутъ какъ разъ слѣдуютъ столкновения народа съ хозяйничающими по Москвѣ поляками, вызывающія вмѣшательство нѣмецкой стражи Дмитрія, которую хитро проводитъ народъ, оставивъ въ ея рукахъ въ качествѣ зачинщика одного Ивана дурака. Въ добавокъ ко всему является столѣтній старецъ изъ Углича и разсказываетъ объ убіеніи царевича Дмитрія, свидѣтелемъ чего онъ былъ самъ лично и что онъ живо помнитъ. Настроеніе народа крѣпнетъ. Знаменательны слова калачника въ

отвѣтъ на окрикъ десятскаго: „Я — весь народъ московскій, вотъ кто я!“ Дѣйствительно, народъ, видимо, поднимается какъ одинъ человекъ. Еще рѣзче сказывается необычайное легкомысліе Дмитрія въ сценѣ пира съ поляками, когда подъ звуки веселой мазурки дозрѣваетъ народный мятежъ. Недовольны Дмитріемъ и поляки, такъ какъ въ дѣйствительности онъ желаетъ, чтобы потачки не было ни русскимъ, ни полякамъ.

Въ одномъ мѣстѣ Дмитрій искренно и простодушно сознается въ томъ, что съ него плохой правитель, онъ говоритъ Басманову:

Намъ съ тобой бояре нужны,
 Правители плохіе мы..
 Мы войны. Споровка вѣковая,
 Боярская, за насъ управить землю.

 А мы съ тобой все лѣто воевать,
 А зиму всю гулять да пировать..

Последняя сцена, смерть Дмитрія производитъ сильное впечатлѣніе. Драматичная, потрясающе-страшная обстановка: повсемѣстный, все усиливающийся набатъ, все разрастающійся гулъ приближающейся толпы... Наконецъ, толпа врывается во дворецъ. Дмитрій бросается съ мечомъ на Шуйскаго, но того загораживаетъ народъ. Дмитрія отстаиваютъ нѣмцы. Оставшись одинъ съ Басмановымъ, онъ говоритъ, какъ бы обращаясь къ народу:

Зачѣмъ меня вы прежде не убили,
 Пока я былъ ничтоженъ, какъ и вы!
 Зачѣмъ..... дали мнѣ извѣдать сладость власти..
 Вы опьянили раболѣпствомъ вашимъ,
 Вы дали львиной силѣ
 Уснуть у ногъ небесной красоты!..

Дмитрія убиваетъ изъ ружья Валуевъ, народу говорятъ, что онъ повинулся въ своемъ обманѣ. Последнія минуты его вызываютъ къ нему симпатію и состраданіе. Раненый, обезоруженный, очнувшись отъ обморока, онъ съ сознаниемъ царскаго достоинства обращается къ Шуйскому: „Ты не узналъ меня, холопъ!“ Совершенно правъ онъ, говоря: „пусть народъ узнаетъ, что я честнѣй тебя, неблагодарный клятвопреступникъ!“ Дмитрій бредитъ... послѣднія его слова: „Олеговъ щить, ворота Царьграда“... Выстрѣлъ, онъ падаетъ ницъ. Конецъ немного напоминаетъ Пушкинскаго „Бориса Годунова:“ калачникъ приглашаетъ народъ провозгласить многолѣтіе В. Шуйскому, Голицынъ, представитель боярства, отвѣчаетъ: „не рано ли?“ Далѣе онъ пророчески говоритъ:

Крамолой съль Борисъ, Дмитрій—силой:
 Обоиъ тронъ Московскій былъ могилой.
 Для Шуйскаго примѣровъ не довольно,
 Онъ хочеть състь на царство самовольно...

Царствованію Шуйскаго предрекается такое же будущее, какое еще краснорѣчивѣе и драматичнѣе выражено царствованію Дмитрія у Пушкина и вообще эпохъ смутнаго времени—у Шиллера.

Такимъ образомъ, главнымъ недостаткомъ въ произведеніи Островскаго является та неопредѣленность, въ какую онъ поставилъ своего Дмитрія: онъ отъ начала до конца остается неразрѣшимой загадкой для зрителя. Вторымъ существеннымъ недостаткомъ является вся обрисовка характера В. Шуйскаго: онъ у Островскаго односторонне лукавъ и неестественно коваренъ отъ начала до конца: ни единой свѣтлой черточки, ни одного штриха живого человѣка, кромѣ лукавства; ни одного дѣла, кромѣ крамолы!

Лучше всего удалось автору изобразить тотъ фонъ, на которомъ дѣйствуютъ Дмитрій и В. Шуйскій, т. е. простой народъ и бояръ вообще. Въ виду всего этого, при нѣкоторыхъ своихъ достоинствахъ, произведеніе это, несомнѣнно, ниже Пушкинскаго и Шиллеровскаго, но слѣды вліянія того и другого на немъ есть.

А. М. Лукьяненко.

Н. В. Гоголь—переводчикъ.

Полное, всестороннее освѣщеніе дѣятельности писателя, какъ извѣстно, дѣло вообще не легкое, особенно же оно трудно, когда приходится имѣть дѣло съ такой не только сложной, но исключительной часто и загадочной натурой, какова Гоголя. Капитальный трудъ В. И. Шенрока „Матеріалы для біографіи Гоголя“ (М. 1892—97), далеко оставившіи за собою предшествовавшія попытки очертить жизнь Н. В. Гоголя, напр., оба труда П. А. Кулиша (Николаи М. — Опытъ біографіи Н. В. Гоголя (Современникъ 1854 г. и Записки о жизни Н. В. Гоголя. Спб. 1856), еще разъ доказалъ, какъ мы еще далеки до завершения работъ, даже лишь подготовительныхъ, для уясненія дѣятельности Гоголя. Такое состояніе литературы о Гоголѣ, несмотря на довольно уже почтенные ея размѣры, доказывается, между прочимъ, и тѣмъ, что уже при появленіи послѣдняго тома труда В. И. Шенрока (1897), авторъ его въ предисловіи самъ призналъ необходимость не столько расширить въ будущемъ размѣры труда, „сколько точнѣе выяснитъ всѣ подробности, начиная съ мелкихъ хронологическихъ“ (стр. III—IV) ¹⁾. Еще лучше такой взглядъ на состояніе гоголевской литературы показываютъ послѣдующіе труды, посвященные Гоголю. Одинъ изъ нихъ носитъ характерное заглавіе: „Сомнѣнія и противорѣчія въ біографіи Гоголя“ (Назв. Отд. рус. яз. И. А. Н. V, 2, 4); онъ принадлежитъ А. И. Кирничникову. Другой трудъ, явившійся послѣ „Матеріаловъ для біографіи Н. В. Гоголя“, пришлось озаглавить лишь „Опытомъ обзора

¹⁾ Въ виду этого охотно присоединяюсь къ отвѣту В. И. Шенрока его суровому рецензенту I тома (ср. Витбергъ, Гоголь и его новый біографъ, Спб. 1892).

матеріаловъ для біографіи Н. В. Гоголя въ юношескую пору“ (П. А. Заболотскаго—Изв. Отд. р. я. И. А. Н. VII, 2). Если мы заглянемъ въ „Опытъ хронологической канвы къ біографіи Гоголя“, составленный тѣмъ же А. И. Кирпичниковымъ (М. 1902)¹⁾, то увидимъ, какъ еще далека эта канва по степени разработки отъ той, которая существуетъ для біографіи Пушкина²⁾: примѣчанія (напр. стр. LXXIII, 2, XIV, 7, XVII, 10, XIX, 2 и т. д.) показываютъ отсутствіе строго установленныхъ фактовъ даже въ области хронологіи. Нагляднѣе же всего необходимость разработки самого еще матеріала доказать самъ авторъ капитальнаго труда, который, несмотря на свое обѣщаніе вернуться къ труду по Гоголю, „чтобы обработать его въ окончательной формѣ“ (т. е. уже въ видѣ не „матеріаловъ“, а самой біографіи), теперь выступаетъ опять со „Спорными вопросами въ біографіи Гоголя“, т. е. съ продолженіемъ разработки „матеріаловъ“, отлагая, такимъ образомъ, біографію опять на будущее время³⁾.—Очевидно, что и сгруппированный Шенрокомъ громадный матеріалъ, постолько полный, что (выражаясь словами В. И.) „едва ли можетъ найтись много новыхъ данныхъ“⁴⁾, еще нуждается въ детальной обработкѣ прежде, нежели онъ войдетъ въ будущую біографію писателя. Такая частичная обработка матеріала, направленная къ выясненію отдѣльныхъ моментовъ творчества и жизни Гоголя, несомнѣнно далеко не бесполезна для будущаго біографа и изслѣдователя дѣятельности Гоголя во всемъ ея объемѣ.

Къ числу такихъ частныхъ вопросовъ въ дѣятельности Гоголя принадлежитъ, кажется, мало до сихъ поръ освѣщенный вопросъ о Гоголѣ, какъ переводчикѣ. Размѣры настоящей статьи заставляютъ еще сѣзнить вопросъ, ограничивши его дѣятельностью Гоголя, какъ переводчика драматическихъ произведеній, въ частности для сцены Московскаго Малаго театра, съ которымъ Гоголь былъ связанъ черезъ своего друга М. С. Щепкина. Даже взятый такъ искусственно,

¹⁾ Напечатано въ видѣ предисловія къ юбилейному „Полному собранію сочиненій Гоголя“—изданіе И. Д. Сытина.

²⁾ Я. К. Грота и новѣйшая Н. Тернера „А. С. Пушкинъ. Труды и дни“ (М. 1903).

³⁾ Вѣстникъ Европы 1904, IX, X.

⁴⁾ Дѣйствительно, недавняя юбилейная пора показала справедливость мнѣнія почтеннаго „гоголиста“: новыя данныя, правда, появились, но они не велики ни по количеству, ни по качеству. Крупнѣйшими приходится считать Михайлова „Вновь найденныя рукописи Гоголя“ (Ист. Вѣстн. 1902, II), нѣсколько новыхъ писемъ Гоголя или касающихся Гоголя, разбросанныхъ въ журналахъ и юбилейныхъ сборникахъ (напр., Кіевскомъ, Нѣжинскомъ).

вопросъ этотъ не лишенъ и болѣе широкаго значенія: имъ освѣщается не только взглядъ Гоголя на театръ вообще и его значеніе ¹⁾, не только проявляются нѣсколько отношенія писателя къ одному изъ лучшихъ исполнителей оригинальныхъ комедій Гоголя, но также освѣщается общій взглядъ Гоголя на иностранныя литературы, на корифеевъ драматической литературы запада. Къ тому же съ вопросомъ о Гоголь, какъ переводчикъ иноземныхъ драматическихкихъ произведеній, связано, какъ разъ, не одно изъ темныхъ мѣстъ въ біографіи писателя. Наконецъ, дѣятельность Гоголя въ качествѣ переводчика поможетъ устранить возникшее въ литературѣ сомнѣніе о степени знакомства съ иностранными языками у Гоголя ²⁾.

Ближайшимъ поводомъ заняться поставленнымъ вопросомъ и второстепенными съ нимъ связанными служить одно мѣсто изъ переписки Гоголя изъ за границы въ 1840 году съ его московскими друзьями: М. С. Щепкинымъ, О. С. Аксаковой, М. П. Погодинымъ ³⁾. Во всѣхъ трехъ письмахъ къ нимъ идетъ, между прочимъ, рѣчь объ итальянской комедіи *Джованни Жиро* „L'ajo nell'imbarazzo“, переведенной Гоголемъ или при его содѣйствіи для М. С. Щепкина для бенефиса послѣдняго: Гоголь переведенную комедію послалъ по частямъ, по одному акту, своимъ корреспондентамъ, при чемъ въ письмѣ къ Щепкину напоминаетъ о томъ, что побудило его заняться изготовленіемъ этой комедіи, сообщаетъ нѣсколько совѣтовъ, какъ исполнять ее ⁴⁾, а остальныхъ двухъ, О. С. Аксакову и М. П. Погодина, проситъ передать куски „переведенной для него комедіи“ М. С. Щепкину. Эта комедія до насъ дошла, но, какъ извѣстно, не въ автографѣ, а лишь въ копіяхъ: Погодинской, театральнаго архива и нѣжинской-институтской ⁵⁾.

¹⁾ Ср. „Выбранныя мѣста изъ переписки“—VI, 61 (10-е изд., на которое сдѣланы ссылки и ниже); „Путевыя записки 1836 г.“—V, 513; „Петербургская сцена 1835—6 г.“—VI, 318—319.

²⁾ Ср. довольно скептическій взглядъ на этотъ пунктъ развитія Гоголя у А—я Н. Веселовскаго „Зап. вліяніе въ русской литературѣ“ (изд. 2-е), стр. 210 и взглядъ Н. П. Дашкевича въ „Чтеніяхъ въ Общ. Нестора“ XVI, 1—3, стр. 436.

³⁾ Письма Гоголя (изд. подъ ред. В. Шенрока), II, 61, 68, 73.

⁴⁾ Ср. Предъувѣдомленіе для тѣхъ, которые пожелали бы сыграть, какъ слѣдуетъ, „Ревизора“, VI, 249 сл.

⁵⁾ По первой, съ вариантами изъ двухъ другихъ, она и издана Н. С. Тихонравовымъ въ сочиненіяхъ Гоголя, II, 517—564, 806—813. Нѣжинскій текстъ изданъ цѣликомъ въ „Извѣстіяхъ“ Института, VII, 1—82, при чемъ, согласно съ рукописью, отмѣчены имена актеровъ, которымъ предназначались роли,

Въ томъ же письмѣ къ Щепкину Н. В. Гоголь упоминаетъ о какомъ-то переводѣ изъ *Шекспира*, сдѣланномъ сестрами поэта и какими-то студентами, который онъ не успѣлъ еще выправить (стр. 64).

Наконецъ, въ VI томѣ (379—399; ср. 752—761) напечатана пьеса *Мольера* „Сганарель“ (Sganarel, ou le sosu imaginaire), переведенная при участіи Гоголя въ 1839 году, для бенефиса того же М. С. Щепкина, предполагавшагося въ началѣ 1840 года.

Вотъ всѣ документальныя данныя о дѣятельности Гоголя, какъ переводчика: одна пьеса переведена съ итальянскаго, другая съ французскаго, третья (Шекспиръ), неизвѣстно, съ какого языка и какая пьеса. Но въ этихъ извѣстіяхъ, при оцѣнкѣ ихъ, какъ матеріала для біографіи Гоголя, есть неясности и противорѣчія, какъ было указано выше. Въ письмѣ къ Щепкину читаемъ въ самомъ началѣ: „Ну, Михайль Семеновичъ, любезнѣйшій моему сердцу! *половина заклада* выиграна: комедія готова“. Н. С. Тихонравовъ (Соч. Г-я, II, 805) напоминаетъ, что „закладъ“ сдѣланъ былъ въ Москвѣ передъ отъѣздомъ Гоголя во вторую поѣздку за границу (18 мая 1840), но, къ сожалѣнію, не объясняетъ, въ чемъ состоялъ весь „закладъ“ Гоголя Щепкину, закладъ, половину котораго составилъ L'ajo nell'imbarazzo? Что составляло другую половину? Затѣмъ въ самомъ письмѣ странное противорѣчіе: письмо датируется 10-мъ *августа* (какъ и письма сестрѣ, О. С. Аксаковой и М. П. Погодину) и Венеціей; годъ по соображенію выставленъ издателемъ 1840-й. Но Гоголь 10 августа *не могъ* быть въ Венеціи: онъ 7 августа былъ еще въ Вѣнѣ, гдѣ едва поправлялся послѣ припадка болѣзни¹⁾. Наконецъ, изъ матеріаловъ, которыми мы теперь располагаемъ, мы ничего не знаемъ объ участіи Гоголя въ переводѣ пьесы изъ Шекспира: что это была за пьеса? Находилась ли она въ какомъ либо отношеніи къ упомянутому „закладу“ или нѣтъ? Во всѣхъ этихъ вопросахъ слѣдовало бы разобраться.

Яснѣе другихъ дѣло обстоитъ съ „Сганарелемъ“. По совершенно вѣрному предположенію В. И. Шенрока, переводъ мольеровою пьесы проредактированъ былъ Гоголемъ въ концѣ 1839 года:

чего не было въ Погодинскомъ текотѣ: Мочаловъ (Джуліо), Щепкина (Джилъда), Щепкинъ (Грегорио). Въ упомянутомъ письмѣ Гоголя къ Щепкину распределеніе ролей именно такое (стр. 62—64). Нѣжинская рукопись описана въ соч. Гоголя, VII, 860, и съ иными подробностями въ Описаніи рукоп. Института (Извѣстія, XVI). № 58, стр. 99.

¹⁾ См., напр., А. И. Кирпичникова, Опытъ хронолог. канвы, стр. XLII.

переводъ же сдѣланъ былъ друзьями Щепкина ¹⁾. Но исторія этого перевода представлена В. И. Шенрокомъ, повидимому, не точно: переводъ тогда же на сцену поставленъ не былъ, какъ предположилъ В. И. на основаніи афишки въ № 10 Моск. Вѣд. 1840 года, оповѣщавшей о предстоящемъ (9 февр.) бенефисѣ М. С. Щепкина: бенефисъ, по предположенію Родиславскаго ²⁾; вовсе не состоялся, а 4 октября того же года „Сганарель“ въ этомъ переводѣ шель въ бенефисъ актера Никифорова, съ инымъ уже распределеніемъ ролей, хотя и съ участіемъ М. С. Щепкина. Сохранившаяся театральная рукопись этого перевода ³⁾ помѣчена 1841 годомъ, съ указаніемъ и другихъ лицъ, кромѣ отмѣченныхъ въ афишкѣ 1840 года, исполнявшихъ роли въ пьесѣ; но въ числѣ ихъ комика Никифорова уже не числится. Ясно изъ сказаннаго, что гоголевскій текстъ „Сганареля“ былъ уступленъ съ согласія, вѣроятно, Гоголя (онъ уѣхалъ во второе путешествіе изъ Москвы только 18 мая 1840) Никифорову, такъ какъ пьеса не могла пойти въ февральскій этого года бенефисъ Щепкина. Тутъ то, вѣроятно, и пообѣщана была Гоголемъ *иная* пьеса для будущаго (1841 года) бенефиса Щепкина; этой *иной* пьесой и оказался „L'ajo nell'imbarazzo“: не даромъ на рукописи (также копіи) ⁴⁾ „Дядьки“ рукой Погодина написано: „Переведена, переплавлена или передѣлана Гоголемъ и прислана на бенефисъ Щепкину въ 1841 году“ (II, 806). Такимъ образомъ, предположеніе Н. С. Тихонравова ⁵⁾ надо считать болѣе вѣроятнымъ, нежели предположеніе В. И. Шенрока (VI, 752—3), склоннаго думать, что Гоголь во время пріѣзда своего въ Россію въ 1839—40 году бился даже объ закладъ со Щепкинымъ, „для успокоенія по-студняго“, повидимому, о томъ, что отдастъ ему свои пьесы для бенефиса, когда онѣ будутъ готовы, и что, въ виду неприятнаго для Щепкина промедленія, приготовить еще раньше что нибудь, хотя бы переводное, для его бенефиса.

¹⁾ Сочин. Гоголя VI, 753 и 754; Гоголь лишь 26 сентября этого года вернулся въ Москву (Кирпичниковъ, Канва, XXXVI). Фактъ работы Гоголя надъ „Сганарелемъ“ у Кирпичникова остался не отмѣченнымъ.

²⁾ Русск. Вѣстн. 1872, III, 75—76 „Мольеръ въ Россіи“.

³⁾ № 76; по ней впервые „Сганарель“ и былъ изданъ П. С. Тихонравовымъ въ „Царѣ-Колоколѣ“ (приложеніе III) 1892 г., откуда перепечатанъ въ Соч. Гоголя, т. VI.

⁴⁾ Въ числѣ автографовъ Гоголя (Соч. VII, 829 сл.) не числится, Тихонравовъ не называетъ ее автографомъ.

⁵⁾ Соч. Гоголя II, 805; Н. С. ставитъ въ связь „закладъ“ и появленіе пьесы „Дядька“.

Выписанныя строки ставятся Шенрокомъ въ связь съ обща- ніями Гоголя дать (еще въ 1836 г.) свои оригинальныя комедіи Щепкину для постановки на Малой московской сценѣ, и все это помѣщено В. И. въ примѣчаніяхъ къ „Сганарелю“. Конечно, это не правильно: „закладъ“ Гоголя, какъ видно изъ цитированнаго выше письма, писаннаго не ранѣе 10 августа (если даже принять эту дату) 1840 года, касался „Дядьки въ затруднительномъ положеніи“, а касаться „Сганареля“ не могъ: къ 9 февр. этого года „Сганарель“ былъ уже готовъ; вмѣстѣ съ „Дядькой“ онъ не могъ входить въ „закладъ“: иначе Гоголь (не говоря уже о томъ, что не могъ говорить о „Дядькѣ“, какъ о *половинѣ* „заклада“ (если предположить, что для бенефиса болѣе двухъ пьесъ не нужно ¹⁾), либо, если рѣчь шла о двухъ пьесахъ для двухъ бенефисовъ), конечно, въ письмѣ упомянулъ бы и о „Сганарелѣ“.

Отсюда слѣдуетъ, что при рѣчи о „закладѣ“ разговора о „Сганарелѣ“ не было, а самый „закладъ“ касался поставки пьесы (или двухъ) Гоголемъ для бенефиса уже 1841 года, какъ и явствуетъ изъ записи на погодинской рукописи „Дядьки“. Отсюда же слѣдуетъ, что „закладъ“ былъ сдѣланъ между 9 февр. и 18 мая 1840 года. И Гоголь при первой возможности выполнилъ первую повинну „заклада“, пославши изъ Венеціи „Дядьку“. Изъ текста письма мы заключаемъ также, что *переводная* пьеса не противорѣчила усло- віямъ заклада: иначе Гоголь отмѣтилъ бы, старался бы оправдать то, что онъ даетъ пьесу переводную, взамѣнъ оригинальной, разъ условіе оригинальности пьесы входило бы въ закладъ. Итакъ, Гоголь побился объ закладъ съ Щепкинымъ, что онъ доставитъ ему для бенефиса 1841 г. новую пьесу, не оговаривая, какую: оригиналь- ную или переводную, а кромѣ того обѣщаль дать ему и вторую пьесу, быть можетъ, для бенефиса слѣдующаго года—1842 года. Этой второй пьесой, скорѣе всего, могла быть „Женитьба“, кото- рую, написанную уже въ 1833 году, Гоголь пообѣщаль Щепкину еще въ 1836 году, но не далъ, надумавъ ее переработать, ибо она для сцены еще была не годна, по мнѣнію поэта. Переработка за- тянулась далеко за время отъѣзда Гоголя въ 1840 году за гра- ницу ²⁾, хотя въ концѣ 1839 года Гоголь уже трудился надъ комедіей; и было это въ Москвѣ (ср. письмо Жуковскому въ дек. 1839 г.),

¹⁾ „Итакъ вы имѣете теперь *два* пьесы. Вашъ бенефисъ укомплекто- ванъ“, говорится въ письмѣ (П, 64) о „Дядькѣ“.

²⁾ Начало переработанной „Женитьбы“ Пановъ переписывалъ въ Римѣ не ранѣе октября 1840 года.

гдѣ Гоголь остается вплоть до отъѣзда, хлопоча о деньгахъ за свои сочиненія ¹⁾.

Такимъ образомъ, „закладъ“ Гоголя могъ заключаться въ слѣдующемъ. Щепкинъ, которому была давно обѣщана „Женитьба“, настаиваетъ на возможно скоромъ исполненіи обѣщанія, можетъ быть, желаетъ имѣть ее для бенефиса 1841 года, Гоголь же, не рассчитывая къ этому времени покончить съ переработкой, предлагаетъ ему что-либо иное, по своей работы, дать для этого бенефиса—это первая половина заклада,—а для слѣдующаго бенефиса (который будетъ въ 1842 или 1843 г.) ²⁾ дать „Женитьбу“; онъ оттягиваетъ, такимъ образомъ, срокъ исполненія прежняго обѣщанія и въ видѣ рекомпенсаци за ожиданіе предлагать что-либо иное. что онъ могъ выполнить скорѣе; это—вторая половина заклада. Оно такъ и вышло: не желая еще разъ огорчать Щепкина обманомъ, Гоголь наскоро устраиваетъ („въ нѣсколько дней русскіе наши художники перевели... всю отъ начала до конца выправилъ, перемаралъ и переписалъ собственною рукою“) переводъ „L'ajo“, посылаетъ Щепкину, напоминая: „половина заклада выиграна: комедія готова.... И какъ я поступилъ добросовѣстно!“ Между тѣмъ переработка „Женитьбы“ идетъ, и въ концѣ ноября 1842 года Гоголь уступаетъ Щепкину и Сосницкому ³⁾ давно желанную пьесу, а Щепкину, кромѣ того и остальные свои драматическіе отрывки, вошедшіе въ IV томъ изданія 1842 года, кромѣ „Театральнаго разъѣзда“ ⁴⁾.

При такомъ взглядѣ на дѣло для насъ будетъ ясна и фраза въ концѣ письма къ Щепкину по поводу „Дядьки“: „И такъ (т. е. когда вы получили „Дядьку“) вы имѣете теперь двѣ пьесы. Вашъ бенефисъ укомплектованъ“. Это значитъ, что для бенефиса 1841 года Щепкинъ имѣлъ уже въ виду, заключая условіе съ Гоголемъ, одну

¹⁾ Подробная исторія переработки „Женитьбы“ въ Соч., II, 700—705.

²⁾ Въ 1842 г. бенефисъ Щепкина былъ въ началѣ года, можетъ быть, въ февралѣ, и въ немъ М. С. игралъ въ своей знаменитой роли деньщика Шельменка (Москвитянинъ 1842 г. III, 285, лѣтопись). Ясно, что-то помѣшало и теперь поставить „Дядьку“, хотя уже не позднѣе сентября 1840 года онъ былъ въ рукахъ Щепкина.

³⁾ Гоголь еще въ 1836 г. неосторожно пообѣщавъ ее и Сосницкому, въ бенефисъ котораго (въ дек. 1842 г.) она и шла въ первый разъ (Шенрокъ, Мат. III, 522). Когда въ первый разъ въ Москвѣ пошла пьеса, я подъ рукой указаній не имѣю: она, по письму Щепкину, должна была быть поставлена одновременно въ Петербургѣ и въ Москвѣ.

⁴⁾ См. Письма, ред. Шенрока, II, 238 и сл.

какую-то (не-гоголевскую) пьесу, а вторую для бенефиса этого обязался поставить Гоголь; вторая же пьеса Гоголя, по условію, должна быть доставлена имъ на одинъ изъ слѣдующихъ бенефисовъ Щепкина. Такимъ образомъ, Гоголь выгадалъ время для переработки „Женитьбы“.

Такъ возникъ переводъ „L'ajo nell'imbarazzo“. Судя по письму, не разъ нами цитированному, переводъ сдѣланъ не самимъ Гоголемъ, а лишь имъ выправленъ, работа сдѣлана на спѣхъ, въ Венеціи, какъ на основаніи письма заключаетъ Н. С. Тихонравовъ, въ первыхъ числахъ августа (10 числа переводъ уже переписанъ и посланъ по частямъ въ Москву). Однако эти, повидимому, ясныя указанія возбудили сомнѣнія, сперва въ правильности хронологической даты, затѣмъ и въ правильности нѣкоторыхъ обстоятельствъ возникновенія перевода. Первое указаніе основано на датѣ письма къ Щепкину, которая, въ свою очередь, устанавливается въ этомъ письмѣ (оно въ рукописи безъ даты и мѣста) на основаніи содержанія его въ связи съ письмами О. С. Аксаковой (обозначено: Венеція 10 августа) и М. П. Погодину (обозначеніе тоже): во всѣхъ письмахъ, между прочимъ, дѣло идетъ (а въ письмѣ къ Щепкину это главное содержаніе) о комедіи, переведенной для Щепкина¹⁾. Годъ письма установленъ на основаніи маршрута путешествія Гоголя 1840 года. Эта-то датировка письма и возбудила подозрѣніе: Гоголь, выѣхавъ изъ Москвы 18 мая 1840 г. (с. с.) съ Павловымъ, 10 іюня новаго стиля (29 мая с. с.) былъ въ Варшавѣ, откуда черезъ два дня выѣхалъ въ Краковъ (т. е. 12 іюня), а изъ Кракова въ этотъ же день, вѣроятно, выѣхалъ въ Вѣну; во всякомъ случаѣ онъ 25 іюня (н. с.) уже въ Вѣнѣ. Здѣсь онъ заболѣлъ (въ половинѣ іюля) и 7 авг. пишетъ еще отсюда сестрѣ, а 10-го августа оказывается уже въ Венеціи, гдѣ успѣлъ уже перевести съ художниками („въ нѣсколько дней“) комедію, выправить и переписать ее собственной рукой²⁾. Отъ Вѣны Гоголь ѣхалъ три дня еще больнымъ (II, 86) до Триеста, откуда до Венеціи не менѣе сутокъ ѣзды. Такимъ образомъ, простая арифметическая выкладка, произведенная

¹⁾ Письмо Щепкину: „За хвостомъ комедіи сходите сейчасъ къ Аксакову и Погодину“ (II, 64); въ письмѣ къ О. С. Аксаковой: „вручите Михаилу Семеновичу прилагаемое при семъ дѣйствіе переведенной для него комедіи“ (II, 68); Погодину: „Пожалуйста отдай Щепкину прилагаемое при семъ дѣйствіе переведенной для него комедіи“ (II, 73).

²⁾ Письма, II, 62. Въ нѣжинской копіи, писанной довольно убористо, комедіи занимаетъ 39 четвертушекъ (Опис. рукоп. Института, Изв. XVI, 100).

А. И. Кирпичниковымъ ¹⁾, заставляетъ видѣть ошибку ²⁾ въ мѣсяцѣ, отмѣчаемомъ на письмахъ: вмѣсто *августа* надо читать *сентябрь*. Съ этой поправкой, повидимому, помириться можно: она подтверждается обстоятельствами встрѣчи Панова и Гоголя въ Венеціи 2 сентября: они съ противоположныхъ сторонъ въ одинъ и тотъ же часъ въ этотъ день въѣхали въ Венецію ³⁾. Такимъ образомъ, переводъ, переправка и переписка комедіи произведены между 2 и 10 сентября 1840 года: дѣйствительно—„въ нѣсколько дней“, какъ сказано въ письмѣ, гдѣ приведенныя фразы и подчеркиваютъ эту быстроту работы, чѣмъ, кажется, и хвастается Гоголь ⁴⁾.

Но сомнѣнія этимъ не кончаются по отношенію къ подробностямъ исторіи перевода комедіи Жиро, не кончались, по крайней мѣрѣ, для А. И. Кирпичникова. Онъ склоненъ видѣть здѣсь и мистификацію, вызванную, по его предположенію, деликатностью отношеній къ Гоголю Щепкина, который могъ придти „въ неприятное отчаяніе, что Гоголь тратитъ свое драгоценное время на такую низменную работу (какъ переводъ чужой комедіи) для него, Щепкина“ (ук. соч. II, 48—49). На такое соображеніе натолкнуло Кирпичникова упоминаніе о „русскихъ нашихъ художникахъ“, переведившихъ комедію въ Венеціи: А. И. сомнѣвается, чтобы трудно сходившійся Гоголь въ какую нибудь недѣлю со дня пріѣзда (2—10 сент.) въ Венеціи успѣлъ не только сойтись съ художниками, но и засадить ихъ за совмѣстную работу; его пріятели, старые знакомые, художники были въ Римѣ, куда Гоголь еще не доѣхалъ ⁵⁾.

Но нужно ли здѣсь видѣть мистификацію Гоголя, „не вруна, а сочинителя“, по выраженію С. Т. Аксакова, повторяемому А. И.

¹⁾ Сомнѣнія и противорѣчія, II, 46—48.

²⁾ Можетъ быть, даже *умышленною*, такъ какъ она повторилась *три* раза; какими побужденіями въ данномъ случаѣ руководился Гоголь, мы не знаемъ; но, что къ подобнымъ мистификаціямъ онъ прибѣгалъ, это мы знаемъ; см. сборн. „Памяти Н. С. Тихонравова“ (М. 1894), стр. 104—105 (статья В. И. Шенрока). Любопытно, что та же ошибка—10 авг. вм. 10 сент.—въ письмѣ 1839 г. къ Шевыреву изъ Вѣны (см. Кирпичниковъ, ук. соч. II, 32).

³⁾ Письмо В. А. Панова 21 (9) ноября 1840 г. къ С. Т. Аксакову, изд. въ Соч. Гоголя, Кулиша, V, 424—5, примѣчанія.

⁴⁾ Результатомъ этой цоспѣшности были не высокія достоинства перевода: близость буквѣ, небрежность, невѣрный переводъ многихъ мѣстъ, что и отмѣтилъ Н. С. Тихонравовъ, слычавшій переводъ съ подлинникомъ (Соч. Гоголя II, 805—806). Число примѣровъ, приводимыхъ Н. С. въ разночтеніяхъ къ изданію, можно увеличить въ нѣсколько разъ (я пользовался для сравненія изданіемъ: *Commedie del conte Gi. Giraud* (Firenze 1825), V, 97 и сл.).

⁵⁾ Въ Римѣ онъ прибылъ лишь 25 сентября 1840 года.

Кирпичниковымъ? Отчего не повѣрить въ данномъ случаѣ Н. В. Гоголю? Препятствій къ этому, находимыхъ Кирпичниковымъ, кажется, нѣтъ, такъ какъ повода къ мистификаціи также нѣтъ: переводная комедія входила „закладъ“, какъ это я старался указать выше, и Щепкинъ могъ не приходить „въ непритворное отчаяніе“; присутствіе „русскихъ нашихъ художниковъ“ въ Венеціи и самъ А. И. Кирпичниковъ признаетъ вѣроятнымъ; а трудность для Гоголя сойтись съ новыми людьми, препятствующая, по предположенію А. И., повѣрить Гоголю, устраняется другимъ, столь же вѣроятнымъ предположеніемъ, что Гоголь встрѣтилъ въ Венеціи не новыхъ знакомыхъ, а старыхъ: художниковъ, съ которыми онъ былъ знакомъ въ Римѣ въ первую поѣздку (1838—1839 г.), и которые могли теперь быть въ Венеціи. Наконецъ, фактъ, что Гоголь не самъ переводитъ, а лишь ограничился исправленіемъ чужого перевода, также не новость для насъ: такъ поступилъ онъ съ переводомъ „Сганареля“ не задолго передъ этимъ (см. выше), такъ же собирался поступить онъ съ переведенной сестрами и какими то студентами пьесой Шекспира (см. выше). И всѣ эти пьесы предназначались для того же М. С. Щепкина, который тогда, сколько намъ извѣстно, не приходилъ „въ непритворное отчаяніе“ за Гоголя по поводу неизменнаго занятія, которое состояло въ перемариваніи и исправленіи чужого перевода.

Кажется, мистификаціи предполагать надобности нѣтъ, а проще предположить: исполняя половину условія, заключеннаго въ Москвѣ, Гоголь, едва оправившись отъ вѣнской болѣзни, между 2 и 10 сентября 1840 года производить сравнительно не тяжелый трудъ—исправленія и переписки перевода комедіи, сдѣланнаго по его выбору и указанію другими, людьми ему знакомыми и, если это были прошлогодніе римскіе знакомые Гоголя, знающими уже сносно по итальянски.

Итакъ переводъ былъ готовъ, посланъ въ Москву съ примѣчаніями сценическаго свойства самого редактора, долженъ былъ пойти въ бенефисъ Щепкина въ 1841 году... Но ни въ этомъ году, ни въ слѣдующемъ на сценѣ онъ не появился; почему—не извѣстно; лишь въ мартѣ 1853 года въ бенефисъ того же Щепкина (стало быть, по смерти Гоголя) пьеса въ этомъ переводѣ съ успѣхомъ шла на московской сценѣ Малаго театра ¹⁾. Играна она была не по авто-

¹⁾ Русск. Мысль 1883, V, 9 (приложеній), гдѣ Горожанскимъ приведена справка по „Вѣд. Моск. гор. полиціи“ (1853 г. № 6) и „Моск. Вѣд.“ (того же года, № 2), не совсемъ точная: пьеса названа *передълинной* съ буквального

графу или ближайшей копии, которая оставалась у Погодина, а по копии театральной дирекции, которая въ виду тяжести языка перевода, не устранившей, видимо, и Гоголемъ, сдѣлала значительныя измѣненія въ текстѣ, какъ о томъ свидѣлствуютъ различія театральной копии къ основному въ изданіи Н. С. Тихонравова (Соч. Гоголя II, 806—807).

Чтобы покончить съ исторіей текста „Дядьки“, а вмѣстѣ съ тѣмъ установить болѣе правильное взаимоотношеніе текстовъ комедіи, обратимся къ нѣжинской рукописи: детальное ея изученіе внесетъ нѣсколько поправокъ въ это представленіе. Изъ замѣчаній Н. С. Тихонравова о рукописяхъ „Дядьки“ въ Соч. Гоголя (II, 806) выходитъ, что рукопись Погодина (по которой изданъ текстъ)—ближайшая къ подлиннику, писанному самимъ Гоголемъ и пересланному въ Москву изъ Венеціи, а двѣ другія—нѣжинская и Малаго театра—рецензии театральныя, подправившія языкъ и стиль нескладнаго, тяжелаго перевода русскихъ художниковъ и Гоголя. Но этимъ категорическимъ заявленіемъ Н. С.—ча удовлетвориться трудно, и вотъ почему: покойный Тихонравовъ, повидимому, нѣжинской рукописи не имѣлъ въ рукахъ, а В. И. Шенрокъ, описывая рукопись Института (Соч. Гоголя VП, 860—861), не достаточно внимательно отнесся къ ней; Описаніе рукописей Института (Изв. XVI, 99—100) также не вполне точно описываетъ рукопись. Это было причиной того, что исходнымъ пунктомъ знакомства съ нѣжинскимъ текстомъ для Тихонравова и для другихъ являлось изданіе „Дядьки“ въ VП томѣ Извѣстій Института.

А между тѣмъ изданіе это не даетъ правильнаго представленія о текстѣ рукописи. Дѣло все въ томъ, что въ нѣжинской рукописи въ текстѣ комедіи есть рядъ поправокъ поздней руки, и эти поправки, замѣнивши собою подлинное чтеніе рукописи, внесены въ текстъ изданія. Поправки эти, сдѣланныя частью карандашомъ, частью наведенныя по карандашу чернилами, частью писанныя прямо чернилами¹⁾, принадлежать тому же лицу, которое добавило: итальянское заглавіе комедіи, обозначеніе числа актовъ, списокъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ распредѣленія, замѣтку о комедіи: „См. о ней письмо Гоголя къ Щепкину отъ 1840 года изъ

перевода итальянской пьесы: передѣлки не было, было лишь исправленіе перевода.

¹⁾ Такъ такъ писецъ рукописи былъ довольно малограмотенъ, то много поправокъ касается правописанія, раздѣленія словъ; я имѣю въ виду лишь поправки—варьянты.

Рима (sic!) ¹⁾ въ Запискахъ о жизни Гоголя, т. 1, стр. 263—265 и въ Сочиненіяхъ Гоголя изд. 1857, т. V, стр. 410—412⁴. Этимъ же лицомъ сдѣлана поправка года въ рукописи вм. „1850 г. Римъ“ на „1840 г. Римъ“. Ясно, что, разъ почеркъ поправокъ въ текстъ и приписокъ въ заглавіи (л. 1 об.) одинъ и тотъ же, означенныя поправки въ текстъ сдѣланы *послѣ* 1857 года (годъ изданія соч. и писемъ Гоголя П. А. Кулиномъ); стало быть, послѣ постановки „Дядьки“ на сцену (1853 года); такимъ образомъ, эти поправки отношенія къ тексту, какимъ онъ вышелъ изъ подъ пера Гоголя или сталъ послѣ исправленій театральной дирекціи, никакого не имѣютъ, а онѣ между тѣмъ оказались въ варьянтахъ къ изданію... Онѣ, понятно должны быть удалены изъ ихъ числа ²⁾. Затѣмъ, естественно возникаетъ вопросъ, въ какомъ отношеніи стоитъ нашъ текстъ къ театральному? Присматриваясь къ подведеннымъ къ погодинскому тексту варьянтамъ изъ нѣжинской (обозн. НИ) и театральной (ТР) рукописей, мы замѣчаемъ: а) театральная рукопись вплоть до 5 явл. 3 дѣйствія (стр. 561 изданія) варьянтовъ къ погодинской не даетъ, т. е. съ нею совпадаетъ, тогда какъ НИ даетъ ихъ довольно много, хотя и мелкихъ по смыслу; б) тамъ же, гдѣ ТР отклоняется отъ ПР (погодинской), она отклоняется отъ НИ въ значительномъ числѣ случаевъ; наоборотъ отклоненія НИ отъ ПР не оправдываются часто въ ТР; в) замѣчаются курьезныя совпаденія даже въ ошибкахъ между НИ и ПР, напр.: „Терпѣнья (см. е), синьорь!...“ (стр. 555, прим. 6; Ш, 2); „ибо такъ какъ вы уже внаши въ безславіе“ (стр. 556, 5; Ш, 2); „порадите наказаніемъ меня: я—вина“ (см. вповата—561, 1, Ш, 5) и др. Изъ этого слѣдуетъ, что нѣжинская рукопись отъ театральной *не* зависима, а идетъ отъ оригинала сходнаго съ погодинской, при чемъ развила *свои* варьянты: тамъ, гдѣ театральная рук. сохраняла чтеніе погодинской, наша отступала, а гдѣ театральная вносила измѣненія, наша сохраняла чтеніе погодинской.

Стало быть, значеніе нѣжинской рукописи для возстановленія гоголевскаго текста будетъ иное, нежели предполагалъ Н. С. Тихо-

¹⁾ Въ „Запискахъ“ и „Соч. и письмахъ“ (I. c.) указанія, чтобы письмо было писано изъ Рима, нѣтъ.

²⁾ Для будущихъ изслѣдователей привожу списокъ варьянтовъ, подлежащихъ исключенію: стр. 520 вар. 3, 4; 521, 5, 8, 10; 522, 3; 524, 6; 525, 8, 9; 528, 4; 529, 1, 3; 530, 8, 9; 531, 5; 532, 1; 536, 1, 4, 7, 8; 539, 1, 2, 4, 5; 541, 1; 542, 2; 544, 2, 3; 545, 11; 546, 1, 2; 547, 4; 548, 1, 2, 12; 549, 1; 550, 1, 2, 7, 10; 551, 3; 553, 1; 554, 2, 3; 555, 4, 6, 8; 556, 3 (пропускъ всей реплики); 5; 557, 1, 10; 558, 7; 559, 10; 560, 1, 3, 9, 10; 561, 1; 562, 3; 563, 2, 7, 8; 564, 5. Всѣ поправки эти сдѣланы безъ справки съ подлинникомъ итальянскимъ.

правовъ. Впрочемъ, безграмотность этой копіи и помѣтка: „1850 г. Римъ“, показывающая сравнительно позднее время ея подготовленія (т. е. не ранѣе этого года) и плохую традицію („Римъ“; впереди года было еще М. (Москва?), зачеркнутое писцомъ), едва-ли могутъ выдвинуть эту рукопись въ ряду другихъ.

Относительно третьей пьесы—Шекспира—о которой писалъ Гоголь Щепкину изъ Венеціи въ 1840 году, мы ничего не знаемъ; кромѣ того, что читаемъ въ письмѣ, о чемъ была рѣчь выше.

Итакъ, Гоголь способствовалъ появленію на русскомъ языкѣ и на русской сценѣ пьесъ: Мольера, Жиро и Шекспира. Какъ можно предполагать, Гоголь рекомендовалъ ихъ, руководясь своими литературными воззрѣніями. Несомнѣнно, эти факты стоятъ въ связи съ ними: Гоголь довольно опредѣленно смотрѣлъ на Мольера, понималъ его значеніе, онъ высоко цѣнилъ Шекспира; а заинтересоваться Жиро имѣлъ полное основаніе. Матеріалъ для уясненія отношеній Гоголя къ первымъ двумъ писателямъ разбѣлѣн во многихъ мѣстахъ сочиненій, писемъ и біографіи поэта; есть матеріалъ и для объясненія его интереса къ Жиро.

Сгруппируемъ этотъ матеріалъ для каждаго изъ этихъ писателей, начиная хотя бы съ Мольера. Знакомство Гоголя съ французскимъ комикомъ начинается еще съ нѣжинской поры жизни И. В., когда онъ пишетъ матери (въ 1827 году) о спектаклѣ въ Гимназіи, на которомъ шли при участіи, навѣрное, самого Гоголя двѣ пьесы Мольера ¹⁾. Если вѣрить „Запискамъ А. О. Смирновой“, Гоголь не только присутствовалъ при очень интересномъ разговорѣ Пушкина о Мольерѣ (стр. 132—3), но и читалъ подъ руководствомъ Пушкина всего Мольера (тамъ же, стр. 138) въ эпоху своего литературнаго образованія въ первый Петербургскій періодъ, а въ 1835—6 г., характеризуя петербургскую сцену и отношеніе къ ней публики (Соч. VI, 318—319) и не безъ ироніи указывая на эти отношенія, даетъ такую характеристику Мольеровскаго творчества, которая показываетъ глубокое пониманіе имъ французскаго писателя. Этотъ отзывъ дополняется „Путевыми записками“ 1836 года (Соч. V, 513): „О Мольеръ, великій Мольеръ! ты, который такъ обширно и въ такой полногѣ развилъ свои характеры, такъ глубоко слѣдилъ всѣ тѣни ихъ“... Въ слѣдующемъ году онъ присутствуетъ (въ Парижѣ) на годовичномъ юбилейномъ спектаклѣ Мольера въ Théâtre Français, гдѣ его охватываетъ „какое-то странное чувство“ (вѣроятно, глубокаго упоенія), что, однако, не мѣшаетъ ему дѣлать тон-

¹⁾ Письма ред. Шенрока I, 59.

кія и поучительныя наблюденія надъ игрой французскихъ актеровъ, степени соотвѣтствія этой игры идеѣ писателя¹⁾. Въ путешествіяхъ своихъ онъ не разстается съ Мольеромъ; вмѣстѣ съ Шекспиромъ и Вальтеромъ Скоттомъ онъ составляетъ для Гоголя любимое чтеніе, которымъ онъ подготавливаетъ себя въ своей работѣ въ уединеніи близъ Женевы²⁾. Уже въ 40-хъ годахъ, когда міросозерцаніе писателя значительно измѣнилось, онъ все еще въ минуты лучшаго настроенія возвращается къ Мольеру, напр., въ своихъ педагогическихъ забавахъ съ дѣтьми А. О. Смирновой³⁾. Этихъ примѣровъ достаточно для объясненія интересующаго насъ факта—участія Гоголя въ переводѣ „Сганареля“. Говорить уже о значеніи Мольера для Гоголя, какъ автора комедій—значить повторять извѣстное⁴⁾.

Какъ писатель комедій и сатиры, привлекъ Гоголя и *Дж. Жиро* „первый итальянскій комикъ нашего времени“, по опредѣленію самого Гоголя⁵⁾. О Жиро, пользовавшемся уже давно (съ конца XVIII в., послѣ комедіи *L'onesta non si vince*—1798) извѣстностью, Гоголь зпать могъ и, вѣроятно, зналъ еще въ Россіи: съ нимъ былъ знакомъ Н. Смирновъ, мужъ А. О. Смирновой, и, судя по „Запискамъ“ ея (I, 319), знакомство съ итальянскимъ комикомъ входило въ программу перваго путешествія Гоголя въ Италію⁶⁾. Но и независимо отъ этого интересъ Гоголя къ Жиро вполнѣ понятенъ: Жиро былъ подражателемъ Мольера, преемникомъ знаменитаго представителя итальянской бытовой комедіи Гольдони. Этого было достаточно; ближайшимъ же поводомъ къ ознакомленію съ итальянскимъ комикомъ было то, что пьесу Жиро, какъ разъ *L'ajo nell'imbarazzo*, Гоголь видѣлъ, и притомъ въ хорошемъ исполненіи, въ Венеціи⁷⁾: онъ тотчасъ же взялся за ея переводъ и сценической къ ней комментарий (въ письмѣ къ Щепкину), тѣмъ болѣе, что *L'ajo* былъ лучшей пьесой этого нѣсколько грубоватаго въ общемъ писателя.

Наконецъ, *Шекспиръ*. По отношенію къ нему достаточно напомнить указанное выше мѣсто изъ „Петербургской сцены 1835—6 г.“.

¹⁾ Тамъ же, стр. 422—423; ср. В. И. Шенрокъ „Матеріалы“ III, 153, ср. Соч. Гог. II, 515.

²⁾ Письмо въ концѣ 1836 г. Жуковскому; Письма I, 413.

³⁾ Шенрокъ, Матеріалы, IV, 267.

⁴⁾ Ср. А.—й Н. Веселовскій „Западное вліяніе“, изд. 2 (М. 1896), 212, 213.

⁵⁾ Письма II, 62.

⁶⁾ Хотя нельзя не отмѣтить, что планъ путешествія выработывался въ гостининой А. О. въ 1836 г., когда Жиро уже въ живыхъ не было (онъ умеръ въ 1834 г.).

⁷⁾ Письма, II, 62.

о хлопотахъ Гоголя имѣть Шекспира съ собой въ дорогѣ ¹⁾, наконецъ, извѣстное мѣсто изъ „Мертвыхъ Душъ“, гдѣ говорится о Чичиковѣ, какъ необычномъ, для публики и дамъ въ частности, герое ²⁾. мѣсто, имѣющее, несомнѣнно, автобіографическое значеніе: „онъ (писатель) не имѣетъ обыкновенія смотрѣть по сторонамъ, когда пишетъ; если же и подыметъ глаза, то развѣ только на висящіе передъ нимъ на стѣнѣхъ портреты: *Шекспира*, *Аріоста*, *Фильдинга*, *Сервантеса*, *Пушкина*, отразившихъ природу таковою, какъ она была, а не таковою, какъ угодно было кому нибудь, чтобы она была“. Вотъ образцы и руководители автора „Мертвыхъ Душъ“ ³⁾.

Все это показываетъ въ Гоголѣ человѣка, не только знавшаго, но и глубоко оцѣнивашаго иноземную литературу въ лицѣ ея крупнѣйшихъ представителей. Этимъ устраняется подозрѣніе въ довольно поверхностномъ знакомствѣ съ нею у писателя: онъ не только зналъ эту литературу, не только умѣлъ цѣнить, но умѣлъ и выбирать изъ нея для русской литературы, дѣйствительно, лучшее, соотвѣтствовавшее ея потребностямъ. И вѣднѣйшій поводъ къ скептицизму въ этомъ отношеніи—якобы плохое знаніе иноземныхъ языковъ—падаетъ: если можно относиться, въ виду общаго характера дѣтскихъ и школьныхъ писемъ Гоголя, съ нѣкоторымъ ограниченіемъ къ его заявленію о чтеніи имъ Шиллера ⁴⁾, то сомнѣваться въ знаніи, и основательномъ, Гоголемъ языка французскаго не возможно: несомнѣнно, что съ западно-европейскою литературой Гоголь ознакомился именно на этомъ языкѣ, въ частности, можетъ быть, и съ Шекспиромъ во французскихъ переводахъ ⁵⁾: это слѣдуетъ изъ роли французскаго языка и литературы у насъ въ 30-хъ и 40-хъ годахъ прошедшаго столѣтія. Наконецъ, знаніе итальянскаго языка, и опять таки основательное, не только подтверждается свѣдѣніями объ изученіи этого языка Гоголемъ ⁶⁾, но и письмами Гоголя на итальянскомъ языкѣ, напр., Балабиной ⁷⁾.

¹⁾ Письма: Данилевскому (1838 г.), С. Т. Аксакову (1840).

²⁾ Соч. VII, 140, стр. 352, 464.

³⁾ Съ этимъ взглядомъ, въ видѣ его дополненія, можно сопоставить сказанное въ письмѣ Гоголя къ Балабиной (1842 г., II, 149) о Шекспирѣ и Пушкинѣ, „которыя читаются только въ здоровомъ расположеніи духа“.

⁴⁾ Письма I, 69.

⁵⁾ Свѣдѣній о знаніи Гоголемъ англійскаго языка мы не встрѣтили въ его сочиненіяхъ.

⁶⁾ См. В. Шенрокъ „Матеріалы“, III, 121, 153, 179, 241.

⁷⁾ Письма I, 446; II, 222.

Всѣхъ этихъ данныхъ, если присоединить общую любознательность и интересы литературные Гоголя, достаточно, чтобы убѣдиться во вполнѣ сознательномъ отношеніи Гоголя къ переведеннымъ при его участіи пьесамъ и чтобы отказаться отъ скептическаго взгляда на широкое литературное образованіе писателя, пріобрѣтенное имъ и поддерживаемое въ теченіе почти всей жизни.

М. Сперанскій.

Нѣжинъ 1904. XI.

ЭТЮДЫ О БОГОМИЛЬСТВѢ.

Видѣніе пророка Исаиѣ въ пересказахъ катаровъ-богомилевъ.

Апокрифу „Видѣніе пророка Исаиѣ“ принадлежитъ видная роль въ образованіи космологическихъ и эсхатологическихъ представленій богомиловъ. Изъ этого памятника они усвоили и представление о тѣлѣ, какъ тушкѣ, которую вѣрные, приобщаясь къ лучшей жизни, покидаютъ на землѣ. Вліяніе „Видѣнія“ сказывается и на извѣстномъ богомильскомъ произведеніи — такъ называемой „Книгѣ Іоанна Богослова“.

Нѣтъ ничего удивительнаго, если мы встрѣчаемъ пересказы этого „Видѣнія“, принадлежащіе богомиламъ. Мы извѣстны два такіе пересказа катаровъ-богомилевъ, напечатанные Дёллингеромъ въ его „Beiträge“.

Сопоставленіе этихъ пересказовъ „Видѣнія“ съ латинскими и славянскими списками „Видѣнія“ и будетъ задачей настоящей моей статьи. Полагаю, что такое сопоставленіе имѣетъ и общее значеніе, такъ какъ проливаетъ свѣтъ на отношеніе богомиловъ къ апокрифической литературѣ, приемы пользованія ею и утилизованія въ своихъ цѣляхъ.

Пересказы эти, какъ надѣюсь, будетъ ясно изъ дальнѣйшаго изложенія, представляютъ сокращенную передачу „Видѣнія“ съ нѣкоторыми вставками, однако, по большей части не богомильскаго характера и не свидѣтельствующія о богатомъ творческомъ воображеніи ихъ авторовъ.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется содержаніе перваго пересказа ¹⁾).

Пророкъ Исаія въ нашемъ пересказѣ замѣненъ богомиломъ—*bonus homo*. Этотъ „*bonus homo*“ впять въ сомнѣніе, истинную ли вѣру онъ исповѣдуетъ, и стать молить Небеснаго Отца явить ему, держится ли онъ правой вѣры и праваго пути, а также показать ему свою славу. Однажды, когда онъ такъ молился, пришелъ къ нему ангелъ и объявилъ, что покажетъ ему славу Отца и откроетъ, правильно ли онъ вѣруетъ и поступаетъ. Ангелъ повелѣлъ сказанному человѣку взойти на плечи (*ascendere super collum suum*) и, неся его, достигъ перваго неба и поставилъ его тамъ. Увидѣвъ здѣсь господина міра и неба, человѣкъ этотъ хотѣлъ, подойдя къ нему, поклониться (*volebat ipsum adorare*), но былъ удержанъ ангеломъ, который запретилъ ему это дѣлать, такъ какъ господинъ міра и неба не его Отецъ.

Если оставить въ сторонѣ грубый реализмъ въ указаніи способа, какимъ ангелъ доставилъ богомила на первое небо, то отличіе нашего пересказа отъ „Видѣнія“ состоитъ въ пропускѣ именно того мѣста „Видѣнія“, которое, повидимому, должно было особенно привлечь богомиловъ,—повѣствованія о прохожденіи тверди, гдѣ находился сатана съ властями, и пронесеніи великаго браня. Повидимому, функціи сатаны приписаны здѣсь ангелу перваго неба, который называется господиномъ міра и неба, и поклониться которому запрещаетъ ангелъ, такъ какъ онъ не Отецъ богомиловъ.

О дальнѣйшемъ восхожденіи богомила разсказывается сходно съ „Видѣніемъ“, только въ болѣе сокращенномъ видѣ. На седьмомъ небѣ богомилъ увидѣлъ Отца и поклонился Ему. Отецъ спросилъ его, откуда онъ пришелъ. Тотъ отвѣтилъ: „*de terra tribulationum*“. Видя на этомъ небѣ великую свѣтлость (*magnam claritatem*) и много ангеловъ и прекрасную зелень (*pulchra viridia*) и птицъ поющихъ, гдѣ пребывала вездѣ радость безъ печали, не было ни жажды, ни голода, ни холода, ни жары, но великая умѣренность температуры (*temperies magna*), богомилъ сказалъ Отцу, что ему здѣсь понравилось, что онъ желалъ бы остаться съ Нимъ.

¹⁾ Въ „*Confessio Raymundi Valsiera de Ax. haeretici conversi, super crimine haeresis*“—Döllinger, Beiträge II. 166 ff.

Въ „Видѣніи“ восхищенный свѣтомъ 6-го неба, передъ которымъ свѣтъ пятаго неба былъ мракомъ, Исаія выражаетъ желаніе остаться тамъ. Отличія нашего пересказа отъ „Видѣнія“ въ данномъ мѣстѣ, такимъ образомъ, слѣдующія: 1) въ уста Отца вложенъ вопросъ къ богомилу; 2) то, что въ „Видѣніи“ сказано о шестомъ небѣ, здѣсь примѣнено къ седьмому, при чемъ описаніе седьмого неба распространено подробностями, напоминающими средневѣковыя христіанскія описанія рая, безъ характеристичныхъ для богомильскаго ученія чертъ.

Зато характеристичны дальнѣйшія строки. Святой Отець (Pater sanctus) отвѣтилъ, что желаніе богомила невыполнимо: „quia caro nata de corruptione non poterat ibi remanere“; онъ долженъ возвратиться „ad terram tribulationis“—и проповѣдывать тамъ религію, которую исповѣдуетъ, такъ какъ это Его религія.

Въ „Видѣніи“ ангель говоритъ Исаіи: какъ же опъ обрадуется, когда достигнетъ седьмого неба; желаніе же Исаіи не возвращается уже въ свою плоть невыполнимо, такъ какъ не исполнилось время для его прихода сюда.

Дальнѣйшее повѣствованіе, если и характеристично, то развѣ въ смыслѣ приданія особенной санкціи богомильскому ученію. Богомиль проситъ Отца позволить ему нѣкоторое время быть съ Нимъ. Отець разрѣшаетъ ему. Послѣ этого ангель велѣлъ богомилу опять взобраться къ нему на плечи, такъ какъ время спускаться на землю. Богомиль возразилъ на это, что онъ былъ съ Отцемъ только два часа. Ангель отвѣтилъ, что не 2 часа, а 32 года—представленіе о необычно быстромъ теченіи времени въ раю было распространено въ средневѣковомъ христіанствѣ. Возвратившись на землю, богомиль рассказалъ все, что видѣлъ. Такимъ образомъ утвердились богомильская вѣра и секта (et sic... eorum fides et secta confirmata fuit).

Интереснѣе другой пересказъ „Видѣнія“ (помѣщенный въ „Confessio Petri Maurini de monte Alionis“) ¹⁾. О видѣніи нѣкоего богомила (bonus homo) здѣсь говорится, какъ помѣщенномъ въ пророчествѣ Исаіи. Этотъ богомиль вслѣдствіе рѣчей, слышанныхъ имъ отъ другихъ богомильцевъ, которые разногласили между собой, а также

¹⁾ Döllinger, Beiträge, II, 208 ff.

вслѣдствіе нѣкоторыхъ словъ, прочитаннымъ имъ въ книгахъ, сталъ сомнѣваться въ правильности вѣры добрыхъ людей (*boni homines*), и углубился въ чтеніе книгъ, чтобы познать, истиннаго ли они держатся вѣроисповѣданія, или нѣтъ (*posuit se ad legendum in libris, ut posset cognoscere, an bonam fidem tenent vel malam*). Онъ читалъ три дня и три ночи „*et non fuit lassatus, nec dormivit*“. И вотъ, въ то время какъ онъ читалъ, пришелъ къ нему ангелъ святого Отца и спросилъ, почему онъ усомнился. Тотъ объяснилъ причину. Тогда ангелъ сказалъ ему: „не сомнѣвайтесь, но сядь мнѣ на плечи (*ascende super collum meum*)“.

Это мѣсто любопытно 1) потому, что, очевидно, для приданія вящей авторитетности разсказу послѣдній представленъ, какъ помѣщенный въ пророчествѣ Исая; 2) что, повидному, это мѣсто свидѣлствуетъ о свойственной богомиламъ, по крайней мѣрѣ нѣкоторой части ихъ, наклонности къ созерцанію, что ихъ сближаетъ съ мистиками: богомилъ убѣждается въ правильности своей вѣры не путемъ дебатовъ и чтенія книгъ, а посредствомъ видѣнія, хотя въ то же время чтеніе книгъ какъ бы подготовило его къ видѣнію— мистики также рекомендовали чтеніе книгъ св. Писанія и мистико-аскетическихъ трактатовъ, но все это, какъ средство къ достиженію созерцанія и результату его—высшему вѣдѣнію.

Итакъ ангелъ съ богомиломъ на плечахъ прибылъ на первое небо. Здѣсь находилось много радостнаго народа (*invenerunt ibi populum multum laetum*), предводительствовалъ ими господинъ, который проповѣдывалъ имъ 1). Богомилъ хотѣлъ поклониться ему, но ангелъ удержалъ его, сказавъ, что это не былъ тотъ Отецъ, но духи, которые не обладали ни добромъ, ни зломъ (*qui non habebant bonum, nec malum*), и не будутъ обладать до дня суда, а постоянно просить Отца, чтобы Онъ умилосердился надъ ними.

Очевидно, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ ученіемъ нѣкоторыхъ сектъ богомиловъ (умѣренныхъ дуалистовъ), что до послѣдняго суда души не войдутъ ни въ рай, ни въ адъ, но будутъ находиться (души богомиловъ) въ земномъ раю, полное же прославленіе ихъ наступитъ уже послѣ страшнаго суда 2). Собственно говоря, ученіе это покоится на ученіи Церкви о состояніи душъ умершихъ до и послѣ страшнаго суда.

1) *Qui eis praedicabat.*

2) Ср. Döllinger. Beiträge, II, 183, 187, 197. 322; I, 170.

На второмъ небѣ богомилъ съ ангеломъ нашли много народа, болѣе прекраснаго, чѣмъ на первомъ, который пребывалъ въ покоѣ (*stabat in requie*) и имѣлъ надъ собой господина „*qui eis praedicabat*“. Чѣмъ выше восходили они, тѣмъ прекраснѣе становился народъ и славнѣе его господинъ. Ангелы всѣхъ семи небесъ пѣли сіонскую пѣснь.

Описаніе седьмого неба представляетъ мало особенностей сравнительно съ „Видѣніемъ“. Въ противоположность послѣднему обитатели седьмого неба по нашему пересказу имѣли вѣнцы. Прибавкой къ „Видѣнію“ являются слова, что тамъ было изобиліе всѣхъ благъ этого вѣка. Были же тамъ ангелы и *boni homines*—мужчины и женщины—ибо души мужчинъ и женщинъ не различаются между собой, но сатана сдѣлалъ различіе между мужчинами и женщинами во плоти, но волѣ, однако, святаго Отца, дѣла Котораго всегда пребываютъ и не могутъ разрушаться, между тѣмъ какъ дѣла сатаны возникаютъ и разрушаются.

На седьмомъ небѣ ангелъ повелѣлъ богомилу поклониться святаго Отцу, такъ какъ Онъ—Отецъ Израильскаго народа; т. е. богомиловъ. Въ сходныхъ съ первымъ пересказомъ „Видѣнія“ чертахъ говорится о просьбѣ богомила и о отвѣтѣ Отца, но заключеніе отвѣтныхъ словъ Отца иное: богомилу подобаеъ возвратиться въ міръ и утѣшать его малыхъ (*parvulos ejus*), такъ какъ, гдѣ одинъ малый Его, тамъ и Онъ Самъ съ нимъ, и гдѣ двое или трое—также. Когда же *bonus homo* возразилъ: какъ онъ можетъ возвратиться „*ad mundum inferiorem*“, святаго Отецъ запретилъ ему называть Себя Отцемъ, такъ какъ онъ усомнился, но онъ долженъ возвратиться „*ad mundum inferiorem*“; тамъ онъ оставитъ тунику, т. е. тѣло, зачатое отъ скверны, и тогда душа его прійдетъ сюда.

Удивительно то обстоятельство, что въ этихъ пересказахъ „Видѣнія Исаи“ выпущены мѣста, которыя, повидимому, особенно должны были привлекать богомиловъ: таковъ разсказъ о сатанѣ и великой брани на тверди, повѣствованіе о сошествіи Сына Божія, мѣста о тунникахъ-тѣлахъ. Основа „Видѣнія“ осталась нетронутой, прибавки, сдѣланныя богомилами, или не имѣютъ ничего специфически богомильскаго, или легко выдѣлимы. Вообще въ пересказахъ „Видѣнія“ замѣтно неумѣніе приспособить „Видѣніе“ къ своимъ цѣлямъ, отсутствіе всякаго творческаго воображенія. Казалось бы, въ виду тенденціи этихъ пересказовъ санкціонировать ученіе бого-

миловъ, можно было ожидать подробнаго изложенія богомиловъ о мірозданіи, о двухъ началахъ и пр.—ничего этого нѣтъ. Все сводится къ простому одобренію Отцемъ ученія богомиловъ и къ повелѣнію возвѣстити это людямъ. Мы собственно находимъ въ нашихъ пересказахъ „Видѣнія“ лишь намеки на богомильское ученіе въ такихъ вставкахъ, какъ, напримѣръ, о неразличеніи мужчинъ и женщинъ на седьмомъ небѣ, или о томъ, что дѣла Отца вѣчны, а дѣла сатаны созданы и разрушаются, или въ описаніи неопредѣленнаго состоянія, въ которомъ до страшнаго суда находятся души (богомиловъ или христіанъ?), хотя этому мѣсту противорѣчитъ повѣствованіе о пребываніи *boni homines* на седьмомъ небѣ.

Обильно пользуясь апокрифами для своихъ цѣлей, толкуя ихъ въ свою пользу, почерпая изъ нихъ нерѣдко матеріалъ для построенія своего міровоззрѣнія, богомилы, однако, не думали, повидимому, о пореработкѣ апокрифовъ въ духъ ихъ ученія—спеціально богомильскихъ апокрифовъ намъ неизвѣстно ¹⁾, компиляція, извѣстная подъ названіемъ „Книги Іоанна Богослова“ скорѣе представляетъ своего рода катихизисъ богомильскаго ученія, измѣненія же и вставки, которыя они позволяли себѣ дѣлать, въ христіанскихъ апокрифахъ, какъ, надѣюсь, показываетъ мой разборъ двухъ богомильскихъ пересказовъ „Видѣнія“,—памятника, какъ нельзя подходящаго къ цѣли передѣлки и обработки въ богомильскомъ духѣ, большей частью были незначительны, нерѣдко не заключали ничего спеціально богомильскаго и не находились въ органической связи съ цѣлымъ. Къ такому же выводу приводитъ и непосредственное изученіе христіанскихъ апокрифовъ, о чемъ, по поводу нѣкоторыхъ апокрифовъ, мною было подробнѣе сказано въ другомъ мѣстѣ.

К. Радченко.

¹⁾ „Сказаніе о Тиверіадскомъ морѣ“ и т. п. компиляціи, хотя заключаютъ въ себѣ много богомильскихъ чертъ, но составлены, несомнѣнно, христіаниномъ, не особенно искуснымъ книжникомъ, не умѣвшимъ отличить еретическое отъ правовѣрнаго.

Повѣсть о Саввѣ Грудцынѣ.

Повѣсть о Саввѣ Грудцынѣ является одной изъ немногихъ оригинальныхъ русскихъ повѣстей XVII в. и, несомнѣнно, была самой популярной изъ нихъ. Она распространена во множествѣ списковъ. Намъ лично въ Кіевѣ и въ некоторыхъ лишь книгохранилищахъ Москвы удалось разыскать 12 таковыхъ. Не удивителенъ поэтому интересъ, возбуждаемый ею въ ученomъ мѣрѣ. Почти всякій, кто работаетъ надъ московскою литературою XVII ст., касался и нашей повѣсти. Однако вопросы о мѣстѣ и времени ея возникновенія, объ ея авторѣ и источникахъ далеко еще не разрѣшены, что объясняется отсутствіемъ вѣдѣнныхъ данныхъ относительно этой повѣсти и трудностью ея анализа вследствие сложности ея содержания.

Главной цѣлью нашихъ работъ надъ „Саввою Грудцынымъ“ первоначально было разысканіе источниковъ этой повѣсти. Мы привлекали къ сравненію съ нею известное Чудо Василія Великаго о прельщенномъ отроцѣ, легенды о Кирианѣ, Теофилѣ, князѣ Карулѣ, Твардовскомъ, Фаустѣ, просматривали *Gesta Romanorum* и разные рукописные сборники древнихъ житій, чудесъ и повѣстей, которые намъ удавалось достать. Попытки оказались безуспѣшными. Легенды о Твардовскомъ и Фаустѣ слишкомъ далеки отъ русской повѣсти, другія—очень несложны и далеко не объясняютъ всѣхъ ея чертъ. По нашему убѣжденію, искать для нея опредѣленный источникъ бесполезно. Ея мотивы, мысли, даже выраженія шаблонны въ житійной литературѣ. Почти каждую черту „Саввы Грудцына“ въ отдѣльности можно прослѣдить по множеству житій и повѣстей религіознаго характера, но нигдѣ мы не встрѣчаемъ ихъ собранными въ одномъ фокусѣ, какъ видимъ въ нашей повѣсти, нигдѣ не находимъ слиянія житійнаго матеріала съ русскими историческими и

бытовыми подробностями. Авторъ нашего произведенія обладать большою начитанностью, черпалъ нужный ему матеріалъ отовсюду, но настолько обезличивалъ заимствованное, что мы теперь не можемъ съ рѣшительностью утверждать, что данная черта взята именно изъ того, а не другого сходнаго съ нимъ по мотиву разсказа.

Тѣмъ не менѣе намъ встрѣтился памятникъ, заключающій въ себѣ столько мотивовъ, общихъ съ „Саввой Грудцынымъ“, что на немъ необходимо остановиться съ большимъ вниманіемъ. Это сочиненіе Атанія Критяннина: „Αρατολόων σωτηρία“, первое извѣстное изданіе котораго появилось въ Венеціи въ 1641 г. Мы имѣемъ въ виду собственно 3-ью часть его труда, являющуюся сборникомъ „чудесъ“ Богородицы. Вскорѣ переводы его появились и на Руси¹⁾. Конечно, я не думаю утверждать, что именно это произведеніе послужило источникомъ русской повѣсти. Однако межъ ними существуетъ несомнѣнное духовное родство. Переводчикъ „Грѣшныхъ спасенія“ и авторъ „Саввы Грудцына“ должны были обладать одинаковыми вкусами и взглядами, одними и тѣми-же любимыми писательскими приѣмами, должны были принадлежать къ одному литературному направленію, въ самомъ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Такимъ образомъ, то, что намъ извѣстно относительно обстоятельствъ, сопровождавшихъ этотъ переводъ, можетъ послужить исходной точкой для рѣшенія вопросовъ, возбуждаемыхъ нашей повѣстью. Приступаемъ къ сопоставленію обоихъ памятниковъ²⁾

Нашъ сборникъ по своей тенденціи примыкаетъ къ столь процвѣтавшему въ католической Европѣ культу Св. Дѣвы. Все безъ

¹⁾ Одинъ принадлежитъ уроженцу юго-зап. Руси Самуилу Бакачичу, сдѣланъ на Аѳонѣ ранѣе 1686 г. См. Соболевскаго: „Библиогр. замѣтки“, въ Читаніяхъ въ Ист. Общ. Нестора-лѣтописца, кн. XIV, вып. II, стр. 14—16. Другой переводъ исполненъ, по желанію Іова, митр. новгородскаго, монахомъ Чудовскаго монастыря Дамаскинымъ въ концѣ XVII—началѣ XVIII в. См. Соболевскаго: „Переводная литература московской Руси XIV—XVII в.“, въ Сборн. Отд. русск. яз. и слов. Имп. Акад. Наукъ, т. 74, стр. 336—338.

²⁾ Мы не могли воспользоваться ни греческимъ подлинникомъ, ни наиболѣе важнымъ для насъ переводомъ Дамаскина. Намъ пришлось удовольствоваться спискомъ 1758 г., сдѣланнымъ съ перевода Бакачича. Онъ хранится въ библ. Кіево-Печерской Лавры подъ № 190 и озаглавленъ: „Чудеса Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодѣвы Маріи, отъ греческаго языка на словенскій прѣведенная въ общую пользу отъ смѣреннаго Самуила Бакачича во Святой Горѣ Аѳонской“.

исключенія чудеса, помѣщенные въ немъ, посвящены прославленію могущества и милосердія Богородицы ¹⁾. Ту же черту видимъ и въ русской повѣсти. Она смѣло могла-бы стать въ рядъ разсказовъ сборника, изъ которыхъ нѣкоторые размѣрами, богатствомъ содержания и разнообразіемъ приключеній весьма приближаются къ ней ²⁾.

Сборникъ проникнутъ монашеской тенденціей. Большая часть чудесъ совершена или надъ монахами (чудеса 8, 9, 12, 13, 15—18; 20—25, 27, 29, 33, 34, 36, 41, 42, 45, 46, 59), или монахами (19, 40), или надъ монашески живущими супругами (50). Исцѣленные міряне въ благодарность обыкновенно принимаютъ иночество (7; 19, 26, 31, 35, 37, 55, 56). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ оно ставится условіемъ божественной помощи ³⁾. Иночества же требуетъ Богородица и отъ Саввы. Эта подробность тѣмъ важнѣе для насъ, что ея нѣтъ ни въ легендѣ о Теофилѣ, ни въ Чудѣ Василія Великаго, съ которыми обычно сопоставляютъ нашу повѣсть.

Кромѣ этихъ общихъ тенденцій, „Савву Грудцына“ роднитъ съ разбираемымъ сборникомъ множество частныхъ, разсѣянныхъ въ видѣ отдѣльныхъ чертъ по разнымъ чудесамъ. Напримѣръ, Савва передаетъ свою душу дьяволу рукописаніемъ. То же совершаютъ италійскій князь Каруль и Теофилъ ⁴⁾. Въ повѣсти бѣсъ принимаетъ на себя образъ человѣка, то же обычно и въ сборникѣ (см. чудеса 16, 23, 39, 47 и др.). Въ повѣсти его изобличаетъ святой прозорливецъ, то же находимъ и въ одномъ изъ чудесъ ⁵⁾. Саввѣ бѣсъ доставляетъ деньги, чувственные наслажденія, удовлетвореніе честолюбія. Тѣ же службы несетъ онъ и въ разсказахъ сборника ⁶⁾.

¹⁾ Особенно интересны въ этомъ отношеніи чудеса 9, 34 и 55: „О святомъ Григоріи чудотворцѣ, архіеп. неокесарійскомъ“, „О воставшей отъ мертвыхъ, да утасный грѣхъ исповѣсть“, „О сотворшемъ блудъ причетницѣ, и въ рѣцѣ утонувшемъ, и отъ мертвыхъ возставленномъ“.

²⁾ Напримѣръ, чудо 11: „О царевнѣ италійской, ея же утѣченныи руцѣ уврачева всеилная Владычица“.

³⁾ См. чудеса 23 и 28: „О отвергшемся Христа писаніемъ“ и „О воскрешемъ (sic!) римлянинѣ“.

⁴⁾ См. чудеса 23 и 24: „О отвергшемся Христа писаніемъ“ и „О Теофилѣ, отвергшемся Христа рукописно“.

⁵⁾ Чудо 56: „О воинѣ разбойницѣ, иже, понеже на кійждо день моляшися ко Пресвятой Богородицы, не бысть убиенъ отъ бѣса“.

⁶⁾ О деньгахъ см. выше чудо 23, также чудо 47: „О благоговѣйной нѣкоей женѣ, ея-же образъ Владычица взять на себѣ, и отъ злодѣйствія бѣсов“.

Савва, для врученія сатанѣ рукописанія, посѣщаетъ царство бѣсовское, то же дѣлаетъ и Теофилъ (см. чудо 24). Кромѣ того, въ сборникѣ есть видѣнія царства небеснаго, въ описаніяхъ котораго кое-что напоминаетъ пріемъ Саввы у сатаны ¹⁾. Бѣсъ переноситъ нашего героя по воздуху. Подобныя перенесенія перѣдки и въ нашихъ чудесахъ. Большею частью ихъ производитъ божественная сила ²⁾, но случается дѣлать это и бѣсамъ ³⁾. Когда Савва поступаетъ въ царское войско, бѣсъ всюду слѣдуетъ за нимъ въ видѣ слуги, „оружіе его пошаше“. Про князя Карула также сообщается: „И бѣсъ нмъ (бѣсъ) въ дружинѣ, всегда ходя вслѣдъ его во образѣ воина, и совершаше вся его хотѣнія“ (см. чудо 23). Встрѣчаемъ бѣса и въ дружинѣ разбойниковъ, въ видѣ слуги ихъ атамана ⁴⁾. Силою діавола Савва проходитъ черезъ Дняпръ, „акн по суху“. Силою божественной ходитъ по водѣ Гавріилъ ⁵⁾, ею же поддерживается „верху воды“ упавшій въ рѣку младенецъ ⁶⁾. Когда Савва заболѣлъ, Богородица явилась ему въ сповидѣніи и обѣщала исцѣленіе. Такой пріемъ обыченъ въ сборникѣ: видѣнія во снѣ и въ „изступленіи“ очень часты въ немъ (см. чудеса 3, 8, 9, 21, 22, 23, 24 и т. д.). Иногда рѣчь идетъ въ нихъ именно о возвращеніи рукописанія (чудеса 23 и 24) или объ исцѣленіи (см. чудеса 3, 33, 58, 67). Иногда Св. Дѣву сопровождаетъ, какъ и въ русской повѣсти, Іоаннъ Богословъ ⁷⁾. Чудо надъ Саввою совершается въ за-

скаго избави ю“. О чувственныхъ наслажденіяхъ см. то же чудо 23 и чудо 17: „Яко всечестное имя Маріи погубляетъ и прогонитъ бѣси“.

Объ удовлетвореніи бѣсами честолюбія см. чудо 18: „Подобно тому“, т. е. 17, и чудо о Теофилѣ (24).

¹⁾ См. чудеса 3 и 69: „О Іоаниѣ нѣкоемъ видѣніе полезно“ и „Видѣніе чудное, яко Господь благоувѣтливъ къ намъ бываетъ, Матере Своея преклоненъ сый молитвами“.

²⁾ См. чудеса 28 и 62: „О воскресемъ римлянинѣ“ и „О избавшемся отъ водъ морскихъ“; см. также чудеса 19, 25, 46, 50.

³⁾ См. чудо 40: „О преданномъ отъ матере въ зачатіи бѣсу“.

⁴⁾ См. выше, чудо 56.

⁵⁾ См. чудо 21: „О святой обители Іверской, и пречестной іконѣ, портитисѣ глаголемой, сіе есть, дверници“.

⁶⁾ См. чудо 30: „О отрочати мирнаго, избавшемся отъ водъ рѣчныхъ“.

⁷⁾ См. выше чудо 9 (о Григоріи Неокесарійскомъ) и чудо 34: „О двою брату, свадившихся со собою и отъ Пресвятыя Владычицы примиренныхъ“. Въ послѣднемъ объясняется и причина появленія св. Іоанна. „Сей есть евангелистъ Іоаннъ, дарованный Ми сынъ Мой“, говоритъ о немъ Богородица.

ранѣе опредѣленномъ мѣстѣ, предъ извѣстною иконою. То же видимъ и въ нѣкоторыхъ чудесахъ ¹⁾. Вообще культъ иконъ, сказывающійся въ обстановкѣ Саввинаго исцѣленія, сильно развитъ въ сборникѣ ²⁾. Жертву, ускользающую отъ нихъ, бѣсы подвергаютъ усиленнымъ мученіямъ ³⁾, власть ихъ надъ нею особенно проявляется при пѣвнѣ Херувимской и падаетъ съ послѣдующимъ богослуженіемъ ⁴⁾, богоотметное писаніе возвращается помощью Св. Дѣвы ⁵⁾, по случаю явленнаго чуда устраняется всенародное церковное торжество съ высшимъ духовенствомъ во главѣ ⁶⁾—все это черты, свойственныя какъ „Саввѣ Грудцыну“, такъ и чудесамъ нашего сборника. Поступленіе псѣвленнаго мірянина въ монахи обычно (см. чудеса, указанныя выше). Почти всякій рассказъ заключается общимъ мѣстомъ о добродѣтельной жизни и подвигахъ благочестія героя или героини, каковымъ заканчивается и „Повѣсть о Саввѣ Грудцынѣ“ ⁷⁾. Можно бы указать и другія мелкія черты сходства ⁸⁾,

¹⁾ (см. чудеса 4 и 58: „О церкви Богородичной, иже въ Неоріо“ и „О язвенномъ невидимо малія ради хулы и уврачеванномъ отъ Богоматери“; см. также чудеса 61 и 67: „О просвѣщенномъ стѣщы“ и „О падшемъ отъ стѣны, и сокрушившемся, и отъ Богородицы уврачеванномъ“).

²⁾ Особенно въ этомъ отношеніи замѣчательны выше указанныя чудеса 21 и 30, а также чудеса 16 и 22: „О искушаемомъ отъ бѣса блуднаго, и Пресвятою Богородицею избавленномъ“ и „О всечестной, царской и патриаршеской обители Ватопедской“.

³⁾ См. выше чудо 23.

⁴⁾ См. выше чудо 40.

⁵⁾ См. уже часто указываемыя чудеса 23 и 24.

⁶⁾ См. чудо 23. Узнавъ о возвращеніи рукописанія Богородицею, „Леонъ, святѣйшій архіепископъ тогда римскій, воззва къ себѣ Караля (sic!), и видѣвъ писаніе оно, повелѣ соборному бити отъ церкви благодаренію Богоматери, и совершиша вси праздникъ всеторжественный“. См. чудо 28: „Архіерей-же тогдашнего времени, собравъ клиръ, и люди, состави праздникъ свѣтелъ во възблагодареніе Той, скорой Помощницы“. И по случаю возвращенія рукописанія Теофилу, „Епископъ, и вси, иже во градѣ, прославиша Бога, таковая чудеса творящаго“ (чудо 24).

⁷⁾ Напр., чудо 28 заканчивается такъ: „По семъ князь не возвратися къ тому на путь свой первый, иде въ храмъ единъ Пресвятыя Богородицы, идѣже иноцы нѣколикѣи подвижахуся, и облекся во аггелскій образъ, служаше храму тому до послѣднаго своего издыханія жителствомъ богоугоднымъ, добродѣтельнымъ“.

⁸⁾ Напр., въ повѣсти Савва попадаетъ окончательно въ руки бѣса, благодаря неповиновенію отцу-матери. Среди чудесъ сборника одно даже озаглавлено: „Чудо страшное о послушаніи къ родителемъ, и о святой літургіи“. См. чудо 65.

по, кажется, достаточно и сказаннаго, чтобы имѣть право утверждать, что почти все черты, не взятыя непосредственно изъ русскаго быта и исторіи, роднятся „Савву Грудцына“ съ „Грѣшныхъ спасеніемъ“.

Переводъ этого произведенія въ Чудовѣ не былъ случайностью. Этотъ монастырь во второй половинѣ XVII в. является литературнымъ центромъ огромной важности. Двѣ черты особенно характерны для его дѣятельности. Онъ стремится поддержать рвущіяся традиціонныя связи съ Константинополемъ и греческой литературой. Это стремленіе сказалось массою переводовъ съ греческаго, сдѣланныхъ въ это время въ стѣнахъ Чудова монастыря, или при участіи его иноковъ¹⁾. Онъ отстаиваетъ прежніе нравы и обычаи противъ вторгавшихся съ Запада повншествъ. Это стремленіе нашло свое выраженіе въ борьбѣ чудовскихъ дѣятелей противъ Симеона Полоцкаго и его единомышленниковъ²⁾. Въ то же время въ Москву проникаетъ уже привившійся въ юго-западной Руси культъ Св. Дѣвы³⁾. А priori можно предполагать, что Чудовъ монастырь, главный очагъ южно-русской образованности въ Москвѣ, явится и важнѣйшимъ проводникомъ на сѣверѣ Руси этого культа. Дѣйствительно, одинъ изъ его дѣятелей Іовъ, новгородскій митрополитъ, заботится о переводѣ „Αρρατωλῶν σωτηρία“, другой—Дамаскинъ—его выполняетъ, третье лицо, близкое къ Чудову, Аванасій Хомагорскій привозитъ его, по предположенію акад. Соболевскаго, въ Архангельскъ. Чудеса отъ иконъ Богородицы въ Уваровскомъ сборникѣ № 2071 переведены съ греческаго; языкъ перевода „Звѣзды Пресвѣтлой“—церковно-славянскій, ученый—своими качествами соотвѣтствуетъ языку несомнѣнныхъ чудовскихъ произведеній. Все это позволяетъ предполагать, что и эти переводы вышли изъ Чудова. „Αρρατωλῶν σωτηρία“, удовлетворяя разомъ двумъ тенденціямъ чудовскихъ дѣятелей, не могла не привлечь къ себѣ ихъ вниманія.

¹⁾ См. ак. Соболевскаго: „Переводн. лит. моск. Руси XIV—XVII в.“ Сборн. Отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ, т. 74-й, стр. 283—382.

²⁾ „Симеонъ Полоцкій (его жизнь и дѣятельность)“ Герояса Татарскаго. М. 1886, стр. 190—202.

³⁾ Въ эту эпоху въ Москвѣ появляются „Грѣшныхъ спасеніе“ Дамаскина, многочисленные списки „Звѣзды Пресвѣтлой“, переведенной въ Москвѣ въ 1668 г., и Чудеса отъ иконъ Богородицы въ Уваровск. сборникѣ № 2071, конецъ XVII—нач. XVIII в. См. о нихъ акад. Соболевскаго: „Перев. лит. моск. Руси XIV—XVII в.“, стр. 336—338, 222—224, 330.

Въ свою очередь, мы видѣли, „Савва Грудцынъ“ тѣсно примыкаетъ къ этому произведенію. Надо прибавить, что вообще эта повѣсть проникнута тѣми-же началами, за которыя ратовали въ стѣнахъ Чудова. Онъ стоитъ въ литературѣ поэтической на стражѣ завѣтовъ старины противъ поваго духа, проникавшаго изъ-за западной границы, создавшаго успѣхъ фацеціямъ, повѣстямъ въ родѣ „Фрота Скобѣева“, „гишпанскаго шляхтича Долторна“, „россійскаго матроса Василія“ и др. Новыя повѣсти носятъ свѣтскій характеръ, назначены для забавы, проникнуты любовнымъ элементомъ. Тонъ „Саввы Грудцына“ серьезно-поучительный. Основой ему служитъ литература житій и чудесъ. Вѣяніе времени сказалось и тутъ—въ повѣсти имѣется романтическая интрига, зато отношеніе къ ней автора безусловно отрицательное. Родительская власть, права супруга, праздничные дни, чудотворныя иконы, рубища пищаго „Бога дѣля“—все это глубоко чтилось въ московской Руси, все это остается священнымъ и для нашего автора. О культѣ Св. Дѣвы, проникавшемъ изъ юго-западной Россіи черезъ посредство Чудова, и объ его отраженіи въ „Саввѣ Грудцынѣ“ мы уже говорили выше.

Все сказанное побуждаетъ насъ предположить, не вышла-ли и наша повѣсть также изъ рукъ чудовскихъ дѣятелей. За это говорить и упоминаніе въ ней Чудова, какъ мѣста постриженія Саввы. Возможны два случая. Быть можетъ, повѣсть построена на какомъ-либо мѣстномъ преданіи. Тогда авторомъ ея естественнѣе всего могъ явиться иннокъ той обители, гдѣ совершилось событіе и создана легенда о немъ. Если-же повѣсть—дѣло исключительно вымысла, то опять таки выдвигать въ ней Чудовъ монастырь и его святыни важнѣе всего было для его монаховъ.

Итакъ, Повѣсть о Саввѣ Грудцынѣ, повидимому, появилась во второй половинѣ XVII в. въ Москвѣ, въ стѣнахъ Чудова монастыря.

Подробный анализъ собственныхъ именъ ея, топографическихъ указаній, историческихъ и бытовыхъ чертъ, ея языка, намъ кажется, подтверждаетъ этотъ выводъ, отодвигая лишь время ея возникновенія къ послѣдней четверти XVII в.

Владимиръ Розовъ.

О существовавших въ г. Кіевѣ римско-католическихъ храмахъ.

Вновь появившаяся книга Владислава Абрагама: „Z dziejów kościoła“ (Львовъ, 1905), въ которой двѣ главы посвящены исторіи сношеній Кіевской Руси съ Римомъ въ дотатарское время и разбору извѣстій о древнѣйшихъ римско-католическихъ храмахъ на Руси Новгородской и Кіевской, даетъ намъ поводъ пересмотрѣть запово частный вопросъ о римско-католическихъ храмахъ, существовавшихъ въ нашемъ Кіевѣ за время его историческаго существованія.

Прежде всего спрашивается: существовалъ ли какой либо римско-католическій храмъ въ г. Кіевѣ въ XI и XII вѣкѣ? Такъ какъ на этотъ вопросъ историческіе источники не даютъ прямого отвѣта, то г. Абрагамъ пытается разрѣшить его утвердительно путемъ сопоставленія дошедшихъ до насъ косвенныхъ показаній. Онъ беретъ извѣстную охранную грамоту (подорожную), выданную аббатомъ бенедиктинскаго кляштора въ Вѣнѣ 4 января 1242 года двумъ монахамъ, бѣжавшимъ изъ кляштора Пресвятой Дѣвы Маріи на Руси (de clauastro S. Mariae in Ruscia) послѣ того, какъ всею Русью овладѣли татары, и направившимся въ Ирландію (in Hyberniam¹⁾). Затѣмъ онъ обращается къ древнѣйшему житію Іакинѣа Одровонжа (Codex Chisianus), въ которомъ говорится, что въ 1222

¹⁾ См. Erben, Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. P. I, Pragaе. 1855, p. 502, № 1060.

году Іакинѣъ прибылъ вмѣстѣ съ братьями (въ монашескомъ смыслѣ) Гоудиномъ, Флоріаномъ и Бенедиктомъ въ г. Кіевъ и здѣсь принялъ въ свое вѣдѣніе кляшторъ братьевъ проповѣдниковъ во имя Пресвятой Дѣвы Маріи (*in eadem civitate conventum in honorem Virginis gloriose fratrum predicatorum recepit*¹⁾). Въ виду того, что кіевскій кляшторъ, упомянутый въ житіи Іакинѣа, былъ посвященъ Пресвятой Дѣвѣ Маріи, равно какъ и кляшторъ, о которомъ идетъ рѣчь въ охранной грамотѣ, г. Абрагамъ прежде всего отождествляетъ оба кляштора и полагаетъ, что бѣжавшіе отъ татаръ монахи шли именно изъ г. Кіева. То же обстоятельство, что они направлялись въ Ирландію (*in Hyberniam*) и получили охранную грамоту отъ аббата вѣнскаго кляштора, населеннаго такъ называемыми скоттами, даетъ ему право заключить, что кіевскимъ римско-католическимъ кляшторомъ въ послѣдніе годы его существованія передъ татарскимъ разгромомъ владѣли именно скотты, т. е. монахи, вышедшіе изъ Ирландіи для проповѣди западнаго христіанства на Востокъ и среди язычниковъ; ихъ называли ипаче кульдеями. Такъ какъ въ житіи одного изъ скоттовъ святого Маріана, поселившагося въ регенбургскомъ кляшторѣ „Obermünster“, житіи, написанномъ около 1185 г. и разработанномъ покойнымъ проф. Васильевскимъ въ статьѣ „Древняя торговля Кіева съ Регенбургомъ“,²⁾ есть разсказъ о томъ, какъ другой скоттъ, по имени Маврикій (Мориць), побывать въ г. Кіевѣ, съумѣлъ завоевать себѣ расположеніе тогдашняго кіевского князя (по предположенію проф. Васильевскаго, одного изъ Изяславичей—либо Святополка, умершаго въ 1122 г., либо Мстислава, скончавшагося въ 1129 г.) и старѣйшинъ города, получилъ отъ нихъ щедрые подарки въ видѣ драгоцѣнныхъ звѣриныхъ мѣховъ, цѣнностью во сто тогдашнихъ марокъ, и, наконецъ, возвратился обратно въ г. Регенбургъ въ сопровожденіи вѣхавшихъ туда же изъ г. Кіева регенбургскихъ купцовъ, то г. Абрагамъ полагаетъ, что скотты были именно тѣми духовными лицами, которыя удовлетворяли религіозныя потребности проживавшихъ въ г. Кіевѣ латинянъ въ XII вѣкѣ. На томъ основаніи, что въ извѣстіи Длугоша (1415—1480) объ изгнаніи изъ г. Кіева въ 1233 г. доминиканцевъ Владиміромъ Рюриковичемъ упо-

¹⁾ См. Monumenta Poloniae historica, t. IV, Lwów 1884, str. 857. Житіе написано чтеніемъ (lector) краковскаго доминиканскаго кляштора Станиславомъ около 1352 г. Умеръ онъ въ 1365 г.

²⁾ Журн. М. Н. Пр. 1838 г. Іюль.

минается о храмъ Пресвятой Дѣвы Маріи въ г. Кіевѣ, около котораго расположено было доминиканское общежитіе (*praefatos fratres de ecclesia S. Mariae in Kyow, ordini praefato consignata et circa quam habebant conventum, expellit*¹⁾, г. Абрагамъ допускаетъ, что храмъ этотъ возникъ еще въ ту пору, когда въ Кіевѣ проживали скотты, затѣмъ приняты были Іакинѣомъ и его спутниками въ вѣдѣніе доминиканцевъ, и постъ изгнанія ихъ въ 1238 г. вновь перешелъ въ завѣдываніе скоттовъ, въ рукахъ которыхъ и просуществовалъ до татарскаго погрома, въ эпоху котораго въ общемъ разрушеніи исчезли всякіе слѣды его.

По нашему мнѣнію, разсужденіе г. Абрагама не выдерживаетъ строгой критики. Храмъ (*ecclesia*) и монашеское общежитіе (*claustrum, conventus*)—не одно и то же. Въ извѣстіи Длугоша подъ 1233 годомъ прямо сказано, что князь Владимиръ изгнать доминиканцевъ изъ храма Пресвятой Дѣвы Маріи, предоставленнаго ордену и окруженнаго монашескимъ общежитіемъ. Такимъ образомъ нельзя сомнѣваться, что доминиканскій кляшторъ въ 1233 г. имѣлъ у себя храмъ Пресвятой Богородицы. Извѣстіе Длугоша заслуживаетъ значительнаго довѣрія, такъ какъ Длугошъ располагалъ полною возможностью найти свѣдѣніе о разсказываемомъ событіи въ бумагахъ сандомирскихъ или краковскихъ доминиканцевъ²⁾. Но если бы Іакинѣъ засталъ въ 1222 г. существующій уже храмъ, то въ житіи его было бы, по всей вѣроятности, упомянуто, что онъ принялъ въ свое вѣдѣніе и общежитіе, и храмъ, между тѣмъ какъ въ житіи опредѣленно сказано, что Іакинѣъ вступилъ въ завѣдываніе только общежитіемъ (*conventum recepit*). Не имѣя, такимъ образомъ, никакихъ прямыхъ извѣстій о существованіи римско-католическаго храма въ г. Кіевѣ въ XI и XII в., мы должны признать наиболѣе вѣроятнымъ, что такового храма въ эту эпоху вовсе тамъ не было и что проживавшіе въ г. Кіевѣ латиняне или молились въ своихъ частныхъ жилищахъ, или довольствовались для общественнаго богослуженія домашней каплицей, какую могли устроить пребывавшіе въ г. Кіевѣ скотты при своемъ общежитіи. Только Іакинѣъ и его сотрудники несомнѣнно соорудили храмъ въ честь Пресвятой Дѣвы Маріи, правдоподобіе всего деревянный, который и про-

¹⁾ См. по изд. 1711 г. (Гледича и Вейдмана) *Lib. VI*, p. 649; Бестужевъ-Рюминъ, О составѣ рус. лѣт., Спб. 1868, ч. 2, стр. 295.

²⁾ Длугошъ род. въ 1415 г., ум. въ 1480 г.; былъ воспитателемъ дѣтей короля Казимира.

стоялъ около двадцати лѣтъ сначала въ вѣдѣніи доминиканцевъ съ Іакинѳомъ и его преемниками Годиномъ и Мартиномъ изъ Сандомира во главѣ, затѣмъ послѣ 1233 г. въ вѣдѣніи скоттовъ, бѣжавшихъ изъ Кіева въ 1240 г. подъ громъ татарской грозы. Вѣроятно, онъ былъ сожженъ татарами при взятіи города и потому въ позднѣйшее время нельзя было точно установить его мѣстоположенія. Можно предполагать, что онъ находился въ ляшской слободѣ, раскинутой по склону горы за ляшскими воротами, расположенными у вѣзда въ нынѣшнюю Софійскую улицу со стороны Софійскаго собора.

* * *

Въ первое столѣтіе послѣ татарскаго погрома и при князьяхъ Ольгердовичахъ, Владимирѣ, Александрѣ и Симеонѣ, не существовало въ г. Кіевѣ никакихъ римско-католическихъ учрежденій. Въ этомъ нельзя сомнѣваться послѣ блестящаго изслѣдованія покойнаго проф. Малышевскаго о характерѣ князей Ольгердовичей и о подложности той грамоты, которая составлена была доминиканцами въ началѣ XVII в. отъ имени второго изъ нихъ, Александра Обстоятельства измѣнились только во второй половинѣ XV вѣка. Въ 1471 г. должность воеводы кіевскаго занялъ католикъ Мартинъ Гаштольдъ. Съ 1473 г. вмѣстѣ съ нимъ проживалъ въ г. Кіевѣ его братъ, римско-католическій епископъ Станиславъ Гаштольдъ. Оба Гаштольда чествовали параднымъ обѣдомъ въ домѣ воеводы, расположенномъ посреди замка на нынѣшней Флоровской горѣ, посла венеціанской республики Амвросія Контарини, прѣбывшаго въ г. Кіевѣ 1 мая 1474 г. по пути къ персидскому шаху. Контарини въ своемъ дневникѣ рассказываетъ, что передъ отъѣздомъ въ дальнѣйшую дорогу онъ выслушалъ обѣдню, но не упоминаетъ, чтобы эта обѣдня служилась въ храмѣ ¹⁾. Вѣроятно же всего, что братья Гаштольды построили въ замкѣ римско-католическую каплицу, которая достояла до временъ епископа Іосифа Верещинскаго, но въ такомъ запустѣніи, что замковые урядники, по его словамъ, „изъ пренебреженія къ ней запирали въ нее своихъ клячъ“. Можно предполагать, что при Гаштольдахъ появились снова въ г. Кіевѣ и доминиканцы, выстроившіе гдѣ-то у подножія замковой горы, повидимому, въ сторону нынѣшняго Житняго базара, маленькій деревянный храмъ во

¹⁾ См. Собр. мат. для истор. топогр. Кіева, К. 1874, отд. II, стр. 7.

имя Святой Троицы. Въ описаніи кievскаго замка 1552 г. находимъ такое свидѣніе: „Помирѣное отъ збожья идетъ на кляшторъ тамошній костела святое Тронцы“¹⁾. Въ концѣ XVI вѣка этотъ костель лично видѣли запорожскій гетманъ Янъ Орышовскій, епископъ Іосифъ Верещинскій и ѣхавшій для переговоровъ съ запорожцами отъ имени австрійскаго императора Эрнхъ Лассота. Призванный въ Краковъ въ качествѣ свидѣтеля по дѣлу о назначеніи аббата Іосифа Верещинскаго римско-католическимъ епископомъ кievскимъ, Орышовскій 7 іюня нов. ст. 1591 г. показывалъ, что въ Кіевѣ нѣтъ каедральнаго костела, ибо Кіевъ нѣсколько разъ былъ разоренъ при частыхъ татарскихъ набѣгахъ; единственный въ городѣ костель принадлежитъ монахамъ ордена св. Доминика; при немъ обыкновенно проживаютъ два монаха²⁾. Верещинскій, побывавши въ Кіевѣ въ 1592 г., писалъ въ 1595 г. въ своей брошюрѣ „Способъ заселенія новаго Кіева“, что онъ нашелъ тамъ только капличку въ замкѣ, да костеликъ доминиканцевъ съ однимъ монахомъ при немъ³⁾. Эрнхъ Лассота, останавливавшійся въ г. Кіевѣ 7, 8 и 9 мая нов. ст. 1594 г. замѣчаетъ, что „римско-католическая соборная церковь незавидна и деревянна“⁴⁾; очевидно, онъ имѣетъ въ виду тотъ же доминиканскій костеликъ, но не опредѣляетъ съ точностью, въ чьемъ вѣдѣніи онъ находится, а называетъ его соборною церковью (Thumbkirchen), конечно въ томъ только смыслѣ, что онъ являлся единственнымъ храмомъ, гдѣ могъ отправлять богослуженіе римско-католическій епископъ въ случаѣ посѣщенія имъ престольнаго города.

Римско-католическіе епископы отъ Станислава Гаштольда до Іосифа Верещинскаго никогда не проживали въ г. Кіевѣ главнымъ образомъ потому, что никакой паствы у нихъ тутъ не было. Іосифъ Верещинскій изъ Верещина въ теперешнемъ Влодавскомъ уѣздѣ Сѣдлецкой губерніи, призванный изъ аббатовъ Сѣдѣховскаго кляштора на кievское епископство, хотя онъ и не былъ докторомъ теологій, въ награду за поддержку кандидатуры Сигизмунда Вазы во время выборовъ короля, вскорѣ послѣ своего нареченія 6 августа 1589 г. переѣхалъ на жительство въ свою епархію. Онъ бывалъ въ Кіевѣ неоднократно, но не нашелъ здѣсь благопріятныхъ условій

¹⁾ См. Арх. юго-зап. Рос., ч. VII, т. 1, стр. 111.

²⁾ См. Korzeniowski, Excerpta ex libris manu scriptis archivi consistorialis Romani. Crac. 1890, p. 13—14.

³⁾ См. Pisma polityczne ks. Józefa Wereszczyńskiego, wyd. Turowskiego. Krak. 1858, str. 37.

⁴⁾ См. Путевыя записки Эрнха Лассоты, пер. Ф. Бруна, Од. 1873, стр. 20.

для жизни и дѣятельности. Описавъ плачевное состояніе Кіево-Софійскаго собора, Верещинскій въ упомянутой брошюрѣ „Способъ заселенія новаго Кіева“ говоритъ: „То же самое происходитъ и съ кіевскимъ епископствомъ и съ его кафедральнымъ храмомъ, *отъ котораго и остатковъ нѣтъ*. Кіевскіе католики болѣе ста лѣтъ не видѣли у себя своихъ бискуповъ и жили, какъ овцы безъ пастыря. Я не засталъ у нихъ ни священника, ни храма, ни алтаря, а только нашель капличку въ замкѣ, въ которую замковые урядники изъ пренебреженія къ ней запирали своихъ клячъ, да костеликъ доминиканцевъ съ однимъ монахомъ при немъ“. Орышовскій въ 1591 г. говоритъ въ Краковѣ, что вновь нареченный кіевскій епископъ Верещинскій стремился къ тому, чтобы обратить въ кафедральный костель русскую церковь св. Софій, которая чрезвычайно обширна. Затѣя эта не осуществилась по недостатку у Верещинскаго денежныхъ средствъ для реставраціи святыни, и Верещинскій не поселился въ Кіевѣ. Своей резиденціей онъ выбралъ Фастовъ—имѣніе, доставшееся римско-католическимъ епископамъ въ 1560 г. по праву залога отъ старинныхъ кіевскихъ землянъ Макаревичей-Ивашеневичей. Здѣсь Верещинскій выстроилъ себѣ укрѣпленный замокъ съ костеломъ и съ жилимъ домомъ, здѣсь онъ принималъ гостей (напр. самого Лассоту 1, 2 и 3 мая нов. ст. 1594 г.), здѣсь устроилъ типографію и отпечаталъ свою брошюру „*Votum z strony podniesienia wojny potężnej przeciwko cesarzowi tureckiemu bez ruszenia pospolitego*“, отсюда писалъ онъ свои письма (отчасти уже изданныя) къ канцлеру Яну Замойскому, къ Станиславу Жолкѣвскому и т. д. Свою фастовскую резиденцію Верещинскій любилъ называть Новымъ Верещиномъ въ память о родовомъ Верещинѣ Влодавскомъ. Судить о результатахъ епископской дѣятельности Верещинскаго можно будетъ опредѣленнѣе тогда, когда будетъ издано хранящееся въ Римѣ въ папской консисторіи „Разсѣдованіе о личности Христофора Казимирскаго, предназначенаго въ 1598 г. на епископскую кафедру въ Кіевъ, съ присоединеніемъ замѣчаній о состояніи кіевской епархіи“ (Processus de persona Christophori Kazimirski a. 1598 ad episcopalem sedem Kiioviensem nominati adiunctis observationibus de statu dioecesis Kiioviensis¹⁾). Но и теперь, зная подробно кіевскій періодъ жизни Верещинскаго, можно съ увѣренностью утверждать, что онъ не построилъ въ Кіевѣ никакого римско-католическаго храма. Постоянно занятый проектами

¹⁾ См. Korzeniowski, Excerpta etc., p. 22.

о союзѣ европейскихъ государей для борьбы съ турками, о заселеніи тянувшихся за Кіевомъ пограничныхъ пустынь, объ основаніи на лѣвомъ берегу Днѣпра рыцарскаго ордена, объ укрѣпленіи и возрожденіи Кіева и др., составленіемъ публицистическихъ брошюръ, отраженіемъ татарскихъ набѣговъ, обширной перепиской, онъ не имѣлъ даже времени для хромосозидательной дѣятельности. Преемникъ его Крыштофъ Казимирскій увидѣлъ въ Кіевѣ тотъ же деревянный доминиканскій костель, который существовалъ и до Верещинскаго.

* * *

При епископѣ Казимирскомъ число доминиканцевъ въ Кіевѣ значительно возросло, и они проявили весьма энергическую дѣятельность съ пріоромъ Регинальдомъ Крушинскимъ во главѣ. Капониція св. Іакипеа Одровонжа буллою Климента VIII отъ 17 апрѣля нов. ст. 1594 г. пробудила въ католическихъ сердцахъ чувства любви и благоговѣнія къ этому святому. Въ Кіевѣ старались отыскать слѣды существовавшихъ при немъ храма и общежитія (конвента), и, пользуясь созвучіемъ названій двухъ Вышгородовъ, мазовецкаго, противъ котораго, по житію, Іакипеа чудеснымъ образомъ перешелъ по волпамъ черезъ Вислу, и кіевскаго,—въ развалинахъ древней вышгородской православной церкви, гдѣ съ 1072 г. покоились мощи князей Бориса и Глѣба, усмотрѣли остатки храма Пресвятой Дѣвы Маріи и конвента, пріютившаго миссію Іакипеа. Это былъ благочестивый вымыселъ (*praefraus*), свойственный духу того времени. Доминиканцы разобрали вышгородскую церковь и изъ ея кирпичей и обломковъ оловянной кровли построили также подъ замковой горой, въ сосѣдствѣ съ костеломъ св. Троицы, новый каменный костель во имя св. Николая мирликійскаго¹⁾. Позднѣе покровитель доминиканцевъ кіевскій земскій судья Стефанъ Ивановичъ Аксакъ построилъ для братіи каменное общежитіе (конвентъ). Въ 1610 г. Николаевскій костель былъ уже выстроенъ, такъ какъ мы имѣемъ свѣдѣніе, что въ немъ былъ по-

¹⁾ См. Кіевск. Стар. 1884, т. X, стр. 233, ст. Петра Лебединцева: „О образованіи бывшаго въ Кіевѣ на Подолѣ доминиканскаго костела св. Николая въ православную церковь во имя св. апостоловъ Петра и Павла“; см. записку Петра Развидовскаго въ Сборн. мат. для ист. топ. Кіева, К. 1874, отд. II, стр. 102.

гребень умершій въ этомъ году князь Романъ Кириковичъ Ружинскій¹⁾).

Между тѣмъ епископъ Казимирскій хотѣлъ прославить свое служеніе постройкою каедральнаго костела. Онъ также отыскалъ на Подолѣ близъ Щекавицкой горы противъ нынѣшней Ярославской улицы какія-то развалины каменныхъ стѣнъ и подалъ въ 1600 г. жалобу королю на кievскихъ мѣщанъ. будто послѣдніе разобрали и обратили на свои надобности стѣны костела Успенія Пресвятой Богородицы, сложенныя изъ дикаго камня, будто они присвоили и застроили тѣ усадебныя мѣста, гдѣ стоялъ костель, гдѣ былъ погостъ и ютились дома священниковъ, будто они заграбили утварь изъ опустошеннаго каедральнаго костела и изъ костела фарнаго (т. е. приходскаго, *fara*—извращенное *parochia*—приходъ) во имя св. Екатерины, будто они его, Казимирскаго, угнетаютъ разными кривдами²⁾. Зная истинное положеніе дѣла по извѣстіямъ Яна Орышовскаго, Іосифа Верешинскаго и Эриха Лассоты, мы можемъ видѣть, насколько далеки отъ правды жалобы Казимирскаго. Опустошеніе мѣщанами костеловъ каедральнаго Успенія Пресвятой Богородицы и фарнаго св. Екатерины, которыхъ никогда не существовало, является простымъ вымысломъ его фантазіи. Въ 1602 г. королевскимъ декретомъ отъ 21 іюня нов. ст. ему были отданы спорныя усадьбы³⁾, и онъ выстроилъ на нихъ тотъ „домъ и острогъ бискупій“ (т. е. домъ, огороженный частоколомъ), о которыхъ идетъ рѣчь въ жалованной грамотѣ Сигизмунда III кievскимъ мѣщанамъ на гору Щекавицу отъ 15 февраля 1619 г.⁴⁾

Устроивъ для себя жилую обстановку, епископъ Казимирскій продолжалъ думать о сооруженіи каедральнаго костела. Чтобы собрать необходимыя средства для предположенной постройки, онъ обратился къ богатымъ благотворителямъ и ревнителямъ благочестія съ воззваніемъ о пожертвованіяхъ. Изъ одного акта, указаннаго намъ г. А. И. Савенкомъ и найденнаго имъ въ актовѣ книгѣ Центральн. Архива № 34, видно, что въ 1607 г. кievскій каедральный костель еще не строился, ибо въ этомъ году князь Явупъ Николаевичъ Збаражскій, воевода брацлавскій, подарилъ кievскому

¹⁾ См. записку П. Развидовскаго, *ibid.* стр. 103.

²⁾ См. Голубевъ, Кievскій митрополитъ Петръ Могила. Т. I. К. 1883, приложенія, стр. 178.

³⁾ См. *ibid.* стр. 171—177.

⁴⁾ См. Сборн. матер. etc., отд. III, стр. 60.

епископу Крыштофу Казимирскому для основанія (założenia) въ Кіевѣ каѳедральнаго римско-католическаго костела имѣніе Бабичи, которое лежало на обоихъ берегахъ р. Припети и заключало въ себѣ, кромѣ села Бабичи съ русскою церковью, корчмой и двумя мельницами на р. Солокучѣ, еще села Старое и Боргутъ. Казимирскому такъ и не удалось достигнуть поставленной цѣли. Онъ скончался въ 1618 г., а каѳедральный костель былъ сооруженъ въ Кіевѣ только послѣ 1680 г. тѣмъ же кіевскимъ земскимъ судьей Стефаномъ Ивановичемъ Аксакомъ, который построилъ и общежитіе (конвентъ) для доминиканцевъ. Этотъ каменный храмъ принялъ въ себя разобранные остатки основанной еще Владимиромъ Мономахомъ на мѣстѣ пролитія крови святого князя Бориса Владимировича Борисоглѣбской церкви въ м. Борисполь нынѣшняго переяславскаго уѣзда полтавской губерніи; отсюда привезли въ Кіевъ, по сказанію Павла Алеппскаго¹⁾, камни, дерево и желѣзо отъ сломанной церкви и употребили ихъ на постройку костела. Когда новый каѳедральный каменный костель былъ законченъ, то старый деревянный костеликъ св. Троицы былъ разобранъ и перевезенъ за Днѣпръ въ м. Басань нынѣшняго Козелецкаго уѣзда Черниговской губерніи, имѣніе Федора Васильевича Ходыки-Крыницкаго, подстоля черниговскаго. Это не могло случиться ранѣе 1635 г., такъ какъ Федоръ Васильевичъ въ разсказѣ Петра Развидовскаго о перевозкѣ костелика названъ подстолиемъ черниговскимъ, а Черниговъ отошелъ къ Польшѣ по Поляновскому договору 1634 года и Черниговское воеводство съ лѣстницею земскихъ чиновъ было устроено въ 1635 г. Оба костела, доминиканскій и каѳедральный, осматривалъ въ 1653 г. Павелъ Алеппскій, который описываетъ ихъ слѣдующимъ образомъ²⁾: „Они (т. е. римскіе католики) имѣли въ немъ (т. е. въ Кіевѣ) двѣ благолѣпныхъ церкви изъ камня и извести, со сводами на высокихъ столбахъ. Одна изъ нихъ древняя, другая новая, изящная, украшенная всѣми архитектурными красотою. Но будучи доведена до конца, она теперь плачетъ по людямъ, которые ее посѣщали, но которыхъ сокрыли судьба и время. Впрочемъ, ни изображенія на верхнихъ частяхъ ея красивыхъ потолковъ, сдѣланныхъ изъ гипса, подобнаго тѣсту, ни разнородныя украшенія еще не довершены художниками. Въ настоящее время

¹⁾ См. Путеш. антиох. патр. Макарія въ Россію, переводъ Г. Муркоса, вып. IV, стр. 189—190.

²⁾ См. тамъ же, вып. II, стр. 76.

она въ разрушеніи и служить мѣстомъ для нечистыхъ дѣлъ и обиталищемъ для скота и вьючныхъ животныхъ. Неблагообразная, потрескавшаяся, она только держится и утверждаетъ на своихъ столбахъ и основаніяхъ, и покрыта темносѣрою зеленью густого мха“.

Извѣстно, что въ первой половинѣ XVII вѣка (съ 1620 г.) существовалъ еще въ Кіевѣ бернардинскій костелъ при бернардинскомъ кляшторѣ, расположенномъ на Подолѣ близъ нынѣшней церкви Николая Добраго ¹⁾. Этотъ костелъ былъ построенъ, повидимому, изъ дерева. Изъ Лѣтописи Ерлича ²⁾ и изъ современнаго письма, присланнаго изъ Кіева, мы знаемъ, что костелъ этотъ сгорѣлъ до тла вмѣстѣ съ кляшторомъ 17 августа нов. ст. 1651 г., когда злоумышленники подожгли Подоль для грабежа. „Костелъ отцовъ доминиканцевъ“, прибавляетъ очевидецъ, „уцѣлѣлъ, потому что одинъ солдатъ (żołdak) загасилъ пламя въ куполѣ, который тлѣлъ уже болѣе часа. Каѳедральный костелъ также уцѣлѣлъ отъ огня“ ³⁾. Вотъ почему Павелъ Алеппскій совѣмъ не упоминаетъ о бернардинскомъ костелѣ.

Бопланъ, описывая Кіевъ, говоритъ еще о костелѣ іезуитскомъ ⁴⁾, но мы полагаемъ, что здѣсь съ его стороны допущена простая обмолвка: вмѣсто того, чтобы сказать, что въ Кіевѣ имѣется іезуитскій коллегіумъ, онъ сказалъ, что существуетъ іезуитскій костелъ. Между тѣмъ іезуиты появились въ Кіевѣ въ 1645 г., за три года до возстанія Богдана Хмельницкаго, и не имѣли времени соорудить для себя особый костелъ. Одинъ изъ нихъ, Николай Циховскій ⁵⁾, прямо свидѣтельствуетъ, что онъ держалъ свои проповѣди въ бернардинскомъ костелѣ, а что исповѣдывали іезуиты, особенно во время великаго поста, въ обонхъ орденскихъ костелахъ: бернардинскомъ и доминиканскомъ.

Послѣ присоединенія Кіева къ Россіи и изгнанія изъ него поляковъ каѳедральный костелъ, никѣмъ не поддерживаемый, обру-

¹⁾ См. Сборн. мат. etc. отд. II, стр. 103, 114, 115.

²⁾ См. *Latopisiec albo Kroniczka Joachima Jerlicza*. Tom I. Warsz. 1853. str. 126.

³⁾ См. Ambroży Grabowski, *Starożytności historyczne polskie*, Tom I, w Krak. 1840, str. 340.

⁴⁾ См. В. Г. Ляскоронскій, Г. Левассеръ-де-Бопланъ, К. 1901, стр. 5.

⁵⁾ См. Сборн. мат. etc. отд. II, стр. 52—53, извлеченіе изъ брошюры Циховскаго „*Colloquium Kijoviense*“, 1649.

шился и материалы его быстро были разобраны мѣстными обывателями для своихъ надобностей. Онъ былъ расположенъ на Подоль въ томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ приходится юго-восточный уголъ зданія бывшей духовной семинаріи.

Старый доминиканскій костелъ во имя св. Николая въ гетманство Мазепы при митрополитѣ Варлаамѣ Ясинскомъ между 1690 и 1695 г. былъ передѣланъ, какъ извѣстно, въ православную церковь во имя апостоловъ Петра и Павла съ придѣломъ во имя св. Алексѣя, челоуѣка Божьяго, существующую и понынѣ. Исторія этой перестройки была рассказана въ особой замѣткѣ покойнымъ протоіереемъ Петромъ Лебединцевымъ.

Между 1660 и 1799 г. никакого костела въ Кіевѣ не было и римско-католическое богослуженіе нигдѣ не отправлялось. По указу императора Павла I отъ 19 апрѣля 1799 г. выстроенъ былъ деревянный костелъ близъ нынѣшней церкви св. Ольги на Печерскомъ базарѣ, просуществовавшій до 1817 г., когда онъ былъ уничтоженъ пожаромъ. Въ томъ же году заложенъ былъ нынѣ существующій костелъ св. Александра.

Такимъ образомъ, въ г. Кіевѣ за время его исторической жизни несомнѣнно существовали слѣдующіе римско-католическіе храмы:

- 1) доминиканскій храмъ во имя Пресвятой Дѣвы Маріи— между 1222 и 1240 г., въ окрестностяхъ нынѣшней Софійской улицы;
- 2) доминиканскій храмъ во имя Святой Троицы— между 1473 и 1635 г., подъ Флоровской горой въ сторону Житняго базара;
- 3) доминиканскій же храмъ во имя св. Николая мирликійскаго— между 1600 и 1660 г., на мѣстѣ нынѣшней Петропавловской церкви;
- 4) кааедральный костелъ, построенный С. И. Аксакомъ, неизвѣстно, съ какимъ посвященіемъ,— между 1635 и 1660 г., на мѣстѣ юго-восточнаго угла зданія бывшей семинаріи;
- 5) бернардинскій костелъ— между 1620 и 1651 г., близъ церкви Николая Доброга;
- 6) приходскій костелъ на Печерскѣ— между 1799 и 1817 г., близъ церкви св. Ольги.

Преданія изъ начала XVII в. о другихъ яко-бы существовавшихъ въ г. Кіевѣ костелахъ ни на чемъ не основаны и являются произвольными вымыслами, исходящими изъ такихъ же вождельній фанатиковъ католицизма, какія создали антиисторическую легенду о св. Іакимѣ, мнимомъ апостолѣ и просвѣтителѣ Руси.

А. Стороженко.

Къ подробностямъ о началѣ войнъ Богдана Хмельницкаго.

Недавно истекло 250 лѣтъ, какъ въ исторіи Южной Руси наступили и стали послѣдовательно совершаться тѣ знаменательныя событія, которыя дали совершенно новое направленіе всей послѣдующей жизни Малорусскаго народа; разумѣемъ десятилѣтній почти періодъ войнъ Богдана Хмельницкаго (1648--1657 г.). Несмотря, однако, на протекшіе 2½ вѣка многіе вопросы этого періода далеко еще не могутъ считаться вполне выясненными, а факты прочно установленными; можно даже сказать, что только съ недавняго времени начинается строго-критическая, научная разработка матеріала, относящагося ко времени борьбы козачества съ Польшей. матеріала, собраніе и изданіе котораго не прекращается и до сихъ поръ.

Среди этого матеріала видное мѣсто должно быть отведено „Краткой лѣтописи о войнахъ поляковъ съ козаками“, вошедшей во 2-е дополненное изданіе „Памятниковъ“ Кіевской Комиссіи для разбора древнихъ актовъ (т. I, отд. III, стр. 137--195, Кіевъ. 1898).

Рукопись этой лѣтописи хранится въ Архивѣ Комиссіи подъ № 171, куда она поступила изъ Тульчинскаго архива гр. Потоцкихъ. По своимъ палеографическимъ особенностямъ рукопись относится къ концу XVII в.

Лѣтопись начинается 1647 и оканчивается 1656 годомъ; она не имѣетъ характера законченнаго труда и представляетъ собой извлеченіе изъ какой-то другой обширной и неизвѣстной намъ

лѣтописи польскаго автора, бывшаго, судя по изложенію, очевидцемъ и участникомъ во многихъ описываемыхъ событіяхъ. Быть можетъ, это даже и не извлеченіе, а уцѣлѣвшій отрывокъ лѣтописи, кѣмъ-то для себя переписанный.

Лѣтопись написана на польскомъ языкѣ.

Она сразу, безъ всякихъ предварительныхъ и пояснительныхъ словъ, начинается разсказомъ о походѣ въ октябрѣ 1647 года короннаго хорунжаго Александра Конецпольскаго, со своимъ отрядомъ, противъ татаръ. Въ разсказѣ сообщаются такія подробности о походѣ, какихъ мы не находимъ ни въ одномъ другомъ памятникѣ того времени.

Отрядъ былъ не великъ по числу людей, о чемъ можно заключить изъ того, что противъ орды татаръ въ 15000 человекъ онъ кажется лѣтописцу недостаточнымъ. Въ походѣ принимали участіе, кромѣ другихъ лицъ, коронный стражникъ, извѣстный своимъ своеволіемъ, Самуиль Лящъ и полковникъ Криштофъ Корицкій изъ отряда князя Доминика (Жаславскаго) Острожскаго, а изъ козацкой старшины: Гурскій, да полковники чигиринскій—Кречовскій и бѣлоцерковскій—Бруханскій, наконецъ, Забужскій, Ганжа и татаринъ Джулай. Изъ козацкихъ именъ совершенно неизвѣстнымъ является лишь бѣлоцерковскій полковникъ Бруханскій. Гурскій же и Забужскій оставались всегда преданными польскому правительству козаками; Забужскій даже былъ назначенъ королемъ Яномъ-Казимиромъ на должность козацкаго гетмана, вмѣсто смѣненнаго въ іюль 1649 г. Богдана Хмельницкаго, но оставался такимъ лишь номинально; осуществить свое право ему никогда не удалось; онъ сталъ впоследствии однимъ изъ ротмистровъ хоругви Конецпольскаго. Хмельницкій, узнавъ о назначеніи на его мѣсто гетманомъ Забужскаго, приглашалъ послѣдняго прибыть въ козацкій лагерь и принять отъ него начальство надъ козаками и гетманскіе клейноты; Забужскій, конечно, не явился.

Кречовскій въ южно-русскихъ лѣтописяхъ, напр., у Величка, называется переяславскимъ полковникомъ; у Самовидца—кіевскимъ; въ разсматриваемой нами лѣтописи мы находимъ Кречовскаго полковникомъ чигиринскимъ и считаемъ это званіе его болѣе достовернымъ, какъ записанное очевидцемъ; оно объясняетъ и дружескія отношенія его къ Хмельницкому, какъ къ своему умному и энергичному подчиненному, и причину участія въ походѣ Конец-

польскаго, бывшаго въ то время чигиринскимъ старостою, и причину близости къ послѣднему и обязательности ручательства за своего сотника.

Имя козака Ганжи, участвовавшаго въ войнѣ Гуни и Острина, а впоследствии оказавшаго содѣйствіе Хмельницкому привлеченіемъ на его сторону регестровыхъ козаковъ передъ Желтоводской битвой, записано южно-русскими лѣтописцами. Польскіе источники, не допускающіе ни малѣйшаго сомнѣнія, какъ сеймиковыя и сеймовыя постановленія 1649 г., называютъ Ганжу ревностнымъ слугою Рѣчи-посполитой, который за оказанныя услуги получаетъ права польскаго дворянства¹⁾; наша лѣтопись, считая Ганжу сторонникомъ поляковъ, заслуживаетъ поэтому полного довѣрія, а сторонникъ Хмельницкаго могъ быть отдѣльнымъ лицомъ, носившимъ также имя Ганжи, и не быть измѣнникомъ козачеству.

Въ татаринѣ Джулаѣ мы, быть можетъ, впервые встрѣчаемъ извѣстнаго впоследствии своей горячей ненавистью къ полякамъ крепивенскаго полковника Филона Джеджалия.

Наконецъ, мы находимъ еще въ лѣтописи имя Гурскаго: лица, носившія эту фамилію, принадлежали и къ козацкой старшинѣ и къ польской шляхтѣ; въ рассматриваемомъ нами источникѣ Гурскій постоянно называется „турчиномъ“ и остается всегда въ польскомъ лагерѣ; въ 1654 г. онъ гибнетъ въ борьбѣ съ козаками; ясно, что „турчинъ Гурскій“ никогда въ рядахъ соратниковъ Хмельницкаго не состоялъ. Таковы были участники похода изъ козацкихъ старшинъ, вѣроятно, съ подчиненными имъ отрядами регестровыхъ козаковъ.

Объ этомъ же походѣ мы находимъ краткое сообщеніе въ „Памятникахъ Альбрехта Радзивилла“, записанное имъ въ ноябрѣ 1647 г.²⁾

¹⁾ Обыватели Брацлавскаго воеводства на сеймикѣ въ г. Владимірѣ 12 октября 1649 г., постановили: „Zabuski, Jaško, Gandza, sami trzey wierni a odwazni pro Republica kozacy, in exemplar et documentum gratitudinis, maia byc sluznie pobilitowani“ (Архивъ Ю.—З. Руси, ч. 3, т. IV, приготовленный къ выпуску). Ходатайство брацлавскихъ обывателей было удовлетворено сеймомъ (см. Vol. legum: Конституція сейма 1649 г.). Личность козака Ганжи, воспятаго также и въ извѣстной малорусской думѣ, возбуждаетъ къ себѣ особенный интересъ. Близость именъ Яська и Ганжи въ конституціяхъ невольно приводитъ къ сопоставленію съ именемъ Феська Ганжи малорусской думы и ставитъ вопросъ объ отзвукѣ конституцій сеймика и сейма въ думѣ. Не соединены ли въ думѣ въ одномъ имени два лица? Въ конституціяхъ ошибка не мыслима.

²⁾ „Pamiętniki“, т. II, стр. 282.

какъ о выдающемся для того времени фактѣ, заслуживающемъ общаго вниманія. По его словамъ, коронный хорунжій совершилъ этотъ походъ подъ самый г. Очаковъ самовольно, съ горстью жолнеровъ; русскій воевода князь Іеремія Вишневецкій выслалъ ему на помощь свои отряды къ Перекопу. Какихъ результатовъ достигли соединенные польско-козацкіе отряды, авторъ „Памятниковъ“ не говоритъ, но сообщаетъ, что крымскій ханъ, оскорбленный этимъ нападениемъ, жаловался коронному гетману и требовалъ прекращенія этого своеволия, нарушающаго мирный договоръ; гетманъ писалъ обоимъ предводителямъ отрядовъ и просилъ, чтобы они не возбуждали вражды между Крымомъ и Польшей и не приводили-бы ихъ къ открытому столкновенію. При этомъ Радзивиллъ замѣчаетъ, что Конецпольскій едва ушелъ отъ татаръ.

О походѣ Конецпольскаго въ 1647 г. противъ татаръ упоминаетъ и Грондскій, прибавляя, что въ немъ участвовалъ и Хмельницкій, котораго, по проискамъ Чаплицкаго, поручено будто-бы было убить какому-то козаку Дачевскому; но послѣдній не сумѣлъ удачно выполнить данное порученіе, и Хмельницкій остался живъ.

Отголоски этого же похода можно видѣть и въ отпискахъ ¹⁾ русскихъ пограничныхъ воеводъ въ Москву, въ которыхъ они сообщаютъ о полученныхъ отъ гетмана Потоцкаго и хорунжаго Конецпольскаго письмахъ, съ предупрежденіемъ о готовящемся нападении татаръ на пограничныя поселенія Московскаго государства и о намѣреніяхъ будто-бы князя Вишневецкаго итти войной противъ враговъ Креста Святого.

Участіе князя Іереміи Вишневецкаго въ походѣ Конецпольскаго подтверждаетъ въ своемъ „Дневникѣ“ и Богуславъ-Казимиръ Машкевичъ ²⁾. Южно-русскіе лѣтописцы умалчиваютъ о походѣ Конецпольскаго, быть можетъ по тому, что въ немъ принимала участіе лишь небольшая горсть регестровыхъ, и самый походъ не принесъ ожидавшихся отъ него результатовъ.

Но чѣмъ онъ былъ вызванъ, не говорятъ и польскіе источники. Остается поэтому думать, что, судя по письмамъ гетмана Николая Потоцкаго къ московскимъ воеводамъ, осенью 1647 года

¹⁾ Акты Москов. Государства, т. II, стр. 179—192.

²⁾ Мемуары, относящіяся къ исторіи Южной Руси. Вып. II. Переводъ К. Мельникъ. Кіевъ 1896 г.

ожидалось нападеніе татаръ на Южную Русь; молодой Конецпольскій съ княземъ Вишневецкимъ задумали предупредить его, сдѣлавъ набѣгъ на татарскія владѣнія. Возможно и другое предположеніе: издатель „Дневника Стан. Освѣцима“ проф. В. Б. Антоновичъ¹⁾, опуская часть этого „Дневника“ за конецъ 1646 г. и весь 1647 годъ, замѣняетъ ее изложеніемъ содержанія опущеннаго мѣста: въ этомъ изложеніи онъ упоминаетъ о политическихъ планахъ, составленныхъ отцомъ короннаго хорунжаго, покойнымъ гетманомъ Станиславомъ Конецпольскимъ, относительно завоеванія Крыма и устройства козаковъ; къ сожалѣнію, издатель „Дневника“ не приводитъ той секретной записки, которая по этому поводу была послана гетманомъ королю. Быть можетъ, эти-то планы своего отца относительно завоеванія Крыма и хочетъ привести въ исполненіе молодой Конецпольскій, чтобы такимъ громкимъ подвигомъ начать свою дѣятельность на пользу отечества.

Съ походомъ въ Крымъ въ 1647 году тѣсно связана и судьба Богдана Хмельницкаго, остававшаяся до сихъ поръ совершенно невыясненной; извѣстія о событіяхъ 1647 года хотя и передаются современниками, но стоявшими далеко отъ мѣста дѣйствія и потому внесенными въ свои рассказы много противорѣчивыхъ показаній, въ которыхъ теперь и запутываются историки. Поэтому, каждый новый лучъ свѣта, который проникаетъ въ эту темную эпоху и облегчаетъ возможность добраться до истины, пріобрѣтаетъ большую цѣну. Такое значеніе луча, хотя и не очень яркаго, имѣетъ и рассматриваемая нами краткая лѣтопись; въ ней обстоятельства похода 1647 г. описаны участникомъ и очевидцемъ.

Эти обстоятельства таковы: Конецпольскій выступилъ въ походъ въ октябрѣ 1647 года въ сопровожденіи лицъ, имена которыхъ мы перечислили выше. Опъ вышелъ изъ г. Устья (въ Галиціи), прошелъ с. Микулинцы и гг. Проскуровъ, Баръ и Корсунь, спустился въ Дикія Поля къ Бургунской переправѣ, гдѣ, по словамъ лѣтописи, утонулъ товарищъ надворной хоругви Боковскій (это одна изъ подробностей, которую могъ записать только самовидецъ); для развѣдыванія, гдѣ стоитъ орда, были высланы козацкіе отряды Забужскаго, Ганжи и Джулая. Оказалось, что орда въ числѣ 15000 человекъ стоитъ улусами на Кочугурахъ. Взявъ

¹⁾ „Кіев. Стар.“ за 1882 г.

съ собой часть отряда и обозъ, а другую оставивъ надъ р. Милымъ Ингульцемъ, Конецпольскій двинулся къ указанному мѣсту; но татаръ тамъ уже не засталъ; они ушли къ Азовскому морю; главная же сила ихъ отправилась въ Крымъ на байрамъ, оставивъ при улусахъ небольшое число людей; отрядъ Конецпольскаго нападаетъ на улусы, громить татаръ, забираетъ ихъ съ женами и дѣтьми, а также и съ домашнимъ скотомъ; возвратясь къ Бургуню, польскій отрядъ дѣлится добычей, соединяется съ обозомъ, стоявшимъ на берегу Ингульца, и отсюда поднимается вверхъ по берегу Днѣпра къ Кодаку; обозъ-же былъ отправленъ къ Крылову. Во время пути пришло извѣстie, что Хмельницкiй возбуждаетъ козаковъ и уговариваетъ ихъ напасть на обозъ Конецпольскаго; послѣднiй отправляетъ своего слугу Адама Радлинскаго, бывшаго подстаростой въ г. Крыловѣ¹⁾, подобно Чаплицкому въ Чигиринѣ, для разслѣдованiя слуховъ. Радлинскiй, прибывъ въ Крыловъ и, удостовѣрившись въ истинности слуховъ, быстро направился въ м. Бужинъ, гдѣ находился Хмельницкiй, успѣлъ схватить его здѣсь и привести въ Крыловъ. Въ это время также Конецпольскiй прибылъ въ Кодакъ, гдѣ и остановился у коменданта крѣпости Гродзицкаго. Узнавъ объ арестѣ Хмельницкаго и отдохнувъ нѣсколько дней, Конецпольскiй со своимъ отрядомъ двинулся къ г. Крылову. Здѣсь онъ тотчасъ-же собираетъ совѣтъ для обсужденiя вопроса, что дѣлать съ арестованнымъ Хмельницкимъ; на совѣтѣ было рѣшено отдать Хмельницкаго на поруки; за него ручались полковникъ Кречовскiй и другiе его прiатели. Разрѣшивъ это дѣло, Конецпольскiй уѣхалъ въ Корсунь, а оттуда въ Броды; Ляцъ остался въ Стеблевѣ; до него перваго доходитъ извѣстie, что Хмельницкiй со своими поручителями бѣжалъ въ Запорожье; Кречовскiй доноситъ объ этомъ Конецпольскому; тотъ, обезпокоенный этой вѣстью, посылаетъ Кречовскаго въ Запорожье узнать о положенiи дѣлъ тамъ; на пути Кречовскiй встрѣчаетъ двухъ козаковъ и двухъ бутовъ (хлопцевъ-слугъ?), забираетъ ихъ и отсылаетъ къ корон. гет-

¹⁾ Въ 1680 г. онъ носилъ званiе луковскаго ловчаго и владѣлъ въ Луцкомъ повѣтѣ половиной села Смержева. Люблинскiй трибуналъ присудилъ отобрать у него имѣнiе въ пользу ротмистра Конст. Чечеля, отцу котораго Радлинскiй не уплатилъ жалованья изъ собранной для этой цѣли суммы. (Арх. Ю.--В. Рос. ч. IV, т. I, Прилож. (въ особомъ томѣ), стр. 136.

ману Потоцкому; изъ допроса козаковъ и бутовъ выяснилось, что Запорожье поднялось поголовно и что Хмельницкій окончательно договорился съ татарами о помощи, отдавъ въ заложники хану своего сына Тимоша. Въ виду этихъ угрожающихъ извѣстій, о мѣрахъ предосторожности позаботился уже Потоцкій и собралъ совѣтъ, въ которомъ принимаютъ участіе: Лящъ, Одривольскій, Чарнецкій и другіе совѣтъ происходилъ въ г. Барѣ, гдѣ въ то время жилъ Потоцкій; на совѣтѣ было постановлено собрать какъ можно скорѣе войско и двинуться противъ Хмельницкаго.

Согласіе орды на союзъ съ казаками лѣтописецъ объясняетъ враждой татаръ къ Польшѣ за недавній набѣгъ Конецпольскаго.

Такъ окончился 1647-й годъ.

Сравнивая извѣстія лѣтописи о событіяхъ 1647 года, записанныя очевидцемъ и участникомъ похода, мы должны отдать имъ преимущество предъ другими извѣстіями, записанными историками по преданіямъ, по слухамъ и по памяти позже и перепутавшими событія до неузнаваемости.

Лѣтопись прежде всего, приводя подробности похода Конецпольскаго противъ татаръ, похода, который обойденъ молчаніемъ въ другихъ источникахъ, указываетъ на его дѣйствительное значеніе въ дѣлѣ Хмельницкаго, какъ на главную причину, склонившую татаръ въ пользу козаковъ.

О Хмельницкомъ лѣтопись говоритъ, какъ о человѣкѣ извѣстномъ, быть можетъ, потому, что она писалась позже войнъ Хмельницкаго, когда слава гетмана прогремѣла уже повсюду или потому, что о немъ говорилось раньше въ недошедшей до насъ части ея. Лѣтопись ничего не говоритъ ни о предшествовавшемъ началу войнъ столкновеніи Хмельницкаго съ Чаплицкимъ, ни о первомъ его арестѣ; она устанавливаетъ лишь фактъ, что, прежде чѣмъ поднять Запорожье, Хмельницкій пытается поднять козачество, жившее въ городахъ къ югу отъ Чигирина; изъ разказа лѣтописи можно вывести заключеніе, что первоначальной цѣлью Хмельницкаго была не борьба съ поляками, а месть лишь Конецпольскому; такъ, напр., онъ уговариваетъ козаковъ сдѣлать нападеніе на обозъ Конецпольскаго, подходившій къ Крылову.

Наша лѣтопись первая также даетъ обстоятельное и точное свѣдѣніе о второмъ арестѣ Хмельницкаго въ Бужинѣ и заключеніи его въ Крыловѣ и при томъ не Кречовскимъ, а подстаростой Радлин-

скимъ, и по приказанію не Потоцкаго, а Конецпольскаго. Имя Радлинскаго, какъ виновника ареста Хмельницкаго, мы впервые встрѣаемъ здѣсь. Кречовскій ручается лишь за Хмельницкаго, какъ за своего подчиненнаго. Послѣ бѣгства Хмельницкаго изъ подъ поручительства, Кречовскій даетъ знать Конецпольскому объ этомъ и идетъ въ поле, чтобы собрать свѣдѣнія о положеніи дѣлъ; все это даетъ мало основанія предполагать о соучастіи Кречовскаго въ замыслахъ Хмельницкаго, по крайней мѣрѣ, въ началѣ возстанія.

Наконецъ, лѣтопись говоритъ, что участіе гетмана Потоцкаго въ дѣлѣ противъ козаковъ проявляется тогда лишь, когда стало достовѣрно извѣстно, что все Запорожье поднялось и что татары, раздраженные Конецпольскимъ, идутъ къ козакамъ на помощь.

Здѣсь невольно припоминаются подробности о возстаніи козаковъ при Хмельницкомъ, записанныя евреемъ Натаномъ Ганповеромъ, который утверждаетъ, что хуторъ огнять былъ у Хмельницкаго самимъ Конецпольскимъ, который этимъ путемъ хотѣлъ поправить свои пошатнувшіяся денежныя дѣла. Если-же принять во вниманіе показаніе Дневника Освѣцима о планахъ Конецпольскаго покорить Крымъ и устроить козачество, то станутъ понятными и походъ его къ Очакову, и мѣры противъ козаковъ, и союзъ послѣднихъ съ татарами противъ Польши. Послѣдней каплей, переполнившей чашу терпѣнія козачества, могли быть мѣры противъ него, принятыя Конецпольскимъ. Изъ разсказа лѣтописи можно заключить, что его планы раздѣлялъ и поддерживалъ и кн. Іеремія Вишневецкій. Такимъ образомъ, и Чаплицкій въ отношеніяхъ къ Хмельницкому былъ виноватъ лишь въ усердномъ исполненіи приказаній своего господина. Если-же Хмельницкій обвинялъ во всемъ Чаплицкаго, то потому что всегда старался не раздражать отдѣльныхъ лицъ изъ среды магнатовъ и этимъ путемъ надѣялся расположить ихъ въ свою пользу. Очень часто онъ доходилъ даже до искательства передъ магнатами.

Въ разсказѣ о Желтоводской битвѣ лѣтопись сообщаетъ, что регестровые козаки перешли на сторону лишь тогда, когда поляки выдали пушки Б. Хмельницкому и когда побѣда послѣдняго стала несомнѣнной; регестровое козачество какъ-будто мало вѣрило въ успѣхъ борьбы, начатой Хмельницкимъ; точно также и козаки, плывшіе по Днѣпру, пристали къ Хмельницкому послѣ того, когда узнали о его побѣдѣ надъ польскимъ отрядомъ;

самая выдача пушекъ произошла вслѣдствіе желанія поляковъ выкупить у Хмельницкаго своихъ заложниковъ, такъ какъ козацкіе убѣжали и обмѣнялись было не на что; говоря о плѣнѣ пановъ, лѣтопись замѣчаетъ, что только одинъ Стефанъ Чарнецкій успѣлъ бѣжать въ Кодакъ.

Въ описаніи Корсунскаго боя мы находимъ одну лишь ту небольшую подробность, что козакомъ, заведшимъ поляковъ въ засаду подъ Корсунемъ, былъ Самуиль Зарудный, а не Никита Галаганъ, какъ думали до сихъ поръ. Это—Самуиль Зарудный, извѣстный болѣе по-отчеству Богдановича, впослѣдствіи былъ генеральнымъ судьей и посломъ къ царю по дѣлу о подтвержденіи правъ присоединенной къ Москвѣ Малороссіи.

Изъ другихъ столкновеній съ козаками въ томъ же 1648 году лѣтопись подробнѣе говоритъ о взятіи полковникомъ Кривоносомъ села Полопнаго, гдѣ поляки не оказали почти никакого сопротивленія. Еще подробнѣе описана битва подъ г. Константиновымъ и с. Пашковкой; въ этой битвѣ противъ Кривоноса выступилъ князь Іеремія Вишневецкій; въ противоположность другимъ современникамъ, изображающимъ здѣсь побѣду поляковъ надъ козаками, лѣтопись правдивѣе и безпристрастнѣе говоритъ лишь о временномъ успѣхѣ, который выпалъ тогда на долю полякамъ; въ окончательномъ-же результатѣ побѣда досталась козакамъ, и польскіе отряды не только отступили, но прямо бѣжали къ г. Чолганскому Камню (Геофилою).

Пилявецкая битва описана, напротивъ, очень кратко и вполне согласно съ другими историческими источниками: поляки бѣжали, оставивъ козакамъ въ добычу свой лагерь. Можно предполагать, что эта битва описана по слухамъ или другимъ источникамъ, а не по личнымъ наблюденіямъ лѣтописца.

Событія 1648 года лѣтопись заканчиваетъ извѣстіемъ объ избраніи въ король Яна-Казимира и назначеніи предводителями войскъ Фирлея, Остророга, Лянцкоронскаго и кн. Вишневецкаго. Не желая обидѣть своего патрона, лѣтописецъ замѣчаетъ, что при этомъ былъ и Александръ Конецпольскій; со стороны лѣтописца это преувеличеніе, такъ какъ мы знаемъ, что ни Вишневецкій, ни Конецпольскій не были избраны въ региментари, и этимъ особенно былъ обиженъ Вишневецкій, имѣвшій даже намѣреніе оставить военное поприще. Однако, симпатіи польской шляхты была на его

сторонѣ и de facto опъ могъ дѣйствительно считаться региментаремъ.

Излагая событія 1649 г., лѣтопись сообщаетъ и здѣсь фактъ, неизвѣстный по другимъ источникамъ: собранное подъ м. Купелью региментарями посполитое рушеніе двинулось къ м. Острополю, находившемуся въ рукахъ козаковъ; городъ былъ взятъ, козаковъ не мало было перебито; остальные заперлись въ замкѣ; изъ м. Любара къ нимъ пришелъ въ помощь небольшой козацкій отрядъ и направился прямо въ замокъ черезъ ряды польскаго сторожеваго отряда, какъ видно, совершенно оторопѣвшаго.

Польское войско, находившееся подъ Острополемъ, двинулось къ Збаражу, но не соединилось съ осажденнымъ отрядомъ, а отодвинулось къ Дубну. Собственно о Збаражской и Зборовской осадѣ лѣтопись ничего новаго не прибавляетъ, если не считать нѣкоторыхъ подробностей о дѣйствіяхъ того отряда, въ которомъ находился и авторъ лѣтописи; особенно подробно описано столкновеніе сторожеваго отряда п. Петки, ротмистра князя Острожскаго, съ татарами подъ Збаражемъ; въ этомъ столкновеніи пало много шляхты и не мало взято въ плѣнъ. Отрядъ князя Острожскаго присоединился къ отряду короля подъ г. Зборовымъ. Говоря объ осадѣ Зборова, авторъ сообщаетъ о неудачной вылазкѣ изъ обоза нѣсколькихъ хоругвей; хоругви были истреблены окончательно татарами, которые, кромѣ того, ворвались въ городъ и значительную часть его разорили, осадивъ короля. Осада Зборова и королевскаго отряда продолжалась около недѣли.

1650-й годъ прошелъ для Польши мирно. Хмельницкій съ ордой воевалъ въ то время въ Молдавіи. Коронный гетманъ Потоцкій, не довѣряя Хмельницкому, собралъ подъ Каменцемъ войска и сталъ лагеремъ, отправивъ въ Молдавію рекогносцировочный отрядъ. Лѣтопись замѣчаетъ, что, по собраннымъ свѣдѣніямъ, Потоцкій пришелъ къ заключенію, что Молдавія разорена по настоянію татаръ. Но это едва-ли было возможно, такъ какъ извѣстно, что поляки задумали войну съ Москвой и хотѣли втянуть въ нее и козаковъ; Хмельницкій-же старался удержать ихъ отъ этого предпріятія и направилъ на Молдавію въ виду того, что молдавскій господарь не хотѣлъ отдавать своей дочери за сына Хмельницкаго; послѣдній и думалъ принудить его къ тому силой, чтобы, пользуясь родственными связями, тѣснѣе скрѣпить союзный договоръ съ

княжествомъ въ интересахъ національной самостоятельности и Молдавіи и козачества.

Событія 1651 года описаны въ лѣтописи хотя и кратко, но результаты ихъ представляются нѣсколько иными, чѣмъ въ другихъ источникахъ. Такъ, рассказы о поражени и убійствѣ Нечая подъ г. Краснымъ и осадѣ Богуна въ Винницкомъ монастырѣ не даютъ по выхъ данныхъ. Напротивъ, нападеніе поляковъ на м. Липовець было, по показанію лѣтописца, далеко для нихъ не успѣшно. Сначала имъ удалось изрубить малый козацкій гарнизонъ города; но отрядъ шедшій на помощь Богуну къ Винницѣ, занялъ городъ и вытѣснилъ поляковъ, которые должны были уйти въ поле по направле-нію къ Винницѣ; возвратившійся въ Липовець съ развѣдокъ польскій отрядъ въ 160 человекъ, не зная объ отступленіи главныхъ силъ, наскочилъ на козаковъ и былъ весь изрубленъ. Надъ козацкимъ отрядомъ, по показанію лѣтописи, начальствовалъ наказной гетманъ Пушкаренко, а не Джеджалий, какъ предполагалось до сихъ поръ. Изъ-подъ Винницы поляки двинулись къ Каменцу; ихъ преслѣдовали козакки и татары; подъ с. Купчинцами произошла битва; поляки ушли къ г. Сокалю на соединеніе съ королев. отрядомъ, а козакки и татары распустили свои загоны по Подоліи, произвели сильные грабежи и затѣмъ ушли подъ Зборовъ къ Хмельницкому.

Самое важное событіе 1651 года — Берестечское сраженіе лишь упомянуто мимоходомъ, быть можетъ потому, что авторъ лѣтописи не принималъ въ немъ участія и описалъ его по слухамъ. Въ томъ-же году, гетманъ Янушъ Радзивиллъ бралъ и разорялъ города въ Украинѣ. Лѣтопись говоритъ о взятіи Трилѣсовъ, Василькова и Кіева; на пути къ послѣднему корон. гетманъ Калиновскій встрѣтилъ въ Порочахъ (Поросыи?) надъ Днѣпромъ, не далеко отъ Василькова и Кіева, собравшихся козаковъ и разогналъ ихъ. Какую мѣстность разумѣлъ авторъ подъ Порочами, — неизвѣстно.

Пораженіе Калиновскаго подъ Батогомъ въ 1652 году, такъ-же какъ и событія слѣдующаго года, переданы очень кратко; между прочимъ, описывая успѣхи польскихъ отрядовъ подъ предводительствомъ Стефана Чарнецкаго и Кондрацкаго, авторъ лѣтописи упоминаетъ о какомъ-то поражени большого козацкаго и татарскаго отряда подъ г. Григоринцами надъ р. Русавой; лѣтопись говоритъ

объ этой побѣдѣ поляковъ довольно обстоятельно. Чарнецкій разбилъ козаковъ и татаръ, взялъ въ плѣнъ двухъ сотниковъ: Мехеринскаго и Демепка, и навязалъ также много татаръ; всѣ они были отпращены королю въ Брестъ-Литовскъ. гдѣ въ то время собрался сеймъ. О битвѣ этой мы впервые узнаемъ изъ лѣтописи.

Наконецъ, событія и войны 1654 – 56 гг. изложены не только кратко, но и упоминанія о козакахъ или Хмельницкомъ встрѣчаются рѣдко. Лѣтопись говоритъ о войпахъ поляковъ или съ московскимъ царемъ или съ шведскимъ королемъ.

Таковы въ общихъ чертахъ тѣ новыя, далеко нами не всѣ указанныя, данныя, какія заключаетъ въ себѣ лѣтопись для эпохи войнѣ Хмельницкаго. Мы видимъ, что авторъ подробно описываетъ, какъ самовидецъ, лишь тѣ событія, въ которыхъ принималъ участіе самъ; о другихъ-же онъ говоритъ кратко, по слухамъ. Судя по этимъ описаніямъ, можно заключить, что лѣтописецъ находился сначала въ отрядѣ Александра Конецпольскаго, потомъ князя Владислава-Доминика Заславскаго (Острожскаго) и, наконецъ, Стефана Чарнецкаго.

Выше мы упомянули уже, что какъ начало, такъ и конецъ лѣтописи, безо всякихъ предварительныхъ и заключительныхъ словъ, позволяетъ думать, что мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ полнымъ историческимъ трудомъ, а лишь съ отрывкомъ; однако, конецъ лѣтописи былъ уже недалекъ; она должна была быть закончена до избранія въ польскіе короли Яна Собѣскаго (т. е. до 1674 г.), потому что вездѣ въ ней онъ извѣстенъ автору лишь какъ панъ Янъ Собѣскій, яворовскій староста.

Знакомство автора съ тѣмъ, что происходило въ высшихъ военныхъ сферахъ его времени, показываетъ, что онъ занималъ какое-нибудь высшее мѣсто среди польскихъ стратеговъ. Языкъ лѣтописи, хотя и не отличается литературными достоинствами, но чрезвычайно живъ и простъ и совершенно приближается къ языку разговорному; латинскія слова и выраженія, служившія въ это время признакомъ достоинства и высшаго образованія, совершенно отсутствуютъ въ лѣтописи и дѣлаютъ ее легкой для пониманія.

Отношеніе автора лѣтописи къ изображаемымъ событіямъ строго безпристрастно; рѣзкихъ эпитетовъ противъ враговъ мы почти не

встрѣчаемъ; только разъ Самуила Заруднаго, козака, который подъ Корсунемъ завелъ польскій отрядъ въ опасное мѣсто, называетъ „*wielki zdrauca*“; столь же скромно онъ выражается о побѣдахъ поляковъ, напр.: „тамъ же Господь Богъ далъ королю его милости побѣду надъ непріателемъ“. Говоря о войскахъ, онъ различаетъ „*woysko nasze*“ и „*woysko kozackie*“, безъ похвалъ одного и порицаній другого; для него это двѣ равноправныя борющіяся стороны.

Все это невольно вызываетъ довѣріе къ показаніямъ оставшагося неизвѣстнымъ автора лѣтописи.

И. Каманинъ.

Западныя параллели къ повѣсти Гоголя „Портретъ“¹⁾.

По мѣрѣ изученія новой русской литературы, все больше и больше вскрывается въ ней нити, связывающихъ ее съ литературой западно-европейской. Въ частности, и развитіе творчества Н. В. Гоголя совершалось подъ рѣзкимъ воздѣйствіемъ Запада, сказывавшимся какъ въ выборѣ сюжетовъ, такъ и въ выработкѣ самаго міросозерцанія нашего поэта. Яркимъ образчикомъ можетъ служить одно изъ наиболѣе любопытныхъ произведеній его—повѣсть „Портретъ“.

Напомнимъ въ общихъ чертахъ сюжетъ ея. Молодой „подающій надежды“ художникъ Чартковъ случайно купилъ на рынкѣ старый портретъ, въ которомъ поразили его глаза. Принеся домой портретъ, онъ провелъ безпокойно ночь, такъ какъ ему все казалось, что портретъ пристально смотритъ на него, выходитъ изъ рамы и предлагаетъ денегъ. На другой день художникъ нашелъ въ рамѣ портрета тысячу червонцевъ. Это дало ему возможность занять хорошую квартиру, сблизиться съ журналистами и приобрести извѣстность въ Петербургѣ. Скоро къ нему начали обращаться съ заказами портретовъ, и поддавшись соблазну вѣшняго успѣха, Чартковъ сталъ моднымъ, но шаблоннымъ художникомъ. Результатомъ такой дѣятельности было быстрое обогащеніе его и еще болѣе быстрое паденіе его таланта. Долгое время, однако, покой Чарткова ничѣмъ не нарушался, но однажды онъ увидѣлъ талантливое произведеніе своего стараго товарища и ясно созналъ свое собственное паденіе. Онъ хотѣлъ было уже бросить ту пагубную дорогу, по которой шелъ, и вступить снова на путь свободнаго творчества, но было уже поздно—талантъ погибъ

¹⁾ Изъ удостоеннаго зол. медали сочиненія на предложенную проф. Н. П. Дашковичемъ тему: „Отношеніе творчества Гоголя къ западно-европейскимъ литературамъ“.

безвозвратно. Тогда отъ злобы и зависти къ истиннымъ талантамъ онъ рѣшился скупать всѣ лучшія картины и уничтожать ихъ. Къ счастью для искусства онъ не долго занимался этимъ, такъ какъ вскорѣ умеръ. Послѣ смерти художника вещи его были назначены къ продажѣ съ аукціона. Въ числѣ другихъ вещей продавался и портретъ. На аукціонѣ-то и выяснилась исторія этого портрета. Оригиналомъ портрета былъ загадочный человѣкъ-дьяволъ, занимавшійся ростовщичествомъ. Онъ зналъ, что жизнь его сверхъестественною силою удержится въ портретѣ, если съ него будетъ снятъ портретъ. Портретъ съ него былъ срисованъ искуснымъ благочестивымъ художникомъ, который, нарисовавъ его, лишился счастья и нашелъ успокоеніе лишь въ монашествѣ. Всѣ лица, которымъ попадалъ въ руки злополучный портретъ, также не имѣли счастья. Всѣ бѣдствія Чарткова явились результатомъ обладанія портретомъ.

Въ этой повѣсти слѣдуетъ различать два основные мотива: мотивъ о художникѣ, принесемъ свой талантъ въ жертву матеріальнымъ благамъ, и мотивъ о дьяволѣ (антихристѣ) въ человѣческомъ образѣ (послѣдній вѣрнѣе назвать мотивомъ „о вредѣ, приносимомъ чертовскимъ имуществомъ“).

Повѣсть эта сохранилась въ двухъ редакціяхъ (мы изложили выше вторую). Въ первой редакціи нѣсколько преобладаетъ мотивъ о вредѣ чертовскаго имущества; во второй—мотивъ о художникѣ. Несмотря на нѣкоторое преобладаніе каждаго изъ этихъ мотивовъ въ соответствующихъ редакціяхъ, развиваются они параллельно и соединены нѣсколько механически, отъ чего впечатлѣніе получается не достаточно цѣльное. Съ одной стороны, неясно, почему пострадать Чартковъ: потому ли, что онъ заглушилъ въ себѣ искру Божію и погнался за наживой, или же потому, что портретъ приносилъ несчастье всѣмъ вообще своимъ владѣльцамъ, независимо отъ ихъ нравственныхъ качествъ. Съ другой стороны, неясно, почему портретъ производилъ ужасное впечатлѣніе—потому ли, что художникъ, писавшій его, преодолѣвалъ собственное отвращеніе и ужасъ передъ оригиналомъ и своимъ исполненіемъ, „насилъно хотѣлъ покорить себя и бездушно, заглушивъ все, быть вѣрнымъ природѣ“, или же потому, что на портретѣ былъ изображенъ антихристъ, портретъ котораго самъ по себѣ навелъ ужасъ на всѣхъ, вовсе независимо отъ того, какими тенденціями задавался художникъ, приступая къ работѣ.

Ниже мы попытаемся объяснить, для чего Гоголю понадобилось соединить эти мотивы (несмотря на трудность подобнаго сое-

диненія); теперь же бросимъ взглядъ на тѣ литературныя вліянія, подъ какими сложалась повѣсть.

Прежде всего остановимся на повѣсти Вашингтона Ирвинга „Таинственный портретъ“ (Переведена была въ „Атеней“ за 1829 г. № 1). Одному господину (разказчику), гостившему у своего прія-теля, пришлось почевать въ комнатѣ, гдѣ висѣлъ портретъ, глаза котораго производили ужасное впечатлѣніе на смотрящаго. Несмотря на всѣ попытки избавиться отъ впечатлѣнія, это было невозможно. Долго въ страхѣ не спалъ гость, пока, наконецъ, не сообразилъ уйти изъ комнаты, гдѣ находился источникъ его страха, и тогда только заснулъ. На другой день по болѣзненному виду гостя хозяинъ догадался, какъ провелъ гость ночь, и объяснилъ ему, что портретъ подобнымъ образомъ дѣйствуетъ на всѣхъ. Скоро затѣмъ гость уѣхалъ.

Въ этой повѣсти описаніе впечатлѣнія, производимаго портретомъ, нѣсколько напоминаетъ подобное же описаніе у Гоголя. Вотъ что мы находимъ у Вашингтона Ирвинга: „Я сталъ разсматривать ее (картину); но чѣмъ болѣе на нее смотрѣлъ, тѣмъ болѣе она меня безпокоила. Никогда картина не производила на меня такого дѣйствія; чувства, ею во мнѣ возбужденныя, были неизъяснимы; могущество ея можно было уподобить удивительной силѣ, приписываемой глазамъ василиска, или непонятному дѣйствию, производимому нѣкоторыми пастѣкомыми и называемому очарованіемъ. Неоднократно подносилъ я машинально руку къ глазамъ, какъ бы желая истребить впечатлѣніе; но тщетно: взоры мои невольно устремлялись на картину; смертельный хладъ, разлившійся по жиламъ, болѣе и болѣе овладѣвалъ всѣми моими членами“¹⁾.

А вотъ описаніе того же состоянія у Гоголя: „Онъ опять подошелъ къ портрету съ тѣмъ, чтобы разсмотрѣть эти чудные глаза, и съ ужасомъ замѣтилъ, что они точно глядятъ на него.... Ему сдѣлалось вдругъ, неизвѣстно отчего, страшно сидѣть одному въ комнатѣ. Онъ тихо отошелъ отъ портрета, отворотился въ другую сторону и старался не глядѣть на него, а между тѣмъ глазъ невольно, самъ собою, косясь окидывалъ его... Онъ, наконецъ, робко, не подымая глазъ, поднялся съ своего мѣста, отправился къ себѣ за ширмы и легъ въ постель. Сквозь щелки въ ширмахъ онъ видѣлъ освѣщенную мѣсяцемъ свою комнату и видѣлъ прямо висѣвшій на стѣнѣ портретъ. Глаза еще страшнѣе, еще значительнѣе вперились въ него и, казалось, не хотѣли ни на что другое глядѣть, какъ

¹⁾ „Атеней“ за 1829 г. № 1, стр. 36.

только на него. Полный тягостнаго чувства, онъ рѣшился встать съ постели, схватить простыню и, приблизясь къ портрету, закутать его всего ¹⁾).

Какъ видимъ, сходство между приведенными отрывками довольно близкое. Объяснить его можно тѣмъ, что именно описание страха, возбуждаемаго портретомъ, произвело сильное впечатлѣніе и на самого Гоголя, и первая мысль о „Портретѣ“ могла зародиться у него подъ вліяніемъ чтенія „Таинственнаго портрета“ В. Ирвинга, вслѣдствіе чего сцена, наиболѣе поразившая Гоголя, отразилась и въ соответствующемъ мѣстѣ его повѣсти.

Въ рассказѣ Гофмана „Эпизодъ изъ жизни трехъ друзей“ (переводъ въ „Московскомъ Телеграфѣ“ за 1833 годъ) также идетъ рѣчь о портретѣ, который выходилъ по ночамъ изъ рамы и въ видѣ привидѣнія безпокоилъ людей, между прочимъ, и одного изъ трехъ друзей. Рассказъ этотъ менѣе ярокъ, чѣмъ „Таинственный портретъ“.

Въ параллель къ мотиву о дьяволѣ можно поставить переводную повѣсть неизвѣстнаго автора: „Спинелло“ („Вѣстникъ Европы“ за 1830 г. № 13—16), которая заключается въ слѣдующемъ. Одинъ художникъ взялся нарисовать для церкви духа тѣмы. Оригиналомъ онъ выбралъ свою любимую дѣвушку Беатриксу и работать съ большимъ стараніемъ. По окончаніи работы, онъ потерялъ спокойствіе. Изображенная имъ картина наводила на него ужасъ. Не будучи въ состояніи успокоиться, онъ бросился со скалы въ море и погибъ. Такимъ образомъ изображеніе дьявола послужило источникомъ бѣдствій для художника, совершенно такъ же, какъ и у Гоголя.

Можно предположить, что повѣсть „Спинелло“ нѣсколько повліяла на рѣшеніе Гоголя изобразить несчастья художника, какъ результатъ воспроизведенія имъ на картинѣ дьявола. Къ подобному рѣшенію Гоголь былъ подготовленъ предыдущимъ своимъ творчествомъ, гдѣ онъ нѣсколько разъ останавливался на мотивѣ о вредѣ вещей, принадлежавшихъ адскимъ силамъ, или имѣвшихъ къ этимъ силамъ какое-либо отношеніе. (Ср., напримѣръ, чортову свитку въ „Сорочинской ярмаркѣ“). Повѣсть „Спинелло“ могла натолкнуть Гоголя на мысль развить тотъ же мотивъ въ примѣненіи къ міру искусства, которымъ Гоголь тогда особенно интересовался. Впрочемъ, такую же роль, какъ „Спинелло“, могъ сыграть для Гоголя „Мельмотъ

¹⁾ Гоголь „Сочиненія“, стр. 38, II, изд. 10

Скиталець“ Матюрення, который имѣеть много чертъ сходства съ „Портретомъ“. Эти сходныя черты между обоими произведеніями были отмѣчены проф. Шляпкинымъ и сводятся къ слѣдующему:

„У Гоголя ужась внушали глаза портрета: „Темные глаза нарисованнаго старика глядѣли такъ живо и вмѣстѣ мертвенно, что нельзя было не ощутить испуга; казалось, въ нихъ неизъяснимо странною силою удержана была часть жизни. Это были не нарисованные, это были живые, это были человѣческіе глаза“¹⁾ и пр. У Матюрення: „Глаза были таковы, что каждый лучше желать бы никогда ихъ не видѣть.... Только глаза имѣли жизнь, они свѣтились демоническимъ блескомъ“²⁾. Оба портрета найдены въ хламѣ, среди фамильныхъ портретовъ молодыми людьми. У Гоголя (1-ая ред.) умирающій ростовщикъ черезъ свою служанку приглашаетъ художника снять съ себя портретъ и потомъ, въ виду отказа докончить его, даритъ ему этотъ портретъ. Фигура Петромихали входитъ въ его комнату, говоритъ ему ужасныя вещи, художникъ стонетъ, затѣмъ бросаетъ портретъ въ огонь: „Какъ только былъ затопленъ каминъ, онъ бросилъ его въ разгорѣвшійся огонь и съ тайнымъ наслажденіемъ видѣлъ, какъ лопалась рама“³⁾. У Матюрення умирающій дядя-скряга, не довѣряя экономякъ, посылаетъ племянника въ комнату, гдѣ хранится портретъ; таинственная фигура является въ моментъ его агоніи, сопровождаемой проклятіями и богохульствомъ. Молодой человѣкъ, по завѣщанію дяди, уничтожаетъ портретъ: „Онъ схватилъ полотно, бросилъ его въ сосѣдную комнату, разорвалъ и разрѣзалъ во всѣхъ направленіяхъ и съ жадностью наблюдать, какъ обрывки горѣли, подобно лучинкамъ, въ пламени торфа, разведенномъ въ его комнату“⁴⁾. У Гоголя портретъ является однако снова у художника. У Матюрення фигура входитъ къ племяннику, находящемуся въ полуснѣ и шепчетъ: „Итакъ, ты сжегъ меня, но этотъ огонь я могу пережить -- я живъ, я около тебя“⁵⁾. У Гоголя (въ окончательной редакціи) художникъ, уже монахъ, завѣщаетъ сыну: „Исполни, сынъ мой, одну просьбу... истреби его...“⁶⁾. У Матюрення дядя оставляетъ завѣщаніе: „Я обяываю моего племянника и наследника.... убрать, уничтожить или велѣть уничтожить

¹⁾ Гоголь „Сочиненія“, т. V, стр. 158.

²⁾ Матюреннь „Мельмотъ Скиталець“. Приложение къ „Сѣв.“ за 1894 г. стр. 13.

³⁾ Гоголь. Ibid., стр. 189.

⁴⁾ Матюреннь. Ibid., стр. 12, 15.

⁵⁾ Idem, стр. 51.

⁶⁾ Гоголь. Т. II, стр. 84.

портретъ съ надписью „Дж. Мельмотъ 1646“... и сжечь (извѣстную) рукопись“ ¹⁾. Явленія фигуры и портрета черезъ запертыя двери—одинаковы у обоихъ писателей. Миниатюра съ портрета Мельмота душитъ и терзаетъ посягаго ее—„это діаволь“ ²⁾; то же дѣйствио производитъ портретъ ростовщика на его владѣльцевъ—это „не-чистая сила“ ³⁾. У Матюренна благочестивый священникъ Олавида узнаетъ на свадьбѣ незнакомца Мельмота, хочетъ пазвать его, открыть его тайну и падаетъ мертвымъ, умираетъ и новобрачная. У Гоголя художникъ хочетъ открыть благочестивому священнику тайну портрета, въ этотъ моментъ умираетъ его жена, проглотивъ печаянно иголки. У Гоголя ростовщикъ Петромихали—начало воплощенія антихриста, который не хочетъ идти въ адъ къ своему владыкѣ. Мельмотъ тоже достояніе ада, и туда его противъ воли увлекаетъ его владыка. Можетъ быть, и въ первой части „Портрета“ имя художника Черткова: Корчевъ, вызвано было именемъ экономки Котчалинъ“ ⁴⁾.

Въ параллель мотиву объ отношеніи художника къ искусству можно поставить Гофмана „Артусову залу“. Содержаніе ея таково. Одинъ молодой конторщикъ, занимаясь въ пустоѣ залѣ, замѣтитъ на стѣнѣ картину, изображающую старика съ молодымъ пажемъ, которая (картина) поразила его живостью рисунка. Черезъ нѣсколько минутъ онъ замѣтитъ, что лица, изображенныя на картинѣ, оставили свое мѣсто на стѣнѣ и ходятъ по залѣ, къ большому изумленію этого конторщика. То же самое явленіе повторялось и въ слѣдующіе дни. Наконецъ, молодой человекъ узналъ, что чудеснаго здѣсь нѣтъ ничего, такъ какъ на картинѣ былъ изображенъ художникъ, проживавшій въ томъ же городѣ со своею дочерью, которая на картинѣ нарисована была въ видѣ пажа. Случайно художникъ съ дочерью заходилъ въ ту комнату, гдѣ находился его портретъ. Когда это недоразумѣніе разъяснилось, молодой человекъ захотѣлъ познакомиться съ художникомъ и его дочерью, но ему сообщили, что тотъ уѣхалъ въ одинъ изъ итальянскихъ городовъ. Конторщикъ оставилъ свою родину и невѣсту и отправился въ Италію искать стараго художника. Тамъ онъ не нашелъ того, чего искалъ, но зато сблизился съ другимъ художникомъ и пристрастился къ живописи. Черезъ нѣкоторое время онъ возвратился

¹⁾ Матюренн. Ibid., стр. 16.

²⁾ Ibid, стр. 21.

³⁾ Гоголь. Т. II, стр. 79—80.

⁴⁾ „Литературный Вѣстникъ“ за 1902 г. кн. I, т. III, стр. 66—68.

на родину и узналъ, что старый художникъ никуда не уѣзжалъ, а самъ онъ неправильно понялъ его адресъ; дочь же художника вышла замужъ за чиновника. Тогда конторщикъ-художникъ опять возвратился въ Италію и уже вовсе не занимался коммерціей, а всецѣло предался искусству, къ которому у него обнаружилось дарованіе. Такимъ образомъ чудный портретъ помогъ художнику открыть свой талантъ, т. е. и здѣсь, какъ и у Гоголя, портретъ сыгралъ рѣшающую роль въ жизни художника, хотя роль эта противоположна той, какую видимъ въ „Портретѣ“.

Болѣе замѣтно вліяніе другой повѣсти Гофмана—„Иезуитская церковь“. Содержаніе послѣдней заключается въ слѣдующемъ: Молодой художникъ Бертольдъ для усовершенствованія въ живописи отправился въ Италію. Тамъ работалъ онъ подъ руководствомъ извѣстнаго пейзажиста Геккерта и достигъ значительнаго успѣха, но успѣхъ этотъ не вполне удовлетворялъ его. Ему казалось, что и въ его собственныхъ произведеніяхъ и даже въ произведеніяхъ его учителя чего-то не доставало. Это недостающее „что-то“ было отсутствіе „живой души“ въ картинѣ. Вполнѣ отчетливо созналъ онъ эту мысль подъ вліяніемъ одного знатока въ искусствѣ, родомъ грека. Тогда Бертольдъ оставилъ своего стараго учителя, сошелся съ другимъ художникомъ и сталъ по его совѣту изучать человѣка, чтобы тѣмъ яснѣе понимать природу. Но и въ изображеніяхъ человѣка у него замѣчался тотъ же недостатокъ, что и въ пейзажахъ. Это причиняло художнику немало страданій... Такимъ образомъ, художникъ Гофмана страдаетъ отъ „бездушія“ своихъ произведеній. Та же самая идея страданія художника отъ „бездушія“ его произведенія какъ будто выдвигается на первый планъ и во второй редакціи „Портрета“, гдѣ изъ устъ монаха-художника вырываются такія слова: „Оно (искусство) не можетъ поселить ропота въ душу, но звучащей молитвой стремится вѣчно къ Богу. Но есть минуты, темныя минуты... Я не чувствовалъ въ то время никакой любви къ своей работѣ. Насильно хотѣлъ покорить себя и бездушно, заглушивъ все, быть вѣрнымъ природѣ. Это не было созданіе искусства, и потому чувства, которыя объемлютъ всѣхъ при взглядѣ на него, суть уже мятежныя чувства, тревожныя чувства“¹⁾.

Въ другомъ мѣстѣ тотъ же самый художникъ Гоголя говоритъ: „Исслѣдуй, изучай все, что ни видишь; покори все кисти; но во всемъ умѣй находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся

¹⁾ Гоголь. „Сочиненія“, стр. 38, II.

постигнуть высокую тайну созданія. Блаженъ избранникъ, владѣющій ею. Нѣтъ ему низкаго предмета въ природѣ. Въ ничтожномъ художникъ-создатель такъ же великъ, какъ и въ великомъ; въ презрѣнномъ у него уже нѣтъ презрѣннаго, ибо сквозитъ невидимо сквозь него прекрасная душа создавашаго, и презрѣнное уже получило высокое выраженіе, ибо протекло сквозь чистилище его души“¹⁾.

А вотъ слова художника у Гофмана: „Изобразить природу въ глубочайшемъ выраженіи, въ возвышеннѣйшемъ смыслѣ сего слова, съ мыслью, восхищающей всѣ существа къ лучшей жизни,—вотъ святое предназначеніе всѣхъ искусствъ. Простой и точный списокъ природы можетъ ли привести къ сей цѣли?... Художникъ, посвященный въ божественныя таинства искусства, понимаетъ голосъ природы, раскрывающей ему посредствомъ деревь, растеній, цвѣтовъ, водъ, горъ, безконечныя таинства свои; потомъ какъ бы божественнымъ напѣвомъ получаетъ онъ даръ перенести на картину ощущенія свои“²⁾.

Въ этихъ словахъ мы видимъ много сходнаго съ тѣмъ, что въ предыдущей выпискѣ говоритъ художникъ у Гоголя.

У того же художника Гофмана мы встрѣчаемся съ такою фразой: „Когда стремятся къ достиженію возвышеннѣйшаго, не искусства писать тѣло, подобно Тиціану, но къ достиженію божественной природы; когда хотятъ похитить протеевъ огонь, это становится неприступнымъ утесомъ, тонкою нитью, по которой нужно идти. Пропасть отверзта: смѣльчакъ проходитъ ею, и дьявольское навожденіе показываетъ ему подъ ногами то, что онъ искалъ вверху“³⁾. Нельзя ли видѣть въ „Портретъ“ воспроизведеніе такого именно „навожденія“?

У Гофмана есть еще нѣсколько повѣстей положительно проводящихъ ту самую идею, которая въ „Портретъ“ выражена отрицательно, а именно: только любовь къ искусству, искреннее увлеченіе имъ могутъ создать счастье художника и дѣйствительный успѣхъ въ избранной области. Къ числу такихъ повѣстей можно отнести „Состязаніе пѣвцовъ“, „Майстеръ Мартинъ“, „Фалунскіе рудники“. Первая изъ нихъ переноситъ насъ въ средневѣковье. Майстерзингеры при дворѣ одного герцога состязаются въ своемъ искусствѣ, чтобы заслужить одобреніе дамъ. Всѣ они благочестивы, чисты сердцемъ и любятъ свое искусство. Только одинъ изъ нихъ

¹⁾ Ibidem.

²⁾ Гофманъ. „Иезуитская церковь“. „Моск. Вѣст.“ 1830 г., № 6, стр. 64.

³⁾ Ibidem, стр. 45.

вошелъ въ сношеніе съ дьяволомъ, который далъ ему силу и красоту голоса. Этотъ даръ дьявольскій, однако, мало принесъ пользы своему владѣльцу: во время одного состязанія герцогъ и другіе судьи замѣтили, что въ его исполненіи не достаетъ благочестія, и награда была присуждена другому.

Подобный же эпизодъ встрѣчается также и въ „Портретъ“ Гоголя. Художникъ, написавшій портретъ антихриста, потерялъ нравственную чистоту и, между прочимъ, изъ зависти выступилъ конкурентомъ одному молодому художнику, написалъ картину на одинаковый съ нимъ сюжетъ. Но награда была присуждена молодому художнику, а о работѣ его соперника судьи отзывались такъ: „Въ картинѣ художника, точно, есть много таланта, но нѣтъ святости въ лицахъ; есть даже, напротивъ того, что-то демонское въ глазахъ, какъ будто бы рукою художника водило нечистое чувство“¹⁾.

Майстеръ Мартинъ въ повѣсти того же имени, по профессіи бочаръ, былъ очень высокаго мнѣнія о своемъ ремеслѣ и считалъ его искусствомъ. Его восторженное отношеніе къ своему „искусству“ сдѣлало его лучшимъ бочаромъ въ городѣ. У него была дочь, которую онъ очень любилъ и обѣщалъ выдать ее замужъ за того молодого человѣка, который сдѣлаетъ лучшую бочку. Чтобы добиться ея руки, три молодыхъ человѣка другихъ профессій рѣшили выучиться бочарному ремеслу и поступить въ подмастерья къ Мартину. Они, дѣйствительно, выучились и были приняты Мартиномъ въ подмастерья, но искусство, которое они разсматривали лишь какъ средство для достиженія постороннихъ цѣлей, не давалось имъ; они должны были оставить бочарное дѣло и возвратиться къ своимъ любимымъ занятіямъ, не смотря даже на любовь къ дѣвушкѣ. На собственномъ опытѣ они убѣдились, что первое условіе успѣха въ искусствѣ—любовь къ нему...

Въ повѣсти „Фалунскіе рудники“ тоже разсказывается, какъ погибъ рудоконъ Элизъ. Его погубилъ Торнбернъ (духъ рудниковъ) за то, что онъ предавался своему дѣлу не изъ любви къ самому дѣлу, а по постороннимъ соображеніямъ. Въ повѣсти замѣчается такая же двойственность, какъ и въ „Портретъ“. Съ одной стороны, онъ погибъ какъ будто бы вслѣдствіе того, что не любилъ своей профессіи, съ другой—его какъ будто губить внѣшняя сила, Торнбернъ.

Вообще въ обработкѣ мотива о художникѣ, погубившемъ свой талантъ, Гоголь находился до нѣкоторой степени подъ вліяніемъ

¹⁾ Гоголь, „Сочиненія“, стр. 78, II.

Гофмана, который въ своихъ произведеніяхъ (особенно въ серіи рассказовъ „Серапіоновы братья“) часто останавливался на сюжетахъ изъ жизни художниковъ и на отношеніяхъ послѣднихъ къ искусству.

Что касается вопроса—для чего Гоголю понадобилось соединять въ одно цѣлое трудно-соединимые мотивы (объ антихристѣ и художникѣ), то намъ кажется, что главной причиной было желаніе усилить впечатлѣніе: мотивъ о вредѣ чертовскаго имущества есть болѣе конкретное выраженіе другого эническаго мотива, что отъ зла можетъ исходить одно лишь зло, отъ добра—добро, а слѣдовательно, что добро и зло заключаютъ въ самихъ себѣ и свою награду и свое наказаніе.

Частнымъ выводомъ изъ этого положенія въ послѣдней его формулировкѣ можетъ быть положеніе, что любовное, добросовѣстное отношеніе къ искусству заключаетъ въ себѣ награду и счастье художника; равнодушное, недобросовѣстное—заключаетъ въ себѣ источникъ страданій художника.

Г. Чудановъ.

„Село“ и „вервь“ Русской Правды.

Не подлежит никакому сомнѣнію, что въ эпоху Русской Правды, т. е. въ XI—XIII вв., уже существовали территоріальныя общины, которыя составляютъ дальнѣйшій шагъ впередъ сравнительно съ союзами, основанными на кровныхъ началахъ. Фактъ существованія простыхъ и болѣе сложныхъ территоріальныхъ общинъ какъ нельзя лучше подтверждается свидѣтельствами лѣтописей и юридическихъ памятниковъ, относящимися къ X—XIII вв., а именно упоминаніемъ въ нихъ селъ, весей, вервей, погостовъ и волостей.

Если указанный фактъ представляется безспорнымъ, то нельзя того же сказать относительно рѣшенія вопроса, что именно, какого рода общины слѣдуетъ разумѣть подъ нѣкоторыми изъ перечисленныхъ терминовъ. Такъ, напр., и доселѣ весьма спорно и темно, что представляли собой упоминаемыя Русской Правдой „село“ и особенно „вервь“, и есть ли, въ частности, достаточное основаніе, какъ это дѣлаютъ многіе изслѣдователи, отождествлять „вервь“ съ „волостью“.

Цѣль нашего настоящаго этюда заняться посильнымъ изъясненіемъ обоихъ указанныхъ терминовъ, встрѣчающихся въ Русской Правдѣ.

Если бы изъ всѣхъ сохранившихся бытовыхъ и юридическихъ памятниковъ до насъ дошла только Русская Правда и притомъ лишь въ древнѣйшемъ своемъ составѣ (т. е. первая 17 ст. Академич. списка, относящаяся къ первой половинѣ XI в.), то наши скудныя свѣдѣнія о формахъ общежитія въ древности были бы

еще скудиѣе, чѣмъ нынѣ. Въ самомъ дѣлѣ, древнѣйшая Русская Правда, или Русск. Правда времянь Ярославъ, ни однимъ словомъ не заикается ни о городѣ, ни о селѣ, ни о верви,—ей извѣстень лишь одинъ общій, повидимому, терминъ для всѣхъ формъ общегитія—*миръ*, да и тотъ употреблень лишь единожды: „Аще поиметь—гласить 12 ст. Академ. сп.—кто чюжь конь, любо оружіе, любо портъ, а познаеть въ *своемъ миру*: то взяти ему свое, а 3 гривиѣ за обиду“.

Къ счастью, однако, помимо прочихъ памятниковъ, до насъ дошли и другіе, болѣе поздніе, сборники, извѣстные подь именемъ Русск. Правды, а именно такъ назыв. Правда времянь Ярославичей (вторая половина Академ. сп. Р. П., начиная съ 18-ой ст.) и Пространная Р. Правда. Оба эти сборника, а особенно послѣдній изъ нихъ по части нужныхъ намъ указаній значительно богаче своей предшественницы: они въ рядѣ статей упоминають не только „градъ“ (ст. 29, 32, 36, 69, 125 Кар. сп.) и „село“ (ibid, ст. 88). но и „вервь“ (Ак. сп. ст. 19; Кар. 3, 4, 80), о которой, какъ извѣстно, въ другихъ памятникахъ той же эпохи ничего не говорится. Добавимъ, что, сверхъ сейчасъ перечисленныхъ, и въ нѣсколькихъ другихъ статьяяхъ пространной Р. П. (въ которыхъ хотя терминъ „вервь“ непосредственно и не употребляется, зато фигурируетъ очевидно замѣняющее этотъ терминъ слово „люди“) содержатся указанія на дѣятельность верви, на ту или другую ея роль. Таковы въ особенности ст. 5 и 6 Кар. сп., непосредственно связанныя съ двумя предшествующими имъ статьяями (то же надо сказать и о ст. 18 Акад. сп., тѣсно примыкающей по содержанию къ ст. 19).

Оставляя въ сторонѣ терминъ „градъ“, не входящій въ кругъ нашего изслѣдованія и не возбуждающій никакихъ сомнѣній¹⁾, обратимся къ двумъ другимъ—къ „селу“ и къ „верви“, вызвавшимъ въ литературѣ рядъ довольно разнообразныхъ мнѣній о томъ, что именно надо разумѣть подь тѣмъ и другимъ терминомъ.

Прежде всего считаемъ весьма нелишнимъ, въ интересахъ дальнѣйшаго, привести здѣсь соответствующія статьи Р. П., относящіяся одновременно къ „селу“ и къ „верви“ и трактующія объ одномъ и томъ же—объ отвѣтственности (и въ какихъ именно случаяхъ) села и верви за кражу. Вотъ эти статьи:

¹⁾ Замѣтимъ только, что въ ст. 32 Кар., трактующей о „сводѣ“, своду въ предѣлахъ „града“ противопоставляется сводъ *по землямъ* (т. е. имѣющій мѣсто внѣ предѣловъ городокой общины): первый продолжается до конца, а второй лишь „до трехъ сводовъ“. Это замѣчаніе намъ пригодится ниже.

1) „Оже будетъ рассѣчена земля или на земли знаменіе, имѣ же ловлено, или сѣтъ, то по *верви* искати къ себѣ татя, а любо продажа платити“ (ст. 80 Кар.);

2) „Не будетъ ли татя, то по слѣду женуть; оже будетъ слѣдъ къ *селу* или къ *товару*, а не отсочать отъ себя слѣду и ни идуть на слѣдъ или отбьются, то тѣмъ платити и татьба и продажа, а слѣдъ гонить съ чужими людьми и съ послухы; а еже погубять слѣдъ на гостиници (въ Троицк. сп.: „на гостиньцѣ“) на велицѣ, а села не будетъ, или на пустѣ, гдѣ же не будетъ *ни сели, ни люди*; то не платити ни продажи, ни татьбы“ (ст. 88 Кар.).

Какъ бы ни понимать первую изъ этихъ статей, въ болѣе ли широкомъ смыслѣ, или въ болѣе узкомъ, предложенномъ Ланге и принятомъ Собѣстіанскимъ (тотъ и другой утверждаютъ, что данная статья говоритъ лишь о частномъ случаѣ кражи бобра¹⁾), главная суть ея содержанія безспорна: вервь обязана найти среди себя вора, а въ противномъ случаѣ отвѣчаетъ—платить штрафъ (продажу).

Слѣдующая изъ приведенныхъ нами статей имѣтъ въ виду указать, какъ надлежитъ отыскивать вора, успѣвшаго скрыться, и какъ села и верви, лежащая по пути слѣда, который оставленъ самимъ воромъ или украденнымъ имъ предметомъ и т. п., освобождаютъ себя отъ подозрѣнія въ укрывательствѣ вора и вообще въ причастности къ происшедшей кражѣ. Хотя статья эта и говоритъ лишь о *сели, товарѣ* и *людяхъ* и не содержитъ въ себѣ термина *вервь*; но она несомнѣнно имѣетъ въ виду и эту послѣднюю. Къ этому заключенію приходимъ не только путемъ сопоставленія данной статьи съ предыдущей (т. е. со ст. 80 Кар. сп.), трактующей объ отвѣтственности верви при неотысканіи (или невыдачѣ) вора, но также и вслѣдствіе упоминанія въ текстѣ занимающей насъ статьи на ряду съ „селомъ“ еще и „людей“ („не будетъ ни села, ни люди...“); послѣдній же терминъ, какъ мы уже знаемъ и какъ на это уже неоднократно указывалось въ литературѣ, нерѣдко замѣняетъ собою въ Р. П. терминъ „вервь“ (наприм., въ статьяхъ объ уплатѣ

¹⁾ Ланге: Исслѣдов. объ уголовномъ правѣ Рус. Правды; Собѣстіанскій: Круговая порука у славянъ (изд. 2-ое, стр. 125). Противнаго мнѣнія проф. Будановъ, который видитъ въ данной статьѣ частный случай, выражающій *общее правило*. Замѣтимъ мимоходомъ, что кражѣ бобра и опредѣленію размѣра продажи за эту кражу посвящена отдѣльная статья (81 Кар.; 62 Троицк.), которая въ однихъ спискахъ предшествуетъ разсматриваемой статьѣ, а въ другихъ слѣдуетъ за ней!

виры). Да и было бы весьма странно, если бы отвѣтственность за воровство по одной статьѣ возлагалась на всю вервь, а по другой, аналогичной по содержанію, эта отвѣтственность всегда падала бы только на какія то „отдѣльныя небольшія общины, входившія въ составъ верви“, но ни въ какомъ случаѣ не на всю вервь „хотя бы слѣды потерялись въ ея предѣлахъ“, какъ то утверждаетъ, напр., Собѣстіанскій ¹⁾.

Такимъ образомъ, смыслъ занимающей насъ статьи такой: При розыскѣ вора и краденаго по слѣду предполагается, что тамъ, гдѣ послѣдній прекращается, теряется, —тамъ именно и находится или скрывается преступникъ; поэтому всѣ отдѣльныя поселенія и общины, лежащія по пути слѣда, должны, въ своихъ же интересахъ, помогать потерпѣвшему открыть его дальнѣйшее продолженіе. Если же какое-либо поселеніе или община этого не сдѣлають, т. е. не отведуть отъ себя слѣда, а тѣмъ болѣе силою помѣшаютъ потерпѣвшему въ его розыскахъ, то такія поселеніе или община несутъ отвѣтственность за происшедшую кражу и уплачивають и частное вознагражденіе и штрафъ; и лишь въ томъ случаѣ, когда слѣдъ потеряется на большой дорогѣ или въ пустой степи, гдѣ нѣтъ ни „села“, ни „людей“, или „верви“, взысканію въ такомъ случаѣ никто не подвергается и дѣло прекращается.

Не будемъ затѣмъ останавливаться на подробномъ изложеніи гѣхъ двухъ статей краткой и пяти пространной Р. Пр., которыя трактуютъ о случаяхъ отвѣтственности верви по дѣламъ объ убійствѣ въ связи съ вопросомъ объ уплатѣ виры за послѣднее ²⁾. Для насъ достаточно отмѣтить, что по смыслу этихъ статей вервь 1), отвѣчаетъ (платить виру), если въ предѣлахъ ея совершено умышленное убійство и если она, т. е. та вервь, гдѣ лежитъ трупъ убитаго, не разыскиваетъ убійцы (прикрываетъ его и не выдаетъ) и 2), помогаетъ преступнику при уплатѣ виры, если имъ совершено убійство непредумышленное и преступникъ состоитъ съ членами своей верви въ круговой порукѣ.

Итакъ, изъ анализа содержанія указанныхъ статей Р. П. видно, что вервь въ извѣстныхъ случаяхъ отвѣчаетъ за убійство и за кражу, происшедшія въ ея предѣлахъ, что „вервь“ и „село“, въ частности, отвѣчаютъ, если къ нимъ приводитъ слѣдъ вора или украденнаго и здѣсь обрывается.

¹⁾ Собѣстіанскій, *op. cit.*, 126.

²⁾ Ст. 18 и 19 Ак.; ст. 3—6 и 15 Кар. (или Троицк.) сп.

Что же представляли собою *село* и *вервь*, упоминаемья Р. П. въ разсмотрѣнныхъ статьяхъ, и прежде всего—въ какомъ смыслѣ употребленъ тамъ первый изъ этихъ терминовъ?

Въ литературѣ находимъ самыя разнообразныя рѣшенія этого вопроса. Одни изслѣдователи считаютъ и село и вервь одинаково территориальными общинами, различными лишь по своему объему, и полагаютъ, что села суть небольшія общины, входившія въ составъ верви¹⁾. Другіе ученые, напротивъ, утверждаютъ, что село, какъ и упоминаемый рядомъ съ нимъ въ соотвѣтствующей статьѣ Р. П. „товаръ“ (т. е. становище погонщиковъ скота, купеческій караванъ, обозъ)²⁾, отнюдь не община, а только усадьба или хуторъ³⁾. Существуетъ, наконецъ, мнѣніе, принадлежащее извѣстному русскому филологу и имѣющее въ виду не одну Р. П., а вообще наши древніе памятники, что подъ „селомъ“ надо разумѣть прежде всего участокъ владѣнной земли, что указанное сейчасъ значеніе занимающаго насъ термина является первоначальнымъ и основнымъ⁴⁾.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что „село“ Р. П. да и всѣхъ другихъ древнѣйшихъ (вплоть до XV в.) памятниковъ нельзя понимать въ нынѣшнемъ смыслѣ этого слова, т. е. какъ поселеніе изъ болѣе или менѣе значительнаго количества дворовъ. Для послѣдняго, т. е. для наименованія сельской общины, существовать уже съ древнѣйшихъ временъ другой терминъ, аналогичный съ польскимъ (*wies*) и не возбуждающій никакихъ сомнѣній — *весь*⁵⁾. Мало того: въ нашихъ памятникахъ можно встрѣтить указанія, что *село* и *весь* противопоставались другъ другу, какъ понятія отнюдь не тождественныя. Такъ, въ лѣтописи по Лаврентьевскому списку читаемъ подъ 1237 г.: „... и нѣсть мѣста, ни *вси*, ни *сель* тацѣхъ рѣдко, идеже не воеваша на Суждальской земли; и взяша городовъ 14, опрочъ свободъ и погостовъ“.

Но если древне-русское *село* не является синонимомъ *веси*, не есть сельская община, то нельзя также вполне согласиться съ тѣми,

¹⁾ Таково, наприм., мнѣніе Собѣстіанскаго, *op. cit.*, 116, 117, 126 и др.

²⁾ Въ означ. ст. Р. П. (Карам. 88) *товаръ*, какъ мѣсто временной остановки, противопоставляется, несомнѣнно, *селу*, какъ постоянно осѣдлому мѣсту.

³⁾ Христоматія по ист. русск. права. вып. I. примѣч. (119) къ 88 ст. Карамз. сп.

⁴⁾ А. Потебня: Къ исторіи звуковъ русскаго языка, IV, Этимолог. и другія замѣтки (Варшава, 1883 г.), стр. 4—6, 10—11 и др.

⁵⁾ Въ Лаврент. лѣт. это слово встрѣчается уже подъ 1093 г. См. также послѣднее примѣч. къ настоящ. статьѣ.

кто полагаетъ, что слово *село* употреблялось въ древности для обозначенія частновладѣльческаго имѣнія, а именно княжескаго, церковнаго или боярскаго. Обыкновенно ссылаются при этомъ на Слово Данила Заточника и приводятъ оттуда известную цитату: „Не имѣй себѣ двора близъ княжа двора; не держи села близъ княжа села: тѣнуъ бо его яко огонь трепетицею накладенъ, а рядовичи его яко искры“. Не слѣдуетъ, однако, упускать изъ вида, что означенный литературный памятникъ XII или даже XIII в. ¹⁾, принадлежащій перу русскаго книжника, содержитъ въ себѣ въ сущности рядъ изреченій и пословицъ на разнообразныя темы, составленныхъ подъ сильнымъ влiяніемъ византійскихъ и друг. иноземныхъ памятниковъ или непосредственно оттуда заимствованныхъ. Гораздо важнѣе для насъ указанія нашихъ лѣтописей. Эти же послѣднія на ряду съ указаніями на княжескія ²⁾ и боярскія ³⁾ села ⁴⁾ свидѣтельствуютъ также о существованіи сельъ, находившихся во владѣніи смердовъ, или свободныхъ земледѣльцевъ: „А сего чему не промыслите,—говорилъ Владиміръ Мономахъ на Долобскомъ съѣздѣ князей,—оже то начнетъ орати смердъ и приѣхавъ Половчинъ ударитъ ѣ стрѣлоу, а лошадь его поиметь, а въ *село его* ѣхавъ иметь жену его и дѣти его, и все его имѣнье?“ (Лавр. лѣт., 1108 г.).

Этотъ весьма любопытный лѣтописный текстъ заслуживаетъ особеннаго вниманія. Онъ показываетъ, что отождествлять древнее село, село эпохи Р. П., съ селомъ въ нашемъ смыслѣ никакъ нельзя, что „селомъ“ въ XII в. (къ какому времени относится приведенный лѣтописный текстъ) называлось отдѣльное, *обособленное* (изолированное), хотя и постоянное, человѣческое жилище, жилище земледѣльческой семьи. Безъ всякаго, однако, сомнѣнія, селомъ называлось не только отдѣльное или обособленное жилище-дворъ, какъ это ясно вытекаетъ изъ означеннаго текста лѣтописи, но и находившійся при немъ участокъ воздѣланной земли, ради котораго за-

¹⁾ Новѣйшіе изслѣдователи этого памятника (гг. Лященко и Гуссовъ; къ ихъ мнѣнію присоединяется и проф. Истринъ) доказываютъ, что означенный памятникъ появился на свѣтъ не раньше XIII в.

²⁾ См., напр., Лавр. лѣт. подъ 947 г.

³⁾ См., напр., *ibid.* подъ 1177 г. („села боярская“, „села боярская“).

⁴⁾ Въ пользу существованія княжескихъ и боярскихъ сельъ, т. е. такихъ „частновладѣльческихъ имѣній“, въ которыхъ князья и бояре сами не жили или жили лишь временно, говоритъ и 11 ст. Карамз. сп. Р. П., упоминающая княжескихъ и боярскихъ „сельскихъ“ тѣнуовъ и рядовичей.

водилось и самое жильё; короче сказать, подъ *селомъ* въ древности разумѣлась совокупность земли и двора¹⁾.

Если все это такъ, то мы имѣемъ основаніе „село“ Р. П. признать той первоначальной и простѣйшей клѣточкой территориальныхъ общинъ, той древнѣйшей формой заселенія, которая носитъ названіе *двора* (печища, задруги), или, по терминологіи западно-русской, *дворища*.

Подобнаго рода заключеніе о томъ, что разумѣлось подъ *селомъ* въ періодъ Р. Правды, т. е. въ XI—XIII вв., какъ нельзя лучше подтверждается западно-русскими актами XV—XVI вв., относящимися къ древнему району дѣйствія Р. Правды и въ частности къ Смоленской, Витебской и Кіевской землямъ. Правда, въ эту эпоху, эпоху XV—XVI вв., терминъ *село* подвергся дальнѣйшей эволюціи и *селомъ* въ эту пору стало именоваться приблизительно то же, что этимъ именемъ называется и въ наше время, но зато первоначальный смыслъ этого термина вполне удержался въ словахъ „сельцо“ и „селище“, которыя, очевидно, стали употребляться взамѣнъ прежняго—„*село*“, получившаго болѣе широкое значеніе²⁾.

И въ самомъ дѣлѣ, *селище*, какъ и *сельцо*, XV—XVI вв. означало, подобно древне-русскому *селу*, прежде всего участокъ пахатной земли³⁾, но участокъ обыкновенно съ жильемъ и хозяйствен-

¹⁾ Къ тому же почти выводу приходитъ и А. Потебня на основаніи изученія новгородскихъ купчихъ и данныхъ XIV—XV вв., изъ которыхъ, по его мнѣнію, вытекаетъ, что подъ *селомъ* (или его синонимомъ—*земля*, въ узкомъ значеніи этого слова) разумѣется „участокъ, объединенный владѣніемъ, иногда безъ двора и дворища, иногда съ ними“. См. Потебня, *op. cit.*, стр. 6 10 и сл.

²⁾ Съ теченіемъ времени значительная часть отдѣльныхъ пашенныхъ хозяйствъ—*дворовъ*, успѣла, очевидно, разложиться въ *веси*, или позднѣйшія села, и прежній терминъ, служившій раньше для обозначенія двора, сдѣлался нарицательнымъ именемъ для сельскихъ общинъ. Этимъ легко объясняется (официальный языкъ актовъ естественно не могъ допустить употребленія одного и того же слова въ двухъ вполне различныхъ значеніяхъ), почему замѣнъ прежняго термина „село“ въ его первоначальномъ смыслѣ стали употреблять уменьшительное—„сельцо“, или иногда форму—„селище“.

³⁾ Любопытно, что Потебня, которому неизвѣстны были западно-русскіе акты, содержащіе въ себѣ указанія на „селища“ и „сельца“, пришелъ на основаніи документовъ, напечатанныхъ въ Актахъ Юридическихъ, къ слѣд. выводу: „Селище, какъ показываетъ суффиксъ, собственно значитъ мѣсто, гдѣ (есть, было) село, но село, очевидно, не въ нынѣшнемъ смыслѣ... Селище (поясняетъ онъ далѣе), какъ и деревня, принимались за землю“. *Op. cit.*, стр. 11—12. Тамъ же Потебня указываетъ, что и въ болгарскихъ грамотахъ иногда слово *селиште* (селище) отождествляется съ *селомъ*.

ными постройками. Это прекрасно видно, наприм., изъ судебной тяжбы между нѣкоей Елисаветой Пашковичъ и ея деверемъ, Пашковичемъ же, имѣвшей мѣсто въ 1510 г. Истица на судѣ жаловалась: „потопталъ ми *на селищи* жито“; отвѣтчикъ же въ свое оправданіе говорилъ слѣд.: „Правда есть, панове (судьи), я того не прю.... я еще быть хоромъ¹⁾ своихъ не звозилъ *съ того селища* послѣ делу, а я за тымъ жо селищомъ селюся, и гумно есми поставилъ, а избы не звозилъ есми былъ своей *съ того селища*; передъ тымъ бывала малая стежечка *черезъ тое селище*, и я туды звозилъ хоромы свои; нѣтъ того со два сажни, што потоптано“²⁾.

Весьма многіе изъ упомянутыхъ выше западно-русскихъ актовъ свидѣтельствуютъ далѣе, что *сельномъ* и *селищемъ* въ Смоленской, Витебской и Кіевской земляхъ называлось въ XV и въ нач. XVI в. то же самое, что во многихъ другихъ областяхъ Литовско-Русскаго государства именовалось *землей*, а мѣстами (какъ наприм., въ Волынской землѣ и Турово-Пинскомъ Полѣсьѣ) — также *дворищемъ* и *службой*³⁾. Что же представляло собою западно-русское „дворище“⁴⁾ (иначе — „земля“, „служба“), объ этомъ распространяться не зачѣмъ, ибо это хорошо извѣстно вообще и въ частности

¹⁾ Слово *хоромы*, какъ это видно изъ дальнѣйшаго, употреблено въ смыслѣ: *всякаго рода постройки*. Въ такомъ же смыслѣ это слово употребляется иногда и въ восточно-русскихъ актахъ; см. Ак. Юр., № 183.

²⁾ Лит. Метр., кн. Судныхъ Дѣлъ № 1, л. 17.

³⁾ См. Любавскій: Областное дѣленіе и мѣстное управл. Лит.-Рус. гос. стр. 455—459, гдѣ собраны многочисленныя, взятыя преимущественно изъ Литовской Метрики, актыовыя данныя, уясняющія значеніе терминовъ: „сельцо“, „селище“, и аналогичныхъ имъ — „дворище“ и „служба“. Приведемъ для примѣра нѣкоторыя изъ этихъ данныхъ: 1) король Казимиръ пожаловалъ нѣкоему Семену Кимбареву „селцо пустое Хотово, —хоживало полкади меду“; 2) въ 1495 г. Васку Сопѣжичу было пожаловано: „сельцо въ Мощини на имя Дубровки съ однимъ человѣкомъ... и зъ землю пашною и бортною“; 3) въ 1507 г. зем. Жеребятичу было пожаловано „въ Кіевскомъ повѣтѣ, въ Милославичохъ, селище на имя Чотаново на одну соху“; 4) кор. Казимиръ пожаловалъ Б. Сопѣжичу: „человѣка тяглого у Витебскомъ повѣтѣ, на имя Ходотка Терешкова, изъ землю, а селища три пустыи на имя Давыдцово, а Радцово, а Лопатино“ и т. д.

⁴⁾ Терминъ „дворище“ и въ томъ же почти смыслѣ, какъ и въ западно-русскихъ актахъ, встрѣчается хотя и очень рѣдко также и въ памятникахъ восточно-русскихъ. См., напр., Ак. Юр. № 110: „...Самсоновы дѣтѣ отступилися Васильевы земли, Алексова братана, отчины его, чисто, при игумни при Васильи, *польдворища* и огородецъ, весь у Воротномъ поли, Васильевъ участокъ весь, отчины его...“

изъ прекрасныхъ изслѣдованій проф. М. Ф. Владимірскаго-Буданова и А. Ефименко, посвященныхъ данному вопросу и вышедшихъ въ свѣтъ почти одновременно¹⁾).

Итакъ, и на основаніи анализа краткихъ свидѣтельствъ наиболѣе древнихъ источниковъ и на основаніи наблюденія надъ позднѣйшими, но аналогичными явленіями, дающими возможность, отпавляясь отъ нихъ, заключать болѣе или менѣе безошибочно о древнѣйшихъ, мы приходимъ къ выводу, что *село* Русской Правды есть то же самое, что *дворище*, *сельцо* или *селце* XV—XVI вв. и даже болѣе ранняго времени²⁾, т. е. участокъ (преимущественно крестьянскій) усадебной и пахотной земли, находившійся во владѣніи большей или меньшей группы лицъ, жившихъ на одномъ дворѣ и связанныхъ во всемъ своемъ составѣ или въ главной части родовымъ единствомъ (т. е. семьи или рода, съ примѣсю въ обоихъ случаяхъ чужеродцевъ или безъ нея).

Добавимъ, что въ пользу правильности сдѣланнаго нами заключенія, помимо приведенныхъ соображеній, говоритъ также и то, что западно-русское дворище, какъ и родственная ему хорватская задруга, по общему признанію, есть исконное бытовое явленіе: слѣдовательно, названная форма заселенія не можетъ быть приурочена къ какому-либо позднѣйшему времени, а, напротивъ, безъ всякаго сомнѣнія существовала уже въ эпоху Русск. Правды.

Обратимся теперь ко второму интересующему насъ термину — къ „верви“.

Что вервь, независимо отъ ея происхожденія, представляла собою во времена Р. П. территориальную общину, съ этимъ согласны если не всѣ, то огромное большинство изслѣдователей. Такого мнѣнія, по крайней мѣрѣ, Соловьевъ, Лешковъ, В. И. Сергѣевичъ, М. Ф. Владимірскаго-Будановъ, П. Мрочекъ-Дроздовскій, Соколовскій,

¹⁾ М. Ф. Влад.-Будановъ: *Формы крестьянскаго землевладѣнія въ Литовско-Рус. государствѣ XVI в.* (Кіевъ, 1892 г.); А. Ефименко: *Дворищное землевладѣніе въ южной Руси* (Русская Мысль за 1892 г., №№ 3—5).

²⁾ Одно изъ древнѣйшихъ упоминаній о дворищѣ (въ Червонной Руси) относится къ половинѣ XIV в., какъ это видно изъ грамоты 1351 г., напечатанной Мацѣйовскимъ. См. Maciejowsky: *Historja prowadawstw slowjańskich*. Warszawa, 1858, t. VI, p. 146—147. Тамъ же (стр. 147) напечатана и другая купчая (1366 г.), изъ которой можно вывести заключеніе, что селомъ въ этомъ актѣ названо дворище.

Дитятинъ, Собѣстіанскій и мн. друг. включительно до автора послѣдняго изслѣдованія, посвященнаго самоуправленію въ древней Россіи—г. Покровскаго ¹⁾).

Но чтобы имѣть полное и надлежащее представленіе о верви, еще не достаточно опредѣлить ее, какъ территоріальную общину: необходимо еще пояснить, съ *какою рода* территоріальной общиной мы имѣемъ дѣло, когда говоримъ о верви. Другими словами, необходимо разрѣшить вопросъ: была ли вервь той простой общиной, какой являлась община сельская (т. е. союзъ дворовъ, объединенныхъ интересами сосѣдства, общностью имущ. права и самоуправления), или той сложной, которая въ древности во многихъ мѣстахъ Россіи называлась погостомъ, которой обыкновенно присвоивается наименованіе волости и подъ которой, слѣд., разумѣется совокупность простыхъ общинъ, союзъ сель и деревень?

Всѣ изслѣдователи за исключеніемъ тѣхъ, кто по тѣмъ или другимъ причинамъ уклоняется отъ прямого отвѣта на поставленный нами вопросъ, и тѣхъ, кто (какъ, наприм., г. Блюменфельдъ, авторъ изслѣд.: „О формахъ землевлад. въ древней Россіи“) неосновательно, вопреки явному смыслу источниковъ, отождествляетъ вервь съ задругой ²⁾),—всѣ прочіе изслѣдователи ³⁾ склонны видѣть въ вервяхъ большія общины, состоящія изъ союза нѣсколькихъ сель и занимающія значительныя территоріи. На этомъ основаніи обыкновенно отождествляютъ вервь Р. Правды съ погостомъ и волостью ⁴⁾).

Исходя изъ этого же предположенія, Лешковъ, авторъ интереснаго сочиненія: „Русскій народъ и государство“, полнаго, на ряду съ шаткими гипотезами, многихъ весьма вѣрныхъ и остро-

¹⁾ „Мѣстное самоуправленіе въ древней Россіи“. Статья эта входитъ въ составъ сборника: Мелкая земская единица (Изданіе кн. Долгорукова и кн. Шаховскаго).

²⁾ См. М. Ф. В.-Будановъ: Задружная теорія и древне-русское землевладѣніе (по поводу книги г. Блюменфельда). К. Унив. Изв. 1884 года, № 11. Какъ извѣстно, и Ѳ. И. Леонтовичъ полагаетъ, что вервь есть не что иное, какъ задруга; въ пользу этого мнѣнія склоняются также Бестужевъ-Рюминъ и М. Ковалевскій.

³⁾ Къ числу этихъ послѣднихъ, конечно, не относятся также и тѣ ученые, которые утверждаютъ, что вервь была свободнымъ товариществомъ, основаннымъ на договорѣ (мнѣніе Бѣляева и Иречка).

⁴⁾ Въ числѣ ученыхъ, предполагающихъ въ верви волость, можно назвать Кейслера, Лешкова, Соколовскаго, П. Ефименка, М. Ф. В.-Буданова, Дитятина и др.

умныхъ замѣчаній по отдѣльнымъ вопросамъ вообще и о верви въ частности, находить возможнымъ утверждать, что вервь заключала въ себѣ отъ 400 до 1300 квадратныхъ верстъ¹⁾.

Пусть это опредѣленіе территоріи верви совершенно фантастично и приведенныя цифры рѣшительно ни на чемъ не основаны; но если вообще возможно отождествлять вервь съ волостью или погостомъ, то въ такомъ случаѣ слѣдуетъ неизбежно признать означенную территорію весьма и весьма значительной, особенно принимая во вниманіе исполнѣ естественную въ періодъ Р. Правды разрѣженность населенія, большія дистанціи между отдѣльными пунктами поселенія, отдѣленными другъ отъ друга лѣсами, болотами и проч. вмѣстѣ съ тѣмъ придется принять и рядъ другихъ положеній, непосредственно вытекающихъ изъ отождествленія верви съ волостью, какъ союзомъ сельскихъ общинъ,—положеній, которыя не могутъ не возбуждать всякаго рода сомнѣній и недоумѣній. Во-первыхъ,—что Р. Правда возлагаетъ, безъ всякой къ тому нужды и едва ли съ какой-либо цѣлесообразностью, отвѣтственность за убійство и воровство на слишкомъ крупный территоріальный союзъ, а именно не на простую общину, какой являлось село въ его позднѣйшемъ значеніи, т. е. село, образовавшееся изъ разложившагося дворища, а на вервь, какъ сложную якобы общину, представляющую собою союзъ селъ. Во-вторыхъ, что „гоненіе слѣда“, разъ всѣ „села“ и „верви“, лежащія на пути его, должны были, по требованію Р. П., „выходить на слѣдъ“ для „отсоченія“ послѣдняго, могло распространяться на рядъ вервей и продолжаться, такимъ образомъ (если верви были сложными общинами), не только десятки, но и цѣлыя сотни верстъ. Въ-3-хъ—и это всего болѣе странно,—что Рус. Правда, знающая и „городъ“, и „села“, послѣднія—въ ихъ древнѣйшемъ смыслѣ, т. е., какъ мы пытались то доказать, отдѣльныя пашенныя хозяйства, или изолированныя дворища, и затѣмъ даже вервь, какъ сложную, по мнѣнію многихъ, территоріальную общину, ни однимъ словомъ не заикается о селѣ въ его позднѣйшемъ значеніи, т. е. о сельской общинѣ, какъ будто бы между селомъ-дворищемъ и вервью-волостью не было никакого промежуточнаго звена въ видѣ села, какъ союза дворовъ. А между тѣмъ нельзя вѣдь того отрицать, что сельская именно община является первой по времени образованія территоріальной общиной въ полномъ смыслѣ этого слова, т. е. такой, въ которой интересы сосѣд-

¹⁾ Op. cit., p. 115.

ства и т. п. берутъ окончательный перевѣсъ надъ интересами родства, и что, только съ появленіемъ этой простой и, такъ сказать, нормальной общины, возможно образование болѣе сложныхъ общинъ, какими являлись погосты, волости и др. формы общества и союзы высшаго порядка,—формы и союзы, быть можетъ, еще не вполне установленные наукой.

Намъ думается, что во всѣхъ этихъ недоумѣніяхъ не повинна Русская Правда, и что въ ея текстѣ, при всей его неполнотѣ и краткости, нѣтъ ни случайнаго, ни тѣмъ болѣе вполне сознательнаго пропуска той общинной формы, которая была промежуточной между дворницемъ и волостью или погостомъ и служила ядромъ для образованія какъ этихъ послѣднихъ, такъ и всякихъ другихъ болѣе сложныхъ и высшихъ формъ общества. И въ самомъ дѣлѣ, на чемъ построено отождествленіе верви съ волостью? Или на голомъ предположеніи, или на весьма шаткой гипотезѣ о волостныхъ общинахъ, какъ древнѣйшей формѣ русскаго общества, изъ которыхъ будто бы только впоследствии образовались сельскія или деревенскія общины, или на сопоставленіи нѣкоторыхъ мѣстъ Рус. Правды съ соответствующими имъ въ позднѣйшихъ памятникахъ восточно-русскаго права (напр., въ уставн. Бѣлооз. грам. 1488 г.) или, наконецъ, на аналогіи съ правомъ сербскимъ, польскимъ и др., иначе на отождествленіи древне-русской верви съ польскимъ „опольемъ“, сербской „околиной“ и т. п.

Безъ всякаго сомнѣнія, если мы хотимъ уяснить себѣ, что такое представляла собою древне-русская вервь, и не желаемъ довольствоваться одними лишь предположеніями на этотъ счетъ, и если въ то же время въ текстѣ Р. Правды мы не находимъ ничего болѣе того, что указано было выше и чего весьма недостаточно для нашей цѣли, необходимо въ такомъ случаѣ обратиться къ свидѣтельству памятниковъ позднѣйшаго времени и попытаться найти въ нихъ отвѣтъ на интересующій насъ вопросъ. Всего естественнѣе и цѣлесообразнѣе обратиться, однако, не къ памятникамъ другихъ славянскихъ народовъ и даже не къ памятникамъ восточно-русскимъ, а къ памятникамъ, относящимся къ той именно территоріи, гдѣ создалась и дѣйствовала Русская Правда, т. е. къ источникамъ западно-русскимъ.

Мы видѣли, что Р. Правда не даетъ всесторонняго изображенія верви и содержитъ въ себѣ данныя только о судебномъ ея значеніи, а именно данныя по вопросу о роли верви въ дѣлахъ о воровствѣ и убійствѣ. Данныя эти, несмотря на всю ихъ цѣнность, являются, однако, настолько немногочисленными, неполными, а иногда

и недостаточно ясными, что сами по себѣ не могутъ разрѣшить возникшихъ между изслѣдователями разногласій по вопросу о томъ, что такое представляла собою древне-русская вервь. Къ счастью, недостаточность, неполнота и нѣкоторая неясность соответствующихъ постановленій Р. Правды если не вполнѣ, то въ значительной степени устраняются съ помощью именно западно-русскихъ актовъ и законодательныхъ памятниковъ. Такъ, съ помощью названныхъ источниковъ мы имѣемъ прежде всего возможность не только прослѣдить исторію института „гоненія слѣда“ почти отъ эпохи Р. Правды до XVI—XVII вв. включительно (съ небольшимъ сравнительно перерывомъ во времени)¹⁾, но и увидѣть во всѣхъ подробностяхъ, какъ совершалось „гоненіе слѣда“, кто принималъ въ немъ участіе, кто именно и въ какихъ именно случаяхъ отвѣчалъ за „невыводъ“ или „отбитіе“ слѣда и т. д. Едва ли нужно прибавлять, что разъ „гоненіе слѣда“ со времени Р. Правды дожило до XV и XVI вв., то оно должно было сохранить и свой прежній обликъ если не во всѣхъ, то, по крайней мѣрѣ, въ самыхъ существенныхъ чертахъ. Впрочемъ, всякому непосредственно ознакомившемуся съ названными источниками и въ особенности съ западно-русскими судебными актами невольно бросаются въ глаза такія подробности, такія характерныя черты, отъ которыхъ вѣтъ глубокой стариной и которыя не оставляютъ сомнѣнія въ томъ, что данный институтъ сохранился въ неприкосновенности отъ древнѣйшихъ временъ.

Итакъ, обратимся къ указаннымъ актамъ. Для нашей цѣли достаточно ознакомиться съ содержаніемъ лишь немногихъ изъ нихъ²⁾.

У Смолнянскаго боярина Яцынки были „покрадены кони“ и „слѣдъ тыхъ коней его прышолъ в село Госмирское“ (Любашковской волости въ Витебской землѣ). Встрѣтивъ близъ с. Госмирскаго отправлявшася въ Оболицы старца названнаго села, Демида,

¹⁾ Древнѣйшіе изъ изданныхъ актовъ о преслѣдованіи преступниковъ по слѣду относятся къ первой половинѣ XV в. См. Akta grad. i zem t. VII. № 32; t. XI, №№ 2768 и 2770; t. XII, №№ 4264 и др.

²⁾ Замѣтимъ мимоходомъ, что многіе изъ документовъ, на которые мы будемъ ссылаться ниже, извлечены изъ различн. архивовъ лично нами и хотя уже напечатаны, но еще не опубликованы (они вошли въ составъ I-го тома Актовъ о копныхъ и панскихъ судахъ, издаваемыхъ Кіевской Арх. Комиссіей; томъ этотъ, составляющій т. IV части VIII Архива Юго-Запад. Россіи, оконченъ печатаніемъ въ 1897 г., но еще не выпущенъ въ свѣтъ).

потерпѣвшій обратился къ нему, какъ къ мѣстной власти, съ просьбой, чтобы онъ „тотъ след вывелъ“. Старецъ командировалъ для этого въ качествѣ вижа жителя того же села Госмирскаго Селька, который „с послангя старцова тотъ след *из своее земли* вывелъ *в землю* в Кочержину, а Кочерга з своее земли вывелъ *в землю* Конечька Опанасовича“. Вслѣдъ затѣмъ потерпѣвшій, уставшій и проголодавшійся, сдѣлалъ нѣкоторый перерывъ въ „гоненіи слѣда“, съ цѣлью отдохнуть и закусить, для чего и отправился въ домъ Селька, или, выражаясь словами этого послѣдняго, исполнявшаго обязанности вижа: „ино тотъ Яцынъка у мене почаль хлеба ести“. Воспользовавшійся этимъ обстоятельствомъ, односельчанинъ Селька—Конечко, въ землю котораго былъ выведенъ слѣдъ предыдущимъ „земцемъ“, „в тотъ часъ выгналъ свою животину и тотъ след затопталъ и з своее земли его не вывелъ“ и, сверхъ того, произнесилъ всякія угрозы по адресу потерпѣвшаго и вижа. Когда впоследствии, несмотря на то, что Конечко возвратилъ Яцынѣ украденныхъ у него коней, якобы найденныхъ имъ, Конечкомъ, въ сосѣдней волости, дѣло, вслѣдствіе нѣкоторыхъ обстоятельствъ, дошло однако до суда Витебскаго воеводы, то послѣдній призналъ, что „тотъ Конечько самъ тыи кони былъ покралъ“, ибо онъ „след оный погубилъ и перед вижомъ его из своее земли вывести не хотель“¹⁾.

Обращаемъ вниманіе на то въ данномъ актѣ, что слѣдъ, приходшій къ селу Госмирскому, выводится по очереди изъ всѣхъ входившихъ въ составъ села „земель“, т. е. крестьянскихъ участковъ пахотной и усадебной земли съ жилищами и хозяйственными постройками на нихъ, или, иными словами (пользуемся наиболѣе употребит. въ Запад. Россіи терминомъ), — изъ всѣхъ дворницъ. Очевидно, „земли“ эти, или дворница, были раскинуты на изрядное разстояніе другъ отъ друга. На это косвенно указываетъ и то обстоятельство, что послѣ вывода слѣда въ третью „землю“²⁾ потребо-

¹⁾ Лит. Метр., кн. Судн. Дѣль № 9, л. 55 (актъ 1538 г.) и Арх. Ю.-З. Р., ч. VIII, т. 4, № 347.

²⁾ Мы видѣли, что въ XV—XVI вв. „дворище“, „служба“, „сельцо“ и „селище“, съ одной стороны, и „земля“, съ другой, употреблялись какъ синонимы. Это обстоятельство, а въ особенности приведенный актъ съ упоминаемыми имъ „землями“, входившими въ составъ с. Госмирскаго, уясняютъ, думается намъ, истинное значеніе тѣхъ „земель“, о которыхъ говоритъ Р. Правда въ статьѣ о сводѣ „по землямъ“: „А оже будетъ въ одномъ градѣ, то ити исцу до конца того свода; будетъ ли сводъ *по землямъ*, то ити ему до трехъ сводовъ...“ (Карам., 32). Какъ извѣстно, послѣднія слова понимаютъ обыкновенно такъ:

валось сдѣлать передышку. Каждая изъ „земель“, или дворницѣ, входящихъ въ составъ села, несетъ, въ случаѣ невывода или уничтоженія слѣда, ту же отвѣтственность, какая возлагается Р. Правдой въ подобныхъ случаяхъ на упоминаемые ею „село“ и „товарь“.

Ознакомимся еще съ однимъ актомъ, близкимъ по содержанию съ приведеннымъ сейчасъ. Когда у нѣкоторыхъ крестьянъ с. Великаго Бусеча (въ Слонимск. повѣтѣ) ночью были украдены ивъ клѣтѣй и гумна гречиха, рожь и овесъ, то потерпѣвшіе, какъ только наступилъ день, „появшы следъ, а не могучы такъ наскоре возного способить, собравшы кону людей суседовъ околичныхъ, *водле стародавнаго звычаю* шли съ копою следомъ и привели дей тотъ следъ до места Рожанского, до домовъ того Лаврына и Яська Миськевичовъ, которые зъ одного сядятъ домомъ, только што тыномъ подворье перегородившы; и просили... урядника Рожанского, пославшы съ копы, абы водле права следъ шкоды приведеный мещаномъ тымъ Миськевичомъ одъ домовъ своихъ отвести, або, вижа прыдавшы, въ домохъ ихъ лица искать позволилъ и допустилъ“¹⁾.

Не всегда однако слѣдъ приводилъ не только къ тому или другому селу или городу, но вмѣстѣ съ тѣмъ и къ опредѣленному двору или дому, въ которомъ, очевидно, находился воръ или украденное имъ, или и то и другое вмѣстѣ. Иногда можно было констатировать только, что слѣдъ пришелъ къ данному селу, но не болѣе. Такъ, наприм., послѣ кражи хлѣба въ зернѣ у крестьянина с. Ярнева (Слонимск. пов.) копѣ удалось довести слѣдъ „до самого села Луконницы“; въ виду этого копа предложила „мужомъ тымъ, въ томъ селе мешкающимъ, абы следъ тотъ отводили отъ села своего и село свое очищали“²⁾.

своцъ по округу, принадлежащему данному городу, продолжается лишь до третьяго свода. Полагаемъ, что въ приведенной статьѣ выраженіе „поземлямъ“ употреблено во множествен. числѣ далеко не случайно, что этимъ составитель Р. П. хотѣлъ сказать нѣчто иное и болѣе опредѣленное, нежели то, что ему обыкновенно приписываютъ. По нашему мнѣнію, смыслъ означ. статьи таковъ: если заинтересованнымъ лицамъ приходится производить сводъ виѣ предѣловъ города, а именно по территориямъ отдѣльныхъ хозяйственныхъ участковъ, то истецъ идетъ только до третьяго свода.

¹⁾ Ак. Вил. Ком. XVIII, № 215. См. также Кіевск. Центр. Арх., кн. № 960. л. 24 об., гдѣ рѣчь идетъ о „пригнаніи слѣда“ къ дому крестьянина с. Жасковичъ, который, однако, „следу не вывелъ з дому своего“.

²⁾ Ак. Вил. Ком., XVIII, № 216.

Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, когда не падаетъ подозрѣнiе на отдѣльное лицо, т. е. когда направленiе слѣда не даетъ къ тому основанiй, не приводитъ къ опредѣленному дому, наступаетъ отвѣтственность всего села, которому, во избѣжанiе этого, остается одно изъ двухъ: или „вывести слѣдъ“ изъ села, т. е. доказать, что онъ не обрывается въ селѣ, а продолжается за нимъ и выходитъ изъ предѣловъ его территорiи, или найти въ своей средѣ и указать или выдать виновнаго въ кражѣ. Конечно, отвѣтственность всего села имѣла бы мѣсто и въ томъ случаѣ, если бы извѣстный намъ изъ перваго приведеннаго нами акта старецъ с. Госмирскаго не разрѣшилъ выводить слѣда изъ своего села и всѣхъ „земель“, или дворищъ, входившихъ въ его составъ.

Въ подтвержденiе всего сказаннаго сейчасъ приведемъ двѣ-три любопытныхъ выдержки изъ судебныхъ актовъ, свидѣтельствующiя о наступленiи въ извѣстныхъ (указанныхъ) случаяхъ общинной отвѣтственности.

У жителя с. Ярнева (Слонимск. пов.) были выкрадены изъ амбара различныя „речи домовые“. Собранныя потерпѣвшимъ копа, идя по слѣдамъ, оставленнымъ двумя ворами, довела эти слѣды до черты земель с. Луконницы, а затѣмъ и до „огородовъ овощныхъ“, расположенныхъ близъ самыхъ домовъ означеннаго села. Такъ какъ жители послѣдняго отказались выводить далѣе слѣдъ, то копа „тому *селу всему* в той шкоде... вину дала“, т. е. возложила отвѣтственность за происшедшую кражу на все село Луконницу, мотивируя свое рѣшенiе тѣмъ, что, благодаря неправильнымъ дѣйствiямъ жителей этого села, т. е. уклоненiю ихъ отъ вывода слѣда, она, копа, о настоящемъ „шкоднику певное ведомости метъ не можетъ“. зато, благодаря слѣду, твердо знаетъ, что „зъ того села шкода стала“¹⁾.

А вотъ и другое указанiе, взятое изъ акта, прекрасно рисующаго всю процедуру гоненья слѣда, вполне тождественную съ той, которая описана въ Р. Правдѣ. Крестьянинъ с. Юковичъ Слонимскаго повѣта, клѣтъ котораго была ночью обворована, „обачившы тую шкоду свою, понявшы дей следъ и собравшы суседъ своихъ околичныхъ, *водмугъ дей стародавнаго обычая*, взявшы дей следъ зъ дому своего, который дей былъ следъ трехъ чоловековъ пешихъ, который дей следъ изъ суседьми околичными напервей привели на кгрунтъ села Лудейницы, именья п. Путилова, которые подда-

¹⁾ Акт. Вил. Ком., XVIII, № 201.

ные пана Путиловы прынявши следъ сполечне стороною вывели дей следъ въ кгрунту Лодейницкого ажъ до кгрунту дей его милости п. Яна Горабурды, села Дыховицкого; которые дей подданные его милости Дыховицкие, прынявши дей следъ, сполечне и съ сторонними людьми ишли следомъ и вывели дей следъ въ кгрунту Дыховицкого, ажъ до кгрунту дей ее милости пани Васильевое Тишкевичовое, воеводиное Смоленское.... села ее милости Белавицкого Заполья. То пакъ дей тая копа вся, станувшы на границы на томъ следу, которымъ дей следомъ ишли, послали дей до с. Белавицкого Заполья, абы вышедшы следъ прыняли и въ кгрунту и отъ села дей своего отвели...⁴. Приглашенные, однако, „на следъ выйти, ани въ кгрунтовъ и отъ села своего следу отвести не хотели“; спустя немного, послѣ вторичнаго приглашенія и побужденій со стороны своего урядника, крестьяне с. Заполья хотя и вышли, но „до тое копы, которые на томъ следу стояли, прышедшы, отъ тое копы следу взяти и вывести въ кгрунту и отъ села своего не хотели и не отводили“. На основаніи этихъ фактовъ, подтвержденныхъ всею копою, гнавшею слѣдъ, потерпѣвшій, въ лицѣ своего помѣщика, предъявилъ жалобу о кражѣ на все вышеозначенное село: „просиль на тое село все о справедливость“¹⁾.

Безъ всякаго сомнѣнія, бывали нерѣдко и такіе случаи, когда село, къ которому приводилъ слѣдъ и которое не могло или не хотѣло отводить слѣда, не несло никакой коллективной отвѣтственности: послѣдняя не имѣла мѣста, если такое село добровольно выдавало вора или указывало его. Когда у крестьянина с. Острова были выкрадены пчелы и слѣдъ привелъ „на кгрунтъ подь самое село Яругичы“, то крестьяне послѣдняго на приглашеніе выйти и „тотъ следъ одъ села своего отвести и оное очистить“, отвѣчали: „мы отъ села своего следу отводить не будемъ, кгдажъ о алочынцахъ тыхъ пчоль ведаемъ и, *очищаючи село наше*, ихъ, яко виновайцовъ, выдать готови есмо“, а затѣмъ и привели свое намѣреніе въ исполненіе, т. е. выдали преступниковъ гнавшимъ слѣдъ копѣ и потерпѣвшему²⁾.

Итакъ, слѣдъ гонять, какъ это видно изъ приведенныхъ нами документовъ, *отъ села до села*; село, выведшее слѣдъ изъ предѣловъ своей территоріи, изъ своихъ земель, до границъ земель сосѣдняго села, тѣмъ самымъ „себя очищаетъ“ отъ всякихъ подо-

¹⁾ Ibid., № 114.

²⁾ Ibid., № 212.

зрѣній въ причастности къ происшедшей кражѣ или укрывательствѣ на своей территоріи вора и не можетъ поэтому нести какой-либо отвѣтственности; общинная отвѣтственность не имѣетъ также мѣста и въ тѣхъ случаяхъ, когда село, къ которому привелъ слѣдъ, добровольно выдаетъ или указываетъ вора. Въ предѣлахъ села, если пельзя указать дальнѣйшаго продолженія слѣда за предѣлами села и если сельская община не желаетъ помѣшать обнаруженію виновнаго, слѣдъ гонится *отъ „земли“ до „земли“, или отъ двора до двора*; крестьянинъ, выведшій слѣдъ изъ своего усадебнаго и полевого участка въ сосѣдній, въ равной мѣрѣ „себя очищаетъ“ отъ всякихъ подозрѣній и всякой личной отвѣтственности. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ противоположнаго характера, перечисленныхъ подробно въ Русской Правдѣ, съ которой вполне солидарны и западно-русскіе судебные акты, а именно: если слѣдъ не хотѣли или не могли отвести, если не хотѣли отыскать и выдать преступника, если уничтожали слѣдъ, не допускали къ нему и т. п., наступала отвѣтственность или всей общины, называемой въ нашихъ актахъ *селою*, а въ Русск. Правдѣ *вервою*, или, при извѣстныхъ условіяхъ, отдѣльныхъ лицъ, входившихъ въ составъ данной общины и являвшихся владѣльцами „домовъ“, „земель“, или „дворовъ“, которые фигурируютъ въ западно-русскихъ актахъ въ той же роли, въ какой—въ Русск. Правдѣ упоминаемые ею „село“ и „товарь“.

Объ отвѣтственности по дѣламъ о кражѣ какихъ-либо болѣе крупныхъ территоріальныхъ общинъ, чѣмъ село, западно-русскіе акты, которые, какъ мы видѣли, постоянно ссылаются на стародавній, извѣчный обычай, ничего не говорятъ.

Приведенныя свидѣтельства актовъ и тѣ выводы, какіе мы сдѣлали изъ нихъ, вполне подтверждаются и законодательными памятниками Западной Руси: „Коли бы покрадены (были)—говорить Лит. Статутъ 1588 г., ссылающійся при этомъ на давній обычай и узаконяющій его, —кони, волю, быдло и иные речы въ дому и глежь кольвекъ, а тотъ шкодный понялъ бы следъ тое шкоды своею и собравшы людей добрыхъ околичныхъ суседовъ водле давного обычая гонилъ следомъ, а тотъ следъ где бы ку которому *селу* albo въ чый *домъ* привелъ, тогда послати до того села або до дому, где следъ вполъ, людей добрыхъ стороннихъ, годныхъ веры, aby з села своего и з дому, где бы следъ вполъ, або з кгрунту земли села своего след вывели; таковое село або в чый домъ следъ будеть вполъ мають тотъ следъ в тое кони взяти и з села або з дому и з земли своею того села следъ вывести ажъ до иншого границы, куды тотъ следъ пойдетъ. А естли бы тое село, до которого следъ при-

ведено, отъ себе следу не вывели, або отъ следу отъбили, або выгнавши быдломъ затоптали... тогда оное село тую шкоду винни будутъ заплатити, а собе винного искати..." (р. XIV, арт. 9).

Не трудно даже самому скептическому читателю убѣдиться въ полномъ сходствѣ даннаго артикула Лит. Статута съ 88-й ст. Карамз. св. Русской Правды, трактующей о гоненіи слѣда: кажущаяся разница лишь въ томъ, что вмѣсто „села“ и „людей“, или „верви“, Р. Правды здѣсь, въ Статутѣ, фигурируютъ домъ и село. Говоримъ „кажущаяся“, потому что, по нашему твердому убѣжденію (основанному на вышеизложенныхъ доводахъ), здѣсь мы имѣемъ дѣло съ разницей въ названіяхъ, но отнюдь не съ различіемъ по существу.

По Р. Правдѣ отвѣтственность верви не ограничивалась дѣлами о кражѣ, но простиралась въ извѣстныхъ случаяхъ и на дѣла объ убійствѣ. Тотъ же порядокъ сохранился и въ послѣдующія времена, какъ это видно изъ западно-русскихъ актовъ XVI в. На основаніи этихъ актовъ, хотя указанія ихъ не столь многочисленныя и, пожалуй, не столь категорическія, какъ относительно общинной отвѣтственности въ дѣлахъ о воровствѣ, можно, однако, и даже неизбежно прійти къ тому же выводу, какой получился послѣ разсмотрѣнія актовыхъ и законодательныхъ данныхъ объ общинной отвѣтственности за кражу, а именно: отвѣтственность за убійство падаетъ не на какія-либо сложныя или крупныя территориальныя единицы въ родѣ волостей, а лишь на сельскую общину, на земляхъ которой найденъ трупъ и въ предѣлахъ которой скрывается преступникъ (убійца). Подтвердимъ сказанное ссылками на отдѣльные документы.

Въ 1579 году Дорогобужскій намѣстникъ обвинялъ „все село Глажковское“ въ убійствѣ его служебника Адама ¹⁾. Къ сожалѣнію, изъ этого акта не видно, на какомъ основаніи обвиненіе было предъявлено ко „всему селу“. Изъ другихъ же подобныхъ актовъ можно заключить, что основаніемъ для такого огульнаго обвиненія обыкновенно служило нахожденіе трупа на землѣ того или другого села въ связи съ неизвѣстностью убійцы. Мѣстонахожденіе трупа создавало презумпцію, что убійца принадлежалъ къ числу жителей даннаго поселенія. Такъ, весной того же 1579 г. на землѣ с. Жа-

¹⁾ Кн. Кіевск. Центр. Арх. № 2053, л. 210 (Арх. Юго-Зап. Рос. ч. VIII, т. 4, актъ № 295).

сковичей, имѣнія кн. Д. Козеки, былъ найденъ крестьяниномъ того же села трупъ мальчика-пастушка изъ сосѣдняго имѣнія п. Киселя; урядникъ послѣдняго предъявилъ обвиненіе ко „*всему селу Жасковскому*“ и потребовалъ, чтобы была собрана на мѣстѣ убійства копа для разысканія убійцы. Предъявленное обвиненіе было мотивировано такъ: „Я той шкоды пана своего, забитья и замордованя до смерти того детинки, подданого пана своего, злодѣйскимъ обычаемъ, ни отъ кого быт не розумею и не маю, толко *от всего села Жасковского, иже дей въ томъ имену... яко трупъ* того детинки, такъ и козы *найдемы...*“¹⁾.

Само собою разумѣется, что коллективная отвѣтственность подозрѣваемаго или обвиняемаго села отпадала, какъ только это село указывало и выдавало того своего односельчанина или односельчанъ, которые были дѣйствительными убійцами. Такъ, въ 1578 г. подданный п. Дзялынской, Кротъ, былъ ограбленъ и убитъ въ имѣніи п. Гулевича, въ с. Семеренкахъ, при чемъ трупъ убитаго былъ вывлоченъ „за гостинець, з села“ и присыпанъ снѣгомъ. Когда на слѣдующій день заинтересованными лицами трупъ былъ найденъ и къ „подданнымъ Семеренскимъ“ было предъявлено обвиненіе въ убійствѣ, жители села Семеренокъ заявили: „мы не били, але есть винный, который его забиль—войтъ старый Семеренский“, и тотчасъ же „оного войта, яко мужобойцу“, выдали уряднику п. Дзялынской²⁾.

На отвѣтственность села за убійство, совершенное на его земляхъ (мѣстонахожденіе трупа, какъ было уже замѣчено, создавало презумпцію о принадлежности убійцы къ общинѣ, на земляхъ которой совершено убійство)³⁾, указываютъ также и констатируемые актами частые случаи перетаскиванія убійцей или убійцами трупа

¹⁾ Арх. Юго-Запад. Рос., ч. VIII, т. 4, № 297 (Кн. Кіевск. Центр. Арх. № 941, л. 116).

²⁾ Арх. Юго-Зап. Россіи, ч. VIII, т. 4, № 270 (Кн. Кіевск. Центр. Арх. № 940, л. 29 об.).

³⁾ Такой взглядъ на мѣстонахожденіе трупа господствовалъ, какъ извѣстно, до позднѣйшихъ временъ; въ дореформенную пору (до судебной реформы Императора Александра II) нахожденіе „мертваго тѣла“ было источникомъ большихъ тревогъ для сельскаго населенія и удобнымъ предлогомъ для злоупотребленій со стороны уѣздныхъ властей: „Судъ найдетъ, отвѣчай-ка; съ нимъ я ввѣкъ не разберусь“—говоритъ въ извѣстной балладѣ Пушкина рыбакъ, смущенный вѣстью, что его сѣти „притащили мертвеца“, и спѣшитъ спастись отъ бѣды: „онъ потопленное тѣло въ воду за ноги тащитъ и отъ берега крутого оттолкнулъ его весломъ“ („Утопленникъ“).

со своихъ земель, съ своего имѣнія или села, на земли другого землевладѣльца или села ¹⁾. Вотъ почему находеніе трупа разсматривалось, какъ оскверненіе земли, какъ „змаза грунтъ“ ²⁾; являясь оскверненіемъ земли, оно въ то же время порочило и ея владѣльца или владѣльцевъ, ибо создавало презумпцію о причастности ихъ къ происшедшему убійству. Вотъ почему владѣлецъ имѣнія, на землѣ котораго былъ найденъ трупъ убитаго, нерѣдко пытается объяснить этотъ фактъ тѣмъ, что тѣло де было перетащено убійцами туда изъ другого мѣста: „то, муситъ быти, який злый чоловікъ учинил, хочачи *потаар* (т. е. клевету, ложное обвиненіе) звести на імене наше“ ³⁾.

Изъ приведенныхъ актовъ видно, что отвѣтственность села имѣла мѣсто въ тѣхъ же случаяхъ, въ какихъ по Р. П. отвѣчала за умышленное убійство вервь, въ которой „голова лежитъ“ ⁴⁾, а именно: при неотысканіи и невываждѣ преступника. Выдача преступника, когда его знала община, или отысканіе убійцы путемъ разслѣдованія дѣла ⁵⁾, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда убійца принадлежалъ не къ той общинѣ, на землѣ которой найденъ трупъ, а къ другой, снимали всякую отвѣтственность съ подозрѣваемой общины, какъ таковой.

Таковы результаты сопоставленія актовыхъ данныхъ XV—XVI вв. съ тѣми краткими указаніями на „вервь“, какія мы находимъ въ текстѣ Р. Правды.

На основаніи этого сопоставленія, показывающаго, что въ XV—XVI вв. въ сферѣ уголовного права сельская община играла въ Западной и Южной, въ частности въ Приднѣпровской, Руси ту же роль, какая на той же территоріи принадлежала по Р. Правдѣ верви; что всюду, гдѣ въ Р. Правдѣ фигурируетъ вервь, въ западно-русскихъ актахъ и законодательныхъ памятникахъ выступаетъ село, сельская община,—мы приходимъ къ заключенію, что нѣтъ никакого резона отождествлять древне-русскую вервь съ крупнымъ территоріальнымъ союзомъ въ родѣ волости, и что по всѣмъ сообра-

¹⁾ См., напр., Ак. Вил. Ком., XVIII, № 214.

²⁾ Ibid.

³⁾ Арх. Юго-Зап. Рос., ч. VIII, т. 4, № 185 (Кн. Кіевск. Центр. Арх. № 2046, л. 225 об.).

⁴⁾ Р. Правда, 3 ст. Карамз. и Троицк. списковъ.

⁵⁾ Въ XV—XVII вв. съ помощью копы, или копнаго суда.

женіямъ и имѣющимся даннымъ вервь была ничѣмъ другимъ, какъ простой территоріальной общиной, вполне однородной, или тождественной, съ сельской общиной XV—XVI и послѣдующихъ вѣковъ, иначе говоря, селомъ въ нашемъ смыслѣ.

Помимо приведенныхъ соображеній, въ пользу отождествленія верви съ сельской общиной говоритъ еще и то объясненіе происхожденія верви и самаго ея наименованія, которое является напменѣе искусственнымъ изъ всѣхъ имѣющихся въ литературѣ, а потому наиболѣе правдоподобнымъ, или близкимъ къ истинѣ.

Полагаютъ, что община, извѣстная нашей Р. Правдѣ подъ именемъ верви, получила свое наименованіе не отъ слова „веревка“ („вервѣ“), которая употреблялась при измѣреніи общинныхъ земель и ихъ границъ (мнѣніе Соловьева, Мрочекъ-Дроздовскаго и нѣкот. друг.)¹⁾, а отъ терминовъ, вполне аналогичныхъ съ встрѣчающимися въ языкѣ южныхъ славянъ и употреблявшихся для обозначенія связи родства, людей связанныхъ единствомъ происхожденія, или узамъ кровнаго родства („врвные братья“ Полицкаго статута—члены родовыхъ союзовъ; сербскій „врвникъ“—родственникъ)²⁾. На этомъ основаніи утверждаютъ и, повидимому, вполне справедливо, что территоріальная община, извѣстная подъ именемъ верви, не создана искусственно, а развилась совершенно естественнымъ путемъ изъ кровнаго союза, изъ рода. Такимъ происхожденіемъ верви вполне объясняется и самое ея наименованіе, указывающее на тѣсную генетическую связь этого территоріальнаго союза съ прежнимъ кровнымъ.

Примемъ, съ другой стороны, во вниманіе также и результаты, добытые наукой относительно происхожденія простой территоріаль-

¹⁾ Кроме упомянутаго сейчасъ и другого—приведеннаго ниже (въ текстѣ), существуетъ еще мнѣніе (оно высказано было Карамзинымъ и Погодинымъ и раздѣляется нѣкоторыми учеными донинѣ), что слово *вервь* происходитъ отъ общаго индо-европейскаго корня *warf* или *hwarf*, что означаетъ *округъ*, или волость. По поводу послѣдняго мнѣнія нелишне отмѣтить, что по убѣжденію новѣйшихъ германистовъ (напр., Brunner'a и Schröder'a) слова *Hwarf*, *Warf* употреблялись не въ значеніи *округа*, т. е. к.—л. территоріальной единицы, а въ смыслѣ *mallus*, *ding* и т. п., т. е. народное собраніе, *въче*.

²⁾ „Слово „вервь“—говоритъ Собѣстіанскій, авторъ монографіи о круговой порукѣ у славянъ—имѣетъ совершенно одинаковое значеніе съ латинскимъ „*linea*“ и французскимъ „*ligne(la)*“, которыя означаютъ не только веревку, но и связь родства, родъ... Французскій „*lignager*“ есть то же, что и славянскій „врвникъ-ужика“, т. е. членъ рода, лицо связанное общимъ происхожденіемъ, родовой связью“. *Op. cit.*, стр. 115—116.

ной общины, известной под именем сельской и составляющей союзъ дворовъ, а затѣмъ и—относительно дальнѣйшаго процесса развитія территориальныхъ союзовъ или общинъ. „Дворъ“, иначе „дворище“, являющееся задругой, или, какъ иногда не вполне точно выражаются, семейной общиной, съ теченіемъ времени можетъ разложиться и обыкновенно разлагается въ рядъ отдѣльныхъ дворовъ и превращается, такимъ образомъ, въ сельскую общину, въ которой интересы сосѣдства, общность имущественныхъ правъ (на землю) и т. п. берутъ рѣшительный перевѣсъ надъ интересами родства. Но память происхожденіи сельской общины изъ задруги, изъ рода, продолжаетъ, однако, сохраняться между прочимъ въ родовыхъ названіяхъ сель. При дальнѣйшемъ развитіи территориальныхъ общинъ и группировкѣ ихъ въ болѣе крупные союзы, называвшіеся погостами, волостями и т. п., исчезаетъ уже и та слабая память о родствѣ, слѣды которой еще можно подмѣтить въ сельской общинѣ. Короче говоря, и древняя „вервь“ и позднѣйшее „село“ развились одинаково и притомъ непосредственно изъ кровнаго союза.

Приведенныя справки о происхожденіи верви и самаго ея наименованія, съ одной стороны, и о совершенно аналогичномъ происхожденіи территориальныхъ общинъ, называвшихся весями или селами, съ другой, являются, на нашъ взглядъ, еще однимъ лишнимъ доказательствомъ въ пользу того, что древне-русская вервь была отнюдь не крупнымъ территориальнымъ союзомъ въ родѣ волости или погоста, а простой территориальной общиной, именовавшейся въ древности весью, а позже обыкновенно селомъ¹⁾.

И дѣйствительно, лишь въ сельской общинѣ и только въ ней, а не въ какомъ-либо другомъ болѣе крупномъ и сложномъ союзѣ, могла существовать такая тѣсная связь между отдѣльными ея членами, такая солидарная отвѣтственность этихъ послѣднихъ, какія являются характерными чертами верви, упоминаемой Русскою Правдой.

Ялта,
іюнь 1906 г.

М. Ясинскій.

¹⁾ Терминъ „весь“ въ смыслѣ село встрѣчается (изрѣдка) въ памятникахъ западно-русскаго права даже начала XVI в. См. Литовская Метрика, т. I, 649.

Новые домыслы о происхожденіи имени Русь.

Старый вопросъ о томъ, откуда пошло имя Русь и кому оно первоначально принадлежало, когда впервые появилось, давно поставленъ въ наукѣ и не имѣетъ однако доселѣ такого рѣшенія, которое могло бы считаться окончательнымъ, и заключающаяся въ немъ загадка не можетъ считаться разгаданной. Въ виду такого положенія дѣла и его интереса для насъ русскихъ нельзя оставить безъ вниманія новую попытку подойти къ рѣшенію этого вопроса, сдѣланную ученымъ ориенталистомъ Марквардтомъ въ его почтенномъ изслѣдованіи: „Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge“ (Leipzig. 1903), въ которомъ онъ далъ обстоятельный пересмотръ многихъ темныхъ вопросовъ изъ исторіи 9 и 10 столѣтій. Происхожденію имени Русь Марквардтъ посвятилъ особый экскурсъ (стр. 353—391) въ концѣ своей книги.

Марквардтъ начинаетъ съ указанія на самый слабый, по его мнѣнію, пунктъ теоріи, которая обоснована Томсеномъ въ его книгѣ: „Der Ursprung des russischen Staates“. Томсенъ раздѣляетъ мнѣніе, что въ основѣ имени Русь лежитъ названіе, какое давали Шведамъ Финны: Ruotsi, Rōtsi. Славяне усвоили это имя отъ Финновъ и передали его жившимъ на побережьи Чернаго моря тюркскимъ народамъ, отъ которыхъ одновременно узнали его византійцы и арабы. Самый уязвимый пунктъ этой теоріи Марквардтъ видитъ въ томъ, что въ турецкихъ языкахъ ни одно слово не можетъ начинаться на плавныя *l* и *r*, почему и въ настоящее время во всѣхъ турецкихъ языкахъ имя Русь звучитъ съ начальной гласной: Orus, Urus, Wyris, Oros, Orozs, а не rus или ros. Одновремен-

ность появленія слова *gōs* у византийцевъ *αὶ ῥῶς*: и арабовъ *gūs* лишаетъ всякаго значенія указаніе на возможность. воздѣйствія на форму этого слова извѣстнаго мѣста изъ пророка Іезекиіля (38,2), гдѣ помянуто имя *ῥῶς*: наряду съ именами Гогъ и Магогъ. Въ попискахъ за первымъ упоминаніемъ имени Русь, Марквардтъ обращается къ одному сирійскому источнику, ставшему болѣе доступнымъ въ недавнее время. благодаря изданію въ оригиналѣ Ланда (въ 1870 году), а въ настоящее время и общедоступнымъ, благодаря появленію въ нѣмецкомъ переводѣ Аренса и Крюгера (Leipzig. 1899). Источникъ этотъ: Церковная исторія Захаріи-ритора. Этотъ компилятивный трудъ законченъ составленіемъ въ 28 году правленія имп. Юстиніана, т. е. 555 нашей эры. Онъ не принадлежитъ самому Захаріи, а лишь является въ значительной своей части извлеченіемъ изъ его сочиненія. Что касается до Захаріи, то этотъ человѣкъ, родомъ изъ Майюмы, получилъ свое образованіе въ Александріи въ концѣ V вѣка. жилъ затѣмъ въ Бейрутѣ, былъ еще міряниномъ въ 527 году, а позднѣе сталъ митрополитомъ Митилены и въ этомъ званіи участвовалъ въ церковномъ соборѣ въ Константинополѣ въ 536 году. Отъ него осталось нѣсколько сочиненій на греческомъ языкѣ. Приписанная ему исторія церкви на сирійскомъ языкѣ составлена по греческимъ источникамъ. Сочиненіе дѣлится на 12 книгъ. Имя Захаріи помянуто въ послѣдній разъ въ концѣ VI книги. Въ концѣ XII книги вставленъ географическій обзоръ вселенной по Птоlemeю, а затѣмъ перечислены народы „сѣверной стороны“. Вслѣдъ за Армеліей и ея частями помянуты Аланы, затѣмъ приведены имена 13 кочевыхъ народовъ (имена близки къ тѣмъ, которыя извѣстны изъ Прокопія и другихъ византийскихъ историковъ). „Внутрь отъ нихъ“ обитаютъ Аммацарты (карлики) и люди съ песьими головами, „къ сѣверозападу“ отъ нихъ Амазонки. Для продолженія рода Амазонки сходятся на одинъ мѣсяць въ году съ сосѣднимъ народомъ, о которомъ авторъ сообщаетъ слѣдующее: „Этотъ народъ, сосѣдній съ ними, есть *Hrōs*, мужи съ длинными членами; они не имѣютъ никакого оружія и ихъ не могутъ носить лошади, такъ какъ они имѣютъ большіе члены“.

Амазонки, имѣвшія свою большую исторію, литературную и художественную, а не фактическую и дѣйствительную, давно уже были отодвинуты къ горамъ Кавказа (Plin. h. n. 6, 55; Mela 1,19,

§ 116); ихъ не обошелъ въ своемъ географическомъ экскурсѣ и такой трезвый авторъ, какъ Аммианъ Марцелинъ (31, 2, 16) Переводчики церковной исторіи Захаріи транскрибировали имя сосѣдей Амазонокъ—*Herōs* и приняли это слово за передачу греческаго ἥρως, относя весь этотъ отдѣлъ изложенія къ области баснословія, вошедшаго въ географію. Но Марквардтъ читаетъ *Herōs* и ни мало не сомнѣвается въ этническомъ характерѣ этого термина.

Марквардту кажется, что характеристика этого народа: большой ростъ, пѣшіи строй, не имѣніе оружія,—какъ дана она у такъ наз. Захаріи,—можетъ служить указаніемъ на германскую народность и въ частности—племя Геруловъ или Эруловъ. Герулы появились на побережьи Чернаго моря вмѣстѣ съ Готами, т. е. въ III вѣкѣ. Они были участниками уже первыхъ грабительскихъ морскихъ походовъ, предпринятыхъ Готами на малоазіатское побережье и далѣе на югъ въ Архипелагъ и Грецію. Первые походы Готовъ были предприняты изъ Боспора (Керчи) въ половинѣ III вѣка. Въ *Etymologicum Magnum* сохранилась цитата изъ историка Дексинна съ этимологіей имени Ἐλουροι отъ ἔλαη—болота. Она повторена у Иордана, писавшаго въ 551 году свою Исторію Готовъ, въ замѣчаніи: *gens... iuxta Meotida palude inhabitans in locis stagnantibus, quos Graeci ele vocant* (*Get.* 23, 117). При имп. Клавдіи Герулы принимали участіе въ морскихъ предпріятіяхъ Готовъ, изъ устьевъ Днѣстра *Treb. Poll. v. Claudii, cap. 6; Zos., I, 42*). Въ пору Эрманриха, царя Остготскаго, Герулы, по свидѣтельству Иордана, занимають территорію къ востоку отъ Готовъ, и среди побѣдъ этого царя Иорданъ отмѣчаетъ жестокое пораженіе Геруловъ, причемъ на полѣ битвы остался и царь ихъ Аларихъ. Въ эпоху, послѣдовавшую за нашествіемъ Гунновъ, Герулы раздѣлили судьбу Остготовъ, сражались подъ знаменами Аттилы на Каталаунской равнинѣ, а послѣ смерти великаго воителя были въ числѣ возставшихъ противъ Гунновъ, германскихъ племенъ, разрушившихъ державу Аттилы. Помяная Геруловъ, Иорданъ прилагаетъ къ нимъ постоянно одну и ту же характеристику: *velocitas, velocissimi* и *levis armatura, levi armatura aciem strui*, какъ специфическія черты этого племени, отличавшія ихъ отъ другихъ германскихъ народовъ. Дальнѣйшая исторія Геруловъ протекаетъ въ мѣстностяхъ средняго теченія Дуная, въ сосѣдствѣ съ Лангобардами съ одной стороны и Гепидами—съ другой. Отъ этой эпохи есть цѣлый рядъ свидѣтельствъ

о Герулахъ у Проконія. Онъ характеризуетъ ихъ какъ народъ очень мужественный, съ весьма жестокими и дикими нравами. Они шли въ бой безъ шлемовъ и панцырей и изъ оборонительнаго оружія употребляли только щиты, а ихъ рабы, которые сражались вмѣстѣ съ своими господами, не имѣли даже щита, а получали его лишь какъ отличіе за доказанную въ бою храбрость и искусство. У нихъ былъ обычай, что послѣ смерти мужа жена должна была идти вмѣстѣ съ нимъ въ могилу (Proc. b. g. II, 14, p. 199, 16). Подчиняя себѣ другіе народы, Герулы облагали ихъ данью въ свою пользу, чего будто бы не дѣлали другіе германскіе народы. Въ 512 году Герулы, подъ предводительствомъ своего царя Рудольфа, пошли войной на Лангобардовъ изъ одного желанія военныхъ подвиговъ. Военное счастье имъ измѣнило, и они потерпѣли полное пораженіе, въ битвѣ палъ и царь ихъ Рудольфъ, тотъ самый, съ которымъ раньше сносился Теодорихъ Великій и призналъ своимъ сыномъ по оружію (Cassiod. Var. IV, 2). Послѣ этого несчастія, часть Геруловъ рѣшила покинуть придунайскія мѣста и вернуться на родину, въ далекую Скандинавію. Планъ этотъ былъ осуществленъ, и они поселились въ сосѣдствѣ съ Гаутами (Proc. b. g. II, 15). Другая часть уцѣлѣвшихъ перешла въ предѣлы имперіи, въ Иллирикъ. Изъ нихъ вербовались вспомогательные отряды, служившіе въ арміяхъ Юстиніана въ войнахъ съ Персами, Вандалами и Остготами. Оставшіеся въ придунайскихъ мѣстностяхъ Герулы посылали посольство къ своимъ соплеменникамъ, ушедшимъ въ Скандинавію, съ просьбой прислать имъ царя. Дѣло посольства затянулось помимо отдаленности разстоянія и трудности путешествія еще вслѣдствіе того, что избранный на царство умеръ по пути. Посольство вернулось въ Скандинавію и, получивъ, второго царя, прибыло съ нимъ на Дунай. Оказалось, что за это время успѣлъ воцариться другой, прибывшій изъ Византіи изъ находившихся тамъ на службѣ царевичей. Въ происшедшей затѣмъ междоусобной войнѣ побѣда осталась за пришельцемъ изъ Скандинавіи.—Этимъ эпизодомъ и кончается для насъ исторія Геруловъ на среднемъ Дунаѣ. Родиной Геруловъ оказывается, такимъ образомъ, Скандинавія. Это свидѣтельство не находится въ противорѣчій по тогдашнимъ условіямъ жизни германскихъ племенъ, съ тѣмъ, что цѣлый рядъ историческихъ свидѣтельствъ отъ III—V вѣковъ, помѣщаетъ Геруловъ въ предѣлахъ полуострова Ютландіи. Иорданъ представляетъ дѣло

такъ, что Геруловъ потѣснили на югъ Даны. Такимъ образомъ, Ютландія, а не Скандинавія, являются ихъ мѣстожителемъ раньше, чѣмъ побережье Мэотиды. Но вытѣсненіе не было полнымъ: изъ Ютландіи Герулы предпринимали морскіе грабительскіе походы на берега Галліи въ концѣ III вѣка, о чемъ поминають панегиристы Максимиліана (289 и 291 годы). Въ хроникѣ Идаціи занесено извѣстіе о набѣгѣ Геруловъ на берега Галліи подъ 455 годомъ и Испаніи—подъ 459. Сидоній Аполлинарій поминаеть о разбояхъ Геруловъ при царѣ Вестготовъ Эврихѣ (466—484 г.).

Марквардъ пользуется связью Геруловъ съ Ютландіей и Скандинавіей, чтобы приписать имъ, какъ характерную черту, большой ростъ, что ему нужно для сближенія Геруловъ съ народомъ Нгѣс у такъ наз. Захаріи. А что до отсутствія у нихъ оружія, то эту черту Марквардъ толкуеть въ смыслѣ свидѣтельства Прокопія о томъ, что Герулы не знали оборонительнаго оружія, сражались безъ шлемовъ и панцыря. Но остается большее затрудненіе: какъ вернуть Геруловъ на берега Азовскаго моря, которые они покинули еще въ концѣ IV вѣка, принявъ участіе въ движеніи Гунновъ на западъ. Тутъ приходитъ на помощь теорія, которую выставилъ Löwe въ своемъ изслѣдованіи: „Die Reste der Germanen am Schwarzen Meer“ (Leipzig, 1896). Наше историческое преданіе знаетъ именно Готовъ въ горахъ Крыма и на восточномъ берегу Боспорскаго пролива и видитъ въ нихъ остатки этого народа, оторванные отъ главной массы при передвиженіи племени на западъ. Въ противорѣчіе съ этимъ совершенно яснымъ свидѣтельствомъ Прокопія, Лёве полагають возможнымъ доказывать, что имя Готовъ имъ присвоено по недоразумѣнію, такъ какъ въ дѣйствительности то были Герулы. Основаніемъ для этой теоріи является то обстоятельство, что страна Готовъ-тетракситовъ носить имя *Eudosaia* и самое населеніе зовется *Eudosaioi*. Это имя Лёве сближаетъ съ *Eudoses* Тацита, который помѣщаетъ племя этого имени на побережье Нѣмецкаго моря, по видимому, въ Ютландіи. Такъ какъ Готы-тетракситы или Евдусіане, жили въ прикавказскихъ мѣстностяхъ и тамъ остались навсегда, то такимъ образомъ получается возможность локализациі народа Нгѣс, отождествляемаго съ Герулами.

Дальнѣйшимъ звеномъ аргументаціи Марквардта, является отождествленіе съ Герулами народа *Rosomoni*, который названъ у

Иордана въ повѣствованіи о смерти Эрманриха. Въ числѣ подвластныхъ Эрманриху народовъ были Росомоны. За измѣну ихъ царя (*pro discessu fraudulento*), Эрманрихъ предалъ жестокой казни его жену, по имени Сунильду: онъ приказалъ разорвать ее дикими конями. Братья казненной, Sarus и Ammius, изъ мести за сестру, сдѣлали покушеніе на жизнь Эрманриха. Имъ не удалось убить его, но они нанесли ему тяжкую рану въ бокъ. Эта рана вмѣстѣ съ огорченіями, которыя причинили Эрманриху набѣги Гунновъ, свели его въ гробъ на 110 году жизни. Таково повѣствованіе Иордана. У Амміана Марцеллина, пережившаго эпоху гуннскаго нашествія, имѣемъ мы простую и вѣроятную версію повѣствованія о смерти Эрманриха, а именно, что онъ лишилъ себя жизни послѣ разгрома своей державы Гуннами. У Иордана мотивы смерти перегружены, и здѣсь предъ нами, очевидно, готское народное свидѣтельство о событіи, разросшееся до сказанія.

Вопроса о Росомонахъ касались многіе ученые, иные, въ томъ числѣ Мюлленгофъ, относили Росомоновъ въ область миеологін. Для разгадки имени предлагались различныя этимологін: Бугге читалъ его *Rusmianans* и производилъ его отъ слова *rasmo*—*rubor*, *aerugo*, *lentigo*; Гринбергъ—*Hrusamans*—отъ слова—*roso*—*glacies*, откуда объясненіе—*Eismänner*. Марквардтъ предлагаетъ свою этимологію—отъ слова *raus*, что значить камышь и видить подтвержденіе ея въ установленіи связи Росомоновъ съ *palus Maeotis*.

Нѣкоторые ученые, какъ Гейнцель, видѣли въ Росомонахъ—Славянъ. Тотъ же Иорданъ сохранилъ свидѣтельство о войнѣ со Славянами при преемникѣ Эрманриха, Винитаріи, который, одержавъ надъ ними побѣду, подвергъ казни черезъ повѣшеніе царя ихъ по имени *Voz* съ сыновьями и 70 старѣйшинъ для устрашенія народа (*Iord. Get. 48, 247*). Такъ какъ правленіе Винитарія длилось меньше года, то его война съ Славянами имѣетъ видъ мести за смерть Эрманриха. Марквардтъ думаетъ совершенно иначе и отмѣчаетъ обстоятельство, останавливавшее и другихъ изслѣдователей, а именно: готскій характеръ имени одного изъ братьевъ Сунильды—*Sarus*. Князь Готовъ этого имени помянутъ въ событіяхъ конца IV и начала V вѣка у многихъ писателей (*Oros. 7, 37, 12; Iord. Rom. 41, 20; Zosim. 5, 30, 3*). Это обстоятельство является весьма существеннымъ возраженіемъ противъ славянства Росомоновъ и позволяетъ

видѣть въ нихъ Германцевъ. Марквардтъ признаетъ въ нихъ Геруловъ, пользуясь для этого данными германской саги.

Свидѣтельства древнихъ историковъ о Герулахъ прекращаются VI вѣкомъ, но исторія ихъ нашла себѣ отзвукъ въ германской сагѣ. Ихъ царь Рудольфъ, съ которымъ они потерпѣли жестокое пораженіе отъ Лангобардовъ въ началѣ VI вѣка, остался жить въ народной памяти въ образѣ *Rüdiger von Bechlagen*. Въ сагѣ онъ является союзникомъ Теодориха, чѣмъ былъ и въ исторіи, и оказываетъ ему помощь при дворѣ Атилы. Городъ съ которымъ связываетъ его сага, носитъ еще въ IX вѣкѣ имя *Herilongoburg*, т. е. городъ Геруловъ. Въ каталогѣ германскихъ героевъ, *Witsid*, въ свитѣ Эрминрека, т. е. остготскаго Эрманриха, помѣнуты два брата *Emerca* и *Fridla*, которые называются *Herelingas*. Въ Кведлинбургскихъ и Вюрцбургскихъ анналахъ, названы *Emerca* и *Fritla*—два брата, племянники Эрманриха, которыхъ онъ повѣсилъ; а самъ Эрманрихъ гибнетъ—*„amputatis manibus et pedibus“*—отъ руки братьевъ *Hemidus*, *Serila* и *Adaccarus*. Саксонъ Грамматикъ также рассказываетъ о смерти Эрманриха отъ руки двухъ братьевъ, вождей народа *Hellespontici*. Они мстятъ царю за жестокую казнь, которой онъ подвергъ свою жену, ихъ сестру, по имени *Sunilda*. Въ норвежско-исландской сагѣ *Сунильда*—подъ именемъ *Svanhildr*—является также супругой Эрманриха. Казнь постигаетъ ее за прелюбодѣяніе съ сыномъ ея мужа отъ предшествующаго брака. Братья ея *Sorle* и *Hamder*, сыновья *Jonakr'a*, мстятъ за ея смерть. Есть еще третій братъ *Egr*, не принимающій участія въ убійствѣ Эрманриха. Если мотивъ казни *Сунильды* совершенно не тотъ, что у *Иордана*, и она является женой самого Эрманриха, тѣмъ не менѣе вполне естественно допустить тожество этого образа у *Саксона* и *Иордана*. Точно также сами собой сближаются имена братьевъ *Amnius* и *Sarus* *Иордана* и *Hemidus et Serila* въ *Кведлинбургскихъ* и *Вюрцбургскихъ* анналахъ. Такимъ образомъ, является возможность связать *Росомоновъ* *Иордана* съ *Герулами*. Не довольствуясь этимъ общимъ сближеніемъ, *Марквардтъ* идетъ далѣе. Онъ считаетъ возможнымъ разгадать историческую правду эпизода о *Росомонахъ* въ сообщеніи *Иордана*. *Герулы*, потерпѣвшіе жестокое пораженіе отъ Эрманриха, имѣли поводъ мстить ему. Во время одного изъ столкновеній *Готовъ* съ *Гуннами*, преемникъ погибшаго въ бою *Алариха* измѣнилъ Эрманриху, уйдя съ поля битвы (*pro discessu fraudulento*).

За эту измѣну царя Эрманрихъ и предать жестокой казни жену его Сунильду ¹⁾).

Такимъ образомъ, Марквардтъ считаетъ доказаннымъ, что имя Ros или Нгѳъ, какъ занесъ его въ свою исторію сиріецъ въ половинѣ VI вѣка, держалось въ приазовскихъ странахъ въ теченіе вѣковъ. Тамъ жила память о подвигахъ и характерѣ Геруловъ отъ давней поры, а когда въ IX вѣкѣ появились въ тѣхъ мѣстахъ шведскіе викинги, то оно было приложено къ нимъ туземцами въ силу сходства нѣкоторыхъ чертъ и даже отдаленнаго родства Шведовъ съ древними Герулами. Новые пришельцы отличались также большимъ ростомъ, знали только чѣшій строй; подобно древнимъ Геруламъ погребали вмѣстѣ съ мужемъ жену (извѣстный рассказъ Ибнъ-Фодлана) и облагали данью покоренные народы. Марквардтъ готовъ предположить, что появленіе Шведскихъ выходцевъ на Черноморьи стоитъ въ отдаленной связи съ судьбами Геруловъ: вернушіеся въ Скандинавію въ 512 г. Герулы принесли туда вѣсти о тѣхъ далекихъ странахъ, гдѣ они обитали раньше пребыванія на среднемъ Дунаѣ. По свидѣтельству Прокопія, они поселились въ сосѣдствѣ съ Гаутами. Эти послѣдніе были въ ту пору могущественной державой и пускались въ морскія предпріятія. Въ концѣ VI вѣка Шведы сокрушили ихъ державу. Этимъ объясняется задержка въ морскихъ грабительскихъ предпріятіяхъ въ теченіе VII вѣка. А въ IX вѣкѣ Шведы начали свои походы на югъ въ мѣстности, о которыхъ сохранились темныя воспоминанія отъ временъ возвращенія Геруловъ.

Косвенное подтвержденіе правильности своей теоріи Марквардтъ старается найти въ свидѣтельствахъ арабскихъ источниковъ о набѣгахъ Норманновъ въ IX вѣкѣ. Таково сообщеніе Масуди (I, 368): „До трехстаго года (геджры) къ Испаніи присталь флотъ въ нѣсколько тысячъ человекъ и подвергъ разоренію ея берега. Жители Испаніи говорятъ, что этотъ народъ маги, которые являются

¹⁾ Попутно Марквардтъ останавливается на критикѣ и толкованіи сообщенія Вюрцбургскихъ и Кведлинбургскихъ анналь, переданнаго въ обоихъ источникахъ въ тожественной формѣ, насчетъ отсѣченія рукъ и ногъ Эрманриху. Ссылаясь на аналогичныя выраженія китайскихъ лѣтописей, онъ видитъ здѣсь образное обозначеніе измѣны союзниковъ, оставившихъ своего владыку безъ поддержки въ трудную пору военныхъ дѣйствій, когда онъ имѣлъ право на нихъ разсчитывать. Само собою разумѣется, что подобныя мудрованія не служатъ къ усиленію вѣроятности теоріи автора.

каждые 200 лѣтъ черезъ каналъ океана, но не тотъ, въ которомъ стоятъ мѣдные маяки (= столбы Геркулеса, Гибралтарскій проливъ). Я же думаю, — а Богъ знаетъ это лучше, — что этотъ каналъ находится въ соединеніи съ морями Меотидой и Понтомъ и что этотъ народъ Россы, о которыхъ я поминалъ раньше, потому что никакому другому народу въ такой степени не обычно плавать по морямъ, находящимся въ соединеніи съ океаномъ, какъ именно имъ". Масуди разумѣетъ норманнскій набѣгъ 844 года. У Якуби читаемъ: „На городъ Iſbilia (Севилья) напали маги, называемые Росъ въ 229 году; увели много плѣнныхъ, грабили и убивали". — Къ испанскимъ берегамъ подходили датскіе викинги. Въ 859 году они прошли черезъ гибралтарскій проливъ, ограбили острова Маіорку и Минорку, подходили къ берегамъ Испаніи, зимовали у береговъ Прованса. Якуби, писавшій въ Александріи зналъ о Россахъ, наводившихъ въ его время ужасъ на Византію и привелъ въ связь факты далеко отстоящихъ территорій. Но интересно, откуда взялъ Масуди свое сообщеніе о повторныхъ набѣгахъ „маговъ" черезъ 200 лѣтъ? За 200 лѣтъ до 844 года нѣтъ никакихъ извѣстій; но за 400 лѣтъ до того времени приходятся набѣги Геруловъ, о которыхъ сохранилось извѣстіе въ хроникѣ Идація.

Такова теорія Марквардта. Онъ полагаетъ, что имя Русь жило на побережьи Азовскаго моря еще въ IV вѣкѣ, сохранилось въ памяти туземнаго населенія и приложено было въ IX столѣтіи къ вновь появившимся въ тѣхъ предѣлахъ выходцамъ изъ далекихъ сѣверныхъ странъ. Врядъ ли, однако, суждено этой теоріи встрѣтить сочувствіе. Уже давно въ нашей ученой литературѣ были попытки использовать въ томъ же смыслѣ этническій терминъ еще болѣе древней даты — Роксоланы, помянутый уже у Страбона, т. е. въ началѣ I столѣтія. Нашъ маститый историкъ Иловайскій твердо держится мысли, что имя славянской Руси имѣетъ такую древность. Мы лично не можемъ раздѣлить этого воззрѣнія и думаемъ, что Роксоланъ можно сблизать только съ Аланами, народомъ иранской расы, остатки котораго живы въ Осетинахъ. Народъ Нгѣс, въ сѣдствѣ съ амазонками, является весьма сомнительнымъ въ своей реальной сущности, такъ какъ и самая транскрипція, принятая Марквардтомъ, не вполне надежна. Данная у такъ наз. Захарія

характеристика этого народа скорѣе относится къ образамъ фантази, нежели живымъ людямъ. Что касается до Геруловъ, то представленіе о томъ, что эту народность слѣдуетъ признать въ Евдусіанахъ, а не Готовъ, находится въ живомъ противорѣчii какъ съ свидѣтельствами Прокопія, нашего единственнаго источника относительно Готовъ - тетракситовъ, такъ и съ показаніемъ нашего „Слова о Полку Игоревѣ“, въ которомъ помянуты „готскія дѣвы“. Нельзя не отмѣтить и того, что Прокопій относитъ переселеніе Готовъ на восточный берегъ пролива ко времени возвращенія отдѣльныхъ ордъ Атиллы на востокъ послѣ крушенія его державы, т. е. нѣсколько лѣтъ спустя послѣ Каталаунской битвы. Переселеніе это состоялось въ силу договора, послѣ ожесточеннаго сопротивленія, которое Готы оказали Утургурамъ. Присутствіе Готовъ въ предѣлахъ Керченскаго полуострова во второй половинѣ IV вѣка подтверждено въ настоящее время археологическими находками, и рассказъ Прокопія не вызываетъ никакихъ сомнѣній относительно вѣроятности изложенныхъ имъ событій. Данныя Амміана Марцеллина и Иордана не представляютъ никакихъ основаній помѣщать Геруловъ на лѣвомъ берегу Дона, древняго Танаида. Эта рѣка составляла границу между Аланами и державой Эрманриха, и Аланы носили также имя Танантовъ отъ имени рѣки. Предположеніе Марквардта, что имя Русь или Нгѣс могло держаться въ народной памяти туземнаго населенія и затѣмъ быть приложено къ новымъ людямъ, которые по нѣкоторымъ признакамъ напомнили о томъ, каковы были древніе Герулы, является полною несообразностью и не въ состоянii ничего разяснить.

Такимъ образомъ, мы не думаемъ, чтобы Марквардту удалось помочь намъ разгадать тайну, облакающую происхожденіе нашего народнаго имени. Но интересъ и важность для насъ этого вопроса налагаетъ на насъ обязанность относиться съ вниманіемъ ко всякой попыткѣ проникнуть эту тайну, въ особенности когда за это берется человекъ большихъ знаній, равно владѣющій матерьяломъ классическимъ, западнымъ и восточнымъ.

Юліанъ Кулаковскій.

Баркулабовская лѣтопись.

Баркулабовская лѣтопись находится въ сборникѣ Синодальной Библиотекѣ подъ № 790. Форматъ его — небольшая четверка, всѣхъ листовъ 174. Почерка два: до 70-хъ листовъ довольно тщательный западно-русскій почеркъ половины или даже конца XVI в. Почеркъ остальной рукописи тоже западно-русскій, производитъ впечатлѣніе болѣе поздняго — до половины XVII в. Нумерація новѣйшая. Содержаніе сборника разнообразно: на ряду съ замѣтками лѣтописнаго характера въ ней находится много вставочныхъ статей различнаго содержания: описаніе Турецкой имперіи, коротенькая хроника о князьяхъ русскихъ, кончающаяся повѣстью рязанца Софронія, два извода Литовской лѣтописи и мн. др. статей.

Въ этомъ сборникѣ и находится т. н. Баркулабовская лѣтопись ¹⁾. Она начинается на 136 листѣ и продолжается до конца сборника. Къ ней мы прежде всего и обратимся. Лѣтописью немало пользовались историки, но характеръ ея и ея авторъ до сихъ поръ не выяснены. Она начинается весьма любопытнымъ описаніемъ Берестейскаго сейма 1544 г. (въ лѣтописи помѣченъ 1545 г.). Это описаніе сейма — наиболѣе подробное извѣстіе о той обстановкѣ, при которой собирались литовскіе сеймы.

¹⁾ Впервые лѣтопись напечатана Кулишемъ въ его „Матеріалахъ по исторіи Западной Руси“, затѣмъ напечатана болѣе исправно мною въ Киевскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ, а съ моего изданія перепечатана г. Романовымъ въ его сборникѣ матеріаловъ, вышедшемъ въ Могилевѣ на Днѣпрѣ.

Оказывается, что на западно-русские сеймы съѣзжались не только высшие вранды и посольства отъ шляхты, но и много постороннихъ лицъ—„вся шляхта“ и иностранныя посольства. Эта обстановка сейма соотвѣтствуетъ тому, что мы знаемъ о польскихъ сеймахъ того времени, по дневникамъ которыхъ видно, что даже въ избѣ присутствовало много посторонней публики.

Съ разказа о сеймѣ 1544 г. разсматриваемая лѣтопись все болѣе и болѣе суживаетъ районъ своихъ наблюдений, но за то извѣстия становятся подробнѣе. Такъ какъ лѣтопись написана въ мѣстности близъ Орши, то дальнѣйшій разказъ ея главнымъ образомъ и касается Могилева, Орши и сосѣднихъ волостей. На л. 137 об. встрѣчаемъ записъ народнаго преданія о происхожденіи города Могилева: мѣсто Могилевъ засѣли прихожіе люди изъ Вохчича, Сухочъ, Княжичъ, Головщины и др. сель и изъ Смоленска; Могилевъ „заробенъ“ на горѣ Могилѣ.

Отмѣчая это преданіе, пельзя не указать его живучесть въ народной средѣ: разные варьянты его можно и теперь услышать въ народѣ ¹⁾. Далѣе слѣдуютъ замѣтки объ основаніи Баркулабова, разказъ о нападеніи Москвы на Могилевъ въ 1580 г. и пораженіе ея Чарторыйскимъ, о приступѣ войска пана Гудовскаго подъ Смоленскъ въ 1579 г. и нѣк. др. (л. 138—140).

Изъ извѣстій болѣе или менѣе общаго характера слѣдуетъ отмѣтить весьма интересное описаніе Берестейскаго синода 1596 г. Оно ведется отъ перваго лица (л. 146 об.—151 об.). На листѣ 153 об. разказывается о нападеніи Наливайки на Могилевъ: онъ выжегъ здѣсь 560 домовъ и 400 лавокъ; битва Наливайки съ Литвою на Буйницкомъ полѣ описана весьма подробно. О казакахъ есть и еще кое-какія извѣстия: на л. 161 об. подъ 1600 г. разказывается о дѣйствіяхъ казаковъ въ Швеціи, тоже на л. 163 об., л. 166, на л. 167, о гетманѣ Иванѣ Кунцовичѣ. На л. 158—161 об. приведено любопытное письмо какого-то неизвѣстнаго о Сендомирскомъ рокошѣ 1607 г. съ приведеніемъ универсаловъ. На л. 143 любопытное извѣстіе о Варшавскомъ сеймѣ 1587 г.: на немъ было убито во время ссоры 700 человекъ. Любопытными подробностями о появленіи втораго самозванца оканчивается лѣтопись.

¹⁾ Безъ—Корниловичъ, Историч. свѣдѣнія о примѣчат. мѣстахъ въ Бѣлоруссіи. 1855. р. 152. Ср. Записки игумена Ореста. Археогр. Сборн., Вил., т. II.

И отмѣтили выше тѣ извѣстія лѣтописи, которыя имѣють болѣе или менѣе общій интересъ. Но самая важная особенность памятника—мелкія мѣстныя замѣтки. Это лѣтопись будничной сельской жизни тѣхъ мѣстностей, которыя окружали Баркулабово и Оршу. Если я не ошибаюсь, до сихъ поръ мы не знаемъ такого памятника, который-бы такъ подробно, съ такой любовью къ окружающему и съ такимъ литературнымъ талантомъ описывалъ на протяженіи полустолѣтія радость и горе обыкновенной сѣренькой жизни села, не говоря уже о томъ, что мы имѣемъ дѣло съ памятникомъ XVI в. Таково, напримѣръ, описаніе голодовокъ 1601--1603 годовъ. „Великіе болести, хоробы, также войны великіе, голодъ, неврожай сильный, было поветрее, албо моръ на людей переходжихъ, множество на низъ идучихъ,—около тысяць 4 з голоду мужей и жонъ, детей пошло так, иж страшно было видети, иж на улицахъ, по дорогахъ, по гумнахъ, у ровехъ пси мертвыхъ многихъ тела ели. Рокъ 1601. Тотъ былъ неуставичный, то ест почали жито на хлебъ жати голодные люди предъ Усѣкновениемъ главы светого Іоанна Предтечи, а в копы почали жито жати на светого Симеона Столпника—и то были зерня велми мелко. А дожали жито передъ Покровомъ за 2 недели, бо дождъ уставичне шелъ недель 12; яр почала высыпатися о светомъ Петре а по светыи Покрове за две недели почали яръ жати и то было зелено“.

Особенно замѣчательно по бытовому колориту описаніе холодной осени 1601 года, когда во время полевыхъ работъ выпалъ снѣгъ и сталъ Днѣпръ. „Страшно и жалосно было гледѣти, рассказываетъ авторъ: три—два человека на день ледво сноповъ 40 нажнут овса, або ярицы, бо велми къ земли припали; люди убогіе яръ на весне жали,—горевали, але вже толко для статку, а того много статками на весне сами господари свое сбоже травнили: маки, горохи, бобы, проса, репа,—то все згола погинуло. А которые молотили яръ,—зерна толко знакъ; а коли змесит, спечет, то у печи испечется, а з лопаты у печ незложити, с печи аж ополоникомъ выбереть. Также и жито было велми не умолотно. А коли муку житную у хлеба спекут, то тесто печеное солодко, а за скоринку хотя ложки клади, а в печи непечется“.

Въ результатѣ начался голодъ и масса населенія двинулась въ южное Поднѣпровье. Отъ скопленія голодныхъ людей, переходившихъ въ 1602 г. на низъ, получилась картина ужасная. Пере-

хожіе люди голодали, просили хлѣба: „А коли тот народъ у ворот, албо в дому у кого стоячи хлеба просили, отецъ з сыномъ, сынъ с отцемъ, матки з дочкою, дочки з маткою, брат з братомъ, сестра с сестрою, муж з женою,—тыми словы мовили, силне слезне, горко мовили так: „Матулько, зезюлько, утухно, панюшко, сподариня, слонце, місяць, звездухно, дай крошку хлеба. Тут же поле ворот будет стояти зраня до обѣда и до полудня. такто просячи, тамже другій под плотом и умрет“... „А коли варива просили, тые словы мовили: „Сподариня, церепелочко, зорухно, зернетко, солнушко! дай ложку дитятку варивця сырого“.

Указанное мѣсто настолько опредѣленно характеризуетъ отношеніе лѣтописца къ окружающей народной средѣ, что намъ незачѣмъ на немъ подробно останавливаться. Можно лишь подчеркнуть, что лѣтопись написана человѣкомъ, не только знающимъ народную среду, но и любящимъ народъ. Въ литературномъ отношеніи какъ это мѣсто, такъ и многія другія любопытны въ томъ отношеніи, что авторъ, не стѣсняясь формами и лексикономъ тогдашняго книжнаго языка, весьма удачно и смѣло обращается къ языку народному. Вслѣдствіе этого описанія его отличаются живостью, картинностью. И въ предложенномъ отрывкѣ можно найти массу отдѣльныхъ реченій и стилистическихъ оборотовъ, свойственныхъ живому бѣлорусскому нарѣчію.

Этотъ рассказъ очевидца имѣетъ еще и другой интересъ. Рассказъ наглядно рисуетъ намъ тѣ условія, при которыхъ заселялась южно-русская украинна. Достаточно было какого-нибудь народнаго несчастія, въ особенности голода, чтобы населеніе отдаленныхъ областей цѣлыми массами двинулось на югъ искать счастья. Но не всѣ тамъ осаживались: надежда на лучшія времена влекла часть выходцевъ на давно насиженные мѣста. Съ другой стороны, если цѣлыя тысячи крестьянъ могли свободно оставлять свои деревни и уходить на югъ, то очевидно, еще на переломѣ XVI и XVII в. было немало переходящаго крестьянства. Этотъ рассказъ свидѣтельствуесть, наконецъ, о сравнительной подвижности западно-русскаго крестьянства.

Можно извлечь изъ разбираемаго памятника еще одинъ рядъ извѣстій, которыхъ тщетно было-бы искать въ другихъ источникахъ. Авторъ сообщаетъ цѣлый рядъ извѣстій о цѣнахъ на хлѣбъ за 20 лѣтъ подрядъ съ отмѣтками объ урожаѣ. Для исторіи хлѣб-

ной торговли, для истории цѣны—это единственный по своей компактности материалъ. Я не опредѣлилъ еще могилевской мѣры, цѣны которой передаетъ лѣтопись, но само по себѣ колебаніе цѣны въ одной мѣстности уже представляетъ интересъ.

Ниже я привожу въ одной общей таблицѣ извлеченныя мною изъ лѣтописи данныя о хлѣбныхъ цѣнахъ съ отмѣтками объ урожаяхъ (табл. на слѣд. стр.).

Независимо отъ относительной цѣнности хлѣбныхъ продуктовъ, выше приведенная табличка наглядно показываетъ, какимъ случаямъ было подвержено сельское хозяйство, а вмѣстѣ съ нимъ и земледѣльческій классъ населенія. Въ теченіи какихъ-нибудь 20 лѣтъ цѣна на рожь, напр., подымается отъ 3½ гр. за четверть до 60 гр., т. е. въ 17½ разъ, цѣны на ячмень и пшеницу колеблются между 6 гр. и 70 гр. за ту же четверть и т. д.

Охарактеризовавъ лѣтопись, перейдемъ къ вопросу о ея авторѣ.

Вопросъ рѣшается довольно удовлетворительно. Среди лѣтописныхъ извѣстій обращаютъ на себя вниманіе тѣ, которые говорятъ о священникѣ Федорѣ Филипповичѣ. Онъ получилъ приходъ въ селѣ Вендорожѣ въ 1586 году какъ только здѣсь была сооружена церковь княземъ Богданомъ Соломерецкимъ. Федоръ Филипповичъ названъ при этомъ „могилевцемъ“, а отецъ его Алексѣй Гавриловичъ „мстиславцемъ“ (л. 138 об.); послѣднее, указываетъ на происхожденіе Филипповичей, а первое—на пребываніе Федора Филипповича въ Могилевѣ, можетъ быть уже въ санѣ священника, потому что новая церковь отдана „попу“ Федору. Повидимому, упоминаемый позже священникъ Георгіевской церкви Тимофей Алексѣевичъ (л. 153) можетъ быть братомъ Федора. Впослѣдствіе Федоръ вездѣ называется Баркулабовскимъ священникомъ; слѣдовательно изъ села Вендорожа онъ перешелъ въ Баркулабово, гдѣ былъ замокъ князей Соломерецкихъ.

Священникъ Федоръ Филипповичъ пользовался почетомъ: онъ съ благословенія владыки, посвящаетъ церкви въ имѣніяхъ Соломерецкихъ (л. 153, 143 об.); князь Богданъ Соломерецкій въ 1592 году посылалъ его на церковный соборъ въ Берестье (л. 143). Этотъ Баркулабовскій священникъ былъ духовникомъ князей Соломерецкихъ (л. 156).

Есть рядъ указаній, позволяющихъ видѣть въ священникѣ Федорѣ и автора лѣтописи. Въ самомъ дѣлѣ, авторъ лѣтописи находился

Годъ.	Жито.		Овесъ.		Ярица.		Пшеница.		Ячмень.		Речника.		Конопля, четверть.	Горохъ, четверть.	Ведро капусты.	Характеристика урожая въ лѣт-гописи.	
	Мѣра.	Чверть.	Мѣра.	Чверть.	Мѣра.	Чверть.	Мѣра.	Чверть.	Мѣра.	Чверть.	Мѣра.	Чверть.					
1884	14 гр.	3 1/2 гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хорошій урожай. Цѣны „таней“ обыкновеннаго года, урожайнаго года, урожайнаго года, особенно хорошаго года: воды много, умолотъ средний Голодный „На всеяъ добрый“, ур. очень хороша. Средняя, гододъ, цѣны лѣтня. Тоже.	
1892	20 гр.	5 гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1895	—	12 гр.	—	5 гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1898	108 гр.	1 тв. деръ.	16 гр.	4 гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1800 ¹⁾	40 гр.	15 гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1801	—	35 гр.	—	40 гр.	40 гр.	—	40 гр.	40 гр.	—	—	—	—	20 гр.	20 гр.	—		
1802	—	40 гр.	—	38 гр.	—	—	50 гр.	50 гр.	70 гр.	—	—	—	40 гр.	50 гр.	40 гр.		
	—	60 гр.	—	—	—	—	70 гр.	70 гр.	—	—	—	—	—	—	3 гр.		
1803 } 1804 }	60 гр.	—	60 гр.	—	30 гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Очень хороша.
1805	—	8 гр.	—	4 гр.	—	—	16 гр.	—	—	—	—	—	6 гр.	—	—		Порядочный.
1806	24 гр.	—	14 гр.	—	—	—	—	—	20 гр.	—	20 гр.	—	—	—	—		Хорошій годъ.
1807	—	8 гр.	—	5 гр.	—	—	6 гр.	—	—	—	—	—	—	—	—		Средній урожай.

¹⁾ Въ рукописи помѣщенъ 1899 г.,—очевидно, описка

въ столь близкихъ отношеніяхъ къ дому Соломерецкихъ, которымъ тогда принадлежало Баркулабово, въ какихъ можно себя представить придворнаго панскаго священника. Въ самомъ дѣлѣ, въ лѣтописи мы не только встрѣчаемъ извѣстія о крупныхъ событіяхъ, въ которыхъ принимали участіе Соломерецкіе, какъ разсказъ о военныхъ дѣйствіяхъ Богдана Соломерецкаго (л. 140), но и мелкія свѣдѣнія о чисто семейной жизни князя. На л. 144 об. отмѣченъ день рожденія сына у кн. Евдокии Соломерецкой. На томъ же листѣ замѣтка о покупкѣ кн. Богданомъ Соломерецкимъ у разныхъ владѣльцевъ селъ Буйничъ и Чайки и о помѣрѣ ихъ на волоки въ 1592 г. На л. 156 замѣтка о томъ, что кн. Исакій Соломерецкій, сынъ Богдана, началъ учиться русской грамотѣ, и нѣкот. др. Однимъ словомъ, лицо писавшее разсматриваемую лѣтопись, весьма близко стояло къ дому князей Соломерецкихъ.

Авторъ лѣтописи знаетъ время кончины членовъ дома Соломерецкихъ, вообще сообщаетъ рядъ подробностей объ ихъ семейной жизни. Но наиболѣе вѣскими показаніями служатъ два разсказа лѣтописи. Разсказъ о кончинѣ княгини Половиі Соломерецкой описанъ съ такими подробностями, какія только и могъ сообщить духовникъ, на рукахъ котораго скончалась княгиня (л. 153 об.). Разсказъ о крещеніи еврейки Стирки Баркулабовскимъ попомъ Федоромъ описанъ такъ, какъ могъ быть записанъ этотъ фактъ лицомъ, ведшимъ переговоры съ желавшей креститься и съ ея родителями. И такъ лицо, дѣйствовавшее во всѣхъ подобныхъ случаяхъ и является авторомъ лѣтописи.

И такъ въ авторствѣ священника Федора Филипповича сомнѣваться нельзя.

Теперь надо выяснитъ вопросъ о томъ, когда была написана лѣтопись. Последнія извѣстія въ ней относятся къ 1608 году, первая—къ 1544-му; но это последнее обстоятельство, запись о сеймѣ 1544 года, не имѣетъ значенія для вопроса о началѣ лѣтописи, такъ какъ разсказъ о сеймѣ и слѣдующія статьи о Баркулабовѣ и Могилевѣ носятъ вводный характеръ. Характеръ лѣтописи сочиненіе пріобрѣтаетъ съ 1570 года. Но замѣтки съ 1570 года по 1592 годъ имѣютъ рядъ особенностей сравнительно съ позднѣйшимъ разсказомъ. Эти первыя замѣтки—сухи, кратки, яркость и образность изложенія, столь присущія концу девяностыхъ и дальнѣйшимъ годамъ, въ нихъ отсутствуютъ. Авторъ путаетъ хронологическія даты:

смерть епископа Полоцкаго Варсофія отнесена къ 1570 году (л. 138 об.), а онъ умеръ въ 1576 году (Сапуновъ, Витебская Старица, т. V); авторъ по два раза записываетъ одно и то же извѣстіе (напримѣръ объ избраніи Сигизмунда III); говоря о болѣе раннихъ событіяхъ, по случаю вспоминаетъ послѣдовавшія гораздо позже, напримѣръ, объ уніи онъ уже упоминаетъ подъ 1588 годомъ (л. 143 об.), о введеніи новаго календаря встрѣчается случайное упоминаніе подъ 1576 годомъ (л. 138 об.). Среди записей 1592 г. вставлено описаніе Берестейскаго Собора 1596 года; но уже послѣ 1592 года записи идутъ въ строгой хронологической послѣдовательности.

И такъ составитель лѣтописи приступилъ къ своей работѣ послѣ 1592 года, но не позже 1595—1596 г.г., судя по характеру, послѣдовательности записей и живости описаній.

Этотъ фактъ имѣетъ важное значеніе въ связи съ вопросомъ о составленіи всего сборника. Въ сборникѣ есть еще два отдѣльных произведенія: въ самомъ началѣ сборника на листахъ 14 об.—16 об. помѣшено описаніе Берестейскаго собора 1594 года, на которомъ былъ преданъ анафемѣ Гедeonъ Балабанъ; въ срединѣ лѣтописи, среди записей 1592 года находится описаніе Берестейскаго собора 1596 года. Послѣднее описаніе извѣстно и въ отдѣльныхъ спискахъ, современныхъ эпохѣ (А. З. Р., томъ IV). Оба описанія составлены участникомъ соборовъ. Конечно анонимный составитель сборника могъ всѣ эти произведенія, лѣтопись и оба соборныя описанія, соединить въ своемъ сборникѣ. Но стиль обоихъ описаній Берестейскаго собора имѣетъ поразительное сходство со стилемъ лѣтописи. Кромѣ того самъ лѣтописецъ говоритъ, что онъ былъ посылаемъ княземъ Богданомъ Соломерецкимъ на соборъ 1590 года. Вполнѣ естественно, что тотъ же священникъ Федоръ Филипповичъ могъ быть и на соборѣ 1594 года. Князь Богданъ Соломерецкій, проявившій большое усердіе къ православію, начавши слѣдить за Берестейскими соборами съ 1590 года, могъ сохранить свой интересъ и къ соборамъ послѣдующихъ годовъ.

Но особенно характернымъ является одно мѣсто въ описаніи собора 1594 года. Послѣ произнесенія анафемы Балабану, рассказчикъ передаетъ, что митрополитъ Михаилъ Рагоза тутъ же въ соборѣ показывалъ присутствовавшимъ посланіе къ нему князя Соломерецкаго, присланное чрезъ спеціальнаго посланца: „тутъ же

сѣдячи отецъ Михайло митрополитъ показоваль листь, писанный отъ вельможного княжати Соломерецкого черезъ посланца его“. И такъ посланецъ князя Богдана былъ на соборѣ, но кто могъ интересоваться этой мелкой подробностью? Митрополитъ конечно получилъ на соборѣ не одно письмо. Эту подробность естественно могъ записать самъ посланецъ князя Соломерецкаго, для котораго эта подробность имѣла большой интересъ, и такимъ посланцомъ только и могъ быть довѣренный духовникъ князя священникъ Федоръ Филипповичъ.

И такъ, едва ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что Федоръ Филипповичъ былъ на соборѣ и составилъ его описаніе, занесенное въ сборникъ.

Гораздо меньше указаній на его же авторство соборнаго описанія 1596 года. Но и въ послѣднемъ есть характерное мѣсто. Когда оппозиція православія выяснилась, за авторомъ описанія („до мене“) присылаетъ панъ подскарбій и начинаетъ его склонять къ униі; тотъ отказывается. Тогда подскарбій ему сказалъ: „ваша милость не смеешь воеводы Смоленского.—И на то заплатилъ (говорить авторъ описанія), же не отъ его милости приехалъ, але самъ отъ себе“. Воеводой Смоленскимъ (номинальнымъ) былъ въ то время Янъ Адамовичъ (по Вольфу),—лицо мало извѣстное, но судя по имени полякъ. Такъ, авторъ соборнаго описанія 1596 года былъ изъ мѣстности, которая лежала въ Смоленскомъ воеводствѣ, что какъ разъ подходитъ къ староству Оршанскому, гдѣ былъ Баркулабовъ. Составитель описанія отвѣтилъ подскарбію, что онъ пріѣхалъ на соборъ „самъ отъ себе“. Такъ какъ король былъ явно на сторонѣ униі, то Федоръ Филипповичъ могъ изъ чисто дипломатическихъ соображеній не назвать своего патрона князя Богдана, пославшаго его на соборъ. Можетъ быть и въ семьѣ Соломерецкихъ произошло охлажденіе къ православію, что такъ часто тогда случалось въ семьяхъ вельможной аристократіи. На такое охлажденіе есть нѣкоторые намеки въ лѣтописи. Въ 1594 году умерла на рукахъ своего духовника княгиня Цолонея Соломерецкая, можетъ быть наиболѣе ревностно поддерживавшая въ семьѣ православіе. Въ 1597 году сынъ Соломерецкихъ, девятилѣтній князь Богданъ, началъ еще учиться грамотѣ славянской и греческой, но черезъ три года онъ уже отданъ былъ въ латинскую науку. Такимъ образомъ, можетъ быть дѣйствительно на этотъ разъ священникъ Федоръ уже самостоя-

тельно отправился на соборъ. Замѣтимъ еще, что въ спискахъ Эктезиса имени Федора Филипповича не находится; но это не служитъ объясненіемъ его отсутствія потому, что по заявленію автора Эктезиса сверхъ списка на соборѣ было еще болѣе 200 священниковъ. Замѣтимъ еще, что существованіе отдѣльныхъ списковъ соборнаго описанія 1596 года не можетъ служить опроверженіемъ мысли объ авторствѣ Филипповича.

Мы привели все то, что можно въ настоящее время сказать о предполагаемой принадлежности соборнаго описанія 1596 года Филипповичу. Но нельзя не признаться, что этотъ вопросъ еще является болѣе или менѣе спорнымъ.

Если теперь мы вспомнимъ время, съ какого Баркулабовская лѣтопись получаетъ характеръ послѣдовательной хроники, то поневолѣ напрашивается соображеніе: посѣщеніе соборовъ вызвало въ авторѣ желаніе записать событія, очевидцемъ которыхъ онъ былъ; оживленіе въ церковной жизни всей Западной Руси вызвало и въ священникѣ глухой провинціи стремленіе къ литературной дѣятельности, желаніе сохранить для потомства дѣла, очевидцемъ которыхъ онъ былъ.

Но возвращаясь съ соборовъ, авторъ попадалъ въ глухую провинцію съ ея мелкою повседневною жизнью. Кругозоръ его былъ сильно суженъ и онъ главное свое вниманіе посвящаетъ мѣстной жизни, внося однако все, что доходило до него по слухамъ изъ обще-литовскихъ и московскихъ событій.

Выяснивъ личность автора и соборныхъ описаній, можно добавить нѣсколько словъ для характеристики его міросозерцанія.

Напомнимъ, что онъ весьма интересуется событіями московской жизни,—пытается даже объединить эти событія. Въ этомъ фактѣ нельзя не видѣть симпатій автора къ Москвѣ. Далѣе, Ф. Филипповичъ—усердный дѣятель на поприщѣ православія. Въ имѣніяхъ князей Соломерецкихъ воздвигнуто нѣсколько церквей и монастырь. При закладкѣ ихъ присутствуетъ Филипповичъ, очевидно благословляетъ закладку; онъ же освящаетъ церкви. Очень можетъ быть, что эта церковно-строительная дѣятельность князей Соломерецкихъ совершается надъ вліяніемъ ихъ духовника и навѣрное при его содѣйствіи.

Авторъ лѣтописи—вообще крѣпкій православный. Онъ нѣсколько разъ и весьма враждебно говоритъ о введеніи новаго ка-

лендаря. Его отношеніе къ католицизму и къ униі, поскольку оно выразилось въ его соборныхъ описаніяхъ, также характеризуетъ эту сторону міровоззрѣнія автора. Но Филипповичъ—не теологъ: онъ не касается богословскихъ вопросовъ, видимо для него не вполне ясныхъ. Мало того, провинціализмъ его сказывается даже въ непониманіи нѣкоторыхъ сторонъ тогдашняго религіознаго движенія. Для него неясна идея церковнаго братства („якоесь“ братство основано въ Вильнѣ), его приводятъ въ недоумѣніе братскіе крестные ходы: въ этомъ виденъ чловѣкъ, наблюдающій жизнь въ глухой провинціи, далекой отъ городскихъ интересовъ.

Вотъ все, что можно сказать о лѣтописи и ея составителѣ.

Въ заключеніи, я считаю умѣстнымъ сказать нѣсколько словъ о томъ, какое мѣсто въ ряду историко-литературныхъ источниковъ занимаетъ нашъ памятникъ.

Въ настоящее время изслѣдователи дѣлятъ лѣтописаніе въ западно-русскихъ областяхъ на три большіе періода: древнѣйшій періодъ, оканчивающійся Волинскою лѣтописью, второй, который называется періодомъ собственно литовско-русскихъ лѣтописей (изводы лѣтописи великихъ князей литовскихъ и т. наз. Быховца) и, наконецъ, третій—лѣтописи малорусскія и казацкія, заканчивающіяся въ XVIII в. (Шараневичъ).

Такое дѣленіе требуетъ, думается мнѣ, поправки. Тѣ, кто его принимаетъ, упускаютъ изъ виду лѣтописаніе Сѣверо-Западнаго края, т. е. собственно бѣлорусское. Правда, бѣлорусскія или западно-русскія лѣтописи до послѣдняго времени намъ почти неизвѣстны. Но къ нимъ слѣдуетъ отнести сравнительно недавно появившуюся въ печати, въ изданіяхъ г.г. Антоновича и Сапунова, Витебскую лѣтопись Аверки, т. наз. лѣтопись Трубницкаго, хранящуюся въ И. Публичной Библіотекѣ, кое-какія свѣдѣнія о которой проникали уже раньше въ печати; съ теченіемъ времени найдутся, конечно, и другія изводы западно-русскихъ лѣтописей. Къ только что названному разряду лѣтописей слѣдуетъ отнести и разсмотрѣнную нами лѣтопись Ѳедора Филипповича.

Западно-русскія лѣтописи, подобно малорусскимъ, лѣтописи — мѣстныя: какъ въ Витебской лѣтописи, такъ и въ изводахъ могилевскихъ преобладаютъ мѣстныя извѣстія и изъ общегосударственныхъ сообщается весьма немногое. Но есть и весьма любопытная особенность западно-русскихъ лѣтописей—лѣтописаніе въ Бѣло-

руссиі продолжалось дольше, чѣмъ въ Малороссіи: тогда какъ въ послѣдней лѣтописаніе прекратилось въ XVIII в., въ Бѣлоруссиі оно продолжалось до половины XIX столѣтія; такъ лѣтопись Трубницкаго прерывается на 1856 г. и есть запись даже 1864 года.

Выше была указана связь разсмотрѣнной лѣтописи Филипповича съ ея западно-русскими собратьями. Но если между послѣднимъ памятникомъ и лѣтописями Трубницкаго и Аверки существуетъ генетическая связь, то со стороны богатства содержанія, изложенія и древности наша лѣтопись представляетъ громадныя преимущества и заслуживаетъ самаго внимательнаго отношенія со стороны науки.

М. Довнаръ-Запольскій.



„Горькая судьбина“ Писемскаго и ея литературный прототипъ.

Писемскій оставилъ послѣ себя довольно внушительное наследіе, и замѣтно выдается въ послѣднемъ драма *Горькая судьбина* ¹⁾. При своемъ появленіи въ свѣтъ она обратила на себя всеобщее вниманіе, была увѣнчана Уваровскою преміею, что для литературнаго произведенія является исключительнымъ отличіемъ, дол-

¹⁾ Впервые напеч. въ *Библиотекѣ для чтенія* 1859 г. № 11, отд. изд. 1860 г. Ссылки дѣлаются по изд. 1895 г. въ полн. собраніи сочиненій Писемскаго.

См. о ней спеціальныя статьи и замѣтки: въ *Отеч. Запискахъ* 1860 г. № 1 (Дудышкина, „Русская литература“, стр. 41—57); въ *Русскомъ Словѣ* 1860 г. № 2 (Михайлова, „Критика“, стр. 1—9) и № 11 (гр. Кушелева-Безбоудко, „Русская литература“, стр. 1—11); въ *Отчетъ о четвертомъ присужденіи наградъ гр. Уварова*, 1860 г. (А. С. Хомякова и Н. Д. Ахшарумова, стр. 50—64); въ *Отеч. Запискахъ* 1863 г., № 11—12 (безъ подписи, „Театральная хроника“, стр. 77—80); въ *Русской старинѣ* 1889 г., № 11 (Миловидова, „Двѣ чухломскихъ драмы, основа *Горькой судьбины*“, стр. 335—360); въ *Костр. Старинѣ* 1890, I (Миловидова, „Два дѣла, служившія Писемскому основнымъ мотивомъ къ созданію бытовой драмы: *Горькая судьбина*“, стр. 1—114; указаніемъ обязанъ проф. В. С. Иконникову); въ *Книгѣ отраженій* Анненскаго, стр. 77—111. 1906 г. Библиографія къ полному собранію сочиненій 1895 г. (I, стр. XI) наз. также: *Р. Бесѣды* 1860, № 1; *Современность* 1860 г., № 1 (ст. Басистова); *С.-П. Вѣдомости* 1860, №№ 65, 67, 69 (А. Майкова) и *Московский Вѣстникъ* 1860 г., № 119 (Н. Некрасова); но я не имѣлъ возможности провѣрить эти ссылки.

Въ общихъ характеристикахъ Писемскаго: О. Миллера („Р. писатели“, II, 77—86); Анненкова, „Писемскій, какъ художникъ и простой человѣкъ“ (см. В. Евр 1882 г., № 4 и I-ый т. собранія сочиненій Писемскаго, 1895 г.); Полевого въ „Исторіи р. литературы“, 494—5; III, 1900; Венгерова, „А. Ф. Писемскій“, 1884 г., стр. 128—130; Кирпичникова, „Достоевскій и Писемскій“ (Очерки, 1903 г., 356—358); Скабичевскаго, „А. Ф. Писемскій“ (біогр. библ. Павленкова), стр. 67—69; Ив. Иванова, „А. Ф. Писемскій“, стр. 145—153.

гое время была украшеніемъ русской сцены и еще до настоящаго времени не сходить съ репертуара. Она, по признаніи критиковъ, весьма характерна для творчества Писемскаго и составляетъ эпоху въ развитіи русскаго литературнаго народничества. Это—плодъ непосредственнаго, реального отраженія русской дѣйствительности, и, по словамъ Анненкова, „основа ея не была выдумана художникомъ. Писемскій встрѣтился съ подобнымъ происшествіемъ въ 1848 году, будучи еще чиновникомъ особыхъ порученій при костромскомъ губернаторѣ. Онъ имѣлъ въ рукахъ подлинное дѣло точно такого же содержанія и въ качествѣ слѣдователя, командированнаго губернаторомъ, принималъ участіе въ его разборѣ самъ“²⁾.

Обстоятельства дѣла въ настоящее время извѣстны и заключаются въ слѣдующемъ³⁾. Дворовый челоѣкъ, Владиміръ Михайловъ, женился на дворовой же, Елизаветѣ Алексѣевой, вдовѣ, и уже съ первыхъ дней брака между ними начались нелады. Черезъ годъ послѣ свадьбы Михайловъ былъ уволенъ по билету помещикомъ для промысла; когда онъ вернулся домой, у жены его оказался ребенокъ, котораго онъ не считалъ своимъ. На этой почвѣ и разразилась катастрофа. Однажды, вечеромъ, Елизаветѣ было приказано позвать къ барину старосту, который тогда спалъ на сушильѣ; Елизавета исполнила приказаніе и возвращалась въ свою избу, но была остановлена вопросомъ барина, разбудила ли она старосту. Не дослышавъ вопроса, она направилась къ крыльцу барскаго дома. Между тѣмъ, мужъ Елизаветы, увидѣвъ, что она идетъ изъ сушила въ господскій домъ, спросилъ ее, откуда и куда она идетъ. Елизавета отвѣчала: что тебѣ за дѣло, куда я пошла? Не послушалась она и требованія вернуться домой. Зная, что на сушильѣ былъ староста, и подозрѣвая свою жену въ связи съ нимъ, Михайловъ взялъ изъ зыбки соннаго ребенка и бросилъ объ полъ такъ, что разбилъ ему головку, отчего тотъ и умеръ. Барину и на допросѣ Михайловъ показалъ, что рѣшился убить дитя и намѣревался то же сдѣлать съ женой—за дурную съ нимъ жизнь послѣдней, такъ какъ она въ продолженіе супружества выказывала ему грубости и непокорность; онъ также подозрѣвалъ ее въ распутной жизни, потому что по по-

¹⁾ Сочиненія Писемскаго, 1895 г., I, стр. ССІ.

²⁾ См. названную ст. Миловидова въ Р. Старинѣ

чамъ она часто уходила отъ него неизвѣстно куда. Жена отрицала справедливость этого обвиненія.

Сравнимъ содержаніе *Горькой судьбины*. Лизавета, молодая крестьянка-крѣпостная, и ея помѣщикъ Чегловъ полюбили другъ друга, пока мужъ первой находился въ отсутствіи; плодомъ этой любви явился ребенокъ. Мужъ возвращается, грѣхъ жены его обнаруженъ. Мужъ сурово укоряетъ виновную, грозитъ ей, если продолжатся ея прежнія отношенія къ помѣщику, и собирается увезти ее изъ деревни. Жена лишь начинаетъ испытывать страхъ да озлобляется и проситъ защиты у помѣщика. Тотъ съ бурмистромъ стараются поцѣйствовать на мужа, но послѣдняго не останавливаютъ ни посулы, ни угрозы. Онъ не склоненъ быть молчаливымъ свидѣтелемъ своего позора; нѣтъ ему дѣла и до чувствъ жены: насильно она шла за него замужъ, насильемъ и теперь онъ думаетъ заставить ее быть вѣрной своему долгу; когда ничто не дѣйствуетъ и Лизавету отбираютъ на барскій дворъ, онъ въ изступленіи убиваетъ ея ребенка отъ барина („вся головка раскроена“). Слѣдуютъ дознаніе, допросъ убійцы, который скрылся было, но затѣмъ самъ себя выдалъ, и отправленіе его въ тюрьму.

На пьесѣ такимъ образомъ лежитъ замѣтный уголовный отпечатокъ, и какъ этотъ вообще отпечатокъ, такъ и самое убійство ребенка, пострадавшаго за грѣхи родителей, явились, очевидно, результатомъ непосредственнаго вліянія дѣла. Удержаны даже нѣкоторыя имена: таково имя героини—Елизавета; такова и фамилія зятя Чеглова, Золотиловъ, совпадающая съ фамиліей помѣщицы, крестьяне которой записаны понятыми при освидѣтельствovanіи убитаго Михайловымъ ребенка.

Но хотя въ обоихъ случаяхъ дѣйствіе приурочено къ одному и тому же преступленію и мотивы къ совершенію послѣдняго одинаковы—оскорбленная честь мужа, ревность, жажда мести, однако, въ условіяхъ, при которыхъ разыгрывается все это, уже сказывается существенная разница ⁴⁾. Дѣло рисуетъ намъ семейную драму, не выходящую за предѣлы узко-крестьянскихъ отношеній; разладъ въ семьѣ Михайловыхъ обусловленъ исключительно ихъ личными несогласіями: излишней самостоятельностью и, пожалуй, легкомы-

⁴⁾ Это отмѣтилъ и г. Миловидовъ, цит. соч., стр. 336.

сліемъ жены, привыкшей къ свободѣ за время вдовства, да ревностью мужа; помѣщикъ здѣсь совершенно въ сторонѣ. Въ пьесѣ, наоборотъ, онъ увлекаетъ героиню, чистую, не испорченную женщину, отдавшуюся ему въ силу беззавѣтной любви и въ конецъ измученную своимъ ложнымъ положеніемъ. Миловидовъ предполагаетъ здѣсь вліяніе другого дѣла, относящагося къ 1857 году и связаннаго съ тою же мѣстностью, съ тѣмъ же помѣщикомъ. Но, во-первыхъ, надо точно установить, зналъ ли Писемскій это дѣло, и, во-вторыхъ, въ немъ очень мало сходства съ *Горькой судьбиной*. Помѣщикъ, вообще несдержанный въ своихъ отношеніяхъ къ крестьянкамъ, побоями и насильемъ „принудилъ къ любовному дѣлу“ жену своего дворового Г—ва и ея сестру. Когда Г—въ явился съ претензіей, баринъ его побилъ и велѣлъ высѣчь, но тотъ вырвался, добылъ ножъ и ранилъ барина. Этотъ Г—въ, по мнѣнію Миловидова, напоминаетъ мужа Лизаветы, Анапія. Обои мы по 36 лѣтъ; оба крутого, непокорнаго нрава, неуважительны: Г—въ живалъ въ Петербургѣ, сначала на ученьи, потомъ по билету, подобно Анапію. Совершивъ преступленіе, Г—въ скрылся въ Петербургѣ; когда скрылся Анапій, о немъ тоже говорятъ: „навѣрняка надо полагать, что въ Питеръ махнулъ“ (92). Отсюда же взялъ Писемскій „любовную связь Елизаветы *Горькой судьбины* съ помѣщикомъ, вынужденную, по ея признанію мужу своему Анапію, повелѣніями, приказаніями, запугиваніями и застращиваніями помѣщика“⁵⁾. Не будемъ оспаривать сходства Г—ва съ Анапіемъ; но на „признаніе“ Лизаветы полагаться никакъ нельзя: оно рѣшительно противорѣчитъ всѣмъ остальнымъ мѣстамъ пьесы, гдѣ говорится объ отношеніяхъ ея къ помѣщику, противорѣчитъ самымъ характеристамъ Чеглова, человѣка мягкаго, не грубаго, и Лизаветы, которую едва ли можно было сломить, а тѣмъ болѣе привлечь, угрозами, насильемъ; ея „признаніе“—только попытка увернуться отъ укоровъ да застращиваній мужа. Лизавета горячо, искренно любила своего барина и отдалась ему любя⁶⁾; ничего похожаго на такую любовь нѣтъ въ дѣлѣ 1857 г. Да и чувства Чеглова къ Лиза-

⁵⁾ Цит. соч., стр. 355.

⁶⁾ Ср., напримѣръ, слѣдующія слова Лизаветы Чеглову: „Хоша бы и на худое тогда шла, всамотко не изъ-подъ страху какого; развѣ вы у насъ такой“ (63 стр.).

ветѣ уже далеки отъ того грубаго удовлетворенія чисто животной страсти, на почвѣ котораго создалось это дѣло.

Такъ или иначе, но самъ Миловидовъ призналъ, что дѣла 1847 и 1857 г.г. не покрываютъ всего содержанія *Горькой судьбины* (336).

Тѣмъ любопытнѣе близкое сходство ея съ одной повѣстью Крашевскаго, которая какъ бы восполняетъ то, чего не находимъ въ обоихъ названныхъ дѣлахъ; имѣемъ въ виду *Ulanę, powieść poleską*, написанную въ 1842 г. и напечатанную въ началѣ слѣдующаго года ⁷⁾. „Tła i treści dostarczyły do nięj lata pobytu na Polesiu, dzierżawy w Omelnem i częstych podróży w głąb' tego kątku kraju“... Героемъ было дѣйствительное лицо, „którego historyę opowiadano mi głuchą nosą na noclegu wśród lasów poleskich... Odbiło się téż ono w paówczas pisanых opowiadaniach nie raz jeden i nie w jednéj *Ulanie*“ ⁸⁾.

Содержаніе ея таково: приглянулась пану его крестьяпка Ульяна, съ которой онъ случайно встрѣтился по дорогѣ; ея мужа, стараго, нелюбимаго, онъ посылаетъ въ дальнюю поѣздку, и во время его отсутствія происходитъ сближеніе пана и Ульяны. Вернувшись мужъ узналъ о случившемся, прибилъ Ульяну, но тѣмъ лишь озлобилъ ее противъ себя, такъ что она ужъ открыто, вызывающе говоритъ ему о своей близости къ пану. Получивъ приказаніе вновь немедленно готовиться въ далекую дорогу, онъ, несмотря на совѣты подчиниться своей участи, покушается отомстить пану и женѣ, сжечь ихъ въ домѣ; покушеніе не удается, поджигатель схваченъ, отданъ подъ судъ и кончаетъ жизнь самоубійствомъ въ тюрьмѣ. Не много радости видѣла и Ульяна: панъ затосковалъ съ ней; поддавшись убѣжденіямъ друга, онъ на время уѣхалъ изъ усадьбы, оставивъ въ ней Ульяну, и... возвратился женатымъ; бѣдная Ульяна, повѣсилась.

Предъ нами, слѣдовательно, тоже деревенская драма на почвѣ помѣщичьяго увлеченія замуженной крѣпостной крестьянкой. Какъ

⁷⁾ I. I. Kraszewski. Wybor pism. Oddział I. Powieści sielskie, poprzedzone wstępem krytycznym Kazimierza Kaszewskiego. Warszawa, 1884.

⁸⁾ Слова Крашевскаго. Цит. соч. 1 стр. Ср. Н. Дашкевича „Отзывъ о сочиненіи г. Петрова“: „Очерки исторіи Украинской литературы XIX ст.“, прим. 3-ье къ стр. 173.

у Крашевскаго, такъ и у Писемскаго, сначала это увлеченіе со стороны помѣщика носить характеръ обычной для того времени барской забавы, но постепенно вырастаетъ въ серьезную, болѣе глубокую связь, осложненную сознаниемъ тѣхъ страданій и жертвъ, какія выпали на долю любимой и любящей женщины. Отсюда даже нѣкоторая аффектація чувства, объясняемая, впрочемъ, отчасти и характеромъ героевъ: „Nic nas rozegwał nie może“, восклицаетъ Тадеушъ: „związały nas izar, cierpienie, śmierć, ogień, ofiary wspólne“ (63)!—Ср. слова Чеглова: „Ничего ты съ ней не сдѣлаешь. Только перешагнувъ черезъ мой трупъ, ты развѣ можешь что-нибудь сдѣлать... Лучше что хотите надо мной дѣлайте, чѣмъ надъ нею... Она дороже мнѣ жизни моей, такъ вы и знайте, такъ и знайте“ (70)!

Относясь такъ къ предметамъ своего увлеченія, стремясь оградить ихъ отъ преслѣдованій со стороны мужей, они тѣмъ не менѣе не могутъ заглушить и сознанія вины своей предъ послѣдними. Смерть мужа Ульяны легла тяжкимъ бременемъ на душу Тадеуша, считавшаго себя виновникомъ ея; Чегловъ готовъ стать на барьеръ съ мужемъ Лизаветы, и если тотъ убьетъ его, „будетъ правъ, какъ мужъ“ (70). Борьба всѣхъ этихъ разнородныхъ чувствъ даже отражается на здоровьѣ нашихъ героевъ: Тадеушъ послѣ покушенія мужа Ульяны заболѣлъ горячкою и долго не могъ оправиться. „Z zajęciem i litością spoglądał August na przyjaciela; zaledwie go mógł poznać, tak się odmienił. Twarz wybladła, powieki zmarszczone obwisły nad oczyma, czoło się zmarszczyło, usta zacięły, smutek królował na zestarzałym i wywiędłym przed czasem obliczu“ (62).—Чегловъ послѣ катастрофы въ семьѣ Лизаветы „оченно нездоровы! Горячка, сказываютъ... какъ тогда встревожились... слегли... все хуже и хуже... не знаемъ и живъ останется ли“ (93).

Оба героя одинаково дѣлаются предметами пересудовъ и особеннаго вниманія въ обществѣ, такъ что даже вызываютъ заботу о томъ, чтобъ ихъ „образумить“ (58), спасти ⁹⁾. Съ этою цѣлью къ Чеглову является его зять Золотиловъ, къ Тадеушу—школьный другъ Августъ. И Золотиловъ, и Августъ—представители т. н. трезвыхъ взглядовъ на жизнь; для нихъ прежде всего совершенно непонятно, какъ можно наполнить всю жизнь любовью къ крестьянкѣ

⁹⁾ „Горькая судьбина“, II д., 1 явл.; „Ułana“, 63 стр.

и заботами о ней. Правда-ли, спрашивает Тадеуша Августъ: „żeś się tam zakochał, czy nie wiem, jak nazwać, w jakiejś chłopcze, że cię mąż spalił, że potem“... Узнавъ, что все это правда, онъ смѣется: „No, no, dajże pokój! Przyznam ci się, że nie pojmuję takiej miłości. Jest to jakiś szal. Chwila—jeszcze, ale tak długo“... „Do licha!“ восклицаетъ онъ дальше: „ze wszystkiém oszalał. Przez miłosierdzie! trzeba na to radzić, bo przypadnie człowiek!... Trzeba ciebie ratować“ (62—63)... Волнуетъ и возмущаетъ Августа, какъ и все окрестное общество, не сама по себѣ связь Тадеуша съ Ульяной (она, напримеръ, не помѣшала Тадеушу найти себѣ жену барышню); ужаснымъ, скандальнымъ кажется лишь тотъ характеръ и тѣ размѣры, какіе приняла эта связь: нану такъ безумно влюбиться въ простую крестьянку, посвятить ей всю жизнь! „Tadeuszu, tyś oszalał!“ говоритъ Августъ: Cóż myślisz zestarzyć się, zardzewieć, zeschnąć przed czasem u nóg twój wiejskiej Omfali ¹⁰⁾?.. Ale w końcu ty się zabijesz, zameczysz, ty nie wytrzymasz, ciebie jednostajnością struje to życie bez żadnych rozrywek, bez wypadków, bez środków ożywiających. Póki z nią będziesz, musisz się od całego świata oderwać, bo nasz nielitościwy świat nie przyjmie cię nigdy. Jesteś pod banicją i infamią“ (63).— „Собственно говоря“, увѣщаетъ и Золотиловъ: „Господи, Боже мой, ни я, ни сестра твоя ни слова не говоримъ про твою связь: имѣй ихъ хоть двадцать, но только смотри на это иначе“ (60)... „Какъ ты хочешь, другъ любезнѣйшій, а я никакъ не могу уложить въ своей головѣ, чтобы изъ-за какой-нибудь крестьянки можно было такъ тревожиться“ (56). „На каждомъ шагу вижу“, продолжаетъ онъ: „что какъ только дворянинъ приблизилъ къ себѣ подобную госпожу, изъ этого сейчасъ же все является: и пьянство, и домо-сѣдство, и одичалость“ (60). Въ чемъ Тадеушъ и Чегловъ видятъ обязательство предъ героинями, то для Августа и Золотилова—głupstwo (63), пустяки, надъ которыми и задумываться не приходится.

Любопытна при этомъ маленькая внѣшняя подробность: какъ у Крашевскаго, такъ и у Писемскаго непосредственно вслѣдъ за приведенными увѣщаніями появляется самая героиня—п недавніе

¹⁰⁾ Ср. слова Золотилова Чеглову: „Что жъ ты можешь .. дѣлать? Заниматься только любовью къ прекрасной поселянкѣ“ (58)?

ея хулители не могут не воздать ей должного. Августъ stanął na progu i wlepił w nią oczy ciekawe, zdziwione, aż zapłonila się pod niemi Ulana... „W istocie piękna“, rzekł August: „ależ tyle po świecie piękniejszych“ (64)! И Золотиловъ замѣчаетъ: „Elle est très jolie, vraiment“ (65)...

Заодно отмѣчу и другую такую же подробность, а именно, что развитіе начальныхъ моментовъ сближенія Тадеуша съ Ульяной и Чеглова съ Лизаветой стоитъ въ связи съ приходомъ Тадеуша въ хату Ульяны и Чеглова въ избу Лизаветы, отчасти даже какъ бы обусловлено имъ ¹¹⁾.

Не мало сходства также въ общей обрисовкѣ Тадеуша и Чеглова. Оба молоды, образованы, но образованіе не пошло имъ впрокъ. Все, что дало оно Тадеушу, претворялось въ послѣднемъ такъ, что сдѣлало изъ него лишь большого чудака, удивлявшаго всѣхъ (6). Онъ замыкается въ себя, чуждается всѣхъ (6—7). Въ своемъ увлеченіи Ульяной онъ видитъ нѣчто особенное, мечтаетъ осуществить съ ней какую-то небывалую идиллію, поражаетъ Августа громкими фразами о великой душѣ Ульяны, о той жертвѣ, какую она принесла для него, и о тѣхъ правахъ, какія поэтому принадлежать ей, но добивается ея любви съ настойчивостью властнаго помѣщика, не прочь прибѣгнуть даже къ насилію ¹²⁾, по-помѣщицки устраняетъ препятствіе въ лицѣ мужа Ульяны и... вскорѣ безмятежно наслаждается счастьемъ съ женою-шляхтянкою, покинувъ свою прежнюю забаву. Чегловъ брезгливо сторонится окружающей его помѣщицкѣй среды (59), взгляды своего зятя на крестьянъ и тонъ его клеветить именемъ Тараса Скотинина (58), а самъ открыто, на народѣ, беззащитно преслѣдуетъ своимъ вниманіемъ замужнюю женщину (40). „Тутъ, видитъ Богъ, не только что тѣни какого-нибудь насилія... но даже простой хитрости не было употреблено, а было дѣломъ одной только любви“ (69), хотя, повидимому, не обошлось безъ содѣйствія бурмистра (40). „Онъ и не замѣчаетъ при этомъ, что при всѣхъ своихъ гуманностяхъ онъ остается все тѣмъ же крѣпостникомъ-насильникомъ, и его „свободная любовь“ является „свободной любовью“ волка къ овечкѣ“ ¹³⁾. Когда пришлось считаться съ му-

¹¹⁾ „Улана“, 13—15; „Горькая судьбина“, 40.

¹²⁾ Стр. 20.

¹³⁾ Скабичевскій, цит. соч. 68.

жемъ Лизаветы, Чегловъ ничего не придумалъ, кромѣ донкихотскаго предложенія ему дуэли, и кончилъ тѣмъ, что послалъ бурмистра съ людьми отобрать Лизавету на барскій дворъ, выдавъ ее на публичное попошеніе и путивъ въ ходъ по отношенію къ сопернику, котораго только что благородно вызывалъ на дуэль, испытанное въ крѣпостномъ быту средство. Изъ книгъ, такимъ образомъ, оба вынесли лишь бѣольшую утонченность приемовъ да нѣкоторую аффектацію, которая одинаково чувствуется у обоихъ.

Слѣдуетъ оговориться, однако, что здѣсь извѣстную роль играютъ также недостатокъ воли, энергіи, отчасти простой распорядительности.

Равнымъ образомъ оба они по природѣ не злы, даже мягки, добры, отзывчивы; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ слишкомъ вѣжливы традиции крѣпостничества, и съ этой стороны они тоже жертвы крѣпостничества, какъ и остальные участники драмы.

Недолговѣчной оказалась и самая любовь ихъ. Вскорѣ Тадеушъ „kochał jeszcze, ale miłość jego nasyciona, zaczerniona troskami, trwała, podpierana tylko litością, poruchana pałogiem“ (60); недаромъ въ разговорѣ съ Августомъ онъ больше распространяется о любви Уляны, чѣмъ о своей собственной. Ср. слова Чеглова зятю: „Что жъ ты мнѣ все этой любовью колешь глаза? Какое бы ни было въ началѣ мое увлеченіе, но во всякомъ случаѣ я привыкъ къ ней; наконецъ, я честный человѣкъ: мнѣ, Богъ знаетъ, какъ ея жаль, видя, что обстоятельства располагаются самымъ страшнымъ, самымъ ужаснымъ образомъ“ (57).

Каковы же героини? Онѣ, конечно, выдѣляются своею наружностью: иначе вѣдь и быть не могло. Но и типъ красоты у обѣихъ одинаковъ. Прежде всего, ихъ красота относительна. „W istocie piękna“ замѣчаетъ по поводу Уляны Августъ: „ależ tyle po świecie piękniejszych“ (64). J cóż jest takiego w tej kobiecie?“ спрашивалъ себя Тадеушъ: „piękna? ależ tyle widziałem pięknych, a żadna mnie nie zajęła. Bo... zresztą jest to dzikie dziecię Polesia, bez myśli, bez mowy“. A jednak gdy to mówił i przypominał sobie wzrok Ulany, czuł, że jej wejrzenie zastąpić mogło i mowę i myśli“ (25)... Такова и Лизавета, къ которой такъ же, какъ къ Улянѣ, примѣнимо опредѣленіе Тадеуша: „jest to zaniębany piękny kwiat wśród chwastów.

kwiat, który od wielu naszych oranżeryjnych byłby piękniejszy, gdyby tylko na grządce ogrodu zeszedł był, a nie w lesie“ (11).

Слишкомъ пѣжныя, не приспособленныя для той суровой крестьянской обстановки, гдѣ по капризу судьбы пришлось имъ жить, онѣ томятся и смутно рвутся къ чему-то иному. Во всей наружности Ульяны, по прекрасному опредѣленію Кашевскаго, сквозила печаль, видимое недовольство жизнью. Что-то, знать, пало на сердце Ульяны, что нарушило гармонию между ея мечтами и дѣйствительнымъ положеніемъ. Она была женою деревенскаго гончара, имѣла нѣсколькихъ дѣтей, чтла свои обязанности и молилась Пресвятой Дѣвѣ, чтобъ избавила ее отъ людскихъ ухаживаній, пераздѣльныхъ съ каждымъ личикомъ посвѣжѣе. Но невесело то счастье, которое заключается только въ вынужденномъ исполненіи обязанностей. Ульяна служила нѣкоторое время при господскомъ домѣ. Нѣсколько лучей свѣта, какіе проникаютъ черезъ портьеры гостиной въ людскую, пало на нее и заронило мысль объ иномъ мірѣ, въ которомъ духъ сильнѣе, чѣмъ въ тѣлѣ простой женщины, заявляетъ о себѣ. Душа болѣе пѣжная, она не удовлетворяется тою любовью, какою выказывалъ ей мужъ, грубый и ревнивый. У господъ она слышала объ иномъ и видѣла, какъ любятъ по-господски. Попривилась ей такая любовь... и, быть можетъ, тѣмъ болѣе, что никогда она не надѣялась испытать ее ¹⁴⁾. Не то же ли и Лизавету влекло къ Чеглову, когда онъ „еще молоденькимъ“ пріѣзжалъ въ свое имѣніе, а она „заглядывалась и засматривалась“ на него (63)? „По сиротству да по бѣдности сговорили“ ее за нелюбаго „да скрутили, словно живую въ землю законали“ (62), подобно тому какъ и Ульяну выдали за нелюбаго старика: она была „z ubogiej chaty, on bohater“ (14); и когда этотъ ненавистный мужъ, живое воплощеніе всего наиболѣе тяжелаго въ жизни нашихъ героинь, ставовится на порогъ ихъ счастья, грубо стремится лишить ихъ того, въ чемъ онѣ видятъ осуществленіе своихъ давнихъ грезъ, онѣ, недавно еще столь покорныя, кроткія, доходятъ до изступленія. На упреки мужа по поводу посѣщенія панскаго двора Ульяна отвѣчаетъ:

— A choćbym i chodziła?

— Jeszcze mi to gadasz?

¹⁴⁾ Wstęp krytyczny къ изд. 1884, стр. XLI.

— Так, бо się nie boję ciebie; ty mnie nie tkniesz palcem, kiedy nie chcesz sam zginać marnie.

Te słowa wymówiła z przekonaniem, z dumą, z gniewem, które zmieszały męża (43). На свиданіи съ Тадеушемъ послѣ побоевъ мужа „niech patrzą, niech widzą sobie“, odpowiedziała kobieta, chwytając go z uniesieniem dzikiém i patrząc na niego temi oczyma, któremi tak cudownie do niego przemawiać umiała: „niech mnie choćby zabiją“ (48).— „Пускай тамъ, какъ собирается“, говоритъ Лизавета Чеглову: „ножемъ что ли рѣжетъ меня али въ рѣкѣ топить, а мнѣ либо около васъ жить, либо совѣмъ не быть на бѣломъ свѣтѣ“ (63), и въ отвѣтъ на насилія мужа „при всемъ народѣ“ заявляетъ, что она „барская полюбовница“ и готова при баринѣ быть „последней коровницей али собакой... а ужъ слушаться и шею свою подставлять злодѣю своему“ не хочетъ (88—89).

Въ любви Ульяны и Лизаветы—вся ихъ жизнь; и одинаково невесело кончается она... „Wszak pańska miłość zawsze się tak kończy: śmiercią, smutkiem“ (48).

Формы, впрочемъ, въ которыя вылилась развязка у Крашевскаго и Писемскаго, уже нѣсколько различны. Холодный проповѣдникъ семейныхъ домостроевскихъ началъ брака, мужъ-насильникъ получаетъ ореолъ идеальнаго оберегателя чести семьи и жены, провинившейся, но равно дорогой и близкой ему; Лизавета какъ бы прозрѣваетъ свой „грѣхъ“, приноситъ въ немъ покаяніе и, быть можетъ, возрождается къ новой жизни, посвященной уже мужу. Замѣтимъ, однако, что первоначально Писемскимъ предполагалось иное окончаніе: Ананій долженъ былъ сдѣлаться атаманомъ разбойничьей шайки и, явившись въ деревню, убить бурмистра ¹⁵⁾.

Во всякомъ случаѣ, едва ли можно отрицать, что развитіе и характеръ любви Лизаветы и Чеглова, самая обрисовка этихъ лицъ существенно напоминаютъ *Ulanę* Крашевскаго, напоминаютъ настолько, что даютъ основаніе поставить вопросъ о непосредственномъ вліяніи ея на *Горькую судьбину*. Крашевскій принадлежитъ къ числу наиболѣе популярныхъ польскихъ писателей; онъ, между прочимъ, явился однимъ изъ пионеровъ народничества въ польской литературѣ, и его сельскія повѣсти не остались незамѣченными въ рус-

¹⁵⁾ Анненковъ, цит. соч., стр. ССІ.

ской литературѣ; по крайней мѣрѣ, въ той же *Библиотекѣ для чтенія*, гдѣ ближайшимъ сотрудникомъ и съ 1858 г. даже редакторомъ былъ Писемскій, мы встрѣчаемъ переводы ихъ съ 1856 г.; въ 1858 г. въ № 10 данъ переводъ *Ульяны*, а въ ноябрьской книжкѣ 1859 года тамъ же появляется и *Горькая судьбина*, съ датой автора: „19-го августа 1859 года“.

А. Лобода.



Славянофильство Т. Г. Шевченка.

Выдающийся южнорусский поэт Т. Г. Шевченко, воспевавший в своих произведениях, главным образом, родную ему Украину, как известно, иногда обращался къ болѣе широкимъ темамъ и, между прочимъ, затрагивалъ славянский вопросъ, говорилъ о славянствѣ, какъ цѣломъ, о взаимныхъ отношеніяхъ славянскихъ народовъ и ихъ будущихъ судьбахъ. Въ этомъ отношеніи онъ не отставалъ отъ другихъ крупныхъ народныхъ славянскихъ поэтовъ, жившихъ въ знаменательную эпоху славянскаго возрожденія и также отражавшихъ въ своихъ созданіяхъ общеславянское сознаніе. Не многочисленны стихотворенія Шевченка на славянскія темы, но во всякомъ случаѣ они занимаютъ не послѣднее мѣсто въ ряду другихъ его поэтическихъ произведеній и вполне заслуживаютъ вниманія и изученія. Правда, вмѣстѣ съ Н. П. Дашкевичемъ¹⁾, я не могу на основаніи ихъ признать правильнымъ мнѣніе, опредѣляющее Шевченка, прежде всего, какъ представителя „украинскаго славянофильства“²⁾. Не славянство, не мысли о славянскомъ общеніи и единеніи составляютъ главное содержаніе поэзіи Шевченка, а дорогая его сердцу Украина, ея прошлое и настоящее, ея простой сельскій людъ, томившійся подъ ярмомъ крѣпостного права, народный бытъ, обычаи, вѣрованія, пѣсни и пре-

¹⁾ Отзывъ о сочиненіи г. Петрова: „Очерки исторіи Украинской литературы XIX ст.“ (Отчетъ о двадцати девяти присужденіи наградъ проф. Уварова). Отд. оттискъ, стр. 196.

²⁾ Н. И. Петровъ, Очерки исторіи Украинской литературы XIX столѣтія Кіевъ, 1884, стр. 235.

данія малорусскаго племени. Шевченко—прежде всего чисто-народный малорусскій поэтъ, всецѣло проникнутый чувствомъ беззаветной любви къ своей народности. Но тѣмъ замѣчательнѣе, что это глубокое, всепоглощающее чувство привязанности къ родной Украинѣ соединилось у поэта въ извѣстной степени съ общеславянскими сочувствіями, иногда прорывавшимися наружу и получившими выраженіе въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ. Независимо отъ своего содержанія и формы, весьма оригинальныхъ, эти произведенія весьма важны потому, что помогаютъ полнѣе уяснить общее міровоззрѣніе украинскаго поэта и въ частности даютъ возможность точнѣе опредѣлить его взглядъ на взаимныя отношенія двухъ русскихъ народностей. Болѣе подробное разсмотрѣніе ихъ можетъ представляться не бесполезнымъ и въ виду того, что біографы Шевченка и цѣнители его поэзіи обыкновенно не останавливаются на нихъ съ надлежащимъ вниманіемъ, ограничиваясь общими сужденіями то о „славянофильствѣ“, то о „панславизмѣ“ поэта. Въ чемъ же выражалось славянофильство Шевченка? Что онъ зналъ о славянствѣ? Что онъ думалъ о взаимныхъ отношеніяхъ славянъ и о славянскомъ вопросѣ? Какъ возникли и какимъ путемъ складывались славянскія сочувствія поэта? Настоящая статья имѣетъ цѣлью дать посильный, хотя и далеко не обстоятельный, отвѣтъ на всѣ эти вопросы.

Если не считать отдѣльныхъ общихъ упоминаній о славянахъ, попадающихся въ разныхъ мѣстахъ Кобзаря, то главный матеріалъ для рѣшенія намѣченныхъ вопросовъ даютъ шесть стихотвореній поэта: 1) два отрывка изъ поэмы „Иванъ Гусь“, 1845 г.; 2) „Посланіе славному П. І. Шафарыкови“, 22 ноября 1845 г.; 3) „До мертвыхъ и живыхъ и ненарожденныхъ землякивъ моихъ, въ Украини и не въ Украини сущыхъ, мое дружее посланіе“, 14 дек. 1845 г.; 4) „Славянамъ“, стихотвореніе, относящееся, вѣроятно, къ 1846—1847 гг.; 5) „Ляхамъ“, 1858 г.; 6) „Подражаніе сербскому“, 1860 г. 1).

Рядъ произведеній Шевченка, затрагивающихъ славянскія темы, открывается поэмой „Иванъ Гусь або Еретыкъ“, написанной

¹⁾ При составленіи настоящей статьи авторъ имѣлъ подъ рукою три изданія произведеній Т. Г. Шевченка: 1) Кіевское—Т. Г. Шевченко. Кобзарь. 1899 г. изданіе редакціи журнала „Кіевская Старина“. 2) Львовское—„Поэзіи Тараса Шевченка у Львові“. Накладомъ К. Сушкевича. 1867. 3) Новѣйшее львовское—Поэзіи Тараса Шевченка, у Львові. 1902 г. Видане товариства „Просвѣта“. Последнее—наиболѣе полное и исправное, но и въ немъ почему то не оказывается стихотворенія „Славянамъ“, изданнаго проф. Н. П. Стороженкомъ въ журн. Кіевская Старина 1897 г. Октябрь.

въ 1845 г. ¹⁾. Поэма эта, къ сожалѣнію, сохранилась только въ двухъ отрывкахъ; большая часть ея пропала, кажется, въ 1847 г. во время неожиданнаго ареста поэта ²⁾. Уже самая мысль художественнаго возсозданія личности и дѣятельности величайшаго славянина и поэтического воспроизведенія замѣчательнѣйшей эпохи въ исторіи чешскаго народа свидѣтельствуесть о томъ, насколько въ ту пору у поэта было развито историческое чутье и славянское сознаніе. Аванасевъ-Чужбинскій, которому Шевченко читалъ поэму лѣтомъ 1845 г., говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что поэтъ, по его собственнымъ словамъ, прочелъ всѣ источники о гуситахъ и эпохѣ имъ предшествовавшей, какіе только можно было достать, и чтобы не надѣлать промаховъ противъ народности не оставлялъ въ покоѣ ни одного чеха, встрѣчавшагося въ Кіевѣ или другихъ мѣстахъ, у котораго спрашивалъ топографическія и этнографическія подробности ³⁾. Какими именно источниками воспользовался Шевченко— не извѣстно, но врядъ ли это были труды чешскихъ ученыхъ и на чешскомъ языкѣ. О знакомствѣ поэта съ чешскимъ языкомъ, свѣдѣній не имѣется. Вѣроятно же всего этими источниками были русскія книги, содержащія общіе обзоры европейской исторіи и, между прочимъ, исторію Гуситства. Какъ бы то ни было приведенное свидѣтельство А. Чужбинскаго весьма важно, какъ указаніе на стремленіе Шевченка приобрѣсти свѣдѣнія объ одномъ изъ славянскихъ народовъ. Оба сохранившіеся отрывка поэмы отличаются силой чувства и образнымъ, нѣсколько рѣзкимъ языкомъ, отражающимъ и личное негодованіе поэта противъ слугъ римскаго первосвященника, отъ которыхъ не мало страдала и Украина во времена польскаго владычества.

Въ первомъ отрывкѣ излагаются размышленія Гуса о царящей въ мірѣ неправдѣ и о тѣхъ бѣдствіяхъ людей, какія проистекають отъ порочности духовныхъ владыкъ Рима:

Кругомъ неправда и неволя,
 Народъ замученный мовчать
 А на апостольскимъ престоли
 Чернецъ годованный сыдыть,
 Людською кровію торгуе

¹⁾ Ср. *О. Кониский*, Тарас Шевченко—Грушівський, Хроника його життя. Т. I. У Львові. 1898. 151. 155.

²⁾ См. примѣчаніе на стр. 226--227 кіевского изданія Кобзаря (1899 г.).

³⁾ Русское Слово. 1861. 5.

И рай у наймы оддае.
 О, Боже! судъ твой правый всеу
 И всеу царствіе твое!
 Розбійники, людойнды
 Правду поборолы
 Осміялы твою славу
 И силу и волю.
 Люди стогнуть у кайданахъ.

Гусь рѣшается идти на помощь людямъ и мысленно обра-
 щается къ Богу:

Благословы

Не на мечь и мукы—
 Благословы мои, Боже,
 Нетвердыи руки
 И слово тихее.... О Боже!
 Чы воны жь почувють?..

„Поборюсь!...“

За правду Богъ! Да совершится“!
 И въ Выфліемськую каплицю
 Пишовъ молыться вирный Гусь.

Въ другомъ отрывкѣ идетъ рѣчь о папскихъ буллахъ, назы-
 ваемыхъ индульгенціями и о вредномъ вліяніи ихъ на народную
 нравственность; а затѣмъ описывается протестъ Гуса противъ тор-
 говли индульгенціями и вызванное имъ смущеніе и негодованіе
 католическаго духовенства.

Отъ имени Гуса поэтъ восклицаетъ:

Прозрите, люде! день наставъ!
 Проснитесь, чехы, змыйте луду
 Розправте руки, будьте люде,
 А не посъмишыще ченцямъ!
 Розбійники, каты въ тїярахъ,
 Все потопылы, все взяли,
 Мовъ у Москви татары,
 И намъ, слышимъ, передалы
 Свои догматы. Кровъ, пожары
 Всеи зла на свити, войны, чвары,
 Пекельныхъ мукъ безкраій рядъ

И повенъ Римъ байстрять—
 Отъ ихъ догматы и ихъ слава!
 То явна слава!... А теперь
 Святымъ положено конклавомъ:
 Кто безъ святой буллы вмеръ,
 У некло просто! Кто-жь заплатить
 За буллу лвое—рижъ хочъ брата,
 Окромѣ папы и ченця,
 И въ рай иды—кинець кивцямъ!
 Гады! гады!
 Чы напылися вы, чы ни
 Людської крови?!— Не мени,
 Велькыи Господы, простому.
 Судыть велькыи дила
 Твоей воли... люти зла
 Не діешъ безъ выны никому!
 И плакавъ Гусъ, молитву дія,
 И тяжко плакавъ; людъ мовчавъ
 И дывувався: що винъ діявъ?
 На кого руку пиднимавъ?
 Дивиться, люде! Ось де булла,
 Що я чытавъ! И показавъ
 Передъ народомъ. Все здригнулы:
 Иванъ Гусъ буллу розидравъ!

По незначительности объема сохранившихся отрывковъ поэмы трудно судить, насколько вѣрно съ исторіей въ ней были изображены личность и дѣятельность Гуса. Но на основаніи того, что уцѣлѣло, можно думать, что Шевченко старался особенно выдѣлить высокую нравственную сторону личности Гуса: великій чехъ изображается, прежде всего, какъ носитель и защитникъ высшей правды на землѣ. О томъ же свидѣлствуютъ заключительныя строки посвященія поэмы, названнаго „Посланиемъ славному Шафарику“:

Прывитай же въ своїй слави
 И мою убогу
 Ленту—думу немудрую
 Про чеха святого,
 Велького мученька
 Про славного Гуса!

Лучшее пожеланіе, какое имѣется у поэта для всѣхъ славянъ, это то, чтобы они стали „добрыми братьями“ и носителями „правды“ въ духѣ Гуса:

А я нышкомъ
 Богу помолюся,
 Щобъ уси славяне стали
 Добрыми братьями,
 И сынами сонця правды
 И еретыкамы
 Оттакымы, якъ констанськый
 Еретыкъ великый!

„Посланіе славному П. І. Шафарыкови“, написанное по окончаніи поэмы „Ивапъ Гусъ“, 22 ноября 1845 г., вводитъ насъ въ болѣе широкій кругъ мыслей Шевченка о славянствѣ. Здѣсь онъ говоритъ о возрожденіи славянскихъ народовъ, о стремленіи ихъ къ взаимности и братству и о высокой роли П. І. Шафарика, какъ будителя общеславянскаго самосознанія у разрозненныхъ дотолѣ племенъ. Посредствомъ прекраснаго поэтическаго сравненія онъ рисуетъ бѣдственное положеніе славянскихъ народовъ, частью разъединенныхъ, частью поработенныхъ нѣмцами:

Запалылы у сусида
 Нову добру хату
 Сусиды злы; нагрѣлися
 Та й поляглы спаты,
 И забулы топлый попилъ
 По полю розвіять....
 Лежыть попилъ на распутти,
 А въ попели тліе
 Огню искра великого,
 Тліе, не вгасае,
 Шидпалу жде, якъ той местныкъ
 Часу дожыдае,
 Злого часу. Тлила искра
 Тыхо дотливала
 На распутти широкому,
 Тай гаснуты стала.
 Оттакъ Нимота запалыла
 Вельку хату, и сямью—
 Сямью славянъ розъедыныла

И нышкомъ тихо упустила
 Усобыць лютую змію.
 Попылыся рикы крови,
 Пожаръ погасылы
 А Нимчыкы пожарыще
 И сырить подилылы.
 Выросталы у кайданахъ
 Славянськыи диты,
 И забулы, невольныкы,
 Чіи воны диты ¹⁾).

Но на старомъ пожарницѣ тлѣла „искра братства“:

Дотливала, дожыдала
 Рукъ твердыхъ та смилыхъ.
 И дождалась.

Явился славный Шафарикъ—и въ славянствѣ совершился переворотъ: оно возродилось къ новой жизни. Обращаясь къ знаменитому ученому—славяновѣду, поэтъ изображаетъ этотъ переворотъ такимъ образомъ:

Прозривъ-еси
 Въ пошели глыбоко
 Огонь добрый смилымъ сердцемъ,
 Смилымъ орлимъ окомъ!
 И засвѣтивъ, любомудре,
 Свиточъ правды, воли.
 И славянъ симью велику,
 Во тьми и неволи,
 Переличывъ до одного,
 Переличывъ трупы,
 А не славянъ—и ставъ еси
 На великыхъ купахъ,
 На розпутти всесвѣтнѣму,
 Іезекиилемъ.
 И о дыво! трупы встали
 И очы раскрылы!
 И братъ зъ братомъ обнялся

¹⁾ Въ новѣйшемъ львовскомъ изданіи (1902 г.) этотъ стихъ читается иначе: Що вони на съвити (стр. 467).

И проговорылы
 Слово тихой любви
 На вики и вики!
 И потеклы въ одно море
 Славянськіи рики!

Далѣе, продолжая прославлять Шафарика, Шевченко ставить ему въ заслугу, что онъ не далъ потонуть „въ Немецкій пучыни нашій правды“ и характеризуетъ новое „славянское море“ какъ „вольное“ (свободное):

Твое море
 Славянськее, нове,
 Затѣго вже буде повне,
 И поплыве човенъ
 Зъ широкыми витрыламы
 И добрымъ кормыломъ,---
 Поплыве на вольнымъ мори,
 На широкыхъ хвыляхъ!

Въ заключеніе своего посланія поэтъ еще разъ восклицаетъ:

Слава жъ тобі, Шафарыку,
 Во вики и вики,
 Що звивъ-еси въ одно море
 Славянськіи рики!

Заканчивается стихотвореніе уже приведеннымъ выше пожеланіемъ,

Щобъ уси славяне стали
 Добрыми братамы
 И сынами сонця правды.

Тогда они

Миръ мырови подаруютъ
 И славу во вики!

Итакъ, въ данномъ произведеніи Шевченко выступаетъ, какъ панславистъ, какъ поборникъ славянской идеи. Онъ горячо привѣтствуетъ возрожденіе славянскихъ народовъ къ новой жизни усматривая залогъ этого возрожденія въ пробужденіи у нихъ сознанія національнаго и племеннаго единства, въ стремленіи ихъ къ взаимности и единенію на началахъ „братства“ и „правды“. Въ какихъ явленіяхъ и формахъ должны были выразиться въ дѣй-

ствительной жизни это единение и „братство“ славянских народов, въ чемъ должна была проявиться „правда“ или справедливость во взаимныхъ отношеніяхъ славянъ, вообще какъ должны устроить свою жизнь „вольные“ славянскіе народы—этихъ вопросовъ поэтъ не затрогиваетъ. Онъ остается на почвѣ общей, неопредѣленной панславистической тенденціи „единенія“ и „братства“ славянскихъ народовъ, столь обычной въ произведеніяхъ другихъ славянскихъ поэтовъ 30-хъ и 40-хъ годовъ (напримѣръ, Хомякова, Ѳ. Тютчева, С. Врза, Вукотича, Раковца, Кукульевича, Ганки, Коллара и др.). И у малорусскаго поэта, какъ у другихъ „народниковъ“ очевидно, заговорило славянское чувство, еще не ясное, смутное, но стихійно широко распространявшееся въ литературныхъ кругахъ всѣхъ славянскихъ народовъ.

Оцѣнивая приемы, которыми пользуется поэтъ при развитіи и выраженіи указанной общей панславянской идеи, нельзя не отмѣтить нѣсколько данныхъ, которыя могутъ служить показателями степени освѣдомленности Шевченка въ фактической сторонѣ славянскаго возрожденія. Прежде всего, бросается въ глаза неполнота и неточность въ изображеніи исторической перспективы. Врагами славянъ, посѣявшими среди нихъ усобицы и затѣмъ наложившими на нихъ ярмо рабства, выставляются исключительно нѣмцы. Поэтъ словно забываетъ о другихъ врагахъ—мадьярахъ и туркахъ, подъ гнетомъ которыхъ въ 40-хъ годахъ находилась значительная часть славянства. Не упоминаетъ онъ и о Римѣ, внесшемъ столь рѣзкій духовный, культурный разладъ въ семью славянскихъ народовъ, признаваемый отчасти поэтомъ въ нѣкоторыхъ другихъ его произведеніяхъ (напр. „Ляхамъ“). Всѣ бѣдствія славянъ онъ приписываетъ исключительно нѣмцамъ. Затѣмъ, ведя все повѣствованіе въ приподнятомъ томѣ, напоминающемъ похвальное слово, поэтъ впадаетъ въ большія преувеличенія. Ему представляется, что „единеніе“ славянъ на началахъ „братства“ и „правды“ осуществляется: „братъ съ братомъ обнялись и проговорили слово тихой любви на вики и вики“; „Славянскія рѣки потекли въ одно море“, „море славянское“, „вольное“. Въ дѣйствительности въ ту пору, когда писано „Посланіе“, ничего подобнаго не было. Все западное и большая часть южнаго славянства пребывало подъ иноземнымъ владычествомъ и едва начинало освобождаться отъ духовнаго гнета путемъ образованія народныхъ литературъ и защиты правъ своего языка въ жизни. Лучшіе люди среди славянъ мощными голосами только еще указывали на необходимость поднятія къ новой жизни упавшихъ славянскихъ народностей и призывали послѣднія къ

единенію и согласію для успѣха борьбы съ общими врагами. Но до проведенія въ жизнь этихъ призывовъ было еще далеко. „Славянское море“, въ которое будто бы слились славянскія рѣки было мечтой, очень далекой отъ реальности.

Весьма картинно, но очень искусственно и несогласно съ историческими данными предложенное поэтомъ объясненіе самаго факта возрожденія славянства. Совершавшійся въ славянскомъ мірѣ великій переворотъ онъ приписываетъ исключительно воздѣйствію одной личности знаменитаго ученаго слависта П. І. Шафарика. Онъ раздулъ „искру братства“, тлѣвшую въ пеплѣ стараго славянского пожарища, онъ „засвѣтилъ—свиточъ правды, воли“, онъ считалъ „славянъ симью велику“, считалъ „не славянъ, а трупы ихъ“ и сталъ надъ ними, какъ пророкъ Іезекіиль. И въ результатъ этой дѣятельности—воскрешеніе славянства: „трупы встали и очи раскрыли! И братъ съ братомъ обнялся“. Едва ли нужно много распространяться, чтобы раскрыть всю неправильность такого взгляда на дѣло и признать чрезмѣрной обнаруженную въ произведеніи поэтическую вольность. Величайшія событія народной исторіи, какъ описываемое поэтомъ, не являются результатомъ дѣятельности одной личности. Хорошо извѣстно, что и „славянское возрожденіе“, основанное на пробужденіи славянского самосознанія,—явленіе сложное, обязанное своимъ возникновеніемъ цѣлому ряду историческихъ обстоятельствъ и, прежде всего, трудамъ многочисленныхъ выдающихся славянскихъ дѣятелей, преимущественно ученыхъ, поэтовъ, публицистовъ. Среди нихъ П. І. Шафарикъ со своими „Исторіей славянскихъ литературъ“, „Славянскими древностями“ и „Славянскимъ народописаніемъ“, занимаетъ весьма почетное мѣсто. Онъ много содѣйствовалъ широкому развитію самопознанія славянъ и вообще успѣхамъ славянского движенія; но не онъ былъ первымъ будителемъ общеславянского сознанія среди униженныхъ и придавленныхъ чужими народностями представителей славянского племени. У западныхъ славянъ эта честь, какъ извѣстно, принадлежала предшественнику и учителю Шафарика, знаменитому чешскому аббату Іосифу Добровскому. По справедливости онъ первый, на зарѣ XIX в. раздулъ тѣ тлѣвшія искры общеславянского чувства, о которыхъ говоритъ Шевченко; онъ первый и считалъ „славянскіе трупы“ и первый сталъ приводить славянамъ на память ихъ старину. Шафарикъ же былъ продолжателемъ Добровскаго. Нѣтъ указаній въ біографіи Шафарика и на то, чтобы онъ зажегъ „свѣточъ правды и свободы“. Ученый филологъ, археологъ и этнографъ, Шафарикъ въ своихъ трудахъ не поднималъ полити-

ческих вопросов о возвращеніи славянамъ „свободы и правды“. Этими вопросами занимались другіе дѣятели славянскаго возрожденія—поэты и публицисты, голоса которыхъ имѣли въ широкихъ кругахъ общества болѣе силы и значенія, чѣмъ ученые труды историковъ и филологовъ. Въ одномъ своемъ произведеніи, о которомъ идетъ рѣчь ниже, Шевченко называетъ двухъ такихъ извѣстныхъ поэтовъ--Коллара и Ганку. Повидимому, онъ зналъ о нихъ по наслышкѣ. Иначе, не понятно, почему онъ первенствующую и даже исключительную роль будителя славянскаго самосознанія приписалъ ученому Шафарику, а не поэту и публицисту Коллару; въдѣ главнѣйшія произведенія послѣдняго—поэма „Дочь Славы“ (Slavy dcega, 1-е изд. 1824 г.), посвященная воспроизведенію прошлаго и настоящаго всѣхъ славянскихъ народовъ и исполненная горячихъ призывовъ къ единенію и согласію, и трактатъ „О литературной взаимности славянскихъ народовъ“¹⁾—появились въ свѣтъ раньше главнѣйшихъ ученыхъ трудовъ Шафарика; были переведены на многіе языки и несомнѣнно имѣли огромное вліяніе на развитіе славянскаго движенія. Съ другой стороны и съ востока еще въ тридцатыхъ годахъ раздавались въ чарующей поэзіи А. С. Холякова мощные призывы къ освобожденію славянскихъ братьевъ. Знаменитое стихотвореніе „Орелъ“ рано стало извѣстно почти всѣмъ славянскимъ народамъ. Чѣмъ же, однако, объяснить это восторженное прославленіе малорусскимъ поэтомъ именно Шафарика, а не другихъ носителей и выразителей общеславянскаго сознанія? По моему мнѣнію, тѣмъ, что о Шафарикѣ Шевченко, вѣроятно, зналъ больше, чѣмъ о другихъ дѣятеляхъ славянскаго возрожденія; быть можетъ, нѣкоторые труды ученаго панслависта, напри мѣръ, „Славянское народописаніе“, были у него въ рукахъ. Основаніемъ для такого предположенія служатъ слѣдующія соображенія. Въ февралѣ 1845 г. Шевченко проѣздомъ изъ Петербурга въ Малороссію останавливался въ Москвѣ и видѣлся здѣсь съ своимъ другомъ, профессоромъ университета О. М. Бодянскимъ²⁾. Почтенный славистъ, какъ извѣстно, находившійся въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ къ П. І. Шафарику, въ это время занимался переводомъ на русскій языкъ его „Славянскихъ Древностей“, а не задолго пе-

¹⁾ Написанный по чешски, этотъ трактатъ вышелъ потомъ на нѣмецкомъ языкѣ въ 1837 г. Русскій переводъ появился уже въ 1838 г. въ Московскихъ Вѣдомостяхъ, а затѣмъ въ 1840 г. въ Отечественныхъ Запискахъ.

²⁾ *Ол. Комисский*, Тарасъ Шевченко—Грушівський, I, стр. 149.

редь тѣмъ, въ 1843 г., выпустилъ въ свѣтъ русскій переводъ Шафарикова „Славянскаго народописанія“. Вполнѣ естественно допустить, что Бодянский въ своихъ бесѣдахъ съ Шевченкомъ отводилъ не мало мѣста разговорамъ о Шафарикѣ и выясненію значенія его ученыхъ работъ о славянствѣ. Весьма вѣроятно, что онъ свабдилъ поэта и экземпляромъ „Славянскаго народописанія“, въ которомъ было сосчитано славянское племя ¹⁾. Вообще я думаю, что Бодянский игралъ видную роль въ возбужденіи у Шевченка вниманія къ славянству и панславизму. Быть можетъ, и мысль о поэмѣ „Иванъ Гусъ“ была навѣяна разговорами съ Бодянскимъ, который и могъ указать поэту необходимую историческую литературу. Въ виду того, что біографія Шевченка даетъ мало точныхъ и положительныхъ свѣдѣній объ источникахъ славянофильства поэта, указанная соображенія могутъ имѣть нѣкоторое значеніе ²⁾.

¹⁾ Въ предисловіи Бодянскаго къ первому изданію „Народописанія“ находятъ мысли, которыя были развиты Шевченкомъ. Здѣсь переводчикъ говоритъ слѣдующее: „Итакъ Славяне дождались своего Народописанія отъ самого Шафарика, *перваго современнаго историка ихъ* давно прошедшихъ дней, преданій старины глубокой“, *перваго знатока и двигателя Славянства у западныхъ и южныхъ собратій нашихъ*“... Тутъ-то (на картѣ при книгѣ) Славяне въ первый разъ очутились въ одномъ видимомъ семействѣ, дѣтьми одной матери, сознались громко во всеуслышаніе, что всѣ мы *kości z kości ojców naszych, ród jeden składamy, i jednym wszędzie duchem oddychamy*.

²⁾ Еще одна подробность. Н. П. Дашкевичъ, высказывая мысль о томъ, что кievскіе славянофилы проникались и панславянскими стремленіями русской литературы, въ видѣ примѣра ссылается на „Посланіе славному П. І. Шафарыкови“, въ которомъ вышеприведенные стихи о „славянскихъ рѣкахъ текущихъ въ одно море“, по его мнѣнію, напоминаютъ извѣстный стихъ Пушкина:

Славянскіе-ль ручьи сольются въ русскомъ море?

У Шевченка, говоритъ почтенный ученый, находимъ оригинальное примѣненіе идеи, высказанной Пушкинымъ: „русское море превращено въ общеславянское“ (Отзывъ о сочиненіи г. Петрова, Очерки исторіи украинской литературы XIX ст. стр. 214). Извѣстно, что Шевченко былъ хорошо знакомъ съ поэзіей Пушкина. По словамъ Кулиша, „онъ зналъ Пушкина наизусть“ (Основа. Январь. 1862. Библиографія стр. 60—811). Поэтому, нѣтъ ничего вѣроятнаго въ томъ, что и стихотвореніе „Клеветникамъ Россіи“ и другія произведенія Пушкина на славянскія темы могли наводить Шевченка, на мысли о славянствѣ. Но установить съ достовѣрностью связь между „русскимъ моремъ“ и „славянскими ручьями“ Пушкина съ одной стороны и „славянскими рѣками, вливающимися въ славянское море“ Шевченка, съ другой едва ли возможно. Слишкомъ рѣзка разница въ основныхъ мысляхъ этихъ двухъ произведеній, сложившихся подъ влияніемъ рѣзко несходныхъ настрое-

Черезъ три недѣли послѣ появленія въ свѣтъ „Посланія славному П. І. Шафарыкови“ Шевченко написалъ другое посланіе, заключающее въ себѣ любопытныя данныя для сужденія о славянофильствѣ поэта. Оно имѣетъ слѣдующее нѣсколько странное заглавіе: *„До мертвыхъ и живыхъ и ненарожденныхъ землякивъ моихъ, въ Украини и не въ Украини сущихъ, мое дружеское посланіе“*. вмѣсто славянофила, думающаго о всемъ славянствѣ, поэтъ выступаетъ здѣсь узкимъ народникомъ, украинскимъ патриотомъ, относящимся скептически къ славянофильству. По мнѣнію г. Ильи Кокорудза, посвятившаго критическій этюдъ этому произведенію ¹⁾, основная мысль Посланія—призывъ ко всемъ украинцамъ, панамъ и крестьянамъ, образованнымъ и неграмотнымъ, чтобы они прониклись взаимною любовью и единодушно стремились къ общему благу и истинному просвѣщенію; чтобы паны и образованные люди не ограничивались либеральными фразами, но и на дѣлѣ старались помочь народу, чтобы и меньшая братія могла учиться и крѣпкими руками благословить и свободными устами поцѣловать своихъ свободныхъ дѣтей“. Дѣйствительно, все Посланіе проникнуто пламенными заботами поэта объ изученіи Украйны, объ освобожденіи отъ крѣпостной неволи крестьянъ, о просвѣщеніи простаго сельскаго люда. Тѣже мысли развиваются и во многихъ другихъ стихотвореніяхъ Шевченка; но здѣсь онѣ выражены особенно отчетливо и въ крайне своеобразной формѣ. Онѣ рѣзко обрушиваются на тѣхъ просвѣщенныхъ украинцевъ, которые мало обращаютъ вниманія на родную Украйну, не заботятся о ней, увлекаются чужеземщиной, черпаютъ мудрость у „нѣмцевъ“ и изъ нѣмецкихъ книгъ.

Якъ бы вы вчылись такъ, якъ треба,
То й мудрость бы була своя:
А то зализете на небо:
„И мы—не мы, и я—не я
И все то бачывъ, все то знаю:
Нема ни пекла, а пи раю,
Немае й Бога, тилькы я,

ній. Сравненіе необъятнаго славянства съ моремъ само по себѣ вполне понятно и естественно и могло возникнуть у малорусскаго поэта самостоятельно.

¹⁾ Заря. Львів. 1885, стр. 202. Къ сожалѣнію этого изданія я не могъ имѣть въ рукахъ и привожу сужденіе г. Кокорудза по книгѣ О. Огоновскаго *Исторія литературы русской*, II, 547.

Та куций немецъ узлуватый,
 Та й бильшь пикого.— „Добре, брате,
 Що жь ты таке?“
 -- Нехай немецъ
 Скаже.—мы не знаемъ“.
 Оттакъ то вы навчааетесь
 У чужому краю!
 Немець скаже: „Вы моголы
 — Моголы, моголы
 Золотога Тамерлапа
 Онучята голи!“
 Немець скаже: „Вы славяне“
 - Славяне, славяне,
 Славныхъ прадиловъ великихъ
 Правнуку погани!“

Исполненные чувства непріязни отзывы о нѣмцахъ, встрѣчающіеся въ Посланіи очень часто, можно разсматривать, какъ отголосокъ мнѣніи славянофиловъ, которые, какъ извѣстно, также возставали противъ увлеченія чужеземнымъ и не особенно сочувствовали нѣмцамъ. Но поэтъ не щадитъ и славянофиловъ; и къ нимъ обращается съ упреками и укоризнами.

„И Коляра чытаете
 Зъ усіей сылы,
 И Шафарыка и Ганку,
 И въ славянофылы
 Такъ и претесь, и вси мовы
 Славянського люду,
 Вси знаете, о своей
 Дастъ—Бигъ,... Колысь будемъ
 И по своему глаголатъ,
 Якъ немецъ покаже,
 А до того й исторію
 Намъ нашу розскаже.
 Оттоди мы заходьмось!“

Относительно смысла этого мѣста не можетъ быть сомнѣній. Шевченко упрекаетъ своихъ земляковъ за то, что они, увлекаясь славянофильствомъ, изучаютъ всѣ славянскіе языки, а своимъ роднымъ пренебрегаютъ, заботятся о судьбѣ славянства, а не знаютъ исторіи своей Украины. Къ кому же именно относится этотъ упрекъ?

Извѣстно, что Н. И. Костомаровъ, переселившійся на жительство въ Кіевъ осенью 1845 г., въ слѣдующемъ году основалъ славянофильскій кружокъ, которому потомъ усвоили названіе Кирилло-Меѳодіевскаго общества. Шевченко, познакомившійся съ Костомаровымъ только въ маѣ 1846 г. изъявилъ готовность пристать къ обществу, но, по словамъ Костомарова ¹⁾, отнесся къ его идеямъ съ большимъ задоромъ и крайнею нетерпимостью, что послужило поводомъ ко многимъ спорамъ между ними. Однако, изъ другого свидѣтельства того же Костомарова и изъ оффиціальныхъ источниковъ извѣстно, что Шевченко и не былъ дѣйствительнымъ членомъ Кирилло-Меѳодіевскаго Общества, открытіе котораго принесло столько горя и Костомарову, и Шевченку, и нѣкоторымъ ихъ друзьямъ, и что самага общества, какъ организованнаго учрежденія не существовало, а былъ только кружокъ просвѣщенныхъ людей, мечтавшихъ о лучшей участи славянства и лишь проектировавшихъ основаніе ученаго общества, которое содѣйствовало бы взаимному ознакомленію между собой славянскихъ народовъ ²⁾. Очевидно, приведенные упреки не могли относиться ни къ Костомарову, ни къ другимъ представителямъ основаннаго имъ кружка, такъ какъ Посланіе было написано еще до знакомства поэта съ Костомаровымъ и до возникновенія кружка. Несомнѣнно эти упреки были направлены противъ тѣхъ украинцевъ, которые стали увлекаться славянофильскими мнѣніями еще до появленія въ Кіевѣ Костомарова. Дѣйствительно, подобный кружокъ, состоявшій преимущественно изъ университетской молодежи, существовалъ въ Кіевѣ уже въ первой половинѣ сороковыхъ годовъ. Н. П. Дашкевичъ рядомъ собранныхъ имъ цѣнныхъ данныхъ установилъ основные элементы, опредѣлявшіе панславистко-народническое направленіе этого кружка ³⁾. Съ одной стороны, это было вліяніе польской литературы въ лицѣ такихъ ея представителей, какъ Красинскій, Товянскій, Мицкевичъ и поэты украинско-польской школы, съ другой—панславистскія стремленія русской литературы (въ лицѣ, наприм., Хомякова). Къ этимъ элементамъ присоединился новый, мѣстный—соціально-политическая доктрина, требовавшая вниманія къ нуждамъ южно-русскаго племени и прежде всего освобожденія крестьянъ отъ крѣ-

¹⁾ Русская Мысль 1885. Май. 211.

²⁾ Кіевская Старина 1883 г. февраль стр. 226 и слѣд. (Статья Н. И. Костомарова, П. А. Кулишъ и его послѣдняя литературная дѣятельность).—Русскій Архивъ. 1892, 7, стр. 341. (Докладъ графа А. Ѳ. Орлова объ „Украинно-Славянскомъ Обществѣ“).

³⁾ Указ. соч. стр. 210—215.

постной зависимости. Повидимому, эта послѣдняя доктрина выдвигалась въ кружкѣ на первый планъ, а идея славянской взаимности и единенія оставалась недостаточно ясной и мало разработанной. Костомаровъ, по словамъ Н. П. Дашкевича, „подружился съ представителями этого кружка и сообщилъ новое движеніе ихъ мыслямъ, обративъ особенное вниманіе своихъ друзей на общеславянскіе вопросы“. Раздѣляя это мнѣніе Н. П. Дашкевича въ существенной его части, я думаю, что кое въ чемъ оно можетъ быть пополнено и исправлено. Разбираемый здѣсь отзывъ Шевченка о славянофилахъ ясно показываетъ, что возникшій въ Кіевѣ до пріѣзда Костомарова кружокъ вдохновлялся не только настроеніемъ польскихъ и русскихъ поэтовъ, но также идеями Коллара, Ганки и Шафарика, т. е. идеями славянской взаимности, славянскаго единенія, тѣми самыми, которыя такъ занимали Костомарова. О произведеніяхъ этихъ западно-славянскихъ ученыхъ, вѣроятно, и въ Кіевѣ говорили не меньше, чѣмъ въ Харьковѣ, откуда явился въ Кіевѣ Костомаровъ. И здѣсь могли быть въ обращеніи только что появившіяся на русскомъ языкѣ нѣкоторыя сочиненія Коллара и Шафарика. И въ университетѣ св. Владимира молодежь могла кое-что слышать о панславизмѣ и видныхъ его представителей¹⁾. Очевидно, это увлеченіе славянофильствомъ было весьма значительно и это не очень правилось Шевченку. Поэтъ сочувствовалъ идеѣ славянской взаимности, но не отдавался ей всецѣло и полагалъ, что просвѣщенные украинцы должны думать не столько о широкой славянской программѣ, сколько о томъ, чтобы прежде всего помочь своему народу выйти изъ того тяжелаго положенія, въ какомъ онъ находился. Вотъ къ какимъ славянофиламъ было обращено, между прочимъ, Посланіе поэта. Конечно, онъ имѣлъ въ виду не только кіевскихъ, но и другихъ своихъ земляковъ, жившихъ за предѣлами Украины, напримѣръ

¹⁾ Любопытность ея въ этомъ отношеніи могъ удовлетворять, напр., знаменитый А. М. Максимовичъ, преподававшій въ университетѣ русскій языкъ и словесность съ сентября 1843 по іюль 1845 г. Въ письмѣ къ Погодину (отъ 24 авг. 1843 г.) онъ говоритъ, что находитъ необходимымъ положить въ Кіевѣ и добрую закладку славяновѣднію, которое здѣсь болѣе необходимо, чѣмъ въ Москвѣ (Барсуковъ, Жизнь и труды М. П. Погодина. УП. 218). Преемникомъ Максимовича былъ А. И. Селинъ, имѣвшій возможность непосредственно познакомиться съ заграничнымъ славянствомъ, переписывавшійся съ Ганкой и, по словамъ Костомарова, проводившій на лекціяхъ московско-славянофильскія идеи (Біографическій словарь профессоръ и преподавателей Императорскаго университета св. Владимира. Кіевъ 1884. стр. 591—595;—Н. И. Костомарова. Литературное наслѣдіе. Спб. 1890. стр. 63).

своего пріятеля О. М. Бодянскаго, въ ту пору глубоко ушедшаго въ славянщину. Кіевская молодежь вняла призыву своего поэта и въ основаніе программы своего кружка поставила мѣстные національные интересы. Костомарову же по сближеніи съ этимъ кружкомъ пришлось вновь оживлять въ немъ вниманіе къ общеславянскимъ задачамъ. Отсюда вполне понятно и приведенное замѣчаніе Костомарова о „большомъ задорѣ“ и „крайней нетерпимости“, проявленныхъ Шевченкомъ въ разговорѣ о задачахъ новооснованнаго славянофильскаго кружка. Только послѣ долгихъ споровъ стало возможно между ними соглашеніе, которое осуществилось, очевидно, на почвѣ сліянія идей панславизма съ народничествомъ, что и выразилось въ уставѣ или программѣ Кирилло-Меѳодіевскаго кружка. Такъ, мнѣ кажется, слѣдуетъ объяснять происхожденіе и значеніе приведенныхъ изъ Посланія стиховъ о славянофилахъ.

Какъ бы то ни было, Костомаровъ несомнѣнно имѣлъ большое вліяніе на Шевченка и пользовался его искреннимъ расположеніемъ, доказательствомъ чему, между прочимъ, служить посвященіе ему поэтомъ одного изъ лучшихъ стихотвореній „Веселе сонечко ховалось“. Если въ настоящее время уже нельзя говорить, какъ еще недавно утверждали, что Шевченко сталъ увлекаться мыслями о славянскомъ общеніи и единеніи со времени знакомства съ Н. И. Костомаровымъ, то несомнѣнно, что послѣдній содѣйствовалъ болѣе сознательному усвоенію этихъ мыслей поэтомъ въ ту пору, когда у него созрѣло убѣжденіе, что долгъ cadaго просвѣщеннаго украинца прежде всего думать и заботиться о своей родинѣ Украинѣ. „Въ то время (т. е. въ маѣ 1846 г.), говоритъ Костомаровъ, всю мою душу занимала идея славянской взаимности, общенія духовнаго народовъ славянскаго племени, и когда я повелъ разговоръ съ нимъ на этотъ вопросъ, то услыхалъ отъ него самое восторженное сочувствіе и это болѣе всего сблизило меня съ Тарасомъ Григорьевичемъ“¹⁾. Къ порѣ этого сближенія съ Костомаровымъ относится послѣднее большое стихотвореніе Шевченка по славянскому вопросу, озаглавленное „Славянамъ“. Въ немъ онъ вновь выступаетъ поборникомъ свободы и единенія славянъ²⁾.

¹⁾ Русская Старина. 1880 г., мартъ. 598. Въ другомъ мѣстѣ Н. И. Костомаровъ говоритъ: „Шевченко, познакомившись со мной, относился къ идеѣ о славянской взаимности съ поэтическимъ восторгомъ“. Кіевская Старина. 1883 г. февраль. 230.

²⁾ Стихотвореніе „Славянамъ“ стало извѣстно въ печати только въ 1897 г. Оно было найдено покойнымъ проф. Н. И. Стороженкомъ между бу-

Ходъ мыслей поэта въ этомъ замѣчательномъ произведеніи таковъ.

Открывается стихотвореніе указаніемъ на важность переживаемой эпохи пробужденія славянства къ новой свободной жизни, при чемъ, обращаясь къ славянамъ, Шевченко, по примѣру Коллара и другихъ западнославянскихъ поэтовъ и согласно съ ходячей этимологіей имени племени, называетъ ихъ „дѣтьми славы“:

Диты славы, диты славы!
 Чась вашь наступае:
 Отъ Банатокъ до Камчатки
 Гомиць розлягае.
 Отъ Банатокъ до Камчатки,
 Отъ Финнѣ до Боспора
 Розришаетьця загадка
 Велького спора:
 Розрываютця кайданы
 Неволн и неславы.

Поэтъ знаетъ, какъ разрѣшится этотъ „великій споръ“: прекращеніемъ раздоровъ въ славянской семьѣ и приобрѣтеніемъ свободы всѣми ея сынами:

Сгине, счезне братня свара
 Ворогъ нашъ кровавый,
 И освите наше небо
 Сонечко свободы,
 Стануть вкупи. передъ Богомъ
 Вольныи вароды.

Все это совершится во имя „любви Христовой и правды“:

Поклонятьця Роспятому
 Завить його прыймутъ

магами дѣла о членахъ Кирилло-Мееодіевскаго общества въ Архивѣ Департамента Полиціи и напечатано имъ въ ж. „Кіевская Старина“ (1897 г октябрь). Къ сожалѣнію, въ найденномъ спискѣ стихотвореніе не окончено и не имѣетъ даты. Тѣмъ не менѣе, на основаніи разныхъ косвенныхъ указаній, слѣдуетъ полагать, что оно было написано незадолго до ареста поэта, въ самомъ концѣ 1846 и началѣ 1847 г. Вѣроятно, потому оно не успѣло своевременно попасть въ печать и не получило распространенія въ рукописяхъ.

Ворогивъ тысячелитнихъ
Вороги обіймутъ.

.
Де любовь Христова и правда—
Тамъ счастья и доля.

Затѣмъ поэтъ сопоставляетъ недавнее прошлое съ настоящимъ:

Ясне небо славянщины
Покрыла темнота,
Безпросвітна, нерозумна
Давняя негода.....
Що жъ за гоминъ чудный ходыть
Отъ краю до краю?
А чи винъ що изгадуе,
Чи що провищае?

Поэтъ не въ силахъ отвѣтити на эти вопросы:

Не скажемо, правый Боже,
Щобъ все розибралы.
Не намъ, Боже, выкладаты
Небесни глаголы!

Онъ только совѣтуетъ славянскимъ народамъ готовиться къ надвигающимся важнымъ событіямъ—молитвой, возстановленіемъ взаимнаго мира и согласія и отреченіемъ отъ присущихъ имъ пороковъ и недостатковъ:

Молитесь, диты славы,
Выглядайте часу!
Прислухайтесь до святого
Небесного гласу!
Мырытесь, очищайтесь
Отъ пьянства и порока,
Любитесь, скорс блысне
Звизда отъ востока.

Далѣе слѣдуютъ угрозы и прославленія. Поэтъ обращается съ укоромъ къ папамъ, державшимъ въ рабствѣ народъ, къ гонителямъ свободы мысли, къ ученымъ, стоящимъ не на высотѣ науки, къ „продажнымъ филозофамъ“.

Горе панству лукавому,
 Що въ гасло неволи
 Обернуло хрестъ всечестный!
 Гасло вичной воли!
 Горе тымъ, що словомъ Божимъ
 Розумъ подавлялы,
 Для корысти, для мамоны
 Правду уживалы ¹⁾.
 Горе вченымъ, котри злее
 Добрымъ нарекалы,
 Тымъ що истыну святую
 Отъ простыхъ ховалы---
 Всимъ продажнымъ филозофамъ!

И этотъ отдѣлъ стихотворенія заканчивается призывомъ къ взаимной любви:

Любитесь, диты славы,
 Любовь насъ спасает!

Прославленіе славянства начинается обращеніемъ къ русскому двуглавному орлу, отчасти напоминающимъ извѣстное стихотвореніе Хомякова „Орель“.

Слава, честь тоби во вики,
 Орле нашъ двоглавый!
 Бо ты шпонамы своими
 Вырвавъ изъ неволи,
 Изъ поруги давній на свить
 Славянскую долю ²⁾!

¹⁾ Далѣ идетъ пропускъ.

²⁾ Ср. стих. „Орель“ А. С. Хомякова:

Высоко ты гнѣздо поставилъ,
 Славянъ полуночныхъ Орель,
 Широко крылья ты расправилъ,
 Глубоко въ небо ты ушелъ!
 Лети: но въ горнемъ морѣ свѣта,
 Гдѣ силой дышащая грудь
 Разгуломъ вольности согрѣта,
 О младшихъ братьяхъ не забудь!

 И ждуть же окованные братья—
 Когда же зовъ услышатъ твой,
 Когда ты крылья, какъ объятъ,
 Прострешь надъ слабой ихъ главой?
 О, вспомни ихъ, Орель полночи!

Затѣмъ воздается слава чехамъ, сербамъ и ляхамъ:

Слава чехамъ! яснымъ свитомъ
 Науки темноту
 Розгоняйте, пробужайте
 Славянску дремоту!
 Слава тоби, люде добрый,
 Изъ славянь славяне,
 Въ день воскресный станешь въ слави
 Межъ всимы братамы.

Въ этихъ характерныхъ стихахъ Шевченко вѣрно подчеркиваетъ большую заслугу чеховъ въ дѣлѣ пробужденія общеславянскаго сознанія у отдѣльныхъ народовъ славянскаго племени, еще разъ подтверждая тѣмъ, что ему было присуще нѣкоторое знакомство съ трудами чешскихъ славяновѣдцевъ. Вѣроятно, опять имѣется въ виду, главнымъ образомъ, Шафарикъ.

Не совсѣмъ удачна вторая половина похвалы сербамъ:

Слава сербамъ за ихъ пѣсни,
 За чистую виру
 Въ мылость Божу, за ненависть
 Проты изувира.

Упомянутое о сербскихъ пѣсняхъ вполне уместно въ настоящемъ хвалебномъ гимнѣ. Открытіе богатаго сербскаго народнаго пѣснотворчества, какъ извѣстно, составляло крупное явленіе въ исторіи славянскаго возрожденія. Между прочимъ, оно усилило и на Западѣ вниманіе не только къ сербамъ, но и къ славянству вообще. Повидимому, Шевченко непосредственно былъ знакомъ съ сербскими пѣснями. Одно его стихотвореніе („Наихали старосты“): написанное въ 1860 г., было подражаніемъ сербскому. Но прославленіе сербовъ „за ненависть къ изувѣрамъ“, подъ которыми, надо думать, разумѣются турки-мусульмане, едва ли кстати: оно не гармонируетъ съ общимъ миролюбивымъ тономъ произведенія.

Немного, но очень сердечно сказалъ Шевченко полякамъ:

Слава, честь вамъ, братья ляхы,
 Миръ вамъ, вична згода!

Съ такимъ же призывомъ къ братству обращается Шевченко къ полякамъ въ другомъ своемъ, позднѣйшемъ (1858 г.) стихотвореніи „Ляхамъ“:

Оттакъ-то, ляше, друже, брате!
 Несыты ксѣндзы, магнаты
 Насъ поризнылы, розвелы,
 А мы бѣ и доси такъ жылы!
 Подай же руку козакови,
 И сердце чистое подай
 И знову именемъ Хрыстовымъ
 Возобновымъ нашъ тихый рай!

Заканчивается стихотвореніе предсказаніемъ скорого конца крѣпостному праву и панству:

Згыне панство лукавое
 Воскресне свобода!

Хотѣлъ еще поэтъ прославить и родную Украину:

Слава тобі, Украйно....

Но что онъ намѣренъ былъ сказать, неизвѣстно, такъ какъ на этомъ стихѣ обрывается дошедшій текстъ произведенія.

Въ данномъ стихотвореніи славянофильскія воззрѣнія Шевченка получили болѣе ясное выраженіе, чѣмъ въ „Посланіи славному Шафарыкови“. Вѣроятно, въ эту пору и въ сознаніи поэта они опредѣлялись точнѣе подъ вліяніемъ бесѣды съ Н. И. Костомаровымъ. Здѣсь нѣтъ уже мѣста преувеличенному представленію объ освобожденіи славянскихъ народовъ и соединеніи ихъ въ одно цѣлое, какъ о совершившемся фактѣ. Поэтъ, согласно съ истиннымъ положеніемъ дѣла, привѣтствуетъ только начало освободительнаго движенія въ семьѣ славянскихъ народовъ, вѣритъ въ возможность осуществленія свободы для славянства и указываетъ необходимыя условія для достиженія этой свободы. Н. И. Стороженко справедливо указалъ¹⁾, что стихотвореніе „Славянамъ“ было „отраженіемъ взглядовъ кievскаго кружка панславистовъ“. Но спрашивается: что именно изъ этихъ взглядовъ воспроизвелъ здѣсь Шевченко? Относительно точной формулировки идей и стремленій Кирилло-Меѳодіевскаго кружка обнародованные до сихъ поръ матеріалы не вполне сходятся. На мой взглядъ, наиболѣе согласнымъ съ истиной нужно считать то изложеніе ихъ, которое сдѣлано са-

¹⁾ Киевская Старина. 1897 г. октябрь 1.

мимь основателемъ кружка Н. И. Костомаровымъ въ 1883 г., въ ту пору, когда ему не было никакихъ основаній что-либо недоговаривать, или что-нибудь утаивать¹⁾. По его словамъ, въ основу будущей славянской взаимности должны были, по мнѣнію кружка, лечь слѣдующія desiderata. „Первое желаніе касалось способовъ дѣятельности тѣхъ лицъ, которыя-бы нашли въ себѣ силу быть апостолами славянскаго возрожденія. Это желаніе состояло въ томъ, чтобъ соблюдалась искренность и правдивость и отвергалось іезуитское правило объ освященіи средствъ цѣлями; затѣмъ слѣдовали желанія, касавшіяся славянъ. Они были немногочисленны и несложны, и состояли въ слѣдующихъ пунктахъ: 1) освобожденіе славянскихъ народностей изъ-подъ власти иноплеменниковъ; 2) организованіе ихъ въ самобытныя политическія общества съ удержаніемъ федеративной ихъ связи между собою; установленіе точныхъ правилъ разграниченія народностей и устройства ихъ взаимной связи предоставлялось времени и дальнѣйшей разработкѣ этого вопроса исторіей и наукою; 3) уничтоженіе всякаго рабства въ славянскихъ обществахъ, подъ какимъ-бы видомъ оно ни скрывалось; 4) упраздненіе сословныхъ привилегій и преимуществъ, всегда наносящихъ ущербъ тѣмъ, которые ими не пользуются; 5) религіозная свобода и вѣротерпимость; 6) при полной свободѣ всякаго вѣроученія употребленіе единого славянскаго языка въ публичныхъ богослуженіяхъ всѣхъ существующихъ церквей; 7) полная свобода мысли, научнаго воспитанія и печатнаго слова и 8) преподаваніе всѣхъ славянскихъ нарѣчій и ихъ литературъ въ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ славянскихъ народностей“²⁾. Изъ этой программы пожеланій въ разсматриваемомъ стихотвореніи нашли свое выраженіе пожеланія освобожденія славянскихъ народовъ изъ-подъ власти иноплеменниковъ, уничтоженія рабства въ славянскихъ земляхъ, укрѣпленія въ нихъ свободы вѣроисповѣданія, мысли и науки. Но въ немъ, вопреки утвержденію Н. И. Стороженка, не проявлено никакихъ мечтаній поэта объ образованіи великаго славянскаго государства на федеративныхъ началахъ. Шевченко желаетъ всѣмъ славянскимъ народамъ свободы, прекращенія распрей и установленія взаимныхъ отношеній на началахъ Христовой любви и правды; но онъ совсѣмъ не касается вопроса о томъ, какъ должны устроиться

¹⁾ Киевская Старина. 1883 г., февраль, стр. 226.

²⁾ См. также: автобіографію Н. И. Костомарова (Литературное наслѣдіе, стр. 61—63); Русскій Архивъ, 1892, кн. VI. Докладъ графа А. Ѳ. Орлова; Киевскую Старину, февраль. 1906.

въ будущемъ славянскіе народы послѣ сверженія чужеземнаго ига. Онъ ограничивается однимъ общимъ пожеланіемъ: „Станутъ вкупи передъ Богомъ вольныи народы“. Зато въ стихотвореніи „Славянамъ“ оказывается важная подробность, указывающая на вѣрное пониманіе Шевченкомъ роли Россіи въ славянствѣ и на глубокое уваженіе поэта къ сѣвернымъ братьямъ, создателямъ могущественнаго русскаго государства. Возрождающихся къ новой жизни славянъ онъ ободряетъ предсказаніемъ, что „скоро блысне звизда отъ востока“ и прославляетъ русскаго двуглаваго орла:

Слава, честь тоби во вики
 Орле нашъ двоглавый!
 Бо ты шпонамы своїмы
 Вырвавъ изъ неволи,
 Изъ поруги давній на свить
 Славянскую долю!

Итакъ, поэтъ ждетъ спасенія славянства съ Востока, отъ Россіи, и признаетъ за русскимъ народомъ историческое призваніе даровать свободу всѣмъ поработленнымъ славянскимъ народамъ. Россія, по его мнѣнію, уже проявила это свое призваніе: „нашъ двуглавый орелъ вырвалъ своими когтями изъ рабства и униженія славянскую долю“. Какой смыслъ могутъ имѣть эти слова? Очевидно, поэтъ прославляетъ сѣверо-восточную Русь за то, что она одна изъ всего славянства отстояла свою свободу, что собравъ вокругъ себя остальную русскую братію, выросла въ большое, могущественное государство и выступила какъ таковое на путь освобожденія зарубежныхъ славянъ, протянувъ руку помощи сербамъ (въ 1806—1812 гг.), проливая кровь своихъ сыновъ за Болгарь (въ 1828—1829 гг.), отзываясь въ лицѣ лучшихъ своихъ общественныхъ дѣятелей и писателей на освободительное движеніе среди сѣверо-западныхъ славянъ. Слѣдовательно, здѣсь Шевченко, задумавшись надъ славянскимъ вопросомъ, умѣлъ отрѣшиться отъ узко-національной украинофильской точки зрѣнія, которая выступаетъ во многихъ другихъ его произведеніяхъ, и успѣлъ подняться до высшаго общерусскаго патріотизма. Быть можетъ, и въ этомъ случаѣ сказалося вліяніе на него Кирилло-Меѳодіевскаго кружка и самого Н. И. Костомарова. Послѣдній, какъ извѣстно, признавалъ великоруссовъ и малоруссовъ за двѣ *русскія* народности или за двѣ разновидности единаго русскаго народа, а не за двѣ самостоятельныя *славянскія* народности и не былъ сторонникомъ ни политическаго,

ни даже литературнаго сепаратизма малороссовъ¹⁾. Изъ программы Кирилло-Мееодіевскаго кружка, на сколько о ней можно судить по приведенному выше сообщенію Н. И. Костомарова, также не видно, чтобы малороссы разсматривались въ кружкѣ, какъ особая славянская разновидность, которая должна была бы въ будущей федераціи славянской занимать особое самостоятельное мѣсто, въ русскаго государства. Въ ней идетъ рѣчь только объ освобожденіи зарубезныхъ славянскихъ народностей, находящихся подъ властью иноплеменниковъ и „объ организованіи ихъ въ самобытныя политическія общества съ удержаніемъ федеративной ихъ связи между собой“²⁾. Миѣ думается, что никакихъ сепаратистическихъ тенденцій не было и у Шевченка. Рѣзкія сужденія о „москаляхъ“ и „царскомъ правительствѣ“, представленныя въ нѣкоторыхъ его стихотвореніяхъ, навлекшихъ на него суровыя административныя кары, были навѣяны главнѣйше созерцаніемъ тяжелаго крѣпостнаго права.

¹⁾ Ср. напр. статью Костомарова съ „Кіевск. Стар.“, 1883, стр. 222.

²⁾ Въ той редакціи Устава Кирилло-Мееодіевскаго Общества (очень краткой, всего 6 статей), которая была напечатана Огоновскимъ (Исторія литературы русской, II, 477) и которая недавно воспроизведена въ журн. „Кіевская Старина“ (1906 г., февраль. Н. И. Стороженко, „Кирилло-Мееодіевскіе заговорщики“) дѣло представляется иначе. Первые двѣ статьи здѣсь читаются такъ: 1) „Принимаемъ, что духовное и политическое соединеніе славянъ есть истинное ихъ назначеніе, къ которому они должны стремиться. 2) Принимаемъ, что при соединеніи каждое славянское племя должно имѣть свою самостоятельность, а такими племенами признаемъ Южно-Руссовъ, Сѣверно-Руссовъ съ Бѣлоруссами, Поляковъ, Чеховъ съ Словенцами, Лужичанъ, Иллиро-Сербовъ съ Хорутанами и Болгаръ“. Но этотъ документъ, по всей вѣроятности, не представляетъ собой настоящаго устава Общества, а только одинъ изъ проектовъ его, отражавшихъ взгляды не всего кружка и не главы его Костомарова, а отдѣльныхъ лицъ. Основанія такого мнѣнія слѣдующія: 1) изложеніе программы кружка, сдѣланное основателемъ его Н. И. Костомаровымъ вполне заслуживаетъ довѣрія; 2) изъ оффиціального дѣла о Кирилло-Мееодіевскомъ Обществѣ видно, что составленіе Устава Славянскаго Общества приписывали себѣ то Гулакъ, то Бѣлозерскій, при чемъ послѣдній утверждалъ, что Уставъ и объясненіе къ нему онъ составилъ еще бывши студентомъ (Русскій Архивъ. 1892. VП. 339); 3) на допросѣ Костомаровъ и Бѣлозерскій рѣшительно утверждали, что Уставъ и другія найденныя при нихъ бумаги, „никогда не были основаніемъ или правилами бывшаго Украинно-Славянскаго Общества“ (тамъ же. 340); 4) на томъ же допросѣ Костомаровъ и Бѣлозерскій показали, что цѣль ихъ общества состояла въ соединеніи славянскихъ племенъ подъ скипетромъ русскаго государя. Никакого обвиненія въ стремленіи къ украинскому сепаратизму основателямъ кружка не было предъявлено (тамъ же, 338 и слѣд. стр. 1).

подъ которымъ томилаь масса малорусскаго крестьянскаго населенія, а не фактомъ политическаго соединенія малоруссовъ и великоруссовъ. Поэтъ пламенно желалъ раскрѣпощенія народа, изъ среды котораго вышелъ самъ, мечталъ о широкомъ распространеніи просвѣщенія въ сельскомъ людѣ, иногда идеализировалъ украинскую старину, но требованія „самостійности Украины“, сдѣлавшагося лозунгомъ новѣйшихъ украинофиловъ, онъ не заявлялъ ни въ одномъ изъ своихъ произведеній. Съ другой стороны извѣстно, что Шевченко любилъ русскую литературу и русскій литературный языкъ, самъ охотно писалъ на этомъ языкѣ, при чемъ нѣкоторыя его произведенія, какъ напримѣръ, „Назаръ Стодоля“ являлись прежде на общерусскомъ, а потомъ на малорусскомъ. Онъ подчинялся обаянію великихъ русскихъ поэтовъ Жуковскаго, Пушкина и Лермонтова, оказавшихъ извѣстную долю вліянія на его поэзію. Онъ питалъ благоговѣнное чувство къ Жуковскому, заботамъ и участію котораго былъ обязанъ не только своимъ освобожденіемъ изъ крѣпостной неволи, но отчасти и своимъ образованіемъ. Наконецъ, обратившись къ поэтическому творчеству на своемъ родномъ языкѣ, онъ не сдѣлалъ ни одного шага, чтобы искусственно возможно больше отдѣлать этотъ языкъ, при употребленіи его въ книгѣ, отъ общерусскаго литературнаго языка, въ чемъ такъ сильно грѣшили и продолжаютъ грѣшить многіе продолжатели поэта. Прекрасный, чисто-народный языкъ произведеній Шевченка, вполне понятный каждому образованному русскому, служитъ лучшимъ доказательствомъ всей безпочвенности стремленій, направленныхъ къ полному литературному обособленію малоруссовъ, къ созданію для этой вѣтви русскаго народа своего особаго, научнаго и образованнаго языка, въ замѣнъ общепринятаго языка Пушкина и Гоголя, выработаннаго общими усиліями всѣхъ племенныхъ разновидностей русскаго народа. Въ связи съ этими данными стоитъ и разсмотрѣнное любезныя мѣсто въ стихотвореніи „Славянамъ“. Оно характерно обрисовываетъ намъ обликъ южно-русскаго поэта, не только убѣжденнаго народника—„украинца“, но и славянофила и русскаго патріота, умѣвшаго иногда подняться выше идей узко-провинціального націонализма.

Сводя все изложенное въ одно цѣлое можно сдѣлать слѣдующія общія заключенія о славянофильствѣ Шевченка.

Запасъ свѣдѣній о славянствѣ и западно-славянскомъ національномъ движеніи у поэта былъ незначителенъ, хотя въ цвѣтущій періодъ его литературной дѣятельности у него было замѣтно стремленіе къ расширенію познаній въ области славящины. Тѣмъ

не менѣ этихъ свѣдѣній было достаточно, чтобы обновить безсознательно таившееся у него, какъ у крупнаго народнаго поэта славянское чувство, которое затѣмъ и вылилось въ цѣломъ рядѣ прекрасныхъ поэтическихъ произведеній. По недостатку біографическихъ данныхъ трудно опредѣлить точно всѣ источники славянскихъ симпатій Шевченка. Во всякомъ случаѣ эти симпатіи возникли еще до знакомства поэта съ Н. И. Костомаровымъ и сближенія съ Кирилло-Методіевскимъ кружкомъ. Первый интересъ къ славянству и первыя мысли о братствѣ и единеніи разрозненныхъ славянскихъ народовъ могли зародиться у Шевченка еще въ петербургскій періодъ его жизни, во время пребыванія въ Академіи Художествъ, когда онъ, быть можетъ, не безъ вліянія Жуковскаго знакомился съ русской литературой, поэтической и журнальной, откликавшейся на славянское движеніе и отражавшей въ себѣ взгляды русскихъ славянофиловъ. О близкомъ знакомствѣ Шевченка съ поэзіей Пушкина, а слѣдовательно, и съ его стихотвореніями на славянскія темы, имѣется положительное свидѣтельство. Весьма вѣроятно, что ему были извѣстны и стихотворенія Хомякова. Сравненіе Россіи съ орломъ въ стихотвореніи „Славянамъ“ напоминаетъ знаменитое стихотвореніе Хомякова „Орель“. Имѣются основанія допустить вліяніе на поэта его друга извѣстнаго слависта проф. О. М. Бодянскаго. Не безслѣдно, конечно, проходило для Шевченка общеніе его въ 1844—1847 гг. съ литературными кружками Кіевской молодежи, въ которыхъ велись толки о славянствѣ и славянской взаимности, вызванные отчасти знакомствомъ съ польской поэзіей панславистскаго оттѣнка, отчасти появленіемъ на русскомъ языкѣ сочиненій Коллара и Шафарика. Наконецъ, знакомство съ Костомаровымъ также содѣйствовало развитію и укрѣпленію у поэта славянофильскихъ мыслей и мечтаній. Важнѣйшія произведенія, въ которыхъ выразились славянскія сочувствія поэта, относятся къ 1845—1847 гг., но извѣстный интересъ къ родственнымъ славянскимъ народамъ сохранялся у него и въ послѣдующій періодъ поэтической дѣятельности. Основное положеніе, развиваемое поэтомъ,—общаго характера, тоже самое, какое видимъ у поэтовъ-представителей западнаго панславизма и московскаго славянофильства. Оно сводится къ признанію братства славянскихъ народовъ и пожеланію всѣмъ имъ свободы политической и духовной. Главными виновниками несчастій славянскаго племени поэтъ считаетъ вѣмцевъ и отчасти римскій престолъ, а равно развившіяся при содѣйствіи этихъ враждебныхъ силъ начала розни и внутренняго разлада въ средѣ самихъ славянъ. Горячій призывъ славянъ къ пре-

кращенію несогласій и усобиць и къ установленію единенія на началахъ любви и правды составляетъ главный мотивъ стихотвореній Шевченка на славянскія темы. Никакого опредѣленнаго идеала относительно устройства судьбы славянъ у поэта не было. Но за Россіей онъ признавалъ первенствующую миссію въ освобожденіи славянскихъ народовъ, поработенныхъ иноземцами. Съ большимъ сочувствіемъ относится поэтъ къ чехамъ, будучи болѣе освѣдомленъ относительно ихъ дѣятельнаго участія въ обоснованіи и развитіи идеи славянской взаимности. Меньше онъ говоритъ о сербахъ, а о болгарахъ, словинцахъ, словакахъ лужицкихъ сербахъ и не упоминаетъ. Обращеніе къ полякамъ отличается миролюбивымъ духомъ. Славянофильская струя въ поэзіи Шевченка, на ряду съ рѣзко выраженнымъ въ ней протестомъ противъ крѣпостного права, доставила ей болѣе широкое распространеніе и сочувствіе за предѣлами Украины и въ частности содѣйствовала извѣстности южно-русскаго поэта въ славянскомъ мірѣ. Переводы изъ Шевченка не составляютъ рѣдкаго явленія въ новѣйшихъ литературахъ южныхъ и западныхъ славянъ.

Т. Флоринскій.

1 мая. 1906 г.

Горе и Доля въ народной сказкѣ.

I.

Фигура Гора, столь живо и поэтически-прекрасно изображенная въ древнерусской повѣсти о Горѣ-Злочастіи, неоднократно обращала на себя вниманіе ученыхъ изслѣдователей. Уже первый издатель повѣсти, Н. И. Костомаровъ, которому открывшій ее А. Н. Пыпинъ—тогда еще молодой, начинающій ученый—предоставилъ опубликовать свою счастливую находку, старался выяснитъ смыслъ и значеніе выводимаго въ ней образа¹⁾. Признавая вполне правильно—главнымъ образомъ на основаніи сравненія нѣкоторыхъ народныхъ пѣсенъ—что фигура Гора не была создана составителемъ повѣсти, Костомаровъ объявилъ Горе „древнимъ мифологическимъ существомъ“ и утверждалъ, что „вѣрованіе въ олицетвореніе Гора и его похождения принадлежитъ далекой древности“. Доказательство мифическаго характера Гора онъ видѣлъ въ его сходствѣ съ Долей: какъ Горе въ повѣсти преслѣдуетъ добраго молодца, такъ въ малорусской пѣснѣ Лихая Доля гоняется за дивчиною. Доля же уже давно (еще Шевыревымъ) была признана древней богиней и помѣщена на создававшемся тогда всѣми силами славянскомъ Олимпѣ. Противъ признанія Гора мифическимъ существомъ возра-

¹⁾ *Современникъ* 1856, кн. 3 (Мартъ) = т. LVI, отд. 1, стр. 49—68 и кн. 10 (Октябрь) = т. LIX, отд. 1, стр. 113—124 (последняя статья была вызвана возраженіями Буслаева). Обѣ статьи Костомарова повторены въ *Памяти старин. русс. лит.* графа Кушелева-Безбородко, вып. I.

жалъ Ѳ. И. Буслаевъ¹⁾, утверждая, что оно— „только поэтическій образъ“. „Старинное вѣрованіе славянъ въ судьбу или встрѣчу“— писалъ онъ— „нисколько не уполномочиваетъ насъ видѣть въ Горѣ-Злочастіи языческое или полуязыческое божество“. Взглядъ Костомарова, однако, нашелъ поддержку у А. А. Потебни, посвятившаго вопросу о миѣическомъ значеніи Горя пространное ученое изслѣдованіе²⁾. Потебня отождествляетъ Горе съ Долей и Недолей и съ другими олицетвореніями судьбы, къ которымъ онъ причисляетъ Бѣду, Нужду, Кручину, Злыдней, выступающихъ въ русскихъ народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ. Сопоставленіе и сличеніе ихъ приводитъ его къ слѣдующему выводу: „Доля и сходное—происхожденія не книжнаго; образы эти вполне туземны; они обнаруживаютъ явственную связь съ другими миѣическими существами; они очень древни, такъ что посятъ на себѣ слѣды зооморфизма“³⁾.

¹⁾ *Русскій Вѣстникъ* 1856 г., т. IV, Июнь, кн. 2, стр. 5—52 и Июль, кн. 2, стр. 279—322 = *Историч. Очерки русск. нар. словесн. и искусства*, т. I, стр. 548—643.

²⁾ „О Долѣ и сродныхъ съ нею существахъ“ = *Древности, Труды Моск. археол. общества*, т. I (1865—67), стр. 153—196.

³⁾ I. I. p. 166. Сколь основательно отождествленіе Горя и Доли, покажетъ наше дальнѣйшее изслѣдованіе; оно выяснитъ и предполагаемую туземность этихъ образовъ. Точно также коснемся мы зооморфизма въ другомъ мѣстѣ, а пока скажемъ нѣсколько словъ о мнимой связи Доли и Горя „съ другими миѣическими существами“. Такими существами по Потебнѣ оказываются: домовая, душа, болѣзни и лихорадки, смерть. Связь съ домовымъ выражается въ томъ, что домовая живетъ за печью, а Горе или Бѣда въ нѣкоторыхъ русскихъ сказкахъ тоже выходятъ изъ за печки. Нѣмецкаго кобольда (т. е. домового) въ одной сказкѣ топятъ въ прудѣ; Нужу или Злыдней въ русскихъ сказкахъ также топятъ въ болотѣ или рѣкѣ (стр. 169).—Сходство доли съ душою состоитъ въ томъ, что и первая, по нѣкоторымъ вѣрованіямъ, рождается вмѣстѣ съ человѣкомъ (стр. 173).—Въ нѣкоторыхъ сказкахъ разсказывается, какъ хитрому человѣку удается заключить лихорадку въ пузырь, или Мору (олицетвореніе болѣзни) въ пустую бутылъ, или смерть въ табачный рожокъ; такъ и Горе запирается въ сундукъ. Нужа—въ корчагу, Злыдни—въ боклагъ.—Есть сказки, въ которыхъ человѣкъ носитъ на плечахъ или возитъ олицетворенія заразы, смерти; то же самое дѣлается съ Бѣдою, Нуждою. Изъ этихъ совпаденій Потебня заключаетъ, что „какъ болѣзни, такъ и женскіе образы доли имѣютъ связь съ богиней, которая изъ образа тучи стала олицетвореніемъ смерти“ (стр. 185). Несостоятельность этого метода бросается въ глаза. Не говоря о совершенно произвольномъ, кажущемся теперь даже курьезнымъ, уравненіи „туча = смерть“, не настаивая на принципиальномъ положеніи, что содержаніе сказокъ—свободный, поэтическій вымыселъ: одинъ тотъ вполне установленный, теперь общеизвѣст-

Теорія Потебни всецѣло была принята Н. А. Аванасьевымъ: въ „Поэтическихъ воззрѣнiяхъ славянъ“ онъ говоритъ о фигурѣ Горя въ главѣ, названной имъ „Дѣвы судьбы“¹⁾. По слѣдамъ Потебни пошелъ также столь авторитетный ученый, какъ академикъ А. Н. Веселовскій въ своей статьѣ „Судьба-Доля въ народныхъ представленiяхъ славянъ“²⁾. Собравъ со свойственной ему поражающей ученостью обширнѣйшій, весьма драгоценный матеріалъ какъ изъ русской, такъ и славянской и западно-европейской народной словесности, почтенный академикъ свелъ его въ систему, подкупающую своей стройностью и видимою естественностью. Если Потебня находится еще подъ влiяніемъ устарѣвшей нынѣ метеорологической мифологiи Куна и Шварца, то Веселовскій стоитъ на почвѣ болѣе современной анимистической теорiи. Образы Горя, Бѣды, Доли и т. д. по его мнѣнiю основаны на вѣрованiяхъ, возникшихъ еще въ пору первобытнаго анимизма. Отвергая свидѣтельство византійскаго историка Проконiя³⁾ о томъ, что славяне не знали идеи рока и не допускали его влiянiя на жизнь человѣка, почтенный академикъ, на основанiи теоретической конструкцiи, приписываетъ древнимъ славянамъ вѣру въ судьбу *личную, частную, родовую*. Пытаясь „внести въ разнообразную смѣсь суевѣрiй, выражающихъ понятiе судьбы, идею историческаго генезиса“⁴⁾, онъ „*путемъ логическихъ и психологическихъ наведенiй*“⁵⁾ устанавливаетъ непрерывную генетическую цѣпь, ведущую отъ анимистическаго культа „Родителей“ или Предковъ къ позднѣйшимъ олицетворенiямъ идеи судьбы — къ южно-славянской Сречѣ и сѣвернымъ Недолѣ, Злой Судьбинѣ, Кручинѣ, Горю. Промежуточными звеньями являются,

ный фактъ, что отдѣльные сказочные мотивы свободно переходятъ изъ одного разсказа въ другой, часто не имѣющій съ первымъ ничего общаго, достаточно опровергаетъ всю аргументацiю Потебни.

¹⁾ Аванасьевъ, *Поэтическія воззрѣнiя славянъ*, гл. XXV' (т. III, стр. 318 сл.; о Горѣ — стр. 397—403).

²⁾ *Разысканiя въ области русскаго духовнаго стиля*, гл. XIII = выпускъ V (Сборн. Отдѣленiя русск. яз. и словесн. Имп. Акад. Наукъ, т. 46, 1890), стр. 173—260. Дополненiя къ этой статьѣ въ *Разысканiяхъ*, гл. XXIII = выпускъ VI (Сборникъ, т. 53, 1892), стр. 167—183.

³⁾ Procop. Bell. Got. III 14: εἰμαρμένην δὲ οὔτε ἰσάζει οὔτε ἄλλως ὁμολογεῖσθαι ἔν γε ἀνθρώποις ροπήν τινα ἔχειν.

⁴⁾ I. I. стр. 174.

⁵⁾ Стр. 185.

по его теоріи, Родъ-Домовой, Рожаницы, Судицы (Орисницы, Наречницы), Доли. Посредствомъ тѣхъ же „логическихъ и психологическихъ наведеній“ доказывается, что одна и та же обще-славянская идея судьбы у южныхъ славянъ развилась въ сторону судьбы случайно навѣянной, встрѣченной, счастливой, тогда какъ въ воображеніи русскаго народа преобладало болѣе исконное, арханчное представленіе о судьбѣ прирожденной, сужденной, неизбѣжной, представленіе, давшее въ дальнѣйшемъ развитіи отрицательные образы Недоли, Нужи, Кручины, Горя. Къ понятіямъ послѣдняго разряда со временемъ прибавилась идея вмѣняемости, заслуженности (Горе-Злочастіе повѣсти).

При возведеніи этого стройнаго зданія, авторъ, по собственнымъ словамъ, „старался построить факты самостоятельно-генетически, не считаясь съ литературными и христіанскими вліяніями“¹⁾. Онъ пытается установить пути „естественнаго развитія“, по которымъ „народное сознаніе“ шло „внѣ постороннихъ, напр. христіанскихъ вліяній“²⁾, „внѣ постороннихъ ученій и воздѣйствій“³⁾. Тѣмъ не менѣе онъ допускаетъ, что „логика развитія подчинялась случайности постороннихъ вліяній“⁴⁾, что „вопросъ запутанъ литературными вліяніями“⁵⁾, такъ какъ тотъ или иной образъ „попалъ въ руки поэтовъ“⁶⁾. Онъ не увѣренъ, что въ разбираемыхъ имъ фактахъ воздѣйствіе литературныхъ и христіанскихъ вліяній „не сказалось такъ или иначе, намѣчая путь естественнаго развитія, помогая формулировать то или другое обобщеніе“⁷⁾. Онъ признаетъ нѣкоторые образы „литературными“⁸⁾, „агломеративными, сложившимися на почвѣ захожей сказки“⁹⁾, приписываетъ извѣстныя черты за „поэтическую разработку“¹⁰⁾, не отрицаетъ, что „привитыя, литературныя сுவѣрїя“ смѣшались со „встрѣчными, народными“¹¹⁾.

Намъ кажется, что эти признанія и оговорки въ значительной степени подрываютъ довѣріе къ самому методу „логическихъ и психологическихъ наведеній“. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли такъ полагаться на „логику естественнаго развитія“,

1) Стр. 234.

2) Стр. 195.

3) Стр. 225.

4) Стр. 185.

5) Стр. 222.

6) Стр. 222.

7) Стр. 234.

8) Стр. 240.

9) Стр. 232.

10) Стр. 221.

11) Стр. 234.

чтобы изъ нея сдѣлать рѣшающій критерій при разборѣ и оцѣнкѣ нестрой смѣси „народныхъ представленій“? Эти самыя представленія мы вѣдь извлекаемъ, въ большинствѣ случаевъ, изъ произведеній народнаго поэтическаго творчества; это—нашъ главный источникъ, и почти исключительно имъ пользуется и г. Веселовскій. Какъ же тутъ учесть и выдѣлить поэтической вымыселъ, „поэтическую разработку“? И что останется послѣ этой операціи? Поэтическія произведенія не только выражаютъ представленія и вѣрованія народа,—они сами оказываютъ на нихъ существенное вліяніе, являются кореннымъ, а не побочнымъ и случайнымъ факторомъ въ процессѣ ихъ возникновенія. Классическимъ примѣромъ служатъ Гомеровскія поэмы, подъ прямымъ воздѣйствіемъ которыхъ, какъ то призналъ еще Геродотъ¹⁾, сложились религіозныя представленія и вѣрованія позднѣйшей Греціи.

Едва-ли основательно далѣе г. Веселовскій съ такой рѣзкостью противопоставляетъ другъ другу элементы народные и элементы литературные. Такое противопоставленіе имѣло смыслъ, пока господствовали мистико-романтическій взглядъ на народное творчество, какъ на нѣчто обособленное, самодовлѣющее, какъ на эманацию абсолютнаго народнаго духа. Новѣйшія изслѣдованія, въ томъ числѣ блестящія работы самого г. Веселовскаго, поколебали этотъ взглядъ и показали, что народная поэзія, нѣкогда называвшаяся „естественной“, въ значительной степени находится подъ воздѣйствіемъ „искусственной“, заимствуя у послѣдней не только сюжеты, но и образы и другія поэтическія формы, и едва-ли въ настоящее время кто нибудь рѣшится категорически утверждать, что тотъ или иной мотивъ или образъ народной поэзіи не можетъ, въ концѣ концовъ, восходить къ какому нибудь литературному, „книжному“ прототицу. Не менѣе произвольнымъ представляется намъ строгое разграниченіе понятій „народный“ и „посторонній“ или „заносный“. Въ современной фолклористикѣ теорія заимствованій и бродячихъ мотивовъ завоевываетъ съ каждымъ днемъ все большія права; кто же въ состояніи указать, какіе элементы въ области поэтическихъ представленій и вѣрованій народа—самобытны, исконны, „вполювъ туземны“? Что сегодня считается исключительной принадлежностью

¹⁾ И 53 οἱτοί (т. е. Гомеръ и Гезіодъ) δὲ εἰσὶν οἱ ποιήσαντες θεογονίην "Ἕλλησι καὶ τοῖσι θεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας δόντες. Ср. O. Gruppe, Griech. Mythol. p. 973; 987.

одного народа, завтра благодаря расширенію нашего научнаго кругозора можетъ оказаться достояніемъ многихъ другихъ.

Таковы принципиальныя возраженія, которыя вызываетъ противъ себя попытка г-на Веселовскаго приписать славянамъ самобытную, независимую отъ представленій другихъ народовъ, идею судьбы и прослѣдить ея генетическое развитіе внѣ постороннихъ вліяній, внѣ литературныхъ воздѣйствій, внѣ поэтическихъ разработокъ. Онъ самъ признаетъ, что его „построеніе“ можетъ показаться „априорнымъ“ (стр. 174). На нашъ взглядъ, оно, дѣйствительно, лишено реального фундамента и не находитъ себѣ подтвержденія въ фактахъ. Это — красивый мыльный пузырь, переливающийся всѣми цвѣтами яркаго комбинаторскаго таланта, блестящаго остроумія, ослѣпительной эрудиціи. Но стоитъ къ нему прикоснуться персту критики—и остается... немного мутной водицы.

Въ отличіе отъ конструктивнаго, синтетическаго метода, при-мѣняемаго г-номъ Веселовскимъ, единственнымъ надежнымъ путемъ намъ кажется методъ аналитическій. Чтобы выяснитъ происхожденіе и сущность тѣхъ народныхъ представленій и поэтическихъ образовъ, которые Потебня и Веселовскій сдѣлали предметомъ своего разсмотрѣнія, необходимо предварительно критически разоб-раться составъ и построеніе, а также и взаимное отношеніе тѣхъ произведеній народнаго творчества, въ которыхъ встрѣчаются относящіяся сюда образы и представленія. Такой анализъ всего затро-нутаго въ изслѣдованіяхъ названныхъ ученыхъ фолклористиче-скаго матеріала представляетъ собою громадныя трудности, и, конечно, не намъ съ нашими слабыми силами братья за эту сложную задачу. Желая тѣмъ не менѣе внести свою посильную лепту въ это дѣло, мы ограничиваемся разсмотрѣніемъ двухъ сказочныхъ темъ, разныя обработки которыхъ не разъ цитируются и Потебнею и Веселовскимъ. Главными дѣйствующими лицами этихъ сказокъ являются Доля и Горе—два поэтическихъ образа, занимающіе центральное положеніе въ указанныхъ изслѣдованіяхъ обоихъ ученыхъ.

II.

Устанавливая близкую связь между образомъ Доли и обра-зомъ Горя, и Потебня и Веселовскій, между прочимъ, ссылаются

на одну великорусскую сказку, въ которой выступают оба образа, какъ бы сливаясь вмѣстѣ. Содержаніе этой сказки, помѣщенной въ сборникѣ Аванасьева ¹⁾ подѣ № 172, слѣдующее:

Два брата послѣ смерти отца раздѣлили поровну между собою доставшееся имъ наслѣдство. Одинъ въ скоромъ времени разбогатѣлъ; у другого несмотря на все его трудолюбіе хозяйство пошло плохо, онъ разорился и впалъ въ крайнюю нужду. Онъ обратился за помощью къ брату, но встрѣтилъ отказъ. Усиленными просьбами онъ добился только разрѣшенія воспользоваться его лошадьми для спѣшной полевой работы. Отправившись въ поле за лошадьми, онъ застаётъ тамъ какихъ-то людей, пахущихъ братнину пашню. На вопросъ, кто они такіе, одинъ изъ нихъ отвѣчаетъ, что онъ—Счастье богатаго брата: хозяинъ самъ нѣтъ, гуляетъ, ничего не знаетъ, а его Счастье на него работаетъ. „Куда же мое Счастье дѣвалось“? спрашиваетъ неудачникъ. „А твое Счастье вотъ тамъ-то подѣ кустомъ въ красной рубашкѣ лежитъ, ни днемъ ни ночью ничего не дѣлаетъ, только спитъ“. Вооружившись толстой палкой, мужикъ подкрался къ своему Счастью и давай его бить изо всѣхъ силъ,—за то, что оно о немъ не заботится. Счастье посоветовало ему бросить крестьянское дѣло и въ городѣ заняться торговлею. Послушавшись совѣта, бѣдный мужикъ уложилъ весь свой скарбъ, чтобы переселиться въ городъ. Когда онъ передѣ отъѣздомъ наглухо заколачивалъ свою избенку, онъ услышалъ, что кто-то горько въ ней заплакать. Это было Горе, покинутое хозяевами въ пустой избѣ. Оно слезно молило взять и его съ собою. Мужикъ для вида согласился и велѣлъ Горю влѣзть въ порожній сундукъ. Этотъ сундукъ онъ заперъ тремя замками да и зарылъ его въ землю. Сбывъ, такимъ образомъ, Горе, онъ въ городѣ занялся торговлею и въ скоромъ времени разбогатѣлъ. Провѣдавъ о томъ, богатый братъ пріѣхалъ и сталъ распрашивать кунца, какъ это онъ ухитрился изъ нищаго богатымъ стать. Тотъ рассказалъ, какъ поймалъ Горе и гдѣ его зарылъ. Охваченный завистью, богачъ выкопалъ сундукъ и выпустилъ Горе, предлагая ему снова разорить брата. Но Горе не согласилось: „Я лучше къ тебѣ пристану; ты—добрый человекъ, ты меня на свѣтъ выпустилъ; а тотъ—лиходѣй.

¹⁾ А. И. Аванасьевъ, *Народныя русскія сказки*, изд. 3-е. Москва 1887. т. II. стр. 235 слл.

въ землю упряталъ“. Немного спустя завистливый братъ разорился и сдѣлался голымъ бѣднякомъ.

На бѣлорусскомъ нарѣчїи, но почти безъ отступленїи, эта самая сказка была записана въ Могилевской губерніи и сообщается въ сборникѣ Шейна ¹⁾.

Аванасьевъ озаглавилъ эту сказку „Двѣ Доли“. Но заслуживаетъ вниманїя, что „Доли“ или „Счастья“ братьевъ въ развитїи дѣйствїя не участвуютъ и даже вовсе не выступаютъ во второй части. Счастье бѣднаго брата обѣщаетъ ему помочь, если онъ займется купеческими дѣлами, которыя оно лучше знаетъ, чѣмъ крестьянскую работу. Но на самомъ дѣлѣ онъ богатѣетъ оттого, что благодаря собственной находчивости сумѣлъ избавиться отъ обитавшаго въ его избѣ Горя. Не совсѣмъ понятно, далѣе, какимъ это образомъ Горе доводитъ богатаго брата до нищеты, если о его благосостояніи неусыпно печется его Счастье. Тутъ есть нѣкоторое противорѣчіе: мотивъ „о двухъ Доляхъ“ первой части сказки и мотивъ „о Горѣ“ второй части плохо вяжутся между собою. Очевидно, два разсказа, первоначально ничего общаго между собою не имѣвшіе, соединены вмѣстѣ. И дѣйствительно, оба разсказа встрѣчаются независимо другъ отъ друга,—то отдѣльно, въ видѣ самостоятельныхъ сказокъ, то въ соединенїи съ разными другими сказочными темами.

Прежде всего остановимся на первомъ разсказѣ. Общая схема его слѣдующая. Противопоставляются другъ другу счастливецъ и неудачникъ. Счастливецъ во всемъ имѣетъ удачу и, не прилагая никакого старанїя, сверхъ мѣры богатѣетъ; неудачнику, напротивъ, ничего въ прокъ не идетъ, и онъ несмотря на всѣ усилїя и все трудолюбіе все болѣе бѣднѣетъ и впадаетъ въ крайнюю нищету. Неудачникъ при томъ или иномъ случаѣ узнаетъ, что разное счастье его и противопологаемаго ему лица зависитъ отъ разнаго къ обоимъ отношенїя какихъ-то демоническихъ существъ, олицетворяющихъ собою счастье или долю того и другого. Доля богатаго неустанно на него работаетъ и неусыпно о немъ печется,

¹⁾ *Матерїалы для изученїя... Северо-Западнаго края*, т. II (= Сборникъ Отд. русск. яз. и словесн. Имп. Акад. Наукъ, 57, 1893), стр. 157, подъ заглавіемъ „Счастье и Горе“.

доля-же бѣдняка ничего не дѣлаеть и вполне равнодушно или даже враждебно относится къ интересамъ своего хозяина. Но этотъ послѣдній, открывъ причину своихъ бѣдствій, дѣлаеть внушение своей долѣ и заставляеть ее исправиться. Послѣ этого онъ въ скоромъ времени достигаетъ благосостоянія.

Въ такой формѣ эта сказка очень распространена въ Россіи. Противопоставляемья другъ другу лица обыкновенно—два брата, поровну раздѣлившіе отцовское наслѣдство,—черта, не лишенная смысла и вполне цѣлесообразная для экономіи разсказа: ею подчеркивается первоначальное равенство матеріальнаго положенія обоихъ выводимыхъ лицъ. Черемѣна въ счастіѣ бѣдняка происходитъ обыкновенно оттого, что онъ по указанію своей Доли мѣняеть родъ своихъ занятій. Обращикомъ можетъ служить бѣлорусская сказка, сообщенная Е. Р. Романовымъ ¹⁾.

Два брата подѣлились. Одинъ быстро разбогатѣлъ, хотя мало работалъ; другой при всемъ трудолюбіи ничего не имѣлъ. Однажды бѣднякъ вышелъ рано утромъ на свое поле и видитъ—по нивѣ брата кто-то ходитъ и собираеть оставшіеся послѣ жатвы колосья, складывая ихъ въ стоявшіе на полѣ снопы. Оказывается, что это братнина Доля. „А моя гдѣ?“ спрашиваетъ бѣднякъ. „Лежить твоя Доля подъ яблоней въ поповомъ саду, въ красномъ жупанѣ. Коли яблоко попадетъ въ ротъ, она его съѣстъ, а не попадетъ, то и такъ живетъ“. По совѣту братнины Доли, бѣднякъ отыскалъ свою собственную и сталъ ее стегать кнутомъ. Она объясняетъ, что не желаетъ заниматься пахотою, и совѣтуетъ ему взяться за торговлю. Бѣднякъ такъ и сдѣлалъ; ему повезло, и сталъ онъ богатый, разбогатый купецъ.

Вмѣсто двухъ братьевъ въ другихъ вариантахъ выступаютъ богачъ и его бѣдный работникъ ²⁾, или богатый и бѣдный сосѣди ³⁾.—Доля счастливца обыкновенно изображается въ видѣ кра-

¹⁾ Е. Р. Романовъ, *Бѣлорусскій сборникъ*, вып. IV (Витебскъ 1891), № 35 (стр. 46).

²⁾ Въ малорусскомъ вариантѣ у П. В. Иванова, *Народные разсказы • Доля*. Сборникъ Харьк. Истор.-Филол. Общ. т. IV (1892), стр. 82, № 7.

³⁾ Ивановъ, I. I. p. 84, № 9.

сивой, одѣтой въ бѣлое ¹⁾ женщины, переносящей колосья или снопы съ поля бѣднаго на поле богатаго ²⁾, или пересаживающей плодовыя деревья изъ сада бѣднаго въ садъ богатаго ³⁾, или заговяющей рыбу изъ сѣтей неудачника въ сѣти счастливца ⁴⁾. Доля неудачника тоже чаще всего является подъ видомъ женщины: она валяется въ лѣсу подъ дубомъ ⁵⁾ или „за пенькомъ за гнилымъ“ ⁶⁾; спитъ на лѣсной полянѣ въ образѣ дряхлой старухи, сверху обросшей мхомъ ⁷⁾; обитаетъ въ дуплѣ дуба въ видѣ голой женщины ⁸⁾. Она „лежитъ на камнѣ у рѣки вверхъ брюхомъ, да пѣсни поетъ, да въ гусли играетъ ⁹⁾; она гуляетъ и пляшетъ въ трактирѣ ¹⁰⁾, спитъ на полу корчмы ¹¹⁾, торгуетъ на рынкѣ или у купца за лавками ¹²⁾.

Въ одномъ случаѣ Доли, какъ Счастье въ приведенной выше сказкѣ у Аѳанасьева, представлены лицами мужского пола—Доля неудачника въ видѣ голаго мужика, Доля богатаго въ видѣ мужика, наряженнаго въ хорошую одежду ¹³⁾.

Иногда Доли выступаютъ въ видѣ животныхъ. Въ вариантѣ, сообщаемомъ изъ Галиціи, Доля счастливца въ видѣ мыши перета-

¹⁾ Ивановъ, I. I. p. 82, № 7. Въ разсказѣ „*Дѣя Доли*“, передѣланномъ Л. И. Боровиковскимъ изъ малорусской сказки (Отечеств. Зап. 1840, II *Смѣсь*, стр. 42—44), наоборотъ, Доля счастливца „блѣдная въ нищенскомъ рубищѣ дѣвка“, денно и ночью трудящаяся за своего господина, а Доля неудачника—„разряженная барыня—блоручка“, гуляющая въ зеленой дубравѣ. Тутъ мы, по всей вѣроятности, имѣемъ дѣло съ произвольнымъ измѣненіемъ составителя разсказа.

²⁾ П. П. Чубинскій, *Малорусскія сказки* (= Труды этнограф.-статист. экспедиціи въ западно-русскій край, т. II. 1878), стр. 426, № 128. Ивановъ, I. I. p. 80, № 5; p. 81, № 6; p. 82, № 7; p. 84, № 9; p. 85, № 11. М. Драгомановъ, *Малорусскія народныя преданія и разсказы*, Кіевъ 1876, стр. 182, № 19.

³⁾ Чубинскій, I. I. p. 424, № 127. Здѣсь, однако, Доля счастливца слилась съ Долей неудачника въ одинъ образъ.

⁴⁾ Аѳанасьевъ, *Сказки*, стр. 236, вариантъ.

⁵⁾ Ивановъ, I. I. p. 84, № 9.

⁶⁾ М. К. Васильевъ, *Этнограф. Обзоръ*. XV (1892), 165.

⁷⁾ Ивановъ, I. I. p. 82, № 8.

⁸⁾ Ивановъ, I. I. p. 84, вариантъ къ № 9.

⁹⁾ Аѳанасьевъ, стр. 236.

¹⁰⁾ Ивановъ, стр. 80, № 5.

¹¹⁾ Чубинскій, I. I. p. 426, № 128; Ивановъ, стр. 81, № 6.

¹²⁾ Драгомановъ, I. I. p. 182, № 19; Ивановъ, стр. 82, № 7.

¹³⁾ Ивановъ, стр. 85, № 11.

скиваетъ колосья изъ сноповъ бѣднаго брата въ снопы богатаго¹⁾; точно также въ вариантѣ, записанномъ въ Харьковской губерніи, Доля бѣдняка выводится въ видѣ мыши²⁾. Потобня³⁾ и Веселовскій⁴⁾, которымъ извѣстенъ былъ только галицкій вариантъ, придавали ему особое значеніе. Считая, вмѣстѣ съ Либрехтомъ и другими фолклористами, мышъ „зооморфическимъ“⁵⁾ образомъ души, они видятъ тутъ слѣдъ первобытнаго анимизма, якобы подтверждающій исконное тождество доли съ душою. Не вдаваясь въ вопросъ о томъ, съ какимъ правомъ мышъ принимается за олицетвореніе души, замѣтимъ только, что такое-же символическое значеніе пришлось бы признать и за разными другими животными. Дѣло въ томъ, что въ иныхъ вариантахъ Доля является то въ видѣ утки, перетаскивающей на поле богатаго брата носѣянное бѣднымъ зерно⁶⁾, то въ видѣ гадюки⁷⁾, то въ видѣ кошки⁸⁾, то въ видѣ щенка⁹⁾. Едва ли кто нибудь станетъ утверждать, что все это ипостаси души, отголоски анимизма¹⁰⁾.

¹⁾ Драгомановъ, стр. 411, по Игнатію зъ Ніковичъ (*Казки*, Львовъ 1861, стр. 69).

²⁾ Ивановъ, стр. 85, № 11.

³⁾ I. I. p. 171.

⁴⁾ I. I. p. 221.

⁵⁾ Замѣтимъ кстати, что вмѣсто „зооморфическій“ правильнѣе было бы говорить „теріоморфическій“, такъ какъ ζῷον = „живое существо“ (не исключая человѣка), θῆρίον = „звѣрь“.

⁶⁾ Ивановъ, стр. 82, № 8.

⁷⁾ Ивановъ, стр. 85, № 11.

⁸⁾ Ивановъ, стр. 84, № 10.

⁹⁾ Ивановъ, стр. 88, № 16.

¹⁰⁾ На вопросѣ о томъ, какъ объяснить различные звѣриные образы Доли, мы намѣренно не останавливаемся: каждый случай требуетъ отдѣльнаго разсмотрѣнія, а это завело-бы насъ слишкомъ далеко. Замѣтимъ однако, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно констатировать вліяніе другихъ сказочныхъ мотивовъ. Такъ напр. утка по всей вѣроятности взята изъ сказки про чудесную птицу (курицу, гусыню, утку), съѣвши которую человѣкъ достигаетъ высшихъ почестей и несмѣтныхъ богатствъ (сказка эта, какъ мы ниже увидимъ, часто бываетъ соединена со сказкою о двухъ Доляхъ). Въ другихъ случаяхъ теріоморфизмъ Доли могъ произойти оттого, что человѣкъ, знавшій разсказъ о двухъ Доляхъ, соединилъ его съ кѣкимъ нибудь сдѣланнымъ имъ въ дѣйствительной жизни наблюденіемъ. При видѣ напр. мышъ, переносящей колосья изъ скирды одного сосѣда въ скирду другого, у такого человѣка могла явиться мысль, что эта мышъ—Доля послѣдняго. Что помимо всякой анимистической символики какому нибудь звѣрю, случайно—внезапнымъ ли появленіемъ или необычнымъ поведеніемъ—поразившему воображе-

Перемѣна къ лучшему въ дѣлахъ неудачника происходитъ обыкновенно оттого, что онъ по совѣту своей Доли бросаетъ хлѣбпашество и берется за торговлю ¹⁾. Въ одномъ малорусскомъ варіантѣ онъ по указанію Доли открываетъ шинокъ ²⁾, въ другомъ—богатѣетъ отъ пчеловодства ³⁾; еще въ другомъ сама Доля, исправившись отъ лѣни и нерадѣнія, усердной работой доставляетъ благосостояніе своему хозяину ⁴⁾.—Есть наконецъ цѣлый рядъ варіантовъ, въ которыхъ Доля даритъ бѣдняку какой нибудь волшебный предметъ, отъ котораго онъ чудеснымъ образомъ богатѣетъ. Но тутъ мы имѣемъ дѣло уже со сказками составными, аггломеративными, въ которыхъ разсказъ „о двухъ Доляхъ“ расширенъ прибавленіемъ другихъ самостоятельныхъ сказочныхъ мотивовъ. Отмѣтимъ нѣсколько такихъ соединеній.

Доля вручаетъ неудачнику волшебный перстень, имѣющій силу, по желанію его обладателя, вызывать одаренныхъ сверхъестественными силами слугъ ⁵⁾—мотивъ, широко распространенный въ сказочной литературѣ ⁶⁾.—Доля даетъ бѣдняку птицу (курочку, утку, гусыню), несущую золотыя яйца и самоцвѣтные камни ⁷⁾—не менѣе излюбленный сказочный мотивъ ⁸⁾.—Дальнѣйшимъ развитіемъ этой формы можетъ считаться сложная сказка, записанная въ разныхъ

нѣ близкаго къ природѣ чловѣка, послѣдній можетъ приписать таинственное значеніе въ связи съ какой нибудь занимающей его умъ идеей, доказываетъ сообщенный у Иванова стр. 78 характерный разсказъ одного малоросса. Къ остановившимся въ степи на ночлегъ чумакамъ внезапно прилетѣла „какая то птыця велика та чорна“ и съ крикомъ закрутилась надъ однимъ изъ нихъ. „Отъ мій батько перехрестывсь тай каже: „що це, Боже мій... де вона взялась!... це щось тобі буде, Охриме, це твоя Доля або Недоля, бо вона койколы ни-ни, тай провида чоловика. Бо я вже не мало проживь на биломъ свити, багато чувъ, що людю гомонять, а де що и самъ бачивъ“.

¹⁾ Аванасьевъ № 171 и 172; Романовъ IV, № 35; Ивановъ, стр. 82, № 8; Драгомановъ, стр. 183.

²⁾ Ивановъ, стр. 81, № 6.

³⁾ Ивановъ, стр. 77, № 1.

⁴⁾ Ивановъ, стр. 80, № 5.

⁵⁾ Ивановъ, стр. 85, № 11. Чубинскій, стр. 426, № 128 (сокращенная форма).

⁶⁾ Указанія на литературу см. у Reinh. Köhler, Kleine Schriften I, 63, 440.

⁷⁾ Ивановъ, стр. 84, № 9.

⁸⁾ Reinh. Köhler, Kleine Schriften I, 409. F. v. d. Leyen, Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Literaturen Bd. 116 (1906), S. 23 Anm. безъ всякаго основанія считаетъ, что этотъ мотивъ—индійскаго происхожденія.

мѣстахъ Малороссіи ¹⁾. Птица, подаренная Долею неудачнику, оказывается обладающей чудеснымъ свойствомъ. Кто съѣстъ ея сердце (или голову), тому предстоитъ сдѣлаться царемъ; а кто съѣстъ ея печень (или иную часть) тому суждено стать богатымъ (или королемъ, по инымъ вариантамъ). У владѣльца ея есть невѣрная жена, любовникъ которой, провѣдавъ о волшебномъ качествѣ птицы, желаетъ имъ воспользоваться. Онъ уговариваетъ свою любовницу зарѣзать и изжарить драгоценную птицу. Но случайно сыновья хозяйна съѣдаютъ какъ разъ чародѣйственныя части приготовленнаго блюда, и одинъ изъ нихъ—послѣ разныхъ чудесныхъ приключеній—дѣлается царемъ, а другой—богатымъ купцомъ (или королемъ). Такимъ образомъ, къ мотиву о волшебной птицѣ, дающей богатства своему хозяину, примкнулъ мотивъ о сообщеніи чудесныхъ даровъ черезъ вкушеніе той или иной части извѣстнаго животнаго ²⁾, мотивъ, въ данномъ случаѣ осложненный въ свою очередь другими сказочными эпизодами („невѣрная жена“, „чудесное избраніе на царство“ и т. д.).

III.

Разсказъ о двухъ Доляхъ, распространенный въ столь многочисленныхъ великорусскихъ, бѣлорусскихъ, малорусскихъ вариантахъ, встрѣчается не только у русскаго, но и у многихъ другихъ народовъ. Прежде всего укажемъ на одну грузинскую сказку. Про-

¹⁾ Чубинскій, стр. 424, № 127 (изъ Радомысльскаго уѣзда Кіевской губ.). И. И. Манжура, *Сказки, пословицы и т. д.* (Сборникъ Харьков. Истор.-Филол. Общ., т. II, 1890), стр. 52—54 (изъ Харьков. губ.). Iosefa Moszyńska, *Wajki i zagadki ludu ukraińskiego* (= *Zbiór wiadomości do antropologii krajowej*, t. IX, 1885), стр. 89 (изъ Галичины).

²⁾ Ср. Веселовскаго, *Разысканія* вып. VI (= Сборникъ отд. русск. яз. и слов. т. 53. 1892), стр. 179 сл. Лежачія въ основѣ этого любопытнаго мотива возрѣнія Г. В. весьма удачно объясняетъ сравненіемъ съ вѣрованіями и обычаями современныхъ дикарей. Но средняя представленія существовали также у древнихъ народовъ, а самый мотивъ встрѣчается и въ античныхъ мифахъ и сказаніяхъ; см. Πολίτης, *Μελέται περί τοῦ βίου καὶ τῆς γλώσσης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ*. Παράδοσις ('Αθήναι 1904), pp. 1123—1135.—Оба мотива (о птицѣ, несущей драгоценныя яйца и о приобрѣтеніи чудесныхъ свойствъ указаннымъ страннымъ путемъ) слились, впрочемъ, уже внѣ разсматриваемаго выше сказочнаго комплекса; см. Аванасьева, № 114 и 115, и указываемую въ примѣчаніи къ последнему номеру литературу.

тивополагаются другъ другу богачъ, владѣлецъ безчисленныхъ стадъ и табуновъ, и бѣднякъ, немущій и лѣнивыѣ. Бѣднякъ случайно открываетъ, что за стадами богача ходитъ какой-то маленькій человѣчекъ съ сіяющимъ, какъ огонь, лицомъ. Это—счастье богатаго хозяина. Отъ него бѣднякъ узнаетъ, что его собственное счастье спитъ подъ кустомъ на холмѣ. Оно имѣетъ видъ высохшаго, безобразнаго человѣка. На упреки бѣдняка его Счастье отвѣчаетъ, что оно дѣлаетъ то же, что онъ самъ. Если онъ станетъ трудиться, то и оно возьмется за работу. Бѣднякъ одумался, принялся за работу; перестало бездѣйствовать и его Счастье, и онъ разбогатѣлъ и зажилъ счастливо.

По смыслу своему эта сказка очень близка къ русской; она заходитъ только еще далѣе, ставя Долю въ зависимость отъ образа дѣйствій связаннаго съ нею человѣка.

Иную мысль проводитъ сербскій разсказъ, вошедшій въ сложный сказочный комплексъ, прекрасно изложенный еще Вукомъ Караджичемъ ²⁾ и пользующійся поэтому большой извѣстностью. Изъ двухъ братьевъ, раздѣлившихъ отцовское имущество, одинъ былъ безпеченъ и лѣнивъ, но во всемъ преуспѣвалъ. У другого несмотря на его трудолюбіе все шло не впрокъ, и онъ разорился. Отправившись однажды къ брату, чтобы посмотрѣть его житье, онъ по дорогѣ встрѣчаетъ прекрасную дѣвицу, пасущую стадо овецъ и прядущую золотую нить: это Среча (= Доля) богатаго брата, наблюдающая за его имуществомъ, виновница его благосостоянія. Она сообщаетъ неудачнику, что его собственная Среча находится гдѣ-то далеко. Отъ брата, сжалившагося надъ его бѣдностью, бездольный получаетъ пару постоловъ и идетъ дальше, чтобы разыскать свою Сречу. Въ лѣсу онъ находитъ грязную, безобразную старуху, спящую подъ дубомъ, и будитъ ее ударомъ палки. Открывъ гнойные глаза, старуха въ ярости восклицаетъ: „Благодари Бога, что я спала, а то не видать бы тебѣ и этихъ постоловъ“!—Продолженіе сказки составлено изъ разныхъ мотивовъ, ничего общаго съ разсказомъ о двухъ Доляхъ неимѣющихъ. Узнавъ, что злая Среча

¹⁾ *Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа*, вып. X, отд. 3, стр. 49 сл. Ср. Веселовскаго. *Разысканія VI* (Сборн. 53, 1892), стр. 182.

²⁾ В. Караджичъ, *Сербскія сказки*, № 13.

дана ему Усудомъ, бездольный отправляется къ послѣднему, чтобы спросить его о причинѣ столь несправедливаго къ нему отношенія. По дорогѣ туда разныя лица поручаютъ ему вывѣдать у Усуда, почему то или другое у нихъ не ладится—мотивъ, широко распространенный въ сказочной литературѣ многихъ народовъ ¹⁾. Отъ Усуда неудачникъ узнаетъ, что счастье или несчастье человѣка зависитъ отъ времени его рожденія—отзвукъ античнаго вѣрованія въ „родъ“ (γένεσις, genitura) ²⁾. Тѣмъ не менѣе Усудъ указываетъ бездольному средство, какъ избавиться отъ прирожденной ему неудачливости: онъ совѣтуетъ ему жениться на дочери счастливаго брата, что тотъ и исполняетъ, послѣ чего во всемъ имѣетъ удачу.

Выдѣленный нами изъ сложнаго сербскаго повѣствованія рассказъ о двухъ Доляхъ по матеріальному содержанию до мелочей совпадаетъ съ русской сказкой: тѣ же два брата, раздѣлившіе отцовское наслѣдство, то же посѣщеніе удачника бездольнымъ, тѣ же подробности въ изображеніи Долей обоихъ братьевъ: Доля счастливица въ видѣ прекрасной дѣвницы работаетъ на своего хозяина, Доля неудачника спитъ въ лѣсу подъ деревомъ ³⁾. Тѣмъ не менѣе

¹⁾ Богатѣйшую литературу по этому мотиву указываютъ Reinh. Köhler въ Archiv für slav. Philologie V (1880), S. 74; Веселовскій, *Разысканія* V, стр. 166 сл.; R. Köhler, Aufsätze über Märchen und Volkslieder (Berlin 1894), S. 115—116; E. Kuhn, Byzant. Zeitschr. IV (1895), S. 245 f. Мнѣніе Куна, будто этотъ Fragenmotiv буддійскаго происхожденія, совершенно произвольно.—Въ Усудѣ сербской сказки Веселовскій I. I. стр. 225 склоненъ видѣть самостоятельное развитіе—„виѣ постороннихъ ученій и вліяній“—славянской идеи судьбы. Fr. S. Krauss, Sreća. Glück und Schicksal im Volksglauben der Südslaven (Wien 1886), S. 107 f. предполагаетъ, что эта фигура сложилась подъ восточными вліяніями. Въ византийскомъ стихотвореніи *Λόγος παρῆγορητικὸς περὶ Εὐτοχίας καὶ Δυστοχίας* (изд. Sp. Lambros, Collection de romans grecs en langue vulgaire, Paris 1880, p. 289 sqq.; ср. R. Köhler, Aufsätze, S. 116) Усуду соответствуетъ *Χρόνος*; это самое античное олицетвореніе времени даетъ отвѣты на предлагаемые прибывшимъ къ нему человѣкомъ вопросы и въ 38-ой сказкѣ Пентамерона Basile. Не является поэтому слишкомъ рискованнымъ предположеніе, что прототипъ Усуда—древне-греческій Хроносъ, отецъ умолимой судьбы (Necessitas), по философско-поэтическимъ воззрѣніямъ позднѣйшихъ орфиковъ.

²⁾ Ср. Веселовскаго, *Разысканія* V, стр. 235. Чтобы славянскія вѣрованія въ „родъ“ были независимы отъ античныхъ, кажется намъ мало правдоподобнымъ.

³⁾ Эта черта повторяется и въ другихъ южно-славянскихъ сказкахъ, въ которыхъ среди иного рода повѣствованій встрѣчается отдаленный отзвукъ

основная идея противоположна смыслу русской сказки. Въ сербскомъ разсказѣ проводится мысль, что бездольный никакъ и ни въ чемъ не можетъ имѣть удачи: не безъ юмора изображается, какъ даже малѣйшая выгода можетъ ему достаться развѣ только благодаря временной, случайной оплошности его Доли.

Ту же самую тенденцію имѣеть неаполитанскій простонародный разсказецъ, сообщенный Р. Кёлеромъ ¹⁾ изъ малонзвѣстнаго сборника какого-то Michele Somma. Суть этого разсказа состоитъ въ слѣдующемъ: какой-то богачъ, тяготясь своимъ чрезмѣрнымъ счастьемъ, даритъ своему бездольному слугѣ полпіастра и посылаетъ его къ своей Долѣ, чтобы онъ упросилъ ее не взыскивать его болѣе своими милостями, такъ какъ у него уже всего болѣе чѣмъ вдоволь. Слуга отправляется и на высокой горѣ находитъ Долю своего господина въ видѣ прекрасной молодой женщины. Она объявляетъ ему, что никогда не перестанетъ осыпать его господина своими благостынями. На той же горѣ слуга находитъ и свою собственную Долю въ видѣ отвратительной, злой старухи. Она съ бранью набрасывается на неудачника и кричитъ, что даже тѣ полпіастра онъ никогда не получилъ-бы, если бы она случайно въ то время не вздремнула.

Съ этимъ разсказомъ Р. Кёлеръ сопоставилъ андалузійское народное повѣствованіе ²⁾, отличающееся только слѣдующей подробностью: бѣднякъ, который тутъ является не слугою богача, а постороннимъ ему человѣкомъ, передъ тѣмъ какъ отправиться на гору, гдѣ обитають Доли ³⁾, вступаетъ въ весьма неудачный для

мотива о двухъ Доляхъ. Такъ, въ одной сербской сказкѣ (F. S. Krauss, Sreća, S. 104) мимоходомъ упоминается, что Среча какого-то неудачника спитъ за пнемъ; а въ одной боснійской сказкѣ Среча богатаго дяди ходитъ за его скотомъ, тогда какъ Среча бѣднаго племянника спитъ за терновымъ кустомъ (Krauss, l. l. p. 66). См. ниже стр. 18, пр. 3.

¹⁾ R. Köhler, Aufsätze, S. 100. Въ примѣчаніи указывается, что третьимъ изданіемъ сборникъ Соммы выпшелъ въ 1821 году. Его составленіе поэтому по всей вѣроятности относится къ XVIII или къ началу XIX в.

²⁾ R. Köhler, l. l. S. 102. Андалузійская сказка была обработана испанской писательницей Фернанъ Кабальеро. По обработкѣ послѣдней изложилъ содержаніе сказки F. Wolf, Beiträge zur spanischen Volkspoesie aus den Werken Fernan Caballeros, Sitzungsber. d. Wiener Akad. hist. phil. Klasse XXXI (1859), S. 214. Имъ воспользовался Р. Кёлеръ.

³⁾ Нѣтъ сомнѣній, что рѣчь идетъ именно о Доляхъ, т. е. существахъ, олицетворяющихъ личное счастье богача и бѣдняка. Въ нѣмецкомъ пересказѣ

него торгъ съ богачемъ. Отвергнувъ предложенное хорошее вознагражденіе какъ слишкомъ малое, онъ затѣмъ, одумавшись, соглашается; но тутъ богачъ даетъ уже меньшую сумму; бѣднякъ снова отказывается и снова соглашается; тогда богачъ опять уменьшаетъ вознагражденіе и т. д. Въ концѣ концовъ бѣднякъ отправляется въ путь за незначительную часть первоначально предложенной суммы.

Что этотъ мотивъ, напоминающій собою покупку царемъ Тарквиніемъ Сивиллиныхъ книгъ¹⁾, есть исконная часть разсказа, доказываетъ третій приводимый Р. Кёлеромъ памятникъ. Это—первая повѣстенка составленнаго итальянскимъ гуманистомъ Лаврентіемъ Абстеміемъ сборника, напечатаннаго въ 1499 году подъ заглавіемъ *Necatomythium Secundum*²⁾. Въ ней также богачъ посылаетъ бѣдняка къ Фортунѣ съ тѣмъ же порученіемъ, предлагая за путь 100 золотыхъ. Бѣднякъ также отказывается, но послѣ неудачнаго торга въ концѣ концовъ идетъ за 10 золотыхъ. Отыскавъ Фортуну, онъ проситъ ее не давать богачу новыхъ богатствъ, которыми тотъ только тяготится, а лучше удѣлить кое-что ему, съ молодости живущему въ постоянной нуждѣ. Но Фортуна отвѣчаетъ: „я по прежнему буду умножать состояніе богача, тебя же заставлю весь вѣкъ прожить въ крайней бѣдности. Знай, что и тѣхъ десяти золотыхъ ты никогда не получилъ-бы, если бы я въ то время не снала“. Въмѣсто личныхъ Долей богача и бѣдняка, выводимыхъ въ предыдущихъ разсказахъ, у Абстемія выступаетъ одна Фортуна, которая къ одному лицу относится благосклонно, къ другому враждебно. Въ этомъ нельзя не видѣть искаженія первоначальной концепціи. Выходитъ даже не совсѣмъ послѣдовательно: сонъ Фортуны отзывается на судьбѣ бѣдняка, но на судьбу богатаго не оказываетъ вліянія. Очевидно, и тутъ первоначально выступали двѣ индивидуальныя Доли, одна счастливая, другая несчастная.

Вольфа это мѣстами еще ясно выступаетъ (*das Glück des Reichen, ich bin nicht dein Glück, sprich mit deinem Glück*); въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, правда, какъ будто говорится о счастіи и несчастьи вообще. Самое заглавіе, данное Кабальеро разсказу (*La buena y la mala Fortuna*), въ этомъ смыслѣ не точно. Оно ввело въ заблужденіе Кёлера, стр. 104.

¹⁾ Gellius Noct. Atticae I, 19.

²⁾ R. Köhler, l. l. S. 99. Дата 1499 взята нами изъ *Bibliographie Universelle* s. v. *Abstemius*. Кёлеръ указываетъ 1505 г.

Къ тремъ повѣстенкамъ, сопоставленнымъ Р. Кёлеромъ, можно прибавить калабрійскую сказку, содержаніе которой сообщаетъ А. Н. Веселовскій по одному мѣстному періодическому изданію¹⁾. Разсказъ въ ней значительно сокращенъ. Не только пропущена сцена торга, но бѣднякъ вообще не получаетъ вознагражденія за исполненіе порученія богача. Отсутствуетъ поэтому и характерное заявленіе Доли бѣдняка, что онъ только благодаря ея временному невниманію успѣлъ нѣсколько поживиться. Сокращенія эти отчасти объясняются тѣмъ, что къ мотиву о двухъ Доляхъ примѣшаны другіе, изъ которыхъ главный, по замѣчанію г. Веселовскаго, напоминаетъ собою извѣстную сказку о кошкѣ Виттингтона.

Въ еще болѣе скомканномъ и искаженномъ видѣ разсказъ о двухъ Доляхъ входитъ въ составъ сложной сицилійской сказки въ сборникъ г-жи Гонценбахъ²⁾, составляя лишь эпизодъ среди другихъ мотивовъ. Въ интересующей насъ части этого сказочнаго комплекса разсказывается, какъ какая-то богатая барыня посылаетъ свою бездольную служанку на высокую гору съ порученіемъ отыскать ея Долю и поднести ей хлѣбовъ³⁾. Доля богатой барыни въ видѣ прекрасной, статной женщины благосклонно принимаетъ подношеніе и показываетъ служанкѣ ея собственную Долю: она, оказывается, спитъ, укрывшись семью одѣялами, и потому не слышитъ, когда бездольная взываетъ къ ней въ своихъ бѣдахъ. Разбуженная, она весьма непривѣтливо встрѣчаетъ бѣдняжку и только по заступничеству другой Доли смягчается и даритъ дѣ-

¹⁾ *Разысканія* VI (= Сборникъ 53, 1892), стр. 177.

²⁾ Laura Gonzenbach, *Sicilische Märchen* (Leipzig 1864) № 21 (I p. 130).

³⁾ Точно также кладутъ требы новогреческимъ мирамъ; см. Thumb, *Zur neugriechischen Volkskunde*, *Zeitschr. d. Vereines f. Volkskunde* II (1892), p. 128. Небезынтересна повторяющаяся въ южныхъ изводахъ черта, что Доли живутъ на высокихъ горахъ. Такъ и новогреческія миры представляются обитающими на вершинахъ горъ: Bernh. Schmidt, *Das Volksleben der Neugriechen* (1871), S. 211; Thumb l. l. p. 126, 1. Едва-ли позволительно видѣть въ этой чертѣ воспоминаніе о горѣ Олимпѣ, обиталищѣ древнегреческихъ боговъ (Шмидтъ). Вершины горъ являются тутъ скорѣе просто въ смыслѣ мѣстъ недоступныхъ, безлюдныхъ, пустынныхъ, населенныхъ одними духами (ср. отсылку болѣзней *εἰς ὄρεων χορράς* въ древнегреческомъ заклинаніи, Нупп. *Orph.* 36, 16). Вершинѣ горъ въ сербскихъ и русскихъ сказкахъ соответствуетъ, какъ мы видѣли, лѣсная чаща, имѣющая тотъ же смыслъ.

вушкѣ моточекъ краснаго шелку, благодаря которому несчастная служанка впоследствии дѣлается невѣстой королевича.

Скомканный и обезцвѣченный вариантъ представляетъ собою другая сицилійская сказка, помѣщенная въ сборникѣ Питрэ¹⁾.—Наконецъ, этотъ самый разсказъ въ сокращенномъ и измѣненномъ видѣ вошелъ въ составъ румынской сказки, содержаніе которой сообщаетъ А. Н. Веселовскій²⁾. Румынскій вариантъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ стоитъ ближе къ сказкѣ у г-жи Гонценбахъ, чѣмъ вариантъ у Питрэ; но ни въ томъ ни въ другомъ нѣтъ той весьма характерной черты, что причиною бѣдствій, постигающихъ несчастную дѣвушку, является непробудный сонъ ея Доли.

Разсказъ о двухъ Доляхъ существуетъ также у современныхъ грековъ. Въ сказкѣ, сообщаемой Ганомъ³⁾, неудачникъ, нашедши свою Долю, хватаетъ ее за волосы и не отпускаетъ, пока она не обѣщаетъ сдѣлать его богатымъ. Доля даритъ ему курицу, несущую золотыя яйца и обладающую еще другимъ чудеснымъ качествомъ: кто съѣстъ ея голову, сдѣлается царемъ, кто съѣстъ ея сердце, будетъ вѣдать сердца людей, кто съѣстъ ея печень, станетъ богачемъ. Развитіе дѣйствія идетъ по обычной схемѣ. Понимка Доли неудачникомъ—безъ всякаго сомнѣнія сокращеніе болѣе полнаго мотива „о двухъ Доляхъ“. Это и само по себѣ ясно и подтверждается указанными выше малорусскими вариантами, въ которыхъ мотивъ о двухъ Доляхъ также связанъ съ мотивомъ о чудесной птицѣ.

Разсказъ о двухъ Доляхъ въ Греціи повидимому быть извѣстенъ уже въ XVI столѣтіи. Въ византійской поэмѣ, озаглавленной въ сохранившейся ея рукописи (XVI вѣка) „Утѣшительное слово о Счастьѣ и Несчастьѣ“⁴⁾, замѣчается нѣкоторый, хотя и отдаленный, отзвукъ его. Поэма эта по главному содержанію и общему складу представляетъ собою сказку типа „путешествія къ судьбѣ“⁵⁾. Бездольный юноша, предпринимавшій это путешествіе, попадаетъ сна-

¹⁾ G. Pitré, *Fiabe, novelle, racconti*. № 86. *La sfortuna* (vol. II, 1874, p. 257 sqq.). Ср. Веселовскаго, *Разысканія VI*, стр. 176.

²⁾ Веселовскій, *Разысканія V*, стр. 258.

³⁾ Nahn, *Griech u. alban. Märchen* (Lpz. 1866) I, № 36.

⁴⁾ Λόγος παρηγορητικός περί Εὐτυχίας καὶ Δυστυχίας.—см. выше, стр. 15. прим. 1. Ср. Krumbacher, *Gesch. d. byzant. Literatur*², S. 811; E. Kuhn, *Byzant. Ztschr.* IV, 247.

⁵⁾ „Reise zum Schicksal“, по терминологіи R. Köhler'a. Ср. выше, стр. 15.

чала къ богу времени Хроносу, затѣмъ къ Несчастью (*Δοστοχία*) и Счастью (*Εὐτοχία*). Но кромѣ того онъ встрѣчаетъ еще двухъ женщинъ—безобразную старуху и прекрасную, разодѣтую въ богатое оѣлое платье дѣвицу. Первая—служанка Несчастья, вторая—служанка Счастья. Появленіе этихъ фигуръ совершенно излишне для экономіи разсказа; онѣ никакого участія въ развитіи дѣйствія не принимаютъ. Авторъ поэмы, очевидно, взялъ ихъ готовыми изъ какого-нибудь другого произведенія—по всей вѣроятности, изъ разсказа о двухъ Доляхъ; но онъ не понялъ ни значенія самихъ фигуръ ни смысла ихъ встрѣчи съ бездольнымъ юношей.

IV.

И такъ, сказка о двухъ Доляхъ встрѣчается у русскихъ, грузинъ, сербовъ, грековъ, румынъ, италіянцевъ, испанцевъ. Въ сѣверо-западной Европѣ она, повидимому, неизвѣстна. По крайней мѣрѣ, просмотрѣвъ многочисленные сборники сказокъ нѣмецкихъ, затѣмъ скандинавскихъ и французскихъ, мы не нашли ни одного слѣда нашего мотива. Еще доказательнѣе, конечно, то, что такіе знатоки фолклора, какъ R. Koehler и Веселовскій, не указываютъ ни одного сѣверо-западнаго варианта.

Заслуживаетъ вниманія разница въ тенденціи разсказа. Въ сербской, неаполитанской, андалузійской сказкахъ и въ повѣсткѣ Абстемія проводится мысль, что бездольный человѣкъ всегда и во всемъ имѣетъ неудачу; а если на его долю и выпадетъ какая-нибудь незначительная выгода, то это—успѣхъ случайный, временный, обусловленный случайнымъ невниманіемъ въ данный моментъ его Доли.

Совершенно иная идея лежитъ въ основаніи русскихъ сказокъ, а именно: даже самый несчастный, бездольный человѣкъ все-таки можетъ при случаѣ поправиться, избравъ напр. соотвѣствующій его дарованіямъ родъ занятій. Къ русскимъ сказкамъ примыкаетъ грузинская, въ которой однако эта идея получила слегка морализирующій отбѣнокъ: если человѣкъ самъ исправляется, то исправляется и его судьба.

Мы имѣемъ, стало быть, двѣ главныя группы вариантовъ. Въ первой, которую мы обозначаемъ буквою А, принадлежать многочисленные русскіе и грузинскіи варианты; вторую, обозна-

чаемую нами буквою В, составляют сербскій, неаполитанскій, андалузійскій и вариантъ Абстемія. Въ сказкахъ калабрійской, сициліанской и румынской неудачникъ (или неудачница) въ концѣ концовъ тоже достигаетъ улучшения своей участи, какъ въ группѣ А, но это является послѣдствіемъ того, что въ нихъ съ мотивомъ о двухъ Доляхъ слиты иные мотивы. Та черта, что неудачникъ по порученію счастливица отправляется отыскивать Долю послѣдняго и при этомъ находитъ свою собственную, сближаетъ ихъ со сказками неаполитанской и андалузійской и съ повѣстенкою Абстемія. Въ новогреческой сказкѣ эпизодъ съ Долей слишкомъ фрагментаренъ, чтобы можно было съ опредѣленностью сказать, къ которой изъ двухъ группъ она относится; но совпаденіе ея второй части (мотивъ чудесной курицы) съ малорусскимъ сказочнымъ комплексомъ (см. выше стр. 12 сл.) говоритъ въ пользу ея принадлежности къ группѣ А.

Въ тѣсной связи съ различіемъ основной идеи находится разница въ изображеніи непосредственной причины, обуславливающей неудачу бѣдняка. Въ группѣ А этой причиной является нерадѣніе Доли: она совсѣмъ забыла о вѣренномъ ей попеченію человѣкъ, гуляетъ себѣ беззаботно или спитъ непробуднымъ сномъ. Въ группѣ В, наоборотъ, Доля зорко слѣдитъ за зависящимъ отъ нея человѣкомъ, препятствуя всякому улучшенію его положенія.

Несмотря на противоположную тенденцію и на различія въ частностяхъ изложенія, обѣ группы не представляютъ собою разныхъ, независящихъ другъ отъ друга концепцій; это—два звена одного и того же основного разсказа. Соединительнымъ звеномъ между ними является сербская сказка. По своей идеѣ она принадлежитъ къ группѣ В: бѣднякъ ни въ чемъ не можетъ имѣть успѣха, потому, что его Доля настроена враждебно и ревниво слѣдитъ за тѣмъ, чтобы не произошло какого нибудь улучшенія въ его дѣлахъ; даже подаренные братомъ постолы онъ получилъ только благодаря случайной оплошности съ ея стороны. Но въ то же время внѣшнія рамки разсказа и его частности вполне совпадаютъ съ группою А: передъ нами два брата, раздѣлившіе отцовское наслѣдство; бѣднякъ отправляется къ богачу за помощью и по дорогѣ находитъ Долю брата; свою собственную Долю неудачникъ будитъ ударами палки—все черты, свойственныя группѣ А, но не встрѣчающіяся въ В.

Вопросъ о томъ, который изъ двухъ изводовъ сохранилъ разсказъ въ болѣе первоначальномъ видѣ, трудно рѣшить. Изводъ В отличается искусной, разсчитанной на эффектъ, композиціей и иронизирующимъ остроуміемъ—качества, придающія разсказу какъ бы характеръ эпитафмы. Въ А, напротивъ, благодушная мысль выражена въ незатѣйливой формѣ. Можно было бы поэтому предполагать, что изводъ В (западный) произошелъ изъ А (восточнаго), представляя собою дальнѣйшее его развитіе. Но возможно также, что, наоборотъ, болѣе искусный и сложный разсказъ В со временемъ былъ упрощенъ и, потерявъ стройность композиціи и элементъ ироніи, преобразовался въ изводъ А.—Какъ бы то ни было, сравненіе обоихъ изводовъ не даетъ никакихъ указаній на исторію разсказа.

Къ болѣе опредѣленному выводу приводитъ разсмотрѣніе того представленія, которое лежитъ въ основѣ разсказа. Ясно, что онъ предполагаетъ вѣру въ зависимость каждаго отдѣльнаго человѣка отъ особаго демоническаго существа, направляющаго его судьбу и какъ бы олицетворяющаго ее собою. Только у народа, вѣрующаго въ такую личную, индивидуальную Долю каждаго человѣка, могъ создаться подобный разсказъ. Правда, приходится допустить возможность, что, разъ сложившись, такой разсказъ могъ перейти и къ народамъ, не имѣющимъ этой вѣры. Мало того, широко распространившись, онъ мѣстами даже могъ вызвать такую вѣру. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Малороссіи несомнѣнно существуетъ вѣра въ личную Долю; матеріалъ, собранный П. В. Ивановымъ ¹⁾, не позволяетъ въ томъ сомнѣваться. Но весь вопросъ въ томъ, возникла-ли эта вѣра тутъ органически изъ общаго міросозерцанія народа, или же является она слѣдствіемъ широкаго распространенія занесеннаго извнѣ разсказа о двухъ Доляхъ? Мы склонны предполагать послѣднее; но крайней мѣрѣ, мы не знаемъ фактовъ, которые давали бы право ставить эту вѣру въ органическую связь съ общимъ міровоззрѣніемъ малорусскаго или вообще русскаго народа. Правда, Веселовскій, какъ мы видѣли выше, сдѣлалъ попытку связать вѣрованіе въ личную Долю съ культомъ предковъ и первобытнымъ анимизмомъ славянъ. Но эта апріорная конструкція, какъ мы убѣдились, не выдержи-

¹⁾ „Народные разсказы о Доляхъ“. Сборникъ Харьковского Историко-Филологическаго Общества IV, 1892, стр. 54—89.

ваеъ критики по самому методу своему; къ тому же она противорѣчитъ свидѣтельству Прокопія о томъ, что славяне не знали идеи Судьбы и не признавали ея вліянія на людей ¹⁾.

Вполнѣ понятнымъ и естественнымъ представляется вѣрваніе въ личную Долю съ точки зрѣнія римской религіи. Однимъ изъ характерныхъ свойствъ послѣдней была склонность специализировать функціи отдѣльныхъ божествъ и соотвѣтственно съ этимъ расщеплять и дробить самое понятіе божества,—дифференцировать его почти до безконечности. Рука объ руку съ этимъ стремленіемъ идетъ противоположная тенденція—интегрировать понятіе божества, т. е. объединять, суммировать, сливать воедино отдѣльныя его проявленія. Указанная особенность римской религіи прекрасно выяснена въ статьѣ проф. Ѳ. Ф. Зѣлинскаго ²⁾, къ которой и отсылаемъ читателя.

Древняя богиня Фортуна, почитавшаяся земледѣльческимъ населеніемъ Лациума какъ подательница урожая и приплода (Fortuna отъ *ferre*=приносить), у городскихъ жителей стала богиней удачи и счастья вообще. Въ силу отмѣченнаго стремленія къ дифференціаціи она со временемъ распалась на необозримое число отдѣльныхъ, специальныхъ Фортуновъ, приуроченныхъ къ опредѣленнымъ временамъ, мѣстамъ, дѣятельностямъ. Почиталась напр. Фортуна, ведущая къ побѣдѣ (Fortuna Dux), Фортуна, возвращающая войско изъ похода (Fortuna Redux), Фортуна, дарующая побѣду въ конномъ сраженіи (Fortuna Equestris), Фортуна сегодняшняго дня (F. huiusce diei), Ф. бань (F. balneorum), Ф. амбаровъ (F. horreorum) и т. д. ³⁾. Дифференцируется также кругъ лицъ, подвластныхъ Фортуновъ. Рядомъ со всѣмъ римскимъ народомъ (Fortuna populi Romani) отдѣльные группы людей получаютъ свою Фортуну. Безчисленныя надписи императорской эпохи называютъ намъ Фортуны такой-то коллегіи, Фортуны такого-то легіона или такой-то когорты, Фортуны такого-то рода, Фортуны такой-то семьи ⁴⁾. Дальнѣйшая въ этомъ направленіи дифференціація логически приводитъ къ представленію о Фор-

¹⁾ Ср. выше стр. 3.

²⁾ Вѣстникъ Европы 1903, Январь, стр. 5—37; Февраль, стр. 441—485.

³⁾ См. R. Peter у Roscher, *Lexicon der griech. u. röm. Mythol.* I col. 1514—1515; 1523. Вообще ср. G. Wissowa, *Religion u. Kultus der Römer* 1902 (= *Handb. Iw. Müller'a* V 4) S. 206 ff.

⁴⁾ R. Peter, l. l. col. 1521—1523.

тунѣ отдѣльныхъ лицъ. И дѣйствительно, вѣра въ личную, индивидуальную Фортуну или Долю хорошо засвидѣтельствована какъ римскими писателями, такъ и надписями. Становясь личной Долей, Фортуна сливается съ геніемъ, этимъ таинственнымъ двойникомъ человѣка, рождающимся и умирающимъ вмѣстѣ съ нимъ и оказывающимъ рѣшающее вліяніе на его судьбу ¹⁾. И такъ, вѣра въ личную Фортуну возникла путемъ естественной эволюціи изъ основныхъ религіозныхъ представленій римлянъ, безъ всякаго вліянія анимизма. Эта вѣра встрѣчается уже въ республиканскій періодъ Рима; она усиливается въ эпоху императоровъ, достигая особой интенсивности въ послѣднія времена древности. Насколько она была распространена въ IV в. по Р. Х., видно хотя бы изъ того, что у историка этого времени Амміана Марцеллина индивидуальныя Фортуны императоровъ и другихъ выдающихся лицъ являются однимъ изъ факторовъ, регулирующихъ ходъ мірового историческаго процесса.

Такимъ образомъ, почва, на которой только и могъ возникнуть разсказъ о двухъ Доляхъ, была создана римской религіей. Значить-ли это, что онъ сложился непременно у римлянъ? Мы допускаемъ и другую возможность. Мыслимо, что вѣра въ индивидуальную Фортуну перешла отъ римлянъ въ готовомъ видѣ къ другимъ народамъ ²⁾ и уже у одного изъ нихъ привела къ созданію нашего разсказа. Но на римлянъ указываетъ еще одна особенность послѣдняго—разумѣемъ ту черту, что Доли изображаются одна бодрствующей, другая—спящей. Это—чисто римское представленіе. По вѣрованію римлянина позднѣйшаго времени удачливость или неудачливость человѣка зависитъ отъ того, бодрствуетъ или спитъ его Фортуна. Когда императоръ Констанцій въ 354 г. выступилъ въ походъ противъ германцевъ, его солдаты не ждали успѣха, будучи увѣрены, что Констанцій имѣетъ удачу только въ

¹⁾ R. Peter, l. l. col. 1522. Wissowa l. l. 311 n. 9.

²⁾ У нѣмецкихъ поэтовъ, начиная съ XIII в., встрѣчаются выраженія въ родѣ *mein Saelde, dein Saelde, unser Saelde* (моя Доля, твоя Д., наша Д.). Ср. Гриммъ, *Deutsche Mythol.* * (1875) I 354 и III (дополненія Э. Г. Мейера) 260. У современныхъ грековъ древнегреческая общая *Μοῖρα* иногда представляется какъ личная Доля отдѣльнаго человѣка, ср. *Thumb Ztschr. d. Vereines für Volksk.* II (1862) p. 125.

борьбѣ со внутренними, а не со внѣшними врагами: „его Фортуна“, говорили они, „бодрствовала только въ междоусобныхъ войнахъ“¹⁾.

Такое представленіе могло легко возникнуть именно у римлянъ, потому что у нихъ глаголы „бодрствовать“ и „спать“ часто употреблялись въ переносномъ значеніи въ отношеніи къ богамъ, пекущимся или не пекущимся о человѣкѣ, а затѣмъ и въ отношеніи къ олицетворяемымъ нравственнымъ понятіямъ. Передъ сраженіемъ воины обращались къ Марсу съ возгласомъ: „Марсъ, бодрствуй!“²⁾; Венера „спитъ“ при неудачномъ любовномъ союзѣ³⁾; безнаказанно нарушаемый законъ тоже „спитъ“⁴⁾, и т. д. Правда, образъ бодрствующей или спящей Доли встрѣчается и у нѣмецкихъ поэтовъ, начиная съ IX в.⁵⁾ Но такъ какъ онъ не вытекаетъ изъ общаго словоупотребленія нѣмецкаго языка, то тутъ возможны только два предположенія: или одинъ лишь образъ спящей и бодрствующей Доли перешелъ къ тому времени отъ римлянъ къ нѣмцамъ, или же весь рассказъ о двухъ Доляхъ, возникши у римлянъ, былъ тогда уже извѣстенъ въ Германіи⁶⁾. Противъ второго предположенія говоритъ какъ будто то обстоятельство, что какъ разъ у нѣмцевъ до сихъ поръ не удалось открыть другого слѣда нашей сказки. Древнѣйшее свидѣтельство о ней—повѣстенка Абстемія—ведетъ насъ въ Италію.

¹⁾ *Ammian. Marc.* XIV 10, 16 *Fortunam eius in malis tantum civilibus vigilasse.*

²⁾ *Mars, vigila! Serv. ad Aen. VIII 3.*

³⁾ *Noctibus illorum dormiet ipsa Venus. Propert. II 6, 34.*

⁴⁾ *Ubi nunc lex Iulia? Dormis? Iuvenal. II 37.*

⁵⁾ Grimm *Deutsch. Myth.* II 720 приводитъ изъ Отфрида выраженіе *sîd wachêta... thiû Salida*. Тамъ-же и въ Дополненіяхъ Э. Г. Меѣра (III 260) указывается цѣлый рядъ подобныхъ выраженій (*dîn Saelde wachet, sîn Saelde släfe, mein Glück schläft*) у поэтовъ XIII и XIV вѣковъ, и у болѣе позднихъ.

⁶⁾ Такой же, приблизительно, вопросъ возникаетъ относительно вѣрованія, записаннаго Драгомановымъ (*Малорусскія нар. пред.* стр. 184): „Кажуть, у кожного чоловіка є свій талан. У иншого такий талан невсипущій, робить, не спить жадной години. Як у кого такий талан, тому чоловікові й добре, бо як скоро талан робить, то чоловік спочиває. Ну, як талан засне, тоді чоловік сам без свого талану уже ради не дасть собі. Вже скоро талан спить, то чоловікові тра робити. И робить чоловік, нема ему користи... талан у него спить“. Имѣемъ-ли мы тутъ дѣло съ вѣрованіемъ, усвоеннымъ независимо отъ сказки, или же вѣрованіе возникло уже на почвѣ Малороссіи подъ вліяніемъ перешедшей сюда сказки? Что римскія представленія повлияли на малорусскія, обнаруживается, между прочимъ, въ томъ, что Доля иногда мыслится какъ двойникъ (*genius*) человѣка. Ивановъ стр. 66 слл.

Что касается до времени возникновенія разсказа о двухъ Доляхъ, то по этому вопросу съ достовѣрностью можно сказать только слѣдующее. Абстемій передаетъ сказку въ искаженномъ и сокращенномъ видѣ; стало быть, она существовала уже до него. Но сложилась-ли она еще въ исходѣ древности или уже въ средніе вѣка, во всякомъ случаѣ тотъ субстратъ, безъ котораго ея происхожденіе немислимо,—римская культура. Представленіе о личной, индивидуальной Долѣ выросло изъ римскихъ вѣрованій, и образъ Доли бодрствующей и Доли спящей основанъ на метарфорѣ, свойственной латинскому языку. Для мнѳологій и религіозныхъ представленій древнихъ славянъ изъ сказки о двухъ Доляхъ ничего извлечь нельзя.

V.

Убѣдившись, такимъ образомъ, въ полной самостоятельности мотива „о двухъ Доляхъ“, мы возвращаемся къ великорусской сказкѣ изъ сборника Аѳанасьева, съ которой мы начали разсмотрѣніе сказочнаго матеріала. Если изъ этой сказки исключить мотивъ „о двухъ Доляхъ“, то получается вполне законченный разсказъ, который мы можемъ назвать сказкой „о поиманномъ и вновь выпущенномъ Горѣ“.

Основныя черты этого разсказа слѣдующія: Бѣднякъ, угнетаемый всякаго рода неудачами и дошедшій до крайней нищеты, случайно открываетъ, что причина всѣхъ его бѣдствій какое-то демоническое существо, олицетворяющее собою несчастье. Оно ни на шагъ не отходитъ отъ горемыки и заставляеть его жить въ безъисходной нуждѣ. Бѣдняку однако удается хитростью заманить своего притѣснителя въ западню и закопать въ землю или бросить въ воду. Послѣ этого онъ быстро поправляется и достигаетъ полнаго достатка. Другой человѣкъ—обыкновенно богатый братъ бывшаго горемыки, отказывавшій ему раньше во всякой помощи—завидуетъ его внезапно появившемуся благосостоянію. Вывѣдавъ, отчего произошла перемена въ обстоятельствахъ бѣдняка, онъ освобождаетъ заключеннаго демона съ тѣмъ, чтобы онъ продолжалъ угнетать свою прежнюю жертву. Но демонъ предпочтаетъ пристать къ своему освободителю, говоря, что тотъ—лихой человѣкъ, чуть не заморилъ его долгимъ заключеніемъ; выпустив-

шій же его на свободу—человѣкъ добрый, съ которымъ хорошо жить. Завистникъ въ скоромъ времени изъ богача превращается въ нишаго.—Какъ видно, суть и главный смыслъ этого разсказа состоятъ въ наказаніи завистника и въ саркастической мотивировкѣ этого наказанія.

Разсказъ этотъ встрѣчается какъ въ соединеніи съ другими сказочными мотивами, такъ и въ видѣ самостоятельной сказки. Намъ извѣстны варианты великорусскіе, малорусскіе, польскіе, нѣмецкіе. Демоническое существо, олицетворяющее собою несчастье, называется то Горемъ ¹⁾, то Нуждою ²⁾, то Бѣдою ³⁾, по нѣмецки—Unsaelde или Ungelück ⁴⁾; въ малорусскихъ вариантахъ такимъ олицетвореніемъ несчастья обыкновенно выступаютъ Злыдни ⁵⁾, представляющіе собою, по удачному объясненіи Веселовскаго ⁶⁾, ничто иное, какъ переводъ византийскихъ *κακά* ή *ημέρα*.

Рамки разсказа бываютъ различны. Наиболее естественно, что бѣднякъ, какъ въ сказкѣ у Аванасьева, открываетъ присутствіе демоническаго существа въ тотъ моментъ, когда онъ, въ отчаяніи отъ постоянныхъ неудачъ, выселяется изъ своей родины, чтобы въ новомъ мѣстѣ искать лучшаго счастья. Покинутый въ пустомъ домѣ демонъ проситъ взять и его въ новое мѣсто и попадаетъ въ ловушку. Передъ тѣмъ какъ рѣшиться на такую крайнюю мѣру, какъ выселеніе въ чужое мѣсто, бѣднякъ обращается къ богатому брату за помощію, но получаетъ отказъ. Это пріемъ, вполне цѣлесообразный съ точки зрѣнія художественной композиціи сказки: имъ подчеркивается безсердечность богатаго брата, такъ что постигающее его за его зависть наказаніе является вдвойнѣ заслуженнымъ. Какъ обращикъ позволяемъ себѣ привести малорусскую сказку, сообщенную П. И. Манжураю.

¹⁾ Аванасьявъ № 171, стр. 233 сл.; № 172, стр. 235 сл.

²⁾ Эрленвейнъ, *Народныя сказки* (Москва 1863) № XXI, стр. 101.—Сказка, записанная Осокинымъ въ Вятской губерніи; см. у Аванасьева, стр. 237.

³⁾ П. И. Манжура, *Сказки, пословицы и т. п., записанныя въ Екатеринос. и Харьк. губ.* Харьковъ 1890 (= Сборн. Харьк. Ист.-Филол. Общ. т. II) стр. 60. *Ź. Gloger, Skarbzyk* (см. ниже стр. 30. прим. 3) р. 9 (Bieda).

⁴⁾ Ср Grimm, *Deutsche Mythol.* II * S. 731—2.

⁵⁾ Чубинскій (см. выше стр. 10, прим. 2), №№ 110, 111, 112 (стр. 393—398). Манжура, стр. 58; Васильевъ, *Этногр. Обзор.* XV, стр. 168; Ястребовъ (см. ниже стр. 28, прим. 4) стр. 73. Драгомановъ, стр. 413

⁶⁾ *Разысканія* вып. V, стр. 235.

Были себѣ два брата, богатый и убогий. Убогий въ крайней нуждѣ обратился къ богатому съ просьбою дать ему хоть кусочекъ хлѣба, но получилъ отказъ. Тогда онъ задумалъ выселиться. Уложивъ весь свой скарбъ, онъ замѣтилъ на чердакѣ („на горищѣ“) маленькаго человѣка, который назвался его Бѣдою и выразилъ надежду, что и его возьмутъ съ собою. Когда бѣднякъ сталъ отговариваться неимѣніемъ мѣста, Бѣда сдѣлалась маленькою какъ иголка, чтобы занять какъ можно меньше мѣста. Воспользовавшись этимъ, бѣднякъ заманилъ Бѣду въ кость, забилъ ее и забросилъ въ рѣчку. Въ новомъ мѣстѣ онъ разжился. Богатый братъ позавидовалъ его счастью и узнавъ, гдѣ потоплена Бѣда, выловилъ ее, чтобы снова напустить на брата. Но Бѣда увязалась за нимъ самимъ и въ скоромъ времени его разорила.

Эта схема разсказа иногда бываетъ расширена посторонними мотивами. Такъ въ малорусскую сказку, записанную Максимовичемъ ¹⁾, вставленъ мотивъ о чудесномъ старцѣ, за мошну съ золотомъ покупающемъ у бѣднаго брата „спасибо“, которое тотъ вмѣсто всякой помощи получилъ отъ старшаго брата за поднесенный скромный подарокъ.

Такъ какъ обращеніе бѣднаго брата къ богатому встрѣчается и въ сказкѣ „о двухъ Доляхъ“, то она легко могла слиться со сказкою „о пойманномъ Горѣ“. Такое соединеніе обоихъ мотивовъ мы имѣемъ, кромѣ сказки у Аванасьева и ея бѣлорусскаго варианта, еще въ галицкой сказкѣ у Игнатія зъ Никловичъ ²⁾ и въ малорусской сказкѣ, сообщенной Л. И. Боровиковскимъ ³⁾. Въ этой послѣдней обращеніе бѣдняка къ богатому брату стоитъ въ двухъ разныхъ мѣстахъ: шовъ еще на лицо. Въ остальныхъ, лучше скомпонованныхъ, оно не повторено — шереховатость изглажена.

Если обращеніе къ брату вполнѣ отсутствуетъ, то разсказъ или оказывается вообще сильно сокращеннымъ, какъ напр. въ мало-

¹⁾ Максимовичъ, *Три басни и одна побасенка*. Кіевъ 1845, стр. 35—44. Содержаніе сообщаетъ Аванасьевъ въ приложеніи къ № 172.

²⁾ Игнатій зъ Никловичъ, *Казки*. Львовъ 1861, стр. 69—72. Мы пользуемся перепечаткой у М. Драгоманова, *Малорусскія народныя преданія*. Кіевъ 1876, стр. 410—413.

³⁾ Отечественныя Записки 1840, II (= Февраль). Смѣсь, стр. 42—44 (ср. выше стр. 10, пр. 1).

русской сказкѣ, сообщаемой В. Н. Ястребовымъ ¹⁾, или значительно уклоняется отъ общей схемы. Сюда относится польская сказка „Władza rapna“ въ сборникѣ К. Балинскаго ²⁾. Въ ней вмѣсто бѣднаго и богатаго братьевъ выводятся помѣщикъ и его захудалый арендаторъ. Причиною, заставляющей бѣдняка выселиться, является не столько безвыходная нужда, сколько ухаживанья стараго помѣщика за красивой дочерью арендатора. Когда бѣднякъ уложилъ вещи, въ покинутой имъ пустой хижинѣ появляется худая, блѣдная дѣвушка и назвавшись Бѣдою, проситъ взять и ее. Хитрый мужикъ заставляетъ ее взяться за стоявшій во дворѣ полурасколотый пень и, выдернувъ клинъ, ущемляетъ ее руку, такъ что она не можетъ двинуться съ мѣста. Помѣщикъ находитъ Бѣду, освобождаетъ ее, а она привязывается къ своему благодѣтелю и доводитъ его до нищеты, тогда какъ арендаторъ въ новомъ мѣстѣ разживается. Какъ видно, въ этой сказкѣ, помимо прочихъ искаженій первоначальной концепціи, отсутствуетъ черта, что обнищаніе богача является наказаніемъ за его зависть. Утративъ эту столь характерную черту, рассказъ лишился главнаго смысла.

Со временемъ въ рассказѣ все болѣе выдвигается обращеніе бѣдняка къ богатому брату, заслоняя собою мотивъ выселенія. У богатаго брата происходитъ пиръ по случаю какого нибудь радостнаго семейнаго событія (крестины, свадьба сына, именины и т. д.). Бѣдный братъ не получилъ приглашенія, но является безъ зова. Несмотря на близкое родство съ хозяиномъ, на него не обращаютъ никакого вниманія, и онъ даже подвергается оскорбленію. На обратномъ пути домой онъ въ глухомъ мѣстѣ встрѣчаетъ демона несчастья, ловитъ и заключаетъ его, послѣ чего въ его обстоятельствахъ происходитъ внезапная перемѣна къ лучшему. Богатый братъ изъ зависти освобождаетъ демона и несетъ извѣстное намъ наказаніе. Обращикомъ можетъ служить малорусская сказка, записанная М. К. Васильевымъ ³⁾.

¹⁾ В. Н. Ястребовъ, *Матеріалы по этнографіи Новороссійскаго края*. Одесса 1894, стр. 78.

²⁾ К. Baliński, *Powieści ludu*, стр. 72. Мы цитируемъ по перепечаткѣ у К. Я. Эрбена, *Сто славянскихъ народныхъ сказокъ и повѣстей* (Stanka slovanská). Прага 1865 стр. 122—125.

³⁾ Этнограф. Обзор. т. IV (1892) № 4=кн. XV стр. 168.

Жили два брата, одинъ богатый, другой бѣдный. Богатый женилъ сына и устроилъ пиръ, но брата не позвалъ. Тотъ однако явился безъ приглашенія вмѣстѣ съ женою и былъ принятъ весьма нелюбезно. Возвращаясь вечеромъ домой, бѣднякъ и жена затянули пѣсню и услышали за собою третій голосъ. На вопросъ: „Кто ты такой?“ получился отвѣтъ: „мы твои злыдни; оттого-то ты и бѣдень“. Бѣднякъ давай ихъ бить коломъ и, убивъ, отволокъ злыдней (ихъ оказалось три) въ трясины, загрузилъ то мѣсто и воткнулъ колы. Послѣ этого онъ быстро разбогатѣлъ. Богатый братъ позавидовалъ и т. д.

Такимъ же образомъ, подпѣвая бѣдняку и его женѣ, возвращающимся со свадебнаго или имениннаго пира у богатаго брата, даютъ о себѣ знать Нужда въ сказкѣ у А. А. Эрленвейна ¹⁾ и Горе въ сложной сказкѣ у А. Н. Аенасьева ²⁾, расширенной удвоеніемъ мотива поимки и вставкою постороннихъ элементовъ. На обратномъ-же пути послѣ крестинъ или именинъ у богатаго брата встрѣчаетъ Бѣду бѣднякъ въ польской сказкѣ, сообщаемой Жигмонтомъ Глогеромъ ³⁾, и въ малорусской сказкѣ, записанной И. И. Манжурую ⁴⁾.

При такомъ построеніи разсказа возникаетъ вопросъ: откуда берется демонъ, являясь бѣдняку во время его возвращенія отъ богатаго брата? и почему онъ именно въ данный моментъ обнаруживаетъ свое существованіе? Можно было бы думать, что демонъ несчастья предполагается живущимъ въ глухой лѣсной чащѣ, какъ Доля неудачника въ сказкѣ о двухъ Доляхъ ⁵⁾ и другія демоническія существа. Въ пользу такого мнѣнія можно было бы привести средне-верхне-нѣмецкое стихотвореніе неизвѣстнаго автора, относящееся по всей вѣроятности еще къ XIV столѣтію ⁶⁾. Содержаніе его слѣдующее: Рыцарь, испытавшій много бѣдствій и навлекшій на себя гнѣвъ своего властелцна, убѣжалъ въ дремучій лѣсъ. Сидя подъ деревомъ и поѣдая скудный ужинъ, видитъ онъ надъ собою

¹⁾ А. Эрленвейнъ, XXI (стр. 101).

²⁾ № 171 (II^е стр. 233).

³⁾ Skarbzyk. *Basnie i powieści z ust ludu i książek zebrał Zygmunt Gloger* изданіе 3-е. Warszawa 1898, стр. 9--14. Русскій переводъ этой сказки помѣщенъ въ сборникѣ А. Соколова, *Славянскія сказки*, Спб. 1893, стр. 108.

⁴⁾ Манжура (см. выше стр. 27, прим. 3), стр. 58.

⁵⁾ Ср. выше стр. 7, 10, 15.

⁶⁾ Grimm, *Deutsche Mythol.* II^e S. 731; R. Koehler, *Aufsätze über Märchen und Volkslieder* 1894 S. 108 f.

въ вѣтвяхъ какое-то чудовище, которое объявляетъ, что оно его несчастье (*ich bin din ungelücke*). Рыцарь предлагаетъ ему сойтти и раздѣлить съ нимъ его скромную вѣду. Какъ только демоническое существо спустилось, рыцарь его заключаетъ—неясно какимъ образомъ—въ дубъ. Вернувшись ко двору, онъ во всемъ имѣетъ успѣхъ. Какой-то завистникъ, узнавъ о происшедшемъ, пожелалъ напако- стить рыцарю и, отправившись въ лѣсъ, освободилъ Несчастье. Оно однако вмѣсто того, чтобы снова напасть на рыцаря, вскочило на шею завистника и, не покидая его ни на минуту, сдѣлало изъ него несчастнаго горемыку.

Но лѣсъ не есть свойственное демону несчастья мѣстопробы- ваніе: онъ попадаетъ сюда вмѣстѣ съ неудачникомъ, къ которому привязался. Это съ полной очевидностью явствуется изъ стихотво- ренія миннезингера Реймара фонъ Цветера ¹⁾, жившаго приблизи- тельно на столѣтіе раньше, чѣмъ авторъ только-что разсмотрѣн- наго анонимнаго стихотворенія. Вотъ содержаніе Реймарова стихо- творенья: Какой-то горемыка рѣшилъ покинуть родное мѣсто, гдѣ онъ ни въ чемъ не имѣлъ удачи, и поискать счастья на чужой сторонѣ. О его намѣреніи узнало Несчастье (*Unsaelde*) и тоже отпра- вилось въ путь. Дошедши до какого-то лѣса, неудачникъ сталъ хва- литься: „Ушелъ я отъ тебя, Несчастье!“ Но Несчастье тутъ какъ тутъ и говоритъ: „Нѣтъ, побѣда за мною, не убѣждалъ ты отъ меня: на собственной твоей шеѣ ты меня сюда донесъ“. Убѣдившись въ не- возможности уйдти отъ Несчастья, горемыка вернулся домой.

Въ этомъ разсказѣ нѣтъ того, что составляетъ главное содержа- ніе разбираемыхъ нами сказокъ—ни уловленія демона, ни его осво- божденія, ни наказанія завистника. Тѣмъ не менѣе его связь съ этими сказками очевидна. Для насъ пока интересна та черта, что демонъ вмѣстѣ съ неудачникомъ переходитъ изъ его дома въ лѣсъ. Оче- видно, и въ тѣхъ сказкахъ, въ которыхъ демонъ является неудач- нику во время возвращенія съ пира у брата, должно предполагать, что онъ еще изъ дому сопровождалъ свою жертву. Въ упомянутой выше сказкѣ изъ сборника Эрленвейна, впрочемъ, прямо говорится, что Нужда сидитъ на плечахъ несчастливца, когда она обращается къ нему во время обратнаго пути съ пира у богатаго брата; и съ плечъ своихъ хватаетъ ее горемыка, чтобы ее посадить въ кобылячью го-

¹⁾ Это маленькое стихотвореніе сполна перепечатано у Grimm, *Deutsche Mythol.* II^e S. 732.

лову, а затѣмъ затолочъ въ трясищу. Дальнѣйшимъ подтвержденіемъ служить анонимное нѣмецкое стихотвореніе XV вѣка--произведеніе мейстерзанга¹⁾). Какой-то бѣднякъ отправился зимою въ лѣсъ, чтобы нарубить дровъ, и Unsaelde послѣдовала за нимъ. Вогнавъ клинъ въ большой пень, онъ попросилъ Несчастье помочь ему и при этомъ случаѣ ущемилъ его руку. Освободившись отъ своего мучителя, бѣднякъ разбогатѣлъ. Жена его брата позавидовала его благосостоянію и, узнавъ, какъ онъ сбылъ Несчастье, побѣжала въ лѣсъ и освободила его. Но Unsaelde не пожелала вернуться къ прежнему хозяину. „Я теперь убѣдилась, что онъ коварный человѣкъ, и если я ему еще разъ попадусь, онъ меня и совсѣмъ со свѣта сживетъ. Ты же облагодѣтельствовала меня, и я съ тобою никогда не разстанусь.“

Наконецъ, и въ двухъ малорусскихъ сказкахъ, записанныхъ П. П. Чубинскимъ²⁾, демонъ несчастья отправляется въ лѣсъ вмѣстѣ со своимъ хозяиномъ изъ хаты послѣдняго. Въ одной изъ нихъ мы имѣемъ диттографію—мотивъ поимки демона удвоенъ³⁾. Бѣднякъ, желая отогнать тоску, заигралъ на скрипкѣ. Вмѣстѣ съ его дѣтьми вышли танцовать и злыдни, вылѣзши изъ подъ печки. Бѣднякъ заманилъ ихъ въ пустую бочку, которую затѣмъ вынесъ въ поле. Послѣ этого онъ во всемъ имѣлъ удачу и разбогатѣлъ. Старшій братъ позавидовалъ и заставилъ младшаго пойдти съ нимъ на поле и открыть бочку. Злыдень тотчасъ же снова вцѣпился младшему брату въ шею. Тогда онъ рѣшилъ выбраться изъ своей хаты вмѣстѣ съ женою и дѣтьми: „життя не буде намъ, знову злыдень э!“ Пошли всѣ въ лѣсъ и, вздумавъ разложить огонь, срубили сосну. Чтобы ее расколоть, всѣ заложили руки въ щель, злыдень тоже. Мужикъ вынулъ клинъ и ущемилъ ему руки „трохи не по сами локти“. Тогда вся семья вернулась домой и „живуть собі, якъ слідь“.

Въ другой сказкѣ⁴⁾ выѣздъ въ лѣсъ соединенъ съ обращеніемъ къ богатому брату. На крестины у послѣдняго явился и

¹⁾ R. Koehler, l. l. p. 109.

²⁾ Труды этногр.-статист. экпед. въ западно-русскій край. Томъ II. *Малорусскія сказки, собранныя П. П. Чубинскимъ*, 1878.

³⁾ № 111, стр. 396.

⁴⁾ № 110, стр. 393.

бѣдный, котораго Злыдни довели до нищеты. Онъ, однако, не рѣшился сказать, что пришелъ въ гости, а попросилъ конячки, чтобы въ лѣсъ за дровами поѣхать. Получивъ коня, онъ вернулся домой и пригласилъ Злыдней отправиться вмѣстѣ съ нимъ въ лѣсъ. Они сѣли на возъ (ихъ было 12) и поѣхали. Въ лѣсу мужикъ попросилъ Злыдней помочь ему расколоть срубленный дубъ. Они засунули руки въ щель; мужикъ вынулъ клинья, и Злыдни оказались пойманными. Богатый братъ по невѣдѣнію (мотивъ зависти отсутствуетъ въ этомъ вариантѣ) освободилъ ихъ; они набросились на него и довели его до нищеты. Бѣднякъ же разбогатѣлъ.

VI.

Съ упомянутымъ выше стихотвореніемъ Рейнмара Я. Гриммъ ¹⁾ сопоставилъ польское сказаніе о демонѣ Искрицкомъ. Къ какому-то пану навялся экономомъ человекъ по имени Искрицкій. Живя невидимкою за печью, онъ добросовѣстно исполнялъ всѣ работы и оказывалъ хозяевамъ всевозможныя услуги. Но хозяйка боялась нечистой силы, и такъ какъ Искрицкій не соглашался оставить службу до установленнаго наемнымъ договоромъ срока, то она уговорила мужа переселиться въ другое имѣніе. Во время переѣзда по плохой дорогѣ повозка чуть было не опрокинулась. Хозяйка отъ испуга громко вскрикнула, но сзади раздался голосъ: „не бойтесь, пани, Искрицкій съ вами!“ Тогда помѣщикъ и его жена убѣдились, что имъ не уйдти отъ своего чрезмѣрно привязаннаго слуги. Они вернулись на старое мѣсто, и Искрицкій имъ вѣрно служилъ до окончанія срока ²⁾. Можно согласиться съ Гриммомъ, что Искрицкій, живущій за печью и самымъ именемъ своимъ обнаруживающій свою связь съ огнемъ, соотвѣтствуетъ русскому домовому, нѣмецкому кобольду, имѣющимъ также близкое отношеніе къ домашнему очагу ³⁾. Но едва-ли правъ знаменитый ученый, предполагая, что рассказъ, сообщенный Рейнмаромъ, первоначально относился къ домовому — кобольду, мѣсто котораго якобы и занялъ

¹⁾ Grimm, D. Myth. S. 782.

²⁾ Grimm, l. l. p. 424.

³⁾ Аванасьевъ, *Поэтич. воззрѣнія слав.* II, стр. 67—69; Потебня, *О Домѣ*, стр. 168.

впослѣдствіи демонъ несчастья¹⁾. Домовой, будучи представителемъ и хранителемъ дома, въ силу этой своей основной функціи прикрѣпленъ къ мѣсту. Въ извѣстныхъ случаяхъ онъ, правда, можетъ переселяться вмѣстѣ съ хозяиномъ въ новое мѣсто, но чрезмѣрная привязанность къ личности хозяина вовсе не характерна для него и не вытекаетъ изъ его сущности. Еще менѣе соответствуетъ его основному характеру та неотвязчивость, которую проявляетъ демонъ несчастья въ разсмотрѣнныхъ нами разсказахъ. Признавая вмѣстѣ съ Гриммомъ сходство между стихотвореніемъ Рейнмара и польскимъ сказаніемъ, мы, однако, думаемъ, что не Unsaelde вытѣснила Искрицкаго, а, наоборотъ, послѣдній занялъ мѣсто демона несчастья. Только въ такомъ случаѣ понятенъ основной мотивъ разсказа—бѣгство. Отъ добродушнаго и услужливаго домового нечего было убѣгать хозяину. Благочестивыя сомнѣнія хозяйки—слишкомъ недостаточная, неудачно придуманная мотивировка.

На другую черту сходства между демоническимъ существомъ, олицетворяющимъ собою несчастье въ нашей сказкѣ, и домовымъ, указалъ А. А. Потебня²⁾. Дѣло въ томъ, что въ вѣкоторыхъ вариантахъ Злыдни, Бѣда, Нужда и т. д. изображаются живущими за печкою³⁾ или на чердакѣ⁴⁾,—мѣстахъ, являющихся излюбленнымъ мѣстомъ пребыванія домового. Изъ этого, однако, еще не слѣдуетъ, что Злыдни, Нужда, Горе и т. д., съ одной стороны, и домовый, съ другой,—родственные по существу фигуры, какъ то утверждаетъ Потебня. Еще менѣе основателенъ выводъ, дѣлаемый А. Н. Веселовскимъ, будто между демонами несчастья и домовымъ (а черезъ него и съ „родомъ“) существуетъ генетическая связь. Указанное сходство объясняется просто тѣмъ, что черты, свойственныя болѣе извѣстному и близкому для народа домовому, были перенесены на демона несчастья. Относительно-же природы и происхожденія послѣдняго образа изъ этого обстоятельства никакихъ заключеній дѣлать нельзя.

¹⁾ Grimm, l. l. p. 732: die personifizierte Unsälde hat des lebendigeren Kobolds Stelle eingenommen.

²⁾ *О Долѣ* и т. д., стр. 169.

³⁾ Чубинскій, № 111 (Злыдни); вариантъ у Аванасьева, стр. 237 (Нужа); Игнатъ въ Никл., стр. 70 (публика); Эрбенъ, стр. 122 (Blada panna = Bieda); Аванасьевъ, № 114^b, I^a стр. 335 (Кручина).

⁴⁾ Манжура, стр. 60 (Бѣда является „на горницѣ“).

Не объясняетъ намъ исконнаго значенія этого образа и его сходство съ т. н. Aufhocker'ами, по терминологіи нѣмецкихъ фолклористовъ. Aufhocker — это демоническое существо, невзначай вскакивающее на плечи человѣку и заставляющее нести себя¹⁾. Такъ и Unsaelde у Рейнмара, Ungelücke въ анонимномъ нѣмецкомъ стихотвореніи, Нужда у Эрленвейна, Горе у Аванасьева (№ 171), Злыдень у Чубинскаго (№ 111) крѣпко засѣли на шею своей жертвы. По Лайстнеру²⁾ образъ Aufhocker'а возникъ изъ ощущений, испытываемыхъ человѣкомъ во время тяжелаго, безпокойнаго сна: Aufhocker это кошмаръ. Лайстнеръ чрезмѣрно обобщилъ свою теорію, слишкомъ односторонне и прямолинейно производя большую часть мифологическихъ представленій отъ ощущений Alptraum'a: но въ данномъ случаѣ его объясненіе вполне примѣнимо³⁾. Мы желали бы только рядомъ съ *asthma nocturnum* допустить и другой источникъ этого представленія—чувство, которое испытываетъ человѣкъ, убѣгающій вслѣдствіе внезапнаго безотчетнаго испуга: ему кажется, будто за нимъ кто-то гонится и готовъ вскочить ему на плечи. Глухая лѣсная чаща, могилы и кладбища легче всего вызываютъ такого рода страхи. Поэтому-то лѣсные духи⁴⁾ и мертвецы (въ дальнѣйшемъ развитіи смерть⁵⁾ и смертельныя болѣзни⁶⁾)

¹⁾ Ср. напр. A. Wuttke, *Der deutsche Volksaberglauben*, §§ 761, 762, 771; Kuhn u. Schwartz, *Norddeutsche Sagen etc.* (1848) № 137 (S. 120); Veckenstedt, *Wendische Sagen* (1880), S. 327—331; id. *Die Mythen, Sagen u. Legenden der Zamaiten* (1883), I, S. 201, II, S. 121, 122. F. Liebrecht, *Jahrbuch f. roman. Literatur.*, III (1861), S. 159 (въ рецензій на Benfey, *Pantschatantra*) и *Gött. Gel. Anzeigen*, 1867, S. 1723 (въ рецензій на Comparetti, *Edipo*).

²⁾ L. Laistner, *das Rätsel der Sphinx* (1889), особенно I p. X и 46 sqq.

³⁾ Ср. также Н. Roscher, *Ephialtes* (*Abh. d. säch. Ges. d. Wiss.* 1900, XX Bd. Hft. 2), p. 66 sqq. Не можемъ не напомнить, какъ художественно и фолклористически вѣрно Гоголь въ *Вѣѣ* изображаетъ въ видѣ полусознательнаго сновидѣнія приключеніе философа съ вѣдьмой, вскакивающей ему на плечи.

⁴⁾ „Waldfrau“ у Veckenstedt'a, *Mythen... der Zamaiten*, I, 201, II, 122. Вслѣдствіе этого сходство лѣсныхъ духовъ и кошмара римляне смѣшивали фавновъ и incubones: *Faunorum in quiete ludibria Plin. n. h.* 25, 29; quem... vulgo incubonem vocant, hunc Romani faunum dicunt. *Isid. Etym.* 8.

⁵⁾ „Смерть“ въ распространенной сказкѣ про солдата и смерть: Рудченко, *Нар. южно-русскія сказки* II, № 42; Аванасьевъ, *Поэт. возвр. славы* III, 50.

⁶⁾ „Куга“ (морь) въ хорватской сказкѣ (М. К. Valjavec, *Narodne pripoviedke* [1858], стр. 243), „Powietrze“ (зараза) въ польской (Wojcicki, *Klechydy*, I, 51). Ср. Grimm, *Deutsche Myth.* S. 966. Потебня, *О Демѣ*, стр. 180 сл.

представляются въ видѣ Aufhocker'овъ. Отсюда образъ этотъ перенесенъ былъ на все, что мыслится неотвязчиво преслѣдующимъ человѣка. Такъ, напр., забота, не дающая покоя человѣку и не отстающая отъ него, изображается у Горація въ видѣ Aufhocker'a: post equitem sedet atra Cura¹⁾. Не иначе дѣло обстоитъ и относительно демона несчастья: это не исконная черта, а перенесенная; она изображаетъ только одно его качество—его неотвязчивость.

Главные мотивы нашего разсказа—поймка и освобождение демона—встрѣчаются во многихъ сказкахъ иного содержанія. Что касается до поймки, то она въ отдѣльныхъ вариантахъ происходитъ различнымъ способомъ; но для каждаго способа имѣются аналогии въ другихъ сказкахъ.

Мы видѣли, что Unsaelde въ нѣмецкомъ мейстерзангѣ²⁾, Бѣда въ польской сказкѣ у Балинскаго³⁾, Злыдни въ малорусскихъ сказкахъ⁴⁾ попадаютъ въ плѣнъ благодаря ущемленію рукъ. Такой способъ уловленія практикуется въ сказкахъ особенно часто по отношенію къ лѣснымъ духамъ. По граубюнденской сказкѣ къ рубившему лѣсъ крестьянину подошла лѣсунка (fenggi); дровосѣкъ попросилъ ее помочь въ его работѣ; а когда она засунула руки въ щель расколотой на половину колоды, онъ вышибъ клинь и ущемилъ ее⁵⁾. То же самое разсказывается про Holzmueterli въ двухъ другихъ граубюнденскихъ сказкахъ⁶⁾. Такъ попадаетъ въ плѣнъ и финскій лѣсной духъ Пеллервойненъ⁷⁾ и цыганскій демонъ Zepa⁸⁾. Аналогичнымъ образомъ, но въ лѣсной обстановки, мужикъ ловить черта въ жмудской сказкѣ: онъ ущемляетъ ему руку дверью хлѣва⁹⁾.

Въ малорусскихъ вариантахъ Злыдней засаживаютъ въ „боклагъ“¹⁰⁾ или въ бочку¹¹⁾. Такимъ же образомъ въ арабской сказкѣ

¹⁾ Hor. е. III, 1, 40; ср. curae sequaces у Lucret. II, 48.

²⁾ Ср. выше, стр. 32.

³⁾ Ср. выше, стр. 29.

⁴⁾ Ср. выше, стр. 32 сл.

⁵⁾ Vonbun, Beiträge. z. d. Mythologie, gesammelt in Churrätien. S. 68.

⁶⁾ Jecklin, Volkstümliches aus Graubünden II, 127; III, 68.

⁷⁾ Koehler, Kleine Schriften I, 294.

⁸⁾ Id. ibid. 435.

⁹⁾ Veckenstedt, Die Mythen... der Zamaiten II, 69.

¹⁰⁾ Драгомановъ, *Малорусскія народныя преданія*, стр. 411.

¹¹⁾ Чубинскій, № 111 (стр. 396).

„про рыбака и духа“¹⁾ (изъ сборника „1001 ночь“) злой духъ заключенъ въ небольшой мѣдный сосудъ; а въ нѣмецкой сказкѣ у Гриммовъ²⁾ онъ запертъ въ бутылочкѣ. Въ литературу этотъ мотивъ введенъ былъ Лесажемъ, который, какъ извѣстно, изображаетъ своего хромого чорта Асмодея заключеннымъ въ склянку. Впрочемъ, французскій писатель и эту подробность заимствовалъ у своего испанскаго оригинала, куда она, по мнѣнiю Dunlop'a³⁾, перешла изъ каббалистическаго сочиненiя Vinculum Spirituum⁴⁾.

Упомянутые злые духи попадаютъ въ столь малые сосуды благодаря своей способности сокращать свой объемъ до минимальныхъ размѣровъ. Этимъ умѣнiемъ они хвастаются и готовы при случаѣ его показать⁵⁾. Это самое качество приписывается и демону несчастья. Горе, играя съ хозяиномъ своимъ въ прятки, хвалится, что въ какую угодно щель забиться можетъ; по коварному предложенiю хозяина, оно забирается въ тую колеса, гдѣ тотъ его заколачиваетъ дубовыми клиньями⁶⁾. Бѣда, явившись бѣдняку въ моментъ его переѣзда въ другое мѣсто жительства, проситъ взять и ее, а чтобы занять какъ можно меньше мѣста, дѣлается тонкою какъ иглолка и залѣзаетъ въ случайно попавшуюся кость, которую бѣднякъ затѣмъ забиваетъ колышкомъ и бросаетъ въ рѣку⁷⁾.

¹⁾ Dunlop-Liebrecht, *Gesch. d. Prosa-dichtungen* (Berlin 1851), S. 186. = Dunlop, *History of prose fiction*² (1888) vol. II p. 476, n. 3.

²⁾ Grimm, *Kinder-und Hausmärchen*, № 99 „Der Geist im Glas“.

³⁾ Dunlop-Liebrecht, S. 399 (= Dunlop² II p. 476).

⁴⁾ Уже во время корректуры мы познакомились со статьею Н. Н. Дурново въ *Новомъ сборникѣ статей по славяновѣдѣнiю* (въ честь В. И. Ламанскаго) 1905, стр. 344—347. По Д. „легенда о заключенiи бѣса въ сосудъ перешла къ христiанамъ и магометанамъ отъ евреевъ, у которыхъ входила въ циклъ сказанiй о Соломонѣ“. Она „хорошо была извѣстна въ византийской и переводной южнославянской литературахъ“.

⁵⁾ Эта черта свойственна демонамъ также въ сказанiи про Виргилiя и духа (D. Comparetti, *Virgilio nel medio evo* 1872, II, 94), въ сказанiи про Пащельза и духа (Grimm, l. I. III, p. 179 sqq.), въ бретанской легендѣ про демона чумы Bosj (*Le Carguet, Revue des traditions populaires* 1891, № 9). [Она встрѣчается и въ древнерусской „Повѣсти о старцѣ, просившемъ руки царской дочери“; см. Дурново l. I. Старецъ, освободившiй бѣса изъ кувшина, заманиваетъ его обратно, выразивъ сомнѣнiе въ томъ, что бѣсъ можетъ слѣлаться такимъ маленькимъ, чтобы влѣзть въ кувшинъ].

⁶⁾ Аванасьевъ, *Сказки*, № 171 (II, стр. 235).

⁷⁾ Манжура, стр. 60.

Отчего Бѣда забирается именно въ кость, лучше мотивировано въ польской сказкѣ у Глогера ¹⁾, которая можетъ считаться подлинникомъ малорусской. Бѣдный братъ, явившись на крестины къ богатому, вмѣсто угощенія получаетъ одну лишь кость. Грызя ее по дорогѣ домой, онъ встрѣчаетъ Бѣду въ видѣ голодной нищенки. Чтобы полакомиться мозгомъ кости, она, съжившись, влѣзаетъ въ нее, а бѣднякъ забрасываетъ ее въ рѣку.

Послѣдняя подробность тоже не случайна: утопление демона несчастья повторяется во многихъ вариантахъ. Въ великорусской сказкѣ у Эрленвейна мужикъ, засадивъ Нужду въ кобылячью голову, топить ее въ болотѣ ²⁾; въ малорусской—Злыдней сталкиваютъ въ рѣку вмѣстѣ съ жерновами, которые они несутъ ³⁾; въ другой малорусской ихъ запикиваютъ въ трясину и, загрузивъ то мѣсто, ставятъ коль ⁴⁾; въ галицкой сказкѣ боклагъ, въ которомъ заключены Злыдни, топятъ въ „багнищѣ“ ⁵⁾. По Vinculum spirituum царь Соломонъ, засадивъ въ склянку безчисленное множество нечистыхъ духовъ, бросилъ ее въ колодезь ⁶⁾. Въ литовской сказкѣ отставной солдатъ заключаетъ чертей въ мѣшокъ и топить ихъ въ прудѣ ⁷⁾. Потеня, приводя нѣмецкое сказаніе, по которому домовые (?), во множествѣ засѣвшіе въ вѣпникъ, вмѣстѣ съ послѣднимъ были по топлени въ прудѣ, видитъ въ этомъ совпаденіи съ русскими сказками про Нужду и Злыдней подтвержденіе своей теоріи о мнѣологическомъ тождествѣ Горя-Злыдней-Недоли съ домовымъ ⁸⁾.

Возвращаемся еще къ способности демона несчастья съживаться до крайнихъ предѣловъ. Въ сказкѣ у Манжуры ⁹⁾ бѣдный братъ, явившись къ богатому брату на крестины, не только не получаетъ никакого угощенія, но болѣе почетные гости, ради которыхъ ему то и дѣло предлагаютъ „посунуться“ со своего мѣста,

¹⁾ См. выше, стр. 30, прим. 3.

²⁾ Эрленвейнъ, № 20.

³⁾ Аенасъевъ, *Сказки* II, стр. 237 (вариантъ Максимовича).

⁴⁾ Васильевъ, *Этнограф. Обзор.* XV, 168.

⁵⁾ Драгомановъ, стр. 411 (по Игнатію зъ Никловичъ).

⁶⁾ Dunlop-Liebrecht, I. I.

⁷⁾ Leskien u. Brugmann, *Litthauische Volkslieder u. Märchen* (1882), № 17 (S. 410).

⁸⁾ Потеня, *О Долѣ*, стр. 169 (нѣмецкое сказаніе по Wolf, Beitr. II. 335).

⁹⁾ Манжура, стр. 58.

еще пользуются его табакомъ и до тла вынюхиваютъ его рожокъ. На обратномъ пути за бѣднякомъ гоняются Злыдни и просятъ табачку понюхать. Заявленію, что богачи на пиру весь рожокъ опорожнили, они не вѣрятъ и желаютъ сами убѣдиться, не осталась ли въ немъ хоть какая нибудь порошина. „Влѣзайте и убѣдитесь“, предлагаетъ бѣднякъ. Какъ только Злыдни влѣзли, онъ заткнулъ рожокъ, и Злыдни оказались пойманными. Точно такъ происходитъ уловленіе смерти въ сказкѣ, почти одинаково передаваемой въ великорусской ¹⁾ и малорусской ²⁾ редакціяхъ. Смерть засѣла на плечи отставному солдату. Неся ее на себѣ, солдатъ вздумалъ табачку понюхать и вынулъ табакерку. Тутъ и смерти захотѣлось табачкомъ побаловаться. „Лѣзь въ табакерку и нюхай, сколько угодно“, приглашаетъ солдатъ. Смерть и полѣзла, а хитрецъ зашпиновалъ табакерку. Сказка эта, изъ богатаго содержанія которой мы привели только одинъ эпизодъ, представляетъ собою одинъ изъ многочисленныхъ изводовъ распространеннаго почти у всѣхъ европейскихъ народовъ разсказа, древнѣйшимъ варіантомъ и быть можетъ прототипомъ котораго является древнегреческая сказка про хитраго Сизифа и уловленіе имъ смерти ³⁾. Въ изводѣ, пользующемся большою популярностью особенно въ Германіи („Der Schmid von Jüterbogk“), но восходящемъ, повидимому, къ итальянскому оригиналу ⁴⁾, главнымъ дѣйствующимъ лицомъ выступаетъ кузнецъ: онъ засаживаетъ смерть (или дьявола) въ мѣшокъ, кладетъ его на наковальню и пускаетъ въ ходъ свой молотъ. Интересно, что въ одномъ уэльскомъ

¹⁾ Аванасевъ, *Поэтич. воззрѣнія славянъ*, стр. 50 (со ссылкой на *Народн. русс. легенды*, № 16).—Ср. Елпид. Барсовъ, *Прочитанія Стверн. края*, II, стр. 301. Бѣлорусскій варіантъ у Шейна, *Матеріалы* II (= Сборн. Отд. р. яз. и слов. 57, 1893), стр. 410.

²⁾ Рудченко, II, № 42. Ср. I, № 38; Чубинскій, *Этногр. Сборн.* II 1, № 131, стр. 430; Мавжура, стр. 61.

³⁾ Огромный матеріалъ варіантовъ даютъ бр. Гриммы въ примѣчаніяхъ къ № 81 „Bruder Lustig“ и № 82 „Der Spielhansel“, т. III, S. 133—148; затѣмъ R. Koehler, *Aufsätze über Märchen u. Volkslieder* S. 61 ff. и F. Bolte, тамъ-же, стр. 61 прим. и стр. 77. Ср. также А. Rittershaus, *Die neuisländischen Volksmärchen* (1902), № XCIV и параллели на стр. 345—347.—Сказку про Сизифа передавалъ еще въ VI в. до Р. X. Ферекидъ (frg. 78 = schol. *Pliad.*, VI, 153); на ея сходство со сказкою про Spielhansel впервые обратилъ вниманіе Welcker въ *Nachtrag zur Trilogie* (1826) S. 316.

⁴⁾ Въ древнѣйшей обработкѣ этого сюжета голландцемъ van de Venne 1634 г. (см. Bolte I. 1.) кузнецъ называется итальянцемъ.

вариантѣ вмѣсто смерти или дьявола такой процедурѣ подвергается Несчастье¹⁾).

При всемъ разнообразіи способовъ поимки, уловленіе посредствомъ табакерки встрѣчается только въ русскомъ изводѣ, при чемъ тутъ остается необъясненнымъ, отчего Смерть вся влѣзаетъ въ табакерку солдата. Въ сказкѣ же о Злыдняхъ, о которой выше была рѣчь, такой поступокъ со стороны этихъ демоническихъ существъ вполне удовлетворительно мотивированъ ихъ желаніемъ убѣдиться, не осталась-ли въ рожкѣ хоть порошинка табаку, а отсутствіе послѣдняго поставлено въ причинную связь съ высококомѣрнымъ отношеніемъ къ бѣдняку брата и его гостей на крестинахъ. Избавленіе отъ Злыдней, такимъ образомъ, является какъ бы вознагражденіемъ бѣдняка за перенесенную имъ обиду, что вполне въ духѣ народной сказки, придерживающейся принципа „поэтической справедливости“. Мы считаемъ поэтому возможнымъ предположить, что мотивъ поимки посредствомъ табакерки созданъ былъ для разсказа объ уловленіи демона несчастья и отсюда перешелъ въ разсказъ о солдатѣ и смерти.

Табакерка выступаетъ и въ другомъ малорусскомъ вариантѣ о Злыдняхъ²⁾, но готовность послѣднихъ влѣзть въ нее мотивируется нѣсколько иначе—уже извѣстнымъ намъ свойствомъ демоновъ изъ похвальбы сокращать до минимума свой объемъ. „Ми можемо скрізь поміститись“, хваляться Злыдни. „А тутъ, у ріжку поміститесь?“ спрашиваетъ мужикъ, открывъ свою табакерку. „Помістимось“, отозвались они, и сейчасъ-же изъ табакерки раздался голосъ: „Ось ми вже усі въ ріжку“... Этотъ мотивъ похвальбы, отмѣченный нами уже выше, также повторяется въ сказкѣ про солдата и смерть. Солдатъ спрашиваетъ чертей (замѣняющихъ въ данномъ эпизодѣ смерть): „Много-ли васъ войдетъ ко мнѣ въ мѣшокъ?“ „Всѣ войдемъ“. „Ну-ка, посмотрю, правду-ли вы говорите“. Черти всѣ до одного забрались въ мѣшокъ³⁾... По другому варианту солдатъ заспорилъ

¹⁾ R. Koehler, Kleine Schriften zur Märchenforschung, I, 258 (изъ Campbell, popular tales of the West Highland, № 42). Келеръ заявляетъ, что этотъ мотивъ ему „sonsther nicht bekannt“.

²⁾ Чубинскій, № 112, стр. 398.

³⁾ Елп. Барсовъ, *Причитанія* II, стр. 297.

со смертью: „ты де не влѣзешь въ пустої орѣхъ“! Та сдуру и влѣзла, а солдатъ заткнулъ дыру въ орѣхъ¹⁾).

Второй главный мотивъ разсказа о Горѣ—освобожденіе заключеннаго демона третьимъ лицомъ—также имѣетъ многочисленныя параллели въ другихъ сказкахъ. Въ вариантѣ сказки „про солдата и смерть“, сообщенномъ Аванасьевымъ²⁾, бабы изъ любопытства открываютъ ранецъ, куда солдатъ засадилъ чертей, и они, вырвавшись на волю, убѣгаютъ. Обыкновенно однако освобожденіе имѣетъ роковыя послѣдствія для освободителя. Въ малорусской сказкѣ царевичъ вытаскиваетъ изъ болота посаженную туда смерть: получивъ волю, она тотчасъ-же замахнулась на своего спасителя, и царевичъ въ ту-же минуту палъ бездыханный³⁾. Въ арабской сказкѣ „про рыбака и духа“, въ нѣмецкой сказкѣ „про духа въ склянкѣ“ и въ другихъ освободитель только благодаря хитрости спасается отъ немедленнаго нападенія со стороны освобожденнаго демона.

Любопытно, что этотъ мотивъ рокового освобожденія приуроченъ именно къ демону несчастья въ одномъ разсказѣ Боккаччо. Этотъ разсказъ встрѣчается въ сочиненіи *de casibus virorum illustrium*, и самъ авторъ называетъ его „*lepida fabella et antiquissima*“. Бѣдность, побѣдивъ Фортуну въ единоборствѣ, принуждаетъ ее навсегда отказаться отъ своей власти надъ дурнымъ счастьемъ (*infortunium*), оставляя за нею только власть надъ добрымъ счастьемъ (*fortunium*). Демона несчастья приковываютъ цѣпями къ столбу на виду у всѣхъ. Кто изъ людей пожелаетъ, можетъ освободить его, себѣ самому на бѣду⁴⁾. Этотъ разсказъ Боккаччо рано получилъ широкую извѣстность и по сю сторону Альпъ: еще въ XVI в. его обработали напр. чешскій поэтъ Николаѣвъ Ковачъ и нѣмецкій мейстерзингеръ Гансъ Заксъ⁵⁾.

¹⁾ Аванасьевъ, *Поэтич. воззрѣн.* III, стр. 50.

²⁾ Аванасьевъ, *Русскія народн. сказки*, II, стр. 209.

³⁾ Рудченко, *Народн. южнорусск. сказки* I, 99.

⁴⁾ R. Koehler, *Aufsätze über Märchen etc.* S. 111. Ср. Веселовекаго, *Разысканія*, гл. XXIII = вып. VI, стр. 181—182.

⁵⁾ R. Koehler, l. l. p. 112; Bolte, *ibid.*, p. 113, n. 3.

VII.

Какъ видно изъ предыдущаго изложенія, разсказъ „о пойманномъ и вновь освобожденномъ Горѣ“ по матеріальному содержанию своему не оригиналенъ, а состоитъ почти весь изъ мотивовъ заимствованныхъ: неотвязчивость демона несчастья характеризуется чертами, взятыми отъ образа Aufhocker'a; его поимка изображается либо по схемѣ уловленія лѣсныхъ духовъ, либо по типу заключенія злого генія въ сосудъ; примѣнительно къ послѣднему сказанію представлено также освобожденіе. Замечательно различіе въ изображеніи поимки: оно доказываетъ, что послѣдняя не имѣла опредѣленной формы въ первоначальной концепціи разсказа. Можно даже предполагать, что мотивъ уловленія и, конечно, также и мотивъ освобожденія въ ней совершенно отсутствовали. На такую мысль наводитъ то обстоятельство, что древнѣйшая обработка нашего сюжета, стихотвореніе Рейнмара, относящееся еще къ XIII в., этихъ мотивовъ вовсе не знаетъ. Правда, у Рейнмара разсказъ вообще сильно сокращенъ—до того сокращенъ, что лишился своей соли: мысль, что несчастье неотвязчиво преслѣдуетъ иного человѣка, до того безцвѣтна и банальна, что едва-ли могла лежать въ основаніи первоначальной концепціи. Вся суть, весь смыслъ разсказа о Горѣ,—то, что составляетъ оригинальный и самобытный его элементъ, заключается въ мотивѣ благодарности демона своему благотворителю,—благодарности для послѣдняго столь же роковой, сколь неожиданной. Заявленіе Горы: „тотъ—лихой человѣкъ, чуть не умерилъ меня, а ты—добрый, отъ тебя я не отстану“ является въ данной связи язвительнымъ сарказмомъ и придаетъ разсказу чисто эпиграмматическую силу: оно представляетъ собою то „объясненіе“ (Aufschluss), которое, по теоріи Лессинга объ эпиграммѣ, должно отвѣчать возбужденному всѣмъ предыдущимъ „ожиданію“ (Erwartung).

Этотъ мотивъ роковой благодарности Горы существовалъ уже въ древности. Сохранился отрывокъ изъ философскаго сочиненія Сотіона, имѣющій слѣдующее содержаніе: „Разсказываютъ ливійскую басню о томъ, что Горе охотно остается и растеть у тѣхъ, кто его питаетъ“¹⁾.

¹⁾ Stob. Floril. 108, 59 (IV, p. 41 Mein.): Σωτίωνος ἐκ τοῦ περὶ ὀργῆς μῦθος τις περιφέρεται Διβυχός, διὰ ἣ λύπη παρ' οἷς ἀντρέφεται, καὶ αἰῆται παρ' ἐκείνοισι ἡδέως καὶ μένει.

Сотіонъ, одинъ изъ проповѣдниковъ практической морали, столь многочисленныхъ и популярныхъ въ I вѣкѣ по Р. Х., увѣщевалъ своихъ слушателей или читателей не поддаваться чувству печали, не „питать“ (или „кормить“) его, какъ выражаются по гречески. Кто вмѣсто того, чтобы съ напряженіемъ всѣхъ силъ побороть въ себѣ это чувство, ему поддается, тотъ окончательно подпадаетъ подъ его власть. Для иллюстраціи своей мысли Сотіонъ ссылается на „ливійскую басню“, въ которой изображалось, какъ Λβ-η, т. е. „Горе“ или „Печаль“, предпочла „остаться“ у своего кормильца. Интересно и важно, что это изображалось въ „ливійской баснѣ“. О томъ, что представлялъ собою этотъ видъ греческой народной словесности, необходимо сказать нѣсколько словъ.

Наше преданіе о ливійскихъ басняхъ, къ сожалѣнію, весьма скудно. Аристотель сопоставляетъ ихъ съ Эзоповыми баснями ¹⁾, и обращикъ ихъ, сохранившійся въ отрывкѣ изъ одной недошедшей до насъ трагедіи Эсхила, вполне подтверждаетъ сходство тѣхъ и другихъ. Этотъ обращикъ — исторія объ орлѣ, смертельно раненомъ стрѣлою охотника; узнавъ на смертоносномъ снарядѣ свои собственныя перья, орелъ восклицаетъ: „это не другіе меня одолѣли, а собственныя мои перья“ ²⁾. Какъ видно, мы тутъ имѣемъ сжатый разсказецъ, вся суть и сила котораго заключается въ томъ „объясненіи“, которое дается въ самомъ концѣ. Такое эпиграмматическое построеніе, какъ извѣстно, характерно и для т. н. λόγοι Διδάσκτικοι ³⁾. — Дѣйствующимъ лицомъ въ нашемъ разсказѣ.

¹⁾ Aristot. Rhet. II 20 ἐν μὲν παραβολῇ, ἐν δὲ λόγοι, οἷον οἱ Διδάσκτικοι καὶ Διδασκαλικοί.

Аристотель употребляетъ выраженіе λόγοι, Эсхиль и Сотіонъ — μῦθοι. И то и другое, конечно, значитъ только „разказы“ и не опредѣляетъ ихъ характера и содержанія.

²⁾ Aeschyl. frg. 139 N²:

ᾧδ' ἐστὶ μύθων τῶν Διδασκαλικῶν κλέος,
 πληγέντ' ἀτράκτω τοξικῆ τὸν ἀστὸν
 εἰπεῖν ἰδόντα μηχανῆν πτερωματος·
 τὰδ' οὐχ ὕμ' ἄλλ' ἐν, ἀλλὰ τοῖς αὐτῶν πτεροῖς
 ἀλισχόμεθα.

Последняя фраза у грековъ вошла въ пословицу для обозначенія чело-
 вѣка, побиваемаго собственнымъ оружіемъ.

³⁾ Изъ педантичнаго подчеркиванія и разъясненія этой органической
 части басни въ позднѣйшее время произошла пресловутая „мораль“, столь

рядомъ съ человѣкомъ, выступаетъ животное (орель), и это обстоятельство сближаетъ его съ „животной“ сказкой, давшей главное содержаніе „Эзоповымъ баснямъ“,—главное, но не исключительное, такъ какъ въ нихъ, какъ извѣстно, кромѣ животныхъ, выводятся и люди во взаимныхъ повседневныхъ своихъ отношеніяхъ, а также аллегоріи, олицетворенные предметы и чудовища „волшебной“ сказки. То же самое мы видимъ и въ „ливійскихъ басняхъ“. Въ одной изъ нихъ, воспроизведенной современникомъ Сотіона, философомъ-моралистомъ Діономъ Хрисостомомъ¹⁾, выступаетъ столь излюбленная народною сказкою всѣхъ временъ фигура полудѣвы-полузмѣи²⁾.

Можно думать, что такія фантастическія фигуры сказочнаго происхожденія даже преобладали въ „ливійскихъ басняхъ“. На это, повидимому, указываетъ самое ихъ названіе. Дѣло въ томъ, что Ливія—страна чудесъ и чудовищъ. Таковою она слыла у малоазіатскихъ Іонійцевъ, тѣхъ самыхъ, что съиграли столь выдающуюся роль въ созданіи и распространеніи всѣхъ видовъ народноповѣствовательной поэзіи—аполога, сказки, повѣстенки. Расположенная за тридевять земель, за синими морями, на самомъ краю свѣта, на берегу всеомывающаго Океана, Ливія рисовалась воображенію іонійскихъ грековъ какимъ-то волшебнымъ царствомъ, какимъ-то сказочнымъ лукоморьемъ. Сюда перенесены были всевозможныя чудовища и фантастическія фигуры сказочнаго міра, и переняты у Востока, и созданныя, воображеніемъ юнаго эллинскаго народа,—карлики и великаны, земной рай, злыя вѣдьмы и доброжелательныя старухи-вѣдуны, песиголовцы и безголовые³⁾.

неорганически притѣпливаемая къ баснямъ. Впрочемъ, многіе Эзоповы рассказы, хотя и имѣютъ весьма остроумную *pointe*, лишены однако всякой правоучительной тенденціи, и вопросъ *quid haec fabula docet?* въ примѣненіи къ нимъ остается безъ отвѣта.

¹⁾ Dio Chrysost. or. V. Несмотря на заявленіе самого автора, нѣкоторые ученые (Lobeck, Geel) почему-то утверждаютъ, что исторія, сообщаемая Діономъ, ничего общаго съ λόγος Δίφροκός не имѣетъ. Правда, Діонъ разсказу, зытому изъ общеизвѣстнаго λόγος Δίφροκός, по своему обыкновенію „привиль“ моральную тенденцію. Онъ самъ вполнѣ опредѣленно высказывается о своемъ методѣ or. 5 § 1 и or. 60 § 9.

²⁾ Ср. В. Клигеръ, Сказочные мотивы въ Исторіи Геродота, Кіевъ, 1903, стр. 103 слл.; Аванасъевъ, Сказки № 152 а; А. Wuttke, Der deutsche Volksglaube¹, S. 48.

³⁾ Процессъ перенесенія сказочныхъ существъ въ Ливію начался уже во время Гомера: пигмеи живутъ „у теченія океана“, а блаженная страна

Вмѣсто того, чтобы говорить „въ тридевятомъ государствѣ“ или „у лукоморья“, Ионіецъ VI в., рассказывая сказку, говорилъ „въ Ливіи“. Басни, въ которыхъ выступали сказочныя фигуры, приуроченныя къ Ливіи, поэтому назывались „ливійскими“ ¹⁾. Можно думать, что и олицетворенная Δόπη, вмѣстѣ съ другими чудовищами, предполагалась живущей въ Ливіи. Но какъ бы то ни было, самая принадлежность къ ливійскимъ баснямъ разсказа о Δόπη свидѣтельствуеъ о его фантастичномъ и въ то же время простонародномъ характерѣ и сближаетъ его съ современными сказками.

Къ сожалѣнію, нашъ единственный источникъ, Сотіонъ выражается такъ кратко, что не представляется возможнымъ возстановить съ достовѣрностью содержаніе этой любопытной „ливійской басни“ во всѣхъ ея чертахъ. По его свидѣтельству, Δόπη предпочитаетъ *остаться* у своего благодѣтеля: стало-быть, ей предлагали перейти къ другому лицу,—какъ въ современной сказкѣ освобожденной Горѣ предлагаетъ ему идти къ бывшему горемыкѣ, а оно предпочитаетъ остаться у своего освободителя. Но благодѣяніе, оказанное Δόπη, состояло *не* въ ея освобожденіи—такъ приходится заключить, если придерживаться словъ Сотіона. Δόπη предпочитаетъ оставаться у того, кто ее „кормитъ“, *παρ' οἷς ἂν τρέφεται*. Это выраженіе какъ бы исключаетъ мотивъ освобожденія; а если не было

Лотофаговъ локализована была на сѣверномъ побережьѣ Африки. По Гезіоду уже цѣлый рядъ фантастическихъ существъ обитаетъ на юго-западномъ краю вселенной—Эхидна, Геріоней и т. д. Къ Ливіи приурочены были великаны Атлантъ и Антей, райскій садъ Гесперидъ, страшныя Горгоны, безобразныя старухи Гран, злая баба-яга Ламіа. Въ концѣ VI в. процессъ уже законченъ. У Гекатея, которому слѣдуетъ Геродотъ, Ливіа уже вполнѣ опредѣленно является сказочнымъ царствомъ: ср. O. Crusius, у Roscher'a, *Mythol. Lex.* II 891; H. Diels въ *Hermes* XXII (1887), p. 411 sqq. (особенно p. 422). Нѣкоторыя изъ чудовищъ, приуроченныхъ къ Ливіи, раньше предполагались обитающими на крайнемъ востокѣ, въ Индіи; такъ напр. *κοροκέφαλοι* и *ἀκέφαλοι*; ср. Diels l. l.

¹⁾ Что *αἰθροὶ Διφροὶ* получили свое названіе отъ мѣста дѣйствія, въ нихъ изображаемаго,—эту мысль впервые высказалъ O. Crusius, *Wochenschr. f. klass. Philol.* VIII (1891), p. 625. Crusius, однако, имѣлъ въ виду главнымъ образомъ фантастическія представленія грековъ о ливійской фаунѣ. Мнѣніе O. Келлера (*Untersuch. über die Gesch. d. griech. Fabel*, 1862 = *Jahrbüch. f. class. Philol., Supplem.* IV, S. 307—418), будто *λόγοι Διφροτικοὶ* обязаны своимъ наименованіемъ тому обстоятельству, что въ Ливіи (т. е. въ Киренѣ, единственной греческой колоніи этой страны) яко-бы былъ составленъ и изданъ сборникъ басенъ, не находитъ себѣ подтвержденія въ данныхъ литературнаго преданія.

освобожденія, то конечно не было и уловленія ¹⁾. Мы видѣли, что этихъ самыхъ мотивовъ пѣть также и въ средневѣковой версиі— въ стихотвореніи Рейнмара; а въ вариантахъ современной сказки они изображаются различнымъ образомъ, при томъ чертами, заимствованными изъ другихъ произведеній,—что и дало намъ поводъ признать мотивы уловленія и освобожденія непервичнымъ элементомъ сказки о Горѣ. Отсутствие ихъ въ ливійской баснѣ поэтому не можетъ являться препятствіемъ для ея сближенія съ современной сказкою. Сходство обѣихъ заключается конечно прежде всего въ самомъ олицетвореніи Горы, а затѣмъ—въ мотивѣ роковой благодарности послѣдняго.

Форма античной версиі разсказа, даже поскольку она можетъ быть восстановлена по словамъ Сотіона, позволяетъ сдѣлать нѣкоторыя предположенія относительно происхожденія основнаго мотива сказки. „Горе остается у своего благодѣтеля“—что значитъ этотъ образъ и какъ могъ онъ возникнуть? Если подъ Гѳремъ понимать внѣшнюю силу, „несчастье“, то тутъ никакого смысла нѣтъ. Но образъ этотъ имѣетъ глубокой смыслъ, если „Горе“ понимать въ субъективномъ значеніи, въ значеніи „печаль“. Это значеніе еще ясно выступаетъ въ ливійской баснѣ. Δόπη охотно остается у того, кто ее „кормитъ“ или „питаетъ“. Этотъ образъ объясняется тѣмъ, что въ греческомъ языкѣ глаголь τρέφειν часто употребляется въ переносномъ значеніи,—въ примѣненіи къ отвлеченнымъ понятіямъ, особенно въ примѣненіи къ понятіямъ, выражающимъ аффекты. Говорится, напр., кормитъ (питать) страхъ, надежду, зависть (φύβον,

¹⁾ Замѣтимъ однако, что мотивъ поимки злыхъ демоновъ встрѣчался въ ливійскихъ сказкахъ. Одна изъ наиболее популярныхъ фигуръ этихъ послѣднихъ была страшная вѣдьма Ламіа, которою пугали дѣтей во всей Греціи, хотя въ литературномъ преданіи она является прикрѣпленной къ Ливіи. Про нее-то, между прочимъ, разсказывали, что она кѣмъ-то была поймана и очутилась въ весьма критическомъ положеніи (Aristoph. Vesp. 1177 ὡς ἡ Δάμι ἀλοῦσ' ἐπέρβετο). Эта, повидимому, сцена изображена на аттической вазѣ 5-го вѣка до Р. Х., опубликованной въ Mittheil. d. archäol. Institut., Athen. Abth. XVI (1891), Taf. IX; ср. M. Meyer, ibid. p. 300 sqq. Чудовище, имѣющее видъ безобразной старухи со звѣриными когтистыми лапами, привязано къ пальмовому дереву и подвергается разнаго рода истязаніямъ со стороны нѣсколькихъ сатировъ. Пальма показываетъ, что дѣйствіе происходитъ въ Ливіи. Сатиры въ качествѣ дѣйствующихъ лицъ заставляютъ предполагать, что сюжетъ ливійской сказки былъ обработанъ въ δράμα σατυρικόν.

ἐλπίδα, ζῆλον τρέφειν) и т. д. 1). Такъ говорилось и „кормить печаль“. λῶπην τρέφειν, въ смыслѣ „подаваться чувству печали“. Въ этомъ метафорическомъ выраженіи содержится, на нашъ взглядъ, зародышъ сказки о Горѣ. Стоило только поэтически одаренному уму отчетливѣе представить себѣ образъ, обыкновенно смутно сознаваемый, и нѣсколько его развить. Человѣкъ кормить горе. Естественно, что горе чувствуетъ привязанность къ своему кормильцу. Въ чемъ послѣдняя можетъ проявляться? Въ томъ, конечно, что горе не желаетъ покинуть своего благодѣтеля, даже когда ему предлагаютъ перейти къ другому человѣку. Для хозяина Гора привязанность послѣдняго не только непріятна, но доводитъ его до гибели. Отсюда получается моментъ ироніи и даже сарказма, составляющій наиболѣе характерную черту, можно сказать, всю суть разказа.—Дальнѣйшее развитіе этой простой и ясной по своему происхожденію концепціи, лежащей въ основѣ „ливійской басни“, произошло, по видимому, въ силу того обстоятельства, что первоначальная „Печаль“ (въ смыслѣ субъективнаго чувства) замѣнена была „Несчастьемъ“ (въ смыслѣ внѣшней, объективной силы). Этотъ переходъ могъ совершиться еще на почвѣ греческаго языка: слово λῶπη = „печаль“ со временемъ получаетъ и объективное значеніе „бѣда“, „несчастье“ 2).

Несчастье какъ внѣшнюю силу олицетворяютъ собою Unsaelde и Ungelücke, Бѣда, Злыдни, Нужда, Горе. Послѣднее названіе демона несчастья вполне соотвѣтствуетъ греческому λῶπη, такъ какъ

1) φόβον τρέφειν Soph. Trach. 28; δαίμα τρέφειν Trach. 107; ἐν ἐλπίσιν τρέφειν Ant. 897; τάλη' ἔς το. O. R. 356; τὸ κακὸν τρ. Eurip. Phoenix fr. 810 N²; Plut. Moral. p. 57 a; ἄταν τρ. Soph. Ai. 644; νόσον τρ. Phil. 795. Въ основѣ метафоры, по всей вѣроятности, лежитъ образъ растенія; ср. Plut. Mor. p. 81 a δείκνυσι τὸν λόγον ἐντὸς ἤδη τρεφόμενον καὶ ριζούμενον. Aeschyl. Choeph. 754 τὸ μὴ φρονεῖν γὰρ ὡσπερ εἰ βοτὸν τρέφειν ἀνάγκη. Болѣзнь, болѣзненные или вообще волнующія душу чувства и т. д. представляются въ видѣ злокачественнаго нароста въ организмѣ. Но и другое объясненіе кажется допустимымъ. Возможно, что болѣзни, а затѣмъ и аффекты, дѣйствительно представлялись вселившимися въ человѣчскій организмъ демонами: νόσον τρέφειν значило-бы тогда собственно „питать демона болѣзни“, ἄτην τρέφειν— „питать демона погибели“ и т. д. О представленіи болѣзней въ видѣ демоновъ ср. M. Höfler, Krankheits-Dämonen, въ Archiv f. Religionswissenschaft. II (1899) 86 ff.

2) Такое значеніе λῶπη имѣемъ впервые у Геродота VII, 152.

вѣдь и горе собственно обозначаетъ субъективное ощущеніе. Еще явственнѣе субъективное значеніе выступаетъ въ названіи „Кручина“, подѣ которымъ выводится демонъ несчастья въ сказкѣ № 114 b у Аванасьева ¹⁾. Что русская сказка въ этомъ отношеніи ближе стоитъ къ древнегреческой чѣмъ западная, не покажется удивительнымъ тому, кто занимался сравнительнымъ изученіемъ древнегреческаго и славянскаго фолклора ²⁾.

Несчастье, понимаемое какъ внѣшняя сила, представляется воображенію какъ-бы преслѣдующимъ свою жертву ³⁾. Поэтому-то на него перенесенъ былъ образъ Aufhocker'a, — демона, вскакивающего на плечи человѣку. — Переходъ субъективнаго Гора въ объективное Несчастье сдѣлало далѣе возможнымъ внесеніе въ рассказъ „о благодарномъ Горѣ“ мотивовъ уловленія и освобожденія демона. — Когда именно произошло это расширение первоначальной схемы рассказа, мы не знаемъ. Повидимому, „очень древняя сказка“, обработанная Боккаччо (стр. 41), уже предполагаетъ существованіе рассказа объ уловленіи и освобожденіи демона несчастья.

Такимъ образомъ, детальный анализъ сказки „о Горѣ“ привелъ насъ къ такому-же результату, какъ и рассмотрѣніе сказки „о двухъ Доляхъ“. Сказка „о Горѣ“ не содержитъ ничего такого, что восходило-бы къ мифологическимъ представленіямъ и религіоз-

¹⁾ П стр. 335. Главное содержаніе этой сказки составляетъ рассказъ о птицѣ (уточкѣ), несущей золотыя яйца и одаренной сверхъестественными свойствами, о невѣрной женѣ и о чудесномъ избраніи на царство. Съ этими мотивами соединенъ былъ рассказъ „о двухъ Доляхъ“ (объ этомъ соединеніи ср. выше стр. 12 сл., 19). Когда съ теченіемъ времени Доля счастливая отпала и осталась только Доля несчастная (ср. новогреч. сказку, упомянутую на стр. 19), то на послѣднюю перенесенъ былъ образъ и названіе демона несчастья. Такимъ образомъ, получилось повѣствованіе слѣдующаго построенія. Старикъ Абросимъ и старуха Фетинья съ сыномъ Иванушкой живутъ въ великой бѣдности. Разъ старикъ откуда-то промыслилъ краюшку хлѣба и принесъ ее домой. Вдругъ изъ-за печки выбѣжалъ Кручина, выхватилъ краюшку и ушелъ опять за печку. Старикъ проситъ отдать хлѣбъ, но Кручина отказывается и вмѣсто того указываетъ, гдѣ старикъ можетъ поймать волшебную уточку. Продолженіе по обычной схемѣ.

²⁾ Ср. Th. Zieliński, Die Märchenkomödie in Athen. St. Petersburg 1885, p. 43, 52. Его-же, Erysichthon въ Philologus 50 (= N. F. 4) 1891, p. 137 sqq., особенно p. 155, п. 44.

³⁾ Выраженіе „несчастье преслѣдуетъ меня“ существуетъ не только въ русскомъ, но и во многихъ другихъ языкахъ.

нымъ вѣрованіямъ древнихъ славянъ: въ ней нѣтъ ничего мифологическаго и нѣтъ ничего специфически славянскаго. Ядро разсказа ведетъ свое начало изъ античной древности и, быть можетъ, основано на метафорическомъ выраженіи, свойственномъ греческому языку.

Относительно послѣдняго предположенія и аналогичнаго, выказаннаго нами въ концѣ IV главы, считаемъ не лишнимъ оговориться. Можетъ показаться, что мы, полагая зародышъ разсмотрѣнныхъ разсказовъ въ метафорѣ, примыкаемъ къ извѣстной теоріи Макса Мюллера о происхожденіи мифологіи¹⁾. Въ дѣйствительности мы сходимся съ М. Мюллеромъ только въ томъ, что допускаемъ вліяніе лингвистическихъ факторовъ на образованіе сказаній²⁾. Но

¹⁾ Для удобства читателя позволяемъ себѣ напомнить формулировку этой теоріи, данную самимъ авторомъ въ *Vorlesungen über Sprachwissenschaft*, bearb. von Böttger (1866) II 338: So oft nun ein Wort, das zuerst metaphorisch [gebraucht wurde, ohne eine ganz klare Auffassung der Schritte, welche von seiner ursprünglichen Bedeutung zur metaphorischen hinüberführten, gebraucht wird, so ist auch gleich Gefahr vorhanden, dass es mythologisch gebraucht werde; so oft diese Schritte vergessen und künstliche Schritte an ihre Stelle gesetzt werden, so hat man Mythologie oder, wenn ich so sagen darf, eine krankgewordene Sprache, mag sie sich nun auf geistliche oder weltliche Angelegenheiten beziehen. Warum sich dem Ausdruck mythologisch diesen umfassenden durch den griechisch-römischen Gebrauch des Wortes allerdings nicht gerechtfertigten Sinn beilege, wird dann erhellen, wenn wird einsehen werden, dass das, was gemeinhin Mythologie genannt wird, nur ein Theil einer viel allgemeineren Phase ist, durch welche jede Sprache zu irgend einer Zeit einmal hindurchgehen muss. Замѣтимъ кстати *petitio principii*, заключающуюся въ этомъ опредѣленіи мифологіи: сперва произвольно опредѣляется понятіе слова въ разрѣзъ съ тѣмъ, что обыкновенно подъ нимъ понимаютъ; а затѣмъ вѣрность новаго толкованія доказывается тѣмъ, что общепринятое значеніе слова не совпадаетъ съ вновь установленнымъ.—Изъ русскихъ ученыхъ послѣдователями теоріи М. Мюллера являются Аванасьевъ и—съ нѣкоторыми ограниченіями—Потебня. Послѣдній правильно отвергаетъ приуроченіе „мифосозидательнаго періода“ къ опредѣленной стадіи въ развитіи языка, а также высказывается противъ термина „болѣзнь языка“. Но онъ присоединяется къ данному М. Мюллеромъ опредѣленію понятія „мифологіи“ и доходитъ до такого абсурда, что въ выраженіяхъ въ родѣ „стѣна потѣеть“ или „примочка вытягиваетъ жаръ“ находитъ примѣры „миенческаго мышленія“ (Потебня, *Изъ записокъ по теоріи словесности*. Харьковъ, 1905, стр. 587 сл.).

²⁾ Вліяніе языка на возникновеніе (мифологическихъ и иныхъ) сказаній и даже вѣрованій и обрядовъ наиболѣе ясно выступаетъ тамъ, гдѣ примѣшана т. наз. „народная этимологія“. Ср., напр. сказку про золотые усы Ивана Золотовуса, т. е. св. Іоанна Златоуста (Романовъ, *Бѣлорусскій Сборникъ*. IV

мы не объобщаемъ этого явленія и не признаемъ тутъ эволюціоннаго процесса или біологическаго закона. Это—явленіе случайное, спорадическое, отнюдь не обязательное или повальное, къ тому же вовсе не приуроченное къ опредѣленному фазису въ развитіи языка. На „болѣзнь“ или порчу языка оно нисколько не похоже и къ миеологіи не имѣетъ прямого отношенія. Впрочемъ, подъ миеологіей мы понимаемъ нѣчто совершенно иное, чѣмъ М. Мюллеръ и его послѣдователи.

VIII.

Наша тема исчерпана. Мы задались цѣлью представить анализъ сказокъ, въ которыхъ выступаютъ образы Доли и Горя, и, насколько могли, исполнили эту задачу. Добытые нами результаты значительно расходятся съ выводами, сдѣланными Потебнею и Веселовскимъ изъ того-же матеріала. Но Потебня и Веселовскій, кромѣ сказокъ, пользуются еще народными пѣснями и старинной повѣстью о Горѣ-Злочастіи. Разсмотрѣніе этого матеріала не входитъ въ нашу задачу. Но мы считаемъ не лишнимъ сдѣлать нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній относительно того, какъ представляется изображеніе Доли и Горя въ пѣсняхъ и повѣсти на основаніи тѣхъ результатовъ, до которыхъ мы дошли.

Есть цѣлый рядъ великорусскихъ народныхъ пѣсень, въ которыхъ выступаетъ Горе. Оно является тутъ, какъ и въ великорусскихъ сказкахъ, не въ смыслѣ личнаго чувства, а въ значеніи объективнаго несчастья. Выдвигается та мысль, что человѣку невозможно уйти отъ несчастья, —Горе неотступно преслѣдуетъ избранную жертву. Эта идея играетъ извѣстную роль и въ сказкахъ; она тамъ выражается въ томъ, что Горе изображено въ видѣ демона, котораго человѣкъ несетъ на собственныхъ плечахъ. Въ пѣсняхъ мотивъ преслѣдованія является господствующимъ, заслоняя собою всѣ остальные. Преслѣдованіе это изображается подробно и обстоятельно, въ поэтически-прекрасныхъ образахъ. Разъ

стр. 16). Сюда же относятся Кузьма-Демьянъ, какъ кузнецы счастья, особенно брачнаго (Веселовскій, *Разысканія* V стр. 201, 207); Симонъ Зилоть, какъ покровитель зелій и золота; Маккавей, какъ покровители мака, и вытекающія отсюда вѣрованія и обычаи (Чубинскій, *Труды этнограф. экспед.* III стр. 184, 225).—Нѣкоторые примѣры указываетъ и М. Müller, *Vorlesungen* II 486 ff.

привязавшись къ человѣку, при самомъ-ли его рожденіи или при иномъ случаѣ, злой демонъ уже не оставляетъ своей жертвы. Человѣкъ уходитъ въ лѣсъ, прячется въ полѣ или на лугу, бросается въ рѣку,—демонъ всюду его отыскиваетъ:

Я пойду съ Гора во чисты поля—
Горе вслѣдъ идетъ, само говоритъ:
„Я поля прижну, тебя доступлю“.
Я пойду съ Гора въ зелены луга—
Горе вслѣдъ идетъ, само говоритъ:
„Я луга скошу, тебя доступлю!“ и т. д.¹⁾.

Бѣгство и преслѣдованіе изображаются подъ видомъ смѣняющихся превращеній убѣгающаго и преслѣдующаго. Чтобы избѣжать или настичь другъ друга, они оборачиваются звѣрями, птицами, рыбами:

Я отъ Гора во чисто поле—
И тутъ Горе сизымъ голубемъ.
.
Я отъ Гора во темны лѣса—
И тутъ Горе соловьемъ летить.
.
Я отъ Гора на сине море—
И тутъ Горе сѣрой утицей²⁾.

*
* *

Молодецъ вѣдь отъ Гора во чисто поле,
Во чисто поле сѣрымъ заюшкомъ,
А за нимъ Горе вслѣдъ идетъ,
Въ слѣдъ идетъ, тенета несетъ.
.

Молодецъ вѣдь отъ Гора во быстру рѣку,
Во быстру рѣку рыбой-щукою,
А за нимъ Горе вслѣдъ идетъ,
Вслѣдъ идетъ, невода несетъ³⁾.

*
* *

¹⁾ *Великорусскія народныя тѣсни*, изд. А. И. Соболевскій, т. I (1895) № 442.

²⁾ *Ibid.* № 447.

³⁾ *Ibid.* № 441.

Молодецъ-то со Горюшка да на сине море—
 Еще Горе вслѣдъ да гоголемъ пловеть,
 И гоголемъ пловеть да выговариваетъ:
 „И ты постой-ка-сь, не ушелъ да добрый молодець!
 И не на часъ я къ тебѣ Горе привязалось!“¹⁾.

Костомаровъ и Потебня видѣли въ этомъ изображеніи бѣгства и преслѣдованія доказательство необычайной древности образа Гора и подтвержденіе его мифологическаго характера: онъ-де возникъ еще въ ту отдаленную пору, когда люди вѣрили въ возможность превращенія человѣка въ звѣрей, а боговъ представляли себѣ въ видѣ животныхъ. Но мнимый „первобытный зооморфизмъ“ тутъ не причемъ. Эти превращенія—чисто поэтическая формула, свободно переходящая отъ одного сюжета къ другому. Она часто встрѣчается уже въ древне-греческой народной поэзіи, а также въ западно-европейскихъ народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ²⁾.

Мотивъ превращеній соединенъ съ мотивомъ Aufhocker'a въ сѣверно-русскихъ причитаніяхъ (въ нихъ демонъ несчастья называется „Зло-Безчастіе“):

Впереди да сѣло Безчастье яснымъ соколомъ,
 Позади оно летѣло чернымъ ворономъ.

.....
 Кругомъ около злодѣйно ухватилося
 За могучія оно за мои плечушки³⁾.

Рядомъ съ этими традиціонными фантастическими мотивами встрѣчаются и болѣе индивидуальныя черты, взятая изъ реальной жизни. Дѣвица думаетъ укрыться отъ Гора, вышедши замужъ, но Горе идетъ за ней „малыми дѣтками“⁴⁾; она „отъ Гора въ постельшку слегла“, а Горе „въ головахъ сидитъ“⁵⁾. Добрый молодець тщетно ищетъ убѣжища въ веселомъ обществѣ:

¹⁾ Ibid. № 440.

²⁾ Веселовскій *Разысканія* вып. IV (*Сборникъ Отдѣленія*, XXXII, 1883) стр. 43; 67—78, 430—432; *Журн. М. Нар. Пр.* CCXLIV, 2 стр. 175; Clouston, *Popular Tales* (1887) I 413 sqq. (magical transformations); *Zeitschr. d. Vereines für Volkskunde* VI 65; E. Cosquin, *Contes pop. de Lorraine* № 9; A. Rittershaus, *Neuisländ. Märchen* (1902) S. 139, 142, 146 ff.

³⁾ Елпид. Барсовъ, *Причитанія Ств. Края* I, стр. 8.

⁴⁾ Соболевскій, т. I № 445.

⁵⁾ Ibid. № 444.

А я отъ Гора въ почестный пирь—
 А Горе зашелъ, впереди сидить;
 А я отъ Гора на царевъ кабакъ—
 А Горе встрѣчаетъ, уже пиво тащить!).

Вообще изображеніе Гора въ великорусскихъ пѣсняхъ отличается высокой художественностью и поэтической силою. Нѣкоторыя черты въ немъ поражаютъ своей отчетливостью и жизненностью. Горе выводится подъ видомъ полуголаго, испитаго бѣдняка-оборванца, еле прикрывающаго наготу свою самымъ дешевымъ суррогатомъ одежды:

Въ лаптишечки Горе пообулося,
 Въ рогозиночки Горе понадѣлося,
 Понадѣлося, тонкой лычинкой подпоясалось²⁾.

*
* *

А и лыкомъ Горе подпоясалось,
 Мочалами ноги изопутаны³⁾.

*
* *

Ой ты, Горе мое, Горе, Горе сѣрое,
 Лычкомъ связанное, подпоясанное⁴⁾.

Все это—черты, взятыя несомнѣнно изъ реальной дѣйствительности, изъ современной поэту жизни бѣдняковъ.

Неизвѣстно, откуда Горе берется; его происхожденіе столь же таинственно, какъ происхожденіе рѣки изъ нѣдръ земли:

Отъ чего ты, Горе, зародилось?
 Зародилось Горе отъ сырой земли,
 Изъ-подъ камешка изъ-подъ сѣраго,
 Изъ-подъ кустышка съ-подъ ракитова⁵⁾.

Оно нападаетъ на человѣка неожиданно, при разныхъ случаяхъ. Къ иному Зло-Безчастью пробирается при самомъ его рожденіи⁶⁾. Къ молодой женщинѣ Горе пристаётъ на другой день послѣ свадьбы:

¹⁾ Ibid. № 446. ²⁾ Ibid. № 441. ³⁾ Ibid. № 446. ⁴⁾ Ibid. № 443. ⁵⁾ Ibid. № 441.
⁶⁾ Барсовъ I. I. стр. 63.

Въ воскресенье матушка замужъ отдала,
Къ понедѣльничку Горе привязалось ¹⁾.

Прекрасно изображается злорадство Гора, когда ему удастся свою жертву загнать въ могилу:

Я отъ Гора въ сыру землю пошла,
За мной Горе съ лопатой идетъ.
Стоитъ Горе, выхваляется:
„Вогнало, вогнало я дѣвицу въ сыру землю!“ ²⁾

*
* *

„Ужъ ты мой, не ушелъ, добрый молодець!“
Загребло Горе въ могилушку,
Въ могилушку, въ матушку сыру землю ³⁾.

Мотивъ заключенія и освобожденія демона несчастья—или, по крайней мѣрѣ, отзвукъ этого мотива—мы находимъ въ сѣверныхъ причитаніяхъ.

Мнѣ спустить-ли то Обиду во быстру рѣку?
Загрузить-ли мнѣ Обиду во озерышкѣ?

спрашиваетъ плачущая вдова ⁴⁾. Это загрузеніе напоминаетъ собою знакомое намъ утопленіе Бѣды, Злыдней и т. д. (ср. выше стр. 38). Въ другой заплачкѣ „злое Горюшко“ сидитъ заключенное въ „подземельныхъ норахъ“, и его освобождаютъ рыбаки, неведомъ вытащившіе изъ моря золотые ключи отъ этого подземелья ⁵⁾.

Изъ изложеннаго видно—и это заслуживаетъ особаго вниманія,—что Горе и т. д. великорусскихъ пѣсенъ всегда является стихійной силой, стоящей внѣ человѣка: оно преслѣдуетъ че-

¹⁾ Ibid. № 442. ²⁾ Ibid. № 444. ³⁾ Ibid. № 441

⁴⁾ Е. Барсовъ, *Причитанія* I стр. 17. Въ этой-же заплачкѣ злой демонъ называется также Кручиной.—О связи Гора-Обиды причитаній съ дѣвой Обидой Слова о Полку Игоревѣ и о происхожденіи этого послѣдняго образа чрезвычайно интересный намекъ у Веселовскаго, *Разысканія* вып. V стр. 253, прим. 1.

⁵⁾ Е. Барсовъ l. l. стр. 290. Заключеніе въ подземельѣ напоминаетъ собою ближе всего польскую сказку, гдѣ Nędza и Bieda оказываются запертыми въ подземельномъ „lochu“ развалившася замка: Wojcicki, *Klechdy* (Warszawa 1873) str. 33.

ловѣка, приставши къ нему при томъ или иномъ случаѣ. Никогда оно не представлено прирожденной человѣку личной Долей. Взглядъ Костомарова, Потебни и Веселовскаго, отождествляющихъ Горе съ Долей-Недолей, находятъ себѣ въ великорусскихъ пѣсняхъ столь же мало поддержки, какъ и въ разсмотрѣнныхъ нами сказкахъ.

За то въ малорусскихъ пѣсняхъ дѣйствительно встрѣчается смѣшеніе личной Доли и демона несчастья. Личная Доля играетъ въ нихъ значительную роль. Несчастливецъ жалуется, что его Доля не такая, какъ Доля другихъ. Тѣ ничего не дѣлаютъ и богато живутъ; а онъ, несмотря на всѣ свои труды, ничего не имѣетъ:

Доле жъ моя, Доле, чомъ ти не такая,
 Чомъ ти не такая, якъ Доля другая?
 Що чужіе люди нічого не роблють,
 Нічого не роблють та й хороше ходять;
 А я заробляю—и свитки не маю!
 Що люде гуляють и роскоши мають;
 А я заробляю—нічого не маю¹⁾!

Доля горемыки находится гдѣ-то далеко, въ безвѣстной отлучкѣ, и нисколько о немъ не заботится:

Де ти ходешь, моя Доле? Не докличешься до тебе²⁾!

*
* *

Ой гдесъ моя лиха Доля шляхомъ волочеться.
 Годі, годі, лиха Доле, шляхомъ волочитесь³⁾!

*
* *

Де же ти, Доле, була, шо мене забула?
 Чи ти, Доле, въ лісі забарилась?
 Чи ти, Доле, въ полі опізнилась⁴⁾?

¹⁾ Чубинскій, *Труды этногр. ком.* V (1874) стр. 478 № 67: ср. также П. Ивановъ, *Народные рассказы о Доль* (Сборн. Харьк. истор.-фил. Общ. IV) стр. 73.

²⁾ Максимовичъ, *Малороссійскія пѣсни*, Москва 1827, стр. 141 № 91; ср. также Ивановъ l. l. стр. 74.

³⁾ Чубинскій l. l. стр. 478, № 65.

⁴⁾ П. Ивановъ l. l. стр. 73; вариантъ у Потебни о *Доль* и т. д. 161; ср. также Метлинскій стр. 366.

Оказывается, что Доля несчастнаго

На риночку була, горілочку пила.

Счастливицу, напротивъ, его Доля служитъ:

Ой, я бѣ, мамо, не тужила, я бѣ Бога молила,
Щобъ моему миленькому Доленька служила ¹⁾!

*
* *

Ой хвортуно-хуртовино!
Послужи намъ хоть ще трохи ²⁾.

Всѣ эти образы намъ хорошо извѣстны по сказкѣ „о двухъ Доляхъ“, и едва-ли возможно сомнѣваться, что они оттуда перешли въ пѣсню.

Совершенно иное представленіе лежитъ въ основаніи напр. слѣдующей пѣсни:

Ишовъ козакъ дорогою,
За козакомъ Біда вьѣтъся ³⁾,

или слѣдующей:

Ой пиду я, пиду, зъ своего сіла по-підъ лісомъ горою.
А оглянуса—иде Біда за мною ⁴⁾.

Это—демонъ несчастья, преслѣдующій намѣченную жертву, какъ въ великорусскихъ пѣсняхъ и въ сказкѣ „о Горѣ“. Отъ него не отдѣлаться. Дивчина, желая сбыть Бѣду, повела ее на ярмарку, чтобы тамъ продать ⁵⁾. Но Бѣда заявляетъ:

Я жъ ся тебе не видчеплюся, доки будешъ жива ⁶⁾.

¹⁾ *Народныя южно-русскія пѣсни*, изд. Амвр. Метлинскій, Кіевъ 1854, стр. 21. Въ вариантѣ на стр. 20 читается: Щобъ моему казаченьку *хвортуна* служила. Въ виду отстаиваемаго нами римскаго происхожденія всего представленія о личной Долѣ, это разночтеніе не лишено значенія.

²⁾ Потебня I. I. стр. 155. Интересна „народная этимологія“, сблизившая слова „хвортуна“ и „хуртовина“ (собств. вьюга, мятель).

³⁾ Чубинскій I. I. стр. 1015.

⁴⁾ Метлинскій I. I. стр. 365.

⁵⁾ Странный въ данной связи мотивъ продажи по словамъ Потебни (*О Долѣ* стр. 169) встрѣчается также въ нѣмецкихъ сказаніяхъ о кобольдѣ-домовомъ. Мы не знаемъ, какія сказанія Потебня имѣлъ въ виду.

⁶⁾ Чубинскій I. I. стр. 576 № 179.

Дівчина молить демона отстать отъ нея; но онъ отвѣчаетъ отказомъ:

Ой вернись, Бідо! чого ти вченилась!
 Не вернись, дівчино, я зъ тобою вродилась.
 Ой вернись, Бідо! чого ти ввьязалась!
 Не вернись, дівчино, я зъ тобою вінчалась¹⁾.

Встрѣчающееся здѣсь представленіе, что злой геній къ инымъ своимъ жертвамъ привязался при самомъ ихъ рожденіи²⁾, облегчило смѣшеніе демона несчастья съ прирожденной личной Долей— въ тѣхъ, конечно, случаяхъ, гдѣ послѣдняя безопасно или враждебно относится къ вѣренному ея попеченію человѣку. Дѣйствительно, „лихая“ или „гирькая Доля“ является какъ-бы новымъ названіемъ демона несчастья: оба образа сливаются, и что свойственно одному, переносится на другой.

Къ прирожденной личной Долѣ отнесенъ мотивъ неотвязнаго преслѣдованія:

Породила мене мати у свѣяту неділю,
 Дала мини лиху Долю—де жъ її покину?
 „Та піди, Доле, піди, нещасна, въ полі загуоися,
 „А за мною молодою та її не волочися“!

Дівчина далѣе предлагаєть лихой Долѣ заблудиться въ лѣсу, „присвятиться“ въ церкви, утопиться въ водѣ. Но Доля отвѣчаетъ, что вездѣ отыщеть свою жертву и снова въ нее „вчипится“³⁾.

Особенно часто говорится объ утопленіи лихой Доли:

Ой піди, нещасна Доле, въ морі утопися⁴⁾!

*
* *

Лиха Доле, лиха Доле, піди, утопися,
 А за мною молодою та її не волочися⁴⁾!

*
* *

Піди собі въ тихий Дунай, съ жалю утопися⁵⁾.

¹⁾ Метлинскій стр. 366.

²⁾ Тоже самое говорится про демона несчастья въ нѣкоторыхъ великорусскихъ пѣсняхъ, ср. выше стр. 53.

³⁾ Костомаровъ въ *Современникъ* 1856 кн. 10 т. LIX, стр. 118; варіантъ у Метлинскаго стр. 365.

⁴⁾ Потебня, *О Долѣ* стр. 170.

⁵⁾ Чубинскій V стр. 478.

Эта столь настойчиво повторяемая черта, повидимому, восходитъ уже не къ мотиву преслѣдованія, а къ мотиву утопленія злого демона.

Но эта самая черта со временемъ была перенесена на Долю-подательницу счастья. Поэтому то, что въ одномъ случаѣ является предметомъ желанія, въ другомъ составляетъ причину горькой жалобы:

Ой бодай ти, моя Доле, на дні моря утонула¹⁾.

*

Погопаѣ моя Доля край синього моря²⁾.

*

Моя Доля утонула, щастья ся не верне¹⁾.

*

Ой Доля моя, Доля! дѣ ти, Доля, подѣлася?
Да чи ти ѣ огни згорѣла, чи ти ѣ лузи утопылася³⁾.

*

Дѣ Доля дѣлася?

Ой чи ѣ огни згорѣла, чи ѣ Дунай утонула⁴⁾.

Есть и противоположное явленіе: мотивы сказки „о двухъ Доляхъ“ въ пѣснѣ перенесены на демона несчастья.

Бѣда преслѣдуетъ козака,
Та підъ калиною
Та підъ чорвоюю
Вона спатаньки кладеться.
Ой ляжь, Бідо, спати,
Ой я піду, молодь,
Счастья, доленьки шукати⁵⁾.

Образъ демона-преслѣдователя превращается въ образъ Доли, спящей подъ кустомъ, — причудливое сплетеніе мотивовъ разнаго происхожденія.

¹⁾ Потебня *О Доляхъ* стр. 170.

²⁾ Метлинскій стр. 461.

³⁾ Довнаръ-Запольскій, *Женская доля въ пѣсняхъ пинчуковъ*, Этногр. Обзор. III 1891, № 2 кн. IX стр. 52.

⁴⁾ Id. *ibid.* стр. 54.

⁵⁾ Чубинскій V стр. 1015.

Въ виду столь явнаго синкретизма, доходящаго до логическихъ противорѣчій, малорусскія пѣсни не могутъ служить доказательствомъ исконнаго тождества образовъ Доли и Горя.

Остается сказать два слова о фигурѣ Горя въ повѣсти о Горѣ-Злочасти. Она послужила для насъ исходной точкою, и ею мы закончимъ свой очеркъ. Не можетъ подлежать сомнѣнiю, что образъ Горя взятъ составителемъ повѣсти изъ великорусской народной пѣсни. Какъ въ пѣснѣ, такъ и въ повѣсти выдвинуть моментъ неотвѣзчиваго преслѣдованiя. Оно изображается тѣмъ-же приемомъ смѣняющихся превращенiй:

Полетѣлъ молодець яснымъ соколомъ,
 А Горе за нимъ бѣлымъ кречетомъ.
 Молодецъ полетѣлъ сизымъ голубемъ,
 А Горе за нимъ сѣрымъ ястребомъ.
 Молодецъ пошелъ въ поле сѣрымъ волкомъ,
 А Горе за нимъ съ борзыми выжлецы.
 Молодецъ сталъ въ полѣ ковыль-трава,
 А Горе пришло съ косою вострою.
 Пошелъ молодець въ море рыбою,
 А Горе за нимъ съ частыми неводами ¹⁾).

Почти дословно повторяется похвальба демона:

Ты стой, не ушелъ, добрый молодець!
 Не на часъ я къ тебѣ, Горе злочастное, привязался ²⁾).

Внѣшнiй видъ Горя описывается совершенно одинаково:

Босо, наго, нѣтъ на Горѣ ни ниточки,
 Еще лычкомъ Горе подпоясано ³⁾).

Зависимость повѣсти отъ народной пѣсни подтверждается еще слѣдующими двумя обстоятельствами.

Горе начинаеть преслѣдованiе своей жертвы, выскочивъ
 у быстры рѣки изъ-за камени ⁴⁾).

¹⁾ *Повѣсть о Горѣ и Злочасти*. Изд. Отдѣленiя русск. яз. и слов. Импер. Академiи Наукъ (П. Симои) Спб. 1903, строки 366—379.

²⁾ Строки 356—358.

³⁾ 290—291.

⁴⁾ 289.

Такое появленіе Горя, ничѣмъ не мотивированное и тѣмъ болѣе странное, что демонъ уже раньше являлся молодцу, очевидно объясняется вліяніемъ пѣсни: авторъ повѣсти помпилъ прекрасное мѣсто о зарожденіи Горя, которое въ пѣспѣ по таннственности своего появленія уподобляется рѣкѣ, и происхожденіе котораго поэтому въ ней описывается поэтической формулой, обычной при описаніи рѣчныхъ истоковъ.

Далѣе въ повѣсти ничѣмъ не мотивировано, что молодецъ—еще до появленія Горя—попадаетъ „на великъ пиръ почестень“¹⁾, послѣ того какъ, пропивши свое добро, босой и нагой очутился на чужой сторонѣ. Въ пѣспѣ—вполнѣ логично: молодецъ уходитъ отъ Горя сперва „на почестный пиръ“, ища спасенія въ многолюдномъ собраніи, а затѣмъ уже идетъ „на царевъ кабакъ“.

Но, замѣтывая образъ Горя изъ народной пѣсни, составитель повѣсти внесъ въ него постороннія, чуждыя пѣсни черты. Онъ имѣлъ въ виду цѣли назидательныя. Поэтому преслѣдованіе Горя ставится въ причинную связь съ прегрѣшеніемъ молодца: оно является наказаніемъ за то, что молодецъ не послушался наставленій родителей своихъ:

Кто родителей своихъ на добро ученія не слушаетъ,
Того выучу я, Горе злочастное²⁾.

Вполнѣ естественно, что, въ силу назидательной тенденціи автора, демонъ народной пѣсни принялъ обликъ христіанскаго врага-искусителя. Онъ соблазняетъ молодца на грѣхъ³⁾, чтобы завладѣть имъ. Но когда внавишій въ прегрѣшеніе отказывается отъ тщеты сего міра и обращается въ святую обитель, онъ находитъ спасенія отъ преслѣдованій Горя. Въмѣсто того, чтобы загнать свою жертву „въ могилушку, въ матушку сыру землю“,

Горе у святыхъ воротъ остается,
Къ молодцу впередъ не привяжется⁴⁾.

Съ этой точки зрѣнія поэтому уже не такъ не правъ Бу-славевъ⁵⁾, писавшій: „Горе повѣсти не что иное, какъ вѣрное отра-

¹⁾ Стр. 133.

²⁾ Стр. 304.

³⁾ Стр. 234—262.

⁴⁾ Стр. 390—92.

⁵⁾ *Истор. Очерки русск. народн. словесн. и искусств.* т. I стр. 642.

женіе нечистаго, темнаго состоянія духа самого героя; борьба его съ Горемъ есть борьба съ самимъ собою, увѣнчанная побѣдою надъ самимъ собою“.

Отождествленію Горя съ христіанскимъ дьяволомъ способствовало еще слѣдующее обстоятельство.

„Я отъ Горя на царевъ кабакъ“, говоритъ молодецъ въ пѣснѣ. Это выраженіе могло быть понято въ томъ смыслѣ, что Горе прельстило молодца предаться пьянству. Вино-же отъ дьявола—такъ учили представители извѣстнаго теченія въ средневѣковомъ христіанствѣ, такъ вѣруеть благочестивый народъ до сихъ поръ¹⁾. Соблазненіе къ пьянству служить врагу рода человѣческаго вѣрнѣйшимъ средствомъ для того, чтобы овладѣть намѣченной жертвой. И Горе повѣсти свою неотвязчивость, унаслѣдованную у пѣсни и сказки, проявляетъ по отношенію къ тѣмъ, кого ему удалось соблазнить „на питье кабацкое“:

Батагомъ меня не выгонить,

А гнѣздо мое и вотчина во бражникахъ²⁾.

Соединеніе чертъ, взятыхъ изъ народной поэзіи, и чертъ церковно-библейскихъ придаетъ образу Горя въ повѣсти характеръ смѣшанный, двойственный³⁾. Благодаря этому обстоятельству, противоположныя другъ другу мнѣнія Буслаева и Костомарова оказываются отчасти вѣрными. Первый изъ нихъ утверждалъ что „Горе повѣсти—демоническое существо, взятое на прокатъ изъ средневѣ-

¹⁾ По Веселовскому это представленіе восходитъ къ ученію богомиловъ. См. *Russische Revue* XIII (*Slavische Kreuz-und Lebensagen*) 1878, 149; *Разысканія* вып. IV (Сборникъ отд. р. яз. и слов. томъ XXXII, 1883) стр. 396; Ж. Мин. Нар. Просв. 1888 Августъ, стр. 465 сл.

²⁾ Стрк. 233.

³⁾ Двойственности образа Горя соотвѣтствуетъ отсутствіе единства во вѣншей композиціи повѣсти. Она распадается на двѣ части (послѣ общаго введенія—строки 39—200 и 201—392), во многихъ отношеніяхъ параллельныя: повторяются одни и тѣже мотивы. Молодецъ дважды „принимается за питье за пьянцы“ и пропиваетъ „свои животы“ (стрк. 100 сл., 264 сл.), первый разъ, соблазненный своимъ братомъ названнымъ (99), другой разъ—прельщенный Горемъ, принявшимъ образъ архангела Гавріила (251). Впавши въ „нищету послѣднюю“ (173), „въ наготу и босоту безмѣрную“ (254), онъ дважды надѣваетъ на себя „гунку кабацкую“ (114 и 265) и, стыдясь появиться въ такомъ нарядѣ „своимъ милымъ другомъ“ (129 и 268), дважды отправляется „на чужу

ковой демонологіи“, „порожденіе именно той позднѣйшей демонологіи, которою съ особеннымъ усердіемъ украшали свои повѣствованія русскіе писатели XVII в.“¹⁾ Костомаровъ же настаивалъ, правда съ цѣлью доказать „миѳологическій“ характеръ олицетвореннаго Горя, на томъ, что этотъ образъ созданъ былъ народнымъ творчествомъ задолго до составленія повѣсти²⁾. „Сложнымъ“ признаетъ образъ Горя въ повѣсти и Веселовскій³⁾. Тѣмъ не менѣе онъ вводитъ его въ свою систему генетическаго развитія „понятія судьбы“ и усматриваетъ въ немъ „христіанское пониманіе идеи доли, или скорѣе недоли“, иначе—„представленіе“, въ которомъ „идея прирожденной судьбы сплотилась съ идеей личной вмѣняемости, заслуженности“⁴⁾. Намъ кажется необходимымъ подчеркнуть, что идея личной вмѣняемости прибавилась къ образу Горя не въ силу естественной эволюціи или генетическаго закона, а вслѣдствіе произвольнаго акта составителя повѣсти, соединившаго—не особенно умѣло⁵⁾—фигуру народной пѣсни съ христіанскимъ демономъ-искусителемъ.

страну дальну“ (130 и 269). Повтореніе однихъ и тѣхъ-же мотивовъ и чертъ оказалось возможнымъ только благодаря тому, что авторъ заставляетъ своего героя послѣ перваго переселенія на чужбину внезапно разбогатѣть. Но эта внезапная переменѣна въ его обстоятельствахъ ни чѣмъ не мотивирована: „учалъ онъ жить умѣючи, отъ великаго разума наживалъ онъ живота больше прежняго“, говорится 202, а 73 было сказано, что онъ „глупъ... и несовершенъ разумомъ“. Горе выступаетъ только во второй части; въ первой зато преобладаетъ правоучительный элементъ въ видѣ наставленій родителей (41—71) и гостей на почетномъ пиру (185—200).

¹⁾ *Очерки* I стр. 639.

²⁾ См. выше стр. 1.

³⁾ *Разысканія* V стр. 256.

⁴⁾ *l. l.* стр. 249, 252.

⁵⁾ Не всѣ черты въ образѣ Горя согласованы въ повѣсти съ идеей заслуженности. Слѣдующія напр. слова Горя (стрк. 218—222).

Не хвались ты, молодець, своимъ счастьемъ,
 Не хвастайся своимъ богатствомъ!
 Бывали люди у меня, Горя,
 И мудряе тебя и досужае,
 И я ихъ, Горе, перемудрило!

рисуютъ не столько карателя, воздающаго по заслугамъ за совершенные грѣхи, сколько стихійную силу, дѣйствующую со стороны, изъ-внѣ и слѣпо разрушающую всякое человѣческое счастье.

Едва-ли тутъ можетъ быть рѣчь о „ростѣ мысли, вездѣ болѣе или менѣе прошедшей по тѣмъ же стезямъ“¹⁾.

Но интереснымъ и важнымъ для правильнаго пониманія характера народнои поэзи является то обстоятельство, что произвольный актъ автора повѣсти оказалъ вліяніе на дальнѣйшее поэтическое творчество „народа“. Есть великорусскія пѣсни, въ которыхъ имѣется то же сліяніе образа Горя съ христіанскимъ дьяволомъ. Онѣ возникли подѣ вліяніемъ повѣсти. Нѣкоторыя и по ходу изображаемаго въ нихъ дѣйствія являются прямымъ сколкомъ съ нея²⁾. Другія отражаютъ вліяніе повѣсти только въ частности, сохранивъ самостоятельные элементы³⁾.

Воздѣйствію повѣсти подпала и сказка. Варіантъ разсказа „о пойманномъ и вновь выпущенномъ Горѣ“, помѣщенный у Авапасьева подѣ № 171, въ общемъ построень по обычной схемѣ (только въ немъ удвоены мотивъ обращенія къ брату и мотивъ уловленія злого генія—какъ въ малорусскихъ вариантахъ, ср. стр. 32); по Горе представлено въ немъ демоническимъ бражникомъ, соблазняющимъ хозяина пропивать въ кабакѣ все свое добро до послѣдней нитки. Мы видѣли, что эта черта, свойственная средневѣчному дьяволу, въ образѣ Горя внесена была составителемъ повѣсти.

Нѣкоторые вопросы, затронутые въ настоящей главѣ, требуютъ болѣе обстоятельнаго изслѣдованія⁴⁾, чѣмъ мы могли удѣлить имъ въ нашихъ краткихъ замѣчаніяхъ, являющихся лишь прибавленіемъ къ разсмотрѣнію сказочнаго матеріала. Но мы надѣемся, что намъ тѣмъ не менѣе удалось и тутъ добыть новыя доводы въ пользу основнаго нашего положенія: прежде чѣмъ строить эволюціонно-генетическія системы и теоріи, необходимо произведенія народнаго творчества, служащія для нихъ матеріаломъ, подвергнуть критическому анализу и сравнительному изученію, какъ со стороны всей ихъ структуры, такъ и со стороны отдѣльныхъ мотивовъ. Мы счи-

¹⁾ Веселовскій I. I. стр. 260.

²⁾ Напр., № 439 въ сборникѣ Соболевскаго.

³⁾ Напр., Соболевскій № 440.

⁴⁾ Особенно важно было бы установить взаимное отношеніе великорусскихъ и малорусскихъ пѣсней.

таемъ тѣмъ болѣе необходимымъ настаивать на этомъ требованіи, что модное нынѣ „антропологическое“ направленіе въ изученіи фолклора слишкомъ имъ пренебрегаетъ. Конечно, вмѣсто того, чтобы путемъ кропотливыхъ историко-филологическихъ изысканій устанавливать филиацію сюжетовъ, гораздо заманчивѣе и удобнѣе провозгласить, что одни и тѣ же мотивы возникаютъ самостоятельно въ разныхъ мѣстахъ земного шара въ силу „однородности человѣческаго духа“, и развиваются одинаково по законамъ эволюціи, якобы вездѣ идущей по тѣмъ же стезямъ, Но это значить разрубить узелъ, не распутать его.

А. СОВНИ.

Новѣйшія сужденія о Шопенгауэрѣ.

Шопенгауэръ—апостоль отчаянія и человѣконенавистничества! Патріархъ разочарованія XIX вѣка, опъ возвелъ самый порокъ въ достоинство религіи. Вся желчь и горечь всемірной литературы собрана въ его сочиненіяхъ и покрыта мефистофелевскимъ злораднымъ хохотомъ ¹⁾. Истолкователь Будды, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ лучшій типъ бонвивана XIX вѣка ²⁾. Это—Іовъ безъ страданія, Іеремія безъ идеала, Тома Кемпійскій безъ вѣры въ Христа, монахъ, но атеистъ. Его сочиненія напоминаютъ госпиталь, въ которомъ медицинская помощь ограничивается только тѣмъ, что больному указывается названіе болѣзни, а затѣмъ докторъ поворачивается къ нему спиною ³⁾. О Шопенгауэрѣ нельзя сказать, что его слова суть уже его дѣла. Великій артистъ слова иногда въ немъ сливался съ дѣйствительной его личностью, а чаще и тотъ и другая смотрѣли въ разныя стороны ⁴⁾.

Вотъ какъ относятся къ Шопенгауэру нѣкоторые современные намъ моралисты, литературные критики, поэты, писатели и философы.

Но рядомъ съ такими воззрѣніями существуютъ совершенно инныя. Шопенгауэръ, дѣйствительно, былъ толкователемъ Будды ⁵⁾.

¹⁾ Edouard Rod, *Les idées morales du temps présent*, Paris. 1892, p. 43—69.

²⁾ Edouard Schuré, *Précurseurs et Révoltés*, Paris 1904, p. 93.

³⁾ I. K. Huysmans, *En route*, Paris, 1896 p. 33—36.

⁴⁾ Kuno Fischer, *Geschichte der neuern Philosophie*. B. VIII, Arthur Schopenhauer, Heidelberg, 1893, S. 126—134.

⁵⁾ Challemeil—Lacour, *Etudes et Réflexions d'un pessimiste*, Paris, 1901.

Шопенгауэръ былъ правдивъ, храбръ и гордъ. Онъ, правда, страдалъ жаждой жизни, честолюбіемъ и искалъ извѣстныхъ наслажденій, но боролся на жизнь и смерть съ этими основными порывами современнаго человѣка. Подобно средневѣковому монаху, Шопенгауэръ стремился чрезъ отреченіе отъ призрачности благъ міра и чрезъ тройственный обѣтъ бѣдности, послушанія и цѣломудрія къ достиженію высшаго блага, вѣчнаго блаженства въ созерцаніи Бога. На прекрасной картинѣ Дюрера Святой Іеронимъ сидитъ одиноко въ залитой солнцемъ комнатѣ. Кругомъ глубочайшая тишина. Его спутники, левъ и собака, спятъ, слышно ихъ спокойное дыханіе. Погруженный въ размышленіе, святой сидитъ, откинувшись назадъ. Ему какъ разъ пришла въ голову мысль, и онъ слегка наклонился впередъ и закрѣпляетъ ее нѣсколькими штрихами на листѣ бумаги, которая лежитъ передъ нимъ на письменномъ столѣ. Въ этой картинѣ можно видѣть Шопенгауэра. Шопенгауэръ поднѣвалъ достоинство религіи, которую такъ жестоко уронили въ глазахъ толпы матерьялисты, рационалисты—сектанты и прогрессисты¹⁾. Онъ своего рода апостоль Павелъ XIX вѣка: онъ сознавалъ, какая глубокая и святая тайна скрывается въ религіи, и понималъ, что міръ весь лежитъ во злѣ и нуждается въ искупленіи и очищеніи своего бытія.

Только въ условномъ смыслѣ слова Шопенгауэра можно признавать противникомъ религіи. „Система Шопенгауэра есть къ сущностному выраженію безусловно ему лишь свойственной Міровой скорби, и во всякое время она будетъ символомъ вѣры во всѣхъ тѣхъ, которые страдаютъ въ жизни, но повернулись спиной къ религіи“²⁾.

Цѣлый рядъ нѣмецкихъ мыслителей смотритъ на Шопенгауэра подъ угломъ зрѣнія, построеннымъ Гёте и Шиллеромъ въ ихъ сочиненіяхъ: „Wahrheit und Dichtung“, „Ideal und das Leben“. Лучшимъ выразителемъ этого взгляда явился Фолькельтъ. Разсматривая портретъ Рансе, основателя ордена траннистовъ, Шопенгауэръ сказалъ, отворачиваясь съ выраженіемъ страданія: „Это дѣло благодати“. „Мнѣ“, говоритъ Фолькельтъ, „наосъ его пессимистиче-

¹⁾ Фридрихъ Паульсенъ, Шопенгауэръ, Гамлетъ, Мефистофель. Кіевъ, 1902, стр. 1—63.

²⁾ Edouard Mayer, Schopenhauers Aesthetik und ihr Verhältnis zu den ästhetischen Lehren Kants und Schellings, Halle, 1897, S. 73.

скихъ размышленій кажется гораздо скорѣе искреннимъ; я не только слышу въ этихъ размышленіяхъ языкъ яснаго и сильнаго интеллекта, но чувствую, что въ нихъ трепещетъ весь страдающій человѣкъ, чувствую въ нихъ выраженіе и отзвукъ его собственныхъ мученій и борьбы. Пессимизмъ доставляетъ Шопенгауэру не мало внутреннихъ тревогъ: передъ его глазами рисовался міръ, преисполненный строгаго величія и очищенный священнымъ дыханіемъ вѣчности, поэтому страданія и ничтожество міра тѣмъ болѣе пугали его, устрашали, повергали въ ужасъ“. „Открываетъ ли онъ намъ глубину своего ученія о волѣ, или изображаетъ восторгъ эстетическаго созерцанія, излагаетъ ли свою теорію страданія или отрицанія воли, говоритъ ли о половой любви или о смерти, о музыкѣ или поэзіи, о христіанствѣ или индійской философіи, объ одиночествѣ генія, о видѣніи духовъ или о теоріи цвѣтовъ: вездѣ проявляется его любовь и ненависть, его желаніе и томленіе, мракъ и свѣтъ, демоническая и божественная сторона его натуры“¹⁾. „Я считаю, говоритъ Фолькельтъ, однимъ изъ основныхъ моментовъ настроенія философа тревожное, подчасъ мучительное, чувство разлада между тѣмъ, что было въ его природѣ стремящагося къ высокому и чистому, и грубой приверженностью къ жизни, между идеалами его философіи и столь далекой отъ нихъ дѣйствительной жизнью его“²⁾.

Такимъ образомъ Артуръ Шопенгауэръ однимъ изъ современныхъ намъ мыслителей представляется какимъ-то демономъ, геніемъ зла и отчаянія, Тартюфомъ XIX вѣка, виртуозомъ словъ безъ дѣла; но другимъ мыслителямъ онъ кажется апостоломъ обновленной религіи, трибуномъ потерявшихъ вѣру страдальцевъ, представителемъ самой жгучей тоски объ идеалѣ.

Это противорѣчіе взглядовъ на философа ясно доказываетъ, что Шопенгауэръ принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ мыслителей. Критическія сочиненія о Шопенгауэрѣ играютъ всѣми цвѣтами радуги. Французская буржуазія, французскій католицизмъ, французскій либерализмъ, нѣмецкое хладнокровіе Фишера, нѣмецкая благонамѣренность Паульсена, наконецъ нѣмецкое прекраскодушіе

¹⁾ Фолькельтъ, Артуръ Шопенгауэръ, его личность и ученіе. Пер. Фишера, Петербургъ, 1902. стр. 34.

²⁾ Ibidem. стр. 50.

Фолькельта преломляютъ по-своему лучи свѣта, идущіе отъ Шопенгауэра.

За послѣднее время болѣе или менѣе установился взглядъ на Франкфуртскаго философа. Германія поставила памятникъ великому пессимисту, который впервые ясно высказалъ истинно національный сѣверный девизъ германскаго народа и государства: „Міръ есть моя воля“. Германія уже схоронила геніальнаго ученика и послѣдователя Шопенгауэра, Фридриха Нитче, который мужественно отбивался на всѣ стороны отъ матерьялистическаго соціализма, совершенно послѣдовательно примыкавшаго къ родоначальнику діалектики XIX вѣка Гегелю. Мечта о сверхчеловѣкѣ, мечта о новой религіи, храмъ который возвышается у подошвы горной вершины, покрытой вѣчными снѣгами, грезы о „потонувшемъ колоколѣ“, грезы о волшебномъ царствѣ усопшихъ, пьющихъ сладостный напитокъ вѣчнаго покоя, воплощенныя въ картинахъ Беклина и въ музыкѣ Вагнера, вмѣстѣ съ этимъ безконечный страхъ и ужасъ предъ земнымъ существованіемъ, раскрываемый Метерлинкомъ въ подсознательной области человѣческой души,—все это восходитъ къ Шопенгауэру.

Конечно, если сравнивать Шопенгауэра съ такими систематиками, какъ Шеллингъ и Гегель, онъ только проиграетъ. У него нѣтъ такой строгой системы, какъ у Шеллинга Шопенгауэръ не исповѣдовалъ вѣры въ прогрессъ и въ исторію, чѣмъ создалъ себѣ славу Гегель. Не сочувствуя Гегелю, космополитическая философія котораго была прелюдіей повѣйшихъ соціальныхъ ученій, Шопенгауэръ еще меньше цѣнилъ Фихте и его патріотическіе призывы къ національному возрожденію Германіи. Что-то рабское, что-то гнетущее онъ видѣлъ въ принадлежности къ партіи. Шопенгауэръ не былъ рабомъ даже идеи. Съ глубокимъ отвращеніемъ Франкфуртскій философъ относился къ войнѣ и ни разу не попалъ въ ловушку шовинизма, подобно Нитче. Не обольстилъ его своимъ величіемъ Наполеонъ. Въ Италіи Байронъ только напугалъ философа и сбиль его съ толку своею популярностью¹⁾. Даже самый любимый Шопенгауэромъ человѣкъ, Вольфгангъ Гете, казался по временамъ философу лишь его младшимъ предшественникомъ²⁾. Неудивительно,

¹⁾ Robert von Hornstein, Meine Erinnerungen von Schopenhauer, Vide A. Bossert, Schopenhauer, p. 90.

²⁾ Bossert, Schopenhauer, Le théorie de couleurs Ch. VIII et VII, Paris, 1904.

что и самъ Гёте плохо понималъ Шопенгауэра: по его мнѣнію юный философъ былъ „достойный молодой человекъ, котораго, по большей части, не признавали, но котораго и не легко постигнуть“¹⁾. Голландскій купецъ по происхожденію²⁾, жившій процентами съ капитала, классикъ по образованію, въ значительной степени самоучка, монахъ по образу жизни, Шопенгауэръ принадлежалъ къ числу независимыхъ мыслителей XIX вѣка.

Поэтому Нитче совершенно справедливо считалъ Шопенгауэра благороднымъ мыслителемъ, отдавшимъ съ полнымъ чувствомъ свободы, безкорыстія и независимости изслѣдованію самого себя. Начавши свою работу философски, онъ довелъ ее до степени художественнаго совершенства и смѣло и гордо воплотилъ въ ней свое „я“. Шопенгауэръ, по мнѣнію Нитче, величайшій воспитатель современнаго общества. Онъ можетъ выдержать въ этомъ отношеніи сравненіе лишь съ Руссо и Гете. Каждый изъ нихъ оставилъ извѣстный идеалъ жизни. Идеалъ Руссо вышелъ изъ „духа общительности“. Руссо воспламеняетъ и поднимаетъ массы. Идеалъ Гёте— созерцательный. Идеалъ Шопенгауэра требуетъ безпрестаннаго контроля надъ самимъ собою, онъ пугаетъ массы и утомляетъ созерцателей. Человекъ у Руссо возвращаетъ всякъ бѣгъ вѣковъ и столѣтій, въ химерической надеждѣ возродить то, что никогда не существовало, золотой вѣкъ совершенства. При каждомъ общественномъ волненіи, онъ ворочается, какъ старшій Титонъ, гигантъ о ста головахъ, погребенный подъ Этной. Человекъ у Гете нашелъ себѣ воплощеніе въ Фаустѣ. Фаустъ—скиталецъ, онъ проходитъ по всѣмъ періодамъ исторіи и всѣмъ странамъ свѣта, но ничто его не можетъ остановить, даже Елена. Затѣмъ вдругъ его крылья опускаются; онъ оставивается: и тутъ именно его ожидалъ Мефистофель. „Когда нѣмецъ перестаетъ быть Фаустомъ, онъ рискуетъ стать филистимляниномъ и попасть во власть дьявола, если силы небесныя не сойдутъ спасти его“. Для человека, по Шопенгауэру, высшая добродѣтель заключается въ правдивости. Онъ желаетъ познать самого себя и познать въ то же время сущность міра. Онъ не довольствуется ослѣпительнымъ зрѣлищемъ явленій видимаго міра; онъ устремилъ свой взоръ въ самого себя, чтобы открыть въ глубинѣ

¹⁾ Kuno Fischer, Geschichte der neuern Philosophie, B. VIII, S. 120.

²⁾ Bossert, Ibidem, ч. 1—4.

своей совѣсти секретъ жизни. И послѣднимъ выводомъ его изысканій было убѣжденіе, что счастливая жизнь невозможна; если человѣкъ и можетъ осуществить что-либо прекраснѣйшее, такъ это героическую жизнь: она состоитъ въ борьбѣ безъ всякихъ отступленій, въ сферѣ своего рода дѣятельности на общее благо и въ конечномъ триумфѣ, кромѣ только вознагражденія за личныя издержки ¹⁾.

По словамъ Нитче пошли новѣйшіе толкователи Шопенгауэра. Шопенгауэръ считается лучшимъ типомъ свободнаго изслѣдователя живой человѣческой души. Онъ одинъ изъ учениковъ Канта напоминаетъ Монтэня. Какъ указалъ уже Нитче, Шопенгауэръ дѣйствительно похожъ на Монтэня ²⁾. Онъ отличается такой же искренностью, какъ Монтэнь. Какъ Монтэнь, онъ самъ является „предметомъ своей книги“. Подобно Монтэню, нѣмецкій философъ умѣлъ придавать собственную силу каждому положенію, независимо отъ системы, къ которой оно премыкается. Оба они благородны. Оба отличаются необычайной ясностью мысли, которая пронстекаетъ изъ сознанія ихъ собственной мощи и ихъ генія.

Это сходство простирается гораздо далѣе. Монтэнь и Шопенгауэръ одинокіе свободные мыслители, поставленные въ однородныя экономическія условія, въ одинаковое протестантское отношеніе къ своему вѣку. Они не любили многословія и говорили просто и красиво. Даже манера приводить преимущественно краткія, но сильныя цитаты сближаетъ этихъ философовъ. И Монтэнь и Шопенгауэръ чувствовали отвращеніе къ діалектикѣ и смѣялись надъ тупой вѣрой въ практическое значеніе логики, а поэтому они предпочитали непосредственное прозрѣніе въ дѣйствительную жизнь доказательствомъ отъ противнаго (*reductio ad absurdum*). Въ теоріи познанія они оба были скептики. Оба учились мудрости у природы. Первый, вмѣстѣ съ Пиррономъ, видѣлъ въ трудную минуту жизни больше смысла у поросенка, чѣмъ у человѣка. Второй привязанность собаки считалъ болѣе заслуживающей довѣрія, чѣмъ любовь ближняго. И черви, и муравьи, и кроты давали обоимъ философамъ уроки жизни. Шопенгауэръ исключилъ

¹⁾ Bossert, Schopenhauer, p. 346—347. Nietzsche, Schopenhauer als Erzieher, Sämtliche Werke, Leipzig, 1895. B. I.

²⁾ Bossert, Schopenhauer, XXXI, p. 329—338.

теорію сердечности изъ своей философіи. Монтэнь утверждалъ, что человѣческія чувства не заслуживаютъ довѣрія: и горе и радости ведутъ человѣка къ гибели¹⁾. Шопенгауэръ могъ бы подписаться подъ слѣдующими словами Монтэня: „Я боюсь больше всего страха. Онъ то даетъ крылья, то связываетъ ноги“²⁾. Всѣ разсужденія Шопенгауэра о тщетности и суетности человѣческихъ желаній восходятъ къ философіи Монтэня³⁾. Оба философа не вѣрили въ исторію и ея законъ⁴⁾. Даже отрицаніе прогресса сближаетъ ихъ⁵⁾. Наконецъ ихъ разсужденія о смерти достойны сопоставленія. „Философствовать значитъ научиться умереть“, говорилъ Монтэнь⁶⁾. Смерть есть печальный и необходимый предѣлъ человѣческой жизни. „Мы постоянно стоимъ у вратъ смерти“. Напрасно человѣкъ старается забыться: она неизбежна. „Неизвѣстно, гдѣ ждетъ насъ смерть: будемъ ждать ее вездѣ“. Монтэнь глубоко проникъ въ тайну смерти. Сама жизнь представляется ему царствомъ смерти. Каждую секунду жизнь становится достояніемъ прошлаго, исчезаетъ и таетъ, хотя каждую секунду нарождается новый моментъ жизни. Жизнь есть борьба бытія и не бытія, жизнь есть мерцающій и дрожащій огонь“. Этотъ взглядъ Монтэня напоминаетъ взглядъ Шопенгауэра, по которому этотъ міръ едва, едва можетъ существовать и каждую минуту стоитъ на краю вселенскаго крушенія. „Первый день рожденія ведетъ васъ, какъ къ жизни, такъ и къ смерти“, говоритъ Монтэнь. „Рождаясь, мы умираемъ“. „Цѣль нашей жизни—смерть“. „При жизни вы умирающій“. Въ этомъ ученіи Монтэнь цѣлкомъ предвосхитилъ идею философіи Шопенгауэра. Онъ могъ-бы смѣло подписаться подъ слѣдующими словами германскаго философа: „На смерть, во всякомъ случаѣ, нужно смотрѣть, какъ на дѣйствительную цѣль жизни: въ моментъ ея разрѣшается все то, что подготовлялось, создавалось, на всемъ протяжении жизни. Смерть есть результатъ, Résumé жизни, или итогъ,

¹⁾ Montaigne, *Essays*, De la tristesse, I, 2.

²⁾ Montaigne, *Essays*, De la peur, I, 17.

³⁾ Montaigne, De l'inconstance de nos actions, II, 1.

⁴⁾ Ibidem, Монтэнь: „Случай владѣетъ человѣкомъ“.

⁵⁾ „Я видѣлъ людей нецивилизованныхъ отъ излишней цивилизованности“. *Essays*, I, 13. *Ceremonie de l'entrevue de roys*, I, 13.

⁶⁾ Montaigne, *Essays*, I, 19. *Que philosopher c'est apprendre à mourir*.

который сразу выражаетъ совокупный выводъ, каковой жизнь представляла по частямъ и дробно, а именно: что цѣликомъ весь порывъ, явленіемъ котораго была жизнь, былъ тщетнымъ, суетнымъ и противорѣчивымъ; быть избавленнымъ отъ него есть спасеніе¹⁾.

Но за исключеніемъ общей съ Монтэнемъ вѣры, что человѣкъ въ смерти предвкушаетъ чувство свободы (Апостолъ), въ философіи Шопенгауэра слышится иной сѣверный отголосокъ. Шопенгауэръ въ отличіе отъ Монтэня, былъ, дѣйствительно, убѣжденъ, что тайна религіи заключается въ смерти, что человѣчество, какъ изложилъ ученіе франкфуртскаго философа Гартманъ и Левъ Толстой, въ „Послѣсловіи Крейцеровой сонаты“, должно заключить договоръ, прекратить свой родъ и все цѣликомъ умереть, и тогда оно будетъ спасено.

Было одно существенное различіе и въ характерахъ философовъ. Монтэнь умѣлъ наслаждаться жизнью, не взирая на мрачныя страницы „Essays“. Онъ приказывалъ, напр., будить себя нѣсколько разъ во время сна, чтобы чувствовать сладость пробужденія. Шопенгауэръ лишь испытывалъ тоску неудовлетворенныхъ потребностей, а удовлетвореніе у философа тотчасъ влекло за собой тоску безцѣльнаго существованія. Онъ не умѣлъ поймать моментъ наслажденія. Нѣкоторые упрекаютъ пессимизмъ нѣмецкаго философа въ непослѣдовательности и ставятъ на видъ ему интеллектуальную радость изслѣдованія. Однако подобныя упреки—чистый софизмъ. Есть ясная разница между человѣкомъ пробуждающимся съ наслажденіемъ и человѣкомъ, встающимъ отъ одра только съ усталостью. Отсюда Шопенгауэръ безутѣшенъ; Монтэнь—вседоленъ. Нѣмецкій философъ—идеалистъ, французскій мыслитель—реалистъ.

Слѣдуя за Нитче, критика на Шопенгауэра ясно установила тотъ взглядъ, по которому этотъ философъ при всѣхъ своихъ диалектическихъ и личныхъ недостаткахъ внесъ въ метафизику царство правды. Послѣ Шопенгауэра даже самая стройная, самая великолѣпная система мыслителя разсматривается какъ индивидуальная его мечта, какъ игра характера и воли мыслителя, роковымъ образомъ подчиняющей себѣ его разумъ. При этомъ Шопенгауэръ

¹⁾ Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. В. II, Leipzig S. 750—751.

совершенно справедливо въ тайныхъ и явныхъ мотивахъ воли мыслителя указаль истинныя пружины всѣхъ субъективныхъ особенностей философскихъ системъ. Метафизика упала съ небесъ на землю и стала разсматриваться, какъ благородная прихоть или художественный капризъ философа. Въмѣсто слѣпного увлеченія построениемъ философскихъ системъ, Шопенгауэръ предлагаетъ людямъ внимательнѣе относиться къ себѣ, вмѣсто объективной истины онъ рекомендовалъ человѣку тщательный контроль за самимъ собою, при которомъ человѣкъ скорѣе пойметъ смыслъ своей жизни. Царство правды и искренности— девизъ философин Шопенгауэра.

Между тѣмъ какъ философія правды и искренности, провозглашенная Шопенгауэромъ и трактующая о цѣлыхъ потокахъ зла, омывающихъ міръ и земную жизнь человѣка, постепенно привлекала къ себѣ умы и сердца самыхъ несходныхъ натуръ среди европейскихъ поэтовъ и мыслителей, какъ напр., Льва Толстого и Фета, Луизы Аккерманъ и Ады Негри, Леонарди и Мопассана,—совѣмъ иная струя влилась въ сокровищницу европейской мысли. Царство человѣческой воли надъ разумомъ, провозглашенное Шопенгауэромъ, обратилось подъ перомъ его послѣдователя Нитче въ царство Силы. Какимъ-то страннымъ анахронизмомъ надъ Европой пронеслось своего рода старое, какъ міръ, повѣтріе. Я разумѣю здѣсь, поклоненіе Силѣ, проповѣданное Нитче. Kraft und Stoff старыхъ материалистовъ никогда не были предметомъ такого фетишизма, какимъ была Сила Нитче и у его сознательныхъ и безсознательныхъ учениковъ. „Не слѣдуетъ ли и самого Бога принести въ жертву и поклоняться камнямъ“¹⁾,—вотъ къ чему пришли поклонники Силы.

Въ эту эпоху потускнѣло ученіе Шопенгауэра. Самъ Нитче подъ конецъ своей жизни не простилъ своему учителю ни его глубокомысленнаго взгляда на Искупленіе міра отъ зла, которымъ новый Заратустра, однако, увлекался въ молодости²⁾, ни его тихаго и благоговѣйнаго поклоненія предъ искусствомъ и красотой³⁾. Шопенгауэръ уже представляется нитчеанцамъ натурой слабой. Не обладая дѣйствительной силой эгоизма, не имѣя ничего общаго съ

¹⁾ Нитче, По ту сторону добра и зла, стр. 68.

²⁾ Nietzsche, Geburt der Tragödie.

³⁾ Edouard Schuré, Précurseurs et Révoltés, Paris, 1904.

мускулистами гимнастами и акробатами, Франкфуртскій философъ, по ихъ мнѣнію, замаскировалъ свою нервную слабость жалкими словами о религіи, о красотѣ и горѣ міра. Самая его философія есть средство самозащиты неврастениковъ и людей больныхъ, волей-неволей обязанныхъ присутствовать на вакханаліи Силы и ея жрецовъ. Конечный выводъ Шопенгауэра—простъ. Самое лучшее уйти съ пира домой, въ царство вѣчнаго покоя. „Какъ вамъ угодно“, могли бы отвѣтить жрецы Силы, „вы правы; но вы бессильны и въ этомъ вашъ недостатокъ“. Шопенгауэръ, такимъ образомъ, представляется грядущимъ за нимъ поколѣніямъ защитникомъ бессильной правды ¹⁾.

Но зато образъ Шопенгауэра возрастаетъ въ глазахъ его изслѣдователя. Шопенгауэръ—лицо историческое. Родоначальникъ крайнихъ выводовъ нашего времени, а именно: безумнаго пренебреженія цѣнностью индивидуальной жизни, ирраціональнаго самоотверженія, какъ послѣдняго слова морали сильнаго человѣка, поклоненія самой силѣ безъ всякихъ другихъ принциповъ; вакханаліи эгоизма; Шопенгауэръ, однако, для людей съ такими выводами—человѣкъ чужой. Онъ весь принадлежитъ XIX вѣку. Онъ поклонялся „бессильной“ правдѣ и „бессильной“ красотѣ.

¹⁾ По этому вопросу см. Jules de Gaultier, *Nitzsche et la Réforme philosophique*, Paris, 1904 и Schuré, *ibidem*.

Дополненіе къ статьѣ „Славянофильство Т. Г. Шевченка“.

Черезъ мѣсяць послѣ напечатанія этой статьи, въ іюньской книгѣ журнала „Былое“ появилось давно разыскиваемое окончаніе поэмы Шевченка „Еритыкъ або Иванъ Гусь“. Полный текстъ поэмы былъ недавно открытъ въ начисто переписанной самимъ Шевченкомъ книгѣ его стихотвореній подъ заглавіемъ „Три літа“, которая была найдена среди другихъ бумагъ, отобранныхъ у поэта при его арестѣ. Такимъ образомъ, теперь дѣлается возможнымъ изученіе произведенія въ цѣломъ. Вторая половина поэмы по объему почти равняется первой, давно извѣстной, но по художественности обработки сюжета и по красотѣ языка, на мой взглядъ, значительно уступаетъ ей. Тѣмъ не менѣе и она представляетъ большой литературный интересъ. Въ напечатанной теперь части произведенія описывается Константицкій Соборъ и казнь Гуса. Характеристика Собора очень рѣзкая:

Задзвонили у Констанци
Рано въ уси дзвоны.
Збиралися кардиналы
Гладки та червони
Мовъ бугаи въ загороду
И прылативъ лава.
И три пань, и баронство
И винчани главы:
Зибралися мовъ іуды
На судъ нечестивый
Противъ Христа. Свары, гоминь,
То реве, то вые
Якъ та орда у табори,
Або жида въ школи....

Лучшее мѣсто—молитва Гуса на кострѣ.

Поэма имѣетъ точную дату: „10 октября 1845. С. Марьинское“.

Т. Флоринскій.

Замѣченныя опечатки.

Стран.:	Строка:	Напечатано:	Слѣдуетъ читать:
78	23 сн.	Ленау	Лету
96	13 „	alio	alia
99	10 св.	Орнородную	Однородную
„	17 „	Cf. <i>Cap.</i>	Cf. (Verg.) <i>Corā</i>
101	5 сн.	оттисковъ, пользовались же	оттисковъ. Пользовались также
106	11 „	morumque, integritate	morumque integritate
113	13 св.	μὲν ἕως	μὲν ἕως
114	17 „	U	Ut
115	9 „	cēbris	crēbris
117	16 сн.	въ кубахъ	кубахъ
„	5 „	rocula haec <i>infantium</i> “	„rocula haec <i>infantium</i> “
„	1 „	винѣ	винѣ.)
118	10 св.	tactio	tacito
„	12 „	valuus	vulnus
125	14 „	Tosque	Totque
130	8 „	r. 4, 5	<i>Lyr.</i> 4, 5
„	13 „	dea dnice	dea, dulce
„	4 сн.	че	что
131	4 св.	iu aulicos	in aulicos
132	14 „	случаѣ	случаевъ,
„	13 сн.	trissyllabum	trissyllabum
„	12 „	<i>Eleg.</i>	<i>Eleg.</i>
„	3 „	632	630 Plessis:

18
13

74,

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

~~DUE FEB 10 '51~~

~~FEB 20 '63 H~~

23-10-76
Cancelled
DUE SEP '69 H

4844
CANCELLED
DUE SEP '69 H
4844
SEP 27 '69

WIDENER
SEP 10 2004
FEB 27 2004
BOOK DUE
~~CANCELLED~~

